

ПЕРЧ ЗЕЙТУНЦЯН

ЛЕГЕНДА

XV

ВЕКА



ПЕРЧ ЗЕЙТУНЦЯН

ЛЕГЕНДА
XX
ВЕКА

ПОВЕСТИ, РОМАНЫ

Перевод с армянского

Москва
Советский писатель
1985

ББК 84 Ар 7
З 47

Художник АРКАДИЙ РЕМЕННИК

Зейтунцян П.

З 47 Легенда XX века: Повесть, романы. Пер. с арм. — М.: Сов. писатель, 1985. — 600 с.

Своеобразную по форме прозу Перча Зейтунцяна отличает острота писательского мышления. В повести «Самый грустный человек» и романе «Легенда XX века» автор стремится выявить сегодняшние черты и особенности капиталистического мира с его античеловеческой сущностью. В романе «Аршак II» (или «Легенда о разрушенном городе») говорится о человеческих деяниях, остающихся в памяти народной.

З 4702080200-033 260-85
083(02)-85

ББК 84. Ар 7

© Перевод на русский язык.
Издательство
«Советский писатель», 1985 г.

САМЫЙ ГРУСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Повесть

От автора

Каждое столетие имеет своего самого человека – самого гениального, самого отчаянного, самого потешного, самого остроуслова, самого сорвиголову или же, к примеру, самого знаменитого своего долгожителя, словом – самого, самого, самого... Мне бы очень хотелось рассказать о человеке самом радостном, ведь все мы, как я заметил, предпочитаем веселые истории. И это вполне резонно. Но мне так и не удалось определить, кто же самый радостный человек века, а искать попросту этого радостного – по-моему, это не так уж интересно. Вот почему я пока откладываю в сторону свое намерение. Вместо этого я расскажу вам о самом грустном человеке нашего столетия. Найти его, представьте, оказалось делом нетрудным. Среди читателей этой книги тоже, очевидно, найдется человек, самый печальный среди нас.

История наша документальная. Герой повествования Роберт Страуд – лицо реальное. Реальны и события, происходящие с ним. Поначалу автор оставался настолько верным фактам, что документальная эта история перестала внушать доверие и стала походить на сказку. И тогда автор решил сыграть в обратную – он написал современную сказку, взяв в основу факты.

Основной сюжет и герой остались прежними, но автор позволил себе многое обыграть, изменить, обратить в гротеск, а разные мелкие подробности отмести за ненадобностью. И только так, на наш взгляд, удалось создать вещь, более или менее документальную. Во всяком случае, автор надеется, что рассказ этот будет воспринят читателем серьезно и с достаточной верою, потому что автора и читателя намерение – идти по следам только и только истины, а не ее подобия. Вы увидите здесь знакомые лица. Так как «все великие всемирно-исторические события и личности появляются дважды: в первый раз – как трагедия, во второй – как фарс».

Действие происходит в стране Алькатраз. Не ищите ее на карте, вы там ее все равно не найдете. А даты вот указаны точные, что, впрочем, вовсе несущественно. И достоверен, безусловно, достоверен век. Что, конечно, весьма существенно.

Глава первая

Боб Страуд частенько заходил к Гее. Раза четыре, а то и пять на неделе. В остальные дни он не шел туда не потому, что был занят, а просто боялся, что надоест и наскучит ей. Но как было занять пустые, невизитные дни? Это была целая сложная и запутанная система чисел со своими законами и логикой, этакая длиннющая таблица, которая человеку непосвященному ничего бы не сказала, но для Страуда была мучительной и требовала огромной энергии и изворотливости. Необходимо было так рассчитать и расположить дни своих посещений, чтобы придать этим посещениям естественный нерассчитанный вид.

Он всего лишь год жил в этом городе. Родом он был из дальней провинции. До приезда в Алькатраз долго скитался по стране, подыскивая себе работу, но, кроме временных сезонных работ, ему ничего не подворачивалось. И вот наконец страна уменьшилась, конкретизировалась, обрела лицо определенного города и даже определенного дома. В Алькатразе его приняли на постоянную работу на фабрику, производящую женские чулки и трикотаж. Он всю жизнь потом не прощал себе, что именно там, а не где-нибудь еще довелось ему работать, до конца жизни все свои несчастья он связывал с этим унижительным фактом.

Когда исполнился ровно год с того дня, как он обосновался в этом городе, он почувствовал, что устал от страудовской своей арифметики, и подумал, что это, верно, хороший признак, мало-помалу он становится мужчиной. Вот тогда-то он и принял решение положить конец всем своим мучениям и очень быстро нашел выход из положения. И даже удивился, как это до сих пор он до этого не додумался. Он тут же направился к Гее, чтобы как можно скорее сообщить ей про свое открытие. Но прежде чем произнести первую и единственную фразу, он окинул взглядом Геину комнату, воображение его лихорадочно заработало, и он вдруг представил, почти что наяву увидел, как в комнату вошли одетые в смокинги двенадцать мужчин, у каждого в руках по стулу. Они расселись вдоль стен и образовали вокруг него и Геи некий квадрат. Он решил, что они так и останутся с ними до самого конца разговора. Бесшумно будут сидеть и мешать им не станут. Корректные и безучастные друг к другу.

— Я пришел предложить тебе, чтобы мы поженились.

И тут он увидел, вернее ему показалось, как одетые в смокинги двенадцать мужчин задвигали стульями и устремились к центру комнаты. Образовавшийся вокруг него

и Геи квадрат стал немного меньше. И он решил, что именно так они будут себя вести после каждого поворотного слова его или Геи.

— Вот так, сразу? И что же я должна ответить?

Гея, красивая усталая женщина лет за тридцать, была все время в движении, переставляла что-то в комнате, следила за обедом, приводила в порядок прическу, потом словно машинально повторяла те же действия, в результате чего действия эти начисто лишались своего смысла.

— Я хочу... ну да, я уже сказал... ты согласна?..

— Я согласна, — ответила Гея, и в голосе ее не было никакого оттенка.

— Ты не веришь? Почему? Я буду хорошим мужем. Самым лучшим мужем на свете. — Страуд кружился по комнате вслед за Геей и от этого еще больше терялся. — Ты будешь меня любить. Если я буду самым лучшим мужем на свете, ты не сможешь не любить меня.

Он был так искренен и так верил своим словам, что ему показалось — отныне никаких неразрешенных вопросов нет и не может быть.

— А почему ты до сих пор ничего не говорил? Не слишком ли много времени прошло, чтобы играть в прятки? — Страуд обрадовался, что в ее голосе появился какой-то оттенок, пусть даже пренебрежительный. — А я уже было поверила, что мужчина и женщина могут быть братом и сестрой. Испортил, все испортил.

— О чем было говорить? — растерялся Страуд. — Ты что же, не понимала разве? Неужели обо всем надо говорить?

— За кого, за кого ты меня принимаешь? Я давно забыла понимать людей по взглядам. По мне — у всех подряд один и тот же взгляд, один и тот же голос, одни и те же мысли. Слова только разные. И я только словам и верю. Да и не то чтобы верю — понимаю. И не понимаю даже, слушаю... — и вдруг монотонно, но с внутренней тревогой начала нанизывать друг за дружкой слова. Страуд от испуга было замер на месте, потому что, произнося эту медленную и стройную лавину предложений, Гея по-прежнему что-то делала и безостановочно двигалась: — В пять часов... сегодня хорошая погода... вечером жди меня... Сигарета есть? Дай...

— Я тебя научу, — взмолился Страуд. — Я сделаю так, что мы будем молчать и понимать друг друга. Я не обещаю тебе ни денег, ни богатства, мы всегда будем без денег. Всегда будем бедными. Но одно я тебе обещаю — молчать и понимать друг друга...

— Если мы будем бедными, мы не сможем молчать и по-

нимать друг друга. Для этого нужны деньги. Если же будем богатыми, опять-таки не сможем, деньги не дадут. Так что выбрось это из головы. И ни с кем ты не сможешь молчать. Залопочешь. Все будешь говорить, говорить, говорить...

— Знаешь, почему ты меня презираешь?.. Потому что я не такой, как остальные. Они мужчины. Времени не тратят. А я каждый день прихожу, ухожу, каждый день решаю быть таким, как они, и не могу... — Он с ненавистью посмотрел на Гею, помолчал минутку, потом вдруг спросил, понизив голос: — А деньги они дают?

— Какие деньги? — напряглась Гея и оторвалась от своих дел.

— Деньги, деньги! За то, что ложатся с тобой! Деньги дают?

— Конечно. — Гея старалась казаться спокойной. Страуд почувствовал это и мысленно усмехнулся. — Если кто очень нравится — не беру. Видишь, все как следует. И честность есть. И порядочность и непорядочность, чувствуешь? Все вымерено, все взвешено.

Страуд и сам не понял, почему задал такой вопрос, — чтобы обидеть ее или же действительно чтобы узнать:

— А... у меня возьмешь?

— Наверное, — еще больше напряглась Гея.

— Сколько? — шепотом спросил Страуд.

— А сколько у тебя есть?

— Нет, ты скажи, сколько...

Не разговор был, а прямо перепляс на острие ножа; тут были и ненависть, и желание унижить, и нервное любопытство, пожалуй. Гея стала накрывать стол скатертью, потому что неведомо отчего почувствовала потребность подчеркнуть решительную разницу между ними: хозяйкой дома и гостем.

— Вот сейчас ты мне нравишься, — улыбнулась Гея. — Я так и знала. Ночью останешься у меня, утром с удивлением посмотришь кругом, не поймешь, куда попал и кто рядом с тобой лежит. Быстренько кое-как оденешься, молча смоешься. И все будет как надо, шито-крыто.

— А по ночам тебе шепчут на ухо слова?.. — не отставал Страуд. — Что они говорят?..

— Не помню... не обращала внимания.

— Помнишь! Скажи! Я хочу знать!

— Что тебе от меня надо?.. — Гея разом сникла и поняла, что уже не может прогнать этого парня.

— Нет, ты скажи... Хочу выучить и те же слова говорить... А если вдруг родится мое слово, не скажу... Хочу как они, как все. Говори, чего они тебе шепчут по ночам...

— Видишь, ты все понял. Знаешь, что получится, если женишься на всех женщинах, с кем хочешь переспать, ха-ха!

— Я хочу жениться на тебе...

Слова Страуда неожиданным, странным образом опять прозвучали искренне. Наверное, поэтому двенадцать мужчин вновь задвигали стульями, и квадрат вокруг Геи и Страуда стал еще теснее.

Гея вспомнила посещения Страуда. У нее почти всегда бывали гости, в основном мужчины. Гея в первый же вечер поняла, что девятнадцатилетний Страуд уйдет первым. Обязательно уступит. И она терпеливо ждала, когда же наконец он проявит упорство и останется до конца. Для Геи это ожидание превратилось в своего рода азартную игру с самой собой.словно она поставила на лошадь, которая приходит все время последняя к финишу; ты видишь это, но верить в нее не перестаешь. А Страуд и не подозревал даже о скрытой и своеобразной верности Геи, он чинно сидел за столом, вежливо и старательно поддерживал общую беседу.

— Тебе ведь и не хотелось беседовать, просто ты был вежливым мальчиком, — вдруг взорвалась Гея. — Вежливым, красивеньким... вот таким вот бедным, но хорошо одетым... От тебя знаешь чем несло? Чистотой, честностью... У меня прямо дух спирало... Хотелось обнять тебя, баюкать... грудью кормить, сказки рассказывать со счастливым концом... А ты умные вещи говорил, гладкие, плавные... со своим трехклассным образованием... Мне было стыдно за каждое твое изречение... Я чувствовала себя оскорбленной... потому что это тоже было признаком того, что ты бедный... — О, Гея издали узнавала бедных. Очень хорошо она их знала. Неграмотных, но с природным умом. Умеющих держаться. Похожих на свою одежду. Бедную, но опрятную. Ну до чего же все в этом мире неестественно. Лишено всякой логики. Гея еще больше вскипела, когда вспомнила, как он поднимался и искал какой-нибудь глупый повод, чтобы уйти. — И что ты делал, знаешь?.. Прощаясь, ты крепко пожимал им руки... Почему ты это делал?.. Почему ты перед ними расшаркивался? Почему позволял, чтобы они с тобой на «ты» разговаривали, а сам им «выкал»? Вот тут-то ты и потерпел поражение... во всем, во всем... Они тебя со света сживут... на кусочки разнесут, ты не выдержишь... Потому что на «вы» с ними разговаривал... И позволял, чтобы они «тыкали». Ты с первого же дня сдался, потерпел поражение, конечно, поздно уже...

Они знали, как им быть. Как унижить, сломить ее и этого слюнтя. И почему он на следующий день бывал еще любез-

нее с нею, почему он сдавался при ней? Вот это-то и было загадкой. А ведь я совсем как ты. Так почему же мы, в свою очередь, должны унижать друг друга?

Что за бред... Нет, нет. Гея не любила невинных мальчиков. Подальше от них. Они все усложняют. И всего от них можно ждать. И нежности и жестокости. И то и другое искренне. И то и другое одновременно. И добро могут творить и зло. Зла больше. Вот если бы вдруг им доверили, вдруг бы им дали править миром, ого, что бы тут было!.. Ей очень хотелось зашептать сейчас Страуду на ухо: «Знаешь, скажу тебе по секрету, я тоже невинная... не удивляйся... господь, убереги нас от невинных...»

— Гея, я люблю тебя...

Одетые в смокинги мужчины зашевелили стульями. Квадрат еще сузился. Страуд совсем не к месту заметил очень знакомую картину: противоположная стена от сырости пошла трещинами. У него часто бывало неудержимое, сумасшедшее желание протянуть руку, отодрать кусок штукатурки и с удовольствием увидеть, как обваливается вся стена.

— Я тоже люблю. Наверное, люблю. Во всяком случае, я благодарна тебе. Я все понимала по твоему взгляду. Не сразу, мало-помалу, постепенно начала понимать. Ты сумел научить меня этому. — Во время этого счастливого признания Гея чувствовала себя беспомощной и беззащитной. — Я тебя прошу... очень прошу... если вдруг родится твое слово... скажи его... обязательно скажи... пусть это будет самое обычное слово... но это будет самое лучшее из всего мною слышанного... самое незнакомое... хочешь... ты ведь хотел... помолчим секунду... может, и в самом деле все пойдем...

И они секунду помолчали. Но так ничего и не поняли, да и что они могли понять? Напротив, все вконец запуталось. Десятки вопросов вспыхнули, хлынули сквозь дверные щели и заполнили этот одноэтажный, с низким потолком домик. Так ночью еще бывает в темноте, перед тем как заснуть.

— Мы уйдем, Гея. Куда глаза глядят. Если мы вместе... если два человека вместе... это уже сила... Но зачем нам куда-то уходить, Гея? Зачем бежать? У нас еще есть дела здесь. Со всеми, кто оскорбил нас. Мы не дадим им так легко от нас уйти.

— Да, Боб...

Гея чувствовала себя счастливой. Начиная привыкать к счастью. Она не знала еще, что и к счастью быстро привыкают. И сейчас, пожалуй, была, как никогда, беспомощна и беззащитна.

— Мы сами, своими руками выстроим свой дом... На высоком взгорке... на виду у всех... — взволнованно говорил Страуд. — Мы побелим его, чтобы и в темноте он был хорошо виден... Мы научим всех таких же, как мы, несчастных силой забирать свою долю счастья... мы заставим их вызвать на зубок наш урок... — Он говорил задыхаясь и с удивительной деловитостью, которая не вязалась с тем, что он говорил. — У нас будет много детей, мы научим их трудолюбию, честности, благородству... Мы не злом, а вот так ответим на всю горечь и мучения, перенесенные нами...

— Да, Боб, да... Так...

Дальше все происходило с головокружительной быстротой.

На следующий день Страуд расплатился с домохозяином, взял свой чемодан и пошел к Гее. Его биография бродяги-путешественника была видна даже по тому, что чемодан был самой значительной частью всего его имущества. Пересекая расстояние между двумя домами, Страуд пытался во что бы то ни стало определить нынешнее свое состояние и дать название пестрой лавине чувств, столь внезапно нахлынувшей на него. Так какое же название дать всему этому? А вот какое — он только теперь впервые в жизни почувствовал, что он житель Алькатраза, его гражданин. Более точного определения нельзя было найти.

Как только Страуд вошел в свой новый дом, он с удивлением обнаружил, что Гея лежит на кровати, спрятав лицо в подушку, и громко и потерянно плачет. Она подняла лицо, и он увидел на этом лице синяки, а шея вся была в глубоких царапинах. Медальона, с которым Гея никогда не расставалась, на шее не было. Взгляд Страуда с сомнением покрутился по комнате и остановился на шкафу, дверцы которого были распахнуты и все содержимое вывалено на пол. Двенадцать мужчин, вызванные воображением Страуда, смущенно зашевелили стульями, квадрат стал совсем узким.

— Опять был он? — угрюмо спросил Страуд. — Все деньги твои унес? И медальон отобрал?

Гея, воспрявшая от его присутствия, прерывисто всхлипывала и все кивала головой, словно отвечала на множество других вопросов, которые Страуд попросту не успел еще задать.

— Сейчас вернусь... сейчас... сейчас... одна минута, и я здесь... — Страуд был всклокочен. Он, который всю жизнь

искал опору и защиту, сейчас обязан был защитить другого. Он не успел подумать о своей новой роли. — Сегодня дождь был, — пробормотал он, — на улицах слякоть... Я быстро...

И, поблднев, выбежал из дому.

Житель Алькатраза пробежал по запутанной сети переулков и без всяких расспросов сам нашел нужный ему дом. Он взбежал на второй этаж и увидел, что дверь в комнату приоткрыта. Возможно, ее специально оставили раскрытой, наверное, уверены были, что он придет. Накопившееся в нем возмущение диктовало — ударь по этой двери каблуком и войди. Но, как назло, в эту минуту по краешку его сознания прошло, мелькнуло воспоминание о его рабочем месте — о фабрике, на которой производили женские чулки и трикотаж. Он протиснулся сквозь дверную щель и очутился в полутемной комнате, в которой великан мужчина, одетый и в носках, возлежал на кровати. Страуд заметил, что мужчина не умещался на кровати, — ноги его вылезали за прутья. Но другая подробность мгновенно успокоила Страуда: носки на великане были заштопаны, и довольно грубо, кажется, даже нитками другого цвета...

— Отдай Геины деньги. И медальон тоже.

Собственный голос показался Страуду до боли знакомым.

— Значит, это ты Геин муж, — не поднимаясь с места, процедил мужчина. — Очень приятно. Будем знакомы.

— Нет, пока еще не муж, но мы должны пожениться. Что мне еще сказать, чтоб ты понял меня? У меня нет другого выхода. Я должен взять ее деньги и медальон тоже. Я не могу вернуться с пустыми руками.

— Что ж, ты прав. И я бы на твоём месте точно так же поступил, — безмятежно сказал мужчина. — Не стал бы ведь я молча смотреть, как мою будущую жену избивают, отбирают деньги и медальон. Ты правильно поступаешь.

— Видишь, как спокойно я с тобой разговариваю. Как вежливо себя веду. Это тебе ни о чем не говорит?

— Говорит, отчего же нет. Ты очень хочешь быть счастливым. Это желание так и прет из тебя. Не думай, что глаза у меня закрыты и я ничего не вижу. От тебя разит счастьем. Но это смотря на чей вкус. Я, например, терпеть не могу этот запах. Дешевый одеколон напоминает. Ты ведь извинишь, что я не поднимаюсь.

Здесь таилась какая-то опасность. Страуду стало не по себе: тональность разговора диктовал не он, а лежавший на кровати мужчина. А должно было быть наоборот. И он почувствовал, что уже поздно, что он с самого начала потерпел пора-

жение. Он глянул исподтишка в глубь комнаты и призвал на помощь свои смокинги — двенадцать мужчин молча заняли свои места. Оставалось смиренно ждать, куда поведет, как все повернет лежавший на кровати мужчина. Но Страуд не выдержал и снова заговорил:

— Я тебя знаю. Я и в твоём баре бывал. Ты-то меня наверняка не помнишь. В день столько народу приходит, всех разве запомнишь. Я замечал, ты всегда хвалился своей силой.

— Только хвалился? — оскорбился мужчина. — А не показывал?

— Да, да, конечно. Я видел, как ты однажды сразу трёх-четырёх парней избил.

— И ты не восхитился, не пришел в восторг, не позавидовал? Если скажешь, что восхитился, я отдам тебе Геины деньги. А если скажешь, что и позавидовал, получишь и медальон.

— Восхитился, — умирая со стыда, сказал Страуд. — Позавидовал.

— Послушай, парень, до чего ж сильно ты хочешь быть счастливым!

— Я прошу тебя, забудь на минуту, что ты силач и можешь измордовать меня. На минуту забудь. И отдай деньги. Прошу тебя.

— Допустим, отдал. Ну а побори, ведь я избил ее? — Человек этот испытывал высшее удовольствие от собственных рассуждений. — Ты слышишь, я избил Гею. А она должна стать твоей женой. Как же быть? Возникает необходимость принести извинения, не так ли?

Он был доволен, что сделал правильный ход на шахматной доске. Шахматы были его слабостью. Остальные игры он не принимал, потому что они не имели ничего общего с умом.

— Я прошу тебя... не надо... Не губи меня... все равно, я эти деньги должен взять... — Страуд не забыл прибавить: — и медальон тоже... У меня нет другого выхода. Хочешь, я потом верну тебе их... Вдвойне отдам... Буду даром работать на тебя, наколю дров на зиму... Но сейчас ты мне их отдай... медальон тоже...

— Не унижайся. Человек не должен унижаться. Не имеет права. — Мужчина расставлял ловушку Страуду. Он был доволен Страудом. И даже, если хотите, уважал его. Потому что его противники обычно бывали грубы и неотесанны и не умели принять уровень игры. — Потом сам будешь презирать себя. Пожалеешь о сказанном. Как бы ты ни

был слаб в сравнении со мной, все равно ты не должен бояться. В конце концов не силой ведь все решается, есть еще что-то выше силы. Вот на это ты и должен рассчитывать.

— Встань... встань, когда с тобой разговаривают, — заорал Страуд и попал в ловушку. Разъяренный, он подскочил к мужчине и дернул его за ворот. — Ведь я просил тебя!.. Очень просил!.. Просил ведь, не так ли?.. Почему ты меня губишь? Ведь знаешь, что не уйду... знаешь, что я должен победить... У меня нет другого выхода... И знаешь, что это невозможно... Почему ты не слушаешь меня... почему, почему?..

Громадное тело мужчины приподнялось с постели, в секунду великан отвел руки Страуда от своего ворота, подмял его под себя и начал душить. Это он тоже проделывал с большим удовольствием. С еще большим даже. После тонких шагов грубость и сила приобретают особый смысл. Страуд делал безнадежные попытки высвободиться из великаных клещей, лицо его посинело, глаза были широко раскрыты, и взгляд прикован к потолку, на котором колебалась слабая тень от абажура. Сейчас в этой тени уместилась вся его жизнь. Он с трудом выпростал руку, потянулся к карману, вытащил револьвер, поднес к виску мужчины и выстрелил. И только после второго выстрела почувствовал, что клещи на горле расслабились. Он закрыл глаза, и тень от абажура исчезла. Сам он не слышал звука выстрела. Ему показалось, что просто-напросто двенадцать мужчин пошевелили стульями и получилась имитация этого звука: бум... бум...

Он выстрелил не только из инстинкта самосохранения, но и потому, что его заставили унизиться. Его, который всю жизнь унижался, но унижался бессознательно, как-то буднично, сам того не ведая. И он понял, что если б даже его не пытались задушить, он бы все равно выстрелил, потому что на этот раз его унизили вопиюще, напоказ, у себя же на виду.

Страуд с трудом выбрался из-под тела и оцепенело уставился на труп. Он с ужасом заметил, что мужчина сейчас свободно помещался на кровати. И только теперь до его сознания дошло, до какой же степени тот мертв. Потом Страуд посмотрел на его заштопанные носки и еле слышно прошептал:

— Говорил же я... другого выхода у меня не было.

Кровь струилась из виска неподвижно лежавшего мужчины, она залила половину его лица, остальные пол-лица по-

чему-то оставались чистыми, нетронутыми. Потом кровь пролилась на простыню и грубо очертила свои границы. И может, оттого, что простыня была грязной, показалось, что это просто красная краска пролилась откуда-то. Одна капля повисла на краю простыни. Единственно реальной и жуткой была эта капля. Взгляд Страуда тупо приковался к ней. Он не мог выбежать из этой комнаты, потому что эта капля набухала-набухала и никак не могла оторваться и упасть на землю. Двенадцать мужчин захохотали стульями, квадрат разом сузился, сжал Страуда. Страуд поднял руку. Но почему они в смокингах, ведь ни он сам, ни кто-либо из его окружения никогда не носили смокинга... Даже и не мечтали... Лишь бы на потолок не посмотреть, лишь бы тень от абажура не увидеть...

— Гей, Гей, я с ним разговаривал на «ты»... Знаешь...

Фактография¹

Страуда одели в серую одежду узника и ознакомили с тюремным уставом, состоявшим из 95 пунктов. В тюрьме господствовал дух молчания. Во время обеда, так же как и во время изнурительных работ, арестантам было запрещено переговариваться. За обедом нельзя было даже оглядываться. Остатки еды и крошки приказано было оставлять на тарелке только с левой стороны. Тюрьма кишела вшами и прочими паразитами. При появлении тюремной администрации и стражи узник обязан был вскочить и обнажить голову. Нарушившего правила избивали и привязывали к дверям камеры, подвешивали за указательный палец или же на несколько месяцев заковывали в кандалы, а на кандалы навешивали двадцатипятифунтовую металлическую гирию. Этот вид наказания узники называли «тащить ребенка», или, что вернее, «водить за собой ребенка». В этой тюрьме был придуман уникальный способ надзора, который назывался «система сигналов». Особо выученные две громадные собаки всегда бежали впереди надзирателя. Входные ворота — их было несколько — были металлические, двойные и открывались посредством электрического механизма. В случае необходимости через ворота можно было пустить ток высокого напряжения. Электрический механизм был настроен так, что, когда открывалась одна дверь, другая оставалась закрытой. Внутренние двери отпирались ключами, но у надзирателя

¹ Документальные главы здесь и далее взяты из документальной работы Т. Джаддиса «Узник Алькатраза». (Примеч. автора.)

никогда не бывало полной связки этих ключей. Имевшими-ся у него ключами он мог отпереть только несколько дверей, после чего он передавал ключи другому надзирателю и взамен получал новую связку. Тюрьма была обнесена гигантским забором. По приказу начальника тюрьмы стража стреляла по всем, кто приближался к забору ближе чем на двадцать шагов. Вот почему у узников был хорошо наметанный глаз.

Глава вторая

Суд для пущей значительности решили провести в доме убитого.

Из комнаты была убрана вся дешевая мебель за исключением простого обеденного стола и трех табуреток. На табуретки сели судья и два присяжных. Обвиняемый Страуд должен был стоять, так как покойный с мистической прозорливостью обзавелся всего лишь тремя табуретками. Остался стоять на ногах и адвокат-защитник, который в отличие от Страуда мог свободно передвигаться по комнате. Он ходил от стены к стене, устав, опускался на корточки в углу или же упирался ногой в стену. Кроме названных пяти человек, в комнате никого больше не было.

— Имя, фамилия? — спросил судья.

— Я виновен, — ответил Страуд. — Это я убил.

— По порядку, все по порядку, спокойствие. Мы ведь не отрицаем, что ты убил. Сообщи нам свои имя и фамилию.

— Это я убил.

— Имей в виду, ты начинаешь оскорблять высшее законодательство. В данную минуту нас совершенно не интересует, кто кого убил. Боб Страуд, скажешь ты наконец свои имя и фамилию?

— Я предлагаю отложить суд, — сказал первый присяжный, — тем более что неясно, кто убийца. Фактически мы его еще не обнаружили. — Он страдал хронической бессонницей и был уверен, что эти толстокожие узники как только приложат голову к подушке, так сразу и заснут крепким, беспробудным сном. — Давайте лучше судить обвиняемого за оскорбление высокого суда.

— Как это неясно, кто убийца? — с сомнением возразил второй присяжный. — Он ведь признался?

— Ну, какое имеет значение его признание, — снисходительно улыбнулся первый присяжный. — Это мы должны обнаружить убийцу. Мы, а не он. В конце концов у обвиняемого нет специального образования. Почему он вмешивается

в наши дела? И откуда он знает, в чем мы его обвиняем? А вдруг да мы предъявим ему совсем другое обвинение?

— Страуд, если не считать этого неприятного столкновения между нами, — сказал судья, — я должен признаться, что восхищен тобой. Ты правильно поступил, совершая это убийство. Ты защищал свою любовь, а я не уверен, что в наши дни найдутся люди, которые способны, во-первых, вообще любить и, во-вторых, принести жертву во имя любви.

— Например, я знаю совершенно твердо, — с искренним сожалением добавил второй присяжный, — мой сын предпочел бы оставить деньги и медальон у силача, а сам бы в это время преспокойно нежился в объятиях любимой девушки, в мягкой и теплой постели.

— Ты всю жизнь искал защиты у других, — обратился к Страуду первый присяжный почти с отеческим терпением, — а как только ты полюбил, ты был обязан сам стать защитником. Ты просто не успел подумать о своей новой роли. И очень хорошо сделал, что не подумал.

Страуд растерянно смотрел на судью и на присяжных. Насколько ему было известно, эти люди являлись его врагами и должны были сделать все, чтобы погубить его. Это было видно уже по одежде, в которой они пришли сюда, и особенно, особенно по галстукам и позолоченным крупным булавкам на этих галстуках.

— Они меня освободить хотят? — прошептал он защитнику.

Защитник отрицательно повел головой.

— Как же так, — не поверил ему Страуд. — Ведь они на моей стороне.

Защитник снова покачал головой.

— Год рождения? — спросил судья.

— 1891-й, — устало и обреченно ответил Страуд.

— Национальность?

— Алькатразец, — устало и примиренно засвидетельствовал Страуд.

— Вероисповедание?

— Католик, — устало выдавил из себя Страуд. Потом очень неожиданно прибавил: — Разрешите сказать имя и фамилию.

— Разрешаю.

— Боб Страуд.

— Мы одержали победу, коллеги, — судья сиял от удовольствия. — Обвиняемый сдался, подчинился силе закона.

Первый присяжный поднялся, подошел к Страуду, несколько секунд внимательно изучал его, потом обернулся к коллегам и сказал с сожалением:

— У него сложение жокея. Он мог стать первоклассным жокеем.

— Бедный парень, — откликнулся второй присяжный. — Он мог жениться, занять детей, быть счастливым. И зачем ему понадобилось быть честным, когда кругом сплошная торговля, обман, грабеж и низость...

— Тем более что и неграмотный, — прибавил судья. — Вот только что я прочитал в деле, что он кончил всего три класса.

— Быть неграмотным и совершать честные поступки? — возмутился первый присяжный. — Это уже чересчур. В таком случае его честность объясняется комплексом неполноценности.

— Как? — сжался от испуга Страуд. — Что это значит?

— Мы не обязаны тебе все объяснять.

— Я хочу знать, что это такое, — попросил Страуд.

— Этого ты уже никогда не узнаешь.

— Прошу вас... — впал в панику Страуд, ему показалось, что секрет заключается именно в этих таинственных словах... Если он выяснит значение этих слов, им трудно будет снова заманить его в ловушку. — Я должен знать, скажите мне, что это значит... Ведь это моя вина, не ваша...

— Я не стану сейчас смотреть на часы, не стану думать, что опаздываю в гости. Это очень дешевый и избитый прием. — Судья торжественно поднялся на ноги, чтобы произнести свой приговор. — Мне уже все ясно, Страуд. Ты обвиняешься в убийстве. Ты приговорен к смерти. Тебя вздернут на виселицу. Ты восстал против всего Алькатраза. Страуд — против Алькатраза.

Страуд знал, что это и есть конец. С того самого дня, когда он впервые в жизни почувствовал, что любит, когда понял, что где-то существует счастье... с того самого дня он смутно стал чувствовать приближение конца. И вот вам развязка. Да какое ему дело было до счастья. Счастье... Что за странное слово...

— Простите меня, — промямлил он, — за мою наглость, за бесстыжность... — Вдруг он заметил, что у одного из присяжных ворот рубашки тесен и жмет. Это словно подстегнуло его. — Это Гея виновата... — заорал он, захлебываясь. — Почему вы не судите ее? Почему не вызвали сюда? Ведь это

ей я объяснялся в любви... Ведь она старше меня... на целых тринадцать лет... и некрасивая, совсем некрасивая... Она обманула меня... притворилась самой лучшей... Она деньги брала у мужчин... за то, что ложилась с ними... судите ее, казните ее... — и он потерянно заплакал. — Бедная Гея, я предал тебя... еще и не любил, а уже предал... это такой народ, Гея... Они кого угодно заставят предать... Заставят отречься от еще не произнесенных слов, от несвершенных дел, от себя самого. — Потом, злобно улыбаясь, обратился к судье и присяжным: — Она не поверит... все равно не поверит... Вы не сможете сделать так, чтобы она считала меня подлым, трусливым... Я доказал, что на все готов ради нее... и сейчас ни о чем не сожалею... — Потом нить мысли оборвалась, он что-то вспомнил и зачистил жалобно: — Я только три класса кончил, я всегда был первым учеником, в транспорте уступал место женщинам и старикам, правил уличного движения не нарушал, может, примете во внимание...

— Почему не даете слова защите? — послышалось из угла.

— Пожалуйста, — судья посмотрел на часы, — но я опаздываю на прием.

— Я только одно скажу. Страуд против Алькатраза не восставал. Скорее наоборот — Алькатраз против Страуда.

— Ага, и этот из тех же, — презрительно усмехнулся первый заседатель, — из тех, кто провозглашает известные истины. Это-де стол, а это стул, а вот стена... — Присяжный огляделся, и воображение его застопорилось, потому что в комнате никаких других предметов не было. Он уныло посмотрел на дверь и захотел было представить, что может быть по ту сторону двери.

— Кроме того, я возражаю против вынесения приговора, потому что допущены процессуальные ошибки.

— Ну-ка, ну-ка, — испуганно поинтересовался судья.

— У первого присяжного мятые брюки. А это нарушение кодекса. У второго присяжного пальцы все время выстукивают по столу. Это уже грубое нарушение. Ибо означает, что присяжный в нервном состоянии. А с подпорченными нервами невозможно следовать истине.

Судья в панике стал листать свод законов и мрачно подтвердил:

— К сожалению, замечания защиты справедливы. Допущен ряд процессуальных ошибок. — Потом оживленно погрозил пальцем адвокату. — Ну, ты славно подхватил наш стиль. Так серьезно, солидно было начал, я даже обрадовался, а потом взял да и прижал нас к стенке. Думаешь, мы не по-

няли, кто ты на самом деле? Ты автор. Да, да, ты сам автор. Вот ты кто.

Суд был отложен, и спустя год обвиняемый и суд снова встретились в комнате покойного. Зарубежных туристов гиды первым делом приводили сюда. Когда кто-либо метался, пытаясь спасти родича, попавшего в лапы судей, он приходил в этот дом и зажигал здесь свечу. Приходили сюда и паломники из дальних городов, и потому стены этого дома, превратившегося в своего рода святилище, были полностью закопчены.

— Очень рады встрече с тобой, Страуд, — сказал судья. — Как бы там ни было, а все-таки мы старые знакомые, а это всегда приятно. Представь, что ты нам нравишься. Наша борьба с тобою порождает любовь, потому что мы связаны друг с другом. Если бы тебя не было, не было бы и нас. Но если бы нас не было, тебя бы и вовсе не было. Итак, мы снова приговариваем тебя к смертной казни. Потому что ты восстал против Алькатраза.

Адвокат снова запротестовал, на этот раз довод его был такой: по законам Алькатраза нельзя за одно и то же преступление судить дважды. Это поставило судью в тупик, суд отложили. А на следующем заседании адвокат снова напомнил об этом пункте закона. И так продолжалось бесконечно. Суд не мог вынести приговор, создавался заколдованный круг. Судебный этот эпизод грозил ослабить Алькатраз на весь мир. Стали подумывать о том, чтобы обратиться к патриотическим чувствам обвиняемого и уговорить его совершить еще одно убийство, чтобы он снова как бы впервые мог предстать перед судом... Выходом из этого заколдованного круга мог явиться компромисс, некое снисхождение со стороны властей, то есть если бы король заменил смертный приговор пожизненным заключением. Но для этого мать обвиняемого должна была предъявить письменное прошение на имя короля, который как бы ничего обо всем этом не знал.

— Что такое комплекс неполноценности? — нервно спросил Страуд. Эти слова день и ночь беспокоили его, никогда в жизни он не чувствовал себя таким униженным. — Я хочу знать... Я должен знать... — И он опустил на колени. — Умоляю вас, скажите...

Последнее заседание суда состоялось в годы первой мировой войны. Страуд о войне узнал только на суде и, к об-

щему удивлению, попросил разрешения дать свою кровь для раненых.

— Ни в коем случае! Этого нельзя допустить, — возразил первый присяжный (его двадцатилетний сын до сих пор мочился по ночам в постели). — Дело не в том, что он изможден, а просто надо учитывать суть его крови. Он хочет заразить наших солдат. Он хочет, чтобы Алькатраз потерпел поражение.

— Отказать, — изрек судья, — и приговорить к пожизненному заключению. По приказу короля. Боб Страуд, хотя мы множество раз пытались накинуть петлю на твою шею, но благодаря милости короля тебе дарована жизнь.

От радости Страуд опустил на колени и что-то прошептал, совсем тихо. Впоследствии многие толковали это так: это не были слова молитвы, просто обвиняемый инстинктивно произнес две строчки из детского стишка, запавшего ему в память.

— Король также приказал, чтобы ты высказал свое последнее желание.

Сие великодушие со стороны короля некоторые объяснили тем, что правитель попросту хотел смягчить постыдное впечатление от процесса.

Страуд напрягся всем телом, чтобы суметь выдержать эту двойную радость. Ему и жизнь даруют, и последнее желание вдобавок спрашивают. Мозг его лихорадочно заработал. Может быть, попросить, чтобы разрешили выйти на улицу, а там выпить кружку пива и вернуться? Или, может быть, попросить, чтобы кто-нибудь из этих людей подарил ему свой галстук с большой позолоченной булавкой? Или, может быть, попросить, чтобы в этом городе закрыли производство женских чулок и трикотажа? Или — ну да, это самое достойное — чтобы разрешили пройти пешком в тюрьму. Самому, без стражи.

— Книги хочу читать, — сказал вдруг Страуд.

Он вспомнил преследовавшие его два таинственных слова, этот самый «комплекс неполноценности», будь он неладен. Сейчас он им всем отомстит, узнает смысл этих слов. И вообще выучит множество слов. Пригоршнями будет их хватать. Если кто-нибудь попробует в тюрьме его унижить, он швырнет ему в лицо какое-нибудь ужасно сложное мудреное слово...

— Книги? — с презрением переспросил судья и не поверил своим ушам.

— Опомнись, парень, попроси что-нибудь приличное, — пожалел его второй присяжный.

— Как бы я сейчас хотел быть на твоём месте, — искренне признался первый присяжный.

— Разрешите читать в тюрьме книги.

— Как бы король не услышал, — всерьёз забеспокоился судья.

— Но это вызов! — оскорбленный до глубины души, возмутился первый присяжный. — Он бросает нам перчатку.

— Да ведь я говорил вам, — простодушно перебил его Страуд. — Я кончил всего три класса. Всего-навсего.

— Ты до конца жизни приговорен к одинокому существованию! — потеряв себя, вопил судья, а Страуд, счастливый, кивал головой. — Света солнечного не будешь видеть, на прогулки не будешь выходить, лица человеческого не увидишь, ты вынужден будешь сносить насмешки и издевки тюремщиков. — Страуд, счастливый, кивал головой. — Ты сгниешь в тюрьме, тебя будут называть только по номеру. — Страуд, счастливый, кивал головой. — И так до самой смерти, то есть до того самого дня, когда все наши предыдущие приговоры наконец будут приведены в исполнение! Ты от меня и двух моих присяжных не уйдешь. От нас никто не уйдет.

Страуд, счастливый, кивал головой.

Фактография

Когда в 1909 году 23 октября металлические ворота тюрьмы захлопнулись за Страудом, президентом Соединенных Штатов был все еще Теодор Рузвельт, Вильгельм Гогенцоллерн был еще в поре своего всесия и процветания, и до сараевского выстрела оставалось ровно пять лет и годом больше до первого османо-турецкого геноцида армян в 1915 году.

Этот человек в последний раз целовался до гибели «Титаника», когда на русском престоле еще сидел царь. Он никогда не видел аэроплана, никогда не садился за руль автомобиля, и улицы, по которым он проходил, еще не знали светофоров. Никогда в жизни он не видел телевизора.

Тюрьма попросту поглотила его. Сколько лет провел он в одиночной камере? Больше, чем кто-либо во всей истории двадцатого века.

Он жил долго, очень долго.

Глава третья

Все тюрьмы и камеры на свете удивительно похожи друг на друга, однако узники не знают об этом или просто не задумываются... Вот почему одиночная камера Страуда была для него особенной. Цементный пол, толстые оштукатуренные стены, в глубине, почти у самого потолка, слабый свет, символизирующий крошечное, забранное железной решеткой окно. Дверь из толстых железных прутьев защищена металлической сетью. А за нею вторая гигантская деревянная дверь, закрывающая доступ воздуху и свету. В камере были также стул, стол, умывальник и узкая кровать. Вот уже несколько лет Страуд жил здесь. Он разузнал, что в тюрьме есть библиотека, и читал запоем день и ночь. Его стол был завален книгами и хлебными крошками. В день по нескольку раз он придвигал кровать к стене, поднимался на железную перекладину спинки кровати и приближал лицо к окну. Из окна виднелся только кусочек неба, то есть то же самое, что виднелось из самой камеры. Он вынимал из кармана катышки, сделанные из хлебных крошек, и по одному бросал их из окна. Но делал это не просто так, не машинально. Бросая каждый из катышков, он мучительно сосредоточивался, словно хотел что-то сказать. Если бы у него спросили, о чем он думает в это время, он не смог бы ответить, потому что слова тут не играли никакой роли. А однажды, когда на сердце было особенно тяжело, когда потолок камеры показался слишком высоким, а может быть, наоборот, слишком низким, он выбросил из окна одну из своих книг. Спокойно поднялся на спинку своей кровати и спокойно выбросил. Через несколько месяцев у него возникло желание спросить у библиотекаря эту книгу. Как же велико было его удивление, когда библиотекарь протянул ему тот же самый томик. Он был уверен, что его обманули самым бесчестным образом, провели подло, низко, взяли и надругались над ним. А еще один раз, когда овладевшая им ужасная безнадежность в одно мгновение со всей ясностью обрисовала ему его положение, он огромным усилием воли собрался, сделался очень уравновешенным, придвинул кровать к противоположной стене, поднялся на железную спинку и бесстрастно выбросил в окно полосатую куртку узника. То есть причинил себе как узнику настоящий урон. Потом, водворив кровать на прежнее место, улегся и продолжал читать.

У него были определенные часы, когда его навещали гости, воображаемые, разумеется. В эти часы он бывал хлопот-

лив и деятелен. Он заранее приводил в порядок стол, раскладывал книги, подбирал все хлебные крошки. И даже карманы вытряхивал, освобождая их от хлебных катышков.

Железная и деревянная двери со скрипом распахнулись, и в домашнем халате и нарядных шлепанцах вошла его мать, с подносом в руках, на подносе груды грязных тарелок.

— Не помешала, Боб? — Она подошла к умывальнику и начала мыть тарелки. — Такая досада, в доме теснотища, до сих пор нет отдельной кухни...

— В эти часы я жду не дождусь тебя, ма... Ты всегда первая приходишь.

— Кофе хочешь?

— Свари сладкий. Очень сладкий. Так, чтоб даже затошнило.

— Я тебе конфет принесла, — заговорщицки объявила мать, но ничего не дала.

— Мама, скажи, кого ты любишь больше всех на свете? — неожиданно спросил Страуд.

— Тебя.

— Скажи правду, — голос был сухой и требовательный. — Меня или брата? Или отца?

— Но их давно уже нет на свете, Боб.

— Вот и получается, что ты их больше должна любить, — грубовато сказал он.

— Наоборот, Боб, я даже забыла их... — И мать испуганно перекрестилась. — Ведь сколько лет прошло...

— Обманываешь, ма...

— Боб, кроме тебя, у меня никого нет на свете, ты же знаешь...

— Не верю, ма! — с отчаянием крикнул Страуд. — Не клянись понапрасну. Если на самом деле любишь меня, почему до сих пор не распродала все, не знаешь разве, что освободить меня могут только за деньги. Насколько я помню, в мое время так было...

— Боб, что ты говоришь... грех на душу берешь... Я и так все продала...

— Неправда... — Страуд был комком нервов, он сознательно приближал свое падение и испытывал болезненное удовольствие, мучая мать. — Посмотри на себя, разве у тебя вид человека, все распродавшего? Бедный человек наденет разве такой халат, такие шлепанцы? Посмотри, какие они у тебя новые. Почему они должны быть такими новыми?

– Боб, подумай, что ты говоришь.

– А если ты в самом деле любишь, почему ты жива до сих пор?.. – Взгляд был жестокий, непрощающий. И особенно бесила его мысль, что мать простит ему и эту пытку. – Другие матери давно бы умерли от горя... покончили бы с собой...

– Я бы не уважала себя, если б хоть на миг позволила себе подумать такое. Я обязана быть сейчас сильнее самой себя.

– Ма, значит, ты в самом деле любишь меня? – Страуд разом сжался, сник и захотел вытереть нос непременно платком матери.

– Глупый мальчик, подойди ко мне, – полушутя-полу-серьезно мать дернула сына за ухо. – Встань на колени и про-си прощения.

– Дерни крепче, ма... До чего хорошо... как много лет назад... ты меня накажешь... а кофе не дашь, конфет тоже...

Мать обняла, прижала к себе коленопреклоненного сына и стала гладить его по голове.

– Будь крепче, Боб. И не позволяй, чтобы тебя ставили на колени. Ни в коем случае не позволяй. Раньше ты не был таким. Неужели одиночество и четыре стены должны изменить тебя?

– Скажи, ты любишь меня, ма?.. – не отставал Страуд. – И всегда будешь любить?.. Больше всех на свете?.. И ты будешь страдать из-за меня?.. Ведь твоя любовь един-ственная моя связь с жизнью...

– Будь спокоен, Боб, я не оставлю тебя, я буду прихо-дить каждый день. В твоём воображении я всегда буду являться первой...

Страуд, уткнувшись лицом в юбку матери, замер. Сейчас, в эту минуту, он был уверен, что, будь мать всегда рядом с ним, он бы никогда не захотел жениться на Гее.

– До свиданья, Боб. Смотри, кофе остынет. На конфеты не набрасывайся.

Но мать не ушла, отодвинулась в угол и молча встала там, как статуя.

– Надзиратель! – заорал Страуд.

Железная дверь отворилась, вошел надзиратель. Его ком-ната находилась как раз на том этаже, где были камеры-оди-ночки приговоренных к пожизненному заключению. Внима-тельнее всех в тюрьме были к приговоренным к смерти,

после – к пожизненно заключенным. Остальных для тюремного начальства не существовало.

– Нашел! – с восторженным криком встретил его Страуд. – Я знал, что я на верном пути, честное слово, знал!

– В чем дело? Если опять из-за каких-то глупостей вызвал, пойдешь в карцер, сам знаешь. По тюремным правилам, пункт восемьдесят шестой.

– Берется коробка... вот такой вот величины... – глаза Страуда лихорадочно блестели. – Внутри густая электрическая сеть... есть провода-воспоминания, провода-ответы... – Он задыхался, потому что уже переживал близкую победу, единственный выход из этого жуткого положения. – Можно задать любой вопрос... и, представляешь... нет, ты не можешь представить этого... Нажимаешь кнопку и слышишь ответ. Вот тут схема, посмотри. Ну что, понял? Мы будем ограждены от ошибок... и будем жить как надо. Кто из нас не мечтал об этом...

– Смысл? – бесстрастно сказал надзиратель.

– Но я уже объяснил. Взгляни на схему.

– Кому нужна эта твоя коробка? Кому нужно знать правду? Например, я захочу разве услышать, что я жесток и невежествен?

– Не захочешь, – испуганно подтвердил Страуд.

– А король, к примеру, захочет он?..

– Не захочет.

– Но ты же не знаешь, о чем я спрашиваю.

– Все равно.

– У твоего открытия есть большой минус. Ты придумал его только для себя. Я знаю, ты хочешь нажать кнопку и услышать, что ты невиновен. Ведь так оно и есть на самом деле, ты невиновен. – У дверей он повернулся и добавил: – Не вызывай из-за пустяков, я ведь говорил. В карцер. На неделю.

– Надзиратель... Значит, я все еще несвободен?..

Надзиратель отрицательно покачал головой:

– Твое открытие бессмысленно.

И вышел из камеры. Страуд стоял окаменев. А как же бессонные ночи и сотни проштудированных книг? А схема, эта безупречная схема? Этот чудесный всплеск мысли? Значит, он по-прежнему должен есть водянистую тюремную похлебку и по-прежнему ему не будет казаться, что он ест самые вкусные яства мира.

И он снова обратился к помощи своего воображения. На этот раз через металлическую дверь прошла Гея. Она была в пальто. Гея очень давно не посещала Страуда.

— Ты меня не любишь, — с ненавистью сказал Страуд. — Если бы любила, не пришла бы в пальто. Надела бы и ты халатик и шлепанцы...

— Боб, не мучай меня... я не могу тебя забыть.

— А замуж выйти за другого смогла... Тебе и в голову не пришло ждать меня.

— Но как же, Боб? Ведь ты... никогда не вернешься...

— Кто это сказал? — Страуд ужаснулся, словно только что узнал об этом. — Отвечай скорее... кто сказал... убью, если не скажешь.

— Разве ты сам этого не знаешь, Боб?

— Если помнишь меня, если в самом деле мучаешься, почему же ты осталась такой молодой? — еще больше ожесточился Страуд. — Посмотри, как изменился я.

— Но ведь ты меня помнишь только такой, Боб, после ведь ты меня не видел... ты запомнил меня такой. Я не виновата...

— Но хоть угрызения совести, хоть это ты чувствуешь? — наступал Страуд, он был уверен, что в конце концов поймает ее на чем-то. — Когда этот другой обнимает тебя в постели и ласкает... и шепчет на ухо, ты видишь прямую черту, соединяющую две стены?

— Нет, Боб, нет никакой черты.

— За этой чертой всегда стою я. Ты не видишь меня?

— Нет, Боб, нет...

— Не говори так, Гея. Я сойду с ума. Ты должна видеть меня. Должна мною жить. До последнего дня своей жизни должна быть верна мне. Ложись с кем хочешь, но будь мне верна.

— Боб, но ведь я не твоя мать. Завтра она снова придет к тебе. А я уже начинаю забывать твое лицо. Что поделаешь. Это ведь не от меня зависит. Я даже переехала в другой город. Чтобы похоронить прошлое.

— Не будь жестокой, Гея. Я сойду с ума...

— Нет, Боб. Дай мне быть жестокой. Посмотри на меня и не обманывай себя. Смотри, смотри, не бойся. Ведь ты не любишь меня. Больше не любишь. Я ведь не обижаюсь на это. Не давай себя сломить, Боб. Не допускай, чтобы тебя раздавили.

— А иногда, ну хоть изредка будешь вспоминать меня? — совсем по-ребячески спросил Страуд и подумал, что, если бы успел жениться на Гее, сейчас бы он так остро не чувствовал необходимость присутствия матери.

— Иногда? Ну конечно, иногда буду вспоминать. Про-

щай, Боб. Будь сильным и постарайся забыть себя. Это твой единственный выход.

Но Гея не ушла. Она подошла к матери и молча стала рядом.

– Надзиратель! – восторженно завопил Страуд.

– Ну что, снова в карцер захотел?

– Нашел! – счастливый и воодушевленный, сообщил Страуд. – Все равно нашел. Представь большое толстое зеркало... ставишь его против любого дома... направляешь особые лучи. Ты слышишь? Я все рассчитал... – и победно заключил: – Все, что творится в здании, – как на ладони...

– Смысл?..

– Опять тебе смысл? – подавленно спросил Страуд. – Опять нет смысла? Надзиратель?

– Типичное открытие узника. Это тоже ты только для себя придумал. Чтобы не умереть от тоски в четырех стенах. Ерунда. В карцер. На две недели.

– Надзиратель... значит, я по-прежнему несвободен?

Надзиратель покачал головой:

– То, что ты придумал, лишено смысла.

И вышел. А Страуд вытащил из кармана кусочек зеркала и стал бесцельно пускать зайчиков по стене. Потом выбросил осколочек в окно.

А вот этот гость был неожиданным. Он и в жизнь Страуда вошел неожиданно. Вошел и растоптал все. Страуд напрягся, точно зная, что ему грозит опасность. В дверях стоял Мужчина.

– Я не ждал тебя, – холодно сказал Страуд.

– Что подделаешь. Такова твоя судьба. Если бы тогда ты не был так молод, у тебя было бы больше знакомых и сейчас тебе бы не было так одиноко. Я не виноват, что круг твой так ограничен.

– Почему ты пришел? Ты мне не нужен. Ты не можешь меня любить.

– Я пришел помочь тебе. Я всегда буду приходить и садиться против тебя. Увидев меня, ты почувствуешь ненависть, и ненависть придаст тебе силы. Ты освободишься от потребности быть любимым. И от своего себялюбия.

— Тебе-то что за польза от этого? Ты ведь тоже ненавидишь меня. Я не понимаю, не вижу твоей выгоды тут.

— Ну да, лучше бы я тогда убил тебя. Но ты оказался находчивей... Ты жив, и поэтому ты в долгу передо мной. Если даже я самый последний подлец на этом свете, все равно ты мой должник. Ты раскаялся? Раскаялся. Твое раскаяние прямым или косвенным образом как-то ведь связано со мной, что, не так разве?

— Что тебе надо? Давай короче. Я занят.

— Занят? — усмехнулся Мужчина. — Среди четырех-то стен? Когда не знаешь даже, который час. Ты должен вернуть мне долг. Так, пустяки. Совсем гроши. Ты должен любить меня.

— Я? — опешил Страуд. — Любить тебя?

— Меня никто не любил. Только ненавидели и боялись. У меня не было друзей. И сейчас, как это ни парадоксально, я только с тобой связан. Кроме тебя, у меня нет никого.

— Но ведь это мне нужна любовь! — убежденно воскликнул Страуд. — Это я у всех прошу ее, молю прямо.

— А сейчас люби сам, — потребовал Мужчина.

— Я ненавижу. Ненавижу всех вас без исключения!

— Но что есть твои открытия? Любовь. Ты своими открытиями ничего не выиграл. Потому что они гениальны и бессмысленны. Ладно, не огорчайся, все равно ты выгадал. Ты выгадал любовь.

Страуд долго молчал, про себя он даже восхитился сообразительностью этого типа, потом подавленно заметил:

— Может, ты и прав. Конечно, прав. Но неужели именно ты должен был сказать мне эту истину?

— Теперь ты видишь, мы нужны друг другу. — Он сделал вид, что не замечает, что Страуд оскорбил его. — Будь здоров, пока.

— Минутку... Значит, мне не верить надзирателю?..

— Что твои открытия только тебе служат, ты об этом? — Мужчина презрительно махнул рукой. — Да ведь он жестокий и невежественный человек, что он знает?!

Но и этот тоже не ушел, приблизился к матери и Гее, неподвижно стал рядом.

– Надзиратель!..

– Три недели карцера!

– Нет, на этот раз ты ошибся, – воодушевленно сказал Страуд. – Слушай меня внимательно. Это я написал, – похвалился он. – Уж этого ты у меня отнять не сможешь!

Победа была почти что налицо. Ее близость была уже бесспорна. Еще немножко, еще капельку, и он освободится от своих видений. Бог свидетель, он все выбросит из окна. Даже последнюю рубашку. Лишь бы свести счеты, снять с себя бремя и начать все сначала, с ничего. Ведь это очень важно. Очень. Вернуть себе безмятежность, стать таким, каким он был, когда с чемоданом в руках впервые ступил в этот город.

И он начал декламировать:

Кто встретится мне, кто поздоровается,
Чье приветливое слово услышу?
Чье радостное лицо озарится
Дружеским теплом высоким?
Кто поцелует, кто зарыдает,
Кто засветится неподдельным восторгом,
Может быть, на свете где-нибудь есть такой,
Что живет в моей безрадостной жизни?
Может, в моем сердце, в песнях моих мрачных,
В словах, сказанных о моей душе,
Я – мечта обманчивая кого-то далекого,
Брошенная в необманчивую мечту мира?
Может быть, живя в его мечте,
Я пою о его тревогах глубоких,
И кажется мне в тумане мира –
Я себя пою, свою жизнь одинокую?
Здравствуй, неизвестный, незнакомый друг,
Мир тебе, далекий брат,
Здравствуйте, завтрашние, нерожденные жизни!
Я по-братски и дружески
Приветствую вас с печальной улыбкой,
Мудрой улыбкой рассеявшегося тумана,
ушедшей тьмы!..

– Есть такие стихи, – бесстрастно сказал надзиратель. – Давно написаны.

– То есть как это? – побледнел Страуд. – Но ведь это плод бессонных ночей... Это во мне родилось, мое это... никому не отдам...

– Говорю тебе, уже написаны. И автора могу назвать. Чаренц. Армянин по национальности.

– Армянин?.. Что еще за армяне... никогда не слышал... А ведь я кончил всего три класса... значит, я и он одно и то же почувствовали... не зная друг друга... – Он неожиданно

улыбнулся, впервые каким-то полнокровным почувствовал себя, и неудача показалась ему мелкой и незначительной. — Я не огорчен, надзиратель... Напротив... я давно не чувствовал себя таким счастливым...

Надзиратель направился к двери, крайне недовольный тем, что на этот раз ему не удалось разочаровать этого нагло-го самозванца-открывателя. Все равно, мстительно подумал он, силы его должны быть на исходе, он не посмеет больше идти против логики тюрьмы. Надзиратель немало бунтов перевидел на своем веку, и, хотя этот бунт по своей форме был вопиющим, он не сомневался, что долго это продолжаться не может.

— Надзиратель, а надзиратель...

— Ну что там еще?

— Одну минуточку, умоляю...

Страуд полез под кровать, на четвереньках вылез обратно, держа что-то в ладонях. Надзиратель снисходительно улыбнулся, потому что Страуд держал в руках всего-навсего обыкновенного воробья. Но улыбка вскоре исчезла с его лица. Одиночная камера наполнилась птичьим гомоном.

— Эту маленькую пташку... гляди хорошенько... — с гордостью сказал Страуд, — вылечил я. Она, умирающая, упала ко мне в окно... я ночи не спал, выхаживал ее как ребенка, все лекарства, которые ты приносил для меня, помнишь... те травы, которые я просил, помнишь... Я ее вылечил. Ты бессилен отнять у меня это... Я держу ее в руках, и это реальность... я и она... никто другой не мог ее вылечить. Я тебя посылаю в карцер, надзиратель. На этот раз я тебя посылаю.

Страуд понял, почему судьба улыбнулась ему. Дело в том, что годы подряд он сам все выбрасывал в окно, и вот наконец из того же окна что-то упало к нему. Как воздаяние, как талисман. Он и этот талисман отныне стали неразлучны. Тем более что талисман оказался живым существом.

Надзиратель был в самом деле невежественным человеком, но был таковым вне тюрьмы. В стенах же тюрьмы это был совершенно другой человек. Здесь он все понимал. Обязан был понимать. Сейчас он ошеломленно смотрел на Страуда. Деревянная и металлическая двери одиночной камеры распахнулись, стены исчезли, и камера заполнилась узниками, чьи восхищенные взгляды были направлены на сомкнутые ладони Страуда.

— Запомните, ничтожные, — торжественно провозгласил надзиратель, — он станет ученым. Этот неграмотный несчастный человек. Смотрите, какие чудеса может делать

тюрьма. Будьте счастливы, что вы носите эту одежду. Благословляйте тюрьму. Молитесь за меня!

Узники молча смотрели на надзирателя. Надзиратель испуганно отпрянул. Что-то смекнул. Не мог не смекнуть, на то он и был надзиратель.

— Разойдись! Немедленно разойдись! — внезапно заорал он. — Каждому по месяцу карцера. За то, что были свидетелями. А твою птицу я сам собственными руками задушю. Не допущу, чтобы ты меня погубил. Ишь, чего захотел! И чтобы каждый щенок, каждая шваль недостойная могла меня упрекнуть, что я не смог ограничить человеческие возможности, не смог надеть на узника колодки, что я позволил, чтоб у меня под самым носом родился сопливый гений! И не думай, все равно я не обнажу головы перед тобой... пусть хоть весь мир преклонится перед тобой, ты все равно будешь склоняться передо мной... — И он испуганно и трезво завершил: — Да здравствует Алькатраз, виват король!

Узники бесшумно разошлись, вновь возникли стены камеры и двери, надзиратель вышел вон. Птичий гомон стих. Страуд, счастливый, утомленный, лег в постель. Мать, Гея и Мужчина осторожно, на цыпочках, приблизились к нему, укрыли его простыней, сами уселись возле кровати, съежились, стали стеречь его сон.

Глава четвертая

Первое время после коронации король работал день и ночь — вносил изменения во все законы, учрежденные его предшественником, то есть его отцом. Но когда он заменил портреты отца своими, к его великому сожалению оказалось, что они, отец и сын, весьма похожи...

У него не было наследника, и это обстоятельство навело его на весьма своеобразный ход. Он панически боялся новейших идей и вообще всяких идей, и для того, чтобы уберечь себя от возможных бунтов, обеспечить спокойную жизнь до глубокой старости, он издал манифест, в котором говорилось, что после его смерти королевство автоматически станет республикой. Этот манифест дал гораздо больше результатов, нежели он предполагал. Король приобрел необычную популярность. Его почитали как основоположника будущей республики и сентиментально любили как последнего короля. Все это привело к тому, что он перестал править страной, уверенный в том, что инерция и министры сделают свое дело. Он увлекся философией и искусствами, потому что полагал, что из всех занятий это наиболее легкое и наиболее доступ-

ное. Так бы и жил он спокойно и беспечно до конца жизни, если бы не одно обстоятельство. Обстоятельство это нарушало его покой, преследовало на каждом шагу и относилось к разряду тех вопросов, которыми мог заниматься только он. И только он один и понял всю глубину вопроса и почувствовал всю таящуюся в нем опасность.

— Это не обычный узник, ваше величество, — докладывал первый министр. — Он, можно сказать, без двух минут ученый. Лечит птиц в тюрьме.

— Ученый? В тюрьме? Среди четырех стен?

— Да, ваше величество, отрезанный от всего мира.

— Значит, этот несчастный творит? — озабоченно спросил король. — А до тюрьмы у него не было подобных наклонностей?

— Он кончил всего три класса. Тем не менее он станет выдающимся ученым, ваше величество. Надзиратель прислал мне донос. Его прогнозы всегда безошибочны.

— Значит, что же получается? — нахмурился король. — Получается, что он... свободен.

— Разрешите не согласиться, ваше величество. Он узник.

— Глупец! — Король впал в еще большее беспокойство. — Он сам обрел свою свободу. Сам. Независимо от ваших законов и приговоров.

Случайность это была или опять несчастливая звезда Страуда, но король и узник были ровесниками. И даже больше: король вступил на престол именно в тот год, когда Страуд был арестован. Два этих совпадения, безусловно, сыграли определенную роль в дальнейшем их поединке.

— Да ведь он пожизненно заключенный, ваше величество, — успокоил короля первый министр и не удержался, обиженно буркнул: — Уж хоть бы образованным человеком был, а то три класса...

— Уничтожить! Немедленно уничтожить! — Это было первое, что пришло в голову королю. — Так, чтобы и следа не осталось.

— Это невозможно, ваше величество. Вы лично даровали ему жизнь. Вы подписали прошение матери.

— Если свободен — уничтожить.

— Ваша подпись — закон и святыня.

— Я мог ошибиться.

— Вы не могли ошибиться. Вы не имеете права. Вы король.

— Значит, суд приговорил его к смерти, а я своей рукой даровал ему жизнь, так? Ликвидировать!

— Ваше величество, будет скандал. Такие вещи не остаются в тайне. Как бы тихо мы все ни проделали. Тем более что эти постыдные заседания суда еще не забыты.

— Выходит, он таким свободным и останется? — с ненавистью сказал король. — Ладно, не напоминай мне больше о нем.

Кабинет короля был маленьким, не больше десяти квадратных метров. Письменный стол, кресло, ковровая дорожка. На стене рядышком два флага — королевский и будущей республики. Флажок республики из предосторожности и деликатности пока назывался эскизом и существовал в единственном экземпляре.

— Ну хорошо, поговорим немножечко о делах страны. Что с переворотом? Если не ошибаюсь, неделю назад готовился переворот.

— Провалился, ваше величество.

— Потому что бездарные...

— Но слава всевышнему, ваше величество, что провалился. Неужели вы недовольны?

— Напротив, сейчас я снова самый счастливый король на свете.

— Тогда в чем же дело? — растерялся первый министр.

— Но вы мои министры, черт побери! — рассердился король. — И я не потерплю, чтобы мои министры были настолько бездарны, чтоб не могли организовать какой-то паршивый переворот. Я всегда должен быть уверен в вашей силе. — Потом спросил угрожающе: — Послушай, скажи мне правду, ты ведь тоже был среди них?

— Да, ваше величество, — стал заикаться от страха первый министр. — И сейчас глубоко раскаиваюсь и готов провалиться сквозь землю.

— Напротив, ты выиграл в моих глазах. Наконец-то ты делаешься мужчиной, — подбодрил король своего первого министра и дружески хлопнул его по плечу. — А если бы я узнал, что ты был руководителем восстания, я бы обнял тебя и поздравил. Ну что у тебя еще?

— На севере страны волнения, ваше величество.

— Подавить. За один день. Но так, чтобы повстанцы не почувствовали. Не задевайте их достоинство. Еще? Нет, подожди минуточку... — Он стал грызть ноготь на большом пальце, жест настолько некоролевский, настолько человеческий, что снискал королю большую популярность в народе. — Этот неграмотный узник... этот новоявленный ученый... который развил деятельность в тюрьме... о нем что, уже известно?..

— Да, ваше величество. Надзиратель полагает, что скоро о нем заговорит весь мир, а его прогнозы...

— А тебе не кажется удивительным, что птицы залетают в тюремную камеру? — прервал его король. — Любопытно, не так ли? Весьма любопытно. Что будем делать, первый министр? Как поступим? Этот несчастный не дает мне покоя. — Он стал расхаживать взад и вперед по кабинету. Он расхаживал из угла в угол и размышлял вслух, словно арифметическую задачу решал: — Если в тюрьме творит, значит, свободен. Если свободен, значит, надо уничтожить. Если невозможно уничтожить и весь мир вскоре заговорит о нем... — тут он на минуту замолчал, потому что сделал открытие. — Значит, он наша гордость, первый министр, национальная гордость, и мы вынуждены сами дать ему свободу. Это единственный достойный выход. — Король блестяще решил задачу, воодушевился собственным величием и сделался нетерпеливым. — Найди повод, быстренько, убедительный повод... быстро, тебе говорят!..

— Мать узника здесь и просит вашей аудиенции, ваше величество.

— Мать узника? — растерялся король. — Что ж ты мне раньше не говорил?.. Нельзя ли не принять? Придумай что-нибудь. Скажи, что я ушел, что меня нет...

— Но вы искали повод. Более удобного повода не найти, ваше величество.

— Я не готов к беседе с ней, — всполошился король. — Если бы это был какой-нибудь король или министр, я бы как-нибудь выкрутился. Но я давно не имел дела с простыми людьми. На каком языке она разговаривает, она поймет меня?

— В вашей стране один общий язык, ваше величество.

— Как? — опешил король. — Какой позор! При твоём попустительстве небось! Позор, полный позор. Ну ладно, об этом после поговорим. Скажи, пусть войдет.

Вошла мать Страуда, молча поклонилась и протянула королю прошение. Король никак не мог взять себя в руки и пытался не смотреть на нее. Поэтому он уткнулся в прошение, несколько раз подряд прочел одни и те же строки.

Мать прибыла из глухой провинции. Она села на поезд и, не доезжая километров пятьдесят до столицы, сошла, потому что решила оставшийся путь проделать пешком. Когда ее спрашивали, почему она так поступила, она серьезно отвечала: «Чтобы было время подумать, что королю говорить». В руках ее был маленький чемоданчик, все деньги, какие

у нее были, она раздала нищим. Потом стала побираться сама. Да с такой легкостью, словно это было ее привычным занятием. Обедала она раз в день и ела очень немного. Ночью спала в открытом поле, а утром засветло пускалась в путь. Это была уловка трусливого, несмелого человека. Она нарочно создавала на своем пути трудности и лишения, чтобы внушить самой себе, что миссия ее справедливая. И действительно, чем дальше, тем фанатичней делалась она. В конце концов вся эта бессмыслица родила в ней слепую веру, некую прямолинейную твердолобую непоколебимость. Как бы это ни показалось странным, сын был вроде бы даже и позабыт, как-то отступил на второй план. Она вообще шла воевать. Может быть, даже желая отомстить за неудачу, выпавшую в свое время мужу. Такая вот усталая, фанатичная и злая она дошла до столицы. В столице все это ей понадобилось, чтобы добиться одного: получить право свидания с королем. И когда это право было наконец получено и она предстала перед королем, это была прежняя обездоленная, безответная женщина, которая могла только плакать. И она заплакала.

Король растерянно смотрел на первого министра. Сейчас он был в самом деле очень и очень беспомощен.

— Первый министр, подумай, что можно сделать, — взволнованно сказал король. — Это действительно хороший случай. Я хочу отпустить на свободу сына этой женщины.

— Это невозможно, ваше величество, — ответил первый министр. — Он совершил преступление. Преступление не может быть ненаказуемо. Если не будет лишения свободы, не будет и самой свободы.

— Нашел время изрекать истины. Вызови министра справедливости.

Мать встревоженно переводила взгляд с короля на первого министра и хотела понять, что у этого министра против ее сына. Так и не поняв этого, она спросила себя: почему же король на стороне ее сына? Оба эти обстоятельства показались ей чрезвычайно подозрительными.

Не постучавшись в дверь, вошел министр справедливости.

— Послушай, сын этой женщины совершил убийство, но я хочу отпустить его на свободу. Как быть?

— Никак, ваше величество. Это нарушение закона. А если нарушится закон, наказание, предусмотренное для выпущенного на волю узника, должен буду понести я как министр справедливости.

— Ему двадцать лет только было, — послышался голос матери.

— Но разве это аргумент, мадам? Другого, более убедительного аргумента у вас нет?

Мать покачала головой, ей показалось, она все сказала этой одной фразой.

— Как же быть все-таки? — искренне и озабоченно повторил король. — Кто учредил этот закон?

— Вы, ваше величество.

— Опять я? Вызвать министра трудных случаев.

Явился, словно из-под земли вырос, министр трудных случаев.

— Сын этой женщины совершил убийство, но я хочу отпустить его на свободу. Как быть? Нельзя ли изменить закон?

— Это невозможно, ваше величество. Закон может быть изменен в одном случае. Извините за дерзость... Если сменился король.

— Я? Опять я? Вы что, сговорились все?

— Это мой единственный сын, — вновь послышался несмелый голос матери.

— Но разве это аргумент, мадам? Более убедительного аргумента у вас нет?

Мать покачала головой, так как была уверена, что уж на этот-то раз она все сказала.

— Как же быть, как же быть? — взволновался король. — Не понимаю, получается так, что я, король этой страны, не имею права делать то, что хочу? Допустим даже, что я не прав... Надо же, раз в жизни захотел сделать доброе дело и вот... — И он рассерженно закричал на первого министра: — А если б захотел сделать что-нибудь плохое, небось получилось бы?! Сколько зла, подумать, совершили мы с тобой! Помнишь, как мы отравили моего кузена? А моего кума?! Ты убил его! Не бледней, не бледней, по моему приказу и убил. Король свою вину на другого не перенесет. — И он еще громче заорал: — В бассейне, самым гнусным образом! Ты ведь не можешь сказать, что забыл это! Похороны, правда, были пышные. И кто нам тогда помешал? Кто схватил нас за руку, кто сказал: «Что вы делаете?» Вызвать министра особо тонких дел!

Явился министр особо тонких дел. Мать, несмотря на терзавшую ее боль, с любопытством наблюдала этот парад министров. Чудовищное признание короля не настроило ее против него. Напротив, король понравился ей еще больше.

— Сын этой женщины... словом, ты понял меня. Что можно сделать? Так, чтобы не причинять вреда министру справедливости, ну и, разумеется, чтоб ваш король остался на своем месте.

— Есть только один выход, ваше величество, — ответил министр особо тонких дел. — Поскольку наша страна разделена на пятьдесят штатов, удобнее было бы изменить закон только в одном штате, то есть в том самом, в котором проживает мой король и вышеупомянутый узник.

— Ну вот! — обрадовался король. — Слава богу, наконец-то нашелся человек, который готов пойти мне навстречу. Весьма тебе благодарен.

— Это мой долг, ваше величество, вы платите мне за это жалованье.

— Сам же и займешься этим вопросом.

Мать в этой ситуации больше даже за короля обрадовалась, чем за сына. Сейчас она была ярой его поклонницей. Такой молодой, такой красивый и настолько король! Она мысленно сравнила с ним сына, сравнение оказалось не в пользу сына. «Что же это ты?» — пожурила она его про себя.

— Ваше величество, к сожалению, мне тут нечего делать, — сказал министр особо тонких дел. — Дело в том, что мое предложение, которое вы так высоко оценили, невозможно провести в жизнь.

— То есть как это?.. — удивился король.

— Для этого вы должны упомянутый штат уступить какой-нибудь другой стране. Закон в штате может измениться только в том случае, если какое-нибудь другое государство захватит этот штат. Правда, потом мы можем отвоевать его обратно.

— Уступить штат! — покраснел от возмущения король. — Что это еще за шуточки!

— Шуточки? Но ведь вы всегда подчеркивали мое преимущество как министра, указывая на то, что я начисто лишен чувства юмора. Что же касается моего нового предложения, его тоже невозможно осуществить, так как наши соседи... наши соседи все без исключения слабые страны. Мы ведь не можем уступить штат слабой стране. Это подорвет наш авторитет. Следовательно, нам надо выбрать какую-нибудь из этих стран и укрепить ее, сделать мощной. А это нам влетит в копеечку, ваше величество.

— И в таком случае получится, что мы уступаем штат сильному государству? — опасливо поинтересовался первый министр.

— Но это тоже подорвет наш авторитет. Мы будем вынуждены тут же пойти войной на эту страну, что также влетит нам в копеечку.

— Это и есть переворот! — в бессильной ярости заметался король. — Вы все против вашего короля. Я и не знал, что вы давно уже свели счеты со мной. Вы что, с ума все походили? — Он вдруг замолчал и своим династическим чутьем почувствовал, что настала решающая минута. Если он даст им сейчас послабление, они запомнят это и когда-нибудь отомстят. И как это ни парадоксально, отомстят именно за то, что он не смог высоко держать свою королевскую честь. И он деловито спросил: — Сколько человек решено было отпустить в последнюю амнистию?

— Восемьдесят одного, ваше величество. — Глаза у первого министра заблестели, потому что он уловил какую-то перемену в голосе короля.

— Пожизненное заключение всем! — почувствовав наконец себя в своей стихии как настоящий король, приказал он. — Скольких человек решили освободить от виселицы и приговорить к пожизненному заключению?

— Восемнадцать, ваше величество, — ответил первый министр, любясь своим королем.

— Вздернуть всех!

— Слушаюсь, ваше величество, — сказал первый министр, гордясь тем, что король снова страшен.

Мать тоже мысленно подбадривала короля. Он был прав, во всем прав, прав и тогда, когда считал, что этим арестантам не следует даровать помилование. Так, значит, им и надо. И хотя сама она была здесь с подобным вопросом, но почему-то никак не связывала свое дело с происходящим. Она тоже гордилась этим молодым и решительным королем.

Без вызова, один за другим вошли удалившиеся было министр справедливости, министр трудных случаев и министр особо тонких дел. Вошли и вытянулись в струнку.

— Слушаюсь, ваше величество, — трезво и испуганно сказал министр справедливости, испытывая величайшее удовольствие от собственного страха.

— Слушаюсь, ваше величество, — трезво и подавленно сказал министр трудных случаев и подумал, что всегда, во всех ситуациях он грудью встанет на защиту своего короля.

— Слушаюсь, ваше величество, — трезво и трепеща от страха, сказал министр особо тонких дел и пожалел, что весь министерский кабинет не наблюдает их унижения.

— Вы свободны, — пренебрежительно сказал король министрам.

— Это я во всем виновата... — вдруг послышался голос матери. — Если б я смогла вовремя оградить сына...

— Ну что это за аргумент, мадам? — удивились министры. — Более серьезного аргумента у вас нет?

Мать отрицательно покачала головой и подумала, что они правы, правы с самого начала... И зачем только она прошла пятьдесят километров пешком.

— Разрешите хоть повидать сына, ваше величество, — сказала она, когда осталась наедине с королем.

— В другой раз не говорите, что это вы виноваты, — мягко, как вначале, улыбнулся король. — Если будете настаивать на этом, вас тоже арестуют. И не говорите, что это я вас предупредил...

— Могу я видеть своего сына?..

— Сейчас что-нибудь придумаем, — шепотом сказал король. — Только чтоб никто не узнал. Обещайте, что это останется нашей с вами тайной.

Он приподнял ковер, под ним на дощатом полу был квадратный люк. Король открыл деревянный люк, и внизу показалась одна из камер-одиночек Алькатразской тюрьмы. Король лег на пол и стал смотреть в щелку.

— Как его звать? — спросил он мать.

— Боб.

— Боб, а Боб... — шепотом позвал король. Послышался скрип кровати, и под люком возник человек. — А ну принеси лестницу... — тихо сказал король, — вон она, в углу.

Страуд принес лестницу, прислонил к люку. Король пальцем подозвал мать. Мать с осторожностью спустилась по лестнице и очутилась у сына на руках.

— Боб... как же ты похудел... мальчик мой... и небритый... — Два обстоятельства, которые мать не могла не заметить с первого же взгляда. И дальше вопрос, который ее тревожил и который надо было первым делом выяснить: — Тебя тут не бьют, Боб?..

— Нет, ма, что ты говоришь! — засмеялся Боб.

— А голодом не морят?..

— Да нет же, ма, почему должны морить голодом?

— Будь всегда послушным, слушайся их, Боб... если будешь так себя вести, может, пожалеют, отпустят... слышишь, сынок...

Она враждебно, осуждающе оглядела стены, увешанные клетками, в которых щебетали различные птицы. Житейский опыт и любовь подсказали ей, что именно это и есть знак не-

покорности сына. Еще что выдумал, подумала она, какие-то дурацкие птицы, зачем ему все это...

— Не беспокойся, ма... Расскажи лучше о себе... — Страуд все еще не мог прийти в себя. — Как ты?.. Ноги не болят больше?.. Как соседи поживают? По вечерам опять заходишь к ним? В карты играете по-прежнему? Ты всегда проигрывала, ма... и все равно продолжала играть.

— Боб, это правда, что тебя не бьют?..

— Э, ма... а помнишь, как ты меня лупила?

— Один только раз, Боб...

— Я не хотел идти в школу... Сказал, что палец болит. Ты перевязала на ночь палец, и я, счастливый, заснул. Утром ты спросила меня: «Ну как палец?» Я схватился за палец и застонал, а ты меня хорошенько отколошматила и отправила в школу. Потому что ночью ты сняла повязку с моего пальца и перевязала тот же палец на другой руке.

Мать с сыном засмеялись, им обоим хотелось бы, чтобы у этой истории было побольше деталей.

— А как это случилось, Боб?.. — вдруг сделалась серьезной мать. — Ну, это...

— Не надо, ма. Зачем тебе, какая польза от этого?

— Верно, верно, не надо, — как-то рассеянно сказала мать. — А правда это, до меня дошло, будто из-за какой-то женщины?

— Приблизительно, — уклонился от ответа Страуд.

— Боб, а ты не женишься на ней? — забеспокоилась мать, и в глазах ее показалось что-то недоброе.

— Нет, ма... уже невозможно... Тот человек между нами... если мы женимся, мы возненавидим друг друга...

— Значит, не женишься? Слава богу, — обрадовалась мать. — Ты даже не знаешь, как меня успокоил.словно камень с души упал. — И она серьезно добавила: — Мы подыщем тебе хорошую девушку.

— Мадам, поторапливайтесь, — сказал король, который, лежа на полу, наблюдал за ними в щель. — Ко мне могут прийти. Неудобно. Что подумают?

Свидание показалось матери очень коротким. Она никак не предполагала, что попадет сегодня к сыну, и ничего для него не взяла с собой.

— Да мне ничего и не надо, ма...

— Погоди, погоди... — Она панически стала рыться в карманах, вывернула их, собрала всю мелочь и сунула Страуду в руку. — Обижусь, Боб, так и знай, что обижусь, не отказы-

вайся... — Потом скинула обувь, сняла черные носки, протянула их Страуду. — Молчи, бери и не разговаривай. Наденешь, когда будет холодно. Какое еще стыдно, никто не увидит. — Она сняла с головы платок, протянула сыну, — пригодится, мало ли. Она дала ему свои варежки, носовой платок, маленькое зеркальце, расческу. Больше у нее ничего с собой не было. Страуд не мог противиться и только улыбался.

— Поторопитесь, мадам.

— Ма, кто это там говорит?

— Это наш король, — шепотом сказала мать.

— Какой король? — удивился Страуд.

— Наш... мой и твой.

Страуд, опешив, посмотрел вверх. Король улыбнулся ему в щелочку и помахал рукой.

— Это я, Боб, твой король. Не думай обо мне плохо. Я виноват, знаю. Ты на моей совести... ведь я отец тебе. Я всем отец. Ах, если бы твоя мать сумела вовремя оградить тебя. Если б ты не бродяжничал всю жизнь. Но все эти «если» в конечном счете бьют по мне... Да, да, это все моя вина.

— Нет, ваше величество, — вздернув голову, трезво сказал Страуд, — у нас с вами ничего общего. Вы сами по себе, я сам по себе. Это именно так. Виноват тот Мужчина.

— Тот Мужчина я.

— Вы знали его?

— Нет, конечно же нет. Ну ладно, помоги матери подняться.

Страуд и мать обнялись. Мать со слезами на глазах, босая, держа в руках туфли, поднялась по лестнице. С последней ступеньки, что-то вспомнив, она обернулась:

— Боб, ради бога, перестань возиться с этими птицами... Это может рассердить их... будь скромным, будь послушным...

Люк закрылся.

Страуд, задрав голову, смотрел на знакомый потолок и пытался понять, где же щель от люка.

— Я обо всем позабочусь, — говорил наверху король матери. — Найму самых знаменитых адвокатов, приглашу из-за границы. Сначала все расходы возьмете на себя вы, а когда у вас не останется ни гроша и вы достигнете степени нищеты, я приду вам на помощь. Я знаю, у меня нет права лишать вас акта материнского самопожертвования. С моей стороны это было бы нечутко...

— Ваше величество... но почему так получилось... почему

вы не смогли ничего сделать? — Она зарыдала, в эту минуту ей было жалко и себя, и сына, и умершего мужа, и короля. — Какой же вы после этого король...

— Понимаю, понимаю, — искренне вздохнул король, — но именно в этом наша сила, в демократии. Век тирании прошел. Давно прошел, мадам.

Он взял мать под руку и проводил ее до дверей. Потом вернулся, встал прямо там, где был люк; внизу еще виднелся Страуд. Король прислушался.

— Мама... я боюсь... не оставляй меня одного...

— Кажется, мои расчеты оправдались... — пробормотал король.

И король снова стал решать в уме арифметическую задачу: если этот неграмотный узник творит, значит, он свободен, если свободен, значит, надо уничтожить, если невозможно уничтожить, если так и так. весь мир вскоре должен услышать о нем, значит, он гордость, национальная гордость, значит, надо освободить...

— Расчеты были верные... — Король томно развел руками.

Потом поднял занавес и прошел в другой кабинет, чрезвычайно просторный, ошеломляюще роскошный. На стене красовался один-единственный флажок — символ королевства, и, что самое главное, здесь было полным-полно стульев.

Фактография

Пернатое семейство Страуда росло день ото дня. Человек этот, приговоренный к пожизненному безделью, не имел ни секунды свободного времени. Он выкармливал птенцов, наблюдал за их повадками и даже обучал птиц различным трюкам. Это было поистине чудо: в искусственных условиях, в тюрьме, птицы размножались, давали потомство. За один год число канареек достигло пятидесяти. Страуд попросил передать канареек его матери, с тем чтобы она продала их и выручку взяла себе. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно Страуд наблюдал за своими подопечными. Теоретические познания, почерпнутые из книг, он незамедлительно применял на деле. Когда одна из птиц погибла, Страуд осколком разбитой бутылки и ногтями произвел вскрытие и ознакомился с анатомическим строением птицы. Постепенно Страуд изменился, стал неузнаваемым. Его единственным желанием было учиться, постигать тайны природы, изучать животный мир и причины его многообразия. И чем больше

он узнавал, тем более несовершенными считал свои познания. Тюремный библиотекарь с удивлением отметил, что за эти годы Страуд проштудировал около десяти тысяч книг. Однажды Страуда постигло несчастье. Птицы его одна за другой стали болеть и умирать. Страуд при помощи книг определил у них злокачественную лихорадку. Его ужаснуло описание этой неизлечимой болезни. Все совпадало. Точка в точку. С большими трудностями он получил из тюремной больницы кое-какие лекарства и стал составлять различные смеси из них, все время меняя дозы. Он проделывал опыты над умирающими птицами, чтобы спасти остальных, еще не заболевших... После долгих и неудачных попыток ему наконец удалось спасти одну птичью жизнь. Он не верил, что нашел средство борьбы с неизлечимой болезнью, то есть открыл лекарство, над которым ученые всего мира тщетно бились десятки лет. Открытие это имело колоссальное значение не только для орнитологов, но и для хозяйства страны, для его государственного бюджета. Страуд написал о своих опытах книгу, следом еще одну, затем третью. Книги эти стали известны в Советском Союзе, Англии, Франции, Голландии, Бельгии, Японии, Австралии и сделались необходимым пособием для орнитологов. Они были изданы даже по системе Брейля — для слепых. Страуд ничего не знал об этом. Он узнал про все это через много лет. К тому времени он написал еще несколько книг и являлся крупнейшим авторитетом в области орнитологии. Ему позволено было переписываться с отдельными учеными и научными обществами. Единственное условие — никто не должен был знать, что адресат — узник. Корреспонденция прибывала по адресу: абонементный ящик 7, до востребования. Он получал со всех сторон приглашения и хранил упорное молчание. Впоследствии, много лет спустя, когда тайна всемирно известного орнитолога была раскрыта, все задавали один и тот же вопрос: как смог полуграмотный узник с трехклассным образованием обрести славу мирового ученого, несмотря на то, что был поставлен в такие условия, когда вообще исключается любая возможность достичь чего-либо? И все, словно сговорившись, давали одно и то же объяснение: всю свою любовь к жизни он выразил посредством птиц.

Глава пятая

Приглашений было так много, что в конце концов придворные были вынуждены устроить хотя бы один спектакль. Приглашение от местного общества орнитологов было

принято. Страуд в сопровождении надзирателя отправился на встречу. Его везли в закрытом автомобиле. У него кружилась голова, и было чувство легкого опьянения. Он уже целую неделю с нетерпением ждал этого дня, готовил речь, составлял планы, репетировал перед маленьким осколком зеркала, но сейчас все вылетело из головы, сейчас у него сильно колотилось сердце. Он был чрезвычайно растерян и напуган. Он даже предпочел бы вернуться в камеру и избежать счастливого вечера. Ему все время казалось, что ему надо сбегать в туалет.

За Страудом по пятам следовали тюремные психологи, им надо было измерить, сколько квадратных метров свободы прошел узник. Итак, тротуар, от входа до лифта, лифт, прихожая и комната, в которой происходила встреча. Всего пятьдесят четыре квадратных метра. В прихожей Страуд и надзиратель разделись, сдали пальто. Оба были в дорогих костюмах, специально сшитых для них лучшим портным страны по последнему слову моды.

— Не забудь про условие, — сказал надзиратель. — Они не должны знать, что ты узник.

— Но я нехорошо себя чувствую в этой одежде, — побледнел Страуд. — Как-то ненадежно в ней.

— И мне, Страуд, не по себе. А все ты. Я знаю, ты еще много бед принесешь мне.

— Не отходи от меня.

— Будь смелее. Никто не заметит, что мы неуверенно себя чувствуем.

— Не отходи, не отходи от меня, — Страуд был в панике. — Я не люблю незнакомых людей.

Они вошли в просторную комнату, где группа орнитологов с нетерпением ждала их. Собравшиеся почтительно поднялись, чтобы приветствовать Страуда. Страуд напряженно кивнул головой.

— Если вы собрались для того, чтобы узнать секрет моего нового лекарства, уверяю вас, ваши усилия напрасны.

Это заявление Страуда привело ученых в замешательство. Они недоуменно переглянулись. Больше всех был смущен надзиратель.

— Просто нам было интересно увидеть вас, — сказал председатель общества. — Ваши труды приводят всех в восторг, мы хотели засвидетельствовать это.

— Но я готов в случае надобности посылать вам его, — продолжал Страуд. — Когда и сколько захотите. Не так ли, надзиратель?

Надзиратель побледнел. Все из вежливости пытались улыбаться. Страуд сообразил, что допустил ошибку.

— Извините, я не представил вам своего секретаря, — сказал он. — Извольте. Всюду сопровождает меня, следит за каждым моим шагом.

— Я высоко ценю ваш талант, — промямлил надзиратель.

— И потому я называю его надзирателем. Если мне когда-нибудь удастся освободиться от этого ненавистного человека, я, наверное, снова почувствую потребность в нем. Я уже не представляю свою жизнь без него.

— В конце концов у каждого из нас есть свой надзиратель, — любезно улыбнулся надзиратель. — А если такового нет, мы сами делаемся своим собственным надзирателем.

— Садитесь, Страуд, — председатель указал на кресло. Все уселись. Разговор не клеился. — У нас есть о чем поговорить. Я думаю, что выражу мнение всех, если скажу, что мы давно ждали этой встречи. Нас интересует...

— Я хочу сесть у окна, — перебил его Страуд и повернулся к надзирателю. — Можно? Сейчас на улице самый час пик.

— Пожалуйста, пожалуйста, — растерялся председатель. — Где вам будет удобно.

— И этого ненавистного человека посадите рядом.

Создалась тяжкая и гнетущая атмосфера. Единственный, кто ничего не чувствовал, был сам Страуд. Как это ни удивительно, это были самые искренние, самые чистые минуты в его жизни. Он был само естество — такой весь неуравновешенный, счастливый, возбужденный. Забыв обо всем, Страуд заворожено смотрел из окна.

— Вы, очевидно, ведете уединенный образ жизни, — заговорил наконец один из ученых и тем самым прервал постыдное и длительное молчание.

— Вы хотите сказать, что я веду себя среди людей как дикарь? — Страуд вскочил с места, словно ужаленный.

— Боже упаси! — тут же пожалел о своей инициативе ученый. — Я просто хотел сказать, что было бы желательно ваше присутствие на наших собраниях.

— Так позовите меня. Почему вы не приглашали меня до сих пор? — Страуд начал удивляться недогадливости этих людей. — Я с удовольствием приму ваше приглашение. Не так ли, надзиратель?

— В зависимости от обстоятельств... — натянуто улыбнулся надзиратель.

— Мы можем установить личные контакты и приглашать

друг друга... — Страуд хотел перехитрить судьбу. — Я никогда не откажусь. Ты разрешишь, надзиратель?

— Безусловно, безусловно... если позволит ваше время...

— Я могу быть хорошим собеседником, — воодушевился Страуд, в эту минуту даже надзиратель готов был пожалеть его. — Лишь бы вам удалось завоевать мое доверие и внушить мне симпатию. Я должен знать, с кем я имею дело... Ты согласен, надзиратель?

— Вы совершенно правы...

— Врет он, не верьте ему! — не выдержал Страуд. И случилось это не потому, что он увидел, что хитрость его не удалась — напротив, он вдруг поверил, что таки провел судьбу. — Он всегда подавлял мою волю! — кричал Страуд. — Он не разрешал мне ступить без него ни шагу... Ради бога, освободите меня от него! — умолял он. — Разрешите мне остаться в этом доме, разрешите... — И тут он пришел в себя. Но было уже поздно. От растерянности Страуд начал гладить надзирателя по голове. Оба они тяжело дышали и мечтали только об одном — как можно скорее очутиться в тюрьме.

— Не обращайтесь внимания, — побагровев, весь в поту, сказал надзиратель. — Иногда у него бывают подобные странности... Потому-то он и избегает публичных встреч...

После каждого его слова Страуд усердно кивал головой.

— Очевидно, наука поглощает все ваше время... — Председатель пытался смягчить впечатление от инцидента.

— Если вы станете говорить о науке, я уйду, — буркнул Страуд. — Я сегодня хочу развлекаться. Нет ли чего выпить?

— Минуточку. — Председатель открыл бутылку, стоящую на столе, наполнил стаканы и сказал сокрушенно: — Но должен признаться, что все мы довольно-таки беспомощны по этой части.

— Я постараюсь выполнить вашу просьбу, — раздался вдруг женский голос.

Это была единственная женщина в комнате. До этой минуты Страуд не замечал ее. Он вообще никого не замечал (через несколько дней он сможет все до мельчайших подробностей вспомнить и пересказать себе). Женщина была высокая, с длинными волосами, в черном и узком вечернем туалете — тот стандарт красоты, который Страуд свято хранил в своей памяти. Женщина стояла подбоченившись. Легкими шагами, не глядя кругом, не обращая ни на кого внимания, она подошла к граммофону, поставила пластинку со старым танго и пригласила Страуда танцевать. Приглашение было очень неожиданным и очень желанным. Страуд напряг па-

мать, собрал все силы и отчего-то призвал на помощь сложную математическую формулу.

— Вы произвели на нас довольно-таки скверное впечатление, — сказала женщина. — Вы в самом деле странный человек или попросту скандалист?

— Но я очень хотел произвести хорошее впечатление, — огорчился Страуд.

— Или вы мните себя настолько гениальным, что простые смертные вас уже не интересуют?..

— Напротив, мне здесь очень понравилось, я всех бесконечно полюбил, — искренне сказал Страуд. — Это самый лучший день в моей жизни. Я никогда, никогда не забуду его... — Потом неожиданно спросил: — Как вас звать?

— Гера.

— Гера, вы какими духами пользуетесь?

— Мне кажется, когда впервые обращаются к женщине по имени, следует спросить о чем-либо более существенном.

— Я влюбился в вас, Гера.

— Ого, — засмеялась женщина, — так вот, сразу?

— У меня нет времени, — сухо сказал Страуд. — Мое время дорого.

— Не пытайтесь быть еще более отталкивающим, — оскорбилась женщина. — Вам это уже удалось сполна.

— Будь на вашем месте другая женщина, я бы влюбился в нее. Лишь бы от нее пахло теми же духами.

— Знаете, ваш дорогой костюм не соответствует вашему характеру. Эта мелочь выдает вас.

— Гера, в этом доме так много комнат, нам, наверное, надо уединиться. Хотя мне не хочется. Не обращайтесь на моего надзирателя.

— Ну, Страуд, я уже не знаю, смеяться мне или сердиться.

— Я спешу, — лихорадочно проговорил Страуд. — У меня считанные минуты.

— Мне кажется, вы просто нашли удобную форму существования.

— Гера... а эти люди, что собрались здесь... смогли бы они танцевать на телефонных будках?.. — спросил вдруг Страуд, целиком захваченный своей фантазией. — Только не говорите, что это слишком маленькое пространство...

— Страуд... знаете, вы даже скучны... честное слово...

— Я бы все отдал, чтобы еще раз увидеть вас.

— А хоть завтра, — невольно, а может быть, из чувства противоречия сказала женщина.

— Не могу. Это выше моих сил.

— А я хочу, — сказала женщина. — Завтра в восемь вечера. Я буду ждать вас в порту на набережной.

— Я не приду... но прошу вас... вы будьте там в восемь... — взволнованно сказал Страуд и почувствовал, что задыхается от счастья, на секунду даже счастье показалось ему чем-то близким к тошноте. — Я с нетерпением буду считать часы... и вы побудьте там, подождите меня десять минут, только десять... Очень вас прошу... — И вдруг он на половине оставил танец. Внимание его что-то привлекло — он заметил чучело орла, висевшее на стене. — Не продадите ли мне это чучело? — обратился он к председателю. — Оно мне очень нравится.

— Я могу подарить вам его, — опешил председатель.

— Ни в коем случае, — категорически отказался Страуд. — Устроим честный обмен. — Он пошарил в карманах. Ничего там не обнаружил и впал в глубокую задумчивость, потом встрепенулся. — Я дам вам мои часы, чистое золото.

— Они стоят гораздо дороже, — занервничал надзиратель.

— Ничего, посчитаем, и они вернут нам разницу деньгами.

— Но я подарю, зачем же...

— Нет, нет, дарить не надо, — разгорячился Страуд. — Я еще что-нибудь подберу, разумеется, с вашего согласия.

— Не теряйся, — восторженно зашептала Гера председателю. — Если станешь торговаться, я соглашусь выйти за тебя замуж.

— Не понимаю, что за позор такой, — проворчал председатель и так несвоевременно, так не к месту сообразил, что эта женщина никогда его не любила.

— Но он в самом деле большой ученый, — уколола его женщина.

— Большой? Великий! Он один больше, чем все мы, вместе взятые. — И председатель обратился к Страуду, который внимательно изучал чучело: — Я должен просить, чтобы вы подписали свои книги, это будет дорогая память для нас.

— Пожалуйста, — мягко сказал Страуд и старательно подписал все книги. Вдруг в нем возникла острая потребность пообщаться с этими людьми. — У вас не бывает такого чувства?.. Когда читаешь рукопись, написанную на бумаге твоим почерком, все кажется гладким и убедительным, а когда видишь свой текст, отпечатанный на машинке, начинаешь со-

мневаться... А уж когда выходит книга, все ошибки и недостатки разом встают перед тобой. Такие иногда встречаешь ляпсусы, что диву даешься, как это не заметил сразу. И кажется, книга уже не твоя, какое-то отчуждение возникает. Я считаю, это очень честное чувство. Потому что только после этого можно переходить к следующей книге.

Все с приятным удивлением смотрели на Страуда, в особенности надзиратель, который наконец свободно перевел дух. Страуд вел себя и говорил таким образом, словно он всю свою жизнь провел в кругу этих людей. Словно был старым членом этого общества. Блестящим знатоком коктейлей и шампанского, постоянным партнером в бильярде, незаменимым ценителем изысканных яств, непревзойденным рассказчиком самых свежих и самых пикантных анекдотов.

— А когда у вас бывает неудача, — поинтересовался один из ученых, — определенная неудача?

— Пусть не покажется это странным, но скажу вам, что неудача — это тоже своего рода счастье. В эти минуты, наверное, более, чем в другие, я чувствую себя человеком, таким, знаете, добрым и сентиментальным. А ведь основа творчества — доброта. Даже когда речь идет о самых прозаических формулах. Не люблю очень удачливых людей. Еще очень здоровых. Не знаю, может быть, есть доля кокетства в моих словах, но, мне кажется, я искренен.

— Я совершенно с вами согласен, — сказал председатель. — Я бы сказал, что творчество само по себе уже свобода, самая совершенная форма свободы. И если мы...

— Простите, что перебиваю вас. Интересно было бы знать, сколько денег на вашем банковском счету?

— Денег?.. — опешил председатель. — Но мы так славно беседовали...

— Ну ладно, я не настаиваю. Если вам не хочется, не говорите. Что, надзиратель, не пора ли нам домой? — И устало и искренне Страуд прибавил: — Здесь хорошо... очень хорошо... но дома лучше...

— Может быть, поужинали бы с нами? — вежливо предложил председатель. — Слишком рано уходите.

— Если есть бутерброды, мы возьмем с собой, — сказал Страуд, окончательно потеряв все связи с миром. — Заверните, отдайте надзирателю. — Он низко поклонился всем. — Прощайте. Мы провели прекрасный вечер. Незабываемый. Благодарю вас.

Страуд и надзиратель вышли из зала. Психологи, которые незаметно следовали за ними, вдруг спохватились, что

забыли присчитать метраж обратного пути. А тут еще Страуд прошел в туалет. Как быть, присчитывать?

— Я перехватил твой взгляд — немного погодя сказал Страуд надзирателю. — Если бы не ты, я бы купил это чучело. Ты почувствовал, что я мог бы его перехитрить? Дал бы ему часы, взамен бы взял кучу вещей.

— Несчастный! — шепотом, сам не свой от ярости, взорвался надзиратель. — Арестант... узник...

— В самом деле, я так выглядел? — испугался Страуд. — Как узник?.. Как арестант?..

— Да уж так это, будь ты хоть трижды великий ученый, все равно ты житель моей тюрьмы, — злорадно усмехнулся надзиратель. — Мой квартирант!

— Не может быть! — содрогнулся Страуд. — Я держался непринужденно... Даже слишком непринужденно...

— Ничтожество... тебе померещилось, что ты выше меня... что больше я над тобой не властен...

— Не говори так, прошу тебя... — Страуду казалось, все идет прахом, рушится то, что далось ему с таким трудом, к чему он шел миллиметр за миллиметром. Изо дня в день много лет. — Мы не можем быть равными... Я должен быть выше тебя... Во всем. — Он мучительно напряг сознание, чтобы найти свой просчет. Лицо его сделалось багровым, пот тек ручьями по всему телу. — Может быть, мне в самом деле надо было говорить с ними об орнитологии... Но у меня не было времени... Я двадцать пять лет не видел их. Не говори, что мы равны... — И Страуд, сгорбившись от горя, крикнул: — Подержи мое пальто... Держи, тебе говорят! Если ты не подашь мне пальто, я сейчас же вернусь к ним и расскажу всю правду... Ты обязан уважать меня... Подай мне пальто...

Надзиратель, еле сдерживая гнев, вынужден был подчиниться. Он подал Страуду пальто. Страуд надевал его медленно, долго, словно обряд совершал. Не для того чтобы унижить надзирателя, — для чего-то гораздо более важного...

Интермедия

Поздняя ночь. Все давно разошлись по домам. В помещении царил беспорядок, столы и стулья были сдвинуты, пол затоптан, в пепельницах окурки горой, в рюмках остатки коктейлей. Воздух в комнате тяжелый, полон дыма, сплетен, козней. По пустым огромным залам в темноте передвигалась чья-то тень. То был король, последний правитель, в чьем ка-

бинете хранились дубликаты всех ключей государства. Если творит, значит, свободен, если свободен, значит, надо уничтожить. Если уничтожить невозможно, если весь мир знает о нем, значит, национальная гордость Алькатраза, надо освободить. Если невозможно освободить...

Многие годы подряд король решал эту головоломку, пытаясь найти к ней ключ. Задача эта касалась только его. Потому что это он олицетворял все то, против чего, сознательно или бессознательно, взбунтовался узник, пожелавший отнять у него право быть единственным в своем роде, решивший тоже что-то олицетворять. Это были личные счеты между ним, королем, и обычным узником. Его сверстником, по странному стечению обстоятельств арестованным в день его коронации. Король не знал еще, что следует также добавить: рабочим фабрики, производившей женские чулки и трикотаж. Да, но вместо того, что ты язык проглотил, мой первый министр, молви что-нибудь... А ты, второй министр... Ты, третий министр... Найдите же выход, думайте, соображайте, торопитесь. Из окна стал просачиваться слабый свет, обозначивший мрачные силуэты огромного города. Король подошел к сдвинутым стульям, стал заботливо расставлять их. Потом допил коктейль из одного стакана. Коктейль оказался ему чрезвычайно вкусным.

Глава шестая

Вернувшись с приема, Страуд заболел. Его перевели в тюремную больницу и поместили там в изолятор, где ощущался сильный недостаток воздуха. За дверью, правда, стоял баллон с кислородом.

Врач вытащил термометр из-под мышки Страуда. Температуры не было. Подозрительно. Страуд раскрыл рот, высунул язык. Горло чистое. Более чем подозрительно. Врач посадил Страуда на стул и велел закинуть ногу на ногу. Колено не дрожало. Комбинация из трех этих компонентов предполагала единственный диагноз: крупозное воспаление легких. По всей вероятности, от пережитого волнения. Исходя из его известности, врач назначил ему пенициллин. Будь на его месте другой узник, врач назначил бы что-нибудь другое. По больничному уставу, некоторые лекарства, в том числе и пенициллин, запрещено было прописывать узникам, лежавшим в изоляторе. Другой пункт того же устава гласил, что приговоренных к пожизненному заключению в случае заболевания следует помещать только в изолятор.

— Рассуди сам, разве я виноват, что не могу прописать тебе пенициллин? И тем не менее пенициллин. Это во-первых. Во-вторых, свежий воздух, минимум шесть часов в день. В-третьих, усиленное питание. Побольше меда, отвар шиповника. Все пройдет. Если даже диагноз ошибочен, все равно все пройдет. Я сделал тебе столько добра, — сказал врач, — а ведь ты знаешь, долг платежом красен. Я слышал, ты написал книгу о нашей тюрьме. Всех, говорят, ославил... — Доктор покраснел, по-глупому засмеялся и посмотрел на свои стоптанные новомодные ботинки. — Я тебя очень прошу... впиши туда мое имя... напиши, что тюремный доктор в высшей степени злой и жестокий человек... преступник... безжалостный и бездушный... Поноси меня, как только можешь... Выдумывай что хочешь. Я не обижусь, клянусь, не обижусь. Напротив, буду тебе очень благодарен...

И он ушел, уверенный, что наконец-то возьмет реванш, отомстит за все унижения, за низкое жалованье, за дюжину детей, появившихся на свет в результате неосторожности, за трудную карьеру от фельдшера до врача, за невежество жены и ее красноречие, за свои стоптанные ботинки. Но в дверях он столкнулся с надзирателем, покорно уступил ему дорогу, и уверенность эта в минуту улетучилась. И когда он оказался по ту сторону двери, он встал обалдело, округлил губы и неизвестно почему дунул — «фу».

— Где ж это ты так простыл? — спросил надзиратель. — Наверное, тогда, на приеме. Свежий воздух тебе противопоказан. Представь, мне тоже. Если подумать, я свободный человек, не так ли? Но я целыми днями просиживаю в этих стенах и дышу одним с тобой воздухом. Когда я все же изредка выбираюсь домой, на улице меня обязательно прохватывает. Знаешь, о чем я недавно подумал? До меня вдруг дошло, что в конце концов я тоже пожизненно заключенный. Хорошая штука логика, Страуд.

Надзиратель очень напомнил Страуду одного его давнишнего знакомого, которого теперь уже не было в живых. Страуд убил его. Сейчас это был голый и сухой факт, который вот уж много лет не вызывал, не будил в нем никаких эмоций и размышлений. Страуд частенько пересчитывал в уме своих знакомых. С самого начала и до сегодняшнего дня, до сегодняшних его пятидесяти лет. Число знакомых едва достигало пятидесяти. За всю свою жизнь он узнал неполных пятьдесят человек. У надзирателя и у его давнишнего знакомого, того самого, которого давно нет в живых, была особая страсть к логическим умозаключениям. Чтобы

восполнить недостаток образования. Комплекс неполноценности, усмехнулся про себя Страуд, вспомнив старый эпизод из своей биографии. Потом он ужасно загрустил, подумав, что мало того что у него такой ограниченный список знакомых — к тому ж еще двое так похожи друг на друга.

— Между прочим, поговаривают, будто ты написал книгу о тюрьме, — сказал надзиратель, — наверное, она у тебя с собой, под подушкой небось прячешь. Я вас всех насквозь вижу, все заключенные примитивные люди. Ну вот видишь, в самом деле под подушкой. — И он пренебрежительно добавил: — Вы говорите, будто в камере больше некуда прятать. Но если б даже было куда прятать, все равно б пихали под подушку, — и, весьма довольный собой, надзиратель стал перелистывать рукопись. Он снова нашел повод выказать Страуду свое презрение и был в своей стихии. — Хорошо пишешь, Страуд... Аж мурашки по спине бегают... Переполняешься ненавистью... А, про это тоже ты написал. Ну что ж, правильно сделал. Это сразу прольет свет на все... Ага, и про меня есть... Ну как же иначе... хотя неприятно читать... но справедливо, справедливо... Если бы я был приличным человеком, я бы совершил самоубийство... но ведь я не без причины плохой человек, ты об этом подумал, Страуд? Вот взять, к примеру, моего соседа, мясника, его злоба никак не оправдана... он мог быть хорошим человеком и остаться мясником... А у меня это профессия... цель... сверхзадача... попробуй посмотреть на меня с этой точки зрения. Зло на философской платформе... аристотелевская категория... — его лицо выразило недовольство, он поморщился. — А вот это ты неправильно написал... За последний год в тюрьме от тяжелых условий умерло не двадцать семь, а двадцать восемь человек... документальная вещь должна быть точной...

— Надзиратель, во что были одеты ученые? — заговорил в бреду Страуд. — Какого цвета была их форма?

— Форма?

— Сколько им было лет, всем вместе?.. Мне пятьдесят...

— Это плохой признак, Страуд. Больше всего я боялся этого. Если бы ты был обычным узником, плевать. Но я отвечаю за твою жизнь головой.

— Сколько там было комнат... — бредил Страуд. — Я знаю, но не скажу...

— Удивительное дело, я должен плохо кормить тебя, лишать воздуха, солнечного света, создавать для тебя по возможности тяжелые условия — и одновременно отвечать за

твою целость и сохранность, — и, упрекая кого-то, надзиратель покачал головой. — Ну и кашу ты заварил, Страуд. Не расхлебать никому.

— Надзиратель, а что было из окна видно... не помнишь?

— Тюрьму было видно, Страуд, тюрьму. Не люблю, когда человек настолько невезуч.

— Почему ты не пригласишь их сюда... неудобно... я дал им слово...

— Брось, Страуд. Воспоминания — самый большой враг заключенного. Смотри загнишься. — Он покраснел, как-то глупо засмеялся и посмотрел на свои стоптанные, старомодные ботинки. — Как бы то ни было, я всегда давал тебе дельные советы. Отплати-ка мне добром за добро, окажи услугу. Ты ведь у нас прославленный человек, хоть и узник. Замолви словечко, пусть мне повысят жалованье... — Надзирателя, как ни странно, успокаивала мысль о том, что его жестокость predetermined свыше. Что у него никогда не было свободы выбора — того, что было у всех. Даже у этого арестанта она была. А это чего хочешь стоит. — Но знай, если даже ты замолвишь за меня словечко, я все равно не буду делать тебе поблажек. А то ведь повышение зарплаты лишится смысла. Я докажу тебе, что даже твое заступничество не поколеблет меня. И ты наконец станешь считаться со мной. Я конфискую твою рукопись.

Надзиратель взял рукопись и вышел. Вот что он думал: пока он надзиратель, эта вещь не должна выйти в свет. А вот когда в один прекрасный день он перестанет быть надзирателем, он сам ее и обнаружит. Под своим именем, не скрывая своего истинного лица. И это саморазоблачение принесет ему сногсшибательную славу.

Когда Страуд очнулся, когда он открыл глаза и увидел потолок изолятора, он попытался вспомнить что-то. Он напряг память, в конце концов вспомнил, что хотел, и спокойно перевел дух. Он должен был стать самоубийцей. Именно так. Это решение было до того понятно и естественно в его положении, что о нем, как о всяком обычном житейском деле, можно было даже забыть (как это только что случилось со Страудом). Страуд сел в постели, взял обрывок бумаги и неторопливо вывел: «Моя рукопись конфискована. Прошу опубликовать после моей смерти. Гонорар прошу передать моей матери. Страуд». Он свернул записку, вложил ее в маленькую металлическую капсулу, проглотил капсулу и запил ее водой. Потом достал несколько таблеток снотворного и принял их все разом. Когда произведут вскрытие, записку найдут, и весь мир узнает о существовании рукописи.

Мысль об этом доставляла ему удовольствие. Еще большее удовольствие доставляла ему возможность насолить надзирателю. Это было в нем сильнее, чем, скажем, волнение или раскаяние перед лицом смерти. Тем не менее он был как-то спокоен. Какие-то узы все же связывали его с этим миром. Реальные, грубые и ощутимые узы. Если б он еще немножечко помедлил, он, возможно, передумал бы, испугался бы, потерял хладнокровие и ясность мысли. Страуд придвинул кровать к противоположной стене, взял простыню и матрац, поднялся на спинку кровати и выбросил все это из окна. Отломил у стула ножки и тоже выбросил их вон. Выбросил полотенце, стакан, лекарства, полосатую куртку, брюки, носки и туфли. Остался в грязном нижнем белье. Он посмотрел кругом, убедился, что в камере ничего больше нет, и после этого спокойно улегся на металлическую сетку. Вначале он почувствовал приятное неудобство, потом его постепенно стала окутывать дремота. В камеру вошли юный Боб и Гея. Повторилась их история. Боб объяснился Гее в любви. Гея вначале выламывалась, а потом пожалела и с тоской по настоящей любви посмотрела на Боба. И они пошли друг другу навстречу. Они уже должны были поцеловаться, когда между ними затесался Мужчина и балетным жестом поднял руки. Началась борьба между Бобом и Мужчиной. Они царапали друг друга, пытались вцепиться в волосы, плевались. Потом Мужчина, поверженный, лежал на земле. Боб победно поставил ногу ему на грудь. Гея и Боб поволокли тело Мужчины из комнаты. Гея баюкала младенца. Боб, счастливый, пил чай и смотрел телевизор, по которому передавалась все та же история, его и Геина. Потом послышался чей-то голос: «К вам обращается корреспондент самой крупной в мире газеты. Ваше предсмертное слово! Постарайтесь быть лаконичным и образным». Это требование показалось Страуду вполне справедливым. Что ж, он будет лаконичным и образным.

— Я тридцать лет живу в этой тюрьме, но ни разу не видел, как выглядит здание снаружи...

Вдруг он объявился в лабиринте узких улочек. Проворно сориентировался, перешел улицу. Прочел по дороге все вывески. Выпил в закусочной пива, съел рыбу, вытер руки об одежду. Потом запустил камнем в витрину, разбил ее, радостно высунул язык, убежал и очутился в новом лабиринте. Как загнанный зверь, стал крутиться и озираться кругом. И вдруг с облегчением перевел дух: наконец-то нашелся выход. Впереди был тупик.

Надзиратель вошел в камеру Страуда, быстро приблизил-

ся к кровати и в ужасе уставился на своего подопечного. Так он и знал. Разговоры Страуда не понравились надзирателю. Пожизненно заключенный не должен иметь воспоминаний. Если они появились, все кончено...

— Помогите! — встревоженно кричал он. — Я не виноват... Я тут ни при чем... Я говорил, не надо возить его на прием... — Потом неожиданно распрямил плечи и с достоинством заключил: — Я обыкновенный надзиратель... Давайте мне обыкновенных заключенных...

Интермедия

В камере на потолке обозначилась щель, сверху спустили лестницу, и через некоторое время на лестнице показался какой-то человек. То был король, последний правитель страны. Он покрутился в камере, с любопытством все оглядел, и от спертого воздуха у него заныл зуб. Потом он придвинул кровать к противоположной стене, встал на спинку и выглянул в крошечное окно. Он удивился, почему это из его окна, которое находится прямо над этим, не видно тех же верхушек деревьев и тех же крыш. Он спрыгнул вниз и вдруг лег на голую сетку. Он с нежностью вспомнил мать, которая с малых лет приучала его спать на жестком матрасе. Пусть нищие спят в мягких постелях, — внушала ему мать. Ну ладно, не дрейфь, надзиратель, врачи спасут его. Зато я нашел выход. И знаешь, кто мне подсказал его? Он сам же и подсказал. Самый простой выход. Узник умрет сам, естественной смертью. И не вздумай отравлять его, дурак. Здесь твои приемы не годятся. Здесь должен решать король. Король же обязан выбрать более сложный, более честный путь. Король поднялся с кровати и быстро взбежал по лестнице. И пусть автор теперь приблизит финал! Потому что король нетерпелив.

Глава седьмая

Страуд кормил птиц, самодельные клетки были без дверей. В сопровождении двух верзил-конвойных в камеру вошел надзиратель. Он быстро и деловито приблизился к Страуду и обнял его.

— Это впервые, Страуд. Поверь, что впервые в жизни. Мне всегда были противны заключенные, от них пахнет тюрьмой.

— Что случилось, надзиратель? — смешался Страуд. — Почему ты такой радостный?

— Радостный? Напротив. Ведь мы были достойными противниками.

— Говори же, что произошло. — Страуд схватил надзирателя за ворот и прижал его к стене. Радость была настолько неестественна в этой камере, что ничего хорошего не могла предвещать.

— Тебя переводят в другую тюрьму.

Конвойные подошли к Страуду и схватили его за руки.

— Надзиратель, что им надо от меня? — в ужасе закричал Страуд. — Скажи, пусть не трогают меня... Я их не знаю... Лучше ты сам! Пусть не они избивают, ты!..

— Какая разница, Страуд, кто бьет?

— Не могу, когда мучают незнакомые люди.

— Минутку, минутку, — опешил надзиратель. — Но ведь я тебя никогда не избивал, Страуд. У меня даже в мыслях этого не было. Знаешь, почему я избиваю заключенных? Потому что они об этом думают, они ждут этого. — Он всегда видел это, чувствовал, безошибочно угадывал. Наконец-то и этот сломался. Спустия тридцать лет. — Согласись, ты потерпел поражение, Страуд. Сдавайся. Отныне, с этой минуты, я тебя больше не боюсь. Что греха таить, я всегда тебя боялся. И знаешь почему? Потому что читал твои книги и ничего не понимал. Тебе повезло, что ты ускользаешь от меня именно теперь. — И он самодовольно и немного рассерженно приказал конвойным: — Начинайте.

Конвойные набросились на Страуда и нещадно избивали его, потому что он сопротивлялся и не подпускал их. Он не знал, чему он так яростно противится, и от этого еще больше выбивался из сил. Чего они хотели от него — ни надзиратель не сказал, ни конвойные. Ведь если бы сказали, он готов был понять их... Хоть слово бы сказали, хоть полслова... Да что с них требовать, ведь и он сам вначале не говорил, не умел сказать нужных слов, он и Гее не сказал их вовремя, и тем самым погубил себя. Один из конвойных схватил его за голову, пригнул к земле, другой стал стягивать с него полосатую куртку. Наконец Страуд понял, что им нужно. Они хотели переодеть его — в униформу новой тюрьмы. С огромным усилием он стряхнул с себя двух громил. И сам снял полосатые брюки. Но он вконец растерялся и озверел, когда конвойные подняли с земли ту же одежду и, как новую, стали напяливать на него. На этот раз Страуд сопротивлялся еще яростнее. Переодев Страуда в его же одежду и посчитав дело сделанным, конвойные вышли из камеры.

Страуд, обессиленный, сел на постель, поднес платок к расквашенному носу и машинально стал ощупывать лицо.

— Почему ты меня переводишь? — еще не придя в себя, хриплым голосом спросил Страуд.

— Не я перевожу. Король приказал.

— Король? — Страуд вздрогнул и вскочил с места. — Если это он, я никуда не пойду!

— Это не от тебя зависит. Но все-таки интересно — значит, если бы я приказал, ты перешел бы?..

— Потому что от тебя тоже разит тюрьмой. Понять тебя мне не составляет труда. Мы с тобой ненавидим друг друга. Тут все ясно. Но он... Я и он... — Страуд беспомощно развел руками. — Мы не можем быть противниками... это абсурд... Что между нами общего... За эти тридцать лет я ни разу не вспомнил о нем...

— Тем более, не охайвай своего короля.

— Но я не вижу смысла... Это-то меня и настораживает. Какова его цель, надзиратель?.. Он хочет отнять у меня моих птиц?..

— Угадал, Страуд. В новой тюрьме тебе не позволят держать птиц.

— Но почему, почему? — Страуд должен был понять причину, во что бы то ни стало понять. — Это не может быть бессмысленной подлостью. Бессмысленную подлость можешь совершить только ты.

— Ты считал меня ниже себя. Поди теперь с королем повоюй! — злорадно осклабился надзиратель и вдруг, перейдя на шепот, испуганно спросил: — А короля ты сможешь уложить на лопатки?

— Смогу, — уверенно ответил Страуд.

— Не ошибаешься, Страуд? — побледнел надзиратель. — Подумай хорошенько.

— Смогу. Если ты мне поможешь.

— Я? — съежился от ужаса надзиратель. — Да ты что, Страуд, опомнись. Не припутывай меня, нет!

— Помоги, надзиратель, не пожалейся! Если я возьму верх над королем, будет и твоя победа. Твоя победа и твоя заветная тайна. Самое счастливое воспоминание в твоей жизни. — Страуд был воодушевлен. Он нашел ключ. Он знал, что слабость надзирателя — разводить философию. — Отныне ты никого не будешь бояться. Ты и меня перестанешь бояться. Ты станешь сильным человеком. Очень сильным. Ты победишь не только короля, но и меня. Потому что мне придется воспользоваться твоей помощью.

— И может быть, после этого я еще лучше стану служить королю, — неуверенно вставил надзиратель.

— Да, надзиратель. Ты еще больше станешь любить своего короля, — продолжал с жаром Страуд, — потому что будешь знать, что победил его. И никто ничего не узнает.

— А ты пожизненно заключенный. Тебя нет. Не существуешь. Ты труп! — Глаза у надзирателя заблестели. — Ты не в счет, я полностью застрахован. — Он поверил, что наконец-то он действительно возьмет верх над Страудом. И, воодушевленный этим, спросил нетерпеливо: — Что я должен сделать?

— Помнишь дом, где мы с тобой были?

— Помню, как же. Этот дом чуть не положил конец моей карьере. Мое счастье, что врачи тебя спасли.

— Пойдешь туда, узнаешь адрес женщины по имени Гера, разыщешь ее и приведешь ко мне.

— Только-то?

— Да. От тебя ничего больше не требуется.

— Прямо сейчас и пойду. — Он пошел было к двери, но вдруг что-то вспомнил, вернулся и зашептал Страуду на ухо: — За дверью тебя ждет твой новый надзиратель. Это ничтожество смотрит на меня свысока, потому что его тюрьма самая ужасная во всей стране.

За долгие годы заключения Страуд прочел множество ненужных книг, у него появилась масса ненужных познаний, куча ненужных сведений. Все это беспорядочно, балластом накапливалось у него в памяти. Так, например, он назубок знал историю права. Во время разговора с надзирателем ему вспомнился один закон, и он решил непременно его обыграть. Дело в том, что территория этого штата некогда принадлежала Франции. Законы для жителей этой территории были учреждены известным парижским договором. Положения договора безусловно обязана была принять любая страна, в чье владение входил штат.

Страуд быстро нацарапал что-то на листе бумаги и стал ждать Геру. Он убеждал себя, что волнуется перед предстоящей встречей. На самом же деле никакого волнения не было. Было просто нетерпение. Если бы Гера пришла в другой раз, у него бы непременно от волнения колотилось сердце. Но сейчас им владел один лишь неистовый азарт. Гера для него сейчас была орудием, с помощью которого он должен был одурачить короля и расстроить его планы, пока что Страуду не до конца ясные. Ничто сейчас для него не имело значения — ни Гера, ни даже весьма конкретная угроза быть переведенным в другую тюрьму, что лишило бы его возмож-

ности работать. Важно было одно – одолеть короля, вслепую помешать ему. Самым главным сейчас была эта абстрактная победа. Его глаза блестели от предвкушения близкой игры, руки лихорадочно дрожали, и от напряженности перехватывало дыхание.

Неожиданно в камеру вошла и замерла на пороге – Гера. Казалось, она несколько даже подурнела от волнения. Ей хотелось сказать сразу очень многое, но она только пробормотала:

– Прости меня.

– За что?..

– Я тогда действительно ждала тебя... в порту...

– А те десять минут... что я просил тебя...

– Ждала...

– Я в тот день был очень счастлив, Гера...

Гера не имела того блеска, что в тот вечер, она была в черном плаще, из-под которого виднелся домашний халат. Торопилась, верно. Волосы небрежно заколоты. И запаха духов не слышно. Сегодня она была обычной женщиной, такой реальной в этих мрачных и бесцветных стенах. Желанной и доступной.

– Когда я узнала, когда этот человек рассказал мне обо всем... – Гера ломала пальцы. – Все так усложнилось... так запуталось... И в то же время все стало до того ясно и просто, что, видишь, я могу вот так стоять перед тобой, могу, не стесняясь, сказать человеку, которого и получаса не видела, – я тебя люблю...

– Гера, не надо... – испугался Страуд. – Если ты будешь продолжать, я пропал... Если скажешь хоть одно еще слово... я не смогу сопротивляться, не смогу не слушать тебя... Ведь я тридцать лет ждал этих слов...

– А зачем тебе быть крепким и зачем мне быть крепкой? Для кого? – В глазах Геры показались слезы.

– Гера... я вызвал тебя для другого... прости меня... Я вызвал тебя по делу... – Страуд пытался быть по возможности сухим. – Ты можешь принести мне жертву?..

– Да.

– Вот так, не задумываясь?

– Да.

– И никогда в жизни не пожалеешь?

– Никогда.

– Никогда не обвинишь меня?

– Никогда.

– Я должен просить тебя об одной вещи. Я знаю, у меня нет на это никакого права, – все более нервничая, сказал

Страуд. — Я первый себе не прощу этого... Жертва, которая для тебя не имеет смысла. — Он напрягся всем телом, на лбу у него выступил холодный пот. И потекли слова, и он отдался их течению полностью: — Я качусь вниз, Гера. С горы. С ужасающей быстротой. И не могу остановиться. Я даже самого дорогого человека способен сейчас затоптать без всякой пощады. Ты слышишь, какие гнусности я говорю. Но я не уйду из этой тюрьмы. Не отдам своих птиц... Если ты настолько сентиментальна, погибай. Так тебе и надо... Все равно я должен оставаться твердым. Пусть меня погубит именно это. Но я не сдамся. Даже если...

— Говори, Страуд, — спокойно прервала его Гера.

— Выходи за меня замуж, — агрессивно потребовал Страуд.

— Замуж?..

— Никаких вопросов, Гера, — грубовато перебил Страуд. — Выходи замуж, ты уже обещала. Не отказывайся от своих слов.

— Не отказываюсь, Страуд, нет. Но... как?

— Про парижский договор когда-нибудь слыхала? — с нервным воодушевлением стал объяснять Страуд. — Эта земля, на которой мы находимся, принадлежала раньше Франции. Суть договора в том, что законы Франции остаются на этой территории неизменными, под чьей бы властью территория ни находилась. Гера, выходи за меня замуж. По этому договору, в нашем штате брак считается законным, если мужчина и женщина дают письменное объявление... Значит, мы нашу женитьбу можем оформить, не спрашивая разрешения властей. Выходи за меня замуж! Гера... Если ты согласишься и я стану женатым человеком, исходя из этих же законов, меня уже нельзя будет перевести в другую тюрьму...

— Я согласна, Страуд.

— Гера... ты пожалеешь... — вдруг сник Страуд. — Моя победа никому не нужна... Даже мне, наверное, не нужна. А вот тебе очень нужно счастье... Ты могла бы выйти замуж... у тебя был бы свой дом... семья... дети...

— Пиши, Страуд, не теряй времени.

— Гера, я не знаю, как с тобой разговаривать... — Страуд был в полнейшей панике. Победа казалась ему сейчас далекой и бессмысленной. — Если быть циничным, это будет в мою пользу... Я заставлю тебя, и ты подпишешь... Если же быть честным, уговаривать тебя, чтобы ты не подписывала, это опять-таки будет в мою пользу... ты еще быстрее подпишешь. — Его закрутил созданный им же водоворот, он почувствовал, что тонет. — Да ведь даже эти мои слова, то, что

я сейчас говорю, даже это в мою пользу... Нет, Гера, наверное, я слишком хочу, чтоб ты подписала.

— Не суетись, — мягко упрекнула Гера. — Ты обещал быть твердым. Пиши.

И тут Страуд услышал свой голос:

— Уже... готово...

Гера мгновение вопросительно смотрела на него. Только одно мгновение. Страуд еще больше растерялся от этого короткого взгляда. Из него словно выпустили воздух, и он, поникнув головой, сказал:

— Я повел себя по отношению к тебе нечестно... Я даже подписал уже... До твоего согласия...

Гера взяла бумагу из его рук и быстро поставила свою подпись. А для Страуда все уже было безразлично. Его единственным желанием было остаться одному.

— Как хорошо, Страуд, что я подписала, — улыбалась Гера. — Знаешь... была секунда... сейчас я счастлива... поверь мне... Сейчас уже от меня ничто не зависит, это не обычное счастье, Страуд... какое-то другое счастье...

Они молча стояли друг против друга.

Будешь ли ты ее господином до самой смерти? И ты — будешь ли послушна ему до самой смерти? И если придет болезнь, беда и неудача... несчастье, ссылка... То, что соединил господь, да не расстроит человек.

Молча стояли они друг против друга.

— Прощай, Страуд...

— Прощай... Иди, Гера...

Гера молча вышла из камеры, Страуд вздрогнул, потому что она плотно затворила дверь. Он долго смотрел на закрытую дверь. Через несколько минут в эту же дверь вошел надзиратель.

— Я все слышал, — улыбнулся он. — Я восхищен. Я завидую. Согласно законам нашего штата, женатого человека никто не может перевести из тюрьмы, — и он радостно потер руки. — Мы победили, Страуд. Прямо даже не верится. Мы победили точно. — Он был так возбужден, что даже шутливо толкнул Страуда в бок. — Ловко же ты провел нас. Меня и эту бабенку. Ну и глупая же была женщина.

— Не смей! — завопил во весь голос Страуд. — Измочалю тебя, убью! Слышишь, убью! Она моя жена перед лицом бога и закона. Моя жена.

И он заплакал.

— Ты что, Страуд, что с тобой?.. — опешил надзиратель. — Ведь ты победил...

Страуд плакал. Не сдерживаясь. Во весь голос.

Фактография

Гера с молниеносной быстротой распространила по всему миру историю заключения Страуда. Повсюду с удивлением и ужасом люди узнавали, что всемирно известный орнитолог десятки лет томится в тюрьме. В той самой тюрьме, которую по удивительному стечению обстоятельств через несколько лет займут индейцы, исконные хозяева этих земель. И хотя они продержатся всего несколько дней, тем не менее благодаря этой недолговечной победе они тоже сумеют поведать всему миру свое. Юридически мертвый этот человек, пронумерованный этот узник был первым и единственным заключенным в истории Алькатраза, который посмел вступить в поединок с властями. Одно только его имя наводило страх на тюремное начальство и вызывало бессильный гнев. Писать о заключенных в стальных клетках было еще более предосудительно, нежели писать о птицах в металлических клетках. Труд Страуда о тюрьме, состоящий приблизительно из ста тысяч слов, заключал неизвестные факты, о которых могли знать только сами заключенные и администрация тюрьмы. Книга написана была иронично, с жестокой искренностью. Это всего лишь бред человека, разум которого помутился в тюрьме, говорили враги Страуда. Разве может это представлять какой-либо интерес для общественности? Страуд не обращал внимания на подобные высказывания. Он писал о том, что видел. Его научные книги давным-давно были распроданы. Необходимо было переиздать их, а это означало, что Страуд сам должен был заново отредактировать и дополнить прежние издания. Но издатели, обратившиеся в федеральное бюро тюрем, получили ничем не мотивированный отказ. В 1949 году вице-президент международной ассоциации орнитологов обратился к Страуду с письмом, в котором спрашивал его совета в связи с одним сложным птичьим заболеванием. Письмо вернулось нераспечатанным. Вице-президент в качестве протеста отправил администрации тюрьмы труп мертвой птицы. «Не кажется ли вам, что я слишком долго живу в тюрьме, и это становится... однообразным», — сказал однажды Страуд министру правосудия, совершавшему турне по тюрьмам, находившимся в его ведении. Министр на вопрос не ответил и вместо этого сам задал ему несколько незначительных вопросов. И пожурил его за то, что он обратился за помощью к общественному мнению, чем причинил руководству тюрьмы лишнее беспокойство. Действительно, общество волновала судьба Страуда. Во всех уголках земли поднимались голоса протеста, создавались спе-

циальные комитеты за его освобождение, устраивались демонстрации, все передовые газеты земного шара в один голос требовали освободить выдающегося ученого. Но это движение никак не облегчало участь Страуда. Он сам себя приговорил — к борьбе с непобедимой и неравной силой. И он не мог сойти с избранного пути. «Но он свободен, — любили игриво заметить сильные мира сего, — какое имеет значение факт его заключения, главное, чтобы человек сам чувствовал себя свободным, мало ли людей, разгуливающих на свободе и чувствующих себя как в тюрьме». На что же надеялся сам Страуд? Умудренный жестоким опытом немолодой этот человек надеялся, что при рассмотрении его дела будут учтены следующие обстоятельства: он никогда не нарушал тюремных правил... В его личном деле нет ни одного замечания... Он дал государству миллионные суммы при- были...

Глава восьмая

Король состарился. Состарился и Страуд. А игра между тем не была завершена. Они родились в один и тот же год. В один и тот же год была решена их участь. Один стал королем, другой — узником. Две эти противоположные судьбы скрестились, сплелись и были уже неразделимы. Король каждый год в день своего рождения требовал принести ему последнюю фотографию Страуда и прятал ее в своем письменном столе. Иногда он тайком вытаскивал эти фотографии и долго разглядывал их, внимательно сравнивая последнюю с предпоследней. И чем больше он старел, тем чаще он повторял эту процедуру. Говорят, в нагрудном кармане он хранил еще одну фотографию, чью — неизвестно, потому что ее никто не видел. Многозначительно шептались, что в большой приемной под фотографией отца спрятана еще какая-то фотография, чья — неизвестно. Никто не видел...

Но ведь своих фото король вроде бы не прятал...

Он думал так: когда-нибудь, рано или поздно, Страуд умрет. И его вопрос сам собою ликвидируется. Но он ужасно трусил, его пугала мысль о том, что Страуд переживет его и, значит, снова оставит в дураках. Во всяком случае, однажды в минуту откровения он мысленно признался себе, что, если ему удастся заставить Страуда умереть, он достигнет своей высшей цели и восстановит границы свободы и несвободы, восстановит авторитет закона и наказания, то есть снова укрепит те основы, без которых его страна не может существовать. И тогда он с легким сердцем запрется в какой-ни-

будь из дальних комнат дворца, опустит все занавески и вдали от людей, оставшись наедине с собой, вволю поплачет. О чем обязан будет тут же забыть.

— Ну? — мрачно спросил он первого министра.

— Началась вторая мировая война, ваше величество.

— Мы тоже участвуем? — испугался король.

— Нет. Англия, Франция, Россия...

— Германия небось начала? Так я и знал. И давно все это происходит?

— Уже год, ваше величество.

— Ничего. Пускай пока сами разбираются. Мы дальше всех от Германии. Пусть судьба будет справедлива к нам хоть немножко. А королю Германии в знак уважения отправь мое фото с автографом. Еще? — И как итог своих печальных размышлений он захотел в лице первого министра увидеть то человеческое качество, к которому сам не имел права стремиться. — Ну ладно, не надо. Ты с этой минуты больше не первый министр. Я решил сменить тебе должность.

— Неужели ваше величество недовольны мною? — изменился в лице первый министр.

— Я хочу назначить тебя министром откровенности. В конце концов должен же быть на свете хоть один человек, который не побоится сказать мне в лицо всю правду! — взорвался король. — Ведь существуют возраст, годы, когда это делается просто необходимостью.

— Но, ваше величество... разрешите указать на одно несоответствие... Мы слишком долго работаем вместе.

— И слишком долго оба лжем. Знаю. Но у тебя есть два достоинства. Во-первых, ты раболепен, и если будет мой приказ, ты мгновенно заоткровенничаешь. Во-вторых, ты труслив. Если я назначу тебя министром откровенности, ты со страху не сможешь быть неоткровенным.

— Благодарю вас, ваше величество! — растрогался первый министр. — Я постараюсь оправдать ваше доверие.

— Ну, министр откровенности, слушай мой первый вопрос. Я хорошо руковожу моей страной?

— Разрешите не отвечать, ваше величество. Более откровенным быть невозможно.

— Мои подданные любят меня?

— Этот вопрос никогда не должен вас интересовать, так как если мой король испытывает потребность в любви, значит, он уже не чувствует себя сильным, как прежде. Исключите эту потребность, ваше величество.

— А поединок между мною и этим птичником, чем он, по-твоему, завершится, кто возьмет верх?

– Безусловно, вы, ваше величество.

– Ну-ка, ну-ка, – оживился король, – почему?

– Потому что вы очень опасный и коварный человек.

И за вашими странностями, кажущимися безобидными, прячется ужасный и жестокий деспот.

– Ты не представляешь, до чего же мне приятно слушать твои слова, – расцвел в улыбке король. – Ты словно делаешь мне массаж.

– Но пока держит верх он, ваше величество. Вы захотели отнять у него его птиц и перевести в другую тюрьму, вы думали убить его этим, а он не только не умер, но и одурачил вас.

– Но сейчас я снова нашел выход. И на этот раз беспроигрышный.

– Не сомневаюсь, ваше величество. Этот орнитолог честный человек, ему не выстоять перед вашим коварством.

Король знал, что Страуд завалил его план с помощью книг и безукоризненного знания законов. И тогда он последовал примеру Страуда и тоже обратился к книгам. Он протудировал труд Страуда о тюрьме, прочитал всю существующую юридическую литературу и наконец набрел на нужную строку. Ужасная ошибка, которую допустил суд пятьдесят лет назад. Неслыханное беззаконие потрясло даже его черствую душу. Страуда не имели права заключать в одиночную камеру. Он скажет об этом Страуду. И от этого известия у Страуда разорвется сердце. Но почему снова явилась его мать и почему она целую неделю упорно дожидается приема? Весьма несвоевременный приход... А впрочем... Король приказал впустить ее. Мать вошла, с достоинством поклонилась.

– Я мать Страуда, ваше величество.

– Помню, помню. Я знаю всех жителей своей страны. По имени и фамилии. Знаю все их заботы и боли. Между прочим, слабое место моего врага, короля соседней страны, именно в том, что для него масса – всё, а личность – ничто. Но ведь существует элементарная истина: масса состоит из отдельных индивидуумов. Министр откровенности, запишите это мое высказывание, распространите. – И он снова с любезной улыбкой обратился к матери Страуда: – Я предпочитаю поговорить о политике с такими простыми, как вы, людьми, а не с моими министрами-тупицами. К сожалению, время не позволяет... Может быть, вы уже получили ответ на ваш вопрос и хотите попрощаться со мною?

– Нет, ваше величество, – не поддалась мать. – Мой сын

женился, не спросив моего согласия. Я против этой женьитьбы.

— Любовь толкнула его на этот шаг, мадам, любовь... — опешил король.

— Я прошу запретить этой женщине посещать его.

— Но почему? Я не могу принимать несправедливые решения. Я должен быть убежден в своей правоте.

— Я столько лет боролась за сына, — оскорбленно сказала мать. — Я все распродала и сижу на пепелище. И это его благодарность?

— Какая благодарность, мадам? — Король не мог сориентироваться. — Придите в себя. Разве матери нужна благодарность?

— Вы тоже должны ненавидеть эту женщину, ваше величество, — решительно сказала мать. — Это она распространила по всему миру, что знаменитый орнитолог Страуд — узник.

— Я прощаю ее.

— Я требую запретить им переписываться.

— Ваш сын действительно великий ученый, мадам. Гордитесь им. Я до земли склоняюсь перед его гением. — Король не знал, презирать ему эту старуху или же остерегаться ее. — Я ежедневно получаю сотни прошений со всех концов земли. Все в один голос требуют освободить Страуда. Вы представляете, в какое положение поставил своего короля ваш сын? Тем не менее я восхищен его волей. А вы... в таком большом деле выдвигаете какие-то мелкие, житейские счеты... невестки и свекрови... Вы ведь даже не видели друг друга и никогда не будете жить вместе, под одной крышей... Мои симпатии целиком на стороне вашего сына... А ведь я первый враг вашего сына...

— Можно подумать, вы печетесь о нем больше, чем я, — посмела оборвать короля мать. — Я пришла к вам ради его же блага. Он не может быть счастлив с этой женщиной.

— Оставьте эту болезненную ревность, ради бога. Слышать этого даже не хочу. Идите и боритесь против меня. Знайте, что для короля нет никого опаснее, чем мать Страуда. Идите же, я все сказал, я открыл вам свою тайну.

Мать молча направилась к дверям.

— Может быть, вы заплачете? — спросил король. — Я требую, чтоб вы раскаялись.

Мать остановилась у дверей, но не обернулась. Лицо сухое, непроницаемое.

— Минутку! — вспомнил что-то король. — Вы моего шопера знаете?

– Вашего шофера?.. Почему это я должна его знать?..

Мать вышла из приемной и тотчас была окружена большой толпой журналистов. Защелкали фотоаппараты. Мать, казалось, даже стала позировать перед объективами. Во всяком случае, она машинально провела рукой по волосам. Со всех сторон посыпались вопросы.

– Мадам Страуд, мы слышали, начинается новое движение за освобождение вашего сына?

– Мне нечего вам сказать.

– Мадам Страуд, а правда ли, что на этот раз движение возглавляет его жена? Как вам кажется, сумеет она вырвать мужа из тюрьмы?

– Мой сын находится там, где ему следует быть, – холодно ответила мать. – Лично я не предприму ничего, чтобы освободить его.

– Надо ли это понимать так, что вы предпочитаете, чтобы ваш сын остался в тюрьме?

– Да, я считаю, что так для него будет лучше.

И, не оглядываясь, горделиво подняв голову, она пошла к выходу и скрылась с глаз.

– Смешала все планы! – отирая пот с лица, простонал король. – До чего несвоевременно явилась! Но как она пронюхала про мои планы? Ведь я только своему шоферу рассказал...

– Но какая связь между вашим шофером и этой старухой? – позволил себе спросить министр откровенности.

– Ты не знаешь, не знаешь их! Эти так называемые простые люди – у них молчаливый союз друг с другом.

– А что вы задумали, ваше величество?

– То, что я задумал, настолько безошибочно, что я не чувствую надобности советоваться с тобой. Через несколько дней ты сам в этом убедишься.

Король так и не сумел выяснить (шофер, конечно, отпирался) – мать Страуда в самом деле узнала про его планы или же это была выходка самолюбивой и ревнивой старухи. Ему стало известно, что она покинула столицу, поселилась у своих дальних родственников и через несколько месяцев скончалась в возрасте девяноста лет; как бы то ни было, если ей был известен его план, она совершила гениальный шаг. Если же был неизвестен, все равно – ее появление перед журналистами усложнило дело короля. Как же он мог осудить совершившееся пятьдесят лет назад беззаконие, если сама мать узника была обратного мнения и публично заявила об этом.

– Все равно я одолею его, – не сдавался король.

— Безусловно, ваше величество. Вы большой злоумышленник, вы ни перед чем не остановитесь.

— У меня от твоих слов прямо мурашки по спине бегают. — И король с удовольствием, по-домашнему потянулся.

— Ваше решение, что он должен умереть своей естественной смертью, гениально по своей низости.

— Ничего другого не остается. Поскольку мы не смогли уничтожить его и не смогли освободить.

— А почему вы меня не наказываете, ваше величество? — вдруг прорвало министра откровенности. — Почему вы терпите мою откровенность? Что я вам, чучело, что ли? Я требую наказания! Я знаю, вы назначили меня министром откровенности, потому что больше всех презираете меня! Но вы об этом пожалеете!..

— Значит, достаточно тебе было сказать два-три откровенных слова — и ты уже почувствовал себя человеком? — удивился король, потом задумался и долго, очень долго молчал.

— Убийца! — разъяренно орал министр откровенности. — Коварный лгун! Я ненавижу тебя! Все тебя ненавидят!.. Низкая личность!.. Бесплодная тля!..

— Я ведь говорил, лучшего министра откровенности мне не найти. — Король дружески хлопнул его по плечу. — Браво.

Глава девятая

Очередное заседание комиссии по помилованию состоялось в самом большом зале дворца, там, где обычно проходили карнавалы. Король сидел возле стены в высоком кресле. Он был в синей рабочей одежде, потому что пришел сюда прямо из сада. Он любил по утрам собственноручно заниматься цветами. Он сознательно не сменил одежду. Если бы его спросили, почему он так сделал, он не смог бы дать определенного ответа, но он был уверен, что так нужно. Точно так же, интуитивно, был выбран этот громадный зал. Король часто покусывал ноготь большого пальца — жест, чрезвычайно любимый народом. Сегодня был решающий день. Король разрубит узы, связывающие его со Страудом, выкинет к черту все его фотографии, порвет их на мелкие клочки, бросит в огонь. В зале, кроме короля и Страуда, находились министр справедливости, министр трудных ситуаций и министр особо тонких дел. Они сидели в разных углах зала, лицом к стене. словно не имели никакого отношения друг к другу и попали сюда совершенно случайно. В отличие от короля все трое были одеты строго официально и даже со

всеми знаками отличия и наградами. Изрядно постаревший Страуд стоял в центре зала. Он не видел короля и министров, так как стоял лицом к дверям. Он был в костюме, из-под которого виднелась полосатая тюремная куртка.

— Заседание комиссии по помилованию объявляю открытым, — сказал король и обратился к спинам министров: — Я ведь правильно выразился? — Потом скучаяще прибавил: — Страуд доставил нам немало хлопот. Давайте сегодня раз и навсегда покончим с этим вопросом.

Раздались восхищенные голоса трех министров:

— Мы почитатели твоего таланта, Страуд.

— Мы завидуем тебе.

— Ты счастливый человек.

— А почему мы так странно расположены, ваше величество? — с осторожностью спросил Страуд.

— А это для того, чтобы мы, оскверненные мирской грязью, смогли бы быть по возможности беспристрастными, — любезно пояснил король. — Ведь если мы будем сидеть лицом друг к другу, мы сможем переговариваться взглядами. О, я представляю, какие сейчас эмоции выражает твое лицо. Этого нам тоже не следует видеть.

— Благодарю вас, ваше величество, — неуверенно сказал Страуд.

— Комиссия по помилованию независимо от своего решения должна заранее знать, чем станет заниматься заключенный, что он станет делать, если ему даруют свободу. Мы должны убедиться, готовы ли вы к свободе, Страуд.

— Я организую лабораторию, — деловито ответил Страуд. — Своего рода учебный и научно-исследовательский институт, где будут заниматься изучением проблем генетики птиц, их психологии, патологии и терапии...

— Не знаю почему, но мне кажется, что, если ты получишь свободу, ты забросишь птиц, — так же деловито заметил король. — Если ты лишишься своей привычной атмосферы, ты больше не сможешь творить.

И снова раздались восхищенные голоса трех министров:

— Мы читали все твои труды еще в рукописном состоянии, у тебя замечательный почерк, Страуд.

— Нам знаком твой двухтомник, посвященный тюрьме. Прекрасная работа, Страуд. Жалко только, что все это об Алькатразе.

— Мы восхищены. С каким мастерством ты обличаешь нас! Жалко только, что нас.

— Дальше? — спросил король. — Чем бы ты еще занялся, Страуд? Наукой ведь все не кончается.

— Мы с Герой будем жить в маленьком тихом городке... — после небольшой паузы взволнованно заговорил Страуд. — Мы построим свой дом собственноручно... на высоком холме... у всех на виду... Мы побелим его, чтобы он был виден и в темноте... Мы научим всех таких же, как мы, обездоленных силою урывать свою долю счастья... Мы заставим их вызубрить на зубок наш урок... — Он говорил задыхаясь, со страстной верою: — У нас будет много детей... мы усыновим. Мы научим их трудолюбию, честности, благородству. Мы не злом, а вот так ответим на перенесенные унижения и муки.

— Пятьдесят лет назад ты говорил те же слова другой женщине, — напомнил король. — И звучали они тогда столь же убедительно и искренне. Как это понять?

Страуду словно дали пощечину. Он не помнил. Он мучительно напряг память и все равно не вспомнил. Он понял, что король говорит о чем-то очень жестоком, и увидел, что король прав. Он поглядел со стороны на воодушевленного узника и снисходительно улыбнулся ему.

— Забыл, ваше величество... Я виноват перед этими двумя женщинами. Потому что в каждой из них я видел только себя...

Послышались восхищенные голоса трех министров:

— Твой монолог — пощечина нам...

— Жалко только, что нам...

— Да, нам...

— Я глубоко сожалею, Страуд, что мы не можем даровать тебе свободу, — перешел наконец к самой сути король. — И знаешь, по чьей вине? По моей, — смущенно признался он. — Ведь я уже раз помиловал тебя. Суд приговорил тебя к смертной казни, а я заменил это пожизненным заключением. Хоть бы я тогда не делал этого. Понимаешь? У меня нет права вторично помиловать тебя.

— Почему же вы меня сюда вызвали, ваше величество? — упавшим голосом спросил Страуд.

— Я внимательно перелистал дело Страуда и убедился, что пятьдесят лет назад произошла серьезная ошибка, полвека назад имела место одна из величайших шуток в истории правосудия. Суд не имел права приговаривать Страуда к одиночному заключению.

— Но я просидел в одиночестве пятьдесят лет... — изумленно пробормотал Страуд. — Согласно решению суда...

— Понимаю, Страуд. Это жестокий факт. Прискорбный. И ты, конечно, считаешь, что если уже просидел пятьдесят лет в одиночке, то это законно.

И снова слышались восхищенные голоса трех министров:

— Но существует справедливость, Страуд!

— Она есть, Страуд!

— Существует правда, Страуд, и ее никуда не спрячешь!

— Я убил человека! — крикнул Страуд, тревога его возрастала еще и потому, что он не видел лиц собеседников. — Мне полагалось самое тяжкое наказание...

— Кого же мне наказать, Страуд, — жалобно сказал король. — Тот судья умер. Присяжных тоже нет в живых. Ну сам посуди, кого мне наказывать. Как мне расхлебать всю эту кашу...

— Но я не обращался к комиссии... — искаженный голос Страуда отозвался эхом. — Почему вы разбираете мой вопрос, кто вас просил трогать меня?!

— Ты не обращался к нам. Зато обращались другие, твои защитники. А знаешь, какая это ответственность для твоего короля? Как это угнетает?

— Я понес свое наказание... Я заслужил его... — потеряв самообладание, Страуд поворачивался то к королю, то к министрам, вернее, к их спинам. — Никто не имеет права лишать меня этого наказания задним числом... — И он обреченно закричал: — Все было правильно! Никакой ошибки не было!..

— Не смотри на нас, Страуд, не смотри, не смотри, — испуганно попросил король.

— Напротив, со мной еще мягко обошлись... — Страуд в панике перебежал от министра к министру и заглядывал им в лица. — Дали возможность заниматься наукой... — Он вынужден был обратить свое единственное счастье в обвинение: — Я вас спрашиваю... в конце концов это тюрьма или санаторий?...

— Повернись... не смотри на нас, Страуд... ради бога... это запрещается...

— Я совершил преступление!.. — Страуд вдруг обратил внимание на то, что зал слишком, чересчур велик и потолки немисливо высокие. — Я считаю понесенное мною наказание справедливым... Это я должен считать, я, а не вы... мое мнение важно, не ваше...

— Не понимаю, почему ты так кипятишься? — настало время, чтобы взгляд короля выразил недоумение. — Ведь мы в твою пользу говорим. И если есть кто-то, кому не на руку юридическая эта ошибка, так это именно я.

— А почему вы вдруг вспомнили о ней, ваше величество? Зачем вам это понадобилось? Вы хотите отнять у меня

то, чего я сам достиг... Мою свободу... Мою независимость... Понимаю... Хотите раздавить меня своим сообщением. Чтоб я не выдержал... Чтоб у меня от горя разорвалось сердце...

— Стыдно, Страуд, — укоризненно сказал король. — Разве королю трудно было убить тебя до сих пор? Если бы я захотел, тебя бы давным-давно не было в живых...

— Даже моя мать, даже она была против помилования, — у Страуда вдруг заблестели глаза. — Если даже мать заявляет, что место ее сына в тюрьме, чего же больше? Нет, нет, все было правильно, ваше величество... Наказание было правильное. Пятьдесят лет одиночества...

— Мы пересмотрим дело, — невозмутимо сказал король. — Тебя переведут в общую камеру. С опозданием в пятьдесят лет.

— Нет, ваше величество! — Страуд упал на колени. — Не делайте этого... ведь я убийца... Для кого же тогда предназначены одиночные камеры? — Глаза его вдруг снова заблестели, он вскочил с колен. — Если бы я не был в камере-одиночке, птицы бы не залетали ко мне, я бы не занимался наукой и не принес своей стране миллионные прибыли...

— И почему только я усложняю себе дело? — предпочел притвориться непонимающим король. — Если ты так настаиваешь, пусть будет по-твоему. — Он был совершенно сбит с толку, он ведь никак не предполагал, что Страуд разгадает смысл этой его затеи. А раз уж разгадал, значит, напрасны были все усилия, и весь этот разыгранный спектакль теряет смысл. Игра вновь оставалась незаконченной. Но король обязан был найти выход из создавшейся ситуации (если уж на большее его не хватило). — Какое имеет значение, для чего именно мы вспомнили эту ошибку, все равно ты уже знаешь истину. Несправедливый приговор остается несправедливым приговором независимо от того, когда и с какой целью тебе о нем сообщают.

— Да, я уже знаю истину... — вынужден был сдаться Страуд, и поражение его выразилось в том, что он медленно, еле волоча ноги, вернулся и встал на свое место в центре зала, спиной к комиссии, лицом к дверям...

— Я искуплю свою вину. В какой-то мере, конечно... — Король наконец перевел дух, он еле сдерживал свое ликование. Так неожиданно, так нечаянно победить! Но он взял себя в руки и с достоинством распорядился: — Отремонтировать камеру Страуда, стены покрасить в указанный узником цвет, поставить телевизор, провести телефон, пусть говорит с кем хочет, провести также горячую воду, кормить особыми блюдами, меню согласовывать с узником. Подавать к обеду

вина. Украсить стены картинами. Оригиналами. Освободить соседние камеры, снести стены, оборудовать там большую лабораторию. По последнему слову техники.

— Не хочу горячую воду!.. — завопил Страуд. — Не желаю...

— Знаешь что, — обиделся король, — если отбывать наказание — твое право, то мое — искупить свою вину. Раз уж на то пошло. Увести заключенного.

Вошли несколько конвойных, схватили Страуда за руки. Страуд вяло сопротивлялся. Конвойные протащили его до дверей и вытолкали из зала.

— Не хочу горячую воду... ваше величество... не хочу...

Наступила тишина. Король снял ботинки, остался в носках, вытянул ноги. Напряжение многих лет отпустило его. Он вдруг почувствовал потребность испытать самые элементарные удовольствия, простые радости, которых он был лишен от рождения: ему захотелось поваляться на траве, громко, не прикрывая рта, чихнуть, пойти в кино, вернуться на трамвае домой, после обеда поковырять спичкой в зубах, подраться на улице с прохожим, в праздничный день смешаться с толпой на площади, встать на цыпочки и вытянуть шею... чтобы увидеть короля. «Завтра в этом зале устроим большой банкет в честь сегодняшней победы и дальнейшего бездействия». До короля вдруг дошло, что у него больше нет никаких дел. А может быть, Страуд тоже, сам того не ведая, отомстил ему? Может, и его теперь ждет та же гибель, что и Страуда, тот же конец?

— Следующий, — мрачно приказал король.

Вошел министр откровенности и впервые в жизни не поклонился королю.

— Этот человек, который когда-то был моим министром, — углубленный в собственные заботы, рассеянно сказал король, — тоже просит наказания. Я как-то потребовал, чтобы он был со мной откровенным. И что же? Он не может простить себе этих нескольких минут откровенности. Я прощаю его, а он себя — нет. Рефлексирует жутко.

— Почему ты погубил меня, ваше величество?.. Разве я плохо служил тебе?.. Или мы не совершали вместе чудовищных преступлений... — и он с мечтательным и отрешенным выражением стал вспоминать прежние славные денечки: — Помнишь, ваше величество? Надеюсь, ты не забыл, что и корону-то свою заполучил с моей помощью?.. Каким прекрасным, каким кровавым был наш путь... Так почему же ты вздумал меня погубить? Для чего заставил быть откровенным?.. Теперь уж мне нет возврата...

— Что верно, то верно, в этом качестве ты мне не нужен.

— Умоляю тебя, ваше величество... Во имя старой дружбы... Не будь грубым, не оскорбляй меня этим, не унижай... Ты ведь сумел тонко повести себя со Страудом, как незаметно ты поставил его на колени... Неужели я не заслуживаю того же обращения?.. Я прошу уважения... Демагогии прошу...

— Прощай, министр откровенности. Я выполню твою просьбу. — Король стал нехотя обуваться. — Ты, безусловно, заслуживаешь уважения. Итак, я не прощаю тебе твоих откровенных слов, тех, что ты бросил мне в лицо. Я обещаю придумать для тебя самое изощренное наказание и преподнести его тебе тоже изощренно и изысканно. Расстрелять!

Министр откровенности бросил победный взгляд на своих бывших коллег, вернее на их спины, поскольку те по-прежнему сидели в разных углах зала, уткнувшись носом в стену.

— Благодарю, ваше величество...

Он поклонился до земли и вышел из зала.

— Вот и все, — вздохнул король, потягиваясь. — Ну, друзья мои, мне нужен новый министр откровенности.

Три министра так на месте и подскочили и разом повернулись лицом к королю.

— Вы сами им и будьте, ваше величество, — выпалил министр справедливости.

— Сами для себя, — пояснил министр особо тонких дел.

— И мы тоже для себя, — заключил министр трудных ситуаций.

— Не проведете, разлюбезные мои министры... Не выйдет... — В приподнятом настроении король погрозил им пальцем. Потом неожиданно взгрустнул. Потом ему показалось, что он сам перед собой фальшивит и разыгрывает грусть. Впрочем, он и в этом не был уверен. — Но если задуматься, какая страшная, чудовищная штука... человек неожиданно узнает, что незаслуженно провел пятьдесят лет, — пятьдесят, слышите, в одиночестве, не видя человеческого лица, в то время как могло быть иначе. Я бы, например, не вынес такого известия...

Потом он достал из нагрудного кармана какое-то фото и долго с грустью разглядывал его. И ему показалось, что на этот раз грусть его неподдельна. Впрочем, только показалось, уверенности особой не было.

Глава десятая

Камера Страуда превратилась в опрятную комнатку с телевизором, с телефоном, с горячей водой, которой он так никогда и не пользовался. Камеру обставили современной мебелью. На стенах, вперемежку с клетками, висели полотна известных художников. Оригиналы, как и было сказано. Страуд только раз включил телевизор и с большим удовольствием посмотрел всю передачу от начала до конца. Именно поэтому он больше к нему не прикасался. Только раз поговорил по телефону: он набрал первый попавшийся номер, услышал совершенно незнакомый голос и сказал с волнением: «Сегодня вечером не садитесь пить чай без меня». Это могло стать прекрасным времяпрепровождением. Именно поэтому он больше не звонил по телефону. Соседние камеры освободили, перегородки между ними снесли, и вскоре Страуд получил лабораторию, оборудованную по последнему слову науки и техники. Он покрутился в этой необъятной лаборатории, поразился, восхитился и убедился, что это и было предметом его мечты. Он был уверен, что будет творить здесь чудеса. С воодушевлением приступил к работе. Но ничего не вышло. Мозг его словно отключился. Несколько дней он предавался безделью. С раннего утра до позднего вечера, заложив руки за спину, он вышагивал по громадной лаборатории. Самое ужасное было то, что вышагивал он не медленными, а быстрыми шагами. Он понял, что его притягивает прежняя маленькая камера-одиночка, пятидесятилетняя его обитель. Именно здесь он снова сел за работу. Он продолжил опыты над своими птицами, а к тем, что специально были привезены и помещены в лаборатории, даже не приблизился. Да и результат этих опытов вновь заслуживал внимания. Но именно эти успешные опыты его и опечалили. Он инстинктивно почувствовал, что силы его иссякли. Хотя работы было непочатый край. Несколько дней он не прикасался к еде. В полосатой своей одежде он часами неподвижно сидел в центре комнаты. И он понял, что это и есть конец. И поскольку это был конец, он встал, собрал все свои вещи, всю мебель, все, что было в комнате, и беспорядочно свалил все возле стены. Потом снова сел посреди комнаты и стал ждать. Наконец юный Страуд явился. Они не обнялись, не подали друг другу руки, не поздоровались. Они молчали и, казалось, ждали чего-то теперь уже вдвоем. Старый Страуд с презрением усмехнулся, потому что в комнату вошли одетые в смокинги двенадцать мужчин, у каждого в руках по стулу. Они расселись вдоль стен, обра-

зовав некий квадрат вокруг двух Страудов. Старый Страуд вспомнил, что они так и останутся в комнате до самого конца. Молча будут сидеть и мешать им не станут. Корректные и безучастные друг к другу. Иногда только после каждого поворотного слова старого или юного Страудов они будут сдвигать стулья, квадрат будет уменьшаться.

— Что пришел? — спросил старый Страуд. — Я хочу остаться один.

— А я вот захотел попрощаться с тобой.

— Ты надеешься, что будешь жить после меня?

— У меня давно уже нет ничего общего с тобой. Не объединяй нас.

— Ты меня ненавидишь больше, чем я тебя. Хотя должно быть наоборот.

— Мы, кажется, впервые встречаемся. Мне казалось, ты будешь любезнее. Не скрывай... ты многие годы подряд хотел видеть меня. Ведь у тебя не было даже моей фотокарточки.

Двенадцать мужчин пошевелили стульями и устремились к центру комнаты. Квадрат вокруг Страудов стал чуть-чуть меньше.

— Я вынужден был забыть тебя, — спокойно проговорил старый Страуд. — Ты слабый человек, Страуд. И полюбил ты тоже из слабости. Гейя была сильной женщиной. Ты инстинктивно искал у нее защиты. При ней ты сам себе казался сильным. И человека убил ты опять-таки из слабости. А меня заставил искупать вину. Я вынужден был с трехклассным образованием стать ученым.

— Это я положил всему начало, — возразил юный Страуд. — Ты продолжил.

— Не порть мой последний день, — бесстрастно сказал старый Страуд. — Не торгуйся.

Двенадцать мужчин снова пошевелили стульями. Квадрат еще немного уменьшился. Смокинги? Что за вульгарность.

— Я пришел сказать, чтоб ты выкинул это из головы... — вспыхнул вдруг юный Страуд. — Ты не можешь увести меня с собой... Я сам по себе... Ты сам по себе...

— Я сделал все, чтобы отделиться от тебя.

— Тебя в ловушку заманили, Страуд. Совершенная пятьдесят лет назад несправедливость подкосила тебя, сразила...

— Они оказались искуснее меня, — невозмутимо подтвердил старый Страуд, — иначе и не могло быть. Я был один. Против меня действовала целая машина.

— Но если ты все понял, если ты знаешь правила игры, отчего же ты умираешь? — удивился юный Страуд. Ему по-

казалось, что он нашел самый верный довод, чтобы убедить старика еще немного продержаться.

— Но это истина, Страуд, — то, что решение было несправедливым. Какое имеет значение, что об этом сказали пятьдесят лет спустя. И неважно, с какой целью сказали. Истина от этого не меняется.

Ответ был настолько исчерпывающим, что мужчины снова сдвинули стулья. Квадрат стал уже. И зачем только он привел с собой этих мужчин? Ведь Страуд давным-давно откасался от болезненного воображения этого юноши.

— Ты победил меня, Страуд, — энергично заговорил юный Страуд. — Я принимаю свое поражение. Хочешь, скажу тебе, в чем наша с тобой разница? Я был свободен. А ты свою свободу завоевал. Я готов всюду засвидетельствовать это. — Он смотрел на старика с мольбой и сам вместо него кивал себе. — Я думал, ты ни о чем не подозреваешь. Я хотел внушить тебе, сказать, что ты много выше меня. Я рад, что ты сам все знаешь. Пусть это станет твоим последним утешением.

— Не делай свою слабость знаменем, — усмехнулся старый Страуд. — Не делай это своим преимуществом. — И решительно отрезал: — Не волнуйся, Страуд, мы с тобой ничем не связаны.

— Скажи, что ты не помнишь Гею, — потребовал юный Страуд.

— Не помню.

— Говори об этом убежденно! — с ненавистью потребовал юный Страуд.

— Не надо меня уговаривать, Страуд. Я в самом деле забыл.

— Не забыл ты! — крикнул юный Страуд. — Не ври...

— Пусть так. Не забыл. Просто меня это больше не касается.

— Гею любил я, — победно сказал юный Страуд. — Это я из-за нее убил человека, не ты. Ты страдал по моей вине. Я виноват перед тремя людьми. Ты — ни перед кем. Ты даже перед собой не виноват.

— Расскажи мне, — вдруг мягко попросил старый Страуд. — Расскажи мне лучше о себе. Что ты делал эти годы?

Мужчины пошевелили стульями, квадрат стал уже. Но почему? Ведь он задал такой невинный вопрос. В комнате ощущался недостаток воздуха. Столько народу и столько вещей, еще бы.

— Я сделался жокеем, — стал рассказывать юный

Страуд. — Я всегда приходил первым на скачках. Одна девушка влюбилась в меня и писала мне письма. Сейчас она моя жена. Однажды я упал с лошади и сломал ногу. После этого мы с женой каждое воскресенье идем на ипподром и смотрим скачки. И хотя я давно уже не садился на лошадь, жена любит в разговоре ввернуть, что от ее мужа пахнет конюшной...

— Продолжай, Страуд. — В голосе старика впервые за все время послышалась страсть.

Мужчины во время рассказа юноши то и дело сдвигали стулья, и квадрат вокруг Страудов все более суживался. Воздуха становилось все меньше, дышать делалось трудней.

— Мои ребяташки — других таких не найти — сущие разбойники, чего только не вытворяют, соседи каждый день приходят жаловаться. Жена считает, что я должен пороть их, но у меня рука не поднимается. Я думаю, мы с ней должны сообразить и как-то направить их энергию. Может, ты мне что-нибудь посоветуешь. Что бы ты сделал на моем месте, подскажи что-нибудь... Это самая моя большая забота сейчас... На что направить их энергию?

— Расскажи еще, — попросил старый Страуд. Что-то блеснуло в глазах старика и погасло. — Что-нибудь совсем обычное...

— Мы с женой мирно живем. Да и с чего нам ссориться? А если все же поссорились, значит, с финансами худо или же кредитор явился и долг с нас требует. Ну мы стараемся, конечно, жить экономно — да это уже по женской части. Вот, например...

— А наука, Страуд? — заволновался вдруг старик. — Про науку забыл...

— Наука? Но я и без того был счастлив, — равнодушно сказал юноша. — Да и таланта у меня к науке никогда не было, — и он снова стал наседать и подлизываться. — Я знаю, ты великодушен... Ты очистился от моих пороков, ты само совершенство...

— Не наговаривай на себя, — с симпатией упрекнул его старый Страуд. — И успокойся, у нас с тобой ничего общего.

— И мы никогда не примиримся, верно? — по-детски доверчиво спросил юноша.

— Зачем нам примиряться? — незаметно улыбнулся старый Страуд. — Мы должны хоть немножко не любить друг друга...

— И ты не уведешь меня с собой?

— Нет, ты должен еще жить и страдать, — по-прежнему

с симпатией продолжал старый Страуд. — Ты еще не знаешь, что такое настоящее страдание.

— Чем бы ты, Страуд, занялся, если б жизнь повторилась?..

— Я должен оставить после себя хоть какую-то частицу, какое-то воспоминание обо мне должно остаться здесь. И я избираю для этого тебя. Значит, тебе и решать, чем бы я занялся, если бы жизнь повторилась...

— Я буду как ты, — искренне сказал юный Страуд. — Обещаю тебе, я сделаюсь тобой, и тебя не забудут...

— А сейчас уходи. Я должен остаться один.

И юный Страуд шепотом, с ужасом и восхищением задал свой последний вопрос:

— Но ты Страуд... Как ты выдержал?

— Человек — существо смертное, — спокойно ответил Страуд. — Но никакая сила не может сделать его рабом, ни в прямом, ни в переносном смысле этого слова. Если только он сам добровольно не примет рабство. Ступай, Страуд.

Юный Страуд подчинился и молча вышел.

Одиночная камера на секунду наполнилась птичьими голосами, потом вдруг сразу стало тихо.

Двенадцать мужчин, которые забыли уйти с юношей, снова пошевелили стульями. Страуд в последнюю минуту догадался, что это была западня, что они с тем и пришли, чтоб остаться до конца. Квадрат резко сузился, стал быстро уменьшаться...

1973 г.

ЛЕГЕНДА
XX
ВЕКА

Роман

В основу этого романа положена легенда, возникшая приблизительно в двадцатом веке.

Согласно этой легенде люди создали сверхмощную бомбу, которая уничтожила в мгновение ока целый город с его многотысячным населением.

Хотелось бы воскликнуть: как хорошо, что ничего такого в действительности не было!

Как хорошо, что ничего в действительности не могло быть!

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

В приемной дворца Боб предъявил документы и получил пропуск. И вспомнил вдруг, ни с того ни с сего, может быть, совсем и некстати, свое полное имя и фамилию, которыми ему давно уже не приходилось пользоваться: Клод Изерли. Майор Клод Роберт Изерли. Спрятав пропуск, он направился к двери с робостью, с благоговением даже, открыл ее и вступил в огромных размеров зал.

В зале этом, в углу, сидела какая-то старуха и вязала чулок. Их взгляды, ее и Боба, на мгновение встретились, и старуха улыбнулась ему — по-матерински доброй улыбкой.

По обе стороны следующей двери стояли часовые. Когда Боб уже хотел было пройти, они преградили ему дорогу и потребовали пропуск. Боб смутился как-то и тут же предъявил его. Один из часовых тщательнейшим образом проверил пропуск, после чего разрешил пройти.

Боб оказался в другом, таком же огромном зале и увидел здесь двух мальчиков. Оба эти мальчика бегали по залу. Боб постоял, посмотрел на них, но так и не понял, чего ради они бегают. Каждый из них бежал сам по себе. Ни единого какого-нибудь направления, ни единой цели в этом их действии не было.

Боб вынул из кармана пропуск и, уже не дожидаясь предупреждения, протянул его стражам у следующей двери.

В третьем зале Боба остановил офицер, который с лов-

костью прошелся щеткой по его мундиру, потом натер ему до блеска ботинки, а потом предложил причесаться иначе. Боб пробовал было возражать, но офицер был неумолим и настоял на своем. Причем оба они объяснились совершенно молча, мимикой и жестами.

В следующем зале стоял почему-то запах кофе...

Здесь уже Боб почувствовал себя как дома. А это значит, что всякий интерес к тому, что вокруг, всякое удивление у него пропало. Ни на что больше не обращая внимания, он быстрым шагом миновал все остальные залы, остановился перед невысокой, ничем не примечательной и не охраняемой никем дверью и осторожно постучал.

— А, Боб! — отозвался чей-то голос. — Входи.

Боб вошел и отвесил низкий поклон. Перед ним стоял тщедушный и бледный император — Наполеон Бонапарт. Он шагнул навстречу Бобу, пожал ему руку и сказал:

— Присаживайся.

Боб огляделся исподтишка и не увидел в комнате ни одного стула.

— Знаю, тебя, наверно, провели через тринадцать залов, да? — нахмурился Бонапарт.

— Да, ваше величество.

— Никак не могу отучить их от этого, — возмутился Бонапарт. — Для чего им только нужно тысячу раз проверять пропуск! Мне якобы угождают, жизнь мою, видите ли, обезопасить хотят.

Заложив руки за спину, он прошелся несколько раз по комнате, потом уселся за свой скромный рабочий стол.

— Итак, значит, бомбу сбрасываешь ты? — смягчился император. — Я доверяю своим людям, их выбор не может быть неправильным. Да чего же ты стоишь? Сядь.

— Спасибо, ваше величество.

— Сколько тебе лет?

— Двадцать шесть.

— Женат?

— Нет, не женат.

— Ну что же, выполнишь свой долг перед родиной, — с явной усмешкой сказал Бонапарт, — а потом и женишься.

Боб уловил эту усмешку, и ему стало как-то страшно от откровенности императора.

— Родители есть?

— Да.

— Тяжелое дело быть императором, — задумчиво проговорил вдруг Бонапарт и резко поднялся с места.

И в ту же секунду Боб сообразил, что Бонапарт его даже не замечает.

— Когда-то я сам командовал армиями, сам сражался с императором вражеской страны, и исход войны зависел от того, кто из нас двоих победит в схватке. Потом уже я перестал участвовать в сражениях непосредственно, а только руководил ими, стоя вдалеке, на каком-нибудь возвышении. Теперь я вообще не выхожу отсюда. — И, как бы заключая свою мысль, Бонапарт сказал: — Я наконец научил их воевать... Садись же, садись.

— Спасибо, ваше величество.

Императору уже удалось убедить Боба, что его, Боба, нет, что он не существует.

— Ты, наверное, не помнишь этого, — выражение лица у Бонапарта стало мечтательное, — когда я захватил Францию, я продиктовал такую телеграмму: «Пришел, увидел, победил». — Тут он нахмурился. — Многие замыслили покушение на мою жизнь. И даже самый верный из моих друзей. Когда он был схвачен, я сказал ему только: «И ты, Брут?»

— Эти слова сейчас часто повторяют, ваше величество.

— А что в них такого остроумного, что в них особенно-го? — с презрением в голосе отозвался Бонапарт. — Повторяют, чтобы польстить мне.

Он снова в задумчивости зашагал по комнате.

Боб, улучив подходящую минуту, незаметно огляделся вокруг. Комната была маленькая, и ничего, кроме стола и библиотеки, в ней не было. Не было даже ковра на полу. И, несмотря на всю свою сейчас малость, на всю свою ничтожность перед лицом императора, Боб снова почувствовал себя как дома... Потому что все это, даже обида и унижение, было ему привычно и было как дом.

— Ты чему так удивляешься? — улыбнулся император. — Не тому ли, что я одет совсем просто и что в комнате у меня никакой роскоши? За меня не беспокойся, — добавил он со смехом, — мне нравится быть императором. Садись, садись.

— Спасибо, ваше величество.

Бонапарт подошел к окну, посмотрел на улицу и после длительной паузы, не оборачиваясь, сказал:

— Жалко мне их...

— Кого, ваше величество?

— Жителей того города. — По голосу его чувствовалось, что он взволнован. — Я мечтаю о таком дне, когда люди перестанут враждовать, воевать, убивать друг друга...

— Когда же это будет? — осмелился спросить Боб только потому, что император не замечал его.

— Когда мы завоюем и покорим себе весь мир.

Бонапарт обернулся, и взгляд у него был открытый и ясный, чистый и наивный.

«И в самом деле, не шутка быть императором», — подумал Боб.

— Послушай, Боб, — сощурил глаза Бонапарт, — а правда, что после того, как ты сбросишь эту бомбу, войне конец?

— Правда, ваше величество, — смутился Боб.

— Хорошо, хорошо... Отлично... Ну, желаю тебе удачи.

— Спасибо, ваше величество.

— Одевайся потеплее, — рассеянно сказал Бонапарт.

— Когда, ваше величество? — спросил Боб, смутившись еще сильнее.

— Вообще.

— Слушаюсь, ваше величество.

— Одну минуту, — сказал Бонапарт. — А на какой же это город ты должен сбросить бомбу?

— На Хиросиму, ваше величество.

— И где же она находится, эта Хиросима?

— В Японии, ваше величество.

— Япония... Япония... — задумался Бонапарт. — Нет, не помню.

Затем он отдернул в сторону портьера, за которой обнаружилась вторая дверь.

— Тут самый краткий путь, — пояснил он, — тебе не придется идти через залы.

Он протянул Бобу на прощание руку, и Боб ощутил вдруг, что от этого рукопожатия на лице у него выступает холодный пот. Боб догадался теперь, что Бонапарт его заметил, но был уверен, но знал, что живым ему не вернуться... Бобу стало страшно от этой догадки.

Он вышел из комнаты и опять почувствовал себя как дома, даже осознав эту жестокую мысль, он все-таки опять почувствовал себя как дома.

Только выяснилось, что и на этом пути было столько же залов и столько же часовых, проверяющих пропуск.

И ужаснее всего было, что Бонапарт, возможно, и в самом деле не подозревал об этом.

Боб вышел из дворца и, оглянувшись на него, с удивлением отметил, что здание небольшое.

Глава вторая

(согласно историкам)

Бонапарт ошибся. Боб сбросил бомбу и вернулся живым и невредимым. Вернулся и его товарищ Джо Стиборик, который сбросил такую же бомбу на город Нагасаки.

Столица встретила своих героев ликованием.

Боб и Джо были несколько удивлены и даже сбиты с толку подобной встречей, так как оба они считали, что этот их полет ничем особенным не отличался от множества других обыкновенных полетов.

Бонапарт искупил свою вину. Он поцеловал в лоб обоих героев и заявил во всеуслышание, что благополучным и скорым окончанием войны весь мир обязан двум этим молодым летчикам.

После чего он выступил перед народом в трех различных местах с тремя различными речами.

Речь первая. Вы помните, что сказал я годы тому назад? Я сказал: англичане хотят войны.

Но если они первые обнажат шпагу, то пусть знают, что я последний вложу шпагу в ножны... Если вы хотите вооружаться, я тоже буду вооружаться. Если вы хотите драться, я тоже буду драться. Вы, может быть, убьете Францию, но запугать ее не можете. Горе тем, кто не выполняет условий!.. Мальта или война!

Речь вторая. Глядя на Боба и Джо, я припомнил свою молодость. Наверное, немногим среди вас известно, что когда-то я был величайшим певцом в этой стране. Целыми днями я лежал без движения, с тяжелыми листами свинца на груди, желудок очищал промываниями и не ел фруктов, дабы голос мой обрел силу и крепость.

Зрители любили меня до такой степени, что запрещали кому бы то ни было покидать зал до окончания спектакля. Были случаи, когда беременные женщины разрешались от бремени во время моих выступлений.

Никогда в жизни не надевал я дважды один и тот же костюм. Число костюмов, которые я сменил до сегодняшнего дня, равно числу прожитых мною дней.

Годы назад я повелел, чтобы два цвета — лиловый и багряный — были стерты с лица земли, и повеление мое было исполнено мгновенно. Вы до сих пор не увидите в моей стране ни лилового, ни багряного цветов.

А однажды, когда мы собирались вот так же, я и мой народ, кто-то из толпы сказал:

— Когда умру, пускай земля огнем горит.

— Нет, — ответил я, — пока живу.

Я поджег этот город. А сам поднялся на высокую башню и, опьяненный великолепным зрелищем пожара, спел лучшую из своих песен — «Падение Трои».

Мои враги пробовали уничтожить меня. Я долгие годы боролся с ними, не зная сна и покоя.

И как-то раз, когда у меня выдалась свободная минута, я тайком от всех отправился в театр. Там зрители восхищенно слушали какого-то певца и аплодировали ему. Вы только представьте себе: я увидел какого-то мальчишку на вершине славы! Я не мог стерпеть, я вызвал к себе этого несчастного и сказал ему так:

— Ты пользуешься тем, что император твой занят.

Речь третья. Несколько слов в порядке самоанализа. Мне хочется рыдать и выть от стыда, потому что я должен был служить моему народу и моим солдатам, однако я не служу моему народу и моим солдатам, мой народ и мои солдаты служат мне.

Теперь я должен хорошо учиться у моего народа и моих солдат, и пока не может быть и речи о служении моему народу и моим солдатам. Теперь нужно хорошо учиться у народа и у солдат, преклоняться перед народом и перед солдатами, как перед уважаемыми учителями. И если мне нужно будет повалиться в грязи, то я хочу это сделать. Если мне нужно запачкаться мазутом, то я хочу это сделать. И даже если нужно будет обагрить тело кровью в случае нападения врага, то я также хочу бросить несколько гранат. Таковы мои мысли. Сейчас нужно хорошо учиться у моего народа и моих солдат, а если будет возможно — хорошо служить моему народу и моим солдатам.

— Я кончил, — сказал Бонапарт окружавшим его министрам. — Продолжайте без меня.

— Без вас? — удивились все.

— Меня заменит Вильгельм Икс.

Вильгельм Икс был императором страны, потерпевшей поражение в войне с Бонапартом. Бонапарт назначил его своим военным министром, ибо уже сам факт, что Вильгельм имел смелость совершить нападение на столь могучую державу, достаточно красноречиво говорил о его решительности и отваге.

— Но хотя бы одно-единственное последнее слово, ваше величество.

— Объясните, что император сказал: да здравствует мир, долой войну!

После чего, заметив сияющих от счастья Изерли и Стиборика, пробормотал:

— Герои!.. Что-то много их развелось...

И тут-то и решил, каким будет последнее его слово.

— Скажите лучше так: чтобы переварить пищу, нужно принимать ее хотя бы за два часа перед сном.

И пошел ко дворцу неторопливым шагом.

Глава третья

В тот же самый день Боб на поезде выехал в городок, где он родился и вырос и где жили сейчас его родители. Ему предложили лететь самолетом, но он отказался, и все подумали, что Боб, наверное, уже по горло сыт всякими самолетами, с которыми у него, конечно же, связаны тысячи всяких воспоминаний. Однако, когда спросили о причине отказа у самого Боба, он ответил, что самолет штука опасная и что с ним каждую минуту можно ждать беды. «Но вы же полетите гражданским», — возразили ему с недоумением. «Тем более», — сказал Боб.

Он прибыл на место вечером следующего дня. В честь Боба поезд простоял на станции гораздо дольше, чем обычно; он простоял полчаса, хотя по расписанию полагалось всего каких-нибудь пять минут. Боб давно уже вышел со станции и миновал даже несколько улиц тихого городка, а поезд все еще стоял и стоял у пустынной и мокрой платформы.

Дом своих родителей Боб узнал еще издали и, узнав, остановился на мгновение, опустил чемодан на землю. Во всех окнах было темно. «Опять в темноте сидят, — подумал Боб, — опять от скудости света не зажигают».

Он почувствовал прилив нежности к родителям, поднял чемодан и продолжил свой путь. Проходя мимо магазина, он вспомнил, что не привез подарков. Вошел. Магазин был маленький и бедный. И ничего такого, что годилось бы в подарок, в нем не нашлось, особенно для отца, как это, впрочем, всегда бывает. Он купил двуствольное ружье. Матери купил платки, а сестре конфет.

Постучавшись, он довольно долго ждал, пока за дверью послышались шаркающие шаги. Боб вспомнил, что у отца с матерью была привычка вместе выходить на стук и выяснять, кто там стучится.

— Боб? — удивилась мать.

— Здравствуй, ма.

— Ну вот, приехал все-таки, — недовольно буркнул отец. — Здравствуй.

Мать, не отрывая глаз от сына и не придя еще в себя от такой неожиданности, пробормотала чуть слышно:

— Ты что небритый?

Боб протянул ей платки. Мать, тронутая подарком, обратилась к мужу:

— Посмотри, что он мне привез.

— А это тебе, — сказал Боб и протянул отцу двустволку.

— Что это за штука? — спросил отец.

— Ружье.

— А, ружье... В соседнем магазине купил, что ли?

— Да.

— Знаю, двадцать долларов стоит. Давно оно там, никто не берет.

— Почему?

— Потому что слоны в наших краях давно уже не водятся.

— Когда же они водились? — засмеялся Боб.

— Были, были когда-то... Не твоего ума дело...

После ужина, когда отец с сыном сели играть в домино, Боб спросил:

— Вы почему в столицу не приехали?

— А зачем нам было приезжать?

— А затем, что весь город меня встречал. Могли бы и вы приехать.

— Весь город? Какое до тебя дело всему городу?

— Не знаешь будто бы?

— Ничего я не знаю.

Боб опешил.

— Не знаешь, что это я сбросил бомбу?

— Какую бомбу? Какое отношение ты имеешь к бомбе? Бомбы бросают, когда война.

— А это... — опешил Боб, — а это, по-твоему, не война была?

— Какая война? В первый раз слышу.

— Да ну тебя, — вмешалась жена. — Разве ты не помнишь, я тебе говорила как-то, что сейчас война. Ты в саду был, помнишь, сухую нашу яблоню пилил — вот тогда я тебе и сказала.

— Ничего ты мне такого не говорила.

— То есть как это не говорила?

— Не говорила — и все.

— Да ну тебя...

— Стало быть, ты все это время не учебой был занят? Я думал, ты учишься... А выходит, что бросил все, восвать отправился...

– Тебе, может, подразнить меня охота, па?

– Ты как со мной разговариваешь? – вскинулся отец. Потом спросил в прежнем своем тоне: – Ружье-то зачем принес? На кой оно...

– Ну сунь его куда-нибудь, пускай будет.

– Ладно, пускай будет, – смягчился отец.

– Па, выходит, ты и понятия не имеешь, что я теперь герой? Национальный герой. Меня сам Бонапарт во дворец вызывал, разговаривал со мной, пожелал удачи.

– А кто такой Бонапарт?

– Наш император.

– Нашего императора зовут Трумэн, а не Бонапарт.

– Па... опять ты надо мной смеешься?

– Мне что, неизвестно, как зовут моего императора, что ли? Каждый день в газетах про него читаю.

– Ну-ка дай мне хоть одну газету.

– Слушай папу, – снова вмешалась мать. – Он старше тебя и лучше знает жизнь.

– Вон его портрет на стене, смотри.

Боб посмотрел и увидел незнакомого мужчину.

– Кто это?

– Наш император.

– Наш император не он.

– Наш император он.

– Разве у нас два императора?

– Конечно нет. Император у нас один. Вот это и есть наш император.

Последовало долгое молчание.

– Но неужели ты ни разу не читал в газетах, что идет война?

– Не помню. Вот мать твоя вроде бы и говорила мне, но я, видишь, забыл.

– Как можно забывать такие вещи?

– А почему нельзя? Почему я должен обязательно это помнить? Почему я должен обязательно этим интересоваться? Когда объявляли войну, меня ведь не спрашивали! Не спрашивали ведь? Сейчас вот тоже, например, в городке у нас на месте парка двухсотэтажное здание вздумали строить. Моего мнения не спрашивают ведь? Не спрашивают...

Боб вышел на улицу.

За углом соседнего дома он смутно разглядел застывших в поцелуе парня и девушку. Погода была сырая, слякотная. Бобу этот поцелуй показался сейчас неприличным. Ему все сейчас казалось или неприличным, или же вполне есте-

ственным. Лицо у девушки было как будто знакомое. Боб подошел поближе к целующейся паре и узнал в девушке свою сестру. Она очень выросла, его сестра. А Боб до сих пор представлял ее себе не иначе как маленькой девочкой.

Не говоря ни слова, он отшвырнул в сторону парня, а девушке закатил звонкую пощечину.

— За что? — удивленно спросила она.

— Я твой старший брат. Ясно?

— Боб? — вскрикнула сестра и повисла у него на шее. — Боб!

Он отвел ее руки.

— Чтобы впредь ты не попадалась мне с этим... — Потом вытащил из кармана горсть конфет. — На, бери, для тебя привез.

Глава четвертая

Боб уже лежал в постели. Не постучавшись, к нему вошел отец, присел на край кровати.

— Слушай, Боб, мы с твоей матерью вот о чем подумали... Ты ведь теперь вроде как видным человеком стал, правда?

— Да, — равнодушно отозвался Боб.

— Так вот, можешь ты помочь мне в одном деле?

— Конечно.

— Даешь слово?

— Я же сказал, что помогу, па, — рассердился Боб.

— Ну ладно, не сердись, — сказал отец как-то жалко. — Дело, значит, вот в чем. За садом у нас есть маленький участок. Никому он не принадлежит. Хочу присоединить его к своей земле.

— Только и всего? — удивился Боб.

Отец, волнуясь, наклонил голову.

— Зачем тебе этот участок? Я увезу вас в столицу.

— В столицу я не хочу.

— Ладно, в таком случае куплю вам новый дом и земли вдвое больше. И дом такой, чтобы пальцем все на него указывали.

— Погоди, — сказал отец, подумав мгновение, потом встал, вышел из комнаты.

Боб вспомнил, как он вернулся домой поздно вечером и застал в коридоре человек, наверно, десять мужчин и женщин. Они, по всей вероятности, поднялись и явились сюда прямо с постели, потому что все, и мужчины, и женщины, были в ночных рубашках и накинутых на плечи пальто. Это

были соседи, они пришли с ним поздороваться и выразить радость по поводу его приезда. Близкие соседи, которых он хорошо знал и от которых ему в свое время изрядно попадало за всяческие шалости. Многие из этих людей не раз таскали его за уши. Сейчас, до прихода Боба, они, наверное, весело и оживленно болтали друг с другом, и каждый, наверно, припоминал что-нибудь про Боба и рассказывал это остальным, рассказывал и, наверно, смеялся. И вдруг появился Боб. И наступила странная тишина. И все стали робко и почтительно пожимать ему руку, не говоря при этом ни слова.

У Боба из памяти не шли их белые, почти до пола ночные рубахи. Белые, обращенные к нему лица. Белые руки...

Словно выполнив какой-то непосильный долг, соседи один за другим вздохнули облегченно и с поспешностью удалились.

«Может, у меня что-то общее с Бонапартом?» — неуверенно подумал сейчас Боб и вспомнил, что у всех важных людей во дворце и вообще у всех известных в стране людей есть какое-то сходство с Бонапартом...

Боб отвлекся от своих мыслей, потому что в доме поднялся шум. Отец с матерью спорили, но ни слова в их споре разобрать нельзя было. Потом что-то ударились об пол и разбилось. Потом что-то еще и еще... Потом голоса стали глуше, понизились до шепота, и, наконец, наступила долгая тишина.

Отец вернулся и сказал:

— Не хочу я нового дома. Хочу участок за нашим садом.

— Скажи, пожалуйста, на что тебе этот твой дряхлый домишко?

— Я его построил.

— Ну ладно, а на что тебе этот участок?

— Да ведь это же свободная земля, ничья, понимаешь, и вдобавок хорошая.

— Я очень устал, па. Может, завтра поговорим? Даю слово, что все устрою.

— Я уже десять лет хочу эту землю! — взорвался вдруг отец. — Тогда она была нужна мне, нужна позарез. Мне деньги были нужны!

— Тогда было так, теперь иначе. Теперь у тебя денег хватит.

— Вот потому я и хочу эту землю.

— Завтра все устроим.

— В конце концов должен я выиграть хоть раз в жизни? — крикнул снова отец. — Не вечно же мне проигрывать?

– Ладно, я позвоню сейчас мэру города.
– Мэру? Так поздно? Он уже спит, наверное.
– Ничего, пускай проснется.
– А не рассердится?
– Не рассердится.
– Правильно! – обрадовался струсивший было отец, теперь только, по-видимому, сообразив, насколько его сын важный человек. – Пускай проснется. Конечно, пускай проснется.

Боб узнал через справочную телефон мэра и набрал номер.

– Кто говорит? – откликнулся спустя некоторое время женский голос. – Кого хотите?

– Попросите к телефону мэра.

– Он спит, – ответила женщина с явным неудовольствием. – Неужели вы не могли позвонить завтра?

– Разбудите его и скажите, что спрашивает Клод Изерли.

Мэр не заставил себя долго ждать.

– Мистер Изерли? Я чрезвычайно рад оказанной мне чести. Чрезвычайно рад. Я был уверен, что вы не забудете свой родной город.

– У меня к вам просьба, – перебил его Боб.

– Я к вашим услугам.

Боб мысленно представил себе мэра: старик, высокого роста, и сейчас, наверное, в ночной рубаше, и рубаша эта белая, тоже белая, как у тех...

– К саду моего отца примыкает никому не принадлежащий участок земли. Я хотел бы купить его.

– Ваш отец уже давно и не раз обращался ко мне по этому вопросу. Но пойти ему навстречу мы никак не можем.

– Почему?

– Согласно законам нашего штата, когда кто-либо желает приобрести имеющийся где-либо свободный земельный участок, он может сделать это лишь при наличии письменного согласия всех соседей.

– Почему?

– Потому что не исключено, что кто-нибудь из его соседей также желает приобрести эту землю.

– А если и в самом деле кто-нибудь из соседей тоже хочет купить ее?

– В этом случае земля не продается.

– Почему?

– Потому что эту землю может приобрести из двоих желающих только один. И вот, пожалуйста, между двумя семь-

ями начинается вражда, а такие вещи в нашем штате не поощряются.

Теперь Боб видел мэра совсем иным. Теперь он видел его низеньким и лысым и во фраке поверх ночной рубахи...

— А если землю поделить между двоими или, скажем, решить по жребии? — спросил Боб.

— Опять-таки оба останутся недовольны. А в нашем штате не разрешается искусственным образом приводить людей в состояние недовольства.

Боб почувствовал, что у него уже появляется интерес и что ему хочется продолжить эту беседу с мэром.

— Отдайте землю тому, кто больше заплатит.

— Нельзя. Это значило бы напомнить, что среди жителей нашего города есть более богатые и менее богатые, или бедные. Это значило бы унижить одну из сторон, а такие вещи в нашем штате строго воспрещаются.

Теперь уже мэр был в очках с толстой оправой, которых он не снимал даже по ночам, ложась спать.

— Коли на то пошло, — сказал Боб, — то, значит, никаких земельных участков здесь продавать нельзя.

— Отчасти верно. В нашем штате именно по этой причине имеется много свободных земель.

— А если один из соседей сначала был против, а потом передумал?

— Такого рода вещи закон во внимание не принимает. Почему и как сосед этот переменял первоначальное свое мнение? Добровольно или вынужденно? А может быть, его подкупили? Или, может быть, запугали? Как видите, тысяча вопросов, ответить на которые точно нельзя. Помимо того, я должен сказать, что люди, не имеющие твердых принципов, не пользуются уважением в нашем штате.

Боб на минуту опустил трубку, подкрался на цыпочках к двери и рывком распахнул ее.

За дверью, пригнувшись, подслушивали разговор мать и сестра. Они до того растерялись, что, как стояли согнувшись, так и остались стоять.

— Ай-ай-ай! — возмутился Боб и пригрозил им пальцем.

Потом захлопнул дверь и снова взял трубку.

— Насколько я понимаю, кто-то из наших соседей не дает согласия, чтобы мой отец приобрел этот участок?

— Вы угадали.

— А кто именно?

— К сожалению, этого мы вам сказать не можем. Это остается тайной, ибо в противном случае создается впечатление, что мы ограничиваем свободу своих граждан.

— Он что, тоже хочет купить этот участок?
— Нет, не хочет, но и не дает согласия.
— Просто так, без каких-либо оснований?
— Возможно, что и просто так. Он говорит: когда-нибудь, может, и я захочу приобрести этот участок.

— Но ведь это исключено, поскольку у него уже есть конкурент. Я имею в виду моего отца.

— Вы все уже поняли! — воскликнул мэр. — Видите, в той же мере, в какой он противится сейчас намерениям вашего отца, ваш отец в будущем может воспротивиться его намерениям. Так что давайте не будем обвинять только этого человека, давайте поищем вину также и в себе самих.

— Но почему закон не требует у этого человека обоснований?

Мэр превратился теперь в толстяка, он весь вспотел, раскраснелся и расстегнул верхнюю пуговицу на брюках.

— Он вправе возражать и не приводя обоснований. Допустим, между соседями были какие-то неприятности, спор какой-нибудь, и вот одному из них представляется случай отомстить. Зачем же лишать человека этой возможности? Мы не хотим попирать демократию и гуманизм.

— Ладно, я обращусь к Бонапарту и улажу этот вопрос.

— Боюсь, что результата вы не добьетесь. Бонапарт в этом вопросе бессилён.

— То есть как?

— Только в двух случаях он может изменить законы нашего штата. Эти законы установил он сам и не имеет права сам же менять их. Это может сделать лишь кто-то другой. А чтобы кто-то другой мог это сделать, Бонапарт должен отказаться от трона.

— Не стоит, пожалуй, из-за таких пустяков, — улыбнулся Боб.

— Второй путь: объявить войну нашему штату и покорить его.

— Войну? Вы шутите?

— Нет, я не шучу, но смею утверждать, что это невозможно. И вот почему. Бонапарт не может объявить войну нашему штату, потому что наш штат составляет неотъемлемую часть той страны, императором которой является он же, Бонапарт. Это значило бы воевать с самим собой.

— Мне все понятно, — усмехнулся Боб. — А теперь, если позволите, еще одна просьба. Пожалуйста, опишите мне свою внешность.

— Внешность? — опешил мэр и нетвердым голосом проговорил: — Мне шестьдесят четыре года... рост невысокий,

158 сантиметров... Глаза зеленые... вес — 75 килограммов... Волосы... волос нет...

— Спасибо, я удовлетворен.

И снова Боб представил себе мэра высоким, с узкими голубыми глазами, с кудрявой густой шевелюрой... под душем...

— И еще один вопрос. Жители вашего штата знакомы с этими демократическими законами? Мой отец, например, ничего о них не знает.

— Нет, они незнакомы. Достаточно того, что мы сами знаем эти законы и не позволяем, чтобы жители нашего штата совершали что-нибудь несправедливое или же оказывались жертвой несправедливости. — Тут мэр понизил голос: — Я хочу предупредить вас как близкого человека: скажите отцу, чтобы больше он по этому вопросу не обращался. Когда кто-то слишком часто обращается по одному и тому же вопросу, его арестовывают, ибо это рассматривается как бунт против закона. Так что вашего отца тоже могут арестовать. — Мэр перешел почти на шепот: — Но только умоляю, никому об этом ни слова. Я не имею права так подробно рассказывать о законах. Если это станет известно, меня вышлют не только из города, но и из штата.

— Не беспокойтесь, я никому не расскажу. Только один, теперь уже последний вопрос: я потерял отца, где мой отец?

— Не знаю, — пробормотал мэр, — не знаю.

— Я забыл также, для чего вам звонил. Вы не помните?

— Не помню, — ответил мэр. — Очень приятно было побеседовать с вами.

— Всего хорошего.

— Всего хорошего.

Боб посмотрел на отца: он, сгорбившись, стоял в углу комнаты, и за спиной у него уходила вверх прямая линия, линия пересечения двух стен.

Казалось, он задаст сейчас все тот же вопрос, который в течение десяти лет задавал и себе и другим: а как же с землей?

Но он молчал.

Боб заметил вдруг, что у него короткие руки и ноги тоже короткие. И понял, что жить без этой земли и в самом деле невозможно. Даже если ты богат сейчас и даже если у тебя никаких забот. Трудно тебе примириться с мыслью, что отныне этой цели твоей не существует. Цели, которую ты носил в себе многие годы, мечтал о ней и ненавидел ее, надеялся и не спал из-за нее ночами...

— Напрасно ты не пошел в гостиницу, — сказал отец. —

Будь я на твоём месте, пошел бы прямо в гостиницу.

— В гостиницу? — ошеломился Боб. — Но ведь я у себя дома?

— Ни разу в жизни я не бывал в гостинице. Пришел бы навестить тебя.

И Боб понял, что отец задает ему, в сущности, все тот же свой вопрос: а как же с землей?

Глава пятая

В условленный час Боб встретился на улице с Джо. Это был их первый свободный день в столице, и они, конечно, воспользовались случаем и направились прямо в публичный дом.

Войдя в означенный дом, они с удивлением заметили, что в главном зале, где сходились обычно клиенты, накрыт огромный и богатейший стол и по обе стороны его сидят женщины, одетые почему-то чрезвычайно скромно. Стол так и ломился от всевозможной еды и напитков, но никто еще ни к чему не притрагивался, тарелки и бокалы были пока пустые. Все женщины сидели молча, поставив оба локтя на стол, переплетя пальцы и опустив голову на руки. И все они смотрели в разные стороны.

Наконец одна из женщин устало подняла взгляд, по чисто профессиональной привычке равнодушно смерила вошедших с головы до ног и вдруг, словно осененная догадкой, вскочила с места и обрадованно воскликнула:

— Пришли!..

Повскакали с мест и остальные женщины и с шумными восклицаниями кинулись навстречу оторопевшим ребятам. Они стали обнимать их, передавать из рук в руки, а под конец даже объединенными усилиями подняли их и несколько раз подбросили в воздух.

Джо и Боб еле смогли высвободиться и, совершенно сбитые с толку, ретировались в угол.

А женщины в восторге прыгали вокруг них и хлопали в ладоши.

Потом самая пожилая, по-видимому хозяйка этого заведения, отделилась от всех, подошла поближе к гостям и с почтением поклонилась им.

— Добро пожаловать. Мы давно и с нетерпением вас ждем.

— Нас? — удивились Боб и Джо.

— Почему вы так опоздали? Ведь прошла уже целая неделя?

— Извините... — растерянно пролепетал Боб. — Мы были очень заняты.

— Так я и знала. — Хозяйка обернулась к своим женщинам: — Я же говорила вам, что они, наверное, заняты.

Те кивнули, продолжая с восхищением смотреть на гостей.

— А теперь познакомьтесь с нашим личным составом.

И одну за другой, по имени и фамилии, хозяйка представила всех женщин.

Джо и Боб пожимали руки, одновременно уже приглядываясь, делая выбор и надеясь, что этот странный пролог затянется ненадолго.

— Теперь прошу к столу, — сказала хозяйка и взяла ребят под руки. — Чувствуйте себя как дома.

— Но у нас мало времени, — попробовал было запротестовать Джо. — Мы пришли по делу...

— Советую не повторять, — вежливо и негромко прервала его хозяйка, — в противном случае я не ручаюсь, что эти же самые женщины не бросятся на вас с кулаками.

Пришлось подчиниться. Тихо, послушно Боб и Джо уселись за стол друг возле друга и тут только заметили на противоположной стене свои фотографии в сердцевидных рамках.

Джо решил не терять даром время и тронул под столом ногу своей соседки. Соседка тактично отодвинулась от него, потупила глаза и виновато улыбнулась. Джо почему-то стало не по себе, и он тоже отодвинулся.

Наступила тишина.

Хозяйка подняла бокал и взволнованно заговорила:

— Уже неделя, как мы ждем вас. Уже неделя, как мы закрыли перед всеми двери нашего дома и ждем вас. Каждый день мы накрывали этот стол и ждали, а потом приходилось все убирать...

— И прятать в холодильник, — не удержалась и вставила одна из женщин, — потому что еда может испортиться.

Хозяйка метнула на нее грозный взгляд и продолжала свою речь:

— Мы ждали вас, потому что мы не могли иначе. Вы были нам очень и очень нужны. Мы чрезвычайно нуждались в вас. Не только в эти дни, но и всегда. Мы нуждались в вас каждый день, каждую минуту... даже тогда, когда еще не ведали о вашем существовании. Но я должна признаться, — тут она усмехнулась, — что в течение этой недели мы не смогли удержаться на высоте, отчего нравы в нашем городе сильно упали. За это время разрушились многие семьи и де-

сятки детей стали сиротами. Местным властям это, конечно, не понравилось, и одна газета даже поместила против нас статью. — Хозяйка замолкла на мгновение, мечтательно завела взор. — Однако поверьте, что мы не дали никому никаких объяснений, ни словом не обмолвились о вас, хотя это могло бы оправдать нас и облегчить наше положение. Мы не хотели осквернять этот торжественный вечер. Используя ваше имя, мы оказались бы недостаточно искренними и преданными по отношению к вам.

Хозяйка закончила речь, вытерла платочком слезы и села.

Женщины восторженно зааплодировали, причем некоторые из них тоже прослезились.

Потом все они наперебой чокались с гостями и все одинаково искренне и взволнованно говорили одни и те же слова:

— Мы вас очень ждали! Очень и очень ждали!

Вдруг раздались оглушительные удары в дверь. Женщины сразу притихли и насторожились. Хозяйка подошла к окну, слегка отодвинула тяжелую бархатную портьеру и посмотрела на улицу.

— Ничего, это клиенты, — пренебрежительно махнула она рукой.

Потом взяла микрофон и проговорила в него отдельно и монотонно:

— Сегодня наше заведение закрыто. Откроется завтра, в обычный час. С завтрашнего дня наши двери снова будут распахнуты перед всеми.

Люди слушали ее по уличному громкоговорителю.

Шум на улице прекратился, но кто-то еще упорно продолжал стучаться.

— Это из полиции, — догадалась хозяйка и, взяв ребят за руки, поспешно увела их в соседнюю комнату. — Не надо, чтобы он видел вас. Мы дадим ему взятку и быстренько выпроводим.

Боб и Джо остались наедине друг с другом. Они почему-то избегали сейчас смотреть друг на друга. Они почему-то друг друга стеснялись.

— Который час? — спросил Джо.

— Десять.

— Десять вечера?

— Нет, утра, — разозлился Боб.

Немного помолчали.

— Помнишь, Боб, однажды мы с тобой поспорили, кто из нас съест больше мороженого? — ни с того ни с сего засмеялся Джо.

— Помню, — ответил Боб. — Ты выиграл.

Наконец с улыбкой на лице появилась хозяйка и сказала:

— Все в порядке. Прошу вас.

Они вздохнули с облегчением, оттого что не придется больше сидеть тут одним, и вернулись в зал.

— Видели бы вы, как наша хозяйка его обработала! — смеясь сказала одна из женщин.

— У нас никому не удастся до конца выдержать строгость, — с гордостью и с достоинством сказала другая.

— Можно задать вам вопрос? — подошла к ребятам девушка лет восемнадцати.

— Пожалуйста, задавайте, — сказал Боб.

— Это правда, что вы вместе с вашим товарищем провели целый месяц на дне моря?

— Что, что? — вмешался Джо. — На дне моря? Мы сбросили бомбу...

Никто не стал его слушать, никто даже не обратил внимания на его слова.

— Верно, — сказал Боб, — наша подводная лодка месяц находилась на дне моря.

— В ней что-то повредилось? — продолжала девушка. — И вы остались без пищи и без воды?

— Да, да, — согласился Боб.

— И вас разыскивал враг, потому что на лодке были важные документы?

— Да. Документы, хранящие военную тайну.

— И вы все выдержали? — сказала взволнованная до слез девушка.

— Так уж пришлось, — улыбнулся Боб.

— А я слышала иначе, — сказала другая женщина. — Я слышала, что вы пешком прошли через пустыню. Для чего вы это сделали?

— Они, кажется, врачи, — объяснила третья, — и хотят использовать песок для лечения рака. Правда?

— Возможно, — улыбнулся Боб. — Вполне возможно.

— Ну какое это имеет значение? — рассердилась вдруг женщина, выглядевшая значительно старше остальных. — Зачем нам знать, что именно они сделали? — продолжила она энергично. — Важно, что они мужчины, настоящие мужчины, каких мы не встречали еще ни разу в жизни.

— Правильно, правильно! — поддержали ее отовсюду.

— Они сделали все, чтобы в мире была чистота... Честность... Жертвенность... Вот что они сделали.

— Правильно, правильно!

Боб тихонько поднялся с места и отошел от Джо. Нечест-

но как-то было сидеть им рядышком в такую минуту и среди такого множества женщин.

— Мы тоже приносим себя в жертву, — сказала хозяйка. — Мы жертвуем собою во имя мира и спокойствия в нашем городе.

Никто не возразил ей. Слова эти были сейчас как нельзя более кстати. И все почувствовали себя после них особенно хорошо.

— Потанцуем? — спросил Боб у девушки лет восемнадцати.

Девушка кивнула.

Они пошли танцевать и постепенно отделились от остального общества.

— Как тебя звать? — поинтересовался Боб.

— Как меня звать? Никак... Придумайте мне, пожалуйста, имя.

— Сюзан.

— Сюзан? — улыбнулась девушка. — А вас как зовут?

— И меня никак. Может, придумаешь?

— Я не смогу придумать вам имя. У меня очень бедное воображение, — застенчиво призналась девушка. — Если попробую, то, честное слово, сразу же пере забуду все имена.

Боб рассмеялся и зашептал ей на ухо:

— Алан... Роберт... Эдуард... Чарли...

Девушка покраснела, потом еще крепче обняла Боба.

— Я так боялась, что вы не придете...

— Почему? Ведь ты же меня не знаешь. Может, я нехороший? Может, я плохой?

— Вы не можете быть плохим.

— Кто я, по-твоему?

— Принц, — улыбнулась девушка. — Помните: принцессу усыпил злой колдун, но однажды явился издалека принц, поцеловал ее в щеку, и она проснулась... — и, словно припомнив что-то, она прибавила: — Вам хорошо спится по ночам?

— Когда как, — неуверенно ответил Боб.

Они кончили танцевать и сели в углу на высокие стулья у стойки бара. Боб посмотрел, что происходит за столом. Женщины тесным кольцом окружили Джо и одна за другой забрасывали его вопросами.

— Скажите, что вы чувствовали на дне моря? Вам было страшно?

— Когда человек не один, ему не страшно, — с серьезнейшим видом отвечал Джо.

— А сейчас вы узнаете себя героем?

– Человек не может сознавать это сам. Только другие знают, что он герой.

– Правильно, ведь, если вы сами почувствуете себя героем, вы уже перестанете им быть, не так ли?

– Вы отправились в джунгли, чтобы найти там новые племена и обучить их чтению и письму. Вы что-нибудь нашли там?

– Разумеется, нашли. Около сорока неизвестных племен.

– Были среди них женщины?

– Ни одной женщины, только мужчины.

– О! – последовало тут всеобщее удивление.

Внимательно взглядыаясь в лицо своего товарища, Боб сообразил, что он не врет в эту минуту или, вернее, что где-то в глубине души он искренне верит сейчас в собственное вранье.

– Почему вы не хотите потанцевать и с ними? – услышал он рядом с собою голос девушки.

– Не хочу, потому что ты самая красивая.

– Есть и красивее меня, – ответила девушка без тени кокетства. – Посмотрите, вон вторая слева, она мне очень нравится.

– Хороша, – согласился Боб. – Но ты мне нравишься больше.

– Или та, что в середине. Посмотрите, какие у нее красивые волосы.

– Почему ты заставляешь меня?

– Они ведь тоже вас ждали.

Боб подошел к той, что сидела в середине, и пригласил ее потанцевать.

– Слыхали, что сделал один из наших клиентов? – говорила какая-то женщина. – Воспользовавшись случаем, что мы на неделю закрыли свой дом, он тут же открыл на соседней улице новое заведение.

– Ничего, – успокоила ее другая, – с завтрашнего дня мы вернемся к делу и отобьем у этого типа всю клиентуру. – Потом она обратилась к Джо: – Вы знаете, как высоко ценят нас в городе? Никто тут не выдержит конкуренции с нами.

– Этот человек собрал неопытных девочек, – равнодушно сказала хозяйка. – Можете не сомневаться, что они еще придут к нам на практику и нам же будут платить.

Однако это равнодушие было притворное. Ведь кому не известно, что неопытные девочки в большом почете...

На лице хозяйки появилась озабоченность, и с этого

мгновения она утратила покой. Как же теперь быть? Что теперь делать?

Боб поблагодарил свою партнершу, проводил ее на место и вернулся к девушке.

— Я наблюдала за вами, — сказала девушка. — Вы не сердитесь?

Боб улыбнулся и пожал плечами. Девушка взяла его руку и стала внимательно всматриваться в ладонь.

— Вы будете жить долго-долго, до глубокой старости. У вас будет много детей и внуков. Так много, что вы будете путать их имена. Вы влюбитесь в актрису. В актрису, больную чахоткой. Она молодая, а вы уже седой. Вашей жене все известно, но она не упрекает вас, чувствуя, что это настоящая любовь. Актриса при смерти. И у нее нет никого. Жена тайком от вас ходит к умирающей и самоотверженно ухаживает за нею. После смерти вашей возлюбленной ни вы, ни ваша жена не разговариваете о ней, чтобы не оскорбить ее память...

— Ну и грустная же история, — снисходительно улыбнулся Боб. — Давай лучше танцевать.

Танцуя, Боб обратил внимание, что Джо восседает теперь, обхватив за плечи двух женщин, а остальные женщины расселись у его ног. Эта картина поразила Боба своей неожиданностью и странностью. И он не почувствовал, как девушка прижалась губами к его щеке.

— Что это за торт? — спросил Джо.

— Этот торт называется пражским. Если хотите, можем дать рецепт.

Джо взял бумагу и карандаш и принялся добросовестно записывать.

— Сто граммов муки, пять столовых ложек сахарного песка, пять яиц, ложка какао и сливочное масло, непременно подтаявшее. Сахарный песок разделить на две части, одну часть сбивать с желтками, другую с белками...

Джо одной рукой записывал, а другою поглаживал бедро соседки.

Боб почувствовал, что Джо делает это как-то между прочим... машинально... просто так...

Вдруг одна из дверей зала распахнулась, и в сопровождении хозяйки вошли дети — человек тридцать — сорок.

Джо и Боб в недоумении переглянулись. Дети, одетые в скаутскую форму, выстроились рядами, продолжая шагать на месте. В руках у девочек были букеты.

— Это дети наших женщин, — любезно объяснила хозяйка. — Вы, конечно, понимаете, что живут они не здесь,

каждый из них пристроен в какой-нибудь семье, в разных городах и селах страны. Я разрешила, чтобы в эти дни все они собрались. — Хозяйка растрогалась. — Ведь для такого случая можно было разрешить, правда?

Дети стояли на месте и спокойно слушали. Но, как только хозяйка кончила, они снова пришли в движение и торжественно промаршировали перед Бобом и Джо. Девочки с поклоном вручили гостям букеты.

Выполнив свой долг, дети без всякого шума и гама подбежали к женщинам и уселись к ним на колени. Двое из мальчиков забрались на колени к Бобу и Джо.

— Как тебя звать? — глядя мальчика по голове, спросил Боб.

— Джонни.

— Сколько тебе лет?

— Шесть.

— А которая здесь твоя мама?

Мальчик указал на одну из женщин.

— Твоя мама не эта, — сказала девушка лет восемнадцати.

Мальчик не растерялся и указал на другую женщину.

Боб почувствовал, что можно повторить вопрос:

— Которая твоя мама?

Мальчик показал на третью.

— Дети, вы знаете, кто сегодня у нас в гостях? — спросила хозяйка.

— Знаем, знаем, — отозвались они хором.

— Кто же? — добросердечно улыбнулась хозяйка.

— Клиенты, — был единодушный ответ.

Хозяйка даже изменилась в лице. Смуглились и остальные женщины.

— Ступайте играть, — мрачно произнесла хозяйка.

— Нельзя, — отозвался ей хор.

— Можно, я разрешаю вам.

— Нельзя, — упрямо повторили дети.

Хозяйка почуяла опасность. Она поняла, что допустила серьезную ошибку, приведя сюда детей. Она почувствовала, что все может рухнуть в одно мгновение.

— Ступайте играть, — сказала она, — я разрешаю.

Дети послушно встали, без какой-либо толкотни выстроились в ряд и, снова четко и спокойно прошагав перед Бобом и Джо, покинули зал.

Боб поискал глазами девушку, подошел к ней и совершенно невпопад спросил:

— Ты здесь?

Он постоял, взглядываясь в ее лицо, и вдруг сказал:

– Ты мне нравишься... Ты мне нравишься, – повторил Боб, и потом, движимый внутренней потребностью, он сказал то, что совсем недавно казалось ему смешным: – Я действительно принц, ты не ошиблась.

Он взял девушку за руку и повел ее вон из зала. Женщины отнеслись к этому неодобрительно.

– Пойдем в твою комнату, – сказал Боб на лестнице.

Они попали в узкий и длинный коридор, в самом конце которого горела одна-единственная тусклая лампочка. По обе стороны от них темнели двери на небольшом друг от друга расстоянии. Боб все еще крепко сжимал в своей руке руку девушки. Дверь в одну из комнат была полуоткрыта. Проходя мимо, Боб задержался на мгновение, заглянул в нее и... не поверил своим глазам. В комнате был Бонапарт. Он ходил из угла в угол, без ботинок, в носках, заложив руки за спину.

– Сюда, – прошептала девушка и открыла дверь в комнату под номером 46.

Комната была до того крохотная, что первым делом бросалась в глаза кровать. Длинная и узкая кровать.

– Я хочу вызволить тебя отсюда, – сказал Боб. – Сегодня же, сейчас же...

– Это невозможно, – сказала девушка.

– Не беспокойся, я заплачу твоей хозяйке кучу денег, и она согласится.

– Но я не могу.

– Почему?

– Я должна оставаться здесь.

– Почему? – обомлел Боб.

– Это мой долг, – ответила девушка. – Чем я лучше всех остальных? Если каждый будет заботиться о себе, ты представляешь, что из этого выйдет?

– Кто тебе внушил эти глупости? Кто тебя этому научил? – растерялся Боб как от неожиданного удара. – Ты попала сюда, потому что умирала с голоду. Потому что в кармане у тебя не было ни гроша. Потому что никто не давал тебе работы.

– Это вовсе не глупости, – стояла на своем девушка. – Не думай, что только ты один способен на жертву.

– Перестань! – крикнул Боб и яростно тряхнул ее за плечи.

– Хозяйка мне все объяснила. Я верю ей.

– Пойми, тебе лгали, тебя обманули!

– Мне никто не лгал, – продолжала девушка невозмутимо. – Я знаю, что я нужна здесь.

Боб выпустил ее, сел на кровать и в отчаянии схватился руками за голову.

— Не падай духом, — попросила его девушка. — Будь твердым. Ты ведь лучше других должен понимать меня.

— Правильно, — прошептал Боб, — правильно.

— Ты захотел увести меня, потому что я, наверно, нужна тебе, правда? Вот видишь, ты думал только о себе, о своих интересах. А я не могу так.

— Правильно, правильно, — снова прошептал Боб, потом устало спросил: — Давно ты здесь работаешь?

— Две недели. Мне даже не дали имени.

— Какого имени?

— Все поступающие сюда должны в обязательном порядке переменить имя и забыть прежнее.

— Зачем?

— Чтобы начать новую жизнь. Как монахини.

— Значит, ты и в самом деле без имени?

— Да. Но я уже попросила, чтобы меня назвали Сюзан. — Девушка на мгновение снова сделалась нежной и ласковой. — Ведь ты назвал меня этим именем...

— Да, — рассеянно проронил Боб.

Долгое молчание.

— Кто это был в соседней комнате? Бонапарт?

Девушка кивнула.

— Почему он здесь? Что он тут делает?

— Ждет, пока окончится вечер.

— Почему он приходит к вам сам? Почему он не вызывает вас во дворец?

— Наш император простой человек.

— А почему вы заставляете его ждать? Ведь он гораздо более важная персона, чем мы.

— Он уже старик, — с пренебрежением сказала девушка.

Боб вздрогнул.

— Вот видишь, — улыбнулась девушка, — все в порядке.

Боб машинально кивнул.

— Я так и знала. Ты не мог не понять меня.

Боб вскочил и кинулся вон из комнаты...

Когда он снова появился в зале, женщины облегченно вздохнули.

Хозяйка теперь уже пребывала в полном смятении. Ее охватил настоящий страх. На соседней улице открылся второй публичный дом. Что же теперь делать? Что делать? Она подозвала к себе помощницу.

— Мы должны сегодня же открыть двери, — сказала она очень тихо. — Во что бы то ни стало.

– Но ведь вы объявили...

– Позвони нашему соседу-бакалейщику. Скажи, чтобы пришел. Он человек верный, не подведет нас.

– А гости?

– Какие гости? А-а... Они нам больше не нужны.

Потом с улыбкой на лице хозяйка обратилась к Бобу и Джо:

– Нам было чрезвычайно приятно с вами. Мы провели незабываемый вечер. Но сейчас нам пора проститься. – И, обернувшись к женщинам, она пояснила: – Им уже время спать. И вообще они все должны делать вовремя. Они должны соблюдать режим. Они должны беречь свое здоровье.

Женщины очень огорчились, но что поделаешь – надо было прощаться с Бобом и Джо. Одна за другой они обменялись с ними рукопожатиями. А последней протянула им руку хозяйка.

– Просим не забывать нас...

– Ну конечно, – подхватил было Джо. – Мы еще придем. Нам больше и ходить-то особенно некуда...

– О! – просияла хозяйка. – Спасибо за добрые слова. Но я знаю, что такие люди, как вы, могли посвятить нам лишь один вечер... И зайти сюда только однажды... Спасибо, большое вам спасибо.

Ей было очень нужно, чтобы они никогда больше не приходили сюда.

Джо и Боб в последний раз оглядели печальные лица женщин, и весь этот огромный зал с тяжелыми бархатными портьерами на окнах, и беспорядочный стол с остатками еды (после их ухода эти остатки уберут в холодильник, потому что ведь еда может испортиться), они в последний раз посмотрели на свои фотографии в сердцевидных рамках и двинулись к выходу.

По улице шли молча.

Прохожих почти не попадалось.

Столица спала.

Было холодно.

Накрапывал дождь.

– Послушай, – сказал вдруг Джо. – Эта девушка, кажется, поцеловала тебя?

– Девушка? – Боб задумался на мгновение, потом улыбнулся, словно вспомнив что-то давным-давно позабытое. – Да, да, ты прав, она меня поцеловала.

Глава шестая

Вилла Боба состояла из десяти комнат. По решению правительства в каждую из них были водворены один или несколько роботов — для оказания Бобу всяческих услуг. В столовой, например, помимо официанта имелся еще один робот, он должен был составлять компанию Бобу — ради хорошего аппетита.

При гостинной имелось несколько роботов, чтобы заменять гостей, когда их не бывает. Был робот и в спальне — чтобы подоспеть на помощь Бобу, если вдруг ему среди ночи станет плохо.

Вначале роботы были добрые и безвредные, вели себя прилично и не мешали Бобу. Но через некоторое время он заметил в них перемену: они почему-то день ото дня делались все злее и уже норовили на каждом шагу доставить неприятность своему хозяину.

Робот-бармен, например, стал ужасным пьяницей. Робот, обедавший с Бобом в столовой, завел себе манеру противно чавкать и говорить за едой омерзительные вещи. Один из роботов-гостей что ни вечер рассказывал гнусные анекдоты, другой подтрунивал над Бобом, а третий сплетничал.

Робот в спальне бессовестно шпионил за Бобом, в отсутствие хозяина обыскивал его карманы, прочитывал письма, и, хотя ничего подозрительного нигде не было, тем не менее он звонил Вильгельму Иксу и, не называя себя, обо всем докладывал. Вильгельм Икс, который превратился теперь в рьяного защитника бонапартовского режима, сначала вроде бы сильно разгневался, что, мол, как это можно — брать под сомнение национального героя! — но потом подобрел и под конец даже похвалил робота за усердие.

Был еще робот, печатающий на машинке. Он изо дня в день приставал к Бобу и буквально изводил его разговорами о том, что хотя роботы и не делятся по половому признаку, однако сам он по сущности своей машинистка, ей-богу, машинистка, ну честное слово.

Боб думал, думал и не мог понять, отчего произошла эта странная перемена.

Наконец он не выдержал и однажды ночью спросил об этом у робота, состоявшего при спальне.

И робот, который до сих пор предавал Боба, предал теперь и своих товарищей.

Он сказал, что роботы завидуют своему хозяину и что они вообще завидуют людям. Роботы все похожи друг на друга, они все без исключения добры и послушны, исполни-

тельны и преданны. И вот теперь им захотелось отличаться друг от друга, обрести свое лицо и свою индивидуальность. Однажды, воспользовавшись отсутствием хозяина, они собрались и обсудили, что делать. Самый умный из них, библиотекарь, который читал даже Льва Толстого, высказался так: «Все хорошие люди похожи друг на друга, каждый плохой человек плох по-своему».

— Скажи, пожалуйста, — перебил его Боб, — почему до сих пор ты предавал меня, а теперь предаешь своих товарищей?

Робот не ответил.

— Ты слишком индивидуализировался! — сказал Боб с издевкой.

На роботе зажегся зеленый свет, это означало, что он доволен и улыбается.

У Боба было три робота-советчика, на которых он всегда мог положиться: философ, дипломат и робот от искусства. Он пригласил их к себе и все им рассказал.

— Тут нет ничего удивительного, — сказал философ. — Зло усовершенствовано человечеством. Оно располагает тысячами форм и средств.

— А добро?

— Добро в течение веков не испытывало развития, оно осталось в примитивном состоянии. Вот почему роботы и выбрали зло, оно открывает гораздо больше путей к индивидуализации.

— На все эти интриги надо смотреть свысока. Их надо игнорировать, — сказал робот от искусства. — Мне не нравится, что вы расстроены из-за каких-то мелочей.

— Не могу я жить так в собственном доме, — с отчаянием в голосе сказал Боб.

— Я постараюсь посеять между ними раздор, — пообещал дипломат. — Я скажу им, что робот-швейцар незаконнорожденный, что он сын бармена, а не робота из спальни.

— Но ведь роботы не рождаются, никто этому не поверит.

— Пускай не поверят. Но и возражать не станут. Ибо это будет означать для них поражение. Напротив, они очень ухватятся за эту мысль и начнут злословить, образовывать группировки, бороться друг с другом. В результате они забудут вас и оставят в покое.

— Я удивляюсь, к чему эти нечестные средства! — с презрением проговорил робот от искусства. — Надо попросту объяснить им, что в современном искусстве такие понятия, как психология или характер, признаны уже устарелыми

и образ человека лишен определенности. Так что, стремясь к индивидуализации, они фактически отстают от человечества.

— Я одного не понимаю, — сказал Боб, — почему из всех только вы трое остаетесь верны мне?

— В нашу программу предательство не входит, — объяснил дипломат. — Такими мы сделаны на заводе. И я, например, отличаюсь от дипломатов всего мира тем, что не могу предать своего хозяина. Даже если захочу.

— Вы свободны, — сказал Боб. — Можете идти.

— Спокойной ночи, — сказали роботы и бесшумно удалились.

А Боб разделся и лег в постель. Он проспал всего несколько часов и проснулся рано утром от шума на улице. Он вскочил с постели, подбежал к окну и увидел, что, как всегда, возле его дома собрались и спорят десятки людей — представители различных организаций. Они спорили о том, кому из них сегодня достанется честь увести Боба на очередную встречу.

Боб быстро оделся и решил сбежать, потому что ему осточертели эти ежедневные встречи. Он выбрался через чердак на крышу и по пожарной лестнице спустился в переулок позади дома. Однако и там его поджидали какие-то люди. Это были представители общества «Семья». Они мигом усадили Боба в машину и увезли.

Потом выяснилось, что его выдали три робота: тренер, официант и библиотечарь. Выдали, оправдывая себя тем, что надо же было наказать хозяина, который, во-первых: не сделал утром положенную зарядку, во-вторых: не позавтракал, в-третьих: не прочитал утренние газеты.

Странно было только одно: что в предательстве не участвовал робот из спальни. Он, очевидно, почувал неладное: предателей становилось слишком много. Робот из спальни ни за что не хотел терять свое индивидуальное лицо. Поэтому он и решил, наверное, на сей раз быть добрым и не вредить хозяину.

Глава седьмая

Поднявшись на сцену, Боб окинул глазами зал, в котором собрались члены общества «Семья»: мужчины, женщины и дети. В зале было расставлено множество столов и вокруг каждого сидело по семье.

— Я думаю, что нет необходимости представлять вам на-

шего национального героя, — сказал председатель. — Вам отлично известны его жизнь и деятельность.

Последили аплодисменты в знак согласия.

— Вы знаете, — продолжил председатель, — что наш герой еще не женат и у него нет семьи. Значит, согласно уставу общества, мы не имеем права с ним встречаться. Давайте же исправим нашу ошибку.

Раздалась музыка, на сцену внесли и установили круглый стол. Затем появилась женщина в халате и четверо детей — семья Боба.

Двое мужчин, подхватив Боба под руки, увели его за ширму и начали раздевать. Боб пробовал сопротивляться, но мужчины были сильнее. Они таки заставили его раздеться.

— Я понимаю вас, понимаю, — говорил председатель. — Сразу жениться трудно... Нужно хорошенько подумать... Ведь от женитьбы зависит все будущее человека... Но поверьте мне, Боб, что после тридцати будет труднее.

Тем временем на Боба натянули длинную ночную рубашу и на голову нахлобучили белый колпак. Семья уселась за стол.

— Уже приятно, не правда ли? — спросил председатель и пошутил: — Вы опоздали, Боб, очень опоздали. В ваши годы я давно уже был женат.

Боб, смирившись с обстановкой, наклонил голову.

— Мистер Изерли! — перешел на серьезный тон председатель. — Наше общество, или, вернее, наша экспериментальная лаборатория, существует со времени возникновения семьи. Правда, общества как такового вначале не было, но явление-то было. Если мы признаем, что важна не форма, а сущность или принцип, то, значит, наша организация существовала уже тогда. В этом зале вы видите сейчас десятки семей. Я хочу познакомить вас с ними. Я не утомлю вас, не беспокойтесь. Я буду представлять их по группам, а не каждую в отдельности. Прежде всего, у нас есть семьи бедные и богатые. Бедные, прошу встать.

Встали все.

— Благодарю вас. Садитесь. Богатые, прошу встать.

Снова встали все.

— Благодарю вас, садитесь.

Заметив удивление в глазах Боба, председатель улыбнулся и сказал:

— Я вполне понимаю ваше удивление. Вы думаете о том, как могут эти семьи быть одновременно и бедными, и богатыми? Но ведь общеизвестно, что не существует бедного без богатого и наоборот. Значит, бедность и богатство тесней-

шим образом связаны и взаимообусловлены, бедный зависит от богатого, а богатый от бедного. В наше время они легко меняются ролями, так что трудно установить разделяющую их грань. И наконец, я имею в виду не только материальную сторону вопроса. Меня прежде всего интересует духовная и нравственная сторона. Если же исходить из этой точки зрения, то окажется, что в одном и том же человеке совмещаются и бедный и богатый. Вы поняли меня, мистер Изерли?

— Понял, — растерянно проговорил Боб.

Тут к председателю подошел мужчина и сказал ему на ухо, что звонят из правительства и просят его к телефону. Председатель извинился и вышел из зала.

В зале после его ухода наступило оживление. Люди пересаживались от одного стола к другому, и никто уже не обращал внимания на Боба.

Боб, воспользовавшись случаем, спустился со сцены и пошел между столами.

— Почему они пересаживаются? — спросил он у кого-то.

— Ходят в гости, — был ответ.

Боб двинулся дальше, потом остановился возле одного из столов и прислушался к разговору.

— О чем ты думаешь? — говорил мужчина.

— Думаю, почему так вышло...

— Что?

— Все.

— Мне кажется, что все в порядке.

— Тебе всегда так казалось.

— Я не чувствую себя виноватым.

— Помнишь, как хорошо было на берегу моря? Мы оба были на лошадях... Я на белой, а ты на рыжей... Было раннее утро, и ни души кругом...

— Я не чувствую себя виноватым, — повторил муж.

Боб подошел к ним поближе и после минутного колебания спросил:

— Извините... Вы — бедные?

— Да, — простонала женщина, — да.

Боб направился к другому столу, где было много детей.

— Опять нет денег? — сокрушался муж.

— Что ты удивляешься? Может, думаешь, что я прячу твои денежки для себя? Слава богу, уже пять лет ни платья себе не покупала, ни туфель, ни...

— А я? Уже десятый год ношу этот костюм.

— Сам виноват. Кто тебя просил разводить такую кучу детей? Расплодил их, теперь корми.

– Извините, – обратился к ним Боб, – вы богатые?

– А как ты думал? – надменно сказала женщина. – Да, мы богатые.

Вернулся председатель, и Боба опять попросили на сцену.

– У нас есть семьи белых и семьи черных, – деловым тоном продолжил председатель. – Черные, прошу встать.

Встали все.

– Белые, прошу встать.

Снова встали все.

– Вы поняли, не так ли, мистер Изерли?

Боб, с колпаком на голове, в длинной, до пят, ночной рубахе, ответил утвердительным кивком.

– В наших семьях никогда не бывает измен. Все они живут в мире и согласии. У нас нет невоспитанных и непослушных детей. Все они послушные и воспитанные. Наш девиз – любовь, согласие и равенство.

Грянули аплодисменты и крики восторга.

Председатель взял Боба под руку и отвел его в сторону.

– Какие у вас впечатления, мистер Изерли?

– Впечатления у меня очень хорошие, но я хочу задать вам один вопрос.

– Пожалуйста, пожалуйста.

– Почему вы не распространяете ваш замечательный эксперимент по всей стране?

– На этот ваш вопрос мне придется или ответить очень откровенно, или же вообще ничего не ответить.

– Даю слово, что все останется между нами.

– Видите ли, то, о чем вы спрашиваете, нам совершенно невыгодно. Все расходы по нашему эксперименту оплачивает государство. Если же наши принципы воспримет вся страна, то тогда лаборатория утратит смысл и неминуемо будет закрыта. Конечно, мы здесь занимаемся наукой, но наука, в конце концов, наукой, а жизнь жизнью... Ведь чтобы жить, вы сами понимаете, нужны какие-то средства.

– Но неужели вас не заставляют? – помрачнел Боб.

– Заставлять-то заставляют, но мы уклоняемся.

– Каким образом?

– Видите ли, по закону, данному нам от бога и от природы, семьи должны быть и бывают богатые и бедные, черные и белые; должны быть и бывают верные и неверные мужья и жены, послушные и непослушные дети. У нас есть подробнейший их список. Если хотите, я вам покажу, и вы увидите, какая во всем этом удивительная симметрия, какое равновесие. Но если где-то, скажем, богатых становится больше, а бедных меньше, измены в семьях пре-

вышают установленную норму или же наоборот, я сразу же посылаю туда своих специальных агентов. Тем или иным способом они проникают в соответствующие семьи и делают все для восстановления нарушенного порядка.

Заметив, как помрачнело лицо Боба, председатель несколько смутился, но тут же овладел собой и дружелюбно добавил:

– Ваш пример, между прочим, тоже подтверждает мои слова. На что бы вы существовали, не будь Хиросимы? – Он замолк на мгновение, потом сказал все так же дружелюбно и с улыбкой: – Я обязан был знать вашу биографию, ведь вы же национальный герой.

И вдруг произошло нечто непредвиденное. Жена Боба встала со своего места и громко произнесла:

– Я ему изменила.

– Что? – удивился председатель.

– Я ему изменила, – повторила женщина.

Лицо у председателя передернулось. Он оставил Боба, подошел к женщине и с минуту не знал даже, что делать. Потом снова взял себя в руки и сказал с восхищением:

– Bravo, милая, bravo! Я всегда говорил: человек интересен именно тем, что в нем живут одновременно и добрый и злой, и богатый и бедный, и черный и белый. И ты это доказала.

– Я изменила ему, – упрямо повторила женщина.

– Мистер Изерли, мы выбрали вам на редкость хорошую жену.

– Я изменила ему.

– Но, милая, когда же это ты успела? – вынужден был поинтересоваться председатель.

– Я изменила ему сию минуту.

– Но как же, как?

– Мысленно, – ответила женщина и посмотрела прямо ему в глаза.

Председатель с трудом подавил в себе ярость. Он потерпел поражение, и притом окончательное, ибо слова женщины были, в сущности, его словами. И во взгляде его выразился укоризненный вопрос: «Это было мое, только мое средство... Какое ты имела право прибегать к моему средству?..»

Зал шумел и требовал, негодуя:

– Развести, развести их!

– Нашим уставом разводы запрещены, – растерянно выкрикнул председатель. – И никаких исключений не допускается.

– Судить изменницу!

— Но ведь вы же знаете, что у нас нет суда, что нам не полагается его иметь.

Боб теперь только внимательно пригляделся к женщине, теперь только разглядел, какая она красивая, и как хорошо сложена, и какое у нее крупное, тугое тело. Она стояла в непринужденной позе, и две верхние пуговицы на ее халате были расстегнуты.

Председатель между тем подозвал своего заместителя и, весь бледный, спросил:

— Что нам делать? Если правительство узнает об этом, нашей организации крышка.

— Мы не имеем права ни выгонять ее, ни держать у себя, — ответил заместитель. — Может, проще замять дело?

— Не удастся, — с отчаянием сказал председатель. — Она будет упорно твердить свое.

Женщина вышла из-за стола и спокойно покинула зал.

— Можно мне на минутку выйти? — ни на кого не глядя, поднял руку Боб.

Председатель посмотрел на него с подозрительностью.

— А зачем?

— Мне нужно кой-куда...

— Кой-куда?.. Но, помилуйте, мы собрались на торжественный вечер. Неужели вы считаете пристойным, мистер Изерли, говорить о подобных вещах в присутствии столь многочисленного собрания?

— Но ведь я же в семейной обстановке, со своими детьми и женой. Я могу чувствовать себя свободно и непринужденно.

Эти слова понравились залу, и он ответил аплодисментами и криками:

— Разрешить, разрешить ему!

Председателю пришлось выполнить это требование. Боб вышел со сцены. За кулисами он сорвал с себя белый колпак, снял ночную рубашку и облачился в свой костюм. Потом отправился искать женщину. Хотел еще раз ее увидеть, пожать ей руку и поблагодарить...

Он попал в коридор со множеством дверей, но, к удивлению Боба, все эти двери, к которой бы он ни подходил, оказались запертыми. Женщины не было, она исчезла.

Возле одной из дверей стоял робот. Боб подошел к нему и спросил:

— Тут тоже заперто?

Робот очень вежливо поклонился и, сделав руками пригласительный жест, сказал:

— Пожалуйста.

Боб осторожно нажал на ручку и, переступив через порог, оказался на улице. Он тут же повернулся обратно, толкнул дверь, но почувствовал, что она заперта. Потом он увидел несколько знакомых лиц. Это были представители других организаций, давно его поджидавшие.

Боб, недолго раздумывая, бросился бежать. Прохожие сразу его узнавали и, остановившись, с восхищением смотрели вслед. Вскоре остановился и транспорт, и вдоль обоих тротуаров выросли плотные стены из людей. Посыпались аплодисменты и крики: «Ура!» Боб бежал по самой середине улицы. Бежал, ничего вокруг себя не видя. Бежал, напрягая все свои силы. А люди смотрели на него и восхищались. «Посмотрите, — говорили они, — как хорошо он бежит!» И никому даже в голову не приходил вопрос: «А куда это он бежит? И почему бежит?»

Глава восьмая

Наконец-то ты сбежал от них. Ты находишься в скромном городишке, где дома не разукрашены твоими улыбающимися портретами. Ты никому не знаком здесь. И хотя люди иногда на тебя оглядываются, ты вовсе не злишься и даже радуешься — ведь это оттого, что они все тут давно друг друга знают, а ты незнакомец, потому на тебя и смотрят.

Ты невольно улыбаешься, тебе известно, что герои существуют только для столиц.

В городке царит удивительный порядок, здесь все как будто рассчитано — и улицы, и дома, и товары, предназначенные для продажи, и число прохожих, и даже их походка...

Лишь в одном месте порядок этот нарушается. Ты идешь по улице и еще издали замечаешь, как двое мужчин о чем-то шумно и разгоряченно спорят. Если сейчас их кто-нибудь не разнимет, то похоже, что они всерьез подерутся. Ты подходишь поближе и, потоптавшись рядом, делаешь робкую попытку вмешаться...

— В чем дело? Успокойтесь.

Они оба оборачиваются на твой голос, смотрят на тебя с удивлением, и наконец один из них огрызается недовольно:

— А тебе что? Ты кто такой?

Во взгляде другого такое же недовольство.

Ты пожимаешь плечами и продолжаешь свой путь. Через несколько шагов ты оглядываешься и видишь, что спорщи-

ков словно ветром сдуло, их нет уже на улице... порядок восстановился... (усмешка) с твоей помощью...

Ты заходишь в кафе, где очень мало народу и столы расставлены... в строгом порядке. Ты садишься в углу и заказываешь себе пива. Ты медленно попиваешь свое пиво и слушаешь какую-то французскую песенку, поет которую некто Шарль Азнавур. Французский язык ты знаешь плохо, и до тебя доходят только отдельные слова. Ты пробуешь связать эти слова друг с другом и уловить их смысл.

Этот вечер так важен мне... У тебя день рождения...¹ Я сегодня как взвинченный... Ни слова не говорю... Платье... Четверть девятого... Надеваешь платье... Твои волосы... театр... театр вечером... Ануи, Сартр... Bon anniversaire...¹ Наконец ты оделась... Чтобы выиграть время... Мы оба взвинчены... Театр закрыт... Ты смеешься... я целую... Bon anniversaire, bon anniversaire...

Песенка кончилась. Кончилось и пиво.

У стойки бармен разговаривает со своим приятелем, и ты слышишь неторопливый их разговор.

– Жена вот снова рожать собирается, – говорит бармен.

– Это который же будет?

– Восьмой.

– Но как это так вышло? Ты ведь не хотел?

– И сам не знаю... Случилось...

«Ты кто такой?» До сих пор тебе ни разу не задавали такого вопроса. И в самом деле, кто ты? Что ты за человек?

Ты снова заказываешь кружку пива и чувствуешь, что тебе уже становится скучно. Надо, значит, придумать что-нибудь такое, чтобы время не тянулось, надо занять себя чем-то.

Ты смотришь на улицу и приветственно машешь какому-то прохожему, а он в удивлении останавливается по ту сторону стекла, вглядывается в тебя недоуменно, потом, кивнув, уходит.

– Если в ближайшее время не выяснится вдруг, что какой-нибудь богатый родич, умирая, оставил мне наследство, – говорит бармен, – я пропал.

– А много у тебя родственников?

– Ни единого.

– Тогда на что же надеешься?

– На то и надеюсь... Будь у меня родственники, – улыбается бармен, – и рассчитывать бы не приходилось. А так, чем черт не шутит, того и гляди...

¹ С днем рождения (*франц.*).

«А интересно было бы выяснить, — приходит тебе мысль, — когда именно ты совершил самую большую в своей жизни ошибку?»

Ты можешь позволить себе найти эту ошибку, потому что сейчас это не так уж важно, потому что сейчас в этом нет необходимости, потому что сейчас это только игра... Ты просто заскучал и хочешь развлечь себя...

Тебе тогда было восемнадцать лет.

В городе, в котором ты родился и вырос, в этом маленьком городишке, где единственной достопримечательностью был дом мэрии, жила одна очень красивая девушка. Возле дома, где она жила, с утра и до вечера околачивались почти все городские ребята, или, вернее, те из них, кто хоть чем-нибудь да выделялся — либо внешностью, либо силой, либо богатством. Среди этих ребят находился и ты. У тебя была достаточно привлекательная внешность, было немного денег, и силы тоже хватало. И хотя никто не водил с тобой дружбы, но присутствие твое кое-как терпели.

Родители девушки были люди небогатые. Об этом вы догадались уже из того, что за неимением занавесей они зашивали обычно свои окна газетами.

Странное дело: когда ребята собирались возле этого дома, никто из них ни слова не говорил о ней, все говорили о чем-нибудь совсем другом и больше всего почему-то о других девушках. Даже на дом ее не смотрели. А когда она, с кем-нибудь из своих, появлялась на улице, ребята, соблюдая приличное расстояние, кучками следовали за ней. Ты, конечно, догадываешься сейчас, что эта девушка была несчастливая, потому что в нее были влюблены все и, значит, никто. Фактически это было бессмысленное соперничество с одной только целью — дождаться и посмотреть, кто же из них все-таки окажется первым.

Как-то раз ты чудом встретил ее одну в глухом уголке городского парка. Ты увидел ее и не поверил своим глазам.

Затаив дыхание, ты подошел и присел на ту же скамейку и краешком глаза стал посматривать на нее. Девушка невольно заулыбалась, и этой улыбкой она себя выдала. Ты уже был уверен, ты точно знал, что вы сейчас познакомитесь. С ней мог бы познакомиться любой парень, любой, кто подошел бы и заговорил с ней первым. Иначе она не могла. Другого выхода у нее не было. Она должна была влюбиться в этого первого же парня. И ты, такой обычно робкий и такой застенчивый, почувствовал себя уверенно и спокойно.

— Как тебя зовут? — спросил ты, подсаживаясь поближе.

— Диана.

— А меня Боб.

Потом ты задал несколько глупейших вопросов.

— Сколько тебе лет?

— Семнадцать.

— Ты видела меня раньше?

— Нет, не видела.

— Ты мне очень нравишься... А я тебе нравлюсь?

Ты обнял ее за плечо и поцеловал в щеку. Она не противилась, и ты точно знал, что она не станет противиться.

Внезапно перед вами вырос один из тех самых ребят. Он постоял, посмотрел на вас, потом повернулся и зашагал прочь. Ясно было, что через каких-нибудь несколько минут весть распространится по всему городу.

Вы встали со скамьи и пошли по аллее. Она шла с высоко поднятой головой, даже взяла тебя под руку, и ты тоже был весь переполнен гордостью и чувствовал себя таким гоголем.

Ты проводил Диану до самого дома и договорился о свидании на следующий день — за городом, на берегу реки.

Когда ты достаточно удалился от дома, навстречу тебе выступило несколько парней. Ты сделал вид, что не обращаешь на них внимания, но не прошло и минуты, как ты лежал на земле лицом вниз. Кто-то подставил ногу и ловко сбил тебя. Это было так неожиданно и так не вязалось с твоей победой! И от изумления ты долго не мог сообразить, что надо бы подняться. Потом случилась вещь еще более обидная: двое взяли тебя за плечи и поставили на ноги. Потом один ударил тебя кулаком в лицо, и ты снова свалился. Ты не мог ответить на удар ударом. Ты вообще не умел драться руками. Ты мог ударить кого-нибудь только в том случае, если в руке у тебя была какая-нибудь палка, или кусок железа, или, скажем, камень. А без посредства чего-нибудь, просто рукой ты бить не умел, не мог.

— Чтoб впредь тебя с ней не видели, — сказано было тебе, и ты со страхом кивнул.

Они оставили тебя и пошли дальше. Ты заплакал.

Заплакал от стыда и от ненависти. Ты почувствовал, что ненавидишь в эту минуту Диану. И знаешь почему? Потому что ты струсил и уступил ее. С легкостью уступил, без всякого боя. И такая в тебе была ненависть, такое презрение, что ты уже был вынужден, понимаешь, был вынужден сделать нечто еще более отвратительное. Ты повернулся и испуганно крикнул вслед уходящим, что завтра с ней встре-

тишься, и крикнул где. И этим ты отомстил им всем.

Они посмотрели на тебя с презрением, посмеялись и ушли.

На следующий день ты затаился в кустах недалеко от того места, где назначено было свидание. Ты видел, как пришла Диана. Потом появились тоже прятавшиеся где-то поблизости ребята. В них не осталось теперь ни капли уважения к девушке, потому что выяснилось, что она может с кем-то из них встречаться и даже более того — с первым, кто это ей предложил...

Ты знал, что будет дальше, и потому убежал. Правда, тебе очень хотелось остаться — остаться и посмотреть, — но, хотя тебе и очень этого хотелось, ты тем не менее убежал. Убежал от самого себя.

А потом все в городе шло по-прежнему. Как будто ничего особенного не случилось. И единственной в городе достопримечательностью по-прежнему оставался дом мэрии.

Тебе уже пошел двадцать первый год.

Отец полез в долги, набрал сколько-то денег и отправил тебя в столицу — получать образование. С тобою был и самый близкий твой друг. Обоим вам нужно было по вечерам зарабатывать, но найти работу никак не удавалось.

Однажды вы наконец узнали, что где-то требуются продавцы газет. Вы надели лучшие свои костюмы и отправились по указанному адресу.

Когда вы предложили свои услуги, выяснилось, что нужен только один человек. И пока твой друг пытался уговорить, что, дескать, может быть, найдется и второе место, ты тихонечко вышел из этой конторы, ты исчез. Уступил место другу. Сделал доброе дело.

Но, постой, постой, при чем тут все это? Ведь ты же, кажется, ищешь сейчас самую большую ошибку своей жизни? А в данном случае ты поступил как раз благородно. Нет, ты отлично знаешь, что это не так. И что это тоже одна из самых больших в твоей жизни ошибок. Ты не должен был уступать место. Ты слицемерил. Солгал сам себе. Сыграл в благородство перед самим собой. Ведь оттого, что ты уступил место другу, ничего, в сущности, не менялось. Было все равно, кто из вас пойдет работать. Вы были друзья. И все, что у вас было, вы делили поровну.

Постой, постой... Давай все-таки выясним, какая твоя вина. Убежал от самого себя... Верно? Ты так, кажется, подумал? А знаешь, что это-то как раз и меняет все дело? Это означает, что в первую очередь ты ненавидел себя. И твоя ненависть была так велика и сильна, что ты побоялся остаться против нее один и сразу же перенес ее на Диану. Ты и ее ненавидел. Потому что очень, очень уж ненавидел себя.

Вспомни, это важно. Ты ненавидел себя.

И потом, ты ведь сам признал, не правда ли, что ни ты, ни эта девушка не любили друг друга всерьез. На твоём месте мог бы оказаться кто угодно. Ей это было все равно. Да и чем ты был лучше остальных ребят?

Но почему ты выдал ребятам место свидания?

Нет, это не так. Почему ты не признаешься, что они тебя заставили? Они же были не дураки, они сразу сообразили, что ты назначил ей свидание.

Их было много. И они тебя заставили.

Нет, тысячу раз нет! Правда, тебя били, но ты держался неплохо, ты не хотел сдаваться и без конца повторял, что все равно и впредь будешь встречаться с Дианой и что завтра, как договорился, пойдешь к ней на свидание, все равно пойдешь... на берег реки... Ну, признайся же, признайся, что было так.

Но ведь назавтра ты сначала спрятался в кустах, а потом сбежал, оставив девушку без защиты. Ты же знал, что может произойти потом.

Ошибаешься. Опять ошибаешься. Ничего ты не знал, да и знать не мог. И потом, кто тебе дал право так плохо, так гнусно думать о ребятах? Они могли просто посмеяться над девушкой, позубоскалить немного и уйти, оставив ее в покое. Ты удрал не от страха, а со стыда. Со стыда, что так плохо думаешь о ребятах, о своих же ровесниках.

Вот видишь, все это только на первый взгляд кажется ясно и просто. Но когда разберешься толком, оказывается, что никакой особенной вины и не было. Выдумал ты ее. И зря. Очень зря.

И во втором случае ты тоже поторопился с выводами. Тоже выдумал вину. Ведь ты же не успел сообразить и обдумать все в тот самый момент, когда выяснилось, что работа есть только для одного. Все это пришло тебе в голову позже, потом, когда ты оказался перед свершившимся фактом... Когда стало ясно, что друг твой работает, а ты преспокойно пользуешься его заработком. Преспокойно? Нет. Разве ты не

помнишь, как тяжело это на тебя действовало? Как ты старался хоть чем-нибудь да помочь ему? Не остаться в долгу перед товарищем.

И наконец, зачем ты так упорно отрицаешь, что в тот день ты все-таки вел себя искренне, что ты действительно хотел сделать доброе дело?

Ну что же, ты честно провел свою игру. Во всем признался. Кое-что даже преувеличил, приписал себе такие вещи, которых не было. Придумал себе вину. Искал ее там, где и не мог найти. Словом, отнесся к себе беспощадно.

Твоя беспощадность доказывает, что ты все-таки не виноват. Это беспощадность человека, которому нечего стыдиться. Ведь ты же отлично знаешь и себя, и тот мир, в котором живешь. Будь у тебя на самом деле какая-нибудь вина, ты не смог бы отнестись к себе так беспощадно.

Ладно, и все-таки — какова самая большая ошибка в твоей жизни? Была у тебя, в конце концов, такая ошибка или же ее не было?

Знаешь, какова именно самая большая ошибка в твоей жизни?

Однажды ты пошел домой из школы не по обычной своей короткой дороге, а, увлеченный соревнованием велосипедистов, свернул с этой дороги и пошел по длинной.

Однажды ты допустил в школьном диктанте двенадцать орфографических ошибок.

Играя в футбол на школьном дворе, хотел обязательно быть вратарем.

Никогда ничего не запоминал наизусть, как ни старался, не выходило, и, отвечая, ты неминуемо путал слова.

Самую большую ошибку ты совершаешь сейчас, пытаешься найти такую ошибку. Но ведь это же игра. Тебе стало скучно. Ты хочешь развлечься. Ты убиваешь время. И этим как раз совершаешь еще одну ошибку, может быть, большую, чем все, какие были до сегодняшнего дня.

Ты поднялся из-за столика, расплатился за пиво и вышел на улицу. Городок был маленький, и ты очень скоро нашел единственную в нем гостиницу. Ты попросил себе номер и поднялся навверх. Комната была узкая и не очень чистая.

Ты спросил, почему в номере нет ванной. Ответили, что ванная на первом этаже. Ты спросил: а есть ли горячая вода? Ответили — нет.

Через некоторое время ты снова спустился и вышел на улицу. Ты так долго бродил по этому маленькому городу, что на тебя уже перестали обращать внимание. К твоему лицу уже привыкли. Кафе закрылось. Закрылись и магазины. Закрылся газетный киоск. И ты не знал, куда деваться от праздности и скуки. Открыта была только телефонная будка. Ты вошел туда, захлопнул за собой дверь и набрал какой-то номер. Потом ты услышал свой собственный голос:

— Алло... Это из организации «Здоровый дух, здоровое тело»? Сегодня у вас назначена со мной встреча. Сейчас я на станции номер один... Вы можете приехать и забрать меня...

Глава девятая

А Хиросима?

Про Хиросиму он забыл.

Хиросимы не было.

Хиросима была не в нем.

Она была сама по себе.

Она не имела к нему отношения.

Потому что все равно Хиросима была бы. Независимо от него. Независимо от того, он есть или нет его.

Независимо от того, родился или не родился Клод Изерли.

Клод Роберт Изерли — это его полное имя, а вообще его называют попросту Боб...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава десятая

Бобу позвонили из дворца и сообщили, что его приглашает к себе Бонапарт. Попросили явиться в военной форме и при всех орденах. Когда же Боб поинтересовался о причинах приглашения, сказали, что будет разбираться судебное дело Отца атомной и Отца водородной бомбы.

Надевая мундир, Боб услышал за спиной чей-то голос:

— Ах, какой вы красивый!

Боб обернулся и увидел робота, который считал себя машинисткой. У него давно уже была скверная привычка подглядывать за Бобом в замочную скважину. Сейчас он, навер-

ное, тоже подглядывал, а потом незаметно прокрался в комнату.

— Как вам идет эта форма! — трещала «машинистка». — Я умираю от любви к вам... Я хочу быть вашей любовницей... Можно, я приду к вам сегодня ночью?

— Приходи, — сказал Боб лишь бы отделаться.

— Правда? — обрадованно воскликнул робот. Потом добавил шепотом: — Об одном только прошу вас — чтобы не узнал тренер.

— Чего ты боишься?

— Я его любовница.

— А почему именно его?

— Он настоящий мужчина.

— А!

— Теперь вы наконец верите, что я машинистка?

— Вполне.

Боб вышел из комнаты.

В коридоре его ждали дипломат, философ и робот от искусства.

— Возьмите нас с собой, — сказал философ.

— К сожалению, меня пригласили одного. Не знаю, насколько это будет удобно, если мы заявимся туда вчетвером.

— Может, вы позвоните и попросите разрешения?

— Не понимаю, почему вам так хочется пойти со мной?

— Чтобы быть при вас и помочь вам советами. Вы один не справитесь. Ведь сегодня же разбирается ваше дело. Вас будут судить.

— Меня? Ничего подобного. Судить будут других. И я тут ни при чем.

— Сегодня разбирается ваше дело.

— До сих пор вы бывали откровенны со мной... Не так ли?

— Мы ни разу не видели Бонапарта, нам хочется его увидеть, — признался философ.

— Я бы с радостью выполнил вашу просьбу, но это невозможно, — сказал Боб и направился к двери.

— Сегодня разбирается ваше дело, — сказали ему вслед все три робота. — Сегодня вас судят, будьте осторожны.

Боба привели в небольшой зал, где уже собралось человек около двадцати.

Боб удивился, потому что в зале не было ничего напоминающего суд. В центре был накрыт роскошный стол, и за этим столом сидели гости.

Боб по-военному отдал честь, потом поместился рядом с Джо, также оказавшимся в числе приглашенных.

И поскольку все за столом ели, Боб тоже принялся за еду.

— Я очень рад, — нарушил наконец молчание император, — что между двумя Отцами возник серьезный и принципиальный спор. Я их обоих поздравляю, независимо от того, кто из них победит и кто потерпит поражение. Я надеюсь, что они оба помогут нам сегодня найти истину.

После этого Бонапарт поднялся с места и обменялся с Отцами торжественным рукопожатием.

Отец водородной бомбы имел вид чрезвычайно солидный и представительный. На нем был фрак, но ботинки не черные, как полагалось, а коричневые. Он попросил прощения и объяснил: в последние минуты, когда он уже одевался, чтобы идти во дворец, выяснилось, что черные ботинки ему тесноваты, а он хотел бы чувствовать себя во всех отношениях свободно, доказывая собравшимся свою правду.

Отец атомной бомбы был полная ему противоположность. Он был невысок и щедеушен и тоже во фраке. Он поднялся и сказал:

— Я прошу принести мне коричневые ботинки, потому что в противном случае у меня будет хоть и малое, но все-таки преимущество по отношению к моему коллеге. Я хочу, чтобы он находился в равных со мной условиях.

Слово это было встречено всеобщим одобрением. Во дворце начали искать коричневые ботинки. Наконец таковые были найдены и принесены.

— Но почему обязательно коричневые? — спросил Вильгельм Икс. — Ведь проще было принести черные — для вашего противника.

Вопрос этот был настолько логичен, что не мог не повергнуть всех в замешательство.

— Никто из вас не будет выходить из-за стола, — предложил наконец какой-то генерал, — а под столом ботинок не видно...

Выход был найден. Отцы обменялись рукопожатием и от души пожелали друг другу удачи.

Выступление Отца водородной бомбы (Хроника. Отчасти дополненная воображением)

Как вам уже известно, я обвиняю моего дорогого коллегу и друга в том, что он препятствовал созданию у нас водородной бомбы. В результате, по его вине, мы значительно от-

стали в этой области. Свое поведение он оправдывает следующими обстоятельствами:

а) бомбу нельзя производить по причинам моральным; процесс производства бомбы слишком рискован, и неизвестно, возможно ли ее вообще произвести;

б) с военной точки зрения это оружие обладает слишком большой разрушительной силой, и потери были бы бессмысленно велики;

в) невозможно мирное использование водородной бомбы. Верно ли я изложил ваши аргументы?

— Да, благодарю вас, — проговорил Отец атомной бомбы.

— Я понимаю, что ваши колебания и тревога были продиктованы самыми высокими человеческими чувствами. Я понимаю, что вы испытываете личную ответственность за двести тысяч жертв Хиросимы. Я понимаю эти чувства, они могли бы дать современному Шекспиру сюжет для трагедии нашего века. Не наша задача — изучение всякого рода эмоций. Но я должен отметить, что у моего дорогого друга эмоции превратились в своеобразную политическую линию.

Вдумаемся внимательно в основные его аргументы. Что ставит он на первое место? Препятствия морального порядка. Только действительно свободному человеку свойственны угрызения совести и способность применять критерии морали. Но как ученый я не могу стать на колени ни перед каким, даже самым святым чувством. Еще в школе меня учили, что совесть — это своего рода внутренний неподкупный судья, который судит наши действия, не учитывая обстоятельств и не поддаваясь влиянию временных интересов. Из этого явствует, что совесть вовсе не объективное мерило, что два человека могут один и тот же факт оценивать по-разному. Один почувствует укоры совести, а другой, напротив, будет удовлетворен и полон гордости. Известно также, что совесть — это категория моральная и ни в коем случае не научная. Я считаю гибельным для каждого научного исследования, когда к нему приступают с априорным моральным, политическим или философским предубеждением. Наука не имеет ничего общего с этими понятиями так же, как ее не интересует и религия. Это проблемы иного мира, наука по отношению к ним безразлична. Если ученый будет рассматривать научную идею сквозь очки морали, то он запутается не только как моралист, но и прежде всего как ученый.

Обращаясь к Отцу атомной бомбы:

— Может, вы чего-нибудь выпьете?

— Спасибо, мне нельзя, у меня печень больная.

— Видите ли, я буду говорить долго, и если вы ничем се-

бя не займете, мне трудно будет продолжать. Мне будет казаться, что я уже наскучил.

— Я слушаю вас с интересом.

— Все равно, разрешите что-нибудь предложить вам. Ну хотя бы из еды... Иначе мне будет трудно вас обвинять. Я прошу помочь мне...

— Пожалуйста, пожалуйста.

— Чего бы вам хотелось? Что вам подать?

— Не беспокойтесь, я сам.

Отец водородной бомбы продолжает:

— Мы имеем дело с великим ученым, но мы часто ошибаемся, считая, что величие в одной сфере деятельности должно означать исключительное дарование и в других областях интеллектуального творчества. Наполеон Бонапарт рисует... Простите, ваше величество, но вы сами учили меня быть откровенным... Отец атомной бомбы пишет стихи. И, к сожалению, не только стихи. Он также вмешивается в политику и, что еще хуже, сваливает в одну кучу политику и физику. Это в конце концов не только его вина. Вы все знаете, что он занимал десятки весьма значительных правительственных постов, руководил атомной комиссией, говорил от имени нашей страны в Организации Объединенных Наций и выступал в качестве эксперта в конгрессе. Его приглашали университеты всего мира, еженедельно он выступал по радио и перед телеобъективами, от него требовали отзыва о вещах, в которых он ничего не понимал. Самые знаменитые люди нашего государства приглашали его и стремились узнать его мнение о Ван Гоге, о стихах, о санскритских переводах; он объяснял им принцип неопределенности Гейзенберга, комментировал выступления Вышинского, учил Ачессона, давал советы Баруху, говорил и писал... Что же удивительного, что наконец он сам поддался этому обману и почувствовал себя и министром иностранных дел, и даже самим государем нашей страны. Он в значительной мере считал свои выступления программными. Он до сих пор убежден, что лишь ученые способны управлять миром. Сегодня, когда в руках ученого сосредоточены огромные силы, эта идея становится еще более заманчивой и привлекательной. Очень легко поддаться мысли, что сила, которую ты освободил, по праву принадлежит тебе. Весьма соблазнительно стать равным правительству, армии и могуществу природы.

Вновь обращается к Отцу атомной бомбы:

— Не слишком ли быстро я говорю?

— Нет, нет, не беспокойтесь.

— Знаете, что я вспомнил: в школе мне всегда снижали отметку за то, что я говорил слишком быстро и проглатывал слова. Вы ведь помните, не так ли?

— Конечно.

— И в самом деле, мы ведь, кажется, учились вместе?

— Да, если не ошибаюсь, мы с вами были одноклассники.

— Да, да, ну конечно же... Это не вы разве побились однажды об заклад, что спрыгнете со второго этажа?

Отец атомной бомбы, краснея:

— Я.

Отец водородной бомбы продолжает:

— Мой уважаемый коллега присвоил себе своеобразную монополию на моральные оценки. Неизвестно почему, но он счел себя призванным судить других, осуждать ученых, которые отдали свои способности производству водородной бомбы. Дело дошло до того, что он ухватился за метод, который принадлежал мне и который я сам уже считал пройденным этапом. Он горячо пропагандировал этот метод среди ученых. Трудно представить себе большую трагикомедию: я отрицаю свое собственное открытие, а он упорно его отстаивает.

Он не захотел нам помочь. Но, быть может, ученый имеет на это право? Нет, не имеет. От солдата требуется, чтобы он в бою отдавал все — свой энтузиазм, возможности и весь свой моральный потенциал. То же самое мы должны требовать от ученого.

По Боссюэ, еретиком является каждый, кто имеет свое мнение и руководствуется своими мыслями и личным чувством.

Нельзя впадать в сентиментальность, если кто-нибудь твердит, что то или иное наше действие не согласуется с высокими принципами идеальной демократии. Я обеими руками за демократию. Однако наша демократия не должна бояться использовать кулак, ибо в противном случае мы ее потеряем.

Отцу атомной бомбы:

— Вы не обижаетесь на меня?

— Нисколько.

Затем неожиданный вопрос:

— Простите, а вы хорошо учились в школе?

— Не помню. Средне, наверное.

— Кажется, у меня сохранилась школьная фотография, на которой есть и вы...

Выступление Отца атомной бомбы
(Хроника. Отчасти дополненная воображением)

(Устало и медленно, не слыша собственного голоса):

— Отец водородной бомбы сделал попытку доказать, что производство бомбы является вопросом чисто техническим, что ученого не должно интересовать ничто другое, кроме того, как лучше всего и быстрее всего создать бомбу. Я с этим не согласен. Хотя наука сама по себе безразлична к добру и злу, праву и несправедливости, однако ученый не может быть безразличен к ним. Водородная бомба может уничтожить сразу целые нации. Если она будет применена, никто не отделит виновника от жертв, друзей от врагов, матерей от детей, все сольется в одну безликую массу, которая превратится в пепел.

Производство водородной бомбы имело бы смысл лишь в том случае, если бы с ее помощью мы смогли достигнуть мощного политического нажима, то есть если бы мы достигли такого военного преимущества, чтобы без войны принудить противника принять наши требования. Для этого мы должны были бы получить многолетнее преимущество и быть убежденными, что противная сторона не сможет нас догнать. Однако тот факт, что русские в такой короткий период создали атомную бомбу, должен был бы стать для нас предупреждением. Мы могли бы прийти к заключению, что нам не удастся удержать необходимое преимущество.

— Вы хорошо начали, — вставил Отец водородной бомбы. — Я очень рад за вас.

— Самая большая опасность, угрожающая сегодня человечеству, — это слепой фанатизм, который судорожно искажает веру и в который впадают люди и целые общества. Я боюсь этой судороги, этой наизнанку вывернутой веры. Я боюсь шовинистов всех направлений, наций и рас. Фанатизм плюс водородная бомба, плюс безразличие — это самая прямая дорога к гибели человечества.

Отец водородной бомбы:

— Не приведете ли вы какой-нибудь конкретный альтернативный пример, дабы ваши слова произвели более сильное впечатление? Я говорю это между прочим, в порядке помощи.

— В Хиросиме в одной из больниц люди умирали от лейкемии и внутреннего кровоизлияния, вызванного радиоактивным излучением. Большинство больных было обречено, жить им оставалось несколько дней. В саду жгли трупы, все говорило о том, что Япония находится в предсмертной аго-

нии. И в эту призрачную больницу явился какой-то человек из соседнего города и распространил слухи о том, что японские самолеты в отместку бомбардировали Сан-Франциско, Сан-Диего, Лос-Анджелес и уничтожили еще больше людей, чем мы в Хиросиме. И как вы думаете, что случилось? Люди прокляли бессмысленную войну? Вовсе нет. В этот момент все обрадовались. Те, у кого были самые тяжелые раны, развеселились особенно. Все эти уроды и обреченные на смерть начали шутить и наконец запели песню победы, конечно, японской победы.

Я не считаю японцев отсталой восточной нацией, такому сумасшествию может поддаться любая нация. И это меня ужасает.

Отец водородной бомбы (взволнованно и восхищенно):

— Bravo! Этот ваш пример действительно впечатляет. И он очень поможет вам в споре со мной.

— В будущем мерилом преимущества общественных систем и режимов будет нечто иное, чем только автомобили и холодильники: это — мера свободы, которая будет обеспечена человеку.

Наука определенным образом демократична и она не терпит никаких предписаний. Ученый может позволить себе задать любой вопрос, может сомневаться в любом утверждении, потому что он должен находить доказательства и каждую ошибку он должен стремиться исправить. Ученые Вильгельма Икса во время войны не смели даже допустить мысль, что их империя может быть разбита. Все свои планы они основывали на абсолютной уверенности, что они навечно будут хозяйничать во всей Европе. Они построили очень много заводов и принялись решать такие задачи, которые они не могли выполнить и не выполнили. Однако, если бы кто-нибудь из этих ученых высказал сомнение, на него бы набросилась вся свора и он не избежал бы концентрационного лагеря. Поэтому, несмотря на усилия и прекрасные результаты в некоторых областях, они должны были проиграть. Они проиграли из-за отсутствия свободы.

...Я не задумывался над тем, оптимист я или пессимист. Не скрываю, однако, что меня тревожит будущее человечества. Я боюсь безразличия людей, послушных, как овцы. Я боюсь, что люди совершенно не понимают опасности, которую несет в себе наш век. Боюсь, что они поймут это слишком поздно. И часто я вспоминаю остроумный афоризм Лихтенберга, который говорил: человек мало учится на опыте, потому что каждая новая глупость является ему всегда в новом облике. Главная проблема — не атомная энергия, а сердца лю-

дей. Я ужасаюсь, как быстро падает моральный уровень. Уже никому не кажется страшным, когда уничтожают целые города...

Попробуйте подумать, какова реальная обстановка сегодня и что происходит. Жизнь ограничивается лишь существованием и ожиданием смерти. Каждый поступок ограничивается мерилom одного дня, который может стать последним. Человеку кажется, что он идет в ничто... Мы не должны это допускать. Мы не смеем это допускать. У человечества никогда не было большей ответственности.

Вильгельм Икс:

— Вы говорите как очень обиженный человек.

— Нисколько. Притом я полностью согласен с Маккиавелли, что неблагодарность — это основная обязанность государя.

— Я недоволен вами, — сказал Бонапарт.

Наступило каменное молчание.

Бонапарт допил последний глоток кофе и перевернул чашку вверх дном.

— Вы усложнили наше дело, — продолжил он, — потому что оба были по-своему правы. Я недоволен не потому, что мы не можем установить виновного, а потому, что перед нами не предстала истина.

— Но ведь они говорили с разных позиций, — заметил кто-то.

— С разных, но оба были по-своему правы. — И после минутного молчания Бонапарт произнес: — Мы люди деловые, и нам нужна только одна-единственная истина.

— Простите, ваше величество, но кому вы все-таки отдаете предпочтение?

— Не скрою: Отцу водородной бомбы.

— Так, стало быть... — подхватил было Вильгельм Икс.

— Мои предпочтения ничего не решают, — перебил его Бонапарт. — Они ни в коей мере не снимают правоту Отца атомной бомбы. — Бонапарт взял в руки кофейную чашку и стал внимательно в нее всматриваться.

— Вы не дали ей остыть, ваше величество, — забеспокоился Вильгельм Икс. — Подождите еще немного.

— Встать! — приказал вдруг Бонапарт. — Марш в угол!

— Но почему, ваше величество? За что?

— Тысячу раз было сказано — не подлизываться ко мне.

Вильгельм Икс вышел из-за стола и понуря голову поплелся в угол.

– Разрешите мне сказать несколько слов, – вытянул руку Отец водородной бомбы.

– Пожалуйста.

– Я всецело с вами согласен, ваше величество. Отец атомной бомбы говорил чрезвычайно умно и доказательно, возражать ему трудно. Но это, конечно, не означает, что я отказываюсь от своей точки зрения. Я хочу только сделать некоторые добавления к тому, что уже сказал.

Второе выступление Отца водородной бомбы

(Хроника. Еще более дополненная воображением)

Мои взаимоотношения с Отцом атомной бомбы не были дружескими, но думаю, что ни единым словом я не возбудил здесь сомнений в его научной квалификации и авторитете. Напротив, я хочу еще раз отметить, что Отец атомной бомбы – великий ученый. Его талант увлекает. Это ученый с изумительно легким, подвижным и ярким интеллектом. Я всегда восхищался им и сейчас не скрываю своего восхищения. Ученики Отца атомной бомбы по сей день произносят его имя с чувством глубокого уважения. Многие из них в настоящее время достигли больших успехов в науке, и этим они обязаны прежде всего своему учителю. Ученые моего поколения, в том числе и я, многому у него научились, и с нашей стороны было бы нечестно и неблагодарно этого не признавать. Имя Отца атомной бомбы должно быть вписано в историю золотыми буквами. Человечество никогда его не забудет.

– Это неправда! – неожиданно для всех, с искренним протестом выкрикнул Отец атомной бомбы, и в первый раз за этот вечер он услышал наконец собственный голос.

– Встаньте, – любезно предложил Отец водородной бомбы, – сидя трудно выражать протест и возмущение.

– Это неправда, – повторил Отец атомной бомбы.

– Между прочим, я как раз собирался прибавить к уже упомянутым мною достоинствам Отца атомной бомбы еще одно: скромность, чрезмерную скромность, которая во всяком великом человеке является качеством поистине неоценимым. Однако следует признать, что Отцу атомной бомбы, как и всем нам, смертным, не чужды и некоторые человеческие слабости. Простите, я не так выразился... Называть это слабостью было бы, пожалуй, неверно. Да, конечно, неверно. Просто-напросто в нем всегда жила очень естественная потребность, присущая всем без исключения людям: потреб-

ность утвердить себя. Это так называемая потребность самоутверждения. Сомнения в его таланте имелись только у одного человека. И как вы думаете, кто это был? Это был он сам — Отец атомной бомбы. В глубине души он не был удовлетворен своей научной карьерой. Необходимо сказать, что он не сделал ни одного открытия, имеющего такое значение, как, скажем, открытия Гейзенберга, Бора или Резерфорда. Ради работы над атомной бомбой, которая была более или менее организационной, он пожертвовал чистой наукой, являющейся для него, как и для большинства ученых, истинной и высшей целью. И так как он не мог прийти к бессмертию этой возвышенной дорогой, он соединил свою судьбу с атомной бомбой и вместе с ней шел к славе и вечности. Атомная бомба стала его личной собственностью, он сжился с ней, считал ее своим достоянием. Идея водородной бомбы была не его. Она принадлежала мне. Он думал, что после моего успеха его слава быстро поблекнет и завянет. Только чувством личной обиды можно объяснить то, что он боролся со мной. Хотя ясно, конечно, что будь даже на моем месте гениальный ученый, и тот никогда не смог бы затмить заслуги и славу Отца атомной бомбы. Но как бы то ни было, я и в этом вопросе понимаю и оправдываю моего коллегу, поскольку в основе его поведения лежит вполне человеческое чувство. Не скрою, что я и сам, наверное, поступил бы так же. Более того, я не могу утверждать, что и сам когда-то ему не завидовал.

Отец атомной бомбы теперь молчал. Он сидел, опустив голову, и что-то чертил вилкой на скатерти. Он больше уже не мог вскочить с места и так уверенно крикнуть, что все это — ложь. Он знал, что теперь уже ему нельзя будет ни крикнуть, ни услышать свой собственный голос. Он потому и крикнул тогда, всего лишь несколько минут назад, он потому и крикнул, что знал, предчувствовал — потом уже ему будет никак нельзя, потом уже о нем будут говорить правду...

Одного только не понял никто из присутствующих: почему это Отец водородной бомбы так упорно защищает своего противника? Отец водородной бомбы защищал своего противника потому, что ему не хотелось самому установить и доказать его виновность. Он знал, что об этом прослышит завтра весь город и все станут смотреть на него с презрением. Даже те, кто желал смерти Отцу атомной бомбы. И он хотел оставить себе хоть маленькую лазейку, чтобы и самому потом, вместе с другими, презирать осудившего. Иметь это право. Это крайне необходимое ему право.

В то же время он сделал свое дело: он подсказал Бонапарту тот путь, на котором Отца атомной бомбы можно было окончательно загнать в западню, поставить на колени.

— Я хочу задать вам один вопрос, — сказал Бонапарт. — Как могли вы, придерживаясь таких взглядов, создать атомную бомбу? Ведь вы же знали, что она будет применена? И представляли себе последствия ее применения?

— Я хотел скорейшего окончания войны. И что самое главное, я рассчитывал, что таким путем мы сможем оказывать моральное и политическое давление на весь мир и предотвратить дальнейшие войны.

— Но ведь это достигалось ценою двухсот тысяч жертв?

— Я пошел на компромисс. Я предпочел пожертвовать двумястами тысячами людей во имя спасения еще большего их числа.

— А вы имели это право? Вы спросили у этих двухсот тысяч?

— Нет, я не имел этого права.

— И что вы теперь думаете?

— Что я думаю? Я ошибся... Обманулся...

— Кто же вас обманул?

— Никто. Я сам.

— Чувствовали вы тогда же укоры совести? Сомневались в своей правоте?

— Нет, нет, — горячо отозвался Отец атомной бомбы. — Я потом это почувствовал...

— А честолюбие? Говорило ли оно в вас хоть в малейшей степени?

— Быть может.

— Все ясно. Я приговариваю вас к смерти за то, что вы пошли на компромисс со своей совестью.

— Но ведь вы же довольны результатами моей работы? — растерялся Отец атомной бомбы. — Ведь вы же смотрите на это не так, как я?

— Да, вы правы. Я смотрю на это иначе.

— Тогда на каком основании вы приговариваете меня к смерти?

— Я руководствуюсь не моими, а вашими законами, не моими, а вашими принципами. Я осуждаю вас, исходя из вашей же точки зрения. Я осуществляю над вами самый безукоризненный и самый справедливый суд. Никто не может против этого спорить, и вы тем более.

— Но я раскаялся, — побледнел Отец атомной бомбы, — я обещаю переменитьсь, я буду жить по-другому...

— Это невозможно. Если человек хоть раз в жизни по-

шел на компромисс со своей совестью, это уже непоправимо. Воцарилось молчание.

И тогда Отец атомной бомбы глухо проговорил:

— Вы можете судить меня и вынести приговор. Я с вами согласен. Вы правы. Я признаю свою вину. Меня не может оправдать даже то, что я слишком поздно все понял... — Он кашлянул, помолчал мгновение, потом на лице у него появилась едва уловимая улыбка. — Но вам, признающим мою вину, все уже известно. Вам все известно, и именно потому вы осуждаете меня. Вы знаете и понимаете все, а это затруднит ваше дело. Это помешает вам продолжать производство бомбы. Ибо, если вы его продолжите, вам уже не будет никакого оправдания... Перед историей и человечеством... Перед вашей совестью... Ваше положение будет гораздо тяжелее моего. Я делал, не зная. Вы делаете — зная.

Отец водородной бомбы смутился. Он сидел, подперев рукой подбородок и уставившись в одну точку. Он старался казаться спокойным и безучастным, однако чем больше он старался, тем явственнее выдавал свое смущение. Он знал, что ему нечего ответить противнику. И все-таки заставил себя хоть что-то сказать.

— Какое имеет значение, что думает любой из нас и как он думает? Важно то, что суд был справедливый. И вы сами это признаете.

При этих словах Отец атомной бомбы впервые за весь вечер посмотрел на своего противника с ненавистью и презрением. Потому что Отец водородной бомбы, прибегавший до сих пор к нечестным приемам, но споривший с достоинством, на сей раз предпочел прикинуться простаком.

Бонапарт понял, что разговор окончен. Он с облегчением вздохнул и благодарно посмотрел на Отца водородной бомбы. Потом он сделал знак, и в комнату по вызову вошли два солдата.

— Уведите осужденного.

Отец атомной бомбы, изменившись в лице, встал со своего места, обвел всех присутствующих медленным взглядом, потом медленно двинулся по направлению к двери. У самой двери он остановился, не оборачиваясь.

— Может, у вас есть какое-то последнее желание? — спросил Бонапарт.

Отец атомной бомбы молчал.

— Скажите ваше последнее желание, и мы его исполним.

— Отдайте мои черные ботинки.

Ботинки тут же принесли. Отец атомной бомбы не стал надевать их. Он вышел из зала, держа их в руке.

— Вильгельм Икс, вы свободны, — сказал Бонапарт. И на этом ужин окончился.

— А я? — раздался вдруг в тишине чей-то голос.

Все обернулись в ту сторону, откуда он послышался.

— Кто ты?

— Боб.

— Какой еще Боб?

— Клод Изерли.

— А, здравствуй...

До сих пор его не замечали. Забыли про него.

Теперь подошли, пожали руку. Кое-кто даже снисходительно потрепал по плечу. Потом они его оставили и пошли к выходу.

— А я? — повторил Боб.

Они вынужденно остановились и посмотрели на него с недовольством.

— Ты рядовой, — сказал Бонапарт.

— Рядовой? Как рядовой? Почему рядовой?

— Прогресс всегда нуждается в рядовых.

— Но я...

— Ты исполнитель, — перебил Бонапарт. — Никто не вправе тебя обвинять. И ты сам не вправе.

— Я их слушал... Я слышал все...

— Если каждый исполнитель начнет думать, в мире ничего больше не будет исполняться, ничего не будет меняться.

— Значит... Значит, меня вы не будете судить?

Все сочли, что это шутка, и посмеялись.

— Как-нибудь в другой раз, — сказал Бонапарт.

И снова они все двинулись к выходу.

Боб, позабыв обо всем на свете, схватил Бонапарта за руку и умоляюще заглянул ему в глаза.

Бонапарт улыбнулся грустной улыбкой и мягко отвел его руку.

— Я понимаю. Ваше положение — самое тяжелое. И я откровенно скажу, кто вы. Вы — жертвы.

— Да, да, — подтвердили с четырех сторон, — вы жертвы.

Бонапарт поцеловал в лоб сначала Боба, потом Джо. И упавшим голос повторил:

— Вы оба — жертвы.

Все соболезнующе окружили их и начали утешать. Говорили, что жертвы бывали всегда и всегда будут. Они герои, самые что ни на есть герои. Все относятся к ним с восхищением и преклоняются перед ними.

А один спросил:

— Вы случайно не делали фотоснимков во время взрыва? Нет? Очень жаль.

И тут вдруг произошло такое, чего никто не мог ожидать, — Джо расплакался. Он плакал настоящими слезами, громко всхлипывая. Все были до крайности этим удивлены и принялись участливо его расспрашивать:

— Что случилось? В чем дело? Зачем ты плачешь?

Джо не отвечал, всхлипывал все громче, искал и все никак не находил платок.

Кто-то вынул из кармана и протянул ему свой.

Джо вытер слезы.

— Нос вытри, нос. Ничего, не стесняйся.

Джо вытер нос и вернул платок.

— Оставь, оставь его себе.

— Спасибо.

— Ну а теперь скажи, отчего ты плакал.

— Я жертва, — ответил Джо и снова разревелся. Его пожалели и погладили по голове.

На улице уже стемнело и было ветрено.

Он шел пешком.

Он шел и считал, сколько шагов будет до дому. Считал серьезно, сосредоточенно, с какой-то даже одержимостью.

Внезапно за спиной у него послышались шаги. Он весь напрягся, охваченный какой-то смутной тревогой. Когда ты идешь по пустынной улице и слышишь вдруг за собой чьи-то шаги, в тебе сразу же просыпается какой-то темный страх. Это чувство знакомо, наверно, всякому. Вот если бы кто-то шагал впереди и если бы ты мог посмотреть ему в затылок, тогда бы твой страх рассеялся. Ну а что бы чувствовал он, этот человек, идущий впереди тебя? Наверно, и ему было бы страшно оттого, что кто-то шагает за ним. Кто-то? Но кто же именно? Он сам, Боб, именно он шел бы позади этого человека. И, странное дело, человеку этому нечего было бы бояться, потому что ведь это он, Боб, именно он шел бы за ним по улице. Ну а если бы тот все-таки побоялся? Что же в таком случае? В таком случае надо было бы пустить впереди него еще человека. И так без конца. И Боб мысленно представил себе уходящую вдаль пустынную улицу и на ней, во всю длину ее тротуара, выстроились люди на расстоянии нескольких шагов друг от друга, выстроились и смотрят друг другу в затылок. И не двигаются вперед, а вышагивают на месте. Вышагивают осторожно, мягко, беззвучно.

Придя домой, он разделся, лег в постель и свернулся в клубок под одеялом.

Внезапно раздался стук в дверь.

— Кто там? — испуганно подскочил Боб.

Дверь тихонько отворилась, и кто-то вошел в комнату.

— Кто там? — повторил он, холодея от страха. — Что вам надо?

— Это я, машинистка. Помните, утром мы с вами условились...

— Завтра, — сказал он. — Завтра. — И натянул одеяло на голову.

Глава одиннадцатая

— Пойдешь за меня замуж? — спросил Боб.

— Нет, — сказала девушка.

Они встретились полчаса назад на улице, а сейчас сидели в самом фешенебельном ресторане.

— Почему? — спросил Боб.

— Ты меня не знаешь.

— А ты меня?

— Тебя каждый знает. Недаром все тут смотрят на нас.

Боб был пьян. Он сделал предложение со всею серьезностью.

Девушка должна была, конечно, отнестись к этому как к шутке. Но странная вещь: она тоже относилась к этому со всею серьезностью.

— Но ведь ты-то себя знаешь?

— Знаю. Ну и что?

— Значит, меня ты знаешь... и себя тоже... Чего же еще надо? Давай поженимся.

— Ты лучше пей.

— Нельзя. Сегодня мне нужно быть очень серьезным.

— Но ты уже пьян.

— Значит, ты не хочешь за меня замуж, потому что я тебя не знаю, потому что ты, видите ли, заботишься обо мне... Дура!

Он вынул из кармана деньги, положил их на скатерть и, ни слова больше не говоря, нетвердым шагом вышел из ресторана.

По улице прохаживались так называемые женщины легкого поведения.

«Юмора у них нет, — подумал Боб. — И у меня тоже. Мы равны».

Несколькими днями раньше все организации и газеты го-

рода получили телеграмму следующего содержания: «Я не герой, я преступник, я убил двести тысяч человек. Клод Изерли».

Телеграмму напечатали и представили как фальшивку. Объявлено было расследование. Когда же Боб стал ходить по редакциям и утверждать, что он и есть автор телеграммы, его попросту не хотели слушать. Придумывали любой предлог, лишь бы уклониться от разговора.

— До чего же он все-таки скуп, — говорили про Боба. — Что ему стоило дать телеграмму подлиннее, подробнее описать свои переживания и угрызения?

И никто ни на минуту не задавался вопросом: отчего эта телеграмма была такая простая, словно не взрослый человек ее писал, а школьник?

Боб, уже едва державшийся на ногах, доплелся кое-как до своей машины и велел шоферу ехать куда глаза глядят.

На пути им, однако, встретилось препятствие. На тротуаре, перед чьим-то домом, собралась огромная толпа людей, и тут же на мостовой стояли в несколько рядов машины. Кого-то хоронили.

Процессия двинулась. Впереди двое несли портрет покойника. Затем шли дети с венками в руках. Затем гроб, высоко поддерживаемый в головах мужчинами. Оркестр играл похоронный марш. Процессию замыкали медленно ползущие автомашины. В том числе и машина Боба.

Много людей наблюдало за всем этим с тротуара. Люди, идущие за гробом, и люди, стоящие на тротуаре, смотрели друг на друга. Они были незнакомы друг другу.

Боб оглядел этих людей внимательным взглядом и заметил, что все они... одеты. И что все это их множество делится на две половины: на мужчин и на женщин.

— Умер человек, — сказал Боб водителю.

— Да, сэр, — ответил водитель.

Пройдя изрядное расстояние, люди стали садиться в машины.

В машине Боба разместились три женщины. Водитель хотел было что-то сказать им, однако Боб остановил его на полуслове.

Машина тронулась с места.

— Ему, кажется, лет сорок было?

— Кому?

— То есть как кому? Покойнику.

— Это жена его так говорит, чтобы самой моложе казаться. За пятьдесят ему было.

— А где он работал?

— Кассиром в банке.

— Не кассиром и не в банке. У него был магазин тканей.

— Хороший был человек. Сделал мне много добра.

— Он-то? Уж я, поверьте, знаю, скольким он испортил жизнь.

— В таком случае почему ты пришла на похороны?

— Ради жены. Я очень ее уважаю.

— А я ради самого покойника. Жену терпеть не могу.

— И потом, мы ведь земляки. Оба родились на Юге.

— Ничего подобного. Это мы с ним земляки, оба с Севера.

— Он был, кажется, высокий?

— Высокий? Наоборот, коротышка да еще хромой.

— Нет, нет, я не согласна. Не коротышка и не хромой.

Просто года два тому назад он поскользнулся на льду, упал и слегка повредил себе ногу. Несколько месяцев прихрамывал, потом прошло.

— Милая, ну неужели я не знаю? Он от роду был хромой, со дня рождения.

— А может, он и не родился? — спросил вдруг Боб.

— Что? — удивились женщины.

Приехали на кладбище. Женщины вышли из машины. Боб решил подождать до конца похорон.

— Я знаю этих женщин, — прошептал он на ухо водителю.

— Кто же они, сэр?

— Та, что сидела слева, жена покойного. Другая, в середине, его сестра. А третья — мать.

— Спасибо, сэр, — сказал водитель.

На обратном пути в машину сели трое мужчин.

— Жаль Джека.

— Кто это Джек?

— То есть как кто? Покойник.

— Разве покойника звали Джек? Его звали Джеймс.

Джеймс Томсон.

— Я хорошо знаю его брата.

— Брата? Какого брата?

— Старшего.

— У него нет старшего брата.

— Ну, значит, среднего.

— У него вообще нет никаких братьев.

— Может, ты скажешь, что у него и сестер нет?

- Сестер? Конечно нет.
- То есть как это нет? Его сестра не кто иная, как моя жена.
- Но ты ведь не женат.
- Хорошо, что хоть четыре комнаты оставил семье.
- Вот с этим я согласен. Четыре комнаты у него были.
- Верно, четыре комнаты. Общая площадь – шестьдесят семь квадратных метров.
- Шестьдесят семь вместе с кухней и коридором?
- Да, вместе с кухней и коридором.
- А может, он не умер? – спросил вдруг Боб.
- Что? – удивились мужчины.

Подъехали к дому покойника. Мужчины вышли из машины. Боб тоже.

– Поезжай домой, – сказал он шоферу, – я сегодня буду очень занят, у меня куча дел.

– Слушаюсь, сэр.

Боб наклонился, просунул голову в окошко машины и пальцем поманил к себе шофера.

– Я знаю этих троих, – прошептал он ему на ухо.

– Кто они, сэр?

– Тот, что сидел слева, брат покойника. Другой, в середине, его отец. А третий был сам покойник.

– Спасибо, сэр, – сказал водитель.

Этим утром в кабинет Боба вошли полицейские и объявили, что им приказано арестовать роботов.

– Расследование показало, что это они подделали телеграмму.

И хотя полицейские вели себя по отношению к Бобу очень уважительно, однако никаких его протестов во внимание не приняли. Роботы были собраны и погружены в машину.

Боб стоял у окна, не в силах что-либо предпринять, и смотрел на улицу. Внизу в машине стояли роботы. Их взгляды были устремлены на Боба. И хотя взгляды эти никогда ничего не выражали, тем не менее на этот раз Боб их понял. Роботы обвиняли. Обвиняли своего хозяина. Обвиняли его в самом тяжком преступлении – в предательстве. Боб распахнул окно и хотел было крикнуть, что он тут ни при чем... что это делается не с его ведома... Но снизу послышался голос полицейского:

– Мы выключили им слух.

Бобу оставалось только объясняться знаками. Но делать

это перед открытым окном было как-то нелепо и даже обидно. Он закрыл окно и потом только попробовал объясниться руками. Роботы стояли неподвижно и смотрели вверх. А Боб все тщился объяснить, убедить... И вдруг сообразил, что им выключили и зрение.

Он задернул шторы и отошел от окна.

«Они много раз меня предавали, — подумал Боб. — Много причиняли мне неприятностей». Но подумал он об этом без всякой злобы, без мстительного чувства.

Потом он долго и бесцельно бродил по дому, по всем девяти его огромным комнатам. Все блестело чистотой, все дела были сделаны, аккуратно и до конца. Ни единая мелочь не нарушала порядок. И Боб лишь теперь, спустя столько времени после возвращения с войны, в первый раз в этом огромном и чистом доме подумал с горечью:

«Ни жены у меня нет, ни любовницы, ни невесты...»

Он вошел в тесное, непривлекательное на вид кафе, уже, наверно, закрывшееся, потому что стулья были опрокинуты на столы и полная женщина лет сорока — хозяйка, наверно, — подметала пол. Кроме нее, никого не было.

— Не видишь, что закрыто? — сказала женщина.

— Я Клод Изерли.

— Домой иди, домой. На ногах еле держишься.

— А ты? Знаешь, ты кто? Ты Нефертити...

Женщина выпрямилась, широко расставила ноги и уперлась руками в полные бедра, словно желая показать, кто она на самом деле.

— Ничего. Ты просто очень устала, — мягко и даже сочувственно сказал Боб. — Тебе нужно отдохнуть. И тогда ты вся станешь тоньше и нежнее.

— А тебе, видно, выпить нужно, — рассмеялась женщина. — Садись.

Она налила ему стакан виски и поставила на стол. Потом опять принялась за свое дело.

— Ты устала, — сказал Боб, — посиди со мной.

— Ты лучше пей и помалкивай.

— Ты устала, тебе нужно отдохнуть, — пьяно повторил Боб, — все зависит от этого.

— Много будешь разговаривать — выгоню.

— Муж у тебя есть?

— А тебе какое дело?

— Нет, ты скажи, есть?

— Нету, нету...

Боб медленно потягивал виски и наблюдал за женщиной.

— Пьянчуги несчастные, — без всякой злобы, даже с невольной какой-то нежностью ворчала женщина, — болтаются тут весь день... Как будто ни дома у них, ни семьи... И рубашки у всех грязные...

«И у этой нет юмора, — подумал Боб. — И у меня тоже. Мы равны».

— Давай выходи за меня замуж.

Женщина громко и от души расхохоталась, спустила засушенные рукава и повторила еще несколько раз: пьянчуги несчастные... Потом зашла за стойку бара и принялась подсчитывать дневную выручку.

— Ну что, согласна?

— Ты молодой, красивый, от тебя еще молоком пахнет, — снова засмеялась женщина, — а я толстая и некрасивая. И старовата к тому же.

— Ты Нефертити, — заупрямился Боб, — но ты этого не знаешь. Ты преображаешься, только когда спишь.

— А днем?

— Ты можешь и днем. Все могут и днем. Но для этого нужна масса условий. — Он замолк на мгновение и подмигнул ей. — А условий этих ни у кого нет. Всегда чего-нибудь да не хватает.

Он повернулся и, шатаясь, пошел к двери. Взявшись за ручку, он в нерешительности остановился. Но тут же, преодолев нерешительность, повернул обратно, подошел к женщине, подсчитывающей деньги, и совершенно спокойным тоном сказал:

— Давай сюда деньги.

Женщина, не глядя на него, поднесла палец к губам: тихо, мол, не мешай.

— Давай сюда деньги, — повторил Боб.

Теперь уже она подняла на него удивленный взгляд и мгновение пыталась сообразить, шутит он или нет.

— Ни звука, — Боб лениво вытащил из кармана револьвер и наставил его на женщину. — Давай все.

Женщина в испуге застыла на месте, потом дрожащими руками подтолкнула к Бобу всю кучу денег.

Он не спеша собрал их, сунул в карман и бросил на стойку несколько мелких монет.

— А это тебе... За виски.

Выходя из кафе, он услышал за собой низкий и усталый голос женщины:

— Пьянчуги несчастные...

И ему показалось, что даже теперь, в этом ее упрекающем голосе он опять уловил затаенную нежность.

Боб вышел на улицу, прислонился к стене, вытер пот со лба и почувствовал необыкновенное облегчение, словно освободился наконец от тягостной какой-то обязанности.

Побродив по улицам, он снова пришел к кафе и остановился на противоположном тротуаре. Сквозь стекло витрины он увидел полицейских. Он переменял место — стал под уличным фонарем, чтобы легче было его заметить. И действительно, женщина сразу его заметила и, вскрикнув, показала на него остальным. Полицейские высыпали на улицу, и Боб, недолго думая, бросился бежать, неизвестно — от страха или же чтобы все было как полагается.

Его догнали и окружили. Боб преспокойно поднял руки вверх и с сожалением подумал, что теперь уже не решишь, могли ли действительно полицейские догнать его и схватить или же не могли.

— Мистер Изерли? — удивился старший по чину полицейский.

— Я совершил кражу, — не опуская рук, сказал Боб.

— Извините... Мы не знали, что это вы...

— Вы обязаны арестовать меня.

— Это же Клод Изерли, глупая, — рассердился на женщину старший полицейский. — Он пошутил с тобой.

— Я буду жаловаться, вы не имеете права не арестовывать меня, — разозлился Боб.

— Слушаюсь, — пролепетал полицейский. — Разрешите мне уйти...

И, не дождавшись ответа, пошел прочь. А Боб, которому так хотелось быть арестованным, который только что так на этом настаивал, неожиданно для себя вдруг почувствовал радость: как хорошо, что на этот раз его все-таки не взяли.

Он сделал несколько шагов, все еще держа руки над головой.

— Погоди, — послышался голос женщины. — Значит, ты и в самом деле Клод Изерли? Как же я тебя не узнала?

Боб остановился и обернулся.

— Ты устала. И у тебя слишком мало времени. Теперь я знаю, что тебе нужно. Время — вот что тебе нужно. Свободное время.

И пошел дальше, не опуская рук.

Он не знал, что с этого дня женщина разбогатеет. Она сделает на кафе новую вывеску: «Кафе, которое ограбил Клод Изерли».

Боб вошел в кинотеатр. Фильм уже начался. С трудом отыскав себе свободное место, Боб сел и поинтересовался у соседа:

— Что за фильм?

— «Ребекка», — недовольно буркнул сосед.

— О чем?

— Не знаю, не мешайте.

— Роберт Тейлор играет?

— Не мешайте.

— А почему не играет? — расшумелся Боб. — Почему продают билеты, если он не играет?

И, продолжая в том же духе, он засунул руку за пазуху соседа, нащупал бумажник и попробовал вытащить его двумя пальцами. Но нет — рука соседа крепко сдвинула ему запястье.

— Не надо так давить, — прошептал Боб на ухо соседу.

Тот встал с места, не отпуская руки Боба, вывел его из зала в светлое фойе и вдруг остановился как вкопанный.

— Мистер Изерли?!

— Он самый. Зовите полицейского.

— Но зачем? — улыбнулся сосед глупейшей улыбкой.

— Затем, что я так неуклюже тащил ваш бумажник.

— Я все понимаю, — сказал сосед с той же дурацкой улыбкой на лице, — вы, наверно, держали с кем-то пари.

— Нет, я просто хотел украсть ваш бумажник.

Сосед вынул из внутреннего кармана блокнот и авторучку.

— Прошу вас, очень прошу... Если можно, ваш автограф...

— С одним условием. Вызовите сию же минуту полицейского.

— Пожалуйста, пожалуйста. Разве я могу отказать вам?

Сосед пошел звонить, но на полпути повернулся и недоверчиво спросил:

— А вы не убежите?

— Идиот.

Боб остался один в фойе кинотеатра. А почему бы и не убежать? Почему бороться против десятков, сотен и тысяч людей, у которых в мозгу, в одной из его извилин, прочно записано: «Клод Изерли — национальный герой»? Подпись и печать. С подлинным верно. Почему не жениться, почему не завести себе детей-близнецов?

Проситель автографа наконец вернулся, а вслед за ним явились еще несколько человек. Они с любопытством окружили Боба. Вдобавок еще открылись двери зала, и люди по-

током хлынули в фойе. Кто-то, видимо, успел уже распространить весть. Сеанс прервался на середине.

Боб снова почувствовал прилив возбуждения, уверенности в себе. Он весело оглядел толпу и подумал: «Мне нужно быть очень серьезным». Потом он влез на стул и обратился к собравшимся:

– Я знаю, почему вы собрались здесь. И вы тоже знаете, почему я здесь. Так что давайте начнем нашу вечернюю зарядку. Надеюсь, вы помните, что делать зарядку полагается не только по утрам, но и по вечерам?

Толпа зааплодировала, восхищенная тем, что национальный герой вдобавок ко всему оказался, слава богу, еще и остроумным, общительным малым.

– Стройся, – скомандовал Боб. – Даю две минуты.

Толкая друг друга, люди начали строиться.

– По росту? – крикнул кто-то.

– Отставить условности, – рассердился Боб.

Через две минуты по всему фойе стояли ряды, по десять человек в каждом.

– Руки на пояс. По счету раз-два нагнуться вправо и влево, по счету три-четыре назад и вперед. Раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре... Дыхание свободное...

В фойе вошли полицейские и остановились в крайнем недоумении.

– Извините, господа, – сказал, заметив их, Боб, – но я должен покинуть вас. Сейчас меня арестуют. Дальше делайте сами. Только не забывайте: дыхание свободное.

Полицейские подошли к Бобу.

– Мистер Изерли, нам стало известно, что это уже второй случай. Мы убедительно просим вас пойти домой.

– Я совершил кражу, – сказал Боб. – Вы обязаны арестовать меня.

– Отправляйтесь, пожалуйста, домой.

– Я гражданин этой страны, – запротестовал Боб, и в эту минуту он был вполне искренен. – У меня есть паспорт, и я имею право наравне со всеми пользоваться законами нашей страны.

Его вежливо взяли под руки и вывели на улицу.

Боб нанял оркестр самого известного в городе ресторана.

Музыканты выстроились на мостовой, а Боб встал во главе их и подал знак. Оркестр заиграл марш и, предводительствуемый Бобом, медленным шагом двинулся вперед. Все посетители ресторана вместе с женами и любовницами высыпали на улицу и последовали за оркестром. Одно за

другим стали распахиваться окна, люди бросали Бобу цветы и посылали воздушные поцелуи. Процессия шаг за шагом ширилась. Полицейские пребывали в полной растерянности. Происходило, конечно, нечто недопустимое, но что можно было предпринять, что можно было поделаться, если во главе этой процессии вышагивал сам Клод Изерли собственной персоной и он же дирижировал оркестром.

Они подошли к зданию дворца и немного постояли перед ним, притопывая на месте и шумя. Во дворце все огни были потушены – видимо, и там царило всеобщее замешательство.

– Да здравствует император! Да здравствует император! – прокричали какие-то пьяные голоса. – Да здравствует императрица! Да здравствует императрица!

Боб поднял обе руки, прося молчания, потом привстал на цыпочки и обратился к находящимся в рядах женщинам:

– Кто из вас согласен выйти за меня замуж?

Все женщины единодушно крикнули, что они согласны.

– Мне нужна одна, только одна.

– Я, я!.. – отозвался хор.

– Только одна...

– Я, я!..

Шествие продолжалось. На всех проспектах города царил шумное оживление. Люди выходили из ресторанов, кафе, театров и присоединялись к этой разношерстной и странной толпе.

«Ни жены у меня нет, ни любовницы, ни невесты, – думал Боб уже весело и беззаботно, – ни жены, ни любовницы, ни невесты, ура!»

У здания вокзала процессия остановилась.

– Вы играйте, – велел Боб оркестрантам, – а я сейчас вернусь.

Он вошел в здание и бесцеремонно протолкался к первой же кассе. Потом вытащил револьвер из кармана и просунул его в маленькое окошечко.

– Деньги сюда! Быстро!

Люди, стоявшие в очереди, в ужасе разбежались.

В окошечке показались две руки и протянули Бобу кучу денег. Он забрал их и направился ко второй кассе. Тут уже деньги лежали приготовленные, ждали его. И то же самое во всех остальных кассах.

Раздался сигнал тревоги, в опустевший зал ворвались полицейские и остановились, увидев перед собой Боба.

– Не смейте хватать меня! – крикнул Боб. – Я Клод Изерли!

При этих словах полицейские растерялись и сделали неуверенный шаг вперед.

— Ни с места! Буду стрелять!

Полицейские сделали еще один шаг.

— Буду стрелять! — кричал Боб. — Всех перестреляю!

На сей раз ему удалось оболванить полицейских и заманить их в ловушку. «Главное — сопротивляться, — понял Боб, — и они клюнут».

И действительно, полицейские набросились на него, схватили и заломили ему руки за спину. Боб сопротивлялся, и от этого они еще яростнее, еще сильнее ломали и крутили ему руки. Боб начал лягаться. Его свалили на пол и уже с невидящими глазами, с особой какой-то полицейской страстью били до тех пор, пока он лишился последних сил и перестал оказывать сопротивление.

И никто не знал, никто не мог узнать, что было мгновение, когда Боб уже начал сопротивляться всерьез...

— Доставить в тюрьму, — распорядился один из полицейских. — Был приказ из дворца.

Боба за руки выволокли на перрон и повели в тюрьму по каким-то глухим безлюдным дорогам.

Глава двенадцатая

Уже пятый день Боб находился в одиночной тюремной камере. С потолка свисало над ним несколько толстых веревок с петлями на концах, а на столе аккуратно были разложены револьверы различного калибра.

Они здорово это придумали — чтобы под рукой у Боба было множество средств к самоубийству и чтобы именно множество их отбило у него всякую к тому охоту.

Но они знали, что Боб не дурак и что рано или поздно он разгадает эту «психологическую» программу. На это именно они и рассчитывали, этого ждали.

Одна веревка — это слишком грубо. Слишком прямо и слишком дешево она подсказывает, что нужно делать. И тем самым удерживает и запрещает.

Несколько веревок тоже поначалу удерживают и тоже запрещают. Они подсказывают тоньше и длительнее, но зато вернее.

Потому что, как только ты разгадаешь правила игры, игра эта сама собой прекратится, она будет кончена, и самоубийство станет необходимостью. И ты сообразишь вдруг: а почему бы и нет?

Считай, сукин сын, считай. Будь примитивнее. Считай от единицы до двухсот тысяч. Это тебе на пользу.

Ты на мгновение, всего только на мгновение, до боли ясно, до боли отчетливо представил себе одну подробность того дня, такую, которую ты сознательно ни за что бы не вспомнил.

Сиденье самолета было кожаное. В одном месте сбоку кожа была порвана, и из-под нее выглядывала вата. Не поймешь, почему тебе тогда хотелось протянуть руку и вытащить эту вату. Сейчас ты думаешь, что не сделал тогда этого, потому что руки у тебя были заняты. Ничего подобного, ты просто тогда не догадывался, что думаешь об этом. Ты догадался только сейчас, спустя много времени...

«Не иначе как Вильгельм Икс придумал», — усмехнулся Боб, глядя на свисающие с потолка веревки.

Если ловушка выглядит слишком хитро, если она построена слишком сложно и замысловато, то, значит, где-то в ней кроется что-то очень простенькое. И конечно же изобретает такие ловушки всегда и всюду Вильгельм Икс.

В тот день в самолете ты подумал также, что, когда ты вернешься с войны и отправишься как-нибудь пострелять в тире, ты вряд ли сойдешь за меткого стрелка. Придет туда мальчишка лет на десять тебя моложе и покажет чудеса попадания в цель.

Но и эта подробность не имела ни малейшего отношения к тому, что предстояло тебе сделать спустя немного — простым нажатием кнопки.

Камера была обставлена с большим комфортом: мягкая постель, первоклассный, но недействующий радиоприемник, письменный стол, несколько кресел и на стенах — картины знаменитых художников.

Все удобства для того, чтобы ты хорошо себя чувствовал, и чтобы тебе хотелось или не хотелось думать, и чтобы ты настроился или не настроился на самоубийство.

В тот день в самолете в сознании твоём промелькнула еще одна короткая мысль: «Как жалко этих людей!» И это была

страшная и непростительная мысль, и страшнее всего в ней было это восклицание: «Как!..»

Бонапарт придумал бы все иначе. Он не стал бы обставлять тюремную камеру. Он создал бы самые жесткие условия. Он не повесил бы веревок с петлями на концах. Он подкинул бы в камеру заржавелую бритву, причем в такое место, где ее трудно, очень трудно было бы заметить. Где ее можно было бы найти только случайно. Но если ты нашел ее — конец.

Да здоровствует император. Да здоровствует императрица. Да здоровствуют герцог и герцогиня. Да здоровствуют их внуки и правнуки.

Дверь камеры открылась, и надзиратель сказал:

— К тебе пришли.

Боб встал и невольно вытянулся в струнку. И почувствовал себя в эту минуту по-настоящему арестантом, и, может быть, от этого ему сделалось грустно.

В камеру вошел Джо Стиборик.

Боб сначала не поверил своим глазам, потом обрадовался и хотел уже кинуться к Джо, крепко обнять его.

Но Джо на какое-то мгновение опоздал. Он стоял в дверях, задумчивый и неподвижный. И поздно сообразил, что надо бы ему обняться с товарищем.

Они обнялись, но без всякого уже порыва, холодно и равнодушно.

— Что случилось? Зачем ты пришел?

— То есть как это зачем? Пришел повидать тебя.

— По собственному желанию?

— Нет, меня прислали, — признался Джо. — Хотя я поклялся не говорить об этом.

— Зачем же тебя прислали? — улыбнулся Боб. Он был рад, что разговор начался искренне. — Вернее, отчего ты не захотел прийти сам?

— Мне нужно забыть о тебе, — покраснел Джо. — Ничего, что я говорю так откровенно? Чересчур даже откровенно.

— Значит, ты считаешь, что я поступил правильно?

Джо не ответил.

— Почему ты молчишь? Скажи, ты считаешь, что я поступил правильно?

Они посмотрели друг на друга.

Джо выдержал взгляд и не опустил головы.

— Боб... Зачем тебе нужно...

— В городе уже знают обо мне?

– Все уже знают. И что? Неужели тебя это радует?
– Конечно, радует.
– Боб... ну зачем тебе нужно...
– Ты хочешь сказать, что я все равно проиграю? Но мне и не нужна победа. – Он растянулся на постели и закурил. – Все равно – хоть поражение, хоть победа.

– Боб, серьезно тебе говорю, не связывайся.
– От чьего имени ты сейчас говоришь это, от своего или от их?

– И от своего, и от их.

– В худшем случае меня засадят в тюрьму, лет на пять, – попробовал пошутить Боб. – Ничего, молодым еще выйду.

– Боб, еще одно скажу тебе откровенно. – Джо присел на кровать в ногах у Боба. – Ты становишься неинтересным.

– В каком смысле?

– Раньше... Как бы это сказать... Раньше, до того как ты понял свою вину, ты был гораздо интереснее. А теперь, когда тебе уже все понятно, ты кажешься мне каким-то неинтересным.

– Слушай! – заорал Боб. – Выходит, ты и сам все чувствуешь, все понимаешь, знаешь все как свои пять пальцев! И наверно, даже раньше меня почувствовал, что мы натворили с этими бомбами...

– Верно, – спокойно сказал Джо. – Но я трус. Пойми, постарайся понять: я трус. Я хочу жить хорошей жизнью. Мне нравится слава... Не осуждай меня, Боб. Постарайся понять. Ведь это же все по-человечески понятно. Я не спорю: то, что делаешь ты, тоже понятно... Я даже завидую тебе, но...

– Дальше, дальше.

– Ты разрешаешь?

– Конечно, говори, выкладывай до конца.

– Мне... мне иногда приятно бывает думать, что я останусь один. И я сам же пугаюсь этой подлой мысли, – с детской непосредственностью и чуть краснея, продолжил Джо. – Я не хотел этого говорить. Ты виноват. Ты меня заставил.

– В таком случае почему ты хочешь, чтобы я отказался от этой затеи?

– Я боюсь. За себя боюсь. А вдруг и во мне заговорит совесть? – И добавил, воодушевленный собственной искренностью: – Ты мне мешаешь. Ты не даешь мне спокойно жить.

Боб в бешенстве соскочил с кровати и крикнул во все горло:

— Ты что, исповедника себе нашел?! Вон отсюда! Вон!

— Ты прав, Боб. Мне нравится говорить о дурных своих сторонах. Мне это доставляет удовольствие. И я сам сейчас стыжусь себя... — Джо встал и спокойно направился к двери.

— Одного только я не понимаю, — все еще в ярости спросил Боб, — как ты будешь смотреть мне в лицо через пять лет, когда я вернусь?

— Ты не вернешься, Боб.

— Почему? Кто тебе это сказал?

— Никто... Это мне так кажется. — Джо помолчал мгновение. — Боб, я... я сам себе противен...

Он открыл дверь, печальными глазами посмотрел на товарища и уже собирался переступить порог (сейчас он выйдет в город, на улицу, сейчас он отправится к себе домой), как вдруг за спиной у него раздался неожиданно мягкий голос Боба:

— Джо... не обижайся на меня. Джо... Прости меня...

— Я не обижаюсь, Боб. Честное слово, не обижаюсь. Прощай.

Дверь камеры открылась, и надзиратель сказал:

— Следуй за мной.

Боб встал и последовал за ним.

— Как тебя звать? — спросил он по дороге у надзирателя.

Надзиратель кинул на него презрительный взгляд.

— Ты знаешь, кто я такой? Я Клод Изерли.

— Кто?

— Клод Роберт Изерли.

— Нечего важничать, — обиделся надзиратель. — Небось впервые в тюрьме... А не то...

— Жена у тебя есть?

— Да.

— А дети?

— Четверо.

— Вот спроси у них про меня. Они обязательно будут знать. Жалко, у меня нет при себе фотографий, а то бы и ты узнал.

— На что мне фотография? — удивился тюремщик. — Я же не слепой, и так вижу.

— Нет, будь фотография, ты бы узнал, — настаивал Боб. Он боялся. Он очень боялся.

Надзиратель препроводил его в большую комнату, где за

столом сидели Вильгельм Икс, главный прокурор дворца и главный врач.

— Здравствуйте, — сказал Боб.

Ему никто не ответил. На него даже не посмотрели.

— Раздевайся, — приказал надзиратель.

Боб снял с себя брюки и рубашку.

— Все снимай, все, — сказал надзиратель. — Чего стесняешься?

Боб снял с себя все.

— А теперь иди в середину.

Боб послушно направился в середину комнаты. Он увидел на полу нарисованный мелом круг и вступил в этот круг, полагая, что так оно и предусмотрено.

Надзиратель собрал его одежду и вышел из комнаты.

— Странное дело, доктор, — говорил прокурор, — мне скоро семьдесят, но, представьте себе, с женщинами у меня все еще получается... Я очень обеспокоен, ведь это, наверное, ненормально...

— Ничего, — успокоил его доктор, — вы еще молоды душой.

— Как вы думаете, не надо ли мне лечиться?

— Никакого лечения. Но старайтесь сдерживать себя. Во всем важно соблюдать меру.

— Не могу! — прокурор в отчаянии воздел руки. — Вы представляете, не могу, и все!

— Господа, не будем забывать, что на нас возложена неприятная обязанность, — вежливо прервал их Вильгельм Икс.

— Что же нам делать с этим человеком? — состроил недовольную гримасу прокурор. — Посадить в тюрьму? Но это опасно. Он ни в чем не виноват. Вы понимаете, мы не можем признать, что он виноват. Если мы это признаем, значит, мы вынуждены будем тем самым признать и смысл его антиобщественных поступков.

— Я здесь, — тихо сказал Боб.

— Если бы решение вопроса предоставили мне, я предложил бы самый разумный выход, — с достоинством произнес Вильгельм Икс.

— Пожалуйста, мы вас слушаем.

— Отпустить его на свободу.

— То есть как? — удивился прокурор. — Ведь вы же сами...

— Отпустить на свободу, — повторил Вильгельм Икс. — А потом устроить ему смерть от аварии в каком-нибудь роскошном автомобиле.

– Но почему обязательно в роскошном? – полюбопытствовал прокурор.

– Такому человеку к лицу роскошная машина. В этом случае авария прозвучит убедительнее.

– Я здесь, – послышался из круга несмелый голос Боба.

– Потом, потом?

– Потом будет объявлен однодневный общенациональный траур. Будут организованы пышные похороны. Мы все будем стоять в почетном карауле.

– Я согласен. Может быть, так и сделаем?

– Нет, – неожиданно заявил Вильгельм Икс, – нельзя.

– Я вас не понимаю.

– Бонапарт не согласится. Он против таких средств. Он требует от нас безукоризненного решения.

– Стало быть, в тюрьму нельзя, убивать нельзя. Что же тогда можно?

– Хорошо бы ему покончить самоубийством.

– Я вам тысячу раз говорил, что самоубийство в тюрьме недопустимо. Это будет значить, что мы его убили. Надо было создать все условия, чтобы он сделал это на воле, понимаете, на воле.

– Правильно, на воле было бы лучше. Но какое мы могли бы дать объяснение?

– Самоубийство на почве любви. И пожалуйста – популярность национального героя достигла бы тогда своей кульминации.

– Я здесь, – сказал Боб, на этот раз уже громко.

– А что думаете вы, доктор?

Главный врач неторопливо встал из-за стола, подошел к Бобу и поглядел на него в раздумье.

– А ну-ка скажи алфавит.

Боб начал называть буквы алфавита. Но в одном месте споткнулся, забыл.

– Подскажите, я вспомню дальше, – попросил Боб.

– Не надо. Сядь.

– Можно мне выйти из круга?

– Нет. А почему ты спрашиваешь?

– Где же тут сесть?

– Ладно, я сейчас принесу тебе стул.

Главный врач принес стул, усадил Боба и объяснил членам комиссии:

– Я не хочу, чтобы обвиняемый устал. Если он устанет, мне трудно будет осмотреть его должным образом.

Члены комиссии наклонили головы в знак согласия. Главный врач тщательнейше выстукал и выслушал грудную

клетку Боба, после чего сострадательно покачал головой.

— Легкие не в порядке. По видимости, в детстве он перенес болезнь, а впоследствии не получил надлежащего лечения. Пока что болезнь в скрытой форме, однако она грозит проявиться в любое время. — Главный врач улыбнулся. — Этот осмотр, конечно, не имеет никакого отношения к нашей задаче. Я несколько отклонился, но что поделаешь — привычка врача.

— Неужели у меня и вправду больные легкие? — спросил Боб. — Родители мне ничего такого не говорили.

— Не волнуйся, мой мальчик. Спокойно. Пугаться нечего... Кошка поймала мышь. Где в этом предложении подлежащее?

— Кошка.

— Молодец. Сказуемое?

— Поймала.

— Дополнение?

— Мышь.

— Совершенно верно. Теперь построй предложение так, чтобы мышь стала подлежащим, а кошка дополнением.

— Мышь поймала кошку.

— Господа, обратите внимание. Стало быть, мышь поймала кошку. Вы можете себе это представить?

Члены комиссии засмеялись.

— А теперь считай.

— Что считать?

— Считай, начиная с единицы.

(Считай, сукин сын, считай. Будь примитивнее.)

— Не могу.

— Внимание, господа, внимание. Считать не умеет, алфавита не знает, понимает, что из круга выходить нельзя. — И сделал заключение: — Для меня все ясно.

— Что ясно? — в один голос спросили Вильгельм Икс и главный прокурор.

— Комплекс вины. Единственно правильный диагноз.

— Что вы предлагаете?

— Эта болезнь чрезвычайно опасная. К тому же она заразна. Больного необходимо изолировать. И необходимо обеспечить ему особые климатические условия. Я предлагаю отправить его на другую планету, ну, скажем, на планету Тюнитос... В сопровождении врача и женщины.

— А нельзя ли отправить его одного?

— Стоит ли экономить средства в подобном деле? — укоризненно произнес главный врач.

— Значит, как мы оформим свое решение?

— Давайте напишем коротко и исчерпывающе: сбрасывание бомбы, независимо от того, какова ее разрушительная сила, не может вызвать в здоровом человеке ощущение вины и укоры совести. В противном случае на свете не существовало бы ни единого военного летчика. Тщательное медицинское обследование показало, что Клод Роберт Изерли страдает комплексом виновности.

— Спасибо, доктор, вы нас выручили.

— Я хочу в тюрьму! — крикнул Боб. — Я совершил кражу!

Члены комиссии были заняты составлением решения.

— Я хочу Бонапарта! — безнадежно кричал Боб из своего круга. — Вы обязаны судить меня так же, как судили Отца атомной бомбы!

— Теперь, надеюсь, ему уже не вредно волноваться, не так ли, доктор? — спросил главный прокурор.

— Нет, конечно же нет, — сказал главный врач. — Ведь обследование уже закончено.

— Я прошу вас, обманите и меня, и мне расставьте ловушку! — уже со слезами в голосе кричал Боб. — Я прошу уважения! Я демагогии прошу!

Комиссия завершила свою работу.

— Позовите сюда Бонапарта!

— Вы слышите? — сказал главный врач. — Типичный комплекс вины.

Перед тем как выйти, члены комиссии подошли к Бобу и некоторое время внимательно его разглядывали.

— Он хорошо сложен и мог бы стать великолепным спортсменом.

— Бедный парень. Он мог бы жениться, иметь детей и жить обыкновенной счастливой жизнью. На черта ему было звание национального героя!

— Война виновата, господа, война.

— В трудные времена живем, — повздыхали они в заключение и удалились.

Боб остался один в комнате, но он все еще боялся выйти из круга.

Один, в пустой комнате, голый, в отчаянии, он крикнул из круга:

— Скажите хоть, неужели у меня и вправду больные легкие? — И он разрыдался. — Ведь я же не знал... Мне никто не говорил об этом...

Глава тринадцатая

Боб стоял посреди открытого поля, рядом с космическим кораблем, на борту которого крупными буквами было написано: *Земля — Тюнитос*.

Его провожали не солдаты и не полицейские, а врачи-психиатры в белых халатах.

Волосы у Боба были острижены по последней моде, на нем был лучший его костюм, лучшие ботинки и модный галстук.

Вдалеке от космолета полицейские образовали плотную цепь перед довольно-таки внушительной толпой людей. Люди эти пришли попрощаться с Бобом. Над головами они держали плакаты и транспаранты: «Скорейшего выздоровления нашему дорогому Бобу!» И как бы в знак уважения они все стояли молча и неподвижно.

Боб посмотрел на часы. Отлет был назначен на час дня. Оставалось каких-нибудь тридцать минут.

— Что же они не едут? — сказал он обеспокоенно. — Этак можно и опоздать.

— Ничего, — откликнулся ему врач в белом халате. — Не обязательно же вылетать в назначенный час.

Несмотря на такой ответ, Боб с явным нетерпением посмотрел на дорогу, где должна была появиться автомашина, и повторил раздосадованно:

— Что же они опаздывают? Полчаса осталось.

— Сколько вы весите? — раздался рядом с ним незнакомый голос.

Боб обернулся и увидел перед собой репортеров.

— А зачем вас это интересует?

— У нас очень мало времени. Потом мы вам объясним, если успеем.

— Семьдесят пять килограммов.

— Рост?

— Метр восемьдесят.

— Любимый вид спорта?

— Легкая атлетика.

— Любимое время года?

— Лето.

— Кто вам нравится больше — брюнетки или блондинки?

— Блондинки.

— Что любите из фруктов?

— Арбуз.

— Ночью спите хорошо?

— Да.

— Сколько вам было лет, когда вы в первый раз влюбились?

— Пятнадцать.

Боб поймал себя на том, что он не только не противится внутренне этим вопросам, но даже отвечает на них охотно и где-то в глубине души даже боится, как бы они не кончились слишком скоро.

— В школе я удирал с уроков... — добавил он уже от себя. — Был очень непослушный... Хорошо плаваю... Отпуск проводил всегда на берегу моря... Очень люблю ходить в кино... Никогда в жизни не заявлял, что кино — это обман. Что кино снимается. Снимается аппаратом. На ленту. Я всегда верил...

Его голос охрип и задрожал.

— Я был непослушный, но учился хорошо... Курить начал совсем мальчишкой... Раньше почти не кашлял... Сейчас кашляю много... Наверное оттого, что много курю... Учиться я не любил, но учился хорошо...

Теперь он говорил торопливо, едва переводя дух, словно запыхавшись от долгого бега.

— Я всегда был точным... На свидания приходил за десять минут... Ни разу не опаздывал на поезд или на самолет...

— Благодарим вас, довольно.

— А... а зачем вы все-таки пришли? — уже тихим голосом спросил Боб. — У вас найдется еще время, чтобы объяснить?

— Да, в нашем распоряжении еще пять минут, — посмотрев на часы, сказал один из репортеров, — и мы можем теперь объяснить цель своего прихода. Нам нужны были некоторые данные о вас. Правительство решило поставить вам памятник в центре города.

— Памятник? Мне? — опешил Боб.

— Да. И мы хотели бы написать о вас несколько слов на мраморной мемориальной доске.

— Памятник? — повторил он машинально. — Мне?

— Мы могли, разумеется, придумать сами, но предпочитаем, чтобы наше слово соответствовало действительности.

— А это все... — растерянно пролепетал Боб, — а я...

— Вы, наверно, имеете в виду последние ваши поступки и... как бы сказать... и это ваше путешествие? Видите ли, мы охотно упомянули бы и про это, однако, к сожалению, не хватит места.

Репортеры еще раз выразили ему благодарность и удалились.

Боб снова проверил время: шел уже второй час. Точность была нарушена. Ну а если точность нарушена, то, значит, все пойдет по-обычному.

Наконец вдали за клубилась пыль и показалась машина. Боб с нетерпением кинулся ей навстречу. Машина подъехала, остановилась, и из нее вышли мужчина и девушка.

Боб улыбнулся им и хотел было поздороваться, однако мужчина тут же отвел его в сторону и сразу же заговорил деловым тоном.

— Требований у меня немного, — сказал он. — Вы должны меня слушаться и не делать ни шагу без моего разрешения. Ясно?

— Но позвольте...

— Вы обязаны подчиняться мне, — перебил его мужчина. — Я требую этого отнюдь не потому, что мне нравится держать людей в подчинении, а потому, что это необходимо для вашей же пользы.

— Но позвольте мне сказать...

— В отличие от других я считаю вашу болезнь вполне излечимой.

— Как вас называть, доктор?

— Так именно и называйте.

— Быть может, доктор, вы выслушаете меня...

— Мне уже ясно, что я вам не понравился. Однако прошу запомнить: я не придаю этому никакого значения.

Он взял свой чемодан и направился к космолету.

А Боб остался стоять на месте как пригвожденный и со страхом подумал, что доктору, по-видимому, ничего не известно. Что он действительно считает его больным. Значит, он не предупрежден. Его обманули. Утаили от него правду.

Боб неторопливо подошел к девушке и молча остановился рядом с ней. Девушка тоже стояла молча. Она была высокого роста, у нее были длинные ноги и руки тоже длинные, и платье на ней было до колен...

— Сколько тебе лет? — спросил наконец Боб.

— Двадцать два.

— А мне двадцать семь.

Девушка смотрела куда-то вдаль. А Боб — на девушку. И платье на ней было до колен.

— Кто у тебя есть?

— Никого.

— Ты где-нибудь работала?

Девушка кивнула, все так же глядя куда-то вдаль.

— Кем?

— Машинисткой.

— А с парнями гуляла?

— Да.

— Со многими?

— Да... со многими.

Они стояли бок о бок, вровень друг с другом, оба высокие ростом.

— А ты?

— Я тоже.

Им обоим сейчас казалось, что только так и можно было начать знакомство.

— Как ты попала сюда?

— Меня вызвали.

— Потом?

— Потом заставили.

Боб достал сигарету из пачки, закурил.

— Дай и мне, — попросила девушка.

— Тебе? Я не хочу, чтобы ты курила.

— Правда? Хорошо, не буду.

Они засмеялись и медленно пошли к космолету.

Бобу хотелось сказать девушке: «Я виноват перед тобой. Я только перед тобой и виноват...» Но вместо этого он остановился, протянул руку к ее лицу и нежно провел по нему пальцами.

— Меня зовут Боб.

— Знаю.

— А тебя?

— Лили.

Они продолжали шагать, не замечая, что кружат вокруг космолета.

— Скажи, ты очень меня ненавидишь?

— За что? — удивилась девушка.

— Да так... неважно... — И переменял разговор. — На какой улице ты жила?

— На тысяча четыреста сороковой.

— Не знаю... Не бывал там, наверно...

— Я жила на четвертом этаже, — сказала девушка, считая, вероятно, что сейчас это очень важно.

— А лифт у вас был?

Они помолчали.

— Ты знаешь, почему меня отправляют туда?

— Знаю.

— Почему?

— Ты сам этого захотел.

— Что, что?

— Мне сказали, что ты сам захотел туда.

– Как это сам? – остановился Боб. – Почему?
– Мне ничего больше не сказали.
– Но ты сама-то как думаешь? – спросил он почти грубо.

– Мне кажется, с тобой случилось что-то плохое. Что-то очень плохое.

– Почему тебе так кажется?

– Не могу объяснить.

– Попытайся. Я прошу тебя. Мне это очень нужно сейчас.

– Потому... потому что ты хороший парень...

– Поднимитесь и займите свои места, – послышался приказ командира корабля.

Боб и Лили, побледнев, переглянулись друг с другом.

Боб чутьем угадал, как он должен вести себя в эту минуту.

– Разреши взять твой чемодан.

Он взял чемодан девушки и, пропустив ее вперед, стал подниматься по трапу. И от этой его элементарной вежливости им обоим стало немного легче.

– Лили... я не виноват...

– Я буду тайком от тебя курить, – улыбнулась девушка.

На последней ступеньке она на мгновение остановилась и, не оборачиваясь, сказала:

– А жалко, что мы уже как хорошие знакомые, правда?

– Не забыли ничего? – крикнули снизу.

Боб вышел вдруг из кабины космолета и поспешно спустился вниз, на землю. Он не знал зачем. Он ничего не забыл внизу.

Он постоял с минуту в полной растерянности, огляделся кругом.

В нем не было ни сожаления, ни протеста, ни грусти расставания. Это была для него попросту пустая минута. И вместе с тем чрезвычайно важная.

Боб помочился, не стесняясь присутствия множества людей. Для него эти люди уже не существовали. Они были сейчас заняты. Сооружали ему памятник. Боб постеснялся бы, только если бы его видели доктор или Лили...

Он снова поднялся в космолет.

Дверь кабины тяжело захлопнулась.

Люди моментально разбежались с поля.

Раздался оглушительный шум, космолет дрогнул и оторвался от земли.

Сидящие в кабине не смотрели друг на друга.

Они все трое снова были друг другу чужие.

Боб вытащил из кармана утреннюю газету и заставил себя читать.

«...Случаи воровства в столице участились. Уголовные преступления совершаются, как правило, ветеранами войны...»

«Ну что же, стало быть, я сделал свое дело. Я могу быть спокоен, меня поняли», — подумал Боб, но подумал без радости и даже без волнения. Теперь уже это было ему безразлично, потому что он прочитал это с опозданием на десять минут. Ему надо было прочитать это десятью минутами раньше, на земле, когда еще было время...

Боб опустил газету и посмотрел в иллюминатор.

Земля еще не исчезла из виду. И, глядя на нее, на эту землю, на которой он прожил годы, Боб не мог не найти самую большую в своей жизни ошибку. Потому что еще минута — и земли уже не будет видно, земли, той единственно твердой, единственно надежной точки опоры, которой еще можно было довериться. Довериться и сделать признание. Еще минута — и конец, и тогда будет поздно.

Самой большой ошибкой твоей жизни было не то, что ты принял участие в войне, а то, что ты принял в ней участие — не подумав.

Не то, что ты согласился сбросить бомбу, а то, что ты согласился — не подумав. Не то, что ты сбросил эту бомбу, а то, что ты сбросил ее — не подумав.

Ты не подумал.

Он увидел в иллюминатор что-то круглое и не сразу догадался, что это такое. Потом улыбнулся вдруг. Вот тебе и на! Стало быть, Земля действительно круглая! Стало быть, его не обманывали?

В этот последний миг захотелось вызвать в памяти что-нибудь определенное. Какое-нибудь дерево, камень, дом, лицо или же слово. И единственное, что ему вспомнилось, была мать, которую он так редко видел. Он спрятал лицо от сидящих рядом чужих людей и заплакал. И в первый раз в жизни не устыдился собственной сентиментальности. Моя мама, моя добрая, моя любимая, моя хорошая мама!

Потом взгляд его упал на большое зеркало в стене кабины, и он увидел в нем себя с головы до ног. Волосы у него были острижены по последней моде, на нем был лучший костюм, лучшие ботинки и модный галстук.

Но одна, почти неприметная мелочь давно уже его выдавала. Носки у него были не в тон с костюмом. Носки он выбрал случайно и невнимательно.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава четырнадцатая

Музей «Хиросима»

В вестибюле музея стояли трое мужчин. Двое из них были одеты в белые костюмы: один — хромой, с палкой, другой — толстый и низенький, с короткими руками и с приветливым добрым лицом.

— Я вам тысячу раз говорил, — обратился Гид к третьему мужчине, — в музей можно входить только в белом костюме.

Третий мужчина, не проронив ни звука, повернулся и пошел прочь.

— А мы? — спросил человек с палкой.

— А мы? — подхватил его вопрос толстячок.

— Я очень сожалею, но придется подождать еще немного. Что поделаешь, гости опаздывают.

Гид был человек на редкость благовоспитанный.

— А правда, что они приехали из далекой страны? — спросил гардеробщик. — И что когда-то они были нашими врагами?

— Не знаю. Они гости.

— А правда, что это они разрушили наш город?

— Не знаю. Они гости.

В это время открылась входная дверь и в вестибюль вошли двое молодых мужчин в белых костюмах и с ними девушка. Все, кроме Гида, посмотрели на вошедших с изумлением.

— Но они очень похожи на нас! — воскликнул гардеробщик.

— Они гости. — И Гид обратился к гостям: — Здравствуйте.

— Здравствуйте, — сказал один из молодых людей.

— Здравствуйте, — сказал другой.

— Здравствуйте, — сказала девушка.

— Здравствуйте, — сказал человек с палкой.

— Здравствуйте, — сказал толстяк.

— Здравствуйте, — сказал гардеробщик.

— Здравствуйте, — сказал кассир.

— Теперь можно начать осмотр музея.

— Вы забыли представиться друг другу, — подсказал Гиду кассир.

— Ах, верно. Извините. — И представился: — Гид.

Представились и остальные.

- Боб.
- Джо.
- Лили.
- Человек с палкой.
- Толстяк.
- Гардеробщик.
- Кассир.
- Теперь можно начать осмотр...
- Да, теперь можно начать осмотр.

Посетителям музея запрещалось иметь при себе часы. Они сдали часы кассиру. Им объяснили, что в каждом зале имеется специальный служащий, который непрерывно пишет мелом на обыкновенной доске точное время – час и минуту. Пишет и стирает. Непрерывно.

Сейчас было три часа ночи, и поэтому, кроме гостей и двоих мужчин, других посетителей в музее не было.

У входа в залы гардеробщик обыскал человека с палкой и толстяка – нет ли у них в карманах других часов. У толстяка действительно оказались.

– На первый раз мы вам прощаем, – сказал Гид.

– Спасибо, – испуганно пробормотал толстяк.

– Позвольте попросить вас еще об одном, – сказал гардеробщик. – В нашем музее надо разговаривать обычным голосом, не слишком тихо и не слишком громко. Просьба, как видите, незначительная и никого не затруднит. И вообще, мы требуем от посетителей немногого.

После чего трое гостей, человек с палкой и толстяк сняли свою обувь, надели тапочки и, сопровождаемые Гидом, вошли в зал.

– Приятного развлечения, – крикнул им вслед гардеробщик.

– Приятного развлечения, – присоединился к нему кассир.

Залы музея были просторные, с высокими потолками и мраморными колоннами, ослепительными, гладкими и холодными. Полы были устланы громадными коврами, заглушавшими звук шагов. Кругом царило молчание, глубокое и тягостное молчание.

Для того чтобы попасть из одного зала в другой, надо было пройти по тесному коридору с очень низким потолком. Пройти же по такому коридору можно было только нагнувшись.

Рядом с дверью в первый же такой коридор висела таблица.

— О, это самое большое из наших достижений, — сказал Гид.

В таблице было указано подробнейшим образом, с точностью до мелочей, кому насколько следует нагибаться — в зависимости от возраста, пола, роста и от занимаемого в обществе положения. Внизу таблицы имелось примечание, где было сказано, что дирекция музея прилагает все усилия к тому, чтобы облегчить дело посетителям. Поэтому таблица постоянно усовершенствуется, ибо при нынешнем положении вещей люди еще проводят перед ней слишком много времени и с трудом разбираются, насколько им следует нагнуться. В конце стояла фамилия сотрудника, в течение вот уже многих лет кропотливо исследующего этот вопрос.

— Вы можете записать его фамилию, если желаете, — сказал Гид. — Потому что ведь иностранную фамилию запомнить довольно трудно.

— А можно, — спросили его, — если кто-нибудь не пожелает продолжать осмотр музея, можно тому выйти из здания до конца осмотра?

Гид ответил, что можно, но необходимо представить подробную объяснительную записку.

Посетители принялись изучать таблицу, висевшую у первого коридора. Гид, сохраняя по-прежнему любезность, отказался помочь им какими-либо подсказками, обосновав свой отказ тем, что вопрос этот очень тонкий и деликатный. Ему, Гиду, неловко вмешиваться или подсказывать, так как может случиться, что кому-нибудь из посетителей согласно установленным правилам надо нагнуться ниже остальных.

— И вообразите тогда мое положение, — сказал Гид.

— Вы совершенно правы, — откликнулся толстяк, на которого эти слова очень подействовали, — я вполне вхожу в ваше положение.

А будет ли этот вопрос решен со временем единообразно для всего музея? Гид ответил, что нет, в каждом коридоре нормы разные, потому что вариантов бесчисленное множество и вывести из них среднюю норму чрезвычайно трудно. Благодаря же существующему способу им удастся пока что по возможности избегать несправедливости.

Лили нагнулась лишь настолько, насколько нужно было, чтобы не удариться головой о потолок. Она призналась Гиду, что не последовала указаниям таблицы. Значит, можно было, наверно, обойтись и без всей этой сложной и замысловатой системы правил? Гид побледнел и сухо ответил, что, может быть, это и так, хотя сам он не допускает подобной мысли, и что даже если это так, тем не менее надо строго

следовать таблице, поскольку она повешена у двери. Потом он добавил, что сам он всегда идет впереди и не оглядывается на посетителей, ибо ему даже в голову не приходит, что кто-нибудь из них может нарушить правило. Потом он снова сделался любезным и сказал, что и в следующем коридоре он не станет оглядываться, однако уверен, что Лили, даже независимо от собственной воли, последует каждой букве их закона.

— Так у нас бывает со всеми, — заключил он.

Подпрыгивая на корточках (они все сейчас опустились на корточки, потому что разговаривать в полусогнутом положении было трудно), к Лили приблизился толстячок и шаловливо прошептал ей на ухо, что он нагнул на три сантиметра меньше, чем полагалось. Потом уже серьезно признался, что порядком из-за этого перетрусил.

— Толстяк, — неведомо откуда раздался вдруг оклик громкоговорителя, — прошу разговаривать обычным голосом, не слишком тихо и не слишком громко.

Зал, в который они вошли из первого коридора, назывался «Залом людей».

Здесь было множество надписей, предупреждающих: «Не прикасаться». И было множество дверей с различными вывесками: «Обед», «Болезнь», «Убийство», «Любовь», «Смерть». На одной из дверей было написано: «И прочее и прочее».

— Здесь экспонируются живые люди, жители Хиросимы, — объяснил Гид. — Они представляют различные сцены из человеческой жизни. Они уже готовы и, как только вы откроете дверь, приступят к своему делу.

— А они актеры?

— Нет, что вы, — снисходительно улыбнулся Гид, — они люди.

— А сцены всегда одни и те же или разные?

— Сцены всегда одни и те же.

Лили прошла по всему залу, прочитала таблички и выбрала две из комнат — «Обед» и «Любовь».

Она открыла первую дверь и вошла.

Обыкновенная комната, обыкновенный стол, обыкновенные люди.

Отец: Ну, сядем обедать.

Семья села за стол.

Отец: Я что-то хотел сказать.

Бабушка: Мои глаза не видят.

Отец (жене): Дай мне сразу второе, я тороплюсь.

Мать: Ты всегда торопишься, не было дня, чтобы мы как следует посидели за столом и поговорили.

Отец: О чем?

Мать: Ты хочешь сказать, что нам не о чем поговорить, что ли?

Отец: По-моему, мы уже все друг другу сказали.

Бабушка: Мои уши не слышат.

Отец: Я что-то хотел сказать.

Сын: Папа, ты ведь знаешь все, правда?

Отец: Да, знаю.

Сын: Почему говорят, что в нашем городе не осталось ни одного человека, что все умерли?

Отец (испуганно): Молчи, дурак. А мы кто, мы разве не люди?

Бабушка: Мои ноги не двигаются.

Отец: Я что-то хотел сказать.

Мать: Вчера соседская жена опять явилась домой за полночь. А потом они ругались с мужем до самого утра.

Отец: Сколько раз мне повторять! Я тороплюсь, дай второе.

Дочь сидела с бумагой и карандашом и что-то сосредоточенно высчитывала.

Мать: Ты чем занята?

Дочь не ответила.

Мать: Где это видано – писать во время обеда!

Дочь не ответила.

Мать: Конечно, если твой отец вечно будет торопиться, то и нечего ждать в доме порядка.

Отец: Я что-то хотел сказать.

Бабушка: Мои руки не двигаются.

Дочь: 2803.

Отец: Что?

Дочь: 2803 раза я ела этот суп. Мама – 5402 раза, ты – 9111, брат – 625.

Бабушка: Мое сердце не бьется.

Отец: Я пошел.

Отец вышел из-за стола, надел пальто, направился к двери и наполовину открыл ее. В полуоткрытую дверь показалась улица. Обыкновенная улица, на которой, наверно, были когда-то и тротуары, и магазины, и автомашины, и, может быть, люди.

Отец постоял немного, держась за дверную ручку и мучительно о чем-то раздумывая.

– Ведь я же что-то хотел сказать...

Потом захлопнул дверь, хотя только что за обедом так то-ропился, снял с себя пальто и снова подсел к столу:

— Ну, сядем обедать...

Сеанс был окончен. Снова начался сеанс.

Лили вышла из комнаты.

— Ну как, интересно было? — спросил Гид.

— Интересно, очень интересно.

Лили открыла дверь в следующую комнату, на которой было написано: «Любовь».

В кресле, обняв друг друга, сидели двое, парень и девушка, мужчина и женщина, муж и жена, человек и еще человек.

Комната была темная и пустая, виднелся только маленький круглый стол и на нем силуэты трех бутылок.

— О чем ты думаешь? — спросила девушка.

— Когда ты рядом, я смотрю иногда на тебя и с удивлением думаю, что когда-нибудь и ты и я постареем.

— Я обещаю тебе не стареть.

— Я тоже тебе обещаю.

— Поклянись.

— Клянусь.

Они рассмеялись.

Лили стала подбирать с пола бильярдные шары и один за другим, тщательно прицеливаясь, бросать их в темнеющие на столе бутылки. Она делала это медленно и сосредоточенно. Но бутылки не падали.

— Нам надо уехать отсюда, — сказал юноша.

— Куда?

— Туда.

— А, туда!

— Да, потому что там все будет иначе.

— Ты прав, там все будет хорошо.

— Не хорошо, а иначе.

— Поцелуй меня.

— Кто-то сейчас попал под машину.

— Вот если бы мы могли уехать туда!

— Останься у меня ночью.

— Не могу. Дома будут беспокоиться.

— Позвони.

— А что сказать? Почему я остаюсь?

— Значит, ты меня не любишь.

— Опять ты за свое?

— Останься у меня ночью.

— Не могу, не могу.

— Останься у меня ночью.

– А ты ведь хотел увезти меня туда...

– Если бы я мог... если бы я мог...

Лили наконец прицелилась точно и попала. Бутылка опрокинулась.

– Что это за шум? – удивилась девушка.

– Зажгу свет, посмотрим.

Мужчина встал и включил свет.

Лили застыла на месте от изумления: в кресле перед ней сидели старик и старуха. Это они разговаривали в темноте.

Лили повернулась и вышла из комнаты.

Гид встретил ее улыбкой, которая означала: «Я понял, я все понял», и рассказал, что это самые старые их кадры, что на работу они поступили чуть ли не со дня основания музея, то есть когда Хиросима только была разрушена и когда сами они были еще очень молоды. Потом он прибавил, что было бы, наверно, лучше, если бы свет в этой комнате вообще не зажигался, однако дирекция музея не хочет этому препятствовать, чтобы не погрешить тем самым против правды.

– Наша единственная надежда, – сказал Гид, – что далеко не каждый вздумает целиться в бутылки.

– Почему вы не замените их молодыми? – спросила Лили.

– А вы представляете, что это значит? Это значит снять этих людей с работы. Между тем они все забыли и не умеют делать ничего, кроме того, что делают здесь.

– Но зачем снимать? Переведите их в другую комнату, и пускай они изображают что-нибудь связанное со старостью.

– Во-первых, они не знают, что они старики. И во-вторых, я ведь уже сказал, что они ничего, абсолютно ничего не умеют делать. Они все забыли. А вообще вам было интересно?

– Интересно, очень интересно.

Боб подошел к Лили, взял ее за руку и ввел в пустую комнату.

– Лили, я люблю тебя. Может, тебе не нравятся эти слова, может, ты считаешь их старомодными, но я говорю не стесняясь. Ведь мы с тобой в музее, а в музее можно...

– Я тоже люблю тебя. Я поняла это тогда, когда, помнишь, я потеряла свой гребешок и попросила твой. Я причесалась твоим гребешком и в эту самую минуту почувствовала, что люблю тебя.

Боб поцеловал Лили.

— Интересно, очень интересно, — послышалось рядом.

Они вздрогнули, обернулись и увидели, что в дверях стоят толстячок и человек с палкой. Выходя же, они обнаружили, что, сами того не замечая, попали в комнату с табличкой «И прочее и прочее».

Джо подошел к Лили, взял ее за руку и ввел в пустую комнату, на двери которой значилось: «И прочее и прочее».

— Лили, я люблю тебя. Может, тебе не нравятся эти слова, может, ты считаешь их старомодными, но я говорю не стесняясь. Ведь мы же с тобой в музее...

— Я тоже люблю тебя. И знаешь, когда я это почувствовала? Помнишь, сегодня утром ты попросил меня пришить пуговицу на твоём пиджаке? Ты не снял пиджак... Я пришла прямо на тебе... Ты стоял, а я сидела на кровати... Ни о чем не думала... Только считала... считала, сколько пуговиц на твоей рубашке...

Джо поцеловал Лили.

— Интересно, очень интересно, — раздался неожиданно голос Боба.

Боб произнес эти слова без тени иронии, глубоко убежденный, что перед ним экспонаты.

И подумал, что в этом городе и на самом деле ничего не осталось. Что Хиросима действительно не существует. Что ее нет.

Глава пятнадцатая

Он проснулся, весь покрытый испариной, испуганно приподнялся, сел на постели и босыми ногами осторожно коснулся пола. Посмотрел на часы. Поздняя ночь. До рассвета остается еще несколько часов.

В комнате было тепло, но он почему-то никак не мог побороть охватившей его дрожи. Он знал, что нужно надеть носки и накинуть на себя пиджак (так его учила мать), но от страха словно прирос к месту, уставившись взглядом в одну точку.

«Так тебе и надо, — подумал он. — Ты ведь сам так жаждал узнать, что именно оставил позади себя...»

И вдруг вспомнил, где он сейчас находится.

Адрес: планета Тюнитос, улица Шести Деревьев, 24, Клод Роберт Изерли.

На планете Тюнитос имелась одна-единственная длинная улица с двухэтажными домами по обе стороны. Улица – асфальтированная, дома – каменные.

Еще что?

Еще имелась «Химчистка». Там никого не было. И магазин без продавца: «Готовое платье».

Еще?

На одном из зданий крупными буквами было написано: «Кинотеатр». Кинотеатр представлял собой просторное помещение без стульев и без экрана. Вход – бесплатный.

Еще?

Посреди улицы имелся светофор с зеленым и красным светом. Среднего между ними, желтого, не было. Почему? Кто знает! Да и зачем он, собственно, был нужен? Ведь машины по этой улице не проезжали.

Ну а еще, еще?

На улице росло шесть деревьев и жило около ста человек. Люди эти были незнакомы друг с другом. Гуляли каждый сам по себе, занятые своими какими-то мыслями. При встрече, однако, здоровались и даже шляпу снимали.

Ходили они только по тротуару, хотя никто и не мешал им спускаться на мостовую, где были особые места для перехода, отмеченные широкими белыми полосами.

«Все они, наверно, жители этой планеты», – сонно подумал Боб.

Он встал с постели в одной пижаме, босиком подошел к окну и посмотрел на улицу.

На краю противоположного тротуара стоял его неизменный страж – доктор в белом халате.

Он и днем неустанно следил за Бобом, всегда, однако, держась на почтительном расстоянии. Когда, например, гуляя, Боб доходил до конца улицы и поворачивал назад, доктор останавливался, терпеливо поджидал, пока Боб с ним поравняется и пройдет дальше, после чего невозмутимо продолжал следовать за своим поднадзорным.

Странно, что они никогда не смотрели друг на друга. Они словно бы не существовали друг для друга.

Доктор и сейчас не смотрел вверх. Он нагнулся и смахивал пыль с ботинок. Он делал это тщательно и сосредоточенно.

Боб впервые испытал неудержимое желание поговорить с кем-нибудь, кому-то что-то сказать, пускай даже что-то совсем незначительное, совсем пустяковое. Единственным человеком, с которым он мог здесь поговорить, была Лили,

но Боб о ней совершенно не подумал. Не подумал, потому что она была единственная. И он был единственным для нее.

Он в отчаянии оглядел свою комнату, и взгляд его остановился на телефоне. Боб кинулся к телефону, сорвал с него трубку и, торопясь, словно в этом было единственное для него спасение, набрал случайный какой-то номер.

— Алло, — сказал он волнуясь. — Алло, алло. Это с первого этажа?

— Что, что? — удивился женский голос.

— Это с первого этажа? — повторил Боб.

Так он почему-то назвал землю.

— Кто говорит? — спросила женщина.

— Один из ваших старых поклонников.

— О! — смягчился голос. — Но кто же именно?

— Угадайте сами.

— А я вас знаю?

— Едва ли. Но мы часто встречались на улице.

— Ради бога, скажите, кто вы! — кокетливо прощепетала женщина. — У вас такой знакомый голос.

— Вы всегда мне нравились.

— В самом деле? Не может быть.

Голос женщины показался Бобу родным и трогательным, и ее голос, и вся эта избитая, столько раз повторенная их болтовня.

— Мы можем сегодня встретиться?

— Нет, что вы! — ответ прозвучал строго. — Во-первых, я вас не знаю. И во-вторых, я замужем. Скоро придет мой муж.

— И все-таки, может, встретимся?

— Не понимаю, что за манера звонить незнакомой женщине и просить свидания! Положите трубку.

— Извините, — сказал Боб, — я не хотел...

— И как вы можете вообще допускать подобные мысли! Я просто оскорблена.

— А вы разрешите звонить вам иногда?

Женщина не ответила, помолчала немного, потом опять заговорила кокетливым тоном:

— Скажите, кто вы? Чем занимаетесь?

«Тьфу, черт, вечно им нужно знать, кто я!» — он от злости не смог ничего придумать и буркнул:

— Я летчик.

— Что вы говорите! Я всегда завидовала летчикам. Ваша профессия, наверно, очень интересная. И очень опасная.

— Да, — сказал Боб, — да.

— Особенно когда война. Вас ведь все время обстреливают, правда?

— Видите ли, я еще учусь...

— Синее, беспредельное небо, — мечтательно пропела женщина, — и вдруг — выстрелы... Какой ужас...

— Да, да, — пробормотал Боб. — Ваш муж еще не пришел?

— Мой муж? Ах, он такой ревнивый! А вы женаты?

— Женат? Не знаю... Не помню...

— То есть как? — рассмеялась женщина и неожиданно спросила: — Вы далеко сейчас находитесь?

— О да, я нахожусь очень далеко, — усмехнулся Боб, уже чуть было не поддавшийся самообману, уже почти что вообразивший, что он и впрямь находится где-то рядом с женщиной и сейчас ему придется пойти на свидание. — Я никогда больше не стану вас беспокоить, — добавил он безучастно. — Я вам больше не помешаю... У меня нет никаких денег в банке... Я давно закрыл свои счета...

Он повесил трубку и, опустив голову, устало прижался лбом к телефону. Он посидел так с минуту, потом решительно поднялся, выдвинул ящик письменного стола и извлек оттуда толстую веревку. Он влез на стул, закрепил веревку на толстом гвозде, торчащем из потолка, спустился и с холодным, ничего не выражающим лицом завязал на конце петлю.

Он действовал спокойно, сосредоточенно и легко.

В коридоре послышались чьи-то шаги. Они приблизились и стихли возле самой двери. В дверную щель просунулся конверт.

Боб кинулся к двери, подобрал с пола конверт и увидел, что письмо адресовано ему.

— Я, кажется, вовремя подоспел с этим письмом? — услышал он голос доктора. — Вот видите, что значит иметь дело с хорошим психиатром...

Письмо философа Гюнтера Андерса Клоду Роберту Изерли. Земля — планета Гюнитос (документ)

Дорогой мистер Изерли.

Вы не знакомы с пишущим эти строки. Зато мы, мои друзья и я, знаем Вас. Независимо от того, где мы находимся — в Нью-Йорке, в Вене или в Токио, — мы с напряженным вниманием следим за тем, как Вы справляетесь или не справляетесь с Вашей бедой. Не потому, что мы так любопытны, и не потому, что Ваш «случай» интересует нас с медицинской или с психологической стороны. Мы не меди-

ки и не психологи. А потому, что мы стараемся, стремимся со страхом и тревогой понять те моральные проблемы, которые стоят сегодня у всех нас на пути.

Мы живем в такую эпоху, когда на любого из нас может свалиться та же вина, которая пала на Вас. И если не Вы выбрали себе свою злосчастную часть, то и злосчастную эту эпоху выбрали себе тоже не мы. В этом смысле мы, стало быть, как говорят американцы, *in the same boat* – в одной лодке. Вот эта-то общность и определяет наше отношение к Вам. Вы имели несчастье действительно сделать то, что завтра, может быть, вынужден будет сделать любой из нас. Вот почему Вы необычайно важны для нас. Вы просто необходимы нам. В известной мере Вы – наш учитель.

Конечно, Вы откажетесь от этого титула. «Вот уж нет, – скажете Вы, – ведь я никак не справлюсь даже с собственным состоянием».

Вы удивитесь, но именно это «никак» и имеет для нас решающее значение. Оно для нас даже утешительно.

Я не говорю: «утешительно для Вас». Менее всего склонен я утешать Вас. Ведь, утешая, обычно говорят: «Дело еще не так скверно», – то есть пытаются умалить случившееся, приуменьшить горе, изжить словами вину. Именно это и пытаются сделать, например, Ваши врачи. Почему эти люди так поступают, догадаться нетрудно. Они не имеют права морально осуждать получившую всеобщее признание и даже всячески восхваляемую военную операцию. Они не смеют и помыслить о самой возможности такого осуждения. Следовательно, они должны во что бы то ни стало отстаивать безупречность поступка, справедливо кажущегося Вам виной. Поэтому-то Ваши врачи и твердят: «*Hiroshima in itself is not enough to explain your behaviour*»¹, – что, если говорить по-просту, означает: «Не так уж и плоха была Хиросима». Поэтому они ограничиваются тем, что вместо самого поступка (или того состояния мира, при котором возможен такой поступок) критикуют Вашу реакцию на этот поступок, поэтому они вынуждены называть Ваши муки и Ваше ожидание наказания «болезнью» (*classical guilt complex*)² и поэтому они должны рассматривать Ваш поступок как *self-imagined wrong*, то есть как выдуманное Вами преступление.

¹ Хиросимы как таковой еще недостаточно, чтобы объяснить Ваше поведение (*англ.*).

² Классический комплекс виновности.

Hiroshima – self-imagined¹. Право же, Вам это лучше знать. Не без причины преследуют Вас по ночам крики раненых, не без причины вторгаются в Ваши сны тени погибших.

Для нас утешителен тот факт, что Вы «не справляетесь» со случившимся. Утешителен как доказательство того, что Вы пытаетесь расплатиться за неведомые тогда последствия Вашего поступка, ибо такая попытка, даже если она тщетна, свидетельствует о том, что Вам удалось сохранить совесть, хотя однажды Вы успешно сработали в качестве колесика механизма. Я сказал: «Даже если Ваша попытка тщетна». Она не может не быть тщетной. И вот почему.

Даже причинив зло одному-единственному человеку – об убийстве я уж не говорю, – не так-то легко, хотя последствия этого поступка вполне обозримы, «справиться» со своей совестью. Но в данном случае речь идет о чем-то другом. Ведь Вы имели несчастье оставить после себя двести тысяч убитых. Как испытать боль за 200 тысяч человеческих жизней? Как раскаяться в 200 тысячах убийств? На это не способны не только Вы и не только мы, на это никто не способен. Каких бы отчаянных попыток мы ни делали, боль и раскаяние остаются недостаточными. Раскаяться невозможно. Тщетность Ваших усилий Вы должны ощущать и переживать ежедневно; ибо, кроме этого ощущения тщетности, нет ничего, что могло бы заменить собою раскаяние, что могло бы удержать нас от повторения таких чудовищных дел. И, значит, если безуспешность Ваших усилий вызывает у Вас панику и душевный разлад, то это в порядке вещей. Можно, пожалуй, даже сказать, что это признак Вашего нравственного здоровья.

Обычный способ справляться с чем-то большим состоит в простой уловке замалчивания: человек продолжает жить точно так же, как прежде, сбрасывая случившееся со счетов, не видя в слишком большой вине вообще никакой вины. Иными словами, для того чтобы с ней справиться, с ней не пытаются справляться. Так ведет себя, например, Ваш товарищ и соотечественник Джо Стиборик, которого любят ставить Вам в пример, потому что он продолжает жить припеваючи, преспокойно заявив, что «та бомба была просто чуть больше обычной». Еще лучшей иллюстрацией этого способа может служить ваш император, который командовал Вам «go ahead»². Недавно, наивнейшим образом

¹ Хиросима – плод Вашего воображения (англ.).

² Действуй.

извращая всякое представление о нравственности, он заявил, что не испытывает ни малейших «pangs of conscience»¹, чем, наверно, и доказывал свою невиновность. А потом, подводя в день своего семидесятилетия итоги жизни, он назвал своей единственной достойной раскаяния ошибкой тот факт, что он женился только тридцати лет. Я не думаю, чтобы Вы завидовали этой «clean sheet»². Разве человек, подобным образом удирающий от себя самого, не смешон? Вы, Изерли, так не поступили. Вы не смешны. Вы делаете, даже если Вы и потерпите неудачу, все, что в человеческих силах. Вы пытаетесь продолжать жить в качестве того, кто это совершил. Это-то нас и утешает. Даже если Ваш поступок, как раз потому, что Вы отождествляете себя с ним, Вас изменил.

Вы понимаете, что я намекаю на Ваши уголовные дела и на Вашу репутацию человека деморализованного. Не думайте, что я анархист и защищаю Ваше поведение или отношусь к нему легкомысленно. Но в данном случае эти преступления носят несколько необычный характер. Это акты отчаяния. Ибо если ты так виноват, а общественность считает тебя невиновным и на основании твоей вины даже прославляет тебя как smiling hero³, то для человека порядочно подобное положение невыносимо. Чтобы покончить с этим, как раз и нужно совершить какой-нибудь непорядочный поступок. Поскольку в мире, где Вы живете, не поняли, не смогли, да и не пожелали понять той чудовищной тяжести, которая лежала и лежит на Вас, Вы должны были пытаться говорить на понятном там языке, на жаргоне of petty или big larceny⁴, действуя принятым в обществе способом. Вот Вы и попытались доказать свою вину поступками, которые как-никак считаются там преступлениями. Но даже и это Вам не удалось. Вы по-прежнему осуждены слыть больным, а не виноватым. И так как Вам в известной мере не позволяют быть виноватым, Вы по-прежнему несчастный человек.

Месяц тому назад я побывал в Хиросиме, там я говорил с теми, кто остался в живых после Вашего «визита». Можете быть уверены, среди этих людей нет никого, кто вздумал бы преследовать тот винтик в военной машине, каким были Вы, когда двадцати шести лет от роду выполняли свою «миссию», никого, кто ненавидел бы Вас.

¹ Угрызений совести.

² Незапятнанной репутации.

³ Улыбающегося героя.

⁴ Мелкого или крупного жульничества.

Но теперь Вы доказали, что, хотя Вы однажды и сработали как винтик, Вы все-таки, в отличие от других, остались или, вернее, вновь сделались человеком.

6 августа жители Хиросимы будут, как каждый год, отмечать день, когда «это» случилось. Вы могли бы обратиться к ним с посланием по случаю этого дня. Если бы Вы по-человечески им сказали: «Тогда я не знал, что делал, теперь я это знаю. И я знаю, что такое не должно повториться, что ни один человек не вправе требовать от другого, чтобы тот сделал такое», и еще: «Ваша борьба против повторения таких злодеяний — это и моя борьба, ваше «No more Hiroshima»¹ — это и мое «No more Hiroshima» или что-нибудь подобное, — можете быть уверены, что таким посланием Вы доставили бы уцелевшим жителям Хиросимы величайшую радость и что эти люди считали бы Вас своим другом, своим товарищем. И это было бы даже справедливо, поскольку и Вы, Изерли, тоже жертва Хиросимы.

Гюнтер Андерс

Что же это выходит? Выходит, ты опять не освободился? Опять интересуются Клодом Изерли? Напали на сенсацию! Нашли себе дело, занятие!

Как будто мало, что ты и без того страдаешь и мучаешься, тебе еще пытаются объяснить, отчего эти твои страдания, эти твои муки.

Тебя снова выставляют на обозрение, на торг: только на сей раз торги честные, против которых ты ничего не можешь поделать...

Боб встал и прошелся по комнате из угла в угол. Взгляд его упал на веревку, и он усмехнулся.

Он взобрался на стул, сорвал веревку с потолка, развязал петлю и сам себя устыдился. Где-то, в каком-то отдаленном уголке души он был доволен, был очень доволен, что есть на свете человек, которого занимает его судьба, что есть на свете человек, который еще не забыл его и сумел так глубоко, так правильно в нем разобраться.

Боб попросту завидовал ему, этому человеку: Андерс знал, что ему следует делать, и все знали...

А веревка? Веревка была. Боб уже испытал, что это значит. И если бы он сейчас выбросил ее куда-нибудь в угол или если бы уничтожил, все равно она бы снова напомнила о себе.

¹ Хиросима не должна повториться.

Был один только выход — найти ей применение. Применить ее на что-нибудь самое обыкновенное. Ну, скажем, воспользоваться ею как скакалкой, как это делают обычно маленькие девочки.

Боб осторожно открыл дверь и тихонько прокрался на кухню. Согрел воду в большом тазу, притащил его в комнату и снова запер дверь. Потом собрал все свое грязное белье и, как мог, выстирал.

Потом протянул веревку посреди комнаты, от стены к стене, и развесил на ней только что выстиранные вещи.

Глава шестнадцатая

Лили вошла в магазин «Готовое платье» и направилась за прилавок.

Немного погодя вошел туда и Боб.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Я хотел бы купить костюм.

— Летний или зимний?

— Зимний.

— В какую цену?

— Это неважно, лишь бы костюм был хороший.

— Ваш размер?

— Честно говоря, не знаю. Впервые покупаю готовый костюм.

— Вам нужен пятидесятый или пятьдесят второй. Пожалуйста, проходите и выбирайте сами.

Каждый день он выходил так вместе с Лили и заставлял ее выполнять различные упражнения, разыгрывать те или иные сцены из жизни первого этажа.

Боб понимал, конечно, что упражнения эти и смешные и глупые, но что поделаешь, он боялся постепенно забыть все прежние свои привычки, все то, что составляло прежнюю его жизнь. Вернее, ему казалось, что если он не станет делать и этого, то поневоле признается, что до конца жизни ему оставаться здесь.

У витрины магазина собралось уже несколько человек. Люди эти стояли молча и каждый сам по себе и с интересом наблюдали, что происходит внутри.

Боб и Лили прекратили разговор, вышли на улицу и, стараясь ни на кого не смотреть, двинулись дальше.

Тем временем появился откуда-то незнакомый Бобу врач в белом халате.

— Нельзя, нельзя! — крикнул он сердито и разогнал собравшихся.

«Все это, наверно, здешние жители», — как всегда с безразличием подумал Боб.

Они перешли к следующему упражнению: «Случайное знакомство на улице».

Боб медленно шел позади девушки и внимательно ее разглядывал. Хорошая фигура, длинные ноги, длинные руки. Бобу девушка понравилась. Он прибавил шаг, поравнялся с ней и спросил улыбаясь:

— Вам не скучно одной?

— Ничуть.

— Знаете, я очень любопытный. Когда я вижу на улице девушку, мне всегда хочется узнать, куда она идет.

— Я иду на свидание. Вы удовлетворены?

— Ваше лицо мне знакомо. Интересно, где же я мог вас видеть?

— Я тоже вас знаю.

— Правда?

— Вы не Клод Изерли?

Боб остановился, растерявшись от неожиданности. Почувствовал, что с ним поступили жестоко.

Девушка, не задерживаясь, пошла дальше.

Боб пришел в себя, сорвался с места, опять догнал ее.

— Ну и что из того, что я Изерли? — сказал он уже расстроенно. — Неужели я не имею права сказать, что вы мне понравились?

Оба они почему-то шли очень быстро, словно опаздывали куда-то.

— Простите меня...

— За что?

— Я говорил ужасные глупости. Вы, наверно, тысячу раз слышали эти слова.

— Я слушала вас охотно.

— Охотно? — погрустнел Боб. — А если бы на моем месте был кто-то другой?

И он вдруг заметил, что девушка плачет.

— Что с вами? — опять растерялся Боб. — Я вас обидел?

Девушка остановилась, искала в кармане платок, но не нашла. Боб протянул ей свой. Она не взяла и, отвернувшись, вытерла слезы рукавом. Потом, даже не посмотрев на Боба, бросилась бежать от него по улице. И тогда только Боб вынужденно позвал ее:

— Лили! Лили!

Боб, понутив голову, возвращался домой.

И, как всегда, за ним на некотором расстоянии следовал его врач в белом халате.

— Доктор! — остановился и окликнул его Боб.

Доктор тоже остановился, но не посмотрел на него.

— Доктор! — повторил Боб.

Доктор словно не слышал.

Боб сам подошел к нему.

— Почему вы меня избегаете? — спросил он. — Почему вы никогда не разговариваете со мной?

— Я не хочу, чтобы вы ощущали мое присутствие, — раздраженно и холодно отчеканил врач.

— Но вы же постоянно следите за мной, — пожал плечами Боб.

— Это мой долг.

— Долг? Но почему?

— Вы должны вылечиться. Вы должны выздороветь и вернуться на Землю. Вы обязаны выздороветь, потому что вы не принадлежите себе. Вы принадлежите тысячам и миллионам людей.

— Нет, доктор, я принадлежу себе, только себе, — улыбнулся Боб.

— Эти ваши слова лишний раз доказывают, что вы нуждаетесь в лечении.

— Доктор, вы действительно верите, что я болен?

— Что это за вопрос? — обиделся доктор. — За кого вы меня принимаете? Чего же ради в противном случае я оставил бы дом и семью и последовал за вами?

— Значит, вас не заставили? — опешил Боб. — Вы сделали это добровольно?

— Разумеется, добровольно. Я приехал, потому что высоко вас ценю и потому что мне дорога ваша судьба.

И Бобу стало ясно, до потрясения ясно, что врач не только не знает о нем правды, не только обманут, но и приехал сюда из самых высоких, из самых что ни на есть благородных побуждений. Принес себя в жертву, как говорится...

— Благодарю вас, доктор, — сказал Боб. — Простите меня. Я действительно болен. Я действительно нуждаюсь в вашей помощи.

— Отныне я усилю свой надзор за вами, — сказал врач. — Я буду определять каждую вашу минуту и каждый шаг. И вы даже не вздумайте протестовать или сопротивляться. Между прочим, у меня довольно сильные руки. Имейте это в виду.

Боб поднялся к себе, расположился поудобнее на постели и записал в дневник:

«Истинный мученик никогда и не хочет быть мучеником, он просто-напросто осужден им стать; он вынужден стать им вопреки собственной воле. Мучеников всегда делали, делают их и сегодня. Делают те, кто по слепоте и за отсутствием воображения пытается заглушить голос правды.

Эта навязанная мне роль выше моих сил, никто не спрашивал на этот счет моего мнения, и я ни у кого не просил себе этой роли.

По статистике, кажется, выходит, что более семидесяти процентов философов и религиозных деятелей, начиная с древности и кончая восемнадцатым веком, годами томилась в тюрьмах или в изгнании, а умирали во время бегства или насильственной смертью.

Цена, которую платили они в прошлом за то, что не сдавались и высказывали вслух свои убеждения, едва ли была когда-либо меньше сегодняшней.

Значит, если сегодня мы рискуем отстаивать то, во что верим, мы оказываемся в результате в весьма достойной компании таких людей, как, например, Сократ, и даже еще более великих».

Он встал, бесцельно побродил по комнате, потом вспомнил про свое ежедневное занятие. Подошел к телефону и набрал какой-то номер.

- Алло, это откуда?
- Что, что?
- Откуда, я спрашиваю?
- Почтовое отделение.
- Скажите, пожалуйста, есть ли на мое имя письмо до востребования?
- Но я не знаю вашего имени.
- Ах, верно, извините...
- Ну говорите, я слушаю.
- Вы очень заняты?
- Да, очень.
- Я вам мешаю?
- Да, уже мешаете.
- Вы знаете, я нахожусь не на первом этаже... — сказал Боб. Он посмотрел в зеркало, на погрустневшее свое лицо, соорил себе гримасу и, как обычно, добавил: — Я вам никогда больше не стану мешать... У меня нет никаких денег в банке... Я давно закрыл свои счета...

Он опустил трубку, постоял на месте, потом снова вернулся к своему дневнику.

«Можем ли мы доверять физикам? То есть отложат ли они свою работу, чтобы тем самым помешать деятельности военных и политических организаций? Согласятся ли они пожертвовать своей «первой любовью», отказаться от всякого финансирования их исследований, от всякой помощи правительства? Если бы у них хватило на это силы, мы были бы в безопасности.

С одной стороны, я видел успехи науки, а с другой – наблюдаю упадок нравственности на нашей земле.

Я хочу припомнить сейчас несколько строк из библии и на этом поставить точку.

«Блаженны кроткие; ибо они наследуют землю. Блаженны милостивые; ибо они помилованы будут. Блаженны миротворцы; ибо они будут наречены сынами божьими».

Вдруг дверь открылась, и вошла Лили. Она остановилась, запыхавшись, у порога комнаты и посмотрела на Боба ненавидящими глазами.

– Что случилось, Лили? – поднялся он ей навстречу.

– Ты подумал обо мне после того, как мы расстались?

– В каком смысле? Что ты хочешь сказать?

– Не подумал ведь? Ну конечно же не подумал!

– Лили, честное слово, я не понимаю...

– Я для тебя существую или нет? Я хоть что-нибудь для тебя значу или нет?

Боб заметил, что Лили надела новое платье и туфли на высоких каблуках. Переменила и прическу. Две короткие косички с тоненькими лентами.

– Слушай, я ведь тебе нравлюсь, правда? – совсем уже разозлившись, крикнула Лили.

Боб улыбнулся.

– Я знаю, что нравлюсь. Я сегодня утром это почувствовала. Помнишь, когда разыгрывала для тебя незнакомую девушку...

– Да, – еще шире улыбнулся Боб, – помню.

– А почему же не говоришь? Почему не признаешься?

– Лили...

– Ну что ты торчишь? – сказала она с ненавистью. – Обними меня сейчас же!

Боб подошел к ней смущенный, взял мягко за руки и притянул к себе. Он обнял ее, и она вся прижалась к нему и начала молотить его по спине кулаками.

– Я боялся, что ты скажешь «нет», – прошептал ей на ухо Боб, – это было бы ужасно...

– А если бы я не сказала?

– Это тоже было бы ужасно. Я знал бы, что у тебя нет другого выхода. Нет выбора. А у меня – соперника.

Боб поцеловал ее и еще крепче прижал к себе.

– Боб...

– Что?

– Может, мне уйти?

– Зачем?

– Я пойду... Я лучше пойду...

– Хорошо... Сейчас...

Боб снова поцеловал ее долгим поцелуем. Потом осторожно, медленно, благоговейно снял с нее платье и аккуратно повесил его на спинку стула.

Лили стояла перед ним стройная и длинноногая, притихшая и беспомощная.

Боб взял ее на руки и понес на постель.

В комнате уже стемнело, и очертания предметов стали тяжелыми и густыми.

Была тишина, бесконечное мгновение тишины.

Потом:

– Боб, зажги свечу... Боб, я хочу тебя видеть... Боб, мне не стыдно... Боб, я люблю... Боб, ты понимаешь, мне совсем не стыдно... Боб, я люблю тебя... Боб, я хочу тебя видеть... Как хорошо, правда, Боб, что я такая бесстыдная...

Они лежали на кровати при свете свечи. Лежали, чуть отодвинувшись друг от друга, с ощущением честной и чистой усталости, с полнотой самого обыкновенного и простого счастья, за которым не таилось никакого другого смысла, никакой другой глубины.

– Боб... у тебя в дневнике есть обо мне хотя бы строчка?

– Если хочешь, будет.

– Конечно, не хочу...

Молчание.

– Боб... А это... это было не упражнение? Может, ты боялся, что и это забудешь?

– Я тебя боялся. Ты была для меня последней чертой. Дальше, за тобой – ничего...

Снова молчание.

– А теперь?

– Теперь я сдался. Теперь я просто житель этой длинной и скучной асфальтированной улицы.

И внизу, возле дома, не видя этого и не слыша, улыбнулся довольной улыбкой врач.

Глава семнадцатая

Музей «Хиросима»

В следующем коридоре, внимательно прочитав очередную таблицу, указывающую, кому и насколько следует нагнуться, Лили с удивлением поймала себя на том, что и в самом деле с точностью придерживается закона. В ней даже пробудился необъяснимый какой-то страх, оттого что Гид снова шел впереди и совершенно не оглядывался на посетителей. Человек с палкой и толстячок признались Лили, что они на этот раз нагнулись больше, чем требовала таблица. Они сказали, что, когда нагибаешься ровно настолько, насколько предписывает закон, всегда есть опасность случайной ошибки, боязнь, что вдруг приподымишь голову и тем самым произвольно нарушишь нормы, а когда нагибаешься больше, чем требуется, такой опасности уже нет.

В зале, куда они вошли, перед какой-то дверью стояло и сидело множество людей. Они стояли и сидели в полном молчании. Отдельными группами. Группа — треугольник, группа — квадрат, прямоугольник, круг и так далее. И повсюду опять висели предупреждения: «Не прикасаться».

Гид объяснил, что в комнате за этой дверью есть зеркало, в котором видна разрушенная Хиросима. Каждый человек может увидеть в этом зеркале себя и узнать, жив он еще или умер, а если жив, то каково его будущее.

— Это самый достопримечательной уголок нашего музея, — сказал Гид, — и самый доходный. Многие из этих людей стоят здесь уже месяцы и годы. Никто не решается войти в эту дверь, и никто не решается уйти отсюда.

— А как они питаются? — спросил человек с палкой.

— Для их обслуживания открыт специальный буфет, потому что без еды они могут умереть, — весьма логично ответил Гид.

Лили увидела буфетчика, худого, жилистого мужчину, ловко, быстро снабжавшего обитателей зала едой.

Гид продолжал рассказывать, что родственники этих людей раз в неделю аккуратно присылают им деньги, чтобы они могли расплачиваться с буфетчиком. Следовательно, в зависимости от того, насколько богаты или бедны родственники, среди этих людей тоже образуются различные прослойки. Так что жизнь здесь не останавливается, она так же интересна, как и за стенами музея. Когда кто-нибудь из посетителей решает остаться в этом зале, дирекция посылает

письменное сообщение его родственникам. Всех оставшихся музей берет под свою защиту. Они неприкосновенны, и никто не вправе заставить их вернуться к себе домой.

— Где они спят?

— Они спят сидя, ибо если лежать запрещено даже на вокзалах, то что уж говорить о таком культурном учреждении, как музей?

— Где они бреются? — спросил на этот раз Гид и сам же себе ответил: — Бреются и стригутся они у буфетчика, который одновременно является парикмахером.

— Где они купаются? — спросил Гид. — У буфетчика в кладовой есть большое корыто. В этом корыте они по очереди и купаются. А грязную их одежду стирает и гладит жена буфетчика.

— Как они лечатся, когда болеют? — спросил Гид. — Когда они болеют, их лечит буфетчик, который одновременно является и врачом.

— Бесплатно? — выразил удивление Гид. — Конечно, за деньги. Конечно, за деньги. Конечно, за деньги.

На двери комнаты, перед которой толпились обитатели зала, висел огромный замок.

— Для чего этот замок? — спросил Гид и объяснил, что повесили его на дверь сами обитатели этого зала, боясь, как бы кто-нибудь из них не вошел в эту комнату под влиянием всего лишь минутного порыва. Ключ они повесили высоко на стене, чтобы до него было трудно дотянуться. Дотянуться до ключа, снять его не без труда со стены и открыть замок, то есть совершить довольно-таки длительное и сложное действие, мог только тот, кто решился войти в комнату с зеркалом не под влиянием минуты, а в результате долгого размышления.

— Когда я получу отпуск, — сказал Гид, — в первый же день приду в музей посетителем. В белом костюме. И буду задавать вопрос за вопросом. На руку надена часы, чтобы их у меня отобрали. Разговаривать буду или очень громко, или очень тихо, чтобы громкоговоритель сделал мне замечание.

От группы людей, расположившихся треугольником, отделился высокий немолодой человек. Буфетчик спокойно подошел к нему и ласково погладил по голове.

— Ничего, мой мальчик, — сказал он отечески. — Я пока замену тебя. — И с этими словами стал на освободившееся место в нарушенный треугольник.

Человек, отделившийся от своей группы, направился к двери и потянулся было рукой за ключом, но тут же испуганно повернул обратно.

Буфетчик все так же спокойно уступил ему место и все так же ласково погладил по голове:

— Ничего, мой мальчик...

— Спасибо, что заменили меня, — пробормотал человек.

(Гид: Но, может быть, часы у меня и не отберут? Ведь мое лицо тут всем знакомо...)

Лили легко и непринужденно подошла к двери. Никто не обратил на нее особого внимания, потому что многие здесь делали это каждый день, но под конец спохватывались и возвращались на место. Бывало даже, что некоторые снимали со стены ключ и даже подносили его к замочной скважине... Однако дальше этого дело пока что не заходило.

И вот теперь на глазах у людей, находившихся в зале, произошло нечто ошеломляющее: девушка спокойно вложила ключ в замок, повернула его, вошла в комнату и беззвучно закрыла за собой дверь.

(Гид: А я загримируюсь. Да, загримируюсь.)

Закрыв за собой дверь, Лили в оцепенении остановилась и зажмурилась от страха.

— Почему ты вошла? — раздался из-за двери голос Боба.

— Прошу тебя, выйди, — сказал Джо.

— Я вам обоим нравлюсь, правда? — спросила от страха Лили. — Боб, я тебе нравлюсь?

— Да.

— А тебе, Джо?

— Конечно.

— Вы любите меня?

— Конечно.

— Очень.

— Вы можете из-за меня поссориться, подраться, сделаться врагами?

— Конечно.

— Конечно.

Гид: Ну, предположим, загримируюсь... Но если я стану разговаривать громко, мне все равно не дожидаться замечания, потому что громкоговоритель давно уже привык к моему голосу.)

Лили тихонько и боязливо разомкнула веки, подняла взгляд и в первое мгновение ужаснулась, потому что увидела в зеркале себя. Немного погодя, уже справившись со страхом, она поняла, что перед нею самое обыкновенное зеркало. И ничего больше. Обыкновенное зеркало в пыльной комнате, куда до сих пор не ступала человеческая нога.

Она громко расхохоталась. Потом вытатила из сумочки

гребешок и, стоя перед зеркалом, не спеша привела в порядок волосы.

Потом она вышла из комнаты, и обитатели зала расступились перед ней в молчании и страхе. Лица у них были бледны, глаза выдавали внутреннее напряжение. Лили, не останавливаясь, прошла мимо них в другой, противоположный конец зала и, обернувшись, увидела, что вся толпа напряженно и пронзительно всматривается в нее.

Вдруг в тишину ворвались какие-то звуки. Толпа вздрогнула как один человек и обернулась на шум. Кто-то, оказывается, подкрался к двери, запер ее и повесил ключ на стену...

— Вы помните, — сказал буфетчик, вытирая выступивший на лбу пот, — я рассказывал вам однажды, как вошел туда? Вы помните, не так ли? Хотите, я расскажу еще раз?

Все кивнули ему.

— Я увидел, как однажды, сам того не зная, я убил людей, много людей. Людей, о которых я не имел никакого представления. В таких краях, где я не бывал ни разу в жизни. Но это правда, я знаю, что это правда. Вы меня понимаете?

Все кивнули ему.

— Я увидел также свое будущее. Увидел, как другие люди убивают меня. Среди них я рассмотрел и ваши лица. Я увидел, как однажды вам станет ясно, что я действительно побывал в этой комнате, но не нашел в ней ничего, кроме обыкновенного зеркала. Как однажды вы узнаете, что я обманул вас. Обманул, чтобы вы не уходили от этой двери и чтобы я наживался за ваш счет, продавая вам еду, брея ваши бороды, разрешая вам купаться в моем корыте. Я увидел, увидел, что я плут и обманщик, но вы — убийцы. Вы понимаете меня?

Все кивнули ему.

В следующем зале было пусто, только посередине стояла какая-то машина, по виду напоминавшая пианино. И повсюду было написано: «Не прикасаться».

Гид объяснил, что посетители могут задавать этой машине любые вопросы, и она точно ответит: «да» или «нет». До сих пор не было ни единого случая, чтобы она ошиблась.

Человек с палкой, толстяк и Лили приблизились к машине и начали по очереди задавать ей вопросы.

Человек с палкой: Я хромой или нет?

— Да.

- Толстяк: Мы живем в двадцатом веке?
— Да.
- Лили: Мы живем в двадцатом веке?
— Да.
- Человек с палкой: Моя жена мне изменяет?
— Да.
— Она красивая?
— Да.
— Очень красивая?
— Да.
— Она состарится?
— Да.
— Она заболеет?
— Да.
— Она умрет?
— Да.
— Я увижу все это?
— Нет.
— Почему?
— Она не дает объяснений, — вмешался Гид.
- Человек с палкой: Почему?
Толстяк: Я счастлив?
— Да.
- Лили: Я счастлива?
— Да.
- Человек с палкой: Я тоже счастлив?
— Да.
- Лили: Все счастливы?
— Да.
— А ты? Ты счастлива?
— Да.
— Значит, в мире так много счастья?
— Да.
— Ужасно, правда?
— Да.
- Толстяк: Земля круглая?
— Да.
— Как яблоко?
— Нет.
— Как глобус?
— Нет.
— Как круг?
— Нет.
— Как земля?
— Нет.

Человек с палкой: Я есть?

— Нет.

— А моя палка?

— Да.

— Но мы с ней неразделимы, я — это она, а она — это я.

— Она не дает объяснений, — напомнил Гид.

Лили: Ты меня видишь?

— Нет.

— А их?

— Нет.

— Ты видела улицу, этот музей, этот зал и себя?

— Нет.

— Тебе нравится Пикассо?

— Да.

Толстяк: Похудею ли я при частом употреблении минеральной воды?

— Да!

— А не повредит ли такое употребление минеральной воды моему здоровью?

— Да.

— Что же мне делать?

— Она не дает объяснений, — напомнил снова Гид.

Толстяк: Тебе известно, что сосед взял у меня деньги в долг и не возвращает?

— Да.

Человек с палкой: Я счастлив?

Машина не ответила.

Человек с палкой в недоумении посмотрел на Гида.

— Очевидно, на сей раз вы не столько задали вопрос, — объяснил Гид, — сколько хотели убедить самого себя, что вы счастливы.

Лили: Да или нет?

Ответа не последовало.

Лили: Да или нет?

И вдруг машина заговорила:

— Да, нет, да, нет, да, нет, да, нет, — сыпала она без умолку. — Мы живем в двадцатом веке... Мы живем не в двадцатом веке... Она умрет... Она не умрет... Земля круглая... Земля не круглая... Ты есть... Тебя нет... Палка есть... Палки нет... Пикассо мне нравится... Пикассо мне не нравится... Да, нет, да, нет, да, нет, да, нет.

Гид был совершенно обескуражен случившимся. Он извинился перед посетителями, куда-то убежал и немного погодя вернулся с механиком. Механик, орудуя инструментами, быстро разобрал испортившуюся машину и вытащил из нее

обыкновенного человека, к которому тут же подросли служащие с носилками.

И усталый этот человек, вытянувшись на носилках, еле слышно спросил у склонившегося над ним механика:

— Этот музей большой?

— Да, — сказал механик. — Очень большой.

На двери в следующий коридор висела маленькая табличка, предупреждавшая, что идти по этому коридору можно не нагибаясь.

Однако Лили снова нагнулась.

Спутники посмотрели на нее с удивлением, а она, не выпрямляясь, с негодованием в голосе проговорила:

— Почему вы унижаетесь? Нагнитесь сейчас же. Нагнитесь...

И спутники ее, чтобы не унижаться, тоже нагнулись.

Человек с палкой обратился к остальным посетителям со словами:

— Могу я попросить вас об одной услуге?

— Конечно.

— Вот мой адрес. Передайте, пожалуйста, моей жене, что много денег мне не понадобится. В день три булки и чашка кофе — этого будет достаточно. И навещать меня тоже пусть не приходит, и детей пусть не присылает. Видите ли, мы живем далеко, от нашего дома идти сюда целый час. Зря будут уставать, не нужно. Все равно, у меня есть их фотографии. Вот посмотрите... Это моя жена, а вот это — младшая дочь...

— Он идет в буфет. Он хочет стать обитателем музея, — пояснил Гид.

— Это понятно и без объяснений, — раздраженно сказала Лили.

— Вам, может быть, и понятно. А другим? А ему самому, человеку с палкой? Моя обязанность — всем и все объяснять.

Вдруг Лили, а вместе с нею и Боб и Джо заметили, что неподалеку стоит буфетчик и пальцем подзывает их всех к себе.

Они подошли.

Буфетчик вынул из кармана и протянул им кипу бумажных денег.

— Что это такое?

— Больше, к сожалению, дать не могу.

— Но что это такое? Зачем вы это даете нам?

— Я вам обязан. Не будь вас, я до сих пор прозябал бы в бедности.

Они посмотрели на буфетчика с удивлением и испугом.

— Ведь мы же никому не причиняем вреда, — пробормотал он, как бы оправдываясь. — В сущности, все наши доходы — от развалин и пепла.

— Но вы еще более обесмысливаете гибель города!

— Что поделаться, — ответил буфетчик, — живые люди важнее, чем мертвые...

— Ну пошли, пошли, — нетерпеливо прервал его человек с палкой, — мы теряем время.

Буфетчик отечески взял его за руку и увел с собой.

Глава восемнадцатая

Зазвонил телефон.

Боб взял трубку и услышал голос своего врача.

— Прошу немедленно явиться в дом номер двенадцать по улице Шести Деревьев. — Он помолчал, потом добавил торопливым шепотом: — Советую не соглашаться.

— С чем?

Но в трубке уже раздались гудки.

Боб поспешно оделся, вышел на улицу и бегом бросился к дому номер двенадцать. Там его уже дожидался врач.

— Доктор, я не понял, с чем не соглашаться?

— Я вам ничего такого не говорил, — нахмурился врач.

— То есть как? Разве это не вы мне сейчас звонили?

— Да, я.

— Разве вы не сказали...

— Вы ошиблись, молодой человек, я просто велел вам явиться сюда. И ничего другого не говорил.

— Извините, мне, наверное, показалось, — сдался Боб.

— Ступайте на второй этаж. Вас ждут.

Боб, теряясь в догадках, медленно поднялся на второй этаж и увидел перед собой человека в белом халате. Человек этот, приветливо улыбаясь, пошел ему навстречу, обнял за плечо и, не говоря ни слова, ввел в свой кабинет.

— Главный врач, — представился он.

— Клод Изерли, — стал навьютяжку Боб.

— Чувствуйте себя свободно, — сказал главный врач.

— Слушаюсь.

— Как поживаете, Боб?

— Спасибо, хорошо.

— Как поживают ваши родители?

— Спасибо, хорошо.

— А ваша жена, дети?
— Спасибо, хорошо.
— Ну, значит, все в порядке. На аппетит не жалуетесь?
— Не очень.
— Вот это уже совсем хорошо. А сон? Сон, знаете, тоже очень важен для здоровья.

— Знаю.
— Вы несчастный человек. — Лицо у главного врача сделалось грустным. — Я вхожу в ваше положение и в каком-то смысле даже завидую вам. Откровенно говоря, я бы на вашем месте не выдержал.

Боб снова вытянулся, словно по команде «смирно».

— Станьте вольно, Боб, вольно.
— Так мне удобнее, господин главный врач.
— Как хотите, Боб, принуждать вас не буду.
— Спасибо.
— Вам не нужно мне рассказывать, что Хиросима как призрак преследует вас днем и ночью. Вы и она слились друг с другом. Вы и она — одно целое. Верно я говорю?

— Верно, господин главный врач.
— Нда, тяжело вам. В шахматы играете?
— Нет.
— Жаль. А я как раз ищу на этой планете человека, с которым можно было бы поиграть в шахматы. Вы следите за матчем Петросян — Спасский?

— Нет, мне некогда.
— А чем вы заняты?
— Думаю, господин главный врач.
— Ваш доктор очень вас притесняет, правда? Ходит за вами как тень.

— Да.
— И вы его побаиваетесь?
— Да.
— Знаю, знаю. Это делает вашу жизнь еще невыносимее.
— Вы угадали, господин главный врач.
— Вам, конечно, очень хочется вернуться на землю. Жить, как живут обыкновенные люди. Чтобы никто вас не знал, никто вами не восхищался.

— Да, да...
— Вот видите, я вас понимаю. Я даже могу сказать, кто главное действующее лицо ваших снов. Не вы, а девушка, с которой вы встречаетесь.

— Отчего это, господин главный врач?
— Очень просто. От страха. — Он помолчал мгновение. — Музей «Хиросима»... Ведь так это у вас называется? Ну ко-

нечно, сегодня уже никого не удивишь пирамидами или, скажем, Эйфелевой башней. Вы курите?

– Да. Но... я забыл свои сигареты дома.

– Утешайтесь хотя бы тем, что вы сосланы. Ведь вас тоже могли бы поместить в музей и продемонстрировать всем угрызения вашей совести. Признайтесь, что это было бы куда тяжелее.

– Но это же сон.

– Нет, это правда.

– Точно так, господин главный врач.

– Любите виски?

– Да, очень.

– Значит, вы считаете главной своей виной то, что вы не подумали, не так ли? Не то, что вы сбросили эту бомбу, а то, что вы сбросили ее не подумав. Интересно, очень интересно... А скажите, пожалуйста, если бы вы подумали, то, наверно, не стали бы сбрасывать бомбу, а?

– Ну конечно, конечно.

– Жалко, очень жалко, что вы не подумали. Всегда надо думать, мистер Изерли. Вы знаете, сколько мы совершим ошибок, если перестанем думать?

– Но теперь я думаю, и очень много.

– Знаю, дорогой, знаю. Однако, к несчастью, теперь это уже несколько поздно и несколько бесполезно. Вы, если не ошибаюсь, ведете дневник? И только ему доверяете свои мысли?

– Да.

– Не этот ли?

И главный врач достал из ящика и протянул Бобу его дневник.

– Каким образом он у вас? – опешил Боб.

– Не пугайтесь, это копия. Последнюю страницу я еще не читал. Разрешите, я почитаю ее вслух.

«Мне всегда казалось, что истинным виновником юридического убийства Христа был первосвященник Каиафа, представитель благочестивых, порядочных, как принято говорить, добрых людей всех времен, в том числе и нашего времени. Хотя этих людей нельзя упрекнуть в том смысле, в каком упрекают Иуду, они все-таки тоже виноваты, виноваты в более тонком и более глубоком смысле. Вот почему так трудно убедить общество признать мою виновность, давно мною признанную».

– Хорошо написано, Боб. Вы просто талантливый человек.

И восхищенно продолжил: «Правда заключается в том,

что общество попросту не может признать мою виновность, одновременно не признав за собой куда более тяжелой вины».

— Вот именно, Боб. Это и есть единственная правда. А все остальное — комплекс виновности или как там это еще называется — все чушь, ерунда. Виски предпочитаете с содовой или?..

— С содовой, конечно, с содовой.

— Прошу вас, возьмите карандаш и бумагу. Я продиктую вам продолжение, и вы убедитесь, насколько хорошо я вас понимаю.

Он вручил Бобу карандаш и бумагу и начал диктовать:

— Теперь я вижу, запятая, что мне вряд ли удалось бы вынудить общество к такому признанию, запятая, вступая в открытые столкновения с законом, запятая, как это делал я, запятая, решив разрушить этот, в кавычках, героический образ, запятая, который общество создало из меня, запятая, чтобы и впредь ничем не омрачать своего благополучия, точка.

— Но это же мои собственные мысли! — воскликнул Боб.

— Более того, — сказал главный врач. — Вы смотрели на меня и думали: этот человек знает так много, что его уже ничем невозможно ни удивить, ни заинтересовать. Знаю, дорогой, что вы считаете меня циником.

— Верно! — воскликнул Боб. — Совершенно верно!

— Вы действительно хотели бы вернуться на Землю?

— Да, очень.

— Хотели бы забыть ваше тяжелое прошлое?

— Да, очень.

— Хотели бы, чтобы ваша совесть больше не мучила вас и чтобы вы жили как все люди?

— Да, да.

— Я могу помочь вам.

— Как? — усмехнулся Боб.

— Я, между прочим, ничуть не обижаюсь вашим недоверием. В самом деле, нелегко сразу поверить, что вы можете освободиться от стольких мук и стать счастливым человеком. Первое условие моего лечения таково: вы должны переменить фамилию и имя.

— Дальше? — с нетерпением спросил Боб.

— Может быть, вы любите и ликер? У меня тут есть всевозможные напитки.

— Люблю, господин главный врач. Очень люблю.

— Я поставил на Земле перед тысячами людей такой опыт: я телеуправлял огромным быком, с которым приходи-

лось иметь дело почти всем прославленным матадорами мира. По моему желанию бык становился то яростным и стремительным, то неповоротливым и трусливым. Вы представляете, какое это было зрелище?

— Это было, наверно, великолепное зрелище, господин главный врач.

— Мне запретили продолжать опыты: испугались последствий. Испугались, что это даст возможность кучке людей за несколько часов превратить человечество в три миллиарда пассивных индивидов. Понимаете, это тоже, в своем роде, было нечто подобное атомной бомбе. Что и говорить, я готов, конечно, отказаться от своего открытия во имя общего блага. Но поскольку я очень ценю и люблю вас, то ради вашего же спасения я хотел бы поставить на вас свой последний опыт.

Боб не знал, что и делать от радости и благодарности. Забыв про все на свете, он как подкошенный рухнул в кресло и почувствовал себя на вершине счастья.

— Смирно! — крикнул резко и неожиданно главный врач.

Боб вскочил и снова вытянулся в струнку.

— Ведите себя, как подобает мужчине, — последовал любезный совет.

— Слушаюсь, господин главный врач.

— Нам нужно заключить взаимный договор. Я подписываюсь под тем, что этот мой опыт будет последним, а вы обязуетесь отказаться от своего прошлого и от своих угрызений совести.

Боб дрожащими пальцами взял ручку и уже искал с нетерпением, где ему подписаться... И вдруг в нем проснулся один из простейших, один из самых элементарных земных человеческих инстинктов, инстинкт, который заставил его сказать:

— Я хочу подумать. Дайте мне срок до вечера.

— Поздравляю! — воскликнул главный врач. — Поздравляю, Боб. Наконец-то вы поняли, что необходимо думать, что нельзя повторять прежнюю вашу ошибку.

— Точно так, господин главный врач.

— Вы свободны, Боб, можете идти. Кругом... шагом марш... расправьте плечи... тверже шаг... выше голову, выше!..

Спускаясь по лестнице, Боб снова услышал голос врача:

— Боб, ради бога, не подумайте, будто я на вас обиделся или оскорбился. Ваше поведение было так естественно. И так человечно...

Боб вышел на улицу и увидел своего доктора и Лили. Лили бросилась ему навстречу, испуганно спросила:

— Ты подписал?

— Нет, — ответил Боб, — хочу подумать до вечера.

У Лили словно гора с плеч свалилась. Она с облегчением вздохнула и прижалась головой к его груди. А доктор удовлетворенно улыбнулся.

— Почему вы улыбаетесь, доктор? Вы тоже против?

— Да, — сказал доктор, явно обрадованный и потому, наверно, забывший про свою недавнюю осторожность. — Лечить вас буду я, только я. И не этим способом. После лечения вы должны помнить все и должны знать свое прошлое. Вы должны остаться тем же человеком, а не превратиться в другого.

Он повернулся и пошел прочь. Но вдруг, словно припомнив что-то, замедлил шаги, остановился и стал терпеливо ждать.

Он должен был следить за своим пациентом.

Глава девятнадцатая

Помещение кинотеатра было полно людей. В нем собрались все жители улицы Шести Деревьев. Они сидели на полу скрестив ноги, поскольку стульев в зале не имелось.

У стены, на которой полагалось бы быть экрану, стоял стол и за ним поместились трое судей — Лили, доктор и главный врач.

Сбоку от стола, на месте для подсудимого, стоял и удивленно осматривался Боб.

— Суд над Клодом Робертом Изерли объявляю открытым, — поднявшись из-за стола, сказала Лили. — Обвиняемый Клод Изерли в прошлом был осужден дважды. В первый раз — на судебном процессе Отцов атомной и водородной бомб и во второй раз — непосредственно до высылки его на планету Тюнитос. Сегодня улица Шести Деревьев и лично я предъявляем обвинение Клоду Изерли, которого можно называть и попросту Бобом.

— Я не хочу, чтобы меня судили! — крикнул Боб. — Я не предполагал, что меня вызывают на суд!

— А интересно, что же вы предполагали? — спросила Лили.

— Я не успел окончить университет, — сказал Боб, — как меня призвали в армию, и через месяц началась война.

— Мистер Изерли, какое это имеет отношение к моему вопросу?

- Я думал, что сегодня вы будете вручать мне диплом.
- Нет, сегодня состоится суд над вами.
- А почему мне не прислали повестку? – запротестовал Боб. – Почему вы скрыли это от меня?
- Протест обвиняемого, на мой взгляд, справедлив, – сказала Лили. – Мы обязаны были послать ему повестку. Мы допустили промах, за что и готовы принести извинения.
- Я не признаю ваш суд, – сказал Боб. – Я отказываюсь быть судимым.
- Извините, но вам, кажется, даже неизвестно, в чем вы обвиняетесь?
- Но ведь вы отлично знаете, каким легким делом стало судить меня.
- Возражения обвиняемого неосновательны, – сказала Лили. – Суд объявляю открытым.
- Встал главный врач и задал Бобу вопрос:
- Вы меня узнаете?
- Конечно. Совсем недавно я разговаривал с вами.
- Кто я такой?
- Главный врач.
- Главный врач чего? Чей?
- Наверно, мой.
- Все засмеялись.
- Чего вы смеетесь? – разозлился Боб. – Что я сказал смешного?
- Значит, меня вам недостаточно? – вставил с язвительной усмешкой доктор. – Значит, вам нужно еще и главного?
- Простите... я не хотел вас обидеть.
- Мистер Изерли, да будет вам известно, что я являюсь главным врачом этого санатория.
- Санатория? – не понял Боб. – Какого еще санатория?
- Наконец обвиняемый задал вопрос. Давайте же поаплодируем ему за это.
- Все зааплодировали, а Боб растерянно поклонился.
- Кто мы? – хором спросили люди, которые сидели на полу скрестив ноги. – Ты знаешь нас?
- Вы жители этой планеты.
- Нет, они пациенты этого санатория.
- Какие пациенты? – еще более удивился Боб.
- Сейчас я предоставлю слово кому-нибудь из них, – сказала Лили. – Вы можете слушать внимательно?
- Отчего же нет?
- Почему мне знать? Ведь речь будет идти не о вашей жизни, а о жизни других людей.
- Нет, нет, я буду слушать очень внимательно.

— Вот вы, — показала пальцем Лили, — встаньте и расскажите, кто вы такие.

Встал один из жителей и сказал:

— Каждый из нас совершил на Земле какое-либо преступление и был так беспощаден по отношению к себе, что осудил за это преступление только себя самого. Не общество, а только себя самого. В этом и заключается наша болезнь.

— А почему вы оказались здесь? — спросил Боб.

— Пускай продолжит следующий, — сказала Лили.

Теперь встал с места другой.

— Общество изгоняет нас из своих рядов и посылает на лечение, потому что люди, подобные нам, не в состоянии жить в этом обществе. Мы погружены в самих себя и заняты исключительно самоанализом. Мы, кроме себя, ничего другого не замечаем.

— Но какое отношение имеет это ко мне? — развел руками Боб.

— Как это ни странно, — продолжал третий, — обществу невыгодно, когда его не обвиняют. Ибо люди, принявшие его вину на себя, становятся своего рода мерилем нравственности. Они кажутся справедливее, честнее и благороднее, чем само общество. Люди, подобные нам, опасны, они служат примером для других. Общество не терпит, чтобы отдельная личность выглядела лучше, чем оно само.

— Но я за свое преступление обвинял именно общество, — обрадовался Боб. — Я не имею с вами ничего общего.

— Общество хочет вылечить нас, — продолжал следующий, — чтобы потом мы восстали против него же. В противном случае оно перестанет развиваться, перестанет идти вперед. Вы представляете, что было бы, если бы каждый обвинял только себя! Прогресс стал бы невозможным.

— Вы индивидуалисты! — возмутился Боб. — Вас надо уничтожить!

— Здесь у нас нет общества, — сказал следующий. — Мы живем оторванно друг от друга и копаемся в темных уголках своей души. Нам ничего не нужно от жизни, ни радости, ни печали, ни любви, ни ненависти.

— Я осуждаю вас! — крикнул Боб. — Вы враги прогресса!

— Мы едим в меру, ровно столько, сколько нужно, чтобы существовать. Мы спим в меру, ровно столько, сколько нужно, чтобы сохранить здоровье. Мы разговариваем умеренно, используя при этом ровно столько слов, сколько необходимо для элементарной информации.

— Хочу есть! — подхватили хором сидящие в зале. — Хочу спать! Хочу пить!

– Вы слышали? Мы живем исключительно жизнью духа.
– Вы не имеете права возвращаться на Землю! – крикнул Боб.

– До сих пор ни один среди нас не вылез, – продолжал следующий, – ни один из нас не вернулся на Землю. Мы живем здесь давно. Мы не имеем ни малейшего представления о второй мировой войне. Мы не знаем, что такое атомная бомба, водородная бомба, что такое Хиросима. Мы и про вас ничего не слышали.

– Я предлагаю сменить обвиняемого! – крикнул Боб. – Пускай они займут мое место!

– Было несколько случаев, когда люди попали сюда по ошибке. Общество поставило им ошибочный диагноз, а потом выяснилось, что у них всего лишь аппендицит. Некоторые из них вернулись на Землю, а некоторые умерли, потому что операция опоздала. Вы, наверно, видели несколько могил там, где кончается улица?

– Да, видел.

– Это их могилы. Что касается нас, то мы, надо сказать, живем долго, очень долго. Этому способствует климат планеты, ее здоровый воздух и вода, а также, разумеется, наш образ жизни. Как видите, в этом вопросе мы превзошли Землю.

– Вы не имеете права говорить о Земле! – крикнул Боб.

– Среди нас до сих пор умер всего только один человек, и он похоронен в отдельном склепе, – при этом у говорящего дрогнул голос, а на глазах даже выступили слезы. – Мы гордимся покойным и считаем его величайшим нашим мыслителем.

– Вы кончили?

– Да.

– Я недовольна вами, – сказала Лили.

– Почему?

– Потому что воспоминание о покойнике расстроило вас до слез.

– Изменник! – закричали сидящие на полу.

– Я обещаю, что больше не буду... Простите меня...

– Ладно, на этот раз прощаю. А вам, Боб, ставлю единицу.

– Единицу? За что?

– За поведение. Много кричите.

Объявили перерыв. Однако никто не двинулся с места. Когда пятиминутный перерыв истек, суд перешел к обмену мнениями.

Встал главный врач.

— Я осуждаю вас за то, что, живя столько времени на нашей планете, вы до сих пор не знаете, кто я такой.

— Мы осуждаем тебя за то, — сказали в один голос сидящие на полу обитатели планеты, — что ты до сих пор ни разу не поинтересовался, кто мы такие.

— Но я занят, я думаю.

— Вы хотите думать, — сказала Лили, — но хотеть думать — это еще не значит думать.

— Нет, я думаю, я даже веду дневник.

— Вы правильно начали свою борьбу; — сказала Лили, — но сейчас вы страдаете той же болезнью, что и все остальные жители планеты.

— Ура! Мы равны! — возликовали жители планеты Тюнитос. — Нас становится больше.

Они повскакали с мест, толкая друг друга, подбежали к Бобу, подняли его на руки и подкинули в воздух. Потом оставили его в покое и снова уселись, скрестив ноги.

— Но я не могу иначе, — сказал Боб. — Я совершил ужасное преступление.

— Это вас не оправдывает, — сказала Лили. — Это, напротив, еще более обязывает вас. А между тем вы не можете забыть себя. Вы заняты только самим собой. Вы так долго занимались самим собой, что уже не замечаете своего окружения.

— Но тебя же я заметил, — сказал Боб с нежностью в голосе. — Я люблю тебя, Лили, вспомни, я прошу тебя, вспомни, какие у нас были счастливые минуты, и не суди меня строго. Помогни мне, прошу тебя, освободи меня. Ведь и ты меня любишь. Скажи это, скажи, пускай все они слышат... Неужели ты не любишь?

— Неправда! Это я заставила, чтобы ты меня заметил, — сказала Лили с нескрываемым гневом. — Я для тебя просто не существовала. Когда у тебя бывало тяжелое настроение и хотелось с кем-нибудь поговорить, ты обо мне даже не вспоминал. Ты звонил каким-то незнакомым женщинам. Я тебе нужна была только для упражнений. Помнишь эти упражнения, когда мне приходилось быть кем угодно, но только не собой?

— Единица за поведение, — сказал Боб. — Если ты сейчас же не переменишь тон, впечатление будет такое, что ты попросту хочешь мне отомстить.

— Извините, — сказала Лили, — я принимаю замечание. Но прошу ответить на мои слова.

— Я боялся, что твоя любовь заставит меня примириться с новой жизнью.

— Не приходи я к вам в тот день, вы когда-нибудь пришли бы ко мне сами, обязательно пришли бы. Потому что вы знали, что другого выхода нет, что вы должны примириться. И я предпочла прийти первая, чтобы по крайней мере избежать этого оскорбления. Признайтесь, что вы не в состоянии забыть себя.

— Я хочу, я, честное слово, хочу забыть себя, — убеждал Боб. — Спроси у главного врача. Я согласен подписаться под договором.

— Вы именно потому и согласны, что не можете отвлечься от собственной персоны, — сказал главный врач. — Вы знаете, что так для вас будет лучше. Не правильное, а лучше.

— На моих плечах такое тяжелое бремя, как Хиросима, — с гордостью произнес Боб. Потом добавил пренебрежительно: — А на ваших что?

— Думая о Хиросиме, даже в кошмарных снах, вы опять-таки думаете о себе.

— Да ну! — усмехнулся Боб.

— Для вас это была не трагедия вообще, а только ваша трагедия. Вы сделали Хиросиму своей собственностью. И она фактически перестала существовать.

— Ты не в состоянии что-либо дать миру! — крикнули сидящие на полу люди. — Ты бесплоден!

— Ты так долго занимался самим собой, что мир перестал существовать для тебя, — заявили в один голос трое судей.

— Она моя любовница! — крикнул Боб. — Она не имеет права судить меня! Я с ней спал.

— Вы ошибаетесь, — сказал главный врач. — Из всех присутствующих только она имеет на то полное право. И вообще мужчину может судить только женщина. Только женщина по-настоящему знает мужчину.

— Вас много, — в отчаянии сказал Боб, — а я один.

— Меня зовут Джон, — сказал главный врач. — Я человек заслуженный и всеми уважаемый. Я председатель нескольких научных обществ, награжден орденами и медалями. Из разных стран меня приглашают читать лекции, я имею множество научных трудов. Но что я за человек, знает только моя жена. И когда где-нибудь заходит обо мне речь, она равнодушно отмахивается: «А, Джонни...» Вы понимаете, в одном этом слове заключено все! Она может уничтожить меня одним этим словом!

— Предлагаю сформулировать обвинение так, — снова встала с места Лили. — Клод Роберт Изерли — эгоист. Все ли согласны с этой формулировкой?

Зал ответил аплодисментами и криками одобрения.

— Нет, нет! — решительно запротестовал Боб. — Я не та-
кой. Это все клевета.

— А я? — раздался вдруг укоризненный голос докто-
ра. — А я?

— Кто вы? — съезжился Боб. — Чего вам надо от меня?

— Ты подумал обо мне? Ты же отлично знаешь, что
я пошел на жертву, оставил дом, семью и добровольно по-
следовал за тобой. И знаешь также почему. Потому что я вы-
соко ценю тебя, считаю, что ты незаменим для нашей нации.
Ты подумал хоть раз, каково мне будет, если однажды
я вдруг узнаю, что был обманут?

От сидящих в зале отделился еще какой-то человек, по-
дошел к Бобу и сказал:

— Я Гюнтер Андерс, тот самый философ, который писал
вам письма.

— Здравствуйте, мистер Андерс. Как поживаете?

— Я знаю, что нужно делать. Я знаю правду. Я защищаю
на Земле твое дело. Я благодарен тебе.

— Я тоже знаю, что нужно делать, — сказал доктор, — хо-
тя и не знаю правды. Ты помог мне найти мой идеал. Я бла-
годарен тебе.

— А ты не знаешь, Боб, что нужно делать! — крикнули
сидящие на полу люди. — Ты бесплоден!

— Как жить? — растерянно пробормотал Боб. — Посовету-
йте мне, как жить.

— Решай ты, — единодушно ответил ему зал.

— Он не знает, как жить, — сказала Лили. — Наконец-то
он признался. Мы можем осудить его со спокойной со-
вестью.

— Лили, ты сегодня еще более отягчила мою вину. Ты
помешала мне. Ты нарочно устроила этот суд. Теперь я не
могу подписаться под договором.

— Ты трус, Боб. Ты не имеешь права забывать свое про-
шрое. Ты не имеешь права бежать от себя.

— Я признаю свою вину, — повесил голову Боб. — Я
сдаюсь.

— Скажите ваше последнее желание.

— Я прошу только об одном: изменить мою оценку за по-
ведение, иначе... иначе мне не разрешат учиться в универси-
тете.

Суд состоялся не в помещении кинотеатра и не перед
множеством людей, а в маленькой комнате.

Присутствовали только двое: Боб и Лили.

Был уже поздний вечер.

Они подошли к дому номер двенадцать и вместе поднялись на второй этаж.

— Я подожду тебя здесь, — сказала Лили.

— Нет, иди за мной.

— Боишься?

— Наверно.

— Войди и скажи всего несколько слов: я отказываюсь от вашего предложения.

— Хорошо, — улыбнулся Боб, — войдем, и я скажу всего несколько слов.

Он постучался в дверь.

Главный врач открыл ее, и при виде Лили улыбка сбегала с его лица.

Боб взял Лили за руку и вошел.

— Я слушаю вас, — холодно сказал главный врач. — Чем могу быть полезен?

— Мы решили пожениться.

— Что, что? — невольно вырвалось у Лили.

Боб подмигнул ей и приложил палец к губам.

Лили молчала, ошеломленная неожиданностью.

— Мы-ре-ши-ли-по-же-нить-ся, — повторил Боб.

— Ну что же, отлично. Я оформлю ваш брак, — сухо произнес главный врач.

Лили застыла на месте, от смущения не зная, что ей теперь делать, как себя вести. А Боб смотрел на нее и улыбался. Он был доволен, что сдержал обещание — вошел и сказал всего несколько слов.

Главный врач, с помрачневшим и злым лицом, написал на бланке их имена и фамилии, поставил число и стукнул печатью. Потом поднялся из-за стола и с приличествующей случаю торжественностью спросил:

— Мистер Изерли, вы хорошо подумали, вы согласны жениться?

— Да.

— Подпишитесь.

Боб подписался против своего имени.

— Мисс Лили Юджин, вы хорошо подумали, вы согласны выйти замуж?

— Да, — прошептала Лили, — да...

— Подпишитесь.

Лили подписалась против своего имени.

— Поздравляю вас. С сегодняшнего дня вы считаетесь перед лицом закона супругами.

Главный врач пожал им обоим руки, проводил к выходу и захлопнул обитую кожей дверь.

— Боб, я твоя жена? — удивленным шепотом спросила Лили, остановившись у лестницы.

Боб привлек ее к себе и прошептал ей на ухо:

— Лили, мы будем с тобой обыкновенной обывательской семьей.

— Будем, Боб, правда?

— Конечно, будем.

— И мы будем любить друг друга, правда?

— Конечно, будем.

— Счастливые обыватели, правда, Боб?

— Да, счастливые обыватели...

— А потом, потом?

— А потом у нас появится много детей, и мы будем их воспитывать. Мы научим их, что, когда взрослые говорят, детям нельзя вмешиваться в разговор. Если я кого-нибудь из них накажу, ты его не защищай... не балуй... Потому что это испортит их. Ты молчи, даже если увидишь, что я неправ... — На лице у Боба сияла улыбка, он говорил прерывисто, словно задыхаясь от радостного волнения. — По утрам всем семейством будем пить чай, и наши воспитанные дети не будут разговаривать и шалить за столом. И это будет наша с тобой месть... Наша месть за все... Понимаешь, за все...

— Понимаю, Боб.

Глава двадцатая

Письмо философа Гюнтера Андерса бонапартам и наполеонам всех стран и времен (фрагменты из документа)

Фрагмент первый

Клода Изерли можно считать «ненормальным» лишь при условии, что «нормальное поведение» определяется как общераспространенное поведение, а не как поведение, соответствующее норме. При этом условии нам придется, конечно, признать ту неумолимость и неусыпность совести, какую мы наблюдаем у Изерли, чем-то ненормальным. Но в таком случае нам пришлось бы поместить Августина или Кьеркегора в психиатрический отдел нашей библиотеки, а не в этико-богословский или этико-философский.

Мне могут возразить, что Изерли доказал свою ненормальность в медицинском отношении рядом весьма странных

поступков. Конечно, самый факт этих действий неоспорим, но, если их истолковать, они приобретают другой смысл, то есть приобретают с м ы с л.

Любой мало-мальски разумный медик знает: нормальное поведение в ненормальной ситуации ненормально. Ненормально вести себя после невероятного потрясения так, словно ничего не случилось. Еще более ненормальным в медицинском отношении следовало бы признать тот случай, когда человек ведет себя по-прежнему «нормально», хотя причина потрясения превосходит все меры человеческого воображения, понимания и раскаяния. Изерли оставил после себя сотни тысяч сожженных людей и превратил в пепел город, только что кишевший жителями. Если он реагировал на это «ненормально» — значит, он реагировал соответственно обстоятельствам.

Далее. Неверно оценивать такие «преступные действия», как странные поступки Изерли, изолированно, не усматривая в них определенных реакций. Это все равно, что при виде насмерть избиваемого человека ограничиться констатацией необычной громкости его криков как признака его ненормальности и ни словом не обмолвиться о ненормальности обстоятельств, в которых он находится. К сожалению, судьи Изерли поступили именно так. Они говорили о «комплексе виновности», пытались внушить всякому, что речь идет о неоправданном, бессмысленном, не иначе как патологическом чувстве вины. Позорно вульгаризируя термин психоанализа, они осмеливались говорить даже об «эдиповом комплексе» — как будто за поведением Изерли скрывается желание инцеста, а не незабываемое зрелище сотен тысяч мертвецов.

Фрагмент второй

Изерли попытался сделать свою вину понятной всем. А между тем его чествовали как национального героя, и ни один журнал не обходился без патриотического «must» (дежурного блюда) — прилизанного портрета красивого «boy» из Техаса. Из невыносимого несоответствия между виной и парадной шумихой вытекали и так называемые преступные действия Изерли, явившиеся результатом тщетности его усилий. Если обычно людей признают виновными на основании каких-то поступков, то Изерли, наоборот, совершал определенные поступки, чтобы доказать свою виновность.

Фрагмент третий

«Право на наказание» — это выражение принадлежит Гегелю. И если есть признак, характерный для преступника, то

это как раз отстаивание такого права. А Изерли именно его и отстаивал. Своими мнимопреступными действиями он пытался добиться того наказания, в котором ему отказывали.

И это, конечно, не случайно, что ему было отказано в наказании. Не случайно, что всякое раскаяние с его стороны квалифицировалось общественным мнением как неправомерное. Ведь раскаяние, признанное правомерным, есть в то же время доказательство совершенного преступления. Другими словами, раскаяние Изерли было бы обличением «хиросимской миссии» и истинных ее виновников. Изерли сделал правильный вывод: «The truth that society simply can not accept the fact of my guilt without at the same time recognizing its own far deeper guilt»¹.

Прочитав эту фразу, можно только воскликнуть: «Счастлива та эпоха, в которую так говорят безумцы, несчастна та эпоха, в которую так говорят только безумцы!»

Фрагмент четвертый

Мне могут задать вопрос: «Но почему именно Изерли? Почему именно он должен раскаиваться? Ведь он-то лишь выполнил приказ и был простым рычагом».

Между прочим, этими словами: «Я ведь только выполнял приказ» — пытались оправдаться все сотрудники аппарата уничтожения, и слишком зловеще напоминают эти слова широко известное заявление Эйхмана: «По сути, я был только винтиком машины, выполнявшей указания и приказы империи». Но если мы станем ссылаться на свою роль безответных винтиков и согласимся, что фраза «мы делали то же, что и другие» справедлива при всех обстоятельствах, мы тем самым отменим свободу нравственного решения и свободу совести, превратив слово «свободный» в выражении «свободный мир» в пустое и лицемернейшее заклинание.

Опасаясь даже, что мы это уже сделали.

Изерли пересматривает самую постановку вопроса. Он заявляет: даже то, что сделано мною вместе с другими, сделано мной; я отвечаю не только за свои индивидуальные действия, но и за действия, в которых я участвую; вопрос нашей совести гласит не только «что нам делать?», но также: «В чем и в какой мере мы вправе или не вправе участвовать?» Мало того, за соучастие он чувствует себя еще более ответственным, чем за свои частные действия, последствия

¹ Правда заключается в том, что общество попросту не может признать моей виновности, одновременно не признав за собой куда более тяжкой вины (англ.).

которых по сравнению с катастрофическими последствиями нашего соучастия прямо-таки ничтожны.

Быть безупречным в частной жизни — дело нехитрое, здесь обычаи с успехом заменяют совесть.

Настоящая самостоятельность и настоящее гражданское мужество требуют определенного отношения к тихому террору, принуждающему нас к соучастию в преступлении.

Фрагмент пятый

У себя на родине Изерли стал обузой, а там, где ненависть к нему была бы понятна, даже в самой Хиросиме и в Нагасаки, о нем думают с уважением, больше того — с любовью.

Вот что написали ему тридцать хиросимских девушек, больных лучевой болезнью: «Мы обращаемся к Вам с этим письмом, чтобы выразить Вам свое глубокое сочувствие и заверить Вас, что не испытываем к Вам лично никакой неприязни. Вы такая же жертва, как мы». Наверно, каждый «born equal»¹ на мгновение умолкнет при этих словах, ибо они принадлежат к немногим, которые дают нам право гордиться тем, что мы люди.

Фрагмент шестой

Нахожу нелишним напомнить слова, которые вы произнесли в день своего семидесятилетия. Когда вас спросили, сожалеете ли вы о чем-либо, случившемся в вашей жизни, вы ответили так: «Да, я раскаиваюсь, что поздно женился».

Как сказал Лессинг: «Кто от иных вещей не теряет рассудка, тому и терять-то нечего».

Глава двадцать первая

На улице Шести Деревьев была объявлена тревога, звонили колокола.

Боб и Лили выбежали из дома, с недоумением огляделись — откуда и почему эти сигналы тревоги? Планета Тюнитос выглядела, как всегда, спокойной и безмятежной. Ни пожара, ни какого-нибудь еще несчастного происшествия. Только двое мужчин идут навстречу друг другу по улице. Вот они сошлись наконец недалеко от Боба и Лили, остановились и с явным интересом стали приглядываться друг

¹ Рожденный равным (англ.).

к другу. Некоторое время они молчали, потом один спросил:

— Как вас зовут?

— Хамфри.

— А меня Уильям.

— Очень рад с вами познакомиться.

— Я тоже.

— Я где-то уже видел ваше лицо. Наверно, мы и раньше с вами встречались?

— Наверно. Я тоже, признаться, откуда-то вас помню.

Они замолчали и продолжили путь уже вместе. Боб, увлекая за собой Лили, догнал их и вежливо спросил:

— Скажите, пожалуйста, почему вы перестали разговаривать? Может быть, мы мешаем вам?

— О нет, что вы! — приветливо улыбнулся один из мужчин. — Напротив, ваше присутствие нам очень приятно.

— Мы просто уже чувствуем такую близость, — сказал другой, — что даже и не разговаривая понимаем друг друга.

— Пройдемся вместе, — предложил первый. — И девушка тоже пусть присоединится к нам.

— Но мы еще не познакомились. Как вас зовут? — поинтересовался второй.

— Боб.

— А нас — Хамфри и Уильям. Хамфри — это он, Уильям — я. А вас как зовут, девушка?

— Лили.

— Очень рады с вами познакомиться.

— Мы тоже.

— Знаете, ваши лица нам как будто знакомы. Наверно, мы и раньше где-то встречались?

— Наверно, — ответил Боб и невольно повторил их же слова: — Я тоже, признаться, откуда-то вас помню.

— Вот видите, — сказал Уильям, — мы уже и с вами стали так близки, что можем и не разговаривая понимать друг друга.

— Извините, — сказал Боб, — мы спешим... Нам надо идти...

— Пожалуйста, пожалуйста. Мы не хотим вам мешать.

— Но обещайте, что непременно зайдете к нам. Вот возьмите, это наши визитные карточки.

Боб обратил внимание, что на визитных карточках указаны прежние их адреса: город, улица, номер дома, подъезд и квартира.

— Мы уже так подружились с вами, — сказал он серьезно и убежденно, — что просто не сможем не прийти.

— Верно, совершенно верно.

Боб и Лили повернулись было идти, но мужчины удержали их, несколько даже грубо, и, улыбаясь, протянули им для прощания руки.

Последовали долгие, горячие рукопожатия...

Боб и Лили остановились перед раскрытым окном какого-то дома и заглянули внутрь. В комнате они увидели мужчину, разговаривающего по телефону.

— Вы что, издеваетесь надо мной, что ли? — сердито кричал в трубку мужчина. — Почему каждый день я получаю на обед одно и то же?

— Но ведь это же по вашему требованию, — был, очевидно, ответ.

— Ну и что? Вы не должны соглашаться с моим требованием.

— Почему?

— Ясно почему. Я обязан вам подчиняться, а не вы мне. Сейчас же пришлите что-нибудь приличное. Что прислать? Но если я сам буду думать об этом, то для чего же тогда вы?

Он бросил трубку и, обозленный, в нетерпении зашагал по комнате. Потом, заметив, что два человека смотрят к нему в окно, повернулся в их сторону и сказал:

— Вы представляете мое положение! Они буквально хотят уморить меня голодом. Но это им не удастся, нет, не удастся!

В это время на автомате, подающем обед, зажегся красный огонек, мужчина подошел к нему, нажал большим пальцем кнопку, и перед ним появились отборные блюда, напитки и фрукты.

Мужчина аккуратно расставил все это на столе, вымыл руки, нацепил на грудь белую салфетку, сел и приступил к делу. Он ел медленно, спокойно, сосредоточенно. Это был как будто настоящий праздник, настоящий ритуал, торжественный и приятный.

Кончив обедать, он с довольной улыбкой растянулся в кресле, расстегнул верхнюю пуговицу на брюках и закурил сигарету.

Потом снова обратил внимание на Боба и Лили, все еще смотревших к нему в окно.

— А, — сказал он бодро, — здравствуйте. Почему вы не зашли пообедать?

— Спасибо, мы не голодны.

— Ну отведали бы хоть чего-нибудь, самую малость.

— Спасибо, нам не хочется.

— Заставлять не стану, но, ей-богу, вы пожалеете.

– Что вы будете делать теперь?
– Полежу с полчаса на спине, отдохну.
– Ладно, мы пойдем... Не будем мешать вам...
– Минутку, минутку. У меня к вам просьба. Если встретите по дороге главного врача, скажите, пусть пришлет ко мне женщину.

– Может быть, вам нужно убрать комнату? – спросила Лили. – Я помогу.

– Нет, нет, – снисходительно улыбнулся мужчина и обратился к Бобу: – Надеюсь, вы не забудете?..

Но какова же была причина этих двух столь решающих, столь крупных событий?

На улице Шести Деревьев заболел человек. Состояние больного вот уже несколько дней оставалось тяжелым.

Врачи осмотрели его тщательнейшим образом и, устроив консилиум, пришли к заключению, что перед ними случай острозаразной, малоизученной в науке альфа-бета-гамма болезни. Опасаясь, что зараза может распространиться, они не отходили от постели больного, дежурили возле него и днем и ночью.

Перед домом больного в первый же день собрались все остальные жители улицы и молча стояли там до темноты.

Они все были крайне недовольны и тем, что им угрожает какая-то зараза, и тем, что они вынуждены из-за такой неожиданной неприятности изменять своему повседневному времяпрепровождению и проявлять интерес к посторонним вещам.

После нескольких часов каменного молчания один из них еле слышно произнес:

– Я врач по образованию, у меня есть диплом...

И сам удивился своей блестящей памяти.

Часа через два заговорил другой:

– Дядя у меня умер от такой же болезни. Звали его, кажется, Том... Фамилия – Крейн. Томас Крейн...

Следующий заговорил еще позже, когда солнце уже зашло и стало темнеть.

– У меня был друг в Австралии... в Австрии... Он изучал как раз эту болезнь...

По домам они разошлись поздно вечером.

В последнюю минуту кто-то еще сказал:

– Сосед мой обещал дать мне денег в долг... Почему же он не дал?

Но каждый из говоривших говорил лишь для себя, его никто не услышал, никто не слушал.

На следующий день с утра они снова собрались перед домом заболевшего и опять простояли там в абсолютном безмолвии до самого вечера.

Вечером один из них, внезапно побледнев, спросил с явной тревогой в голосе:

— А что будет с нами?

Остальные недоуменно повернули головы в его сторону.

— А что будет с нами? — повторил он еще раз.

И все откликнулись:

— А что будет с нами?

Только теперь они полностью осознали, что им грозит.

В следующую же минуту они один за другим сорвались с места, бросились бегом в ближайшее здание, позвонили на Землю и попросили помощи. Звонили и на другой день и уже с возмущением требовали, чтобы немедленно было найдено лечение от альфа-бета-гамма болезни. И при каждом звонке, вырывая один у другого трубку, ругались и кричали:

— Вы не имеете права оставлять нас без помощи!

Им казалось, что на Земле про них забыли, и они были этим чрезвычайно обижены.

На земном шаре крупнейшие ученые всех стран, дружественных и враждебных, отложили на время все прочие свои дела и объединенными усилиями добились в течение недели того, чего не могли добиться в течение вот уже нескольких десятилетий. От этой болезни каждый год умирала не одна тысяча людей, и врачи в бессилии разводили руками. Так бы, наверно, продолжалось и дальше, не будь ста жителей планеты Тюнитос. Неизвестно, почему эти сто были сейчас важнее, чем тысячи и десятки тысяч других.

И вот однажды наконец над планетой Тюнитос показался космолет и с него был спущен на парашюте столь долгожданный ящик с лекарствами.

Жители, потрясая гневно кулаками, кричали вслед удаляющемуся космолету:

— Почему так задержали? По какому праву?

А тот человек, у которого был дядя Томас Крейн, умерший когда-то от той же альфа-бета-гамма болезни, поднял вдруг указательный палец и с гордостью, словно сделав великое открытие, сказал сам себе:

— Значит, моя фамилия тоже Крейн...

Перед домом номер двенадцать, тем самым, в котором жил главный врач, столпились почти все жители планеты.

Некоторые из них держали в руках плакаты и транспаранты. Другие кидали в окна камни и кричали что-то.

Главный врач в домашнем халате вышел на балкон, движением руки утихомирил толпу и спокойно спросил:

– Кто вы такие?

– Демонстранты! – единодушно отозвалась толпа.

– Почему вы собрались?

– Мы восстали!

– И чего вы требуете?

– Мы требуем отмены установленных норм. Мы требуем, чтобы были пересмотрены наш словарь, наше меню, наш дневной режим. Мы не желаем ходить только по тротуару, нам должны разрешить спускаться на мостовую.

– Хорошо. Разработайте и представьте свой новый словарь, новое меню и режим дня.

Толпа тут же разделилась на несколько групп, и каждая из них обсудила вопрос отдельно. Спустя несколько минут все снова собрались перед балконом, и представители разных групп сдали в письменной форме свои предложения.

– Но почему у вас разные предложения? – сказал главный врач. – Неужели невозможно, чтобы сто человек пришли к одному общему заключению?

– Мы принадлежим к различным партиям!

– Хорошо, мы учтем это, – сказал главный врач. – Что еще?

– Мы требуем, чтобы в руководстве были также и наши представители.

– Ладно, мы удовлетворим и это ваше требование. Дальше?

– Мы требуем автомашин...

– Ресторана!

– Церкви!

– Заводов!

– Парков!

– Кладбища!

– Рудников!

– Железную дорогу!

– Флот!

– Магазины!

– Университет!

– Зоопарк!

– Одним словом, вы требуете создания общества. Правильно я вас понял?

– Да здравствует главный врач! – крикнула толпа.

– Я согласен с вами. Но вы должны еще общими силами

доказать свою подготовленность к тому, чтобы жить в обществе.

– Разве мы не доказали?

– Этого мало. Нужно еще более веское доказательство.

– Долой главного врача!

– Даю вам полчаса на представление доказательства.

В противном случае ваше восстание сочтут несостоявшимся.

– Да здравствует главный врач! Долой главного врача!

От толпы отделился какой-то невероятно высокий человек и подошел к Бобу.

– Мы слышали, что вы летчик, это правда?

– Правда, – побледнел Боб.

– Вы должны помочь нам в одном деле.

– В каком деле?

– Вы должны сбросить бомбу на земной шар.

– Бомбу? Какую бомбу? – растерялся Боб.

– Если бы среди нас нашелся какой-нибудь другой летчик, мы не стали бы причинять вам это беспокойство.

– Но я свое дело уже сделал. Я однажды уже сбросил...

– Вы обязаны сделать это еще раз.

– Не могу, – упал на колени Боб, – не могу!

– Значит, вы вините за свое преступление только себя?

– Нет, нет. Я с вами...

– В таком случае почему вы не хотите помочь нам?

– Я однажды уже сделал то, чего вы хотели... Я...

– Значит, вы отказываетесь помочь?

– У меня нет времени... Я очень занят... Я должен забыть себя... – бормотал Боб.

Мимо толпы, обступившей Боба, пробежал какой-то человек в спортивном костюме. Пробежал немного, потом повернул обратно. Боб поднялся на ноги, остановил этого человека и спросил:

– Скажите, пожалуйста, почему вы бегаєте?

– Как? – обиделся тот. – Неужели вы не видите, что я делаю зарядку?

И снова побежал.

А Боб вернулся на прежнее место, опустился снова на колени и вдруг, неожиданно для себя, крикнул:

– Я не желаю, вы слышите?! На меня не надейтесь! Мне нет до этого дела!

– Трус, – ответила толпа. – Предатель.

Откуда-то притащили ящик, наполненный песком, и в нем была бомба. Боб грустно улыбнулся, потому что это была самая примитивная самодельная бомба, которая могла взорваться, а могла и не взорваться.

— Вот, пожалуйста, наше доказательство, — сказал высокий. — Этого вам недостаточно?

— Нет, — ответил ему главный врач. — Нужно еще более веское доказательство.

— А почему вы не спросите, когда и как мы успели сделать эту бомбу? Ведь мы же только сегодня объявили восстание.

— Если вы настаиваете, могу спросить. Когда и как вы сделали эту бомбу?

— У нас была подпольная организация. Неужели и этого недостаточно?

— К сожалению, нет.

— Все равно, мы сбросим нашу бомбу, — сказал высокий и обратился к Бобу: — Мы тебя заставим.

— Я Изерли, — стоя на коленях, сказал Боб. — Вы не помните меня? Я Клод Изерли. — Потом умоляюще посмотрел на главного врача: — Скажите им, кто я...

Главный врач молчал.

— Где мой доктор? Спросите у него. Почему он не пришел? Почему он не следит сегодня за мной?

— В последний раз спрашиваю: поможешь ты нам или нет?

Толпа молчаливо ждала ответа от стоящего на коленях перед ней человека.

Боб растерянно и беспомощно оглядывался вокруг, и губы его словно просили о чем-то. Все поняли, что наступила самая напряженная, самая решающая минута этого дня.

Даже человек в спортивной форме прекратил свои упражнения и стал с любопытством наблюдать за происходящим.

— Боб, не соглашайся! — крикнула Лили. — Не соглашайся, Боб!

Ее тут же заставили замолчать.

— А, наш близкий друг! — радостно воскликнули двое мужчин. — Мы с вами и не разговаривая понимаем друг друга.

Боб съезжился от страха.

— Скажите откровенно, вы не жалеете, что не зашли победать? — сказал другой мужчина. — И почему вы не сдержали свое обещание? Почему вы не передали главному врачу, чтобы он прислал ко мне женщину?

И снова стало тихо. Толпа, напряженная и неподвижная, продолжала терпеливо смотреть на Боба.

— Оставьте меня в покое! — вдруг сказал Боб и поднялся на ноги. Он отряхнул пыль, приставшую к коленям, выпря-

мился и равнодушным тоном прибавил: — Я устал уже...

Потом, не обращая ни на кого внимания, он вошел в особняк главного врача, вынес на балкон стул из кабинета и уселся, закинув ногу на ногу.

— Он болен! — с ненавистью крикнула толпа.

— Болен? — оторопев от неожиданности, воскликнул врач и поспешно спросил: — Чем же он болен? Какой болезнью?

— Комплекс виновности! — ответила толпа.

Главный врач с облегчением вздохнул, вытер пот со лба и радостно провозгласил:

— Все! Конец! Вы доказали. Доказали на двадцать шестой минуте.

Появились несколько других врачей. Они, взволнованные и счастливые, обнялись друг с другом и обменялись поздравлениями. А потом один из них вытащил из кармана длинную телеграмму и торжественно зачитал ее всем собравшимся:

— За излечение больных планеты Тюнитос решено присудить главному врачу государственную премию первой степени. Остальному медицинскому персоналу посылаем наши сердечные приветствия и пожелания дальнейших успехов в работе. Принимая во внимание, что в условиях планеты Тюнитос требования восставших трудно удовлетворить, приказываем всем — отказаться от бомбы, вернуться на Землю и начать активную борьбу против нас во имя прогресса и счастья человечества. Подпись: общество земного шара.

— Ура!!! — хором откликнулась толпа.

— Ура!!! — подхватил лечащий персонал.

— Я пошел домой, — сказал Боб. — До свидания.

Глава двадцать вторая

Он вернулся к себе домой и лег на кровать.

В дверь постучались.

— Кто там? — спросил он сердитым голосом.

— Это я, Лили.

— Чего тебе надо?

— Открой, Боб.

— Не открою.

— Боб, это же я, я...

— Все равно не открою.

— Боб, ты что, с ума сошел?

— Уходи к ним.

— Куда? — удивилась Лили.

- Иди к себе домой. Оставь меня одного.
- Боб... Я ведь твоя жена...
- Оставь меня в покое! – крикнул он со злобой. – Я не люблю тебя. Слышишь? Не люблю.

Последовало молчание.

- Мне все надоело! – снова крикнул Боб. – Все вы опротивели!

Он достал свою записную книжку, лихорадочно перелистал ее и нашел нужный номер телефона.

- Алло, алло, это с первого этажа?
- Повторите, пожалуйста. Плохо слышно.
- Я спрашиваю, это из публичного дома?
- Да, да.
- А кто говорит? Хозяйка?
- Вы угадали.
- О, мы ведь с вами старые знакомые.
- Да ну! А кто вы?
- Клод Изерли.
- Клод Изерли? Не знаю такого.
- Как? Неужели вы не помните?
- Вы, наверно, из наших клиентов?
- Скажите, пожалуйста, у вас работает девушка по имени Сюзан?

– Да. Хотите, позову?

– Если не трудно.

– Сейчас позову, если, конечно, она не занята.

Немного погодя из трубки донесся нежный голосок:

- Слушаю.
- Здравствуй, Сюзан. Это я, Боб.
- Кто?
- Боб, Боб! Изерли...
- Я вас не знаю.
- Ты не помнишь, это же я дал тебе имя!
- Какое имя?
- Я принц, Сюзан. Разве ты не помнишь?
- Нет, не помню. Но вы можете прийти ко мне когда хотите. Мы работаем с восьми вечера до восьми утра.
- Извини, Сюзан... Я, наверное, спутал тебя с другой... – сказал Боб, потом грустно добавил: – Я больше никогда не побеспокою тебя... Я не стану тебе мешать... У меня нет никаких денег в банке... Я давно закрыл все свои счета...

– Идиот! – сказала девушка и повесила трубку.

Боб в отчаянии набрал другой номер.

– Это ты, Джо?

– Я.

– Здравствуй, Джо. Говорит Боб. Прости, что я никогда не звонил тебе.

– Ничего, ничего... Но кто вы?

– Да ты что, спятил? Это я, Боб.

– Боб... Боб... – повторил Джо, как бы пытаюсь припомнить. – Нет, не помню.

– Клод Роберт Изерли! – разозлился Боб. – Ну что, вспомнил?

– Извини, но, честное слово, не помню.

– Да ты в самом деле спятил! Я же твой товарищ. Мы вместе сбросили бомбы.

– А, помню, помню... Со мной был тогда еще один парень... Значит, это ты?

– Наконец-то, – обрадовался Боб, – ну и болван же ты, однако!

– Но разве тебя зовут Бобом? По-моему – Алан...

– Правильно, Джо. Я ошибся. Меня зовут Алан.

– Ну вот, я же говорил. Ты сейчас где? В городе?

– А зачем ты спрашиваешь?

– Ты ведь, кажется, уезжал куда-то, нет?

– Забыл я, Джо... Тебе, наверно, лучше известно...

– Давай сегодня встретимся. Посидим где-нибудь вместе. Вспомним старые дни. Идет?

– Идет.

– Жди меня в два у кафе «Ласточка».

– Отлично.

– Скажи, в чем ты будешь, чтобы я мог тебя узнать?

– В красном костюме.

– Что, что? – рассмеялся Джо. – Красных костюмов не бывает.

– Бывают, Джо. Ты просто не видел.

– Ну ладно, пускай... А ты-то меня узнаешь?

– Я-то? Ну конечно...

– Значит, в два у кафе.

– Прости, Джо, я пошутил. Я сейчас не в городе.

– Жаль, очень жаль, Алан.

– И вообще я сейчас не на первом этаже. У меня нет никаких денег в банке. Я давно закрыл все свои счета.

– Ничего, дружище, не унывай. Что-нибудь придумаем, – сказал Джо. – Если хочешь, я одолжу тебе небольшую сумму.

Боб повесил трубку и сел прямо на пол, в углу комнаты.

– Боб, – послышалось неожиданно из-за двери, – тебя не помнят.

– Кто там? – встрепенулся Боб. – Что тебе надо?

- Тебя не помнят.
- Ну и что?
- Тебя не помнят.
- А ты чего радуешься?
- Тебя не помнят.
- Я изменил тебе. Я снова звонил туда...
- Тебя не помнят. Тебя не помнят.

Боб замер на мгновение, словно во что-то вдумываясь, и вдруг повторил отчетливо и громко:

- Меня не помнят. Меня забыли.
- Да, Боб, да. Тебя не помнят. Тебя забыли.
- Да, – прошептал самому себе Боб. – Меня не помнят, меня забыли.

Он вскочил и растерянно огляделся вокруг. Потом кинулся к двери, рывком распахнул ее и, оттолкнув Лили куда-то в сторону, в мгновение ока очутился на лестнице. Через минуту он бегом мчался по улице и оглашал ее сумасшедшим криком:

- Меня не помнят!.. Меня забыли!..

Он вбежал, с трудом переводя дыхание, в особняк своего доктора, и тут его внезапно охватила робость. До сих пор он ни разу не бывал в этом доме. За все это время он пришел сюда впервые. Он тихо постучался в дверь комнаты и нерешительно вошел.

Доктор сидел за письменным столом, однако вид у него был явно больной – воспаленные глаза, закутанное горло, под мышкой градусник.

– В чем дело? Почему вы здесь? – спросил он, смутившись.

- А что это с вами? Неужели вы больны?
- Пустяки, простудился немного.
- Может, вам чем-нибудь помочь? – сказал ошеломленный Боб.

– Я же объяснил, что не болен.

– Нет, вы больны, – уже несколько тверже произнес Боб. – И, пожалуй, нешуточно.

- Перестаньте, ради бога.
- Вы нуждаетесь в моей помощи, – сказал Боб, и на лице у него появилась едва заметная улыбка. – Я сию минуту уложу вас в постель, а потом напою горячим чаем.

– Что за безобразие! – возмутился доктор. – Почему вы мне доказываете, что я болен?

– Но ведь вы сегодня даже из дому не выходили! Не наблюдали за мной!

Доктор молчал. Он понял, что потерял что-то очень важное. Свою власть. Свой авторитет. Упал с пьедестала. У него температура, он болен. И притом самым обыкновенным, самым простым гриппом.

И он вынужден был сдаться. Он разрешил, чтобы Боб помог ему раздеться, натянуть на себя пижаму, потом лег в постель, и Боб укрыл его мягким и теплым одеялом.

— Спасибо, Боб...

— Ну что вы, доктор...

— Ты разрешишь, чтобы я иногда следил за тобой?

— Конечно, конечно.

— Ты будешь иногда подчиняться мне?

— Всегда буду подчиняться.

— Ты обещал напоить меня чаем...

— Сейчас, сию минуту, — Боб помедлил, но все-таки, несмотря на всю свою жалость к доктору, сказал то, из-за чего и пришел сюда: — Я возвращаюсь на Землю.

— Как возвращаешься? — вскинулся доктор. — Кто тебе позволит? Ведь ты еще не выздоровел.

— Пожалуйста, позвоните им и скажите, что меня не помнят... что меня забыли...

— Какое это имеет значение?

— Имеет, доктор, имеет...

— А я? — сказал доктор. — А мне что делать?

— Вы вернетесь на Землю вместе с нами.

— По какому праву? Я пока что не выполнил свой долг. Не вылечил тебя.

Боб пошел на кухню готовить чай. На стенах здесь висело множество фотографий. Это были семейные фотографии доктора. Жена и он — на берегу моря. Он — в белом халате, в коридоре больницы. Дети — в разном возрасте. Семья — вокруг стола. По-видимому, день рождения кого-то из детей. На столе — огромный торт, с десятью свечками. Младший сынишка надул щеки — хочет, наверно, потушить свечи.

Боб заварил крепкий чай, налил в стакан и понес в комнату.

— Позвоните, — сказал он доктору. — Я принес ваш чай.

Потом уселся на спинку кровати, обхватил руками колени и стал ждать, нетерпеливо покусывая губы.

Доктор с трудом поднялся с постели, облачился в свой белый докторский халат и, сделав над собой усилие, пошел к телефону.

Он говорил со своим начальством, сохраняя достоинство, прямым и смелым тоном человека, у которого абсолютно чиста совесть.

– Клод Роберт Изерли просит сообщить вам, что его уже никто не помнит. Да, да, о нем забыли... Что передать? Значит, он может уже вернуться на Землю? Что касается меня, то я против вашего решения. Я против, потому что лечение не доведено до конца. Что, что? Вы говорите смешные вещи. Он вообще не был болен? Не хотите ли вы учить меня психиатрии? Предупреждаю, если вы позволите ему вернуться, то я в знак протеста останусь здесь. А если вы поступите благоразумно и не разрешите ему вернуться, я вернусь сам и попрошу, чтобы вместо меня сюда был послан другой. Моя власть здесь кончилась. Я схватил насморк. Вы можете наказать меня за это, можете понизить меня в должности.

Он опустил трубку, снял белый халат, аккуратно повесил его в шкафу, снова лег в постель и укрылся одеялом.

– Вы были правы, Боб. Вам разрешают вернуться на Землю, – проговорил он печально. – Они сказали также, что это было бы возможно уже давно, если бы человек по имени Гюнтер Андерс не писал вам писем и не печатал их в газетах. Он фактически мешал тому, чтобы вас скоро забыли.

Боб сидел неподвижно, все в той же позе, согнувшись и обхватив руками колени. Он знал, он очень хорошо знал, что трудно вообразить себе большее счастье.

И вдруг он рассмеялся. Но не от радости. Не от счастья. Он давно бы мог вернуться. Не будь этих писем.

– Это были очень хорошие письма, – сказал он, уже перестав смеяться, с серьезным и гордым выражением лица. – Это были просто чудесные письма.

Он чувствовал голод и усталость. Ему хотелось спать... Хотелось увидеть последний свой сон... Еще раз походить по своему музею...

Вошла Лили и несмело остановилась у порога.

– Ты слышала, Лили? Ты слышала, что говорит доктор! Мы возвращаемся... – В горле у Боба что-то судорожно сжалось, и неожиданно для себя он спросил: – А куда же я все-таки возвращаюсь, доктор?

– То есть как это? На Землю.

– На Землю? Какую Землю?

Глава двадцать третья

Прощай, музей «Хиросима»!

Теперь они вошли не в просторный зал, а в небольшую и узкую комнату, где подряд стояли: а) стол и буфет и над ними табличка – «Авеню 118»; б) сейф и над ним таблич-

ка – «Банк»; в) узкая кровать и над нею: «Психиатрическая больница».

В комнате на кровати сидел человек, закутанный в огромную белую простыню. Он то и дело пытался выпростать из-под простыни руку, но это ему не удавалось. Возле него стоял Робот.

– К. И., – обратился к нему Робот, – сейчас мы будем смотреть фильм. Для вас очень полезно посмотреть еще раз историю своей жизни.

Робот принес экран – большую деревянную раму без холста – и поставил его перед К. И. В раму вошел человек, совершенно непохожий на К. И. Он сел за стол под табличкой «Авеню 118», воровато огляделся и, убедившись, что никто его не видит, открыл дверцу буфета. Он вытащил из буфета полную горсть всяких сладостей и начал торопливо засовывать их в рот.

– Он еще маленький, наш будущий герой, – дикторским голосом прокомментировал Робот, – он еще любит сладости. Родители прячут их от него, потому что от сладкого портятся зубы.

Послышались шаги.

– Мамаша идет, – предостерег Робот.

Потом Робот подошел к К. И., который смотрел историю своей жизни, и дал ему пощечину. А тот К. И., который находился в экране, скривил от боли лицо и громко расплакался.

– Вообще у него было беззаботное детство, – продолжал Робот, – сладостей у них в доме было всегда очень много, до тошноты много.

К. И. в экране поднялся во весь рост, потом присел. И так несколько раз. Потом раскинул руки и стал ими взмахивать – вверх, вниз, вверх, вниз.

– Он служит в армии, – объяснил Робот, – водит военный самолет.

Робот принес и поставил к его ногам стопку тарелок и дал ему в руки кусок железа. К. И. уронил железо на тарелки и разбил их на мелкие осколки.

– Он уничтожил целый город «во имя спасения всего мира».

К. И. начал по-военному маршировать на месте.

– Он становится героем; становится героем благодаря своим родителям, потому что они вовремя поняли, что ребенку надо запретить злоупотребление сладостями.

К. И. продолжал вышагивать на месте.

– Пресс-конференции и интервью – на весь мир. И всег-

да ему задают два вопроса. Ваша самая любимая песня?

К. И. перестал маршировать и снова воровато огляделся. Убедившись, что никто его не видит, он на цыпочках подкрался к сейфу и попробовал его открыть, мурлыча при этом себе под нос: «Когда солдат идет на войну, о нем горюют и плачут. Когда солдат приходит с войны, говорят — ему повезло...»

— Ваша самая любимая сказка?

— В некотором царстве, в некотором государстве живет-поживает себе царь. Царь этот творит благо за благом для своих подданных, освобождает их от налогов, строит больницы, открывает школы, дает всем детям бесплатное образование. Но однажды подданные убивают его. Просто так, без какой-либо на то причины. И когда их спрашивают: зачем вы его убили? — они отвечают: затем, что он сделал нам много добра, а мы никакого добра не могли ему сделать.

Наконец К. И. открыл сейф, заглянул внутрь и с изумлением обнаружил в нем вместо денег целую кучу всяких сладостей...

К. И. в экране поднял руки вверх — сдался полицейским.

Потом он сел на стул и посмотрел на К. И., который смотрел историю своей жизни. Они долго смотрели друг на друга. К. И., сидящий на кровати, прекратил даже свои попытки выпростать руки из-под простыни.

— Он не выдержал славы, — объяснил Робот. — Человек не в состоянии выдержать столь огромную славу. Он сходит с ума. Самым ярким доказательством сумасшествия К. И. является то, что, когда теперь у него спрашивают, что такое война, он отвечает... — И в голосе Робота, до этой минуты сухом и холодном, послышались вдруг какие-то тревожные, почти человеческие нотки: — Огромный город, пустынная улица, и идут по ней девушка и парень... Он протягивает руку к волосам девушки, а она говорит ему: «Не надо... Прошу тебя, не надо... на пустой улице. Будь рядом люди, я бы не стеснялась... А теперь стыдно... Нас никто не видит...»

К. И. первый и К. И. второй продолжали всматриваться друг в друга.

К. И. экранный переступил через раму, подошел к К. И., сидящему на кровати, и помог ему стащить с себя простыню. Они сели друг подле друга и — локоть в колено, подбородок в ладонь — устались неподвижно куда-то в пространство. К. И., смотревший свою биографию, лег на кровать. То же самое сделал К. И. с экрана. Они лежали неподвижно, нежно обняв друг друга.

Робот поднял валявшуюся на полу белую простыню и заботливо укрыл их. А сам сел на пол рядом с кроватью.

В следующем зале тоже было много табличек, предупреждающих: «Не прикасаться».

— К сожалению, нам придется расстаться, — сказал Гид. — Каждый из вас знает теперь столько, что с легкостью может заменить меня. Вы очень мне понравились; мне всегда бывает жалко расставаться с посетителями, я как-то к ним привязываюсь...

Гид протянул посетителям руку. Он тепло попрощался с каждым из них в отдельности и исчез.

Лили отворила маленькую дверь в углу зала, переступила через порог и очутилась в каком-то темном помещении.

Она сделала несколько осторожных шагов; глаза ее уже немного привыкли к темноте, и она разглядела, что находится в очередном огромном зале, который почему-то совершенно пуст. Потом она уловила чей-то слабый стон, доносящийся из темной глубины зала. Она медленно и несмело двинулась дальше и увидела — на полу лежит женщина. Лицо у женщины было залито потом. Тело ее корчилось в ужасных муках, и было странно, глядя на эти страшные корчи, слышать только слабый, очень слабый стон. Лили стояла в растерянности, не зная, что делать. И вдруг женщина закричала. Закричала и Лили. И по всему залу прокатился крик двоих людей. Потом еще одного человека. Очень маленького человека, который только что родился. Потом стало тихо.

— Ты родился, мой сын, — раздался голос женщины, словно напевающий колыбельную. — Ты снова родился... Уже в который раз! Я хочу, чтобы ты вырос красивым и сильным. Чтобы ты был счастливым... любил плохие книги... и дешевенькие песни... Чтобы ты был сентиментальным... Это тебя спасет... Ты родился... Снова родился уже в который раз!

Женщина, едва живая от недавних мук, поднялась на ноги, крепко прижала к груди ребенка и двинулась к двери медленным, неуверенным еще шагом. А за спиной у нее, из расступившегося пола, выскочили какие-то людские головы не то маски и посыпали бесконечной скороговоркой:

— Имя, имя, имя, имя...

...Дверь закрылась. Лили осталась одна.

И независимо от себя она вдруг снова закричала на весь этот пустынный и темный зал:

— А-а-а-а-а-а-а!..

– Лили Юджин, – сделал ей замечание громкоговоритель, – прошу вас разговаривать обычным голосом, не слишком громко и не слишком тихо.

– А-а-а-а-а-а-а!..

Запахавшись, прибежали Боб и Джо, которые давно уже ее разыскивали.

– Ты нас обоих обманула. Ты никого из нас не любишь.

– Нет, нет, люблю.

– Кого?

– Скажи, кого?

– Дома скажу... Дома, дома, дома...

– Я знаю, ты любишь меня, – сказал Боб.

– Я знаю, ты любишь меня, – сказал Джо.

– Дома, дома, дома...

При этих словах беззвучно обрушилась одна из стен. Они переглянулись друг с другом, ошеломленные этой странностью.

Потом все трое рассмеялись.

От громкого смеха начали обваливаться и остальные стены.

Все рушилось медленно, легко, бесшумно.

– Вот почему у них всюду было написано: «Не прикасаться». Вот почему у них запрещалось говорить громко.

– Вы хотите снова разрушить наш город! – оглушительно прокричал громкоговоритель. – Вы хотите бросить нас на произвол судьбы! – Потом умоляюще обратился к Бобу: – Не возвращайся, Боб... Останься у нас... Ведь ты же занят только и только собой... Ведь ты же не можешь забыть себя... Ты не знаешь, как жить... Ты бесплоден...

И тот же громкоговоритель сделал самому себе замечание:

– Прошу разговаривать обычным голосом, не слишком тихо и не слишком громко.

Направляясь к выходу из музея, они прошли через те же залы.

Среди руин стояли растерянные люди, те самые, которые разыгрывали для посетителей различные сцены из человеческой жизни. И поскольку они не умели делать ничего, кроме того, что делали до сих пор, то и теперь, среди руин, они продолжали повторять заученные слова. Только на этот раз они говорили уже все вместе, без всякой очереди, перебивая друг друга, и ничего невозможно было понять.

– Ну, сядем обедать... Я что-то хотел сказать... Мои глаза не видят... Останешься у меня ночью?.. Дома будут беспо-

коиться... Знаю, знаю... 2803... Что это... 2803 раза я ела этот суп... Мои руки не двигаются... Я что-то хотел сказать... Надо уехать туда... Куда?... Туда... А-а, туда!.. Там все хорошо... Не хорошо, а иначе...

Глава двадцать четвертая

Открытое письмо Гюнтера Андерса Вильгельму Иксу, главному врачу и главному прокурору при дворце (документ)

Не так давно я имел честь узнать, что, ссылаясь на мое письмо, обращенное к Бонапарту, вы устанавливаете у меня «дрейфусовский комплекс».

«Мы не надеемся, — заявляете вы, — что нам удастся переделать людей, пораженных «дрейфусовским комплексом», тем более если они находятся на расстоянии сотен миль от нас».

Почему «комплекс»?

Сократ чувствовал себя призванным открывать молодежи правду? Глупости. Просто-напросто воспитательский комплекс.

Гегель бился над универсальным принципом истории? Глупости. Просто-напросто систематизаторский комплекс.

Врачи пытаются лечить больных? Глупости. Просто-напросто здравоохранительный комплекс.

Люди испытывают голод? Глупости. Просто-напросто хлебный комплекс.

Изерли пытается раскаяться в уничтожении Хиросимы? Глупости. Просто-напросто комплекс виновности.

Андерс пытается помочь Изерли? Глупости. Просто-напросто «дрейфусовский комплекс».

Право же, превосходный метод — это «просто-напросто комплекс». С помощью этого метода удастся:

- 1) лишить сложности, комплексности любой вопрос;
- 2) убедить окружающих, что цели, к которым стремятся жертвы ваших диагнозов, ничего не стоят;
- 3) выставить на посмешище тех, кто эти цели преследует.

С совершенным почтением

Гюнтер Андерс

ЭПИЛОГ

Я возвращаюсь на Землю. Возвращаюсь в двадцатый век. Со мною моя жена.

Доктор не нарушил своего слова. В знак протеста он остался на улице Шести Деревьев. Он счастлив, потому что не узнал правды. Он смог сохранить свой идеал.

Мы поселимся в каком-нибудь маленьком городе, на самом его краю. И все там будут говорить про меня как про жителя дома на окраине.

Мы будем работать и зарабатывать хлеб наш насущный.

Мы будем обрабатывать свой огород и выращивать помидоры, картофель и тыкву.

По воскресным дням мы будем отдыхать. Будем просыпаться в десять часов утра. Будем ходить в кино и досыта там смеяться.

Вот уже показался круглый шар, который я вижу в последний раз.

Сейчас тот единственно ясный миг, когда я твердо знаю, что буду делать.

Я, Клод Роберт Изерли, обещаю забыть себя и освободиться от себя.

Я, Клод Роберт Изерли, обещаю впредь не заниматься только самим собой и помнить, что все находится вне меня.

Я, Клод Роберт Изерли, обещаю даже самую огромную трагедию не делать своей собственностью, чтобы от этого она не перестала существовать.

Я, Клод Роберт Изерли, обещаю отныне принадлежать миру, чтобы и мир, в свою очередь, принадлежал мне.

Я, Клод Роберт Изерли, обещаю хоть что-нибудь дать миру, обещаю посвятить свою жизнь людям.

На противоположной стене кабины — зеркало. Я с интересом разглядываю себя. Седящие волосы. Утомленное лицо. На лбу и в уголках рта — морщины. Нетвердый, рассеянный взгляд. Мутный и тяжелый. В глазах — страх и растерянность. Небрит. Даже по такому торжественному случаю. Наверное, поленился.

Я не принимаю всерьез этого человека, я не верю ему.

В глубине души я смеиваюсь над ним и продолжаю:

Я преодолею себя. Ведь я же еще молод, мне всего-навсего тридцать лет.

Я разделюсь. Я распадусь надвое. Я стану — два человека. Один — внутри меня, другой — вовне.

Гамлет и Дон Кихот.

1966 г.

АРШАК II

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Нерсес развязал широкий пояс, стянутый на спине, снял с себя свободно ниспадающую тунику, и на нем остался лишь набедренник из барсовой шкуры. Потом натерся маслом, чтобы тело стало скользкое и противнику нелегко было бы обхватить его. Еще и потому перед состязанием натирались маслом, что оно придавало уверенности и бесстрашия, обладая особым свойством освежать и удваивать силы. Совершив положенный ритуал, он поднялся на арену — на устланный коврами помост посреди просторного зала.

Всякий раз, когда Нерсес выходил на арену, в зале воцарялась тишина, обрывались вмиг шутки, остроты, и все как один, затаив дыхание, с невольным волнением на лицах следили за схваткой. И хотя Нерсес был всеобщим любимцем, встречаться с ним на помосте никому не хотелось, потому что развлечение он превращал в дело и ухитрялся повернуть простую игру так, будто в ней решалось — жизнь или смерть.

Нерсес подался к противнику, одной рукой крепко ухватил его руку, а другой пригнул за шею. Чужое горячее дыхание, запах чужого тела ударили ему в лицо, и, точно дикий зверь, почуявший кровь, он встрепенулся, напрягся, налился злостью. Он всегда загорался ненавистью к сопернику, кто бы тот ни был, пусть хоть ближайший друг, — в глазах вспыхивал мстительный огонь, ноздри подрагивали и расширялись, и такая овладевала им страсть, такая острая жажда победы, что казалось, она задушит его, если не утолится. Будь даже противник сильнее его и ловчее, это уже не имело никакого значения, не создавало ни малейшего преимущества, ибо естественные законы состязания уступали место в эту минуту самому простому, самому обыкновенному желанию победить.

Противник был почти повержен и напрягал последние силы, чтоб удержаться и не коснуться лопатками помоста. Когда ему чудом удалось вывернуться и вскочить, их руки

опять сплелись, и все началось сначала. Два потных, измотанных схваткой тела в отчаянной ярости, с диким рычанием бились и перекатывались по узорчатому ковру, являя взору вовсе не зрелище красоты, а самой что ни на есть изнурительной, тяжкой работы.

— И так, значит, ты отказываешься исполнять мою волю? — послышался вдруг громкий, разгневанный голос. — И еще смеешь выставлять свое неповиновение перед всеми! Уж не затем ли, чтобы противиться мне, ты так усердствуешь тут?

Это был царь, который вот уже несколько минут как вошел в сопровождении телохранителей и сенекапета¹ Драстамата в это расположенное при дворце помещение, но атмосфера здесь была до того накалена, что он остался не замечен. Стоя в стороне, он наблюдал схватку; Нерсес был поистине великолепен, и это еще больше разгневало царя.

— Мне сообщили твое решение, царь, — застигнутый врасплох, Нерсес, как и все остальные, опустился на колени. — Но, прости меня за дерзость, ты ведь ни разу не спросил моего мнения.

— В этой стране лишь одному дано право на мнение. И моя воля такова, чтобы ты стал католикосом² всех армян.

— Я воин, царь, — с достоинством ответил Нерсес, — и я не раз доказывал тебе свою преданность. Значит, за преданность я удостоиваюсь наказания? Значит, так расплачиваются за верность?

— Роль воина легка, сенекапет. На это у меня людей хватает. Настоящее счастье в том, чтобы выполнить роль незаменимую, единственную. Я предоставляю тебе такую возможность. Чего же тебе еще?

— Не хочу быть незаменимым. Боюсь, царь.

— А я не боюсь, что ли? — усмехнулся тот и, подойдя, похлопал его по плечу. — Ведь и моя роль тоже незаменима. Отныне мы будем бояться вместе: ни ты не будешь одинок в своем страхе, ни я.

— Тебе, царь, этот страх, наверное, приятен. А мне он и незнаком, и неприятен. Мы не можем вместе...

— Твое последнее слово! — грубо, нетерпеливо оборвал его царь.

— Я остаюсь твоим воином и слугой.

— Связать его! — последовал немилосердный приказ, и

¹ Сенекапет — придворный, ведающий канцелярией царя, личный секретарь.

² Католикос — глава армянской церкви.

в ту же секунду стражи набросились на Нерсеса, заломили ему руки за спину и крепко связали. Опешивший Нерсес даже и не попытался сопротивляться. Все произошло до того неожиданно, молниеносно, что из него словно вышибло способность думать.

Теперь он уже только и мог, что чувствовать страх или голод, различать холод или тепло... Оцепенелым взглядом смотрел он вокруг, видел людей с такими хорошо знакомыми лицами, но различал он сейчас среди них только рослых или маленьких, толстых или худых, опасных или неопасных...

— Но я ведь грешен, царь! — опомнившись, с тревогой воскликнул Нерсес, удивляясь, как царю самому не пришло это в голову. — Если бы ты знал, какое множество у меня грехов и как они велики! Разве же я гождусь такой в пастыри? Вот видишь, мои грехи мне защита... Их-то ведь ты у меня не отнимешь? — Тревога Нерсеса перешла теперь в радость, он почувствовал за собой явное преимущество. — Сладость греха... Какое блаженство вспомнить! Подлость, предательство, жестокость, обман... Не отречься от этих грехов ты заставляешь меня, а тосковать по ним.

— Забрать и сжечь одежду! Испепелить до нитки!

Нерсес только сейчас заметил, что царские стражи принесли сюда с собою всю его одежду, побросали одно на другое и связали в огромный узел. Он увидел также свой меч в золотых ножнах и украшенный камнями, расшитый жемчугом пояс — их сложили, как трофеи, к ногам царя. Двое стражей унесли одежду. Сейчас они сожгут ее, обратят в пепел, чтобы ничто уже не напоминало о прошлом.

Прошлое представилось сейчас Нерсесу чем-то и в самом деле осязаемым, материальным, и такое у него возникло чувство, будто все, что составляло до сих пор его жизнь — его волнения, радости и печали, и то, что было его гордостью, и то, что было стыдом, и все самые заветные мечты и надежды, — сгребли и связали в один узел, схватили чужой грубой рукою и унесли, чтобы предать огню. Вот-вот все это загорится, поднимется дым и рассеется в воздухе без следа.

Он вдруг подумал, что ни разу не было у него случая видеть, что остается от сожженной одежды. И если что-то остается, то как это называют? И как это выглядит? Как выглядит, как пахнет его прошлое? Каким оно зовется именем, чего стоит? Тут он вспомнил про тунику и пояс, которые снял с себя перед поединком. Невыразимая радость хлынула в сердце, яркая, ослепительная надежда, что, может быть, их не заметили, и тогда, значит, у него останется хоть

что-то, хоть какой-то лоскут от прошлого. Но нет, все унесли, сожгли.

Нерсес почувствовал ком в горле, и по щекам его потекли слезы. Посреди зала перед царем стоял полунагой человек — лишь бедра его были прикрыты барсовой шкурой, — растерянный, сникший, не знающий, кто же он есть теперь.

— Вы все нечестивцы и грешники! — вскричал он в отчаянии. — Я не могу стать вам пастырем и принять на себя ваши грехи. Если я приму их на себя одного, вы еще больше натворите зол и бесчинств. Вам всем, значит, грешить, а мне — нельзя? Одному только мне?

— Остричь его!

Один из стражей подошел к связанному Нерсесу, силою усадил на стул и, ловко орудуя ножницами, принялся остригать его мягко выющиеся, отросшие чуть не до плеч волосы.

И надо же было царю оборвать поединок! Испортить такой момент! Опоздай он хоть на минуту, и Нерсес уже победил бы, обязательно победил...

— Я люблю распутную жизнь, ты же знаешь. — Одним движением Нерсес сбросил себя со стула на колени, подполз к царю и с мольбою в голосе продолжал: — Вино люблю... Разврат... Благоухание наложниц, прохладу их тел... Тебя не пьянило это благоухание, царь? Не бросало в дрожь от этой прохлады?

И на мгновение — до боли ясно, отчетливо — он увидел на ложе себя вместе с нею. С нею, у которой не было имени, потому что, пленительнейшая из женщин, она была так дивно, так несказанно прекрасна, что поневоле казалась неземной, нереальной. Он лежал рядом с нею, чуть отодвинувшись, с ощущением праведной и чистой усталости, с простым и светлым чувством блаженства, за которым не крылось никакого иного смысла, не таилось никакой иной глубины.

— Омыть и умастить тело! Пусть вокруг распространятся опьяняющие ароматы.

По знаку, поданному Драстаматом, стража и все другие, кто находился вокруг, покинули зал. Вместо них появились старухи, одетые в черное. Они притащили с собой и поставили на помост наполненную нагретой водой лохань, освободили Нерсеса от пут, погрузили его в воду и начали обмывать, тихонько напевая что-то однообразное, усыпительное. Это были настоящие старые ведьмы с морщинистыми, уродливыми, серыми лицами, с жутко костлявыми большими руками. Нерсес плакал навзрыд, не сдерживаясь, но они не видели его и не слышали. Не иначе как их обычное занятие — обмывать и обряжать трупы. Нерсес уже сдался,

примирился с судьбой. Произойди все иначе, чин чином, он, может, и нашел бы в себе силы противиться. Но враг на сей раз был слишком ловок, слишком коварен, и правила этого состязания были неизвестны Нерсесу.

— Не уходи еще, умоляю, — в глазах у Нерсеса зажегся лихорадочный блеск, и, приподнявшись в лохани, он зашептал царю: — Я хочу насладиться... в последний раз... Дай один только день, до завтра... до утра... Разреши мне...

— Не разрешаю, нет. Потому что по глазам вижу, как велико твое желание и как искренна просьба. — Царь повернулся и быстро направился к выходу, но в дверях вдруг остановился и прокричал оглушительно: — Ложь все это! Ложь!

— О чем ты, царь? Какая ложь? — смутился Нерсес, нагишом стоявший в лохани.

— Ты хочешь стать католикосом. Если бы не хотел, если бы не был согласен в душе, то не дерзнул бы так нагло, так развязно себя вести, не посмел бы оскорблять меня при народе. Ты говорил со мною, как равный. Как завтрашний католикос... — И, усмехнувшись, добавил: — Попался, святейший? Знай, все решает первое испытание. Ты плохо выдержал его. И впредь никогда уже меня не обманешь.

В сопровождении телохранителей и Драстамата царь вышел из зала. Нерсес оцепенело смотрел на захлопнувшуюся за ними дверь и сам себе боялся признаться, что в словах этих, возможно, была правда. Возможно, в глубине души он вовсе не прочь был стать католикосом, но хитроумно скрывал это от самого себя. Мысль эта еще сильнее уязвила его, и он снова заплакал, не замечая, не чувствуя, как старые ведьмы принялись умащать его благовонными маслами. А дурмящий аромат и был той резкой гранью, где кончилось его прошлое и начиналось неведомое. Это неведомое представлялось столь заманчивым и пугающим, что Нерсес невольно вздрогнул, и мелкие мурашки пробежали по его омытому, умащенному телу.



Старухи сделали свое дело и ушли, и на некоторое время — до прихода священников, которым надлежало облачить Нерсеса, — он оставался один в огромном зале без окон. Тут-то и появился нежданно-негаданно Айр-Мардпет — главный советник по внутренним делам. Тот самый, что натравил отца Аршака, царя Тирана, на самых знатных в стране нахара-

ров¹; тот самый, по чьему наущению Тиран безжалостно истребил два старейших рода — Рштуни и Арцруни, всех, вместе с женами и детьми. Как повествует о том историк, только лишь двое грудных младенцев — Тачат Рштуни и Шавасп Арцруни — чудом спаслись от убийства, ибо в то время, как шел погром, оба они находились на попечении воспитателей. Тиран приказал уничтожить и этих двоих, дабы ненавистные ему роды прекратили существование. Но тут уже, как добавляет историк, пестуны царского сына Аршака Артавазд и Васак Мамиконяны обнажили свои мечи в защиту младенцев и, спасая их, бежали в собственные владения в Тайк, где и жили долгое время, от всего отстранившись. Они вырастили спасенных Тачата и Шаваспа, отдали им в жены своих дочерей, и таким образом роды Рштуни и Арцруни с годами вновь умножились и обрели силу.

Обо всем этом Нерсес был осведомлен, и потому он обычно старался избегать этого человека. Судя по давности событий, выходило одно из двух: либо что в те времена Мардпет был слишком уж молод, либо что теперь он невероятно стар. Между тем все вокруг и всегда знали и помнили его именно таким. Возраст его был загадкой, которую никто не мог разгадать. Личность придворного советника, казалось, была окутана таинственной, непроницаемой пеленой, а это внушало невольное к нему уважение и придавало особый вес и влияние. Одно время даже пошли слухи, что вовсе не этот самый Айр-Мардпет навел царя Тирана на жестокую мысль, а другой, из того же рода и с тем же именем. Нашлось немало таких, кто охотно поверил, — ведь всем не давало покоя сознание, что до сих пор среди них как ни в чем не бывало живет и здравствует подлый клеветник и сами же они мирятся с его безнаказанностью. В глубине души сильно сомневаясь в таком объяснении, они тем не менее, ради успокоения совести, сочли удобным принять предположение за истину. Сам Айр-Мардпет оставался единственным человеком, который не отрицал и не подтверждал этих слухов.

Его появление сейчас было полнейшей внезапностью. Мгновение он постоял вдалеке, за колонной, потом быстро пошел по направлению к Нерсесу, но промелькнул мимо него тенью, словно даже не заметил. Потом стал появляться то здесь, то там — в самых различных уголках зала, из которых ни один не связывался с другим: то оказывался возле дверей, то у противоположной стены, то рядом, то где-то в глубине зала... Он шагал сосредоточенно, опустив голову, так,

¹ На х а р а р ы — крупные феодалы.

будто что-то высматривал под ногами. Взгляд его ни разу не обратился к Нерсесу, словно того тут и не было. «Наверно, не увидел», — подумал Нерсес. «Наверно, не заметил», — пытался он убедить себя. И все же что-то необъяснимое, неуловимое выдавало, что Айр-Мардпет заметил его, что уже до прихода знал, кого здесь найдет. Потому-то как раз и пришел и чувствует сейчас, что Нерсес тоже обо всем догадывается, все знает.

«Не увидел, не заметил...» Замысловатые, неожиданные перемещения Мардпета родили у Нерсеса беспокойство и даже страх. Что же это такое? Да к тому же еще в эту невероятную, ну просто дикую минуту, когда в целом мире не сыскать, наверное, человека, не имеющего чем бы прикрыть свою наготу. Даже у самого убогого, самого последнего нищего и у того есть свое рубище, свои лохмотья, а он, Нерсес, внук католикоса Усика, праправнук Григория Просветителя¹, сын Атанагинеса и сестры царя Тирана Бамбиш, стоит в чем мать родила, ему одному в целом свете нечем прикрыться — старую одежду сожгли, новую не приносят. С ужасом Нерсес подумал, что Мардпет умышленно объявился здесь именно в эту минуту, нарочно выбрал этот нелепый момент его жизни.

Самым диким, самым непостижимым было, однако, то, что Нерсесу стало даже нравиться его положение. Само сознание, что он, такой, как есть сейчас, — один-единственный в мире, что не существует ему подобного, мало-помалу наполняло его гордостью, будило в нем чувство превосходства. Не над другими превосходства, а над собой же. Над собственным прошлым и даже над будущим. В этот чудесный, неповторимый кусочек времени, в короткий этот промежуток между прошлым и будущим он способен был совершить все что угодно — он мог без колебаний убить человека или пожертвовать за другого жизнью, мог обобщать ближнего, а мог и запросто отдать все свое имущество случайному нищему. Он волен был выбирать, он ко всему был готов — оставаться, как прежде, придворным и воином, или же сделаться католикосом, или же бунтарем, разбойником, пьяницей, блудником, отшельником, воплощением добродетели, образцом непогрешимости, целомудрия, гнусным негодяем...

Ну, а коль скоро понадобилось, чтоб непременно католикосом, что ж, он согласен. Коль нужно, станет. Он найдет

¹ Григорий Просветитель — распространитель христианства в Армении, первый армянский католикос, при котором христианство стало государственной религией в Армении (301 г.).

в себе силы, чтоб переделать эту страну, чтоб посеять в ней повсюду семена человеколюбия, плодами добрых дел, благотворительностью наполнить ее города и села... Счастливое чувство, которое, однако, дано ему ненадолго. С той самой минуты, как совершится выбор и он, Нерсес, станет католикосом, всякая радость и счастье тут же его покинут. Жить надо, держась всегда у порога, царедворец Нерсес, католикос Нерсес; благословенно лишь то мгновение, когда ты на пороге, не дай бог переступить его хоть на шаг...

Внезапно Мардпет возник на самой арене, на устланном коврами невысоком помосте. Возник так, будто из-под земли вырос. Молча сел на краю, подобрал колени, обхватил их руками и уставился взглядом куда-то в пространство. К удивлению своему, Нерсес обнаружил, что у Мардпета очень приятное, очень доброе лицо и голубые, совсем голубые, располагающие к доверию глаза. Нерсес уже едва сдерживался, чтоб не крикнуть, хоть криком привлечь к себе наконец внимание. На лице его проступило жалкое подобие улыбки, и рука вскинулась в неопределенном каком-то жесте в сторону Мардпета — дескать, взгляни же сюда, я здесь, обрати на меня внимание.

— Карают не только за измену, но и за верность, — раздался неожиданно голос Мардпета, не из уст его, казалось бы, исходивший, а из всех углов огромного зала. — Ведь в обоих случаях возникает один и тот же вопрос: а почему изменяет? а почему предан? Именно этим «почему» все и уравнивается. — И Айр-Мардпет, до сих пор не замечавший Нерсеса, теперь наконец взглянул на него, словно впервые увидел, и добавил по-отечески укорительно: — Вот ты, например. Почему ты так предан? Какой корысти ради? Ведь не иначе как есть у тебя корысть. Есть своя выгода, и, стало быть, получается, что преданность твоя небескорыстна, осудительна и постыдна. — Парящий в воздухе голос постепенно сосредоточился рядом, обрел обычное звучание, вернувшись к своему обладателю. — В отвлеченности самая великая сила, Нерсес, в полной отвлеченности. Старайся жить в промежутке — между верностью и изменой. Хотя, признаться, промежуток этот давно заполнен людьми, и свободного места почти не осталось.

Айр-Мардпет встал, теперь уже превратившись из призрачной тени в реального человека, покружился вокруг Нерсеса, потом нагнулся, взял на ладонь остриженную прядь его волос, посмотрел на нее с сожалением.

— Разве можно, чтобы пропали такие дивные волосы? Я сохраню их в драгоценнейшем из моих ларцов. — Сделав

шаг к Нерсесу, он зашептал ему на ухо: — Если тебя когда-нибудь охватит грусть, если ты почувствуешь, что тебя душил отчаяние, если сердце твое сожмется сверх меры и потолок твоей кельи покажется тебе чересчур высоким или чересчур низким, ты придешь ко мне, откроешь мой самый драгоценный ларец, посмотришь на эту прядь, и воспоминания, Нерсес, увлекут тебя за собой, унесут далеко, далеко...

Мардпет умолк, спрятал подобранную прядь в карман и исчез также неожиданно, как и появился.

Нерсес со страхом посмотрел на полуотворенную дверь и мысленно взмолился, чтоб поскорей принесли одежду. Пусть черную, пусть желтую, голубую, оранжевую, пусть какого угодно, самого невероятного цвета, но лишь бы скорей, лишь бы скорей! Ощущение полной свободы выбора набухло комом в горле и душило его, в голове теснились великолепные замыслы, и такую он чувствовал сейчас окрыленность, такой могучий прилив энергии, любил и ненавидел с такой силой, что сам себе уже становился страшен. А еще и немного скучен. А еще и... слегка противен.



— Ну, Драстамат, что у нас произошло? Что ты видел? Что уразумел?

— Как бы не пожалел ты об этом, царь. Нерсес не из тех, кого легко приручить.

— Кто он мне, скажи?

— Двоюродный брат.

— Кровная родня, значит. Католикос должен быть моим человеком.

— Ты пошел сегодня против себя самого. Усилил сторонников Византии. Вернул престол католикоса потомкам Григория Просветителя. А ведь они не единомышленники с тобой, царь.

У Аршака давно уже вошло в привычку, превратилось во внутреннюю потребность каждый шаг свой проверять мнением Драстамата. Он безгранично доверял своему сенекепету, ценил его ум и проницательность. И если бывало, что Драстамат ошибался в чем-то, проявлял недогадливость, попадал впросак, царь веселел и расцветал от радости, как дитя. Он забывал про свое положение, про свое отличие и гордился, одержав верх в каком-нибудь пустяке. Иногда он даже нарочно поступал противу вероятности, чтобы поставить в тупик своего умницу Драстамата, и ликовал при виде

полнейшей его растерянности, тщетных его попыток разгадать, что к чему.

Сейчас Драстамат был прав: возвращая церковную власть роду Григория Просветителя, царь действительно усиливал сторонников Византии, сам, однако, не разделяя их настроений. Но дело в том, что за последнее время слишком уж подняли голову сторонники Персии. Их растущее влияние не могло не причинять серьезного беспокойства. Надо было, пока не поздно, восстановить равновесие. Ему, царю, постоянно надо было следить, какая чаша на весах перевесила, чтобы немедленно поспеть на подмогу другой...

— Послушай, Драстамат, что мне представилось... Площадь перед дворцом, множество людей, бурлящая, разношерстная толпа, и я где-то посреди этой огромной толпы. Со всех сторон на меня насаждают люди, толкают, давят. Я задыхаюсь, я слышу, как трещат мои ребра, и все-таки терплю, держусь на ногах. На лице у меня счастливая глупенькая улыбка. Рядом со мной потерял сознание старик, женщина тут же в толпе с криком и стонами родила мальчика. И все это отчего? Ты понимаешь? Оттого что с минуты на минуту здесь, на площади, покажется царь. Оттого что каждый тянется, рвется хоть на мгновение его увидеть. Я хотел бы быть одним из них, Драстамат. Приподыматься на цыпочках, до боли вытягивая шею и улыбаясь глупой, счастливой улыбкой. Эх, Драстамат, если бы мне дано было знать, что правильно, что неправильно...

Нет, нет, его выбор католикоса правильный. Что ни говори, а есть такие моменты, когда он доверяет только собственному чутью, отродясь живущему в нем инстинкту, вошедшему в кровь всех Аршакуни, которым суждено из поколения в поколение зубами удерживать царство, выскакивать из ловушек и вместо наслаждения полнотой своей власти испытывать горечь ее утраты. Нерсес великолепно выглядит, заразительно говорит, люди поверят его слову, пойдут за ним. Да вспомнить хоть, как свободно, с каким достоинством держался он только что перед ним, Аршаком, какие смелые слова швырял в лицо самому царю, как страстно желал или не желал чего-то, любил или не любил. Сколько силы и красоты было в его сегодняшнем бунте, в отчаянных его мольбах...

Жалко Нерсеса, по-настоящему жалко. Такой человек не заслуживал рясы. Не для участи священника явился на свет. Он способен был своим мечом совершать чудеса, мог вдохнуть жизнь в холодный кусок металла, прославить союз клинка и мощной руки мужчины, в его крови могла заки-

пять и любовь, и ненависть. Он способен был не послушаться здравого смысла, безрассудно свернуть с прямого пути — и трижды благословенно такое безрассудство! — он не из тех был, кто терпеливо дожидается смерти, он кидался бы ей навстречу, искал бы сам с безумной, вызывающе дерзкой отвагой — трижды благословенна такая дерзость, такое безумие! — и нашел бы ее, может, на поле боя, а может, и на белой измятой простыне, в объятиях какой-нибудь дивной красавицы. Теперь же ему придется умереть естественной смертью. Жизнь его потечет ровно, разумно. Всему будет своя причина, свое объяснение. Все в меру, все рассчитано, все в должном порядке. И не случится ни одной чудесной ошибки, ни одного прекрасного срыва.

Что поделаешь, его сгубили собственные же достоинства. Был бы сереньким человеком, и жил бы себе спокойно. Как раз такой, как Нерсес, и нужен сейчас Аршаку. Католикос — второе лицо в стране. Он стоит рядом с царем и должен быть яркой, незаурядной личностью. Ну а сам он, сам? Разве он хуже Нерсеса? Разве меч его не так же вскипает в ножнах, не так же одушевляется, почувствовав его руку? Разве сам он не изведал дурмана любви и страсти с безымянными наложницами, блаженства этих ночей, из которых ни одна на другую не походила, у каждой было отличие, у каждой — имя?..

Так и надо тебе, Нерсес! Где же тут справедливость, когда царь забывает про себя самого, мается и страдает ради других, всю жизнь свою посвящает людям, большинство которых он и в глаза-то не видел, и знать не знает, а двоюродный его братец и в ус не дует, живет в свое удовольствие, как хочет, тешится, сам себе хозяин, сам себе царь. Поделом тебе, Нерсес! Давай послужи-ка совершенно неизвестным тебе людям, познай сполна весь ужас такого вот служения. Если раньше по каким-то особым случаям приносились жертвы у алтарей, даже, бывало людей закалывали, то сейчас цари ежедневно собою жертвуют. Поделом тебе, Нерсес. Давай-ка теперь и ты, с этим своим открытым, благородным лицом, ступай к алтарю и приноси себя в жертву. Изо дня в день сдирай с себя кожу, истекай кровью капля за каплей, все соки из себя выжми, — ничего, ничего. Кто сказал, что на лбу у тебя написано умереть этак негаданно, завидной и легкой смертью? В бою... Или на белой измятой простыне... Почему так? Почему в объятиях дивной красавицы? И что в этом завидного? Что в этом благословенного?

В одно мгновение все это утратило свою привлекательность и показалось царю просто-напросто пошлым. Он по-

чувствовал вдруг дикую ревность — к Нерсесу, к его прошлому и к его будущему, которое не удастся, не состоится, да, точно — не состоится, точно — не сбудется. За несбыточность его будущего царь и полюбит Нерсеса, даже сейчас уже любит, сейчас жалеет.

Все это само собой, но добавок имелось и еще одно важное обстоятельство. Аршак был возведен на престол персидским царем. А это делало его подозрительным в глазах византийцев, лежало на нем непростительным, порочным пятном. Получи он свой венец от императора, тогда, значит, точно так же косились бы на него персы. Армянский царь, так уж повелось, всегда под угрозой. С самого своего зачатия, со дня рождения на свет, с первого крика, с первого же самостоятельного шага, когда присматривающие за ним вдруг замечают, что он пошел сам, ни за кого не цепляясь. И вот теперь он должен угодить императору, отдав духовную власть роду Григория Просветителя, всегда державшему сторону греков, должен в какой-то мере оправдать себя в глазах императора и в той же мере провиниться перед царем царей. Опять, опять это осточертевшее равновесие, опять эти тошнотворные усилия выровняться.

В стране полно канатоходцев, которых вознаграждают деньгами и едой, и они довольны; ему же, первому из канатоходцев, царю канатоходцев, вручают взамен корону, вручают вот этот драгоценный, роскошный, переливающийся жемчугами венец, а ты старайся-ка, держи его покрепче на голове, не дай бог уронишь: ведь где-то там, под канатом, там, на земле, далеко внизу, какие-то людишки замерли в ожидании, с обращенными к тебе взорами, с протянутыми руками...

Еще только приняв венец, Аршак начал с того, чтоб расположить к себе, вернуть ко двору, к участию в общих делах царства отстранившихся, замкнувшихся в своих владениях нахараров.

«И державная власть в армянской стране возродилась и окрепла, как прежде, — повествует историк. — Вельможи оказались вновь каждый на своем месте и сановником при своем сане. И в первую очередь должность азарапета¹ была поручена роду Гнуни, дабы они имели попечение о крестьянах, строящих и кормящих всю страну. Также должность спарапета, предводителя войск, поручил царь славному и благородному роду Мамиконянов, носящему знамена с изо-

¹ Азарапет — буквально: «тысяцкий», главный эконом царя, ведал государственным хозяйством, налогами и податями.

бражением голубя и со знаками орла, бесстрашному и отважному, преуспевающему в военных делах, роду, которому небо всегда посылало победу и добрую славу. Назначил и других должностных лиц...»

Были восстановлены в своих должностях Айр-Мардпет — главный советник по внутренним делам, Смбат Баградуни — венцевозлагатель и аспет¹, Гарджуйл Хорхоруни — главный телохранитель. Назначены были главный смотритель одежд, столтник, кравчий, главный палач, охотничий, конюший, оруженосец, а также сенекапеты, писцы, переписчики. Аршаку казалось, что он делает мудрый шаг — десятки нахараров теперь у него в долгу и постараются отплатить за оказанную им честь преданностью, согласием и единением. Воодушевленный своей деятельностью, он был даже уверен, что до него никому и в голову не приходила такая хитрость. Со временем, однако, ему открылась другая истина — что по естественному, идущему издревле закону людям свойственно забывать о своей задолженности и преспокойно не выплачивать долг.

Значит, не в том состояла мудрость, чтоб раздавать высокие должности, а в том, чтобы раздать их своим близким, своей родне, людям, которых связывает друг с другом кровь. Католикосом должен быть его человек. И вообще все более или менее влиятельные должности при дворе должны быть и будут заняты его людьми. Уже достаточно битый, уже поскромневший, царь не считал теперь, что ему первому пришло это в голову. Теперь-то уж он был совершенно уверен, что именно в этом состояло и состоит первейшее необходимое условие и средство обеспечить силу и безопасность тому, кто стоит у власти.

— Мир между Персией и Византией обманчив, царь, — прервал его размышления Драстамат. — Ты и сам прекрасно знаешь, что война неизбежна. Ты должен решить, на чью сторону станешь.

— А зачем я должен становиться на чью-то сторону? — Кровь кинулась ему в лицо от этих вполне разумных, вполне справедливых слов сенекапета. — Я хочу быть сам по себе. И если воевать, то с моими же князьями, которые смеют не покоряться мне; если быть жестоким, то к моему же простому люду, недовольному и ропщущему на меня. О, как мне хочется быть жестоким, Драстамат! Жестоким не из осторожности и не от страха, а от сознания собственной силы. — Он умолк, остановился на краю аллеи дворцового сада, при-

¹ Аспет — здесь начальник конницы.

слонился к широкому стволу дерева и продолжал с горькой усмешкой: — Прости меня, Драстамат, я забыл на миг, что я всего лишь царь небольшого народа. Нет хуже проклятия, чем быть царем небольшого народа. Ты должен вечно хитрить. Жить в страхе и трепете. Твой каждый шаг зависит не от тебя, а от кого-то другого. С кем бы я тут ни разговаривал, я читаю в его глазах: «Какой ты царь? Настоящие цари — о н и!» Вот так-то. Знаешь, зачем я им нужен? Только как украшение, как бриллиант, как породистый конь. Ведь при наличии царя и слуги что-то да значат. Что же выходит, Драстамат? Выходит, это я служу своим подданным, а не они мне.

А ненадежное, неустойчивое положение страны, нависшие над ней угрозы и беды? Все это ведь приходится не на каждого поровну, все это достается одному человеку, ему одному, царю. Они считают, что это его лишь боль. Что с нею он родился. Получил как наследство — вместе с землями, слугами, крепостями, дворцами. Они не знают, не понимают, подумал Аршак со злорадством, что в этом подлом их отношении к своему царю таится их же боль, их же беда.

— Ход мыслей твоих сокрыт от меня, царь, — заговорил снова Драстамат с той же своей суровой прямою и деловитостью. — Мой долг лишь напомнить, что ты должен сделать выбор. Или Персия, или Византия. Или сторонники Персии, или сторонники Византии. Своей силы у тебя нету.

— Есть, Драстамат, господь свидетель, есть! — Он выпрямился, оживился, в глазах его появился блеск. — Великое множество людей, Драстамат! Целое море... Громадный вулкан... И я заставлю их присоединиться ко мне. Заставлю полюбить меня. У меня есть замыслы, планы. Я не посвящаю тебя в них, чтобы не услышать твоего совета. Сейчас я только твоего совета боюсь... Правильного совета... — И, перейдя на резкий, колючий тон, приказал сердито: — Всех нахараров извести о приглашении на обед. Всех без исключения.

★ ★ ★

Каждый из армянских царей строил и оставлял стране город, нареченный его именем. Примеру предшественников последовал и Аршак. Он принял решение о строительстве нового города, дав ему название Аршакаван. Нахарарам было приказано, чтобы в меру своих возможностей они предоставили денежные средства, а также послали людей на строительство города. Каковы же были изумление и гнев Аршака, когда он увидел, что его темные, дубоголовые наха-

рары, его разьевшиися, оплывшие жиром князя медлят с выполнением приказа, да еще и придумывают себе оправдание — мол, прежде строительство таких городов осуществлялось без всякого их участия, мол, это свершалось лишь посредством насильственного переселения. Одни делали вид, будто забыли о царском приказе, другие, приличия ради, послали кучку людей и на том и успокоились, сочли свой долг выполненным.

Не иначе как думают, что царя можно околпачить. А может, вызов ему бросают? Может, хотят, чтобы он просил? Наверно, наверно. Не наверно, а так и есть! А ты знай, знай, Аршакуни Аршак, что только тот настоящий вождь, тот настоящий властитель, кто даже из неповиновения извлечет себе пользу, против них же обернет, изыщет, как это сделать, найдет, придумает дьявольский ход. Придумай же, если ты мужчина, придумай и действуй.

— Пригласи нахараров, — повторил он. — Всех без исключения пригласи на обед.

Неожиданно для Драстамата царь подошел к нему вплотную, взял за плечи и, заглядывая прямо в глаза, холодно произнес:

— Между прочим, я все забываю спросить, может, тебе неприятно, что я откровенничаю с тобой? Может, тебя это смущает?

— Но почему же, царь? — пробормотал Драстамат.

И снова Аршак обрадовался и повеселел, как дитя, при виде смятения и растерянности на лице своего любимца, своего прямодушного Драстамата.

— Потому что я царь, а ты всего лишь придворный. Между нами огромное расстояние. Непроходимая граница. Ты не в обиде, что я нарушаю ее? Ведь соблюдать ее полагается нам обоим.

— Ты доверяешься мне, ибо в твоих глазах я ничтожество, — легко нашелся с ответом Драстамат, уже успевший обрести свою обычную невозмутимость и рассудительность. — Тебе удобно быть откровенным со мною, царь.

— Вот видишь, и у тебя есть неплохое оружие. Я силен своей властью, а ты — ничтожеством. В чем-то мы с тобой, представь себе, равны.

— Этим оружием, царь, наделил меня ты. Разве мало на свете безоружных ничтожеств? Мое ничтожество приобретает вес в соседстве с тобою.

Царь осекся, нахмурился. Может, и здесь он дал маху, и здесь обманулся, может, зря ему казалось, что он знает своего Драстамата?

— Не угодить ли хочешь? — спросил он мрачно.

— В мои обязанности это не входит, царь, — возразил Драстамат с достоинством, совершенно спокойно.

— Пора идти. Не годится держать святейшего в ожидании, — проговорил Аршак и подумал с облегчением, успокоенно, что нет, тут он не обманулся, тут все по-прежнему, в порядке. Он направился быстрым деловым шагом к главным воротам внутренней крепости, именовавшимся вратами Трдата, но по пути что-то вспомнил и обернулся назад: — Пригласи во дворец моего старого друга азата¹ Ефрема. Скажи, пусть подождет меня. Царь постарается непременно выкроить время и сыграть с ним в шахматы.

С неожиданной силой в нем проснулось желание, нет, настоятельная потребность повидать старого своего приятеля, друга детства. Давно, давно уже не встречались они с Ефремом, не сиживали вместе за шахматным столиком, а все его вина, его, непостоянного друга, чересчур уж много о себе возомнившего, чересчур задравшего нос, вознесшегося царя. Нет, что-то, должно быть, расстроилось, что-то неладно, раз ни с того ни с сего ему приспичило повидать Ефрема. Он посмотрел на Драстамата, идущего вслед за ним с ничего не выражающим, холодным лицом, прямо неся свое литое, могучее тело, и губы его тронуло чуть заметной улыбкой.

— Но ты не волнуйся, — сказал он непринужденно. — Не беспокойся, сенекапет, мне нравится быть царем.



На площади перед церковью стояла в ожидании толпа. Та самая несметная разношерстная людская толпа, которую вообразил себе царь, разговаривая с Драстаматом. Только сам он сейчас не в толпе находился и не жалел об этом, не жаждал в ней оказаться. При виде множества людей, пусть хоть они собрались на праздник, пусть хоть ему же поклоняются, его же обожествляют, он всякий раз внутренне передергивался и мрачнел на мгновение, словно почуяв опасность. Видать, и это вошло ему в кровь, передалось по наследству от предков. Но такое ощущение возникало всего лишь на миг; голос крови, едва проснувшись, тут же и умолкал в нем, и он снова преисполнялся любви к своим подданным.

¹ Азат — буквально: «свободный», мелкий феодал-землевладелец, зависимый либо от самого царя, либо от крупного землевладельца. Азаты несли главным образом военную службу.

По толпе передалось, что приближается царь. Он появился без телохранителей, в сопровождении Драстамата, появился во всем своем великолепии и блеске. Его ровно остриженные пышные волосы спускались до затылка, лицо обрамляла густая черная борода. Голова его, поверх украшенной жемчугами налобной повязки, была покрыта высокой серебристой тиарой. Белый складчатый воротник, а также края его широкого, царственно богатого платья расшиты были камнями, в ушах сверкали крупные серьги, на груди переливалось драгоценное ожерелье. Великолепная брошь скрепляла у него на плече фамильного пурпурного цвета мантию, золотканый пояс туго охватывал стан, на боку висел меч в золотых ножнах. За каждой мелочью его убранства — от лучистого ожерелья на груди до оплетающих ремешками ногу красных сандалий — крылся какой-то особенный, загадочный смысл, какая-то волнующая до дрожи тайна.

Толпа самозабвенно, с восторгом и ликованием приветствовала царя, потом расступилась, давая ему дорогу, и по проходу, образовавшемуся меж двух человеческих стен, царь направился к церкви и остановился у паперти.

Раздался звон колоколов, послуживший сразу сигналом для всех колоколов столицы. Весь Арташат, все от мала до велика повысыпали из домов, рекою потекли по мощеным улицам города и умножили вдесятеро толпу перед возвышающейся у крепостной стены церковью. Все глаза были выжидательно устремлены в одну сторону. Люди рассказывали друг другу о том, что все и так уже видели, и так уже знали. Как будто видимое сейчас каждому еще и требовало подтверждения. Как будто то, что происходило у всех на глазах, немедленно надо было облечь в слова, чтобы эта неповторимая, историческая минута стала еще значительнее, еще весомее и навсегда запечатлелась в памяти целого поколения.

Звон колоколов, все нарастая и ширясь, захватил, заполнил весь Арташат. Казалось, он исходит уже отовсюду — от каждого камня мостовых, от стен, от кровель, от крепостной ограды... От могучего этого гула, объявшего все вокруг, колотилось, вздымалось сердце толпы, превратившейся сейчас в одно единое существо, толпы, у которой было словно одно огромное сердце, один единый взгляд, один характер, одно настроение, одна мечта, одно прошлое, одна судьба. И две любви — к царю и к ожидаемому с нетерпением католикоосу.

Из церкви двумя рядами вышли священники, держа в руках кресты и кадила. Посредине шел Нерсес, обла-

ченный в черное с головы до пят, величавый, красивый, с печатью святости на челе. Он выглядел как человек, очистившийся от грехов, отрешенный от суеты, простившийся с прошлым, покончивший с былыми страстями и помыслами. Он будто заново родился, чтобы предстать перед миром, перед людьми с открытым челом, с безмятежным и ясным взором. Он принял свою судьбу, подумал Аршак. Не примирился, нет, а именно принял. Он верит в себя, в свою миссию, в свое второе рождение, верит так же, как в камень у себя под ногами, как в эту стену, в этот куст, в эту замершую толпу, в эти тысячи прикованных к нему глаз.

Толпа, как один человек, рухнула на колени.словно одна простершаяся над всем Арташатом кровля в мгновение ока обрушилась к ногам католикоса. Он еще не католикос, он еще только готовится к посвящению, и ему еще предстоит проделать путь до Кесарии, где патриарх патриархов блаженный Евсевий испытает его и рукоположит католикосом Великой Армении. Но все равно ни толпа, ни царь при виде этого молодого мужчины в черном не придали значения закону, обычаю, одним порывом мысли и сердца опрокинули привычную силу традиции. Вот он — католикос Великой Армении, патриарх всех армян, пресвятой владыка, вот этот еще не принявший посвящения человек.

Захваченный, зараженный всеобщим подъемом, царь почувствовал себя частицей этой толпы, слился с нею, преграда меж ним и другими исчезла, и он молил сейчас бога, чтоб это чувство продлилось подольше, чтоб никогда не покидала его внутренняя потребность повидаться с другом детства и поиграть с ним в шахматы, чтобы всегда ему так жаждалось всего простого, обыкновенного — дрожать от холода, проголодаться, оцарапать босую ногу, таскать бревна, навалившись вместе с другими, перекачивать камни, вместе с другими класть стену, настилать кровлю. Только это мгновение и это чувство да будет благословенно, а вовсе не то молодецкое безрассудство, которое давеча в аллее дворцового сада он так зло и безжалостно приписал Нерсесу.

Тысячи людей отовсюду протянули руки к святейшему со страстным желанием коснуться его, очиститься, освободиться от бремени тревог и забот, вымолить себе счастливый завтрашний день. Тысячи больных и увечных, слепых, безязыких, нищих и бездомных, стариков и старух, словно поддерживаемые всевышней силой, пробивали себе дорогу среди толпы и бросались к ногам католикоса, прося благословения, ожидая чуда от прикосновения его руки. Ну а тому, кто был счастлив, хотелось большего счастья, богатому

хотелось прибавления богатств, удачливому — побольше новых удач, и всем — побольше, побольше, лишь бы только побольше, лишь бы только еще, и еще, и еще...

Вмешалась стража и начала оттеснять толпу. Но люди сопротивлялись, полагаясь каждый на то, что сопротивление его не будет замечено и наказано, потому что ведь он сейчас не он сам, а только капля в море, только частичка лавины, потому что в этой лавине ни у кого сейчас нет ни лица, ни отличия, есть лишь общее, лишь единое лицо толпы, потому что вовсе ведь не движения его ног и локтей — причина всей этой толкотни и давки, а какая-то вне их самих находящаяся, неведомо откуда рождающаяся темная сила.

И все же стражникам удалось оттеснить толпу, очистить пространство между одетыми в черное и пестрящее всеми цветами морем людей. Царь получил наконец возможность приблизиться к Нерсесу — не к двоюродному своему брату, а к уже почти что католикоосу армян. Извечная преграда меж ним и толпой, между всеми царями и всеми толпами, исчезнувшая было на минуту, воздвиглась снова. В мгновение ока, не причинив ни сожаления, ни боли, испарилось, растаяло в воздухе счастливое чувство своей полнейшей слитности с окружающими, и только он, только царь волен был подойти сейчас и получить благословение католикооса. Они стояли один против другого и смотрели друг на друга, как двое приговоренных. С волнением в душе царь опустился на колени, благоговейно припал губами к деснице Нерсеса. И новоизбранный пастырь, еще и права на то не имеющий, тремя перстами перекрестил и благословил царя.

Глава вторая

Скука, которая изо дня в день накапливалась, нагнеталась в однообразной жизни дворца, доходила порой до того, что уже не выдерживала своего же собственного давления, в один прекрасный день взрывалась, подобно вулкану, и тогда снопами взметались в воздух яркие, переливчатые, ослепительные цвета, сияющие улыбки, искрометные шутки, шушуканье и шепот сменялись полнозвучными голосами, даже пересуды по углам и те становились добрее.

Во дворце шли большие приготовления к пиршеству.

На кухне повара и их подручные с ухватами, половниками и ножами в руках стояли у жаровен, чем только ни уставленных — большими медными котлами, противнями, глубокими и плоскими сковородами, всевозможными медными и глиняными горшками, рядами тонких, заостренных же-

лезных шампуров... И все это бодро, в лад потрескивало и шипело, булькало и посвистывало, от нетерпения словно ходило и подскакивало на огне, спеша извлечь чудеса вкуса и аромата из полыхающих румянцем, вспотевших от жара, обеспамятевших от кипения даров природы.

Из вырытых в земле круглых очагов, по стенкам обожженных кирпичами, пекари извлекали душистый хлеб и складывали его высокими стопками в плетеные корзины и на подносы.

Из карасов разливали по тонкогорлым, с двумя ушками сверху, серебряным кувшинам пьяное от солнца, пенящееся вино — яблочное, гранатовое, розовое, айвовое, а также лимонную и медовую водку, обещающую тому, кто ее вкусит, блаженство сближения и согласия с самим собою.

В столовой палате слуги сдвигали в один ряд столы, стелили тонкие скатерти, расставляли квадратные кресла с прямыми спинками и прямыми же невысокими подлокотниками, раскладывали по сиденьям золотистые узорчатые подушки. Если бы каждое из этих кресел обрело язык, то оно рассказало бы, сколько отдано ему человеческой страсти, с какой любовью и нежностью руки его обладателя касались его точеных локтей — ни одной женщине в мире не снилась такая нежность, — как горячо, как крепко прижимались к нему, словно желая срастись и слиться с ним навсегда. Или же как порою, даже в самый разгар застолья, безотчетно, как бы спохвату, откидывались на мгновение и потирались об его спинку, словно затем, чтобы проверить его прочность, убедиться, что все в порядке и ничто не нарушилось в заветной связи человека и кресла.

У каждого нахарара имелось в трапезной свое постоянное место, своя, как принято было говорить, подушка. Места, или подушки, распределялись меж ними по старшинству рода, по его весу и положению. Кого где усадят, оборачивалось делом чести и не раз давало повод к кровавым междоусобицам. А потому и дабы положить конец таковым, во дворце составлялся список нахарарских мест, собственноручно скрепляемый каждым новым царем. При Аршаке четыре первых места в этом списке занимали именуемые бдешхами владельцы порубежных областей — Цопа, Алдзника, Гугарка и Кордука — сторожевые границ, особо приближенные к трону. За ними следовали владелец Сюника, князь-венцевозлагатель из рода Багратуни, князь Арцруни, Хорхоруни, военачальник, или спарапет, Мамиконян и далее около ста нахараров.

В этот день дозорные на крепостной стене то и дело взмахивали платками, оповещая о прибытии новых гостей. Наха-

рары, званные на обед, прибывали каждый со своей свитой. Миновав Трдатовы врата, они спешивались с коней, приветствовали друг друга, обменивались крепкими рукопожатиями. Затем проходили в одну из дворцовых зал, где скидывали с себя меховые накидки и мыли руки душистым травным порошком. Дома у себя до отбытия на подобные торжества они совершали полное омовение, умащались благовониями, укладывали волосы — длинные вьющиеся пряди сплетались и окружали голову пышным венцом. На всех были алые атласные кушаки — знак княжеского достоинства, на ногах — башмаки самой разной окраски, на пальцах — перстни, служившие не печаткой, а украшением. Лишь несколько избранных являлись в тиарах, браслетах, с серьгами в ушах и ожерельями на груди.

Заслуживающим особого отличия нахарарам царь дарил по одному красному башмаку. Два красных башмака мог носить лишь царь, так же как и одному ему за столом полагались золотые ложка и вилка и золотая чаша. Нахарары оставались за пиршественным столом при мечях и кинжалах, уже и не помня или же прикидываясь непомнящими, что обычай этот идет от горького опыта тех времен, когда, не раз бывало, на безоружного гостя за столом же обрушивалась царская месть. В свою очередь и царь ни на минуту не допускал или прикидывался ни на минуту не допускающим мысли, что прежде всего и именно против него это и направлено.

И таким вот образом нахарары и царь, забывая время от времени про вековую свою вражду, исполненные обоюдного согласия и доверия и вооруженные до зубов, собирались на праздничное пиршество во дворце.

★ ★ ★

Васак был короткорукий, коротконогий, но, глядя, как он шагает, всякий смекнул бы, что спарапет и не подозревает об этом.

Вот снова во дворце, окруженный со всех сторон ослепительным, ошеломляющим блеском и роскошью, среди которых чувствует себя как-то неловко, незащищенно. Если бы здесь накинлись вдруг на него заговорщики, он, наверное, растерялся бы, как неопытный юноша, ни разу еще не державший в руках оружия. Чтоб обрести себя, ему нужно было открытое поле, нужны были небо и горизонт. В пустом дворце его уху отовсюду слышался шепот — он исходил от стен, от каждой колонны, от ковров, от ступеней мраморной

лестницы, и Васак поневоле ускорил шаг, чтобы глухие шепоты не осели пылью, не въелись в его оружие и одежду.

Это были шепоты коварства, козней, интриг, злословия, клеветы, которые, однако, не сегодня возникли, а веками множились и копились тут. Дворцовые стены вбирали их, пропитывались ими изо дня в день и, казалось, от добавления этой примеси к их камню и песку, глине и извести становились еще крепче, еще выносливее. Шушуканье и перешептывания о том, как во времена Хосрова Котак¹ два могучих рода — Манавазянов и Ордуни, — поссорившихся по какому-то пустячному поводу, преданы были мечу и прекратили существование. О том, как пал невинною жертвой неосмотрительной политики зрелых мужей пятнадцатилетний юноша Григорис, которого его отец, католикос Вртанес, направил первосвященником в пределы грузин и албанов, мазкуты же, в чей стан он прибыл однажды, услышав, что Христос осуждает убийство и алчность, грабительство и разбой, до крайности изумились и, не долго раздумывая, расправились с юным первосвященником, привязав его к хвосту коня и протащив по полю. Как второй сын Вртанеса, католикос Усик, не допустил недостойного царя в церковь, за что и был у церковного же порога бит батогами и предан смерти. О том, как всемогущий князь Рштуни, наперекор увещеваниям добрых людей, повелел свергнуть с утеса в Ванское море восемьсот своих ни в чем не повинных узников. О том, что побежденная, поверженная Армения неизменно представляется в образе женщины со скорбным лицом, сидящей под полотнищем римского знамени; и о том еще, что армянки никогда не простят своим нерассудительным, недалекновидным мужчинам, не простят им их праздной похвальбы и горячности, роковой, губительной неспособности действовать головой, а не одним только сердцем. И о многом еще...

— Сегодня азарапет будет смещен со своего кресла и посажен между князьями Гнуни и Сааруни.

— В чем же он провинился?

— А в том, что присвоил какую-то часть подати, причитающейся дворцу.

Но это было уже не смутное шушуканье-перешептывание, а различимые вполне ясно слова, будничные, ленивые и мирные голоса. Даже можно было догадаться, чьи они и откуда. Скорее всего, это судачили где-то рядом слуги.

¹ Хосров III Котак (Коротышка) — царь Армении (330—338 гг.).

Васак встряхнул головой и сам себе улыбнулся: вот она, Армения, вот она, родненькая. Если б кто сейчас спросил у спарапета, а что же все-таки такое Армения, он без малейшего колебания и задержки пересказал бы услышанный разговор. Как есть, слово в слово пересказал бы. Ничего не убавив, ничего не прибавив. Всем все известно. Все знают, кого и куда сместят. Кого и куда посадят в столовой палате. У кого что будет отнято и кому подарено. За какую провинность и за какую заслугу. Кто сколько выплачивает налога. Кто кому должен. И сколько должен, и с каких пор. У кого нынешний год урожай был богатый, у кого скудный. Кто с кем и о чем вел разговоры, когда и где, в каком уголке, под каким кустом, скалою, стеною. Все, все им известно. Известно даже, что у кого на уме, что у кого на сердце. Знают о тебе и такое, чего и сам ты не ведаешь. Каждый за право свое почитает все знать, обо всем судить и рядить. Никто конечно же не смеет и не думает отрицать, что простолюдин есть простолюдин, а князь есть князь, что над младшими нахарарами есть старшие, а над ними надо всеми есть царь. Нет, нет, конечно же, никто того не отрицает. Но мысленно, но в душе никто не помнит об этих границах. Мысленно каждый садится за стол с царем, дает ему советы, подсказывает решения. Учит, что делать, чего не делать. Кого прогнать из дворца, а кого посадить взамен. Сам про себя решит что-то и тут же распространяет. Что ни день, то новые слухи. Не успеют родиться — глядишь, уже по всей стране разбежались. Вот она — Армения. Все тут друг друга знают, все родня, кумовья, соседушки. Сидели, пировали рядышком за столом, здравицы возглашали, расхваливали друг друга, а там уж и породнились, пошли детишки, и тех переженили меж собой; расплодился они, разъехались кто куда; казалось бы, теперь отдалились один от другого, ан нет, не так уж велика эта даль — всего-то несколько дней пути. А то, что будто бы наши области, нахарарства, совершенно оторваны, отрезаны друг от друга непроходимыми ущельями и горами, это мы выдумали, мы сами же, себе в утешение, себе в подмогу. Уж не внук ли ты Востану, что с крыши свалился и ногу себе покалечил? А ты, никак, зять Варага из Усидзора? Вот оно как тут обстоит дело. Вот она — Армения.

А рядом... Рядом — Византия и Персия, раскинулись из края в край земли, и долго, долго проплывает над ними солнце, и солнечные часы в различных местах показывают полдень в разное время, а все-то мало, все норовят еще кусок урвать от бедного, растерзанного твоего тела, чтоб совсем

уж стало тесно, чтоб ни пройти, ни повернуться. В одну кучу чтоб сбились все, нос к носу, и жили так, застя друг другу свет. Чтоб еще легче было раз узнавать все друг про друга, и разносить слухи, и соваться в чужие дела — приятеля, кума, Варага из Усидзора и даже — господи, прости и помилуй, — в дела придворные, в дела самого царя. Чтоб не осталось в стране даже двоих незнакомых. Чтоб не осталось в стране ни единой тайны. И страны чтоб не осталось. Вот тебе и Армения!



Нахарары, старшие и младшие, сошлись уже в трапезной и, разбившись на кучки, завели разговор. Самвел и Мушег Мамиконяны стояли в сторонке от остальных. Первый был сын Ваана Мамиконяна, второй — сын спарапета Васака. Судя по всему, братьям не скучно было друг с другом. Они о чем-то тихонько перешептывались и посмеивались. Никто на это особого внимания не обращал, потому что о чем же еще шептаться, над чем посмеиваться молодым людям, как не над своими любовными похождениями. Пускай себе смеются, пускай веселятся. Любо смотреть, какая нынче молодежь подрастает. Как на подбор красавцы, и один другого крепче, один другого отважнее, кровь в жилах так и кипит, и правильно — а как же? — пусть кипит, пусть клокочет, их сейчас время, их пора наступила, а наше... наше уже все позади, было, да сплыло, прошедшего не вернуть, еще год, другой, глядишь, и ноги протянул. Наш долг нынче — беречь и поддерживать молодых, передать им свой опыт, достойную смену себе подготовить. За ними будущее, за этими отчаянными храбрецами. Пускай придут после нас, пусть правят, распоряжаются. Так уж оно ведется, так и должно быть, не вечные ж мы... Пусть веселятся, пусть радуются, пока могут, а то ведь завтра уж не до веселья, не до смеха будет; как почувствуют, до чего тяжкое бремя власть, как взвалят на себя это бремя, издали кажущееся заманчивым, сладостным, так и коленки подогнутся, и дух перехватит. Потом, конечно, пообвыкнут, потом подладутся, но молодости уже не будет. Не будет молодости. Появится этакий чуть заметный животик и не исчезнет, а станет расти и расти. Потом почувствуешь, что медленнее сделался шаг, что трудновато подыматься в гору. А там, глядишь, и болячки разные высунутся, хвори пойдут. Так что не беспокойся — всему свой черед, все будет как полагается. Ну а пока смейся, смейся, сынок, смейся и веселись в свое удовольствие.

Смех — это здоровье. Смех — это молодость. А молодость — это будущее. Вот так-то!

Между тем Самвел и Мушег Мамиконяны посмеивались вовсе не над своими любовными похождениями. Они смеялись над ними, над стариками. Смеялись, потому что были полны уверенности, что каждый из них способен совершить то, чего не сумел, не смог совершить ни один из этих полумертвых уже старичков. Смотри-ка, вон тот, едва ведь ноги волочит, а во дворец явился, и впредь будет являться, пока еще дышит, ведь как бы не забыли его, не списали, как бы что-то не затеялось, не обошлось без него. Ему ли не знать, каковы наши законы и нравы? Неважно, велики ли твои заслуги, принес ли ты пользу стране, важно другое — быть всегда на виду, всюду вовремя успеть, вовремя показаться, говорить, ловко и без усталости говорить, произносить трескучие, цветистые речи, осыпать застольными похвалами других и выслушивать таковые же себе. Приподняв полу, собирать и собирать в нее славу. Даже ночью, даже во сне крепко придерживать эту дорогую свою полу, чтоб не выскользнула ненароком, не пропала бесследно ни единая кроха добытой тобою славы.

У аспета и венцезолагателя Смбата Багратуни зачесался нос; экая незадача — хочешь не хочешь, а без руки тут не обойтись, пришлось, значит, поднять на минуту, и что же? — а то, что ты не хозяин уже своей славе, кусочек ее упал и покатился по полу. Может, титул венцезолагателя от тебя укатился и ты остался аспетом Смбатом Багратуни? А может, титул аспета? А может, оба они укатились? И остался ты теперь просто Смбатом Багратуни. Бедный, ах, бедный ты, Смбат Багратуни! Вيني же и ругай теперь свой собственный нос, он один тут виноват, он, а не мир. Укатившуюся твою славу тут же заметил неподалеку стоящий Гарджуйл Хорхорунни, тихонечко нагнулся, тихонечко подобрал ее, тихонечко закинул в свою приподнятую полу. И прибавил к своим титулам еще два новеньких. Пусть и не ладятся они друг к другу, зато как громко звучат. Стариковская страна у нас, воистину стариковская. Не Христа тут почитают, а стариков. Старость — вот единственное преимущество. Ни ум, ни знания, ни способности, а только старость, только она одна. Молодость же, разумеется, самый непростибельный недостаток, самый непопозвожительный, неприличный. Вот так-то.

— Ну как, спарапет Мамиконян, скоро ли ждать войны? Скоро ли тебе придется защищать мою жизнь?

Вопрос был задан Смбагом Багратуни, которому одному здесь из всех дозволялось носить налобную повязку с мелким жемчугом в три ряда, без золота и камней. Коренастый, крепко сбитый Васак всякий раз злился от этой бездарной шутки и всякий раз отступал перед ее полнейшей тупостью, в которой крылась какая-то необоримая сила, какой-то могучий, неодолимый напор. И спарапет, не раз на поле сражения одерживавший блистательные победы, уходил всегда из дворца сломленным, побежденным. Всегда он чувствовал себя здесь каким-то жалким, беспомощным и от смущения, от неловкости старался каждому угодить.

В особом кармане он держал при себе всевозможные дорогие украшения, безделушки и, как только замечал, что собеседник его хитрит, тут же под каким-нибудь удобным предлогом, с улыбкой преподносил ему одну из этих вещей. Кто-то легонько кольнет его в разговоре, и тому сейчас же вручит подарочек, и это ему уже щит, за которым можно укрыться и никаких уколов не замечать, не чувствовать. А уж если дело доходило до лесты, он доставал и дарил самую лучшую драгоценность — ограждал себя ею, как надежной стеной. И все с превеликой радостью принимали и с гордостью украшали себя вещицами, полученными в дар от храброго спарапета, даже и не подозревая, что каждый из этих даров есть попросту печальное немое свидетельство поражения, нанесенного мирной жизнью.

— Князь Гнуни, — негромко обратился Смбаг Багратуни к седовласому старику, который, как назло, туговат был на ухо, — слышал ли ты, что царь намерен переместить Андовка Сюни? Посадить его между князьями Хорхорунни и Мамиконяном...

Получилось слишком уж громко, многие, наверное, услышали. Ну и бог с ним, не беда, услышали так услышали.

— А мне сказали, что перемещать будут Камсаракана. Посадят между владельцем Габелским и Димаксяном.

— Привет молодежи! — с опозданием вошел в трапезную Меружан Арцруни и первым увидел Самвела и Мушега Мамиконянов. Покровительственно потрепал их по плечу и, не останавливаясь, прошествовал к старикам. Мушег и Самвел стиснули зубы и проводили его неприязненным взглядом. Меружана братья недолюбливали особо, потому что он хоть и молод был, а уже приобрел немалый вес и влияние при дворе и в списке нахараров числился третьим вслед за князьями Сюни и Багратуни. Князь Андовк Сюни заметил

враждебные взгляды Мушега и Самвела и, отделившись от своей группы, подошел к юношам с улыбкой.

— Окажись вы на нашем месте, хуже нас будете, — сказал он мягко, без тени укора. — Потому что вы умнее нас, способнее и умнее. Вот в чем беда... — И он с улыбкой же отошел, на ходу кинув через плечо братьям: — Не дай бог, чтоб вы заняли наше место.

— Царь идет! — послышался среди общего шума могучий и строгий голос Драстамата, и в ту же секунду в трапезной воцарилось молчание.

★ ★ ★

— В списке вельмож и нахараров никаких изменений, Драстамат?

— Распределение нахарарских мест все то же, царь.

— Рад слышать. Это значит, что наше согласие не нарушено. И поскольку никто не понес наказания, никто не согрешил против престола — против престола, а не меня, — пускай, стало быть, каждый займет положенное ему место.

Обычная церемония состоялась, нахарары стали рассаживаться по местам, и снова, в который раз, с радостным узнаванием и с величайшей нежностью прижались друг к другу точеный подлокотник и ласковая рука — в знак взаимной преданности человека и кресла, взаимной их связанности и любви.

Драстамат, затаив дыхание, наблюдал за царем. Он один только угадывал сейчас лихорадочное его состояние и мысленно молил бога оберечь царя от ошибки. Впервые царь не посвятил его в свои намерения. Значит, что-то задумал шальное, значит, не сомневался, что Драстамат с легкостью опрокинет его замысел, разрушит, не оставит камня на камне. Сейчас он слепо, безрассудно кинется в бой — либо победа, либо сокрушительное поражение. Господи всемогущий, простри над ним десницу, обереги этого безумца Аршакуни.

— Князь Вачак, ты по-прежнему сидишь последним?

— Я доволен, царь, не жалею на судьбу.

— Застрял ты, князь, засиделся с краю. А всё соседи твои виноваты. Никто не бунтует, никто не хочет идти против трона, вот и не освобождается для тебя место получше. Обижайся на них, не на меня.

— Я счастлив, что удостоился твоего внимания, царь.

Князь Вачак, со страху прилипший к стулу, кое-как собрался с духом и встал, чувствуя, что разговор на этом не кончится. Все со сдержанной улыбкой посмотрели на сму-

ценного князя и преисполнились еще большей любви к своим креслам. И любви к царю. И любви к Вачаку. И любви друг к другу.

— Твое место и положение побуждают меня относиться к тебе с симпатией, князь. Сегодня я хочу предложить тебе свое место, хотя бы на день. А я перейду на твое.

— Я доволен своим положением, царь, — пролепетал растерянный, побледневший Вачак.

— Ты разве не знаешь, если царь говорит что-то мягко, пускай даже шепотом, это уже приказ. Неужели в этой стране и доброе дело надо осуществлять в порядке приказа?

Царь встал и укоризненно посмотрел на Вачака. Встали и нахарары. Что тут поделаешь? Едва передвигая ноги, Вачак доплелся до царского кресла и стал за высокой спинкой — только голова его и виднелась оттуда.

— Ну, князь, уступаю тебе на сегодня свое место. Побратски. Без всякой мысли посмеяться или унижить тебя.

Царь быстрым шагом направился к краю стола и уже опустил было на сиденье, но тут заметил, что голова князя Вачака как торчала, так и торчит за спинкою его кресла.

— Сядь, — произнес он мягко, — сядь, чтобы и я сел. Князь Вачак, трясаясь, вышел из укрытия и опасливо сел на краешек царского кресла.

Сел и царь. Сели и все нахарары. Каменная тишина воцарилась в трапезной. Странно, в высшей степени странно было, даже при таких обстоятельствах, видеть на царском месте не Аршакуни, а кого-то другого. И, окрыленные тем, что видят перед собою, все сто нахараров, все до единого, представили себя сидящими на месте царя, каждый мысленно сейчас же перебрался на царское кресло, а один даже вскинул руку и помахал своему двойнику.

— А теперь скажи-ка, князь, что ты испытываешь? Что ты чувствуешь, сидя на моем месте?

При звуке царского голоса нахарары опомнились и мигом возвратились каждый на свое место. Лишь Меружан Арцруни чуть-чуть помедлил, подзадержался. А один из стоявших у двери стражей, как ему и следовало, в дураках остался. Только было осмелился устремиться к царскому креслу, но, экая досада, не успел, опоздал, услышал бедняга голос царя и в ужасе повернул с полдороги обратно, застыл опять, как положено, у двери.

— Скажи нам, князь, что ты сделал бы на моем месте?

За столом раздался всеобщий хохот. Нахарары еще удобней устроились на своих сиденьях, предвкушая приятнейшую забаву.

— Не смейтесь, князья. Я решительно против вашего смеха.

Весь превратясь во внимание, царь с нетерпением ждал, что ответит ему Вачак, и нахарары, к неудовольствию своему, поняли, что он и в самом деле не шутку, не забаву затеял.

— Я... — князь Вачак услышал вдруг собственный голос, показавшийся ему чужим, неприятным. — Я бы влез на стол и расхаживал по нему...

— Понятно, ничего подобного ты бы, конечно, не сделал. Просто тебя прельщает такая возможность. Вот, значит, как ты представляешь себе полновластие. Интересно, интересно. Еще что, князь?

— Я приказал бы всем нахарарам брить головы и представлять перед царем непременно с голыми черепами, — ответил Вачак, от страха несколько даже осмелев.

— Вот как?! — воодушевился царь.

— Если бы я совершил какой-нибудь грех, я бы всю страну заставил поститься, — продолжал Вачак, все больше смелея и уже не прислушиваясь к своему голосу. — Я запретил бы кому бы то ни было носить те цвета, какие ношу сам. У меня были бы собственные цвета.

— Еще что? — все более воодушевлялся царь.

— Еще? Еще я приказал бы, чтобы четыре моих бдешха, в коротких одеяниях, бежали бы обок моего коня всякий раз, как я выеду верхом, — продолжал Вачак, свободно расположившись в кресле, прислонившись к его спинке и похозяйски сжав подлокотники.

— Ну, ну, дальше...

— Когда бы я восседал на троне, мои четыре бдешха стояли бы у его подножия в каменной неподвижности, сложив руки на груди и потупя взоры — в знак того, что их жизнь всецело посвящена царю. — И уже вконец распоясавшись, выйдя из берегов, Вачак желчно, со злобою выкрикнул: — Я уничтожил бы всех бедняков и нищих. Чтоб и духу их не было... В моей стране остались бы только богатые! Только здоровые! Только красивые!

Снова воцарилось молчание. Все взгляды были прикованы к раскрасневшемуся от возбуждения, от счастья князю. Счастье это, наверное, продлилось бы дольше, не заметь князь Вачак именно в эту минуту, что его короткие ноги не достают до пола. Он сразу же опомнился и тихонечко съехал снова на краешек кресла.

— Не приведи господь, чтоб ты когда-нибудь стал царем, — мрачно, вполголоса произнес Аршак.

— А ты, царь, что сделал бы на моем месте? — с сочувствием в голосе спросил его князь.

— Хотя на стол этот и будут поданы самые отборные кушанья, тем не менее, получив приглашение во дворец, я бы плотно пообедал дома.

— Что же еще, царь?

— Я бы смеялся над всеми, кто мечтает и силится продвинуться вперед, хотя бы на место того, кто рядом.

— Дальше, дальше...

— Я всегда бы говорил правду. Не угождал бы, не кривлялся. Не лез бы вон из кожи, дабы понравиться тебе.

— Но почему же?

— Потому что я все равно самый крайний и это не входит в мою обязанность.

— Дальше, царь... — На этом слове Вачака вдруг передернуло, лицо исказилось гримасой, покрылось потом, и весь он как-то скорчился, сжался в комок.

— Что случилось, князь? Может, ты нездоров? — обеспокоился царь.

— Пройдет... сейчас пройдет...

Царь тут же поднялся с места, подошел к Вачаку, заботливо отер ему пот со лба, поднес к его губам чашку с водой.

— Мне бы выйти, царь... — попросил чуть слышно тот.

— По нужде, что ли? — шепнул царь.

Князь Вачак кивнул, и с этого дня надолго, навсегда врезалось в его память не испытанное им только что унижение, а отеческая забота, которую проявил к нему царь. Он всем будет это рассказывать, ничего не опуская, ни на волос не щадя себя, лишь бы дойти до конца, вот до этой минуты, вот до этой трогательной доброты и заботы, которой он может гордиться и похваляться, как похваляются и гордятся иные красным башмаком, полученным от царя.

— Ступай, князь, ступай, господь с тобой.

Когда за князем Вачаком закрылась дверь, в трапезной снова поднялся дружный смех. Только один из гостей не участвовал в общем веселье — тот, что теперь оказался на последнем, на крайнем месте...

— Но я и в самом деле не хотел смеяться, — оборвал развеселившихся нахараров Аршак. — У меня действительно были вопросы. К себе, а не к нему.

Он сел на свое место, низко нагнулся и, может быть, все не спроста, а умышленно стал неторопливо поправлять и затягивать на ногах длинные кожаные ремешки сандалий. Потом внезапно выпрямился и произнес решительным тоном:

— Я пригласил вас сюда, с тем чтобы спросить, почему вы отказываетесь посылать людей на строительство города Аршакавана?

— Ты пригласил нас на обед и держишь голодными, царь. Поверь мне, что в отличие от Вачака мы не наедаемся дома, когда приглашены на обед во дворец, — невозмутимо проговорил Меружан Арцруни, и царь, поглядев на него, с невольным удивлением подумал: разве ж это видано, чтоб мужчина был так красив?

— Умерь свое остроумие, князь Арцруни. Ответь-ка лучше, почему ты не изволил послать людей на строительство моего города? Кто, по-твоему, будет его строить? Я?

— Отличная мысль! Я предлагаю, чтобы нахарары строили этот город сами. Посмотрим хоть разок, на что способны наши изнеженные руки, — и, посмотрев на свои белые холеные руки, Меружан непочтительно рассмеялся.

— В маленьких странах, вроде нашей, шутов и без того хоть отбавляй. И знаешь почему? Потому что шутов не наказывают. Хочешь пополнить их число, Меружан Арцруни?

— Но я-то ведь послал своих людей, царь. Моя совесть спокойна.

— Курам на смех! Послал, видите ли, горстку людей и считает, что совесть у него чиста.

— Аршакаван строится далеко от моих владений, — вставил слово Нерсес Камсаракан. — Пока люди одолеют путь, пока доберутся... Мне кажется, лучше собрать строителей из ближайших, соседних областей.

— Ах, вот оно как! Из ближайших, значит? Ты очень близко от меня сидишь, князь Камсаракан. Смотри, как легко и быстро я доберусь до тебя... — Встав с места, царь в два шага приблизился к князю и положил руку ему на плечо: — Вот видишь, мигом дотянулся. — И, усевшись рядом с князем Камсараканом, он резким движением схватил его руку, упер локоть о стол, сцепил ладонь с ладонью. — Кто одолеет, того и слово пройдет... — Огляделся вокруг лихорадочно: кого же в судьи? Спарапета? Нет. По лицу уже видно, что он не одобряет его, считает все это ребячеством. Тирита! Да, да, Тирита! Вот это свой человек, родня. Его-то и надо в арбитры. И крикнул: — Тирит!

Тот ни секунды не промедлил, ударил рукой по столу, и это был знак, что состязание начинается.

Пальцы царя и князя переплелись, ладони сцепились намертво, и каждый из них собрал сейчас и сосредоточил в руке всю силу, какая была в нем, всю свою злость и решимость. Ни царя, ни нахарара теперь уже не было. Было двое

горящих злобой мужчин с налившимися кровью глазами, с багровыми шеями. И — толпа, затаивши дух глазающая на состязание. Нет, не на состязание, а на схватку, на бой! Время от времени раздавались дружные восклицания зрителей, возгласы восхищения или разочарования.

— Ждете, что проиграю? — охрипшим голосом, с явной издевкой выкрикнул царь. Он знал, что все сейчас за князя Камсаракана, что каждый из них собрал сейчас и отдал ему всю силу своих рук, всю свою злобу и ненависть. Да разве только свою? Еще и отцовскую, и дедовскую, и всей своей родни — ближней и дальней. Пускай! У царя все равно преимущество. Преимущество, которое дается не молодостью, не силой. Что молодость? Что сила? Ничего они не стоят, ничего не решают в такую минуту. Пускай хоть сила сотни разъяренных быков вольется сейчас в мышцы Нерсеса Камсаракана, все равно победителем будет царь. Будет, ибо нет у него иного выхода. Он вынужден победить, и в этом его преимущество. Он должен, обязан. И он победил. Рука его противника поддалась, обмякла и обессиленно легла на стол.

Царь тяжело перевел дыхание, медленно разогнул и потер пальцы. Потом он встал и, по-юношески возбужденный и радостный, вернулся на свое место.

— Зря ты тут хорохорился, Нерсес... Пришлешь, стало быть, несколько сот людей. Самых отменных, самых сильных. И сыновей своих пришлешь. И зятьев. И племянников. А не то — клянусь вот этим дубовым столом! — истреблю, вырежу весь твой род...

Победа царя принесла облегчение всем, не исключая и самых лютых его врагов. И даже, наверное, Нерсесу Камсаракану, хотя он и сопротивлялся изо всех сил. Ведь это значило, что власть как таковая не поколеблена. А стало быть, и каждый из них в отдельности по-прежнему остается при своей власти. Но к удовлетворению примешивалось и чувство обиды — ведь вековое, освященное представление о власти оказалось нарушенным, свергнутым с высоты. Все, все можно было простить царю, но только не святотатство. Где слыхано, чтоб венценосец, точно мальчишка, мерился силой с каким-то там нахараром? Царь должен отличаться от всех своим видом, осанкой своей, поведением, речью, он должен всегда оставаться на пьедестале, чтобы другие обращались к нему снизу вверх, вставляли на цыпочки, вытягивали шею. Вот это и только это требуется от царя. Только это от него нужно стране и народу. Все остальное нахарары делают сами.

А тут, смотрите, этот сумасброд Аршакуни хочет взять на

себя все остальное, а главную обязанность царя армянского — светиться, сверкать, подобно алмазу, — он топчет, топчет на каждом шагу, не оставляет никакой возможности, чтобы каждый из нахараров и на себе почувствовал бы отсвет алмаза и, ослепленный им, еще сильнее зауважал себя, еще выше вознесся в собственных же глазах, еще тверже поверил в свое могущество — так вознесся бы, так поверил, что, не ведая страха, восстал в один прекрасный день на царя, да, да, восстал и скинул его с престола.

— С нами со всеми будешь состязаться, царь? — спросил престарелый Кенан Амадуни. — И кто победит тебя, тому, значит, не слать людей в Аршакаван?

— Это еще кто? — изобразил изумление царь. — Знать не знаю. Кто ты? Откуда взялся? Даже имени не помню. И не смей мне напоминать! В голове у меня нет для тебя места, понял?

— А у меня вот в голове...

— Ну что, что там у тебя в голове?

— Для строительства города нужны наемники, царь.

— Не война же... Зачем нам объединять свои силы? — после долгих колебаний вмешался в разговор и князь Вардза Апауни. Болезненно честолюбивый, он просто не мог остаться в стороне от чего бы то ни было.

— А ну-ка встань! Встань! Подойди сюда.

Вардза Апауни повиновался, подошел к царю, мысленно себя ругая, что не удержал язык за зубами, по своей же глупости угодил в беду.

— На колени перед царем! — При этих словах волна возмущения прокатилась по трапезной, и царь изумился, с недоумением пожал плечами и, обращаясь ко всем, произнес с улыбкой: — Я говорю — на колени перед царем... — Вардза Апауни, покраснев до ушей, опустился на колени. Ничего, это они сейчас так возмущаются. Пройдет денек, другой, и все будет позабыто. Одно лишь запомнится — что князь стоял на коленях. — Целуй на мне одежду, — напряженно проговорил он, и, когда князь Апауни припал губами к его платью, напряжение, все возраставшее в нем, дошло до предела, и он истерически закричал: — Подол целуй! Ниже! Еще ниже! — А когда было исполнено и это требование, царь разозлился еще сильнее, потому что возникло препятствие и оборвало его разгон. — Вот и все, что ты есть, владетель Апаунийский. И еще хочешь учить меня уму-разуму? Думаешь, у царя твоего нет силы?

Ни слова больше не говоря, он поднялся с места и быстрыми шагами направился к выходу. Телохранители под-

скочили было последовать за ним, но он рукою отстранил их и вышел из трапезной.

В саду он распрямылся, сделал глубокий вдох, посмотрел в сгустившуюся темноту и двинулся вперед, словно торопясь куда-то. Свернув с дорожки, посыпанной гравием, угодил ногою в грязь, поскользнулся и чуть не упал. Острые сучья оцарапали ему лицо, в руки и ноги вцепились колючки. Он обозлился и зашагал еще решительнее и быстрее. Потом вдруг остановился, тяжело дыша, и замер на месте, словно почуял что-то, словно прояснилось внезапно, зачем его сюда потянуло, что привело в эту тьму. От пробегающего ветерка шелестели листья, что-то говорили ему, нашептывали. Он весь обратился в слух, в надежде уловить что-либо внятное в шелестящем, шепчущем говоре листьев, получить ответ на терзающие его вопросы. В трудные, безвыходные минуты вот так же вели себя, на это же уповали, уединившись в дворцовом саду Армавира, его не очень-то отдаленные предки-язычники, и сейчас впервые в жизни он, зрелый уже мужчина, почувствовал, как силен в нем голос крови, как крепко он связан с предками, и мысленно взмолился ко всем своим дедам и прадедам о том, чтоб помогли ему, разгадали, растолковали невнятный шелест и шепот листьев. И они выступили из мрака, но только молча, беззвучно, все на одно лицо, все одного и того же роста, одних и тех же лет и одетые одинаково. Слезы подступили к горлу, и он едва с ними справился и вынужден был признать, что забыл, замятовал уроки отцов, что их язык ему уже непонятен, их молитвы чужие ему. И тут он обнаружил вдруг, что, покружив в темноте, снова оказался... перед трапезной. Ну что ж, улыбнулся он сам себе, значит, великодушные боги язычников еще раз пожалели его, еще раз простили и снова вывели своего блудного сына к трапезной, чтоб он вернулся и довел задуманное до конца.

— Если каждый станет рассуждать так, в этой стране ничего больше не родится и не построятся, — раздался в трапезной голос Тирита.

— Тебе легко так говорить, князь царского рода, — ответил ему с усмешкой Ваан Мамиконян. — У тебя нет ни своей земли, ни людей. Тебе легко заботиться об общем благе страны.

Спор ожесточился, перешел в остервенелую перебранку. Все повскакали с мест, накинулись друг на друга. Припомнили, чьи владения ближе к Аршакавану, а чьи от него подалее. У кого больше людей, у кого меньше. Кто хорош, кто плох. Кто хитер, кто честен. Кто сроду был и остался бес-

честным. Чей отец какую совершил подлость. Кто законный сын, кто незаконный. Кто у кого отнял землю сто лет назад. Чей род стариннее и богаче. Кто чистокровный армянин, а кто нет. И пошло, и пошло. Слово за слово выплеснулось, полилась вся история армян от начала ее начал, от прародителя Айка до князя Вачака.

Царь, незаметно вошедший в трапезную, стоял в уголке, весь как-то сжавшись, поникнув, и широко открытыми от боли глазами наблюдал это воистину печальное зрелище — постыдную, дикую свару своих нахараров. Потом он медленно прошел во главу стола и подождал, пока заметят его и, может быть, замолчат. Заметили, смолкли. И тогда он заговорил, вкладывая в каждое произнесенное слово, в малейшее свое движение, в глаза и голос всю ту любовь, какая только была в нем, всю свою боль и искренность, всю веру и убежденность:

— Если я буду слаб, будете слабы и вы. Мною, царем, этим престолом определяется ваша сила. Неужели вам это неясно? Неужели не понимаете? — Он замолчал, словно от обиды, что на такую простую истину ему пришлось сейчас потратить столько чувства, столько волнения. — Если я буду слаб, вы съедите друг друга...

— Уж хоть бы на меня обрушился гнев твой, царь, — широко улыбнулся Меружан Арцруни, показав свои белые ровные зубы. — Я люблю оказываться в центре внимания.

— Прошу прощения, князь... Я вел себя недостойно. Смирнейше прошу у вас прощения. В особенности у тебя, владетель Апаунийский. И у тебя, князь Аматауни. Имя твое я отлично помню. Да и как не помнить, ведь я рос у тебя на коленях. Что же касается моего приказа, то я беру его назад. Тем более что все нахарарства отдалены от Аршакавана.

— Значит, наконец-то нам будет подан обед, — попробовал пошутить Меружан Арцруни, и все вздохнули с облегчением, втайне довольные, что добились своего, вынудили царя к уступке. Ничего, так и надо, впредь пусть не зарывается. Пусть помнит, что он и сам-то не более чем нахарар. Пускай хозяйничает у себя в Айрарате. Пусть попридержит аппетит, окоротит руки. И помнит пускай, хорошенько помнит, что каждый из них в своих владениях царь. Вот так вот притихнешь, сын Тирана, вот так присмиреешь, прощения попросишь...

— Созови глашатаев, Драстамат, и вели им немедля разнести во все стороны, огласить во всех городах и селениях, на всех перекрестках и площадях новый указ царя. Пусть объявят во всеуслышание, что там, где скрещиваются пути

Запада и Востока, посреди равнины, именуемой Ког, на дороге, пролегающей от Трапезунда через подножие Масиса к Персии, строится новый город Аршакаван, в котором будет дано право прибежища всем, кто сумеет туда попасть, кто поселится и будет работать там. — Он смягчил голос и в самом будничном тоне обратился к нахарарам: — Еще минутку, князья, и обед будет подан. — Потом продолжал торжественно, победительно, с горящими от радостного возбуждения глазами: — Если кто-то кому-то должен, если кто-то кому-либо причинил вред, пусть приходит в Аршакаван, и он будет там в безопасности. Если кто-то присвоил чье-то имущество, или пролил чью-то кровь, или боится кого-то, пусть приходит в Аршакаван, и не будет ему там ни суда, ни казни. Если кто-то кому-то должен и одолжавший явится в Аршакаван и потребует уплаты долга, взять его и выгнать в шею из города. Сейчас, князья, сейчас, потерпите еще немножко... Я приглашаю воров и казнокрадов, грабителей и убийц, обманщиков, клеветников, клятвопреступников, женщин, изменивших своим мужьям, мужчин, сбежавших от своих жен, и особо... — Тут он умолк, улыбнулся, снял с рукава прицепившуюся колючку. — Особо я приглашаю в Аршакаван слуг, которые недовольны своими господами.

Словно молния ударила в трапезную. Нахарары вскочили на ноги, окружили его и молча уставились растерянными глазами, как будто сочувствуя свихнувшемуся царю, который снова свесил голову и занялся ремешками сандалий.

— Ты губишь нас, царь, — склоняясь над ним, произнес вполголоса Нерсес Камсаракан.

— Царь губит прежде всего себя, — еще не веря своим ушам, шагнул вперед Меружан Арцруни. — Этот сброд разорит, разграбит страну и сделает это от твоего же имени, царь.

— Опомнись, царь, — положил на плечо ему руку Андовк Сюни. — Ты берешь под защиту преступников.

— Ты наказываешь этим и своих близких, своих друзей, — укоризненно вымолвил Смбат Багратуни, — тех, кто всегда повиновался тебе.

— Где католикос? — чуть ли не с отчаянием вскрикнул Кенан Амадуни. — Почему он до сих пор не возвращается из Кесарии?

— Откажись от своего решения, царь, — раздался голос Ваана Мамиконяна. Услышав отца, Самвел так и вспыхнул и, до ушей залитый краской стыда, отвернулся, чтобы не встретиться глазами с Мушегом, тем более что спарапет Васак за все это время не проронил ни звука, ни в чем не

принял участия и один-одинешенек так и остался сидеть за столом. — Скажи, что пошутил... Скажи, что теперь, после этой шутки, для гостей твоих накроют роскошный стол, придут гусаны, польется вино... Что пойдет, мол, пир и веселье до утра. Не забудь добавить, царь, — до утра...

— Есть у меня в доме раб. Зовут его Аспураком. Эдакое бессловесное, тупое животное. Правой руки от левой не отличит, — заговорил старейшина рода Мамиконянов, старший брат Ваана и Васака Вардан. — Нанял я учителя, чтоб обучал его греческому. За каждое верно произнесенное слово получал от меня мой дурень кусок сахара. За каждую ошибку — удар плетью. А теперь выходит что же?.. — Он огляделся вокруг в полнейшей растерянности и глуповато улыбнулся: — Выходит, что Аспурак, мой раб, мой добродушный, славный дурень, может уйти от меня, удрать безнаказанно... А попадись я ему, так он, не ровен час, и обругает меня. Вы только представьте себе, если он вдруг выругается по-гречески!

— Разрешите, князья, и мне вставить слово, — вмешался тихо и скромно Тирит. — Царь прав. Почему он должен нам доверять, если никто из нас дальше своего носа не видит и не желает видеть? С одной стороны на нас насаждают персы, с другой — грызут византийцы. Царь хочет создать свою собственную силу, привлечь на свою сторону простой народ, дабы иметь могучую опору. Вот что следует вам понять и оценить.

— Ах вот как! А я-то думал, это просто прихоть, — откровенно признался Нерсес Камсаракан. — Молодец Тирит! Как верно он догадался! — И, уяснив себе, какая надвигается опасность, он помрачнел лицом и смело обратился к царю: — Даем тебе время, царь. Подумай до завтра. Быть может, ты ослеплен гневом и сам не понимаешь, сколь чудовищен твой указ.

— Нет, царь, не завтра, а сейчас, сию минуту! Одумайся, пока я не замолчал, — еще решительнее подхватил Меружан Арцруни, и царь посмотрел на него с восхищением и с сожалением, подумав: чего бы я не совершил, имея рядом такого союзника. — Клянусь богом, ты пожалеешь, если не откажешься от своего решения. А если откажешься, то мы опять — твои верные слуги.

— Драстамат, передай глашатаям мой указ, — невозмутимо произнес царь.

Это означало, что нахарарам здесь больше нечего делать. Царь по собственной воле, своими руками рвал связи с самыми сильными, самыми могущественными в стране людьми. Ну что ж, парфянин Аршакуни, как знаешь! Но

только смотри не раскайся потом. Не говори, что нахарары от тебя отвернулись. Зря роешь себе яму, сам себя губишь. Уж во всяком случае они, армянские нахарары, никогда в царя не нуждались. Это царь в них нуждается, да еще как! И один за другим они направились к выходу.

— Право прибежища дается также и вам, князья, — проводил их бодрым возгласом царь. — В моем городе я буду беспомощен и против вас.

Прямо перед собой он увидел спарапета Васака, молча и укоризненно смотревшего на него. Он шагнул к спарапету, обнял его, прижал к груди, крепко поцеловал и, обхватив за плечо, молча проводил до самой двери.

— Тирит не понравился мне сегодня, царь, — сказал последний оставшийся в трапезной нахарар, Айр-Мардпет, после чего и он поклонился и вышел.

Драстамат прекрасно помнил, да и как не помнить, что давно уже во дворце не задавалось обедов, давно эта трапезная не оглашалась слитным стуком и звяканьем сотни ножей и вилок, означающим, что в государстве армянском царит всеобщее единение и согласие. Не раз мечтательно представлял он себе ту блаженную минуту, когда дворцовые слуги, на лету ловя указания распорядителя, станут с расторопностью подавать гостям четырех видов кушанья, издавна принятые и обязательные на царском столе: мясной отвар или же овощной суп — для аппетита, мясо четвероногих, рыбу и птицу. С превеликой радостью смотрел бы сейчас Драстамат, как самая славная, самая отборная армянская знать набрасывается на дразнящую запахами еду, как жадно ее проглатывает, как усердно опустошает стол, еще раз утверждая заветное свое убеждение, что в еде заключается высший смысл, высшая на свете мудрость и удовольствие. Их дружное хрясканье, чавканье и пыхтенье доносились бы до соседей — Византии и Персии — предостережением, что здесь умеют и сплачиваться, умеют оказывать друг другу поддержку. Ну а потом — попойка! Верх удовольствия! Верх единения и согласия! Столы освобождены от всего, вымыты, расставлены вместе с креслами по краям трапезной, гости рассаживаются вдоль стен, середина — оставлена танцовщицам и гусанам. Входит кравчий, за ним вереницы подручных со всевозможными кувшинами, кубками, чашами, чанами и черпаками в руках. Разливают вино, разливают водку, и перед каждым гостем ставится на подносе и то и другое.

После первой выпитой за общее здравие чаши появляются

ся танцовщицы и музыканты. Теперь потечет песня за песней — о чудесах, о любви, о славных делах. О сказочном рождении Ваагна-драконоборца, о храбром царе Арташесе и его сыновьях, о похищении и свадьбе красавицы Сатеник, о проклятии царя Артавазда... Танцовщицы будут ублажать взоры гибкой игрою стана и рук. Слуги будут подносить фрукты и сладости и подливать, подливать вина. Наевшиеся до отвала, пьяные нахарары, подобрев, станут признаваться друг другу в любви, произносить величальные тосты, и ко всеобщей радости окажется, что за этим гостеприимным царским столом собрались самые благородные, самые лучшие люди на свете, самые добрые, самоотверженные, преданные отечеству, самые умные и дальновидные, самые, самые!.. Важнейшие вопросы, не находившие разрешения ни на официальных встречах, ни на деловых совещаниях, служившие предметом бурных споров и ссор, решились бы мгновенно, потому что здесь, за столом, развязывались все узлы и распутывались все нити, здесь создавались и разрушались репутации, судьбы, здесь зарождались новые фигуры и имена, новые национальные гении и таланты, хотя и жаль, ох как жаль, что ни одного многообещающего...

— Зачем ты так терзаешь себя, так мечешься, царь? — отвлекся от вообразившейся ему картины Драстамат и увидел посреди пустынной безмолвной трапезной одинокого царя, который задул все светильники, оставив один-единственный. В первый раз, наверное, голос Драстамата прозвучал так мягко и сочувственно.

— Ну, что произошло, скажи мне, Драстамат? Что я сделал? Что из всего из этого уразумел ты?

— Ты остался один. Совершенно один. Ты сам себе выбрал одиночество. Зачем?

— Чтобы выяснить, кто я и чего стою. Мне нравится одиночество. Его голос — голос благородного металла.

— Или Византия, царь, или же Персия. Другого выбора у тебя нет, — отчеканил Драстамат, уже вновь обретший свое упрямое благоразумие.

— Ты предупредил Ефрема, чтоб он ждал меня? — явно ухватился за соломинку царь, лишь бы уйти от тягостного напоминания. — Я непременно урву часок и сыграю с ним в шахматы.

Подавальщики видели, как нахарары один за другим покинули трапезную, но, поскольку никаких новых распоряжений не было дано, они явились с приборами, с блюдами и подносами, в полутьме, незаметно, неслышно передвигаясь, накрыли на стол и стали позади кресел.

– А если бы нахарары согласились послать людей? Если бы они согласились?..

– Но ты же видел, я сделал все, чтобы они не согласились, – улыбнулся царь, потому что был уверен, ждал, что Драстамат спросит его об этом. – Иначе... Иначе Аршакаван стал бы обыкновенным городом, таким же, как все. Идею единства нации, сплочения сил они б усердно разжевывали изо дня в день и проглатывали, погребали в надежном месте... – Его огромная тень вытянулась по стене и, переломившись, легла на потолок. Голос из гневного сделался тихим и задушевым. – Я предоставлю аршакаванцам льготы. Не допущу, чтобы один жил за счет другого. Освобожу их от налогов. Они любят меня... Они зубами будут защищать свой город, свою свободу. Будут драться до последнего дыхания. Мне не придется больше пресмыкаться перед персами, перед византийцами. Если начнется война, я не стану выпрашивать войско у нахараров. Своя у меня будет сила, своя собственная.

– Страшную вещь ты задумал. Страшную, царь.

Царь повернулся, отошел от светильника и вдруг увидел прямо перед собою уставленный всевозможными яствами стол. Он так и замер, застыл на месте, глядя на дымящиеся подносы и блюда. Аппетитный, дразнящий запах еды ударил ему в ноздри. Неторопливым шагом он направился к своему месту и уселся в одиночестве за огромный стол.

– Слушай внимательно, Драстамат... Велишь, чтоб закололи быка, выпотрошили и по внутренностям его разгадали, что меня ждет...

– Но это кощунство, царь, – побледнел Драстамат. – Ведь мы не язычники.

– Быка, пожалуй, маловато для царской судьбы, – усмехнулся Аршак, почувствовав жестокое удовлетворение от того, что поставил своего невозмутимого Драстамата в столь затруднительное положение. – Проследишь также и за курами. Доложишь, что они благоволили определить.

– Ради всевышнего, – Драстамат в ужасе упал на колени, – ради Иисуса, забудь о язычестве! Твои деды огнем и мечом с ним боролись... Забудь о нем, царь, умоляю, забудь!

– Выполняй приказание.

– Не могу... Ведь это же грех. Не заставляй меня, царь. Как же я после этого войду в церковь?

– Выполняй! – презрительно бросил царь. – Собственное мнение ты можешь иметь лишь тогда, когда это удобно и нужно мне.

И так как во дворец все еще не поступало никаких распоряжений, отменяющих пир, в трапезную, согласно порядку, явились гусаны, заняли отведенные для них места и, ударив по струнам своих бамбиров, запели:

Храбрый царь Арташес на вороного сел,
Вынул красный аркан с золотым кольцом,
Через реку махнул быстрокрылым орлом...¹

Слуга нагнулся, взял глиняную тарелку царя и хотел было положить ему кушанья, но царь остановил его движением руки, забрал свою тарелку, сам себе налил мацуна из кувшина, накрошил хлеба и начал есть, по-стариковски бормоча под нос: «А рука-то ноет, до сих пор ноет... нечего было тягаться с Камсараканом, не те уже силенки, слишком быстро стал уставать... и аппетит не тот, тянет к еде почаству, но чуть поем — и наелся... Не заметил бы кто... не дай бог, еще заметят...»

Метнул красный аркан с золотым кольцом,
Аланской царевны стан обхватил,
Стану нежной царевны боль причинил...

«Меружан! Вот это сила! Лев, настоящий лев. Ну и что, если даже враг мне? Разве это значит, что у меня нет права любить его, восхищаться?» Тут он вспомнил о том, с чем давно уже свыкся, — об исключительности своего положения и прав. Вспомнил и воспрянул, возликовал, как ребенок. У царя есть право на что угодно, на все...

Золотой дождь лился на свадьбе Арташеса,
Жемчужный дождь лился на свадьбе Сатеник...

Вдруг он заметил, что сенекапет все еще здесь, застыл у двери, словно заслушавшись песней. Глаза их встретились, и у царя появилось чувство, что Драстамат что-то еще хочет ему сказать, возможно даже сообщить что-то очень важное. Рукою велел гусанам, чтоб замолчали, царь вопросительно посмотрел на Драстамата.

— Или Персия, или Византия, — повторил тот упрямо, не отводя бестрепетного, спокойного взгляда.

— А мой город? — весь как-то сжался царь, и глаза его взмолились. — А мой город?

— Одно из двух, царь. Третьей дороги нет.

¹ Стихи в переводе В. Я. Брюсова.

Глава третья

Так, значит, что ж отныне — до последнего часа, до последнего дыхания живи в безгрешности, святости, не для себя, а для других, твори добро и только добро? Ну да! Но разве ты иначе жил, Нерсес? Так ведь всегда и жил — что же ропщешь, сокрушаешься? А то, что раньше это происходило само собою, как сами собой идут твои ноги, сами собой двигаются за едой руки, раньше это было естественное состояние, над которым и задумываться не надо, а теперь это — предписание и программа, теперь — обязательный образ жизни. Даже самый добродетельный человек и тот ужаснется, узнав, что во всем и всегда до конца своей жизни он должен оставаться чист и непогрешим. Нет более тяжкого наказания, чем раз и навсегда быть приговоренным к чему-либо — к вечному ли рабству, страданиям и горю или же к покою, благоденствию, счастью. Он полон был благородных и смелых замыслов и верил — так же, как верит сейчас в твердость этого камня, в синь неба над головою, — всем существом своим он убежден был, что исполнит задуманное, посеет семена просвещения, семена добра и милосердия в злосчастной, в распятой своей стране, где столько уже было престольных городов, один другого славней и пышнее, столько их снялось с места в испуге и промелькнуло перелетными птицами; в истерзанной своей стране, где простые люди не входят, нет, а как в яму спускаются в свое жилище, вырытое в земле, без всякой там двери и без всяких окошек, да еще со скотиной тут же под боком, разве что за какой-нибудь жалкой перегородкой... И все-таки... И все-таки что-то его смущало, не давало до конца уверовать в свои силы. Что-то словно сковывало его шаг, висло на нем, опутывало, тянуло назад. И чем смелее становились его замыслы, тем больше таяла, убывала вера, потому что все это теперь оказывалось обязательным.

Он полон был решимости повсюду основать школы, открыть богадельни для нищих и немощных, приюты для сирых, для калек, прокаженных, странноприимные дома, лечебницы; он намерен был добиться, чтобы царь и нахарары милосерднее относились бы к своим слугам и подчиненным, не обирали бы и не теснили людей, потому что бог ведь един для всех; намерен был запретить кровосмешение, многоженство, пьянство, распутство и клятвонарушение, а также и языческий обычай оплакивания и погребения мертвых с музыкой, с плясками, с истязанием плоти, с преступным кровопролитием... Всю страну армянскую он бы благо-

устроил, как единую мирную монашескую обитель. Но в том-то и состояла загвоздка, в том-то и крылась беда, что всего этого он теперь попросту не мог не делать. Если бы он мог, если бы у него оставалась пусть хоть какая-то, хоть малейшая возможность не делать, если б это зависело от него самого, от его желания, от его воли, если б решал он сам, а не свыше все предreshалось, то куда легче, куда охотнее взялся бы он за дело, с каким бы пылом и рвением исполнил задуманное. Значит, выходит, что сам он — пустое место? Значит, грош цена его стремлению, его воле? Значит, если он праведник, если творит добро, то это всего лишь неизбежность и только? А сам он? В благих этих начинаниях и свершениях где он сам, Нерсес, сын Атанагинеса? Нет благодетеля. Есть только благодеяния. Он растаял, исчез, растворился в них. Любой прохожий, подавший нищему милостыню, сам себе хозяин в гораздо большей мере, чем ты, спаситель сотен и тысяч нищих. Потому что он — личность, а ты — орудие, средство. Потому что в эту минуту он как захотел, так и сделал. Тебе же все предписано. Хочешь не хочешь, а делай. А с другой стороны, такая в нем сейчас жажда, такая решимость, что с пугающей отчетливостью, чуть не наяву представляется: вот он шествует по стране, от селения к селению и, точно сеятель, захватывая полной пригоршней из полы, сеет добро направо-налево. Он чувствовал, конечно, инстинктом чуял, сколько деланности в этом неотвязно преследующем его образе, сколько неестественности в этом словно прилипшем к нему видении. Ну что же, раз так, раз впереди у него тупик и нету выхода, как ты ни бейся, значит, остается одно: ради благих целей отбросить без угрызений совести всякую тревогу о вере и положиться на вещи более понятные и простые — на власть и могущество. Властью, силою осуществит он задуманное, так же как его предок, Григорий Просветитель, огнем и мечом заставил людей принять возвещенное им благо. Он принудит людей к благоустроению и счастью. Но однако же... Какое еще тут «но», если выход найден, если ты видишь путь — «радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить; славьте Господа на гусях, пойте Ему на десятиструнной псалтири; пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием...». Но... Какое еще «но», если и у добра, и у зла одно только орудие — сила и власть. Только и только сила и власть. «Войду в дом твой со всеожжениами, воздам Тебе обеты мои... Всеожжениа тучные вознесу Тебе с воскурением тука, овнов, принесу в жертву волов и козлов...» Но постой-ка, постой, твердолобый послушник,

вчерашний воин, завтрашний католикос, подумай, ведь принуждение силой и властью вещь неестественная для человека, а в каждый шаг, в каждый поступок, если он совершается неестественным образом, незаметно проникает, вкрадывается неправда.

И вот опять, опять выросла перед ним стена. И слава богу, что выросла, тысячекратная слава, потому что... Да потому что снова к нему возвращается его страдание, его мѹка — единственное утешение, единственный смысл и свет его жизни. Пусть всегда она остается, эта стена, пусть остаются муки борения с ней. Пусть рушится она, и воздвигается снова, и снова пусть рушится, и снова пусть воздвигается... Ибо если она рухнет и не восстанет, то тогда ты окажешься перед величайшею из преград, когда не знаешь даже, где она и какая, эта преграда, есть она действительно или же нет, стоит ли с ней бороться или, может, не стоит и для чего это надо или, напротив, не надо... Не напрасно ли, не впустишь ты мучился до сих пор, не напрасно ли преодолевал все былые преграды?

Ну а что, если никакого страдания нету? Что, если он выдумал его себе в угоду, в приукрашение? Если и впрямь ты страдаешь, если и впрямь силишься отыскать себя в спутанном этом клубке и, сложив у рта ладони, кличешь себя самого — себя потерянного, себя заблудшего, то зачем же, скажи на милость, ты приходишь в такой восторг от своих замыслов и будущих дел, зачем гордишься собой, вырастаешь в своих глазах и уже не можешь отделить свою личность от своих добродетелей, зачем, зачем? Ведь телячий этот восторг умаляет и обесценивает, лишает смысла все благие замыслы и намерения. Ради себя он старался, а не ради других. Протягивая руку и помогая нищему, он о себе думал, а не о нем, себе угождал и благодетельствовал. Сострадав нищему и любя его, он любил прежде всего себя. А коли так, то какая разница между ним и тем, кто отворачивается от нищего, между ним и тем, кто не любит ближних? И какой же он пастырь? Какой святейший? И вообще что значит эта единственность, избранность? И не безнравственно ли само стремление к этому, само даже помышление о том? Ведь твои ближние, твои братья — обыкновенные люди, и добродетель в них обыкновенная, и низость обыкновенная. Безнравственно было поверить в свою святость и тем самым еще сильнее возлюбить себя. Знай, что чем больше добра сотворяется, тем больше возрастает и себялюбие добротворца: «Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, бог мой, скала моя, щит мой, рог спасения моего...» Призри

на меня, укрепи и направь... Примири меня со мною, приблизь нас друг к другу, меня и меня же, двоих во мне... Исполни нас доброты и доверия друг к другу, не допусти, чтобы я сам же себя растерзал. Расточи мои сомнения, выведи душу из ада. Не позволяй мне гоняться за истиной, ведь в погоне этой грех сомнения о господе, ведь ты же единый есть знание и истина, а я лишь слуга, тебе повинующийся, смиренный исполнитель воли твоей.

Э, нет, не хитри, Нерсес, не лукавь. Первым делом с собой договорись, а потом уже с господом. Если в безвыходную минуту ты сваливаешь все на бога, значит, не сам ты его ищешь, а рассчитываешь на то, что он, вездесущий, тебя отыщет. Итак... Итак, отныне ни единого пятна и порока, ни единого греха не должно быть на нем? И даже просто на слабость он не имеет права? Не повезло, страшно не повезло ему. Подумать только, ведь он — потомок рода, утвердившего Христову веру в Армении, выдвинувшего столько славных католиков, давшего три святых для армян имени — Григорий, Вртанес, Усик! Попробуй-ка продохни среди этого сонма! Горжусь, горжусь вашими священными именами, горжусь, что в моих жилах течет ваша кровь, но гордость эта ложится на меня бременем, и святость ваша встает передо мной, как скала, мне хочется разрушить ее и смести со своей дороги. Ваша священная память не должна мне препятствовать. Ибо если я переступлю границу человеческого, я перестану понимать подобных себе. Позволь мне, о господи, забыть своих предков, своих любимых, всем сердцем любимых дедов, перед коими я не более чем ничтожество, жалкий пигмей, недостойный внук. Но плох или хорош, а таков уж я, таков твой слуга, прими его как есть. Потому что, даже и ошибаясь, я ошибаюсь во имя твое. Потому что, и отрицая святость, я отрицаю во имя твое. Во имя твое я остаюсь человеком, и не думай, что путь мой от этого облегчается, устраниются острые камни и тернии и через пропасти перекидываются мосты. Ничего этим не сглаживается, не облегчается. С моими муками я не расстанусь, никому не отдам их. Не отнимай у меня моего горького, напоенного желчью страдания и не давай мне взамен очищенное страдание святых.

Для тебя же, господи, иду я на этот грех, ради тебя готов подвергнуться твоему гневу и каре, ради тебя же, всеблагого, на тебя восстаю. От лица твоего, от имени твоего я подвигну и заставлю людей быть счастливыми. Заставлю их жить во благе и счастье. Пускай весь мир перевернется, пускай обрушатся небеса, но если хоть один-единственный че-

ловек останется на земле, я найду его, настигну, пойду за ним по пятам и научу, научу его быть счастливым. Пускай для этого понадобится отдать свою жизнь, не сомневайся в моей твердости, не сомневайся в моем упорстве, я ни минуты не поколеблюсь, не пощажу себя, пожертвую жизнью, но научу его быть счастливым. Ведь люди даже не знают, что обязаны быть счастливыми. И я обещаю тебе, клянусь твоим именем, что заставлю их вспомнить свой долг и призвание. Буду твердить им об этом изо дня в день, внушать, убеждать, на коленях упрашивать, грозить, употреблять силу и принуждения, и добьюсь своего, и приучу их... Не одни только святые были в моем роду. Были и грешные, недостойные люди – мой отец Атанагинес, мой дядя Пап. Позволь к их помощи мне прибегнуть, у них поучиться, что значит быть человеком. Человеком, а не святым. Если хочешь знать, то это им я обязан тем, что так упорно держусь за свое, зубами защищаю заветный свой помысел оставаться среди людей, среди их множества. Я стану первым в их ряду, возглавлю шествие их к тебе, но только прошу тебя, не заставляй выходить из ряда, не требуй, чтобы я отделился от остальных, как отделялись мои святые и святейшие деды, не заставляй, иначе я вынужден буду слушаться.

Если кто согрешит против заповеданного тобою, то я разделяю с ним этот грех. Если кто украдет у ближнего, то я украл вместе с ним. Если кто убьет, то я убил вместе с ним. Если кто осквернит уста свои лжесвидетельством, то и я совершил это вместе с ним. Если кто станет истязать раба своего, то и я вместе с ним был истязателем. Если кто опорочит имя твое, то опорочил он не один, а вместе со мною. А если кто прославит имя твое праведной жизнью и благими делами, то он один был праведен, один творил благо, один, без меня, прославил имя твое. Я устраняюсь, я не делю с ним благословения твоего, не отнимаю у него ни частицы твоего воздаяния. Только прошу, не воспрещай мне отрицания святости, не воспрещай мне верить, что призвание католикоса есть всего лишь дело, работа, труд, что сеять добро – это работа, что делать людей счастливыми, жить для других, просвещать их и подвигать к служению тебе – это работа, и только работа, и я, твой слуга, делаю свое дело, так же как землепашец, виноградарь, садовник, плотник и горшечник, ювелир и кузнец.

Уже светало, а Нерсес все бродил и бродил по равнине, такой похожей на все равнины его отечества, которые тянутся и тянутся вдаль, но, обманутые, никогда не доходят до горизонта, а наталкиваются на горы и разбиваются.

Нерсес нашел язык и договорился с богом, а также договорился с самим собой. Непросто это далось ему, ох как непросто! Для этого надо было подняться поближе к всевышнему, но и всевышнего, в свою очередь, приблизить к себе. Обожесть человека, очеловечить бога. Он ликовал от достигнутого успеха, он готов был сейчас, забыв о монашеском своем облачении, кататься от радости по этой траве и цветам. Но нет, не пристало ему изливать свою радость столь легкомысленно и без всякой пользы. Он изольет ее на людей, и каково же будет тому, кто первым почувствует на себе ее силу! И он решил, что разделит бремя великого ликования с внебрачным сыном своего дяди Вриком, который весь оказался в отца, такой же жадный до всего, такой же беспутный. Этот гуляка, этот бездумный искатель утех упросил Нерсеса взять его в свою свиту, хоть кем придется, хоть среди слуг. Тем более что о родстве их никто не знает. Врику хотелось вырваться и повидать мир. До сих пор ему была ведома разгульная жизнь на родине, теперь хотелось изведать того же и в Византии.

Каталикос и сопровождающая его свита расположились на стоянку у Львиной горы, на самой границе Армении с Византией. При виде множества разбитых здесь шатров и палаток, коней, стоящих на привязи, дозорных воинов могло показаться, что это целая армия собралась тут и готова выступить на врага.

Палатка Врика, смотрителя над прислугой, так же как и палатка самого Нерсеса, была небольшая и скромного вида, в отличие от пышных нахарарских шатров, над каждым из которых развевалось знамя его хозяина, украшенное гербом — могучим быком, или златоперым орлом, или луком со стрелой на тетиве.

У погасших костров сидели дозорные. Нерсес двоим из них велел следовать с ним, поставил у входа в палатку Врика, а сам, откинув полог, вошел к нему.

Врик спал безмятежным, глубоким сном, растянувшись на ворохе соломы. Лицо у него было по-детски ясное, дыхание — тихое, ровное. Вот он какой, настоящий Врик, ну конечно же, вот он, этот невинный юноша, о котором и сам, сам Врик даже и знать ничего не знает. Глупец, чего только не

плел о себе — мол, пропащий он человек, мол, нет ему больше спасения... Я расскажу тебе, Врик, какой ты во сне. Расскажу тебе про твое ясное, как у ребенка, лицо. И ты увидишь, узнаешь себя настоящего. Я открыл тебя, Врик, я тебя выявил, обнаружил, и ты теперь никуда уже от меня не денешься.

Он опустил на колени, склонился над спящим, отечески коснулся рукою его волос и зашептал на ухо:

— Ты должен вернуться обратно, Врик. Сегодня же, сейчас же должен вернуться.

— Что случилось? — в испуге вскочил Врик.

— Ты должен вернуться, — повторил Нерсес.

— Зачем? — удивился Врик. — Что я сделал плохого?

— Поступишь в монастырь, — спокойно продолжил Нерсес, — обучишься там чтению и письму, приобретешь навыки в красноречии, в искусстве словесности, в песнопении...

— Не хочу, — воспротивился Врик, еще толком и не очнувшийся. — В какой монастырь? Зачем? Свихнулся ты, что ли?

— Ты несчастен, Врик, и я не могу, не имею права смотреть на это спокойно. Я должен тебя спасти. Спасти от тебя же.

— Кто сказал, что я несчастен? — обиделся Врик. — Что это тебе взбрело в голову ни свет ни заря?

— Ты и сам этого не знаешь. Но я знаю.

— Я счастливейший человек на свете. — Врик рассмеялся и бесстыдно ухватил Нерсеса за рясу. — Счастливей, чем даже ты.

Нерсес снисходительно покачал головой:

— Нет, Врик. Но я хочу, чтоб ты стал счастливым. И ты станешь. Я тебе обещаю.

— Чего ты от меня хочешь? Чего пристал как репей?

— Ты славный малый, Врик, — мягко улыбнулся Нерсес. — Я это уже знаю. Но я хочу, чтоб ты тоже это узнал. И ты узнаешь, очень скоро узнаешь.

— Отвяжись от меня, Нерсес. Найди другого...

— Это невозможно, — отрезал Нерсес решительно. — Тебе от меня не вырваться, так что и не думай об этом.

— Если ты жалеешь, что взял меня в свою свиту, то скажи напрямик, и я уйду себе восвояси.

— Нет, Врик, теперь я не выпущу тебя из рук. Ты должен жениться. Коли потребуется, насильно тебя женю. Ты должен обзавестись семьей, детьми.

— Ага, значит, все то, чего ты лишился, хочешь во мне увидеть? За мой счет восполнить то, чего тебе не хватает?

— Я хочу видеть тебя счастливым. И увижу.
— Завидуешь мне, Нерсес. Моей свободе завидуешь.
— Ты не знаешь, что тебе нужно. А я знаю. Я не оставлю тебя одного.

— Зря не уговаривай. — Врик поднялся и начал собирать и увязывать вещи. — Побереги свое время.

— Но я ведь уже решил, — стоял на своем Нерсес, упоенный собственным восторгом и ликованием. — Я не допущу, чтобы ты погиб.

— Что ты там решил? — презрительно усмехнулся Врик. — Уж не вообразил ли ты, что я один из твоих послушников?

— Я люблю тебя, Врик.

— Не в законе родившегося никто не любит. И ты как все. Счастливо оставаться, Нерсес.

С узлом в руке он направился к выходу, но двое стражей преградили ему дорогу. Врик вопросительно посмотрел на брата.

— Ошибаешься, Врик. Я докажу, что люблю тебя, — спокойно ответил тот и, обратившись к воинам, мирно распорядился: — Отведете в монастырь. Останетесь там и будете за ним присматривать до моего возвращения. До свидания, Врик.

Воины с обеих сторон схватили Врика за руки, а тот отчаянно вырывался и сыпал руганью и проклятиями. Нерсес смотрел на него с восхищением, с восторгом — вот первый, кого он спас, кого открыл, породил, вот первый человек, который станет счастливым! Радость переполняла сердце Нерсеса. Теперь он с чистой совестью может вернуться в свою палатку, как, потрудившись на славу, возвращается в дом землелашец, виноградарь, плотник или кузнец, может позавтракать с аппетитом и лечь в постель и поспать спокойным сном до полудня.

Охранники уже справились со своим подопечным, заломили ему руки за спину, связали и поволокли. Нерсес вышел следом и, с умилением глядя на Врика, поднял руку и помахал ему на прощание.

— Не хочу песнопений, — всхлипывал в отчаянии Врик. — Не хочу песнопений, не хочу, не хочу...

На мгновение ему удалось вырваться из тисков, он кинулся к Нерсесу, к этому бессовестному обманщику, к этому предателю в бабьей одежде, хотел в лицо ему плюнуть, выругаться, но неожиданно для себя самого замер на месте, растерянный. Перед ним стоял усталый, измученный человек с открытым и добрым лицом, с чистыми глазами, с непри-

творно дружелюбной светлой улыбкой. При виде этой ясности и доброты, при виде этой чистой и честной улыбки Врик почувствовал необъяснимый трепет и страх. И вместе с тем в его сердце вдруг родились никогда прежде ему не ведомые благоговение и робость. Покорный необъяснимой, таинственной силе, он невольно упал на колени перед Нерсесом и, забыв о боли своей и обиде, с искренним восхищением прошептал слова, в мгновение ока разрушившие все то, что выстроил Нерсес с таким трудом и мучениями:

— Ты не человек, Нерсес... Ты святой... Святой...

Глава четвертая

— Следует ли мне начать издалека, Айр-Мардпет?

— Таков, князь Тирит, порядок, установленный свыше.

— Следует ли мне подготавливать тебя, прощупывать твоё настроение, плести тончайшую паутину?

— Это было бы знаком уважения ко мне, князь.

— А если я сразу выложу, что у меня на уме?

— И это, в свою очередь, будет воспринято как доверие. То есть тоже как своеобразное свидетельство уважения, князь.

— Ну что ж, я люблю действовать своеобразно. Люблю отличаться от всех.

— Значит, Тирит мой должен действовать всегда честно и благородно. В наши дни только этим можно отличаться от всех.



Уже давно Тирит искал этой встречи и все ломал себе голову, где бы ее назначить. Перебирал самые несусветные, нелепые места, так чтоб никто ничего не заметил, не заподозрил. Айр-Мардпету известно было только одно — что Тирит хочет переговорить с ним по «сугубо секретному делу». Со снисходительной улыбкой отверг он все предложенные Тиритом места и назначил встречу в выходящей в дворцовый сад колонной галерее, то есть у всех на виду. Тут-то и было как раз надежное, безопасное место.

Глянь-ка на них, на этих молоденьких петушков!

И развелось же их нынче! Куда ни ступишь, наткнешься...

Ему жалко было этого худосочного, невзрачного юношу. Весь бледный, взвинченный, сплошной комок нервов. Мардпету по душе были люди неудачливые, несчастные. Если

кто-либо из сильных, влиятельных нахараров, будь то хоть злейший его враг, терпел неудачу, оказывался сброшенным со своей высоты, Мардпет немедленно протягивал ему руку, последнюю рубашку готов был ему отдать. Всеми средствами он помогал ему снова стать на ноги, вернуть себе прежнее свое положение. Ничего, ничего ради этого не жалел — ни сил своих, ни покоя, ни денег, не щадил своих интересов, своей безопасности. Но как только цель оказывалась достигнутой, как только неудачливый нахарар восстанавливал свое влияние и силу, Мардпет сейчас же охладевал к нему и порывал с ним всякие связи. Теперь представься только повод свалить этого нахарара, Мардпет будет первым в ряду заговорщиков и нанесет ему самый беспощадный удар, потому что он, этот неблагодарный, этот бессовестный, это ничтожество, упоенное своим богатством и властью, подвел, обманул собственного благодетеля и, стало быть, заслуживает суровой мести.

Меружанова шайка выбрала безошибочно, наметив в престолонаследники этого хлипкого, отталкивающе некрасивого, неприятного малого. Айр-Мардпет всецело разделял этот выбор, хотя и именовал про себя шайкой любезных его сердцу приверженцев Персии. Никогда он не участвовал в их сходках, не раскрывался перед ними, к групповым разговорам доверия не питал. Всех вместе, скопом их не любил, но с каждым в отдельности поддерживал близость, каждому доверял.

А впрочем, было ли из кого выбирать? Был ли другой еще Аршакуни? Скопцы! — мысленно выругался Мардпет. Несчастные скопцы, без семени, без плода. Есть, правда, еще один Аршакуни — князь Гнел, но на него уже нацелились греколюбы. Так что Тирита и не выбирали. Судьба его выбрала. Судьба уготовила ему на голову венец. Будь он даже сама чистота и добропорядочность, он просто вынужден замышлять против дяди. Вынужден замышлять и против Гнела. Что он такое, этот бедняга, это ничтожество, чтобы измена или верность зависели от него?

В стране налицо два престолонаследника и две политические группировки. Стало быть, по одному — на каждую группировку. Некуда вам деваться, царские племяннички, да и тебе тоже, Аршакуни Аршак, хочешь не хочешь, а все вы трое должны ненавидеть друг друга, ненавидеть и предавать. Два престолонаследника. Две группировки. И один царь. Простая арифметика, простая неизбежность, судьба. Что поделаешь? Никто ни в чем тут не виноват — ни сам он, ни царь, ни его племянники, ни красавец Меружан, ни новоис-

печенный святой владыка Нерсес. Не в нас тут вовсе вина и беда, а в том, что ежели у тебя три яблока и одно забирают, то остаются два. Не три, не пять, не двенадцать, а только два. И все. И точка. Ни тебе сомнений, ни колебаний, споров, ни угрызений, ни раскаяния. Два яблока — и все. И морали тут делать нечего. Мораль поднимает голову лишь в спорных вопросах. А это уж для тебя, Паруйр Айказан, ах нет, прошу прощения, для тебя, Прозрессий¹, примени в своих речах, где найдешь уместным, примени, перед римлянами краснеть не придется.

★ ★ ★

— Если ты замышляешь против кого-то и просишь моей помощи, то я готов тебе помочь, — начал без околичностей Айр-Мардпет. Нарочно так начал, в поучение князю, который слишком уж издали подбирался к тому, что вблизи. — Но если тот, против кого ты замышляешь, попросит меня замыслить что-то против тебя, то, не скрою, я не в силах буду ему отказать.

— То есть как? — растерялся Тирит, не разобравшись в услышанном.

— Вправе ли я кому-то отдавать предпочтение? — в голосе у Мардпета прозвучала беспомощность, беззащитность, и хоть самому ему и казалось, что в эту минуту он лицедействует, однако сказано это было с полнейшей искренностью. — Я помогу вам обоим. И пусть тот из вас победит, кто изворотливей и хитрее. Таков закон природы, и грех его попирать.

— Ладно, я согласен, — отрезал Тирит и попытался в свою очередь дать урок старикашке: — Ты должен внушить царю, что Гнел посягает на трон.

— Ты влюблен в Парандзем?

— В кого?

— В жену Гнела.

— Если ты намерен читать мои мысли, князь, — вспыхнул Тирит, — то я потеряю к тебе доверие. Будь добр, не понимай меня, чтобы я мог тебе доверять.

— Парандзем... Красавица Парандзем... Нестерпимый зуд пробирает меня при виде всего красивого. Красивой женщины, коня, красивого уголка природы... — На мгновение Айр-Мардпет отрешился, ушел в себя, но только лишь на

¹ Прозрессий — афинский ритор, по происхождению армянин (IV век).

мгновение, после чего опомнился, вернулся на землю, к стоящему рядом Тириту, и вынес очередной свой решительный приговор, даже, можно сказать, исторический приговор: — Ты прав. Эти двое должны расстаться. Счастье отупляет людей, делает вялыми и бесчувственными. Душа заплывает жиром...

— Но позволь, не слишком ли ты воодушевился? — остановил его с сомнением Тирит. — В этом деле у тебя не должно быть своей корысти. Не должно быть никаких личных твоих побуждений. Тогда и только тогда ты легко добьешься успеха.

— Ты лучше не вторгайся в мои пределы, — добродушно улыбнулся старик. — Не стоит. Увязнешь, князь.

— А поверит ли Аршак?

— Царь, сын мой, царь, — одернул его с мягкой укоризной Мардпет. — Не пристало тебе называть его по имени.

— Поверит ли Аршак? — с нетерпением повторил Тирит.

— Поверит. Дела у него плохи.

Красавец Меружан и его приспешники хоть и ласкают сейчас Тирита, однако не посвящают его в свои замыслы. Так же, наверно, противная сторона обходится с Гнелом. Ничего, ничего, придет время — увидят. Дождутся своего. Наступит же день, когда кому-то из этих двоих возложат на голову венец. Ну и счастливчик же, однако, этот сумрачный юноша! Толком-то и понятия ни о чем не имеет, а вот пришла ему в голову блестящая мысль — влюбиться в жену своего соперника и через это расчистить себе дорогу. Внимание! — одно из трех яблочек съедается. Ну до чего простая и справедливая истина! У Мардпета даже сделалось как-то кисло во рту, и он поневоле сглотнул слюну.

— Вот что я думаю, князь, — он легонько тронул плечо Тирита, и они медленно, рядышком зашагали по галерее. — Пройдет сто лет, эти деревья так же будут стоять тут, а нас с тобой не будет. Тебя это не возмущает? Почему дух умирает, а материя остается? Все наши страсти, порывы, страдания, все борения и муки улетучатся вместе с последним дыханием, вот так вот, — он округлил губы и дунул, — и все, и растаяли без следа. То волнение, то напряжение, которое испытываешь ты сейчас, разве оно не стоит целого мира? И что же? От него следа не останется. Разве это не обидно, скажи на милость? Избитые слова? Не спорю, князь. Но можешь ли ты сообщить мне бóльшую истину, чем то, что в данный момент мы шагаем?

— Мы в данный момент обдумываем, как настроить царя против Гнела, — нетерпеливо внес уточнение Тирит.

— О нет, князь, несомненно лишь то, что мы с тобой в данную минуту шагаем. А в том, что ты сказал, сколько спорного и сомнительного!

— Прошу тебя, ответь мне окончательно, — отчаялся Тирит. — Да или нет?

— Сначала давай разберемся, сынок. Посмотрим, что к чему. А то как бы не ошибиться. — И он снова заговорил с самим собою, искренне пытаясь решить, что можно, а что нельзя. — Если дух умирает, а материя остается, то, стало быть, честность и бесчестность равны и нет, стало быть, разницы меж добром и злом. Да и какая может быть между ними разница, если единственная долговечная ценность на свете — вот это вот дерево? Ну и корявое же, как назло... Скажешь, что после человека дела его остаются? Что таким образом и после нас дух наш живет в материи? Выдумка. Мы сами с тобой это выдумали, дабы утешить себя, приукрасить свой удел. Итак, мой милый Тирит, мы приходим к выводу, что возжелать жену своего брата такой же грех, как и не возжелать ее. И что опорочить своего брата перед царем вещь столь же невинная, сколь и не опорочить. — Мардпет улыбнулся доброй улыбкой, потому что с «да» и «нет» все теперь прояснилось. — А хочешь, выберем второе? Не опорочим? Ты увидишь, что и это куда как просто...



Историк говорит, что в правление царя Тирана Армения продолжала оставаться яблоком раздора между Византией и Персией. Но нигде ни словом не скорбит историк о том, что «статный, рослый, быстроокий, с божественными кудрями, с крепкими мышцами, славившийся между исполинами храбростью» Айк-прародитель не нашел для роду-племени своего побезопаснее места на этой огромной земле с ее югом и севером, востоком и западом и, словно проклятую, кинул страну своего народа вечным яблоком раздора на перекресток путей.

Император Констанций был занят войнами против западных своих противников, полагая, что укрепления, воздвигнутые в Междуречье императорами Диоклетианом и Константином, обеспечивают ему надежную защиту от персов. Почувствовав ослабление Византии, Тиран склонился на сторону Персии, но при этом, однако, хранил и верность императору, тем более что уже отправил к нему трех заложников — своего младшего сына Трдата и двух внуков — Тирита и Гнела. Три заложника, три зайчонка, которые день

и ночь скоблили, начищали предназначенные для них сковородки, следили, чтоб не погас вдруг огонь в печи, и самих же себя изо дня в день услужливо подносили на блюде хозяину...

Когда в 348 году, покончив со своими делами на западе, император Констанций, лично возглавив войска, пошел воевать против Шапуха, Тиран был вынужден присоединиться к нему и выступить против друзей своих — персов. В битве у Сингары персы наголову разбили противника, и Тиран понес жесточайшее наказание. Шапух ослепил его, как некогда Навуходоносор Седекию, последнего царя Иудеи, который осмелился отложиться от Вавилона, хотя Вавилоном-то и был посажен на царство.

Тиран не столько страдал, сколько стыдился учиненного ему ужасного наказания, ибо было в том что-то хоть и трагическое, но смешное, вроде как сказывалась превратная судьба армянина. Ведь он же поддерживал дружбу с персами, а значит, должен был воевать против византийцев, а не, связанный по рукам и ногам, точно подхваченное ветром перышко, пристал к византийцам и пошел с ними против персов. Его должны были бы ослепить его враги — византийцы, и это было бы, как говорится, в порядке вещей. Было бы — но для других, для армянина же — нет, — и его ослепили друзья его — персы! После всего этого одно только непонятно: зачем им нужны от тебя заложники?..

Шапух посадил на армянский престол среднего сына Тирана — Аршака, а император, дабы расположить к себе нового царя, отпустил заложников — Тирита и Гнела.



Сговор был достигнут, и Тирит наконец успокоился. Лицо его, на котором каждая мышца так и прыгала от напряжения вкривь и вкось, теперь совершенно разгладилось, прояснилось. Он сразу преобразился почти до неузнаваемости, одна крайность сменилась другой. Во взоре у него появилась самоуверенность и даже вовсе уж удивительная легкость, беспечность. И держался он теперь чуть ли не покровительственно, словно, заключив сделку, благодетельствовал Мардпета и тот до гроба должен быть ему благодарен.

— Но имей в виду, Айр-Мардпет, что Гнел замечательный человек, — спокойно сказал Тирит, глядя в упор на сообщника.

– В Армении нет нахарара, который бы не любил его, – с такой же невозмутимостью подхватил Айр-Мардпет.

– Своих сыновей они отдают Гнелу, дабы те воспитывались на добром примере, – охотливо добавил к сказанному Тирит.

– Гнел – несравненный воин и атлет. Он превосходит всех в фехтовании, скачках, стрельбе из лука, толкании ядра.

– И меня превосходит, – вставил Тирит с гордостью.

– Он честен, благороден, великодушен, дружелюбен, – продолжал добросовестно перечислять Айр-Мардпет.

– И прекрасный муж, – подчеркнул Тирит. – Многие позавидовали бы их счастью.

– Я восхищен тобою, – проговорил Айр-Мардпет, и в самом деле восхищенный его бесстыдством.

– Не забудь, что он мне двоюродный брат, – в довершение всего с достоинством напомнил Тирит.

И Айр-Мардпет, который чего только ни видал на своем веку, к каким только сделкам ни прилагал руки и давно уже привык ничем не смущаться, не удивляться ничему и ничем не брезговать, сейчас вдруг почувствовал себя так, будто вымарался, будто к коже его пристало что-то склизкое и противное. Он и сам, правда, способен был на любое бесстыдство, даже еще более наглое, еще более чудовищное, но ведь то был он – он, а не кто-то другой! Были пределы, вне которых он уже не прощал другим подлости и бесстыдства и искренне возмущался. Вообще он обладал поразительным свойством – уже издали чужая подлость, даже и той, которая еще затевалась, вынашивалась, и если сам не имел касательства к ней, то любой ценою старался ее удушить, не допустить, чтоб она созрела и родилась на свет и причинила несчастье честным и доверчивым людям, старался по возможности и о том, чтобы затеявшие ее понесли наказание. Потому что действия их основывались только на голой выгоде, только на узком личном интересе. Не проглядывало в них никаких моральных соображений, никакого более или менее высокого смысла.

– Я рад, что ты любишь своего брата. Вражду и зависть могу испытывать я, старик, исполненный всяческой скверны. Хорошо, что в тебе их нет. Рановато тебе еще... – И еле слышно, как бы вскользь, между прочим, добавил: – Жаль только, что в цари ему захотелось.

– Но разве он виноват, что молод? И разве виноват, что неопытен и горяч? – уже окончательно войдя в свою роль, всем сердцем вступился за брата Тирит. – Помешай его за-

мыслу, Айр-Мардпет. Умоляю тебя, помешай. Для его же блага.

— А также и для нашего блага, князь. А также для блага царя и отечества, — устыдившись волнения и чуть ли не слез, звучащих в голосе Тирита, счел нужным поправить Айр-Мардпет. — Я разужнаю точно, что у него на уме. Но что бы я ни узнал, тебе не открою. Слишком юн ты, чтобы вносить в твое сердце смуту.

Стоит этому молодчику дорваться до трона, как мне же первому не сносить головы. А заодно и всем, кто расчистил ему дорогу. Не сила его толкнет на это, а слабость. От слабости родятся подозрения, страхи. Потом очередь наступит для тех, с чьей помощью он свел уже счеты с первыми. Потом для других, и так непрерывно. Пока в один прекрасный день не обнаружится, что благодаря своей слабости он сделался сильным царем.

— Я вознагражу тебя, князь, — произнес Тирит деловито. — Щедро вознагражу.

— Об этом после, после, — обиделся Айр-Мардпет. — Не порть идею.

Глава пятая

Хорошо знакомый, привычный шум послышался Нерсесу. Мало сказать — послышался. До сих пор, притаившись где-то, поджидавший Нерсеса, шум этот внезапно обрушился ему на лицо звонкой пощечиной, резанул, ожег, словно напомнив про его отступничество и измену.

В одноэтажном помещении при дворце шло состязание фехтовальщиков. Удары мечей, чистый благородный голос стали всколыхнули сердце вчерашнего воина, зазвучали для Нерсеса напоминанием о некоей особой самодовлеющей вере, о поклонении особому божеству.

И если отступничество от Христа — святотатство, то не святотатственно ли и всякое вероотступничество? Почему это тот же самый Христос не должен порицать того, кто обратился к нему, предав при этом другую веру? Где же тут, спрашивается, справедливость? Ведь вот он, Нерсес, чему до сих пор служил, чему посвящал себя? Разве всем своим существом, каждым движением, каждым шагом не прославлял он телесную силу и красоту, жар крови, мирские волнения и утех, здоровое, бесстыдное упоение жизнью? Разве все это не превратил он из обыкновенности в культ, не сделал верой, не поднял на пьедестал? А теперь притворяется с серьезнейшим видом, будто кровь в его жилах течет осты-

ло и мирно, не кипит, не клокочет, не бунтует против него, будто руки его не набухают от праздной силы, будто не жаждет его ладонь рукояти меча и не тоскует больше о ласке и нежности. И это бессмысленное ограбление души, это ее дикое опустошение, это бессовестное выдавливание из нее всех соков есть якобы не что иное, как служение ей же. Как ты терпишь, боже, лицемерие своих слуг? Как ты прощаешь им фарисейство? Ведь ты же видишь прекрасно, что я и мне подобные только заискиваем, угодничаем пред тобой и совершаем, стало быть, величайший грех, ибо приравниваем тебя тем самым к простым смертным.

Нерсес побледнел и испугался. По-настоящему испугался. Что-то неотвязное, неутихающее внутри так и билось, так и толкало его на безумие — сейчас, сию минуту сбросить рясу, ногой ударить в эту дьявольски искусительную дверь, распахнуть ее, ворваться, выхватить у кого попало меч или саблю и ринуться в бой. Он сам же отомстит себе за свои лишения, за притворную жизнь, за насильничанье над собой, а главное — он покажет всем этим соплякам, что значит умение обращаться с клинком: как приручают клинок, как обласкивают, заговаривают, нашептывая тайные, единственные слова, как заключают с ним нерасторжимый союз и, сливаясь в одно, рука об руку побеждают. Трепыхайтесь, вопите от воодушевления, почему б не вопить, если нет среди вас самого сильного, самого опасного из ваших противников. А ведь скорее огорчиться б вам, скорей горевать бы. Кошка сгнула, на арене — мыши. У мышей веселье, у мышей праздник! Вот так история, Нерсес! До чего ж ты дошел? Тебе ли было превращаться в самого святого, самого благочестивого армянина?

Но слава всевышнему, тысяча псалмов ему в восхваление, что у Нерсеса в эту минуту оказался спасительный выход. Неотложное дело ожидало его. И, без сомнения, дело великой важности. В его руках находилась сейчас судьба страны. В его руках и в руках царя. Но иметь ей двух хозяев и далее — невозможно. Сегодня кто-то из них двоих заберет ее полностью в свои руки — либо царь, либо он, духовный владыка армян. Благословение вам, мои бывшие друзья и противники, деритесь без меня, упивайтесь боем, добром поминайте меня многогрешного, я же сегодня всю накопленную силу и твердость истрачу в другом поединке — с царем!

А все-таки... А все-таки, будь он свободен в эту минуту, не скован великим долгом, нашел бы он в себе силы плюнуть на все и смело, как подобает истинному мужчине, вернуться к своему «я», к своей прежней святыне? Ему стало

грустно, очень и очень грустно от мысли, что нет, скорее всего не нашел бы...

И, уповая на эту безвредную грусть, защитив себя ею, как броней, и утешившись, он улыбнулся спокойно и вступил во дворец.



Известившись, что в тронном зале его ожидает Нерсес, царь смешался, как ребенок, и, подобрав полы белой одежды, из галереи, где он расспрашивал азарапета Вараза Гнуни о податных сборах, поспешно устремился во дворец. Хоть он и знал, конечно, о возвращении католикоса в Армению и даже сам выслал нескольких нахараров, чтобы встречали его на границе, у Львиной горы, а все же весть эта сейчас застигла его врасплох. Тем более что Нерсес объявился без свиты, без приличествующей случаю церемонии. Кто же этот первосвященник, вернувшийся из Кесарии? Что он за человек и как себя поведет? Узнает ли царь в новоявленном армянском католикосе своего двоюродного брата Нерсеса? Припомнит ли, почувствует в нем родное? И отчего это он не может сдержать шаг, не может справиться с охватившим его волнением? Оттого ли, что ему не терпится найти ответ на свои вопросы, или просто оттого, что он стосковался по брату, что ему хочется увидеть его, прижать к груди?

Нерсеса он всегда любил, и пускай тот знает, пусть помнит об этом, на носу пусть зарубит. Не будь царя, так ему бы всю жизнь оставаться обыкновенным воином и придворным, которому приказывали бы, гоняли туда-сюда, кому как вздумается помыкали бы. Но разве царь допустил бы, стерпел бы такое? Чтоб на глазах у него унижали дорогого ему человека? Разве не ясно было, что я выделю тебя и возвышу, что посажу тебя, как равного, рядом с собою? Да и что тут удивительного, Нерсес? Ведь и ты на моем месте сделал бы то же самое. Признайся, сделал бы? Нет, признайся, прошу тебя! Сделал бы! Ну конечно! Я же хорошо тебя знаю. Знаю твое благородство и широту.

И он успокоился, ответив себе за Нерсеса. Я испытывал бы вечную благодарность к тебе. Что бы ни задумал ты, что бы ни сделал, пусть даже противное моим убеждениям, я не чинил бы тебе препятствий, не подставлял бы ноги. Не католикос ты, Нерсес, как и я не царь, — ведь помимо этих громких высокопарных титулов существует еще и голос крови, общность вида, узы родства. Ну, порезал ты, скажем, палец или занозил ногу — у кого заболит душа? У меня, конечно.

У кого же еще? А если со мной что случится, то и ты точно так же лишишься сна и покоя, исстрадаешься за меня. Сейчас, Нерсес, сейчас, потерпи минутку... Сейчас мы наглядимся, нарадуемся друг на друга. Быстрее не могу, и так уже запыхался. Сейчас, сейчас!

Дверь приемной была открыта, и еще издали он завидел широкоплечую внушительную фигуру брата. Он отметил про себя, что Нерсесу явно идет его длинное черное одеяние, и почувствовал от этого какое-то смутное беспокойство. Он замедлил шаг и, тихонько, бесшумно ступая по ковру, дошел уже до двери, но тут что-то словно остановило его. Войти не решился, отпрянул в сторону, всем телом прижался к стене, перевел дыхание и, набравшись твердости, подчеркнуто бодро, широко раскинув руки, вошел в приемную.

— А, святейший! Рад твоему возвращению. Ну как дела? Что говорят о нас в Кесарии? Впрочем, чем меньше говорят, чем реже вспоминают, тем лучше. Какие новости?

— Самая главная новость — твои недавние действия, — взорвался с первого же слова Нерсес. — Что за безрассудство? Что за ребячество? Неужели ты не знаешь, что нельзя доверяться черни, нельзя давать в руки ей силу?

Царь теперь только осознал, что они даже не обнялись, даже не поздоровались друг с другом по-человечески. Это вовсе, однако, не обескуражило и не разочаровало его. Именно такого и следовало ожидать. Аршакаван не мог не вызвать ярости у святейшего.

Он распахнул двустворчатую золоченую дверь тронного зала и легким наклоном головы пригласил католикоса войти.

Стены зала были увешаны всевозможным оружием и охотничьими трофеями — оленьими и кабаньими головами, мечами, кинжалами, копьями, стрелами. На возвышении помещался трон — массивный, с высокой спинкой, с львиноголовыми на торцах широкими подлокотниками, с леопардовыми шкурами на сиденье и в ногах.

Царь намеренно не стал усаживаться на трон, а устроился в кресле рядом с Нерсесом.

— Не такой, Нерсес, представлялась мне наша первая встреча, — произнес он с сожалением, дружески опустив ладонь на колено брату.

— Что за хаос ты создал в стране?! — все так же негодуя воскликнул Нерсес, и царь невольно подумал, что у этого человека молодая голова сидит на старческом теле, иначе откуда вдруг этот тон и слова. — Попираешь закон, топчешь святыни... Стираешь все грани между слугою и господином. Всюду царит беспорядок, безвластие. Ты пробудил

в людях самые темные инстинкты. Заполнил Аршакаван слугами, сбежавшими от господ. Отмени свой указ, пока вулкан не взорвался. Пока не разразилась беда...

Царь встал с кресла, хмурый и молчаливый, медленными шагами приблизился к трону, постоял перед ним, словно в раздумье, после чего обернулся уже с улыбкой на лице и сел на обычное свое место — выше и в отдалении от посетителя.

— Не велеть ли, чтоб подали вина? Давненько ты, наверное, не пил.

— Как осмеливаешься, царь? — смутился Нерсес.

— Да ладно уж, не стесняйся, мы тут одни. Ты ведь всегда был не прочь выпить. И не изменился же оттого, что одежда твоя изменилась?

— Как у тебя язык поворачивается?! — Нерсес не вытерпел и вскочил с места.

Хорошо, что хоть не ударил жезлом об пол, а то еще резче выступил бы контраст между молодым лицом и старческим телом.

— Мы же друг друга знаем, святейший, — продолжал царь, упорно не замечая ярости и негодования Нерсеса. — Помнишь, как ты выпрашивал у меня один только день, до утра... Я отказал тебе. И даже не помню, зачем ты его просил. Но совесть меня до сих пор грызет. Даю тебе этот день, святейший. Даю от души. С сыновней готовностью.

— Я направлю императору письменный свой протест, и все твои нахарары под ним подпишутся, — пригрозил католикос, ударив жезлом об пол.

Царя словно толкнули, он вскочил с места, кинулся к католикосу, упал перед ним на колени, поцеловал руку и, подняв глаза, прошептал укоризненно:

— Нерсес!..

— Не заставляй меня прибегнуть к проклятию, — оборвал тот еще суровой и тверже, радуясь, что его угроза подействовала на царя. — Ты сотрясаешь все основы государства. Побойся хоть бога... — Потом добавил уже мягче, с великодушием победителя: — Отмени строительство Аршакавана. Помиришь с нахарарами.

— При одном условии, — царь поднялся с колен и с нарочитой медлительностью стал отряхивать и оправлять на себе одежду. — Если ты мне напомнишь, для чего ты выпрашивал тот единственный день. Да еще до утра...

— Знаешь ли ты, кто отныне величайший твой враг?

— Ты, — улыбнулся царь.

— И тебя это не страшит?

— Страшит. И даже очень, — признался царь, и его полная откровенность обезоружила Нерсеса. Царь положил на плечо ему руку — мол, сядь, — и Нерсес послушался, сел, а царь неторопливо вернулся назад и спокойно уселся на царское свое место. Ну вот, теперь уже все в порядке. Все как полагается, чин чином. Теперь можно переходить к деловому разговору с католикомом всея Армении. — Допустим, что из-за Аршакавана ты примешь сторону нахараров и объявишь мне решительную войну. Готов даже признать, что ты меня победишь. Но как же тогда твои замыслы? Ведь у тебя есть замыслы. И какие смелые, какие блестящие! Ты собираешься повсюду открыть школы, основать дома призрения для нищих и немощных, больницы, приюты для сирых, для прокаженных. Вот видишь, как внимательно читал я твое письмо, как подробно все помню. Потому что запечатлелось, запало в сердце. — И вдруг, без какого-либо естественного перехода, язвительным тонким голосом выкрикнул: — А кто же позаботится о твоих расходах? Государство, не так ли? Я, я! — И столь же внезапно вернулся опять к деловому тону: — Я дам тебе деньги. Наделю землями. А взамен ты не станешь вмешиваться в дело с Аршакаваном.

— Купить меня хочешь?

— Но за какую цену, святейший!

В словах его не было ни малейшей иронии. Да и что тут оскорбительного, если взамен ты получаешь громадные деньги и земли? Разве не ясно, что в борьбе кто-то побеждает, а кто-то сдается? Не может же быть, чтобы победили оба? Или оба сдались? Э, нет, не годится, святой владыка, с беленькими ручками в драку не лезут. Научись-ка сносить царапины, боль, стискивать зубы, как подобает мужчине. Если хочешь знать, оскорбительно то, что ты с первой же минуты был уверен в своей победе, даже и мысли не допускал, что тебя побьют. Потому что не чувствовал ко мне уважения.

— Ты можешь с чистой совестью согласиться на эту сделку, — воодушевившись, начал уговаривать Нерсеса царь, искренне убежденный, что на свете нет ничего такого, чего бы он при желании не мог купить. — Положи-ка на весы Аршакаван и свои проекты. Что важнее? Что неотложнее? С твоей точки зрения. Ну конечно же проекты. А теперь допустим, что ты победил меня. Стоит ли ради этой победы, пускай даже очень важной, жертвовать своим замыслом?

— Я хочу, чтобы задуманное мною благотворительство осуществилось в нашей стране, — упавшим голосом произнес Нерсес и сделал попытку объяснить, даже доказать, почему

у него нету иного выхода, кроме как согласиться: — Я очень хочу осуществить это, царь.

— Причем впервые во всей армянской истории! — живо, горячо поддержал его царь, как если бы это разговаривали двое единомышленников, радеющих об одном и том же деле. — Ты только представь, как улучшится положение народа! Недовольных станет гораздо меньше, и, значит, ослабнет Аршакаван, а то, может, и вовсе ненужным окажется. Вот видишь, я не лишаю тебя возможности бороться против Аршакавана. Я даже сам даю тебе в руки оружие. И вообще, зачем тебе зря беспокоиться? Ведь нахарары не будут сидеть сложа руки, они предпримут все что требуется против Аршакавана. — В посуровевшем его голосе прозвучал металл: — Но без тебя, святейший. Без непосредственного твоего участия.

— Я не вправе соглашаться на эти условия, — проговорил Нерсес с безнадежностью: дескать, что тут поделаешь, он готов согласиться, лишь бы его поняли, лишь бы постигли всю безвыходность, всю тяжесть его положения. — И вообще ни на какие условия.

— Но ведь, строя Аршакаван, я тоже пекусь о народе, — задетый явной несправедливостью, вспыхнул царь. — Пускай по-своему, но пекусь. Так зачем же нам с тобою спорить, святейший? Зачем ожесточаться друг против друга?

— Мы с тобой обязаны заботиться о народе, но давать в его руки силу — нет.

— Соглашайся, святейший. Если хочешь помочь народу, соглашайся без оговорок, — нажал царь, чувствуя, что победа близка. Дай бог только сил нанести напоследок неотразимый, прямой и верный удар, потому что дипломатия далеко не всегда основывается на хитрости и обмане. — До каких пор нашим Паруйрам Айказнам не находить себе поприща на родной земле и удаляться на чужбину? Задумывался ли ты когда-нибудь, почему здесь, у нас, ни один еще человек не прославился как великий? Живут под боком, а мы и не замечаем их, не устаиваем внимания. Но стоит им уйти в чужие края и там снискать себе почет и признание, как мы уже гордимся и, бия себя в грудь, клянемся их славными именами. Таких людей у себя нам надо иметь, у себя сохранить.

Царь доволен был своей речью. И не просто доволен. Он говорил именно то, что думал. Сам воодушевлялся, слушая себя. Нерсес умен и дальновиден. Он понимает, что ни силой, ни проповедями не укрепить христианства в стране. Надо добиться того, чтоб Христова вера тянула бы, привлекала к себе людей, завоевывала сознание и сердце народа.

А всякая новая вера, дабы явить свое превосходство, нуждается в осязаемом тому доказательстве, хотя бы для начала, хотя бы временно. Самым удобным доказательством в данном случае могут послужить благотворительные дела.

— Если ты так горячо поддерживаешь мои замыслы, то почему сам не взялся за это дело? — вполне уместно и справедливо поинтересовался Нерсес.

— А потому что я не могу сеять добро направо-налево просто так, без учета главных интересов страны, — улыбнулся царь, оценив по достоинству вопрос брата и сожалея, что еще один стоящий человек отныне, как и Меружан, не другу ему, а противник. — Я тоже, Нерсес, хочу утвердить новую веру... Аршакаван!.. Твоя вера — в церковь, моя — в страну.

— Ты ставишь меня в трудное положение. Я хочу, чтобы в этой стране царило человеколюбие. Ты знаешь, как велико мое желание, и пользуешься этим.

— Не надо, святейший, не надо убеждать меня, будто ты идешь на вынужденную уступку. Ты приносишь одну великую цель в жертву другой, еще более великой.

Царь хлопнул в ладоши, и в палату вошел слуга и подал на подносе вина и фруктового соку. «И мне соку», — распорядился царь, в знак примирения и согласия с католиком. Он с отвращением выпил приторную водичку, мысленно кляня хитрости дипломатии, а Нерсес даже и не притронулся к своему стакану.

— Я очень рад и благодарен, что ты так успешно исполнил возложенное на тебя поручение, — произнес царь с глубокой растроганностью и, подойдя к Нерсесу, обнял его. — Не думаю, чтоб мое послание подействовало на Евсевия, не прояви ты своего красноречия и ума.

— Ты прав, на твое послание никто и не посмотрел бы, — уколол Нерсес. — Дело устроил я. Только и только я.

— Важно, что вопрос этот благополучно решился, а чьими усилиями, не имеет значения, — добродушно отвел эту колкость царь. — Еще раз благодарю тебя.

— Обязан благодарить. И не один раз, а десять, — огрызнулся Нерсес, все более раздражаясь и уже едва владея собой. — И не десять, а сто раз, и не сто, а тысячу.

— Но ведь мы же с тобой вдвоем, я и ты, царь и католикос, как мне это объяснить еще, как выразить, мы вместе, общими силами и стараниями сделали независимой армянскую церковь, — вскинулся, вскипел и царь в свою очередь. — Кто в этом больше заинтересован, я или ты?

— Ты! — ответил Нерсес с ненавистью.

Дело в том, что, отправляя Нерсеса в Кесарию, царь вру-

чил ему свое послание к патриарху патриархов блаженному Евсевию. В послании этом он требовал, чтобы Нерсеса рукоположили не просто верховным епископом, но и независимым патриархом Армении. Греческая церковь признавала для восточных христиан лишь один сан выше епископского, а именно верховного епископа, или католикоса, который приравнялся к греческому архиепископу, но не к высочайшему в церкви сану патриарха. Не имевшая доньше своего патриарха, армянская церковь находилась в подчинении у греческой, теперь же она приобретала самостоятельность.

— Я жестоко ошибся, и эту ошибку не простит мне ни один из моих преемников. — Глаза у Нерсеса так и кипели злостью, и царь не утерпел, чтобы не улыбнуться улыбкой, полной нескрываемого ехидства. — Стоит мне после этого в чем-то не угодить тебе, как ты преспокойно сместишь меня. Не спрашивая согласия греческой церкви.

— И стало быть, лучше зависимость нашей церкви от греческой, чем независимость, — добавил царь.

— Чем ее зависимость от власти царя, — поправил Нерсес и, взявшись за жезл, двинулся к выходу. У двери он обернулся и посмотрел на царя долгим, очень долгим, пронизывающим взглядом, и царь, к своей чести, выдержал, не отвел глаза. — Во всяком случае, я оценил твою хитрость. Оценил все коварство твоей мысли, — и, сказав это, Нерсес неожиданно рассмеялся. Словно дал себе волю, словно сбросил с себя узду. Рассмеялся как брат, а вовсе не как святейший. И поскольку царь стосковался по брату и к нему-то как раз и рвался, его и искал, то и он с готовностью засмеялся в ответ. И обоих отпустило, обоим сделалось легче. — Чтобы осуществить свой замысел, противный богу, построить Аршакаван, ты готов даже на богоугодное дело. Ну что ж, как знаешь... Господь с тобою.

★ ★ ★

Что теперь оставалось делать побежденному, сломленному, связанному по рукам католикосу армян? Раньше, в те вольные, благословенные свои дни, он утопил бы горе в вине, нырнул бы на самое дно караса, пропитался бы вином, как цедильное сито, как мешалка, сбивающая сок винограда, или же всем существом, всеми ниточками души обвил бы ее, оплел эту мешалку, точно душистые травы, придающие вкус молодому колобродящему вину, и его боль, его страдания сообщили бы свою горечь этой легкой, этой по-

истине божественной влаге, она в один день созрела, в один день окрепла бы и превратилась в старое, выдержанное вино.

А потом бы всю ночь он провел с блудницей. Выбрал бы самую старую, самую некрасивую. Всю боль за свои морщины, за увядшие свои груди она бы с яростью выместила на нем, на хнычущем, раскисшем от неудачи юнце. Напоследок, как бы прощаясь с бурным прошлым, она собрала бы остатки сил и излила, истратила бы их до конца, зная, что это вот — ее лебединая песня, что отныне для нее летние ночи будут все как одна душными, жаркими, а зимние ночи будут холодными, что отныне обычный порядок вещей уже никогда и ничем не нарушится. И, лежа с ней, с этой перезрелой женщиной, безжалостно выжимая последние силы, последнюю страсть и тепло ее тела, он забыл бы о своих страданиях и боли, ибо сам причинил бы страдание другому.

В те дни, в те вольные, благословенные дни...

А теперь... Теперь у него одно только утешение. Неподалеку отсюда, в монастырской келье, живет его двоюродный брат Врик, его находка, его открытие, его сокровище, столь же для него дорогое, как и единственное его дитя, его сын Саак, рожденный от брака с умершей совсем еще молодой Сандухт.

Он прошел через Трдатовы врата, сел в запряженную парой, занавешенную колесницу и очень скоро оказался уже у цели. Спустился, торопливо вошел в монастырь и потребовал, чтобы его немедленно провели к Врику.

У входа в келью, сторожа ее обитателя, стояли два здоровенных монаха.

Нерсес вошел и остановился, замер у стены, обомлело, зачарованно глядя на брата.

Сидя в полумраке каменной кельи, на каменной скамье, Врик старательно выводил греческие слова на лежащей перед ним воцеленной дощечке. Он до того поглощен был своим занятием, так глубоко, с головой погрузился в свое дело, что даже и не заметил святого владыку.

Лицо Нерсеса осветилось доброй улыбкой. Все его терзания, все заботы как рукой сняло. Небывалый покой осенил его душу, разлился по каждой жилочке тела.

Он нашел утешение, полное утешение. Все его страдания были возмещены. И за это он беспредельно был благодарен Врику, готов был поклониться ему до земли.

Врик поднял глаза, увидел католикоса, но особого действия это не произвело на него. Он снова свесил голову над дощечкой, чтобы дописать начатое предложение до конца.

Потом опять посмотрел на Нерсеса, и какая-то вымученная кривая улыбка проступила на его осунувшемся лице.

Нерсес подошел поближе к брату и с затаенной дрожью в сердце прошептал чуть слышно:

— Ты счастлив, Врик?

Все с той же натянутой улыбкой приговоренного Врик молча кивнул ему в ответ.

— Ведь это хорошо, что ты читаешь, пишешь?

Врик снова кивнул, на сей раз чуть поживее.

— Ты только греческим занимаешься или сирийским тоже? — ласково, поощрительно спросил Нерсес.

— И сирийским тоже, — прошептал Врик, словно доверяя ему великую тайну.

— А жениться хочешь? Хочешь иметь свой дом, свой очаг? Семью, детишек?.. — спросил Нерсес прерывающимся от волнения голосом и с нетерпением ждал ответа.

Врик молчал, но в лице его что-то как будто ожило. Что-то прошлое, позабытое силилось пробудиться в нем, в глазах вот-вот уже пробивался прежний их блеск, и в горле поднимался, закипал голос, который еще мгновение — и вырвется, хлынет и разнесет и эту келью, и монастырские стены, сметет с пути и греческий, и сирийский, и всякую премудрость, и всякую святость, и католикоса Нерсеса, и стерегущих монахов... Сметет, рассеет все это счастье... Но нет, эта сила таилась так глубоко, отступила в такую даль и забвение, что, даже и не пробудясь еще, уже заглохла и онемела.

И снова последовал молчаливый кивок. Да, он хочет жениться. Хочет иметь семью. Жену, детей...

— Много детей, — прошептал он бесстрастно.

И разразился беззвучным смехом.

Глава шестая

— Есть хочу, Айр-Мардпет!

Ничего он не хотел. Просто-напросто был вне себя от радости, наслаждался своей победой. Чем, собственно, это отличается от тех сражений, которые ведет против превосходящих вражеских полчищ спарапет Васак? По крайней мере, не значением. Отстранить католикоса от всего, что связано с Аршакаваном, суть половина успеха. Так-то оно так, но Васакковы победы очевидны и дают выгоду, красивы и впечатляющи, а в тяжких трудах добытые царевы победы, отгороженные от мира четырьмя стенами, не подлежат огласке. К тому же, если уж начистоту, Васак куда любимей в народе, нежели царь. Да и вообще спарапеты удачливее царей. Я не

отрицаю ни твоего таланта, ни отваги, ни преданности. Но что ни говори, есть в твоём деле что-то вроде актерства — этакая театральность, многоцветные знамена, ободряющий зов медных труб, ржание коней и цокот их подков, поблескивающие под солнцем мечи и шлемы... Даже в гибели на поле брани гораздо больше величия и мужественности, чем в смерти под какой-нибудь дворцовой колонной от пущенной из-за угла стрелы или от яда. Ну а после победы... Кто устилал мой путь коврами, кто осыпал меня цветами, кто самозабвенно возглашал здравицы в мою честь? Верно, устилали, осыпали, возглашали, но — вслед за тем, как это устраивали мои люди, а не стихийно, не от полноты чувств. Словом, тебе рукоплещут побольше моего. С тобою всегда праздник, со мною — будни. Знаешь, что меня утешает? Может статься, и ты мне завидуешь... Если хочешь, чтобы многолетняя наша приязнь осталась непоколебимой, завидуй мне, завидуй хоть немного. По-братски тебя прошу... Чтобы я и впредь мог тебя любить.

— Айр-Мардпет, распорядись отворить кладовые дворца и отправить в Аршакаван вдоволь продовольствия.

Едва Мардпет открыл рот — то ли осторожно возразить, то ли изъявить одобрение, — царь раздраженно повысил голос:

— Говорю, отправить в Аршакаван вдоволь продовольствия!

Только вот горечь поражения бременем ляжет на плечи Нерсесу. Не даст ему покоя. Подвигнет к отмщению. А такой мести нужно опасаться. Да и вообще после всякой победы следует быть настороже. Но, может, на этот раз Нерсес простит его, а? Боже ты мой, как было бы хорошо, если б простил! Как счастливо и покойно чувствовал бы себя царь. Может, его утихомятят деньги? А обширные уголья, которые я ему подарю? Царская казна понесет убытки, невозместимые убытки. Непомерно дорого заплачу я за эту победу. И победил ли я тебя, Нерсес? Сомнительно, ох как сомнительно. Ведь я же усиливаю, укрепляю твою власть, и в один прекрасный день твой авторитет начнет угрожать мне. Видишь, мы расставляли друг другу ловушки и оба угодили в них. Так что не таи камня за пазухой, и пусть он окончится вничью, этот поединок.

— Айр-Мардпет, скажи азату Ефрему, чтобы ждал меня. Я непременно выкрою время и сыграю с ним в шахматы. Только с ним и удаётся отдохнуть по-настоящему.

Живешь, живешь, подумал царь, и не знаешь, ради чего. Потом вдруг обнаруживаешь смысл своего существования.

И дай бог, чтобы он не обернулся словесами, а обрел плоть и кровь. И возник бы Аршакаван, и родилась бы мысль — создать новую силу и опору с помощью обездоленных. А там, глядишь, выяснится, что, сам того не ведая и не сознавая, ты каждый свой шаг посвящал Аршакавану, смыслу своего существования, своей страсти, навязчивой своей идее. Положим, в чем-то ты уступил кому-то — сегодня ты вправе утверждать, что пошел на это во имя Аршакавана. Два нахара повздорили между собой, и, допустим, ты стал на сторону второго — опять-таки во имя Аршакавана. Все эти случаи, значительные и пустяковые, ты — ни дать ни взять усердная пчела — терпеливо собрал воедино, слепил друг с другом, скопил про запас, сопоставил, разложил по порядку, и стоит из общей этой цепи изъять ничтожное с виду событие — и Аршакавана не будет; нарушь в этой цепи последовательность — и Аршакавана не будет, пойми же ты, не будет Аршакавана.

Выходит... Вот так так!.. Выходит, я жил правильно... Вот уж не думал, не гадал... Ну конечно, коль скоро бесчисленные хитросплетения всех этих следствий и причин довели меня нынче до Аршакавана, стало быть, я жил верно. Открытие воистину неожиданное. Открытие, сделав которое впору разве что улыбнуться глуповатой улыбкой, испытать неловкость перед самим собой и — это в твои-то годы, при твоём положении и короне! — зардеться точь-в-точь красная девица, потому как, глядя бесстыжими своими глазами, кто-то льстит тебе сейчас напропалую, льстит и не верит ни единому своему словечку, а уж ты и подавно ему не веришь. И все же любопытно. Ты, оказывается, жил правильно, шестнадцатый Аршакуни. Жил правильно и знать об этом не знал. Прямо-таки в голове не укладывается. Кому-кому, но мне ли не ведомо, что, если надо было солгать, я лгал, если надо было пойти на бесчестие, я шел, если надо было быть жестоким, я был им, если неизбежно было клятвoprеступление, я его не избегал... Чего я только не творил...

Он готов был до крайности отягчить свои погрешения, сознаться в таких вещах, которые доселе и от себя-то тщательно утаивал, готов был даже выдумывать, лишь бы грехов было побольше — великих, ужасающих, непростибельных... Сейчас они подскочили в цене, преобразили прежнюю свою сущность, превратились чуть ли не в предмет гордости. А ты-то... Ты, католикос всех армян, именно ты... Меня ведь не проведешь и себя самого не проведешь тоже: да, ты несчастен в новом твоём облачении, да, ты клянешь тот день, когда из рук у тебя вырвали меч, путами укротили

силу твоих мышц, сожгли твое былое и развеяли в прах заодно с одеждой. Ты, который всю свою жизнь был и честен, и прямодушен, и предан, и отважен... Он охотно добавлял Нерсесу достоинств, даже выдумывал, лишь бы добродетелей было побольше. Раз уж ты дошел до этого, то какие еще сомнения – конечно же ты жил неверно. Ибо каждый свой шаг посвящал этому дню, ибо события твоей жизни, большие и малые, сложились так, что одно за другим, звено за звеном привели, подтолкнули тебя к схиме. Поди-ка да разберись, дорогой мой сородич. Я со всеми моими ошибками жил правильно, обрел свой Аршакаван, смысл своей жизни, а ты, вроде и не ошибаясь, жил неверно и стал католикосом, более того – независимым патриархом... которым управляет и помыкает царь. Что и говорить, я страшно рад этому нежданному повороту, однако не могу не воскликнуть, хотя бы и в голос с тобой: ну и мир, ну и загадка!

– Только бы не пролилась кровь, Айр-Мардпет, – внезапно нахмурился царь. – А ведь Аршакаван без крови не выстроишь.

– Знаю, царь, знаю, – вздохнул Айр-Мардпет. – И я думаю о том же – как избежать крови. – Он умолк на мгновение, чтобы царь вполне уразумел последующие его слова и запечатлел их в своей душе. – Для этого, царь, надобно снести несколько голов.

– Несколько голов? Хватил через край, Айр-Мардпет! Не выношу, когда у жертвы есть имя. А кровь тысяч – она безымянна.

– Будь милосерд, царь, поступай по совести. Лучше снести несколько голов, дабы спасти тем самым жизнь тысячам. – И оттого, что царь погрузился в противоречивые свои мысли, Айр-Мардпет смог откровенно усмехнуться. – К тому же, когда жертвы известны поименно, убийство куда занятней. Не забывай, царь, я не воин. Я придворный.

Царь не привык к большим, необычайным радостям, не верил в их подлинность и потому не позволял себе безоглядно предаться пьяняще-счастливому расположению духа. Чувство самозащиты толкало его затенить надвинувшуюся было радость повседневными заботами и делами.

– Однако же ты рассуждаешь так, что, окажись здесь посторонний, он возомнит, будто перед ним убийцы, – добродушно улыбнулся царь. – Продолжай, нечего смущаться.

– Но в том, о чем мы говорили, царь, нет корысти ни тебе, ни мне.

– Хочешь сказать, все это – на благо Аршакавана? На благо единого отечества? Оно будет, Айр-Мардпет, даю тебе

слово, — торжественно провозгласил царь, словно обращался к многолюдной толпе. — Вон сколько народу бежало в Аршакаван. Моих слуг и тех немало. — И добавил с восхищением: — От меня бежали, от меня! И бывшие мои враги теперь мне союзники. Воображаешь, каково нынче нахарарам, какие у них лица! Как они меня поносят. Как проклинают. «Этого спесивца Аршакуни пора обуздать!» Узнал князя Арцруни? «Я этого черномордого царя, этого волосача, я его поставлю на колени!» Узнал Камсаракана?

— Узнал, царь, — невозмутимо ответил Айр-Мардпет. — Но ты выразился о себе чересчур уважительно. Уверяю тебя, их брань и злей и язвительней.

— Есть хочу, Айр-Мардпет! — с подъемом повторил царь: пусть, дескать, мое хорошее настроение станет законом для всего дворца, всей столицы и всей страны. — Распорядись отворить дворцовые кладовые и отправить в Аршакаван вдоволь продовольствия. Да накажи азату Ефрему ждать меня. Я выкрою время и непременно сыграю в шахматы с другом своего детства.

— Почему князь Гнел жил в Айрарате, царь? — с любопытством, но без нажима спросил Айр-Мардпет, словно это только-только, прямо сейчас, сию минуту пришло ему в голову. И впрямь — почему? — Разве ему не известно, что из всех князей, в чьих жилах течет царская кровь, в Айрарате имеет право жить только престолонаследник?

— Стало быть, это Гнел. — Вопрос был внезапен и жесток, и царь побледнел. — Куда ты клонишь, Айр-Мардпет?

— Почему твой отец передал ему все свое состояние, имения и земли — и не когда-нибудь, а после того, как ты изгнал Гнела из Айрарата? — как ни в чем не бывало продолжал Айр-Мардпет, и вновь его голос выражал такое бескорыстие, которое способно было навести лишь на тот же самый вопрос: и впрямь — почему?

— Может, отец любил своего сына Трдата сильнее, чем меня? — попробовал защититься царь, предпочтя объяснить все по-человечески, не мудрствуя лукаво. Однако такого рода объяснение не удовлетворило его. — Выкладывай, что у тебя на уме? — И тут же резко вскинул руку: ни слова! Хотел защититься поосновательней. Пускай их болтают о Меружане, Камсаракане, бдешхах, да хоть бы и о Васаке (не приведи боже!), но не об отце, не о племяннике, не о Нерсесе. — Я повелел Гнелу покинуть Айрарат. И сподобился отцовского проклятия. С того дня отец и брат враждуют со мной. Что тут неестественного? Я бы повел себя точно так же. — Нет, и это объяснение его не устроило. Слишком оно

по-человечески простое. Слишком удобное. Слишком понятное и очевидное. В том-то и кроется его слабость. — Давай выкладывай, что у тебя на уме.

— Император присвоил заложнику Гнелу звание консула и отправил в Армению. — Айр-Мардпет бесстрастно изложил факт и с честной озабоченностью напряг память: не придет ли ему в голову еще что-нибудь?

— Чего ради ты затеял вдруг этот разговор? — Царь неприязненно взглянул на Мардпета, совершенно уверенный, что тот не соврет, не посмеет соврать. Никто не отважится соврать ему. И если он страшился теперь чего-либо, так это своей силы, могущества, безграничности своей власти, которые никогда не оставляли места сомнению. — Дальше?

— Почему император не только присвоил Гнелу консульское звание, но и не поскупился на драгоценности и деньги?

— Послал с умыслом? Против меня? — царь призадумался. — С какой стати?

— Ты отказался исполнить приказ императора и не дал ему войска для сражения с персами.

— Это давнишняя история. К чему ты о ней вспомнил, Айр-Мардпет? — насупился царь, ибо ощутил потребность оправдаться. — Что недоброго ты собираешься мне сообщить?

— Не раз и не два бахвалился ты во время пирушек, что самому Ахиллу не сравниться с тобой силою и отвагой. И что плевать тебе на императора.

— Ну, бахвалился! — крикнул, не сдержавшись, царь. — Какой же я хозяин, ежели не могу покуражиться в собственном доме?

— Но ведь именно затем, чтобы проучить тебя, император и убил заложника — твоего брата Трдата, отца Гнела.

— Дальше?

— Ты бы простил это, царь? — кротко спросил Мардпет. До того кротко, что царь содрогнулся.

— Но ведь не я же послужил прямой причиной его гибели, — как-то сник царь, ожидая от Мардпета сочувствия. — Бог свидетель, не я.

— Отца убить, а сына произвести в консулы. И вдобавок озолотить, — недоуменно пожал плечами советник по внутренним делам. — Нет ли здесь противоречия, царь?

— Есть! Есть! Есть! — выкрикнул царь, теряя самообладание. — Чего тебе от меня надо?

И в этом отчаянном, беспомощном вопросе сплелись воедино его прегрешения и тяжесть фактов. Одно мешало другому. Жажда мести и сознание вины сталкивались и заглушали друг друга.

– Почему враждующие с тобой нахарары отдали своих сыновей на воспитание Гнелу? Почему вдруг все разом возлюбили его?

– Ты испортил мне аппетит, Айр-Мардпет, – прорычал царь. – Прибить его, что ли, этого щенка?

– Не спеши, царь, – приуныл Айр-Мардпет, почуяв запах удачи. Пропало прежнее возбуждение, очарование опасности, дух захватывающая острота игры. И тотчас правый бок пронзило изводившей Мардпета каждодневной старческой болью. – Ради бога, не теряй хладнокровия.

– Стало быть, власти захотелось? – как загнанный в клетку, метался от стены к стене царь. – Трон, стало быть, пустует?

– Нужны доказательства, царь, доказательства.

– Какие еще доказательства?! А все твои «почему» – они что, не доказательства?

– Но ты же знал все это, царь. Я не сказал тебе ничего нового.

– Знал, но порознь. Никогда не связывал одного с другим. – Он крепко ухватил Мардпета за ворот. – А ты зачем связал?

– Беспредельное могущество и власть сделали тебя, царь, излишне доверчивым. – Но к кому – к нему ли самому или же Гнелу? – так и осталось непроясненным. И Мардпет с достоинством высвободился из рук царя.

– А что тут такого? Пускай повластвует. – На этот раз царь намеренно прикинулся подавленным и сникшим. – Раз уж очень стремится, стало быть, что-то знает... Он моложе меня, преисполнен сил... И вроде бы не глуп, а?

– Уже смирился, царь?

– Давно смирился. – Царь обмяк и сел на ступеньку ведущей к трону лестницы; им завладела удивительная безучастность ко всему. – Устал цепляться за трон, устал от бесконечных козней, от себя, от тебя, от твоего карканья. Пускай придут другие, пускай попытают счастья. Пускай захотят что-нибудь сделать, а их никто не поймет. Пускай изведает одиночество... похлеще моего... Одиночество, одиночество, полное одиночество... – Айр-Мардпет взял переносной светильник, осторожно установил его перед царем и неприметно отступил в сторонку. Царь протянул ладони к огню, продолжая по-стариковски бормотать: – А я уйду в Аршакаван, буду рыть землю для нового царя, буду пить вино, голодать, спать со своей голытьбой... Но примут ли меня, Айр-Мардпет? Они же меня ненавидят... А я – их... Представляешь, две ненавидящие друг друга силы вдруг

объединятся?! Чего они только не понаделают! Мир перевернут. Что им тогда Византия, что Персия, что нахарары? — Угасшие его глаза вновь блеснули, взгляд ожил, и он вскочил. — Вот этого-то Гнелу и не постичь. И никому не постичь, кроме меня.

Разумеется, он, один лишь он достоин стоять у кормила этой страны. Добившись власти не насилием, не обманом, не посредством множества грязных ухищрений, а по чести и справедливости. Болтайте, болтайте сколько угодно, у меня и в мыслях нет оспаривать того, что я честолюбив; ну, честолюбив, а отчего бы и нет? Честолюбивый, до мозга костей испорченный, помешавшийся на утехах и наслаждениях, развращенный богатством... Еще добавить? Однако заполучи Гнел корону, и он станет таким же. Выходит, тут мы одинаковы. Близнецы. Одним миром мазаны. Но слушай дальше, племянничек, слушай дальше. Я наметил путь для спасения гибнущей этой страны. А ты? Есть ли у тебя хоть что-нибудь, помимо тщеславия? Ежели есть, ежели ты вынашиваешь замысел еще более изобретательный, ежели тебе по плечу возглавить своих подданных, увести от страшных опасностей и спасти — изволь, борись со мной сколько заблагорассудится, рвись к этой деревяшке, к державному этому трону, и да будет он достоин тебя. Но что ты можешь противопоставить моему Аршакавану, у тебя ведь нет ничегошеньки за душой, эх ты, желторотый юнец! Куда же ты суешься? Зачем прокладываешь дорогу локтями? Чего ради? И уж здесь-то я пришибу тебя. С легкостью, без зазрения совести. Одним ударом кулака. Ибо трон ни при чем — речь о судьбе страны. Возможно, по части трона ты и сильнее меня, но в том, что касается судеб страны, сильнее я. Я, и только я. И тебе не бывать семнадцатым Аршакуни. Покамест еще есть шестнадцатый.

— А если ты враг Гнелу и норовишь свести с ним старые счеты? — царь попытался отыскать последнюю лазейку, но не из любви к племяннику, а для собственного успокоения. — Может, ты и впрямь его враг, а я и не знаю?

— Допустим. — Айр-Мардпет ничуть не смутился и предпочел не отрицать предположения. — Но, царь, разве существенно, из каких побуждений я говорю тебе правду? Ведь правда — она же от этого не меняется.

— Меняется, еще как меняется! — откровенно обрадовался царь, потому что перед ним забрезжила слабая надежда избежать кровопролития. И он дружески обнял Мардпета за плечи. — Пристрастность — вещь немаловажная. Ну-ка поду-

май хорошенько. Прислушайся к голосу совести. Будь сам себе судьей.

— Когда цари установили, что из князей царского рода жить в Айрарате имеют право только наследники престола, они, наверное, что-то учитывали, — смиренно возразил Айр-Мардпет. — Им хотелось держать подальше от дворца тех, кто посягает на престол. Полагаю, ты последовал их примеру не без задней мысли и удалил Гнела из Айрарата не только для соблюдения надлежащего порядка.

— Именно для соблюдения порядка, — ответил царь, но тотчас помрачнел и убрал руку с плеча Мардпета.

Он и не сомневался, что этот шелудивый пес не оставит ему никакой лазейки. А оставил бы, так царь сам бы ее закрыл. Эх, Тиран, Тиран, злосчастный мой предшественник, мой отец, мой родитель, с которым мы похожи как две капли воды, вот он и настал, твой черед. Я этого не хотел, но он настал. И мне поневоле придется говорить с тобой начистоту.

Ты так и не примирился с мыслью, что ты уже не царь. И особенно с тем, что царем стал твой сын. Стань им кто-нибудь другой, не я, ты бы, пожалуй, помаленьку с этим свыкся, не переживал свое падение столь болезненно. И то сказать, растишь, годами растишь сына, заботишься о нем, пестуешь, учишь жить, а когда у тебя требуют заложника, посылаешь в далекую Византию младшего сына, тогда как среднего, Аршака, жалеешь, оставляешь у себя под крылышком — стало быть, любишь его больше всех, больше всех к нему привязан, и вдруг на тебе — он, этот твой сыночек, восходит на престол. И пусть, пусть, ну конечно же пусть восходит, именно он, именно Аршак, да только после отцовской кончины, непутевая твоя голова, а никак не при жизни отца. И ты более чем уверен, что это с моей стороны неслыханная и невиданная неблагодарность. Что я — единственная причина всех твоих несчастий. Это я-то, который был попросту игрушкой в руках сильных мира сего, я, чья, воля или желание не стоили ломаного гроша. Я сел на трон по чистой случайности и по чистой же случайности мог на него не сесть. Шапук захотел, вот я и стал царем. Не захоти он — не стал бы. Но ты не простил меня. Одного лишь меня не сумел простить. Одного лишь меня поминал ты лихом и винил в своих бедах, меня — самого близкого тебе человека. Как раз оттого, что самый близкий. Однако же тебя все равно лишили трона. Так не лучше ли, чтобы тебя сменил сын, а не враг? Да нет, враг-то как раз и лучше, враг — но не сын.

Тиран вместе с внуком удалился к подножию Арагаца,

в селение Куаш. Возненавидел персов, взял сторону Византии. Бог создал для армянских нахараров только две любви. Они любят не бездонную синеву неба, не задыхающийся бег горных речушек, не сотворенное из их ребра женское существо, не друга, не отечество — они любят перса либо византийца. Если нахарара обидишь или оскорбишь, он и не подумает выругать тебя по-мужски, вlepить оплеуху, выхватить из ножен меч — он перейдет на сторону перса либо византийца. Если у него пучит живот и досаждают отрыжка, он перейдет на сторону перса либо византийца. Если нахарар повздорил с женой или заподозрил ее в измене, он перейдет на сторону перса либо византийца. А царю только и остается беспрестанно смотреть в оба, хватать убегающих за подол, умолять, уламывать, объяснять, внушать, угрожать, страшать и в конце концов, убедившись, что все впустую, тоже разобидеться и перейти на сторону перса либо византийца.

Тиран днями напролет лелеял сокровенный замысел. Мечтал увидеть Гнела на армянском престоле. Не то чтобы ты полюбил внука больше, чем сына, не то чтобы ты ценил Гнела выше, чем Аршака, но во внуке своем и сыне, в ненависти и любви ты различал одну только свою корысть. Стань царем юный и неискушенный Гнел, ему было бы не под силу самостоятельно править страной, ему потребовался бы советчик, подсказчик. И если до сих пор деду-слепцу нужен был, чтобы не споткнуться, поводырь-внук, то, став царем, внучек сам бы последовал за незрячим дедом. И дед оказался бы на поверку владыкой и самодержцем страны. Потому-то царь и послал к Гнелу Вардана Мамиконяна: отчего, дескать, ты — в нарушение обычая наших отцов — обосновался в Айрарате? Выбирай одно из двух: или прими смерть, или покинь Айрарат. Гнел покорился царскому повелению и перебрался на северное побережье Ванского озера, в Алиовит — одну из трех областей, определенных князьям Аршакуни для жительства.

— Вызовешь Гнела в Шаапиван, на праздник Навасарда¹, — приказал царь, понизив голос. — Скажешь: царь не пожелал праздновать Навасард без тебя. Скажешь: он благоволит к тебе, ибо, невзирая на все наветы, уверен, что ты не держишь на него зла. Он убедился, что понапрасну ненавидел тебя доселе и что ты достоин его любви. — Умолк на миг и, окончательно утвердившись в решении, шепотом добавил: — Вызови Гнела, хочу с ним потолковать. — Заметив

¹ Навасард — по древнему армянскому календарю — первый месяц года.

внезапную бледность Айр-Мардпета и вопросительный его взгляд, отрицательно покачал головой. — Хочу потолковать.

Взяв факел, отворил дверь тронного зала, а затем приемной. Вышел и стремительно двинулся по коридору. Побледневший Мардпет стоял в дверях и, сглатывая слюну, смотрел вслед царю. Тот резко остановился вдалеке, обернулся, воздел в темноте факел и яростно бросил куда-то в пространство, туда, где, должно быть, стоял Айр-Мардпет: — Хочу потолковать!

Глава седьмая

— Не пуцу! — со слезами на глазах умоляла Парандзем. — Не позволю ехать! Если ты бессилен уже защитить меня и себя, значит, я сама защищу нас... — Не дождавшись ответа, она обрушила на мужа все, что приходило ей на язык, словно перед нею был заклятый и ненавистный враг. — Мои ногти крепче твоей сабли. Мои зубы острее твоего кинжала. Моя воля тверже твоего щита. — Перед лицом страшного и внезапного открытия сила и решимость разом покинули ее, и она с рыданиями рухнула на пол. — Значит... Значит, и любовь моя сильнее твоей?..

— Я обязан ему повиноваться, — бесстрастно произнес неподвижно сидящий мужчина. — Не склоняй меня к непокорности.

Перепуганная, Парандзем мысленно молила бога не посылать ей отныне давешней необычайной силы и безрассудной как вихрь, сводящей с ума решимости. Она всегда была слабой и беспомощной. Потому что подле нее был отец — сюникский князь Андовк, могущественнейший из нахараров, занимавший при дворе первое место после бдешхов, бывший первым также и в ополчении, ибо в случае войны выставлял отборную конницу из девятнадцати тысяч четырехсот всадников — больше, чем любой нахарарский дом. Вслед за отцом подле нее стал муж — красивый, храбрый, широкоплечий. И она была счастлива своей слабостью, в этой слабости было даже что-то напускное, обворожительное женское лукавство, обманчивая кошачья ласковость. Убежденная, что пропадет без господина, она хотела, чтобы ее непрестанно направляли, подчиняли своей воле, водили за ручку. Под крепкой и надежной мужской дланью она чувствовала себя вдвойне обласканной, вдвойне любимой и обожаемой. И, год за годом играя с собою в прятки, она и сама уверовала в томную эту слабость, свыклась и освоилась с ней. А теперь у нее хотят отнять это драгоценнейшее сокровище, лучшее ее

украшение — пусть не золото и не рубин, а всего-то навсего простенькую яркую стекляшку, да ведь вон как к ней, единственной, прилепилось сердце.

Три дня назад они выехали из алиовитского города Заришата и по дороге Тигранакерт — Маназкерт — Арташат направились в сторону Шаапивана, чтобы принять участие в праздновании Навасарда.

Гнел заставил Парандзем одеться сообразно случаю, и она безропотно повиновалась воле мужа. Оплела жемчужной нитью волосы, гладко уложенные на макушке наподобие купола и обвивавшие голову тугим выпуклым венком, и водрузила шлем, служивший ей во время длительных путешествий вместо покрывала. Если обыкновенно одеяние облекало весь ее стан, руки и шею, то теперь, как это и приличествовало торжественному поводу, шея, плечи и руки оставались открытыми. Тонкую талию охватывал широкий, в два ряда ушитый жемчугом пояс. Поверх платья была надета короткая шелковая накидка, отороченная зубчатой тесьмой. На шее висело жемчужное ожерелье.

Между тем ей следовало брести босой, простоволосой, с нагой грудью, в изодранной одежде, с проклятиями на устах и непросохшими слезами на лице... Ей следовало вступить в неравный бой с палачами, стучать во все двери, забыть свое происхождение и положение, переполошить страну и, стоя посреди площади, рвать на себе волосы, бить себя в грудь и оглашать воплями все четыре стороны света — молить о пощаде, взывать о помощи... Вот так, по-людски, следовало ей идти. Но не такой разнаряженной-разукрашенной, не такой холодной и надменной, не такой неприступной и невозмутимой.

Дорогу они миновали верхом: Парандзем — на белом коне, Гнел — на гнедом. Белый конь был оседлан не обычным седлом — на подпруге крепилось подобие маленького трона с изножьем и балдахином. Позади, уложив на повозки припасы и шатры, двигалась свита и челядь.

Вдалеке в свете полной луны показались гора Нпат и отливающая серебром лента Арацани. Это означало, что они приблизились к Багавану, от которого рукой подать до Шаапивана.

Еще несколько часов, и они добрались бы до места; ночевать в шатрах не имело смысла. Однако, завидев во мраке очертания Нпата, супруги натянули поводья. Уставшие лошади остановились, и два задумчивых взора устремились к тяжелой громаде горы. Гнел спешил и распорядился разбить шатры.

И вот в роскошном поместительном шатре, съжившись перед светильником — стеклянным сосудом с пылающим в нем маслом, наедине с исполинскими своими тенями, терзались и томились муж и жена.

— Отчего вдруг твое участие в праздновании Навасарда обрело такую важность? — пуще прежнего разгорячилась Парандзем: щеки пламенеют, в неузнаваемом голосе хрипотца, в глазах яд и огонь. — Когда это он приглашал тебя во дворец? Когда это он относился к тебе по-родственному? Он убил твоего отца. Он разлучил тебя с дедом. Он, этот негодяй, этот преступник...

— Ты права, Парандзем, — холодным и безжизненным голосом ответил Гнел. — Но он наш царь. И мы обязаны повиноваться ему, чтобы все знали: он — царь армян.

— Я возвращаюсь... Еду домой... — И она еще крепче прижалась к мужу, еще плотнее прильнула к нему и, оттого что поза была неудобной, еще явственней ощутила опасность. — Не хочу собственноручно отдавать мужа этому убийце... Этим кровожадным палачам... Этой зажавшейся подлой своре...

— Нет, Парандзем. Даже если твои подозрения оправданны, я все равно должен явиться, как требует того порядок. Сопровождаемый женой, свитой и слугами.

— Откуда в тебе это раболепие? — вскочила на ноги Парандзем. — Как тебе удавалось скрыть его от меня? — И, до глубины души оскорбленная, позабыв на мгновение о надвинувшейся опасности, окинула мужа сумрачным взглядом. — Да заметь я его хоть раз, не потерпела бы тебя. И пальцем не позволила бы к себе прикоснуться.

— Я его не люблю. Не уважаю. И не боюсь. Запомни это хорошенько — не боюсь.

Гнел тоже оскорбился. Парандзем тотчас это уловила и чутьем постигла, что если на пороге опасности они способны обижаться друг на друга, то, стало быть, решили жить, стало быть, не так уже все безнадежно, стало быть... скоро они уложат шатры и воротятся домой.

— Ты не кривишь душой, Гнел? — Голос Парандзем задрожал от радости. — Поклянись мне.

— Клянусь! — Гнел поднялся, нежно обнял жену, ласково заглянул ей в глаза, словно умолял понять его, быть не женой, но другом, единомышленником. И впервые с тех пор, как они отправились в путь, заговорил с жаром и воодушевлением: — Но я обязан его любить. Обязан уважать. Не имею права не доверять ему, когда он приглашает меня вместе отпраздновать Навасард. Обязан его бояться. Не его,

а царя. Каков бы он ни был, умен он или глуп, храбр или труслив, честен или подл. Забудь, кто он. Забудь его имя, лицо, голос. И даже то, что им содеяно... — Затем, точно кровь ударила ему в голову, отпрянул от жены, схватил кувшин, с жадностью, пролив половину воды на себя, напился, утер рукавом рот, принялся, увлекая за собой свою тень, расхаживать по шатру взад и вперед и горячечно восклицать, обращаясь уже не к одной только жене, а к себе самому и ко всему миру. — Наша беда в том, что мы никогда этого не забываем! Обсуждаем его, как своего приятеля. Как соседа. Злословим, хвалим, хулим... Долго ли будет так продолжаться? Станет ли в конце концов несчастная эта земля страной? Нет, Парандзем, не уговаривай меня! — Он застыл на месте, задел грубую холстину шатра и грустно улыбнулся: — Что поделаешь, таким уж я создан... Может, это и смешно... Но есть вещи, которые превыше для меня и моей жизни, и моих владений, и... не обижайся... быть может, и тебя...

Станет ли, станет ли эта земля страной? Будет ли наконец всякий человек знать свое место, молча делать свое дело и поменьше терзаться мыслью, что вот, дескать, в соседней области народ живет лучше, а в соседней стране еще лучше, и чем дальше, тем лучше, ну а в Индии — там и вообще суший рай? Придет ли день, когда никто больше не покинет родные края и не устремится в поисках счастья к чужим берегам, чтобы умереть затем... от тоски по родине? Поймет ли эта страна, что значит иметь царя? Или же, сидя в тепле и уюте, каждый будет похвально, что никакое на свете вино не сравнится с армянским, никакой на свете шелк не сравнится с армянским, никакие на свете воины не сравнятся с армянскими? А может, бахвалу мнится, будто кое-что из несравненных этих достоинств перепадет и на его долю, на долю его семьи, его пятилетнего шепелявого мальчика? Будет ли эта страна достойна иметь царя? Или же, услышав весть о нападении врага на Алдзник, армянин из Гугарка успокоится и обрадуется: нам-то, мол, опасность не грозит... А в Гугарке... в Гугарке... никакие на свете леса не сравнятся с гугаркскими. Придет ли наконец время, когда армянский царь вызовет подданного и тот беспрекословно, не перечая своему господину, предстанет перед ним? Да или нет?

— Но отчего твои мысли были мне до сих пор неизвестны? — Парандзем поразилась: ужели это тот самый человек, которого она узнала всего, без остатка, которому отдавалась не только телом, но и всем своим существом, еженощно капля по капле даря ему самое себя? А он подло

лгал. Таился. Укладывался на ложе под маской другого. И на ухо другому шептала Парандзем слова, припоминать которые потом немислимо, невозможно. — Я привыкла, когда меня почитают драгоценнейшим сокровищем. Я была величайшим богатством своего отца. Полагала, что и твоим тоже.

— Я люблю тебя, Парандзем. — Глаза Гнела потепле-
ли. — И ты прекрасно это знаешь.

— Плохо знаю. Очень плохо.

— Неужели тебе нужны доказательства?

Еще как нужны. Оттого, что Гнел несомненно припоми-
нал потом слова, которые нашептывал ей на ухо. Повто-
рял их назавтра. Повторял каждый день. Как тать, поль-
зуясь тем, что Парандзем чудилось, будто она впервые
слышит эти слова, будто никому, кроме нее, не дано их знать.
Оттого, что у него не замирало по ночам сердце и не зани-
мался дух, и он не испытал, каково без боли и ссадин со-
рваться в бездну, не испытал сладости падения, легкости
и чистоты. Оттого, что падал всего лишь в яму, обыкновен-
ную грязную яму. А рассказывал небылицы о бездонных
пропастях. Оттого, наконец, что смел любить что-то сильнее,
чем ее. Ужели в пылких его клятвах, которые она вспоми-
нает теперь со стыдом и отвращением, был хоть невзначай
оброненный намек на это? Не было, господь свидетель. Если
бы был, она, может статься, и приняла бы это условие. Но
ведь не было, не было. Были две души посреди сплошной
пустынности и безлюдья, женщина и мужчина, еще не обма-
нутые, еще не вкусившие яблока с древа жизни. Ложь. Гнел
уже вкусил. И коли он вправду любил, так сделал бы и ее
сообщницей, чтобы и в грехе не оставаться одиноким. Конеч-
но, нужны доказательства, еще как нужны.

— Мог бы ты изменить ради меня родине? — с внезапным
вызовом бросила Парандзем.

— Не оскверняй язык! — вспыхнул Гнел.

— Нет, скажи, мог бы?

— Дикий вопрос!

— Я бы возненавидела и прокляла человека, способного
ради славы, ради власти или же денег изменить родине. —
Она сказала это совершенно искренне. Помолчала и добави-
ла: — Даже ради любви...

— Вот видишь, ты ответила сама себе.

— Но ради меня ты бы должен был пойти на это, — хо-
лодно и спокойно вынесла она свой приговор.

— Парандзем!

— Когда дело касается нас с тобой, приемлемы лишь

крайности, — надменно промолвила Парандзем. — Я признаю лишь крайности.

— Твои мысли мне тоже внове, — ошеломленно прошептал Гнел.

— Отчего же? Ведь оказалось, что и ты похож на меня. Обожаешь крайности. — Парандзем язвительно усмехнулась. — Помнишь, как настойчив ты был, обхаживая меня? Очень, очень настойчив. Помнишь, как лебезил перед моим отцом, как пресмыкался перед ним, лишь бы заполучить его согласие? Очень, очень. Как ты любил меня! Очень, ¹очень. И как ты раболепен теперь! Донельзя. — Она сразу почувствовала, что так говорят, только порывая с человеком всякие связи. А еще почувствовала, что таким образом она как бы вдвойне теряет мужа. Теряет уже не только физически. И она всей душой пожалела Гнела — не как посторонняя, но как любящая жена, как кровь от крови его и плоть от плоти его. Однако не сумела подавить гнев, вырваться из засасывающей пучины, и в ней зародилось жестокое желание уничтожить этого любимого, этого родного ей человека. И, уничтожая, вернуть. Издеваясь, оскорбляя, глумясь. — Но вспомни-ка, я тебя не любила. Терпеть тебя не могла. Кого угодно вообразила бы своим мужем — только не тебя. Мне и подумать было тошно, что ты можешь ласкать меня, целовать... Твой запах, твои движения... И надо же, за тебя-то я и вышла...

— Но ты полюбила меня, Парандзем, — в недоумении сказал Гнел.

— Заговорил, видите ли, от лица родины. Что еще за родина? Жалкие князьки — это, что ли, твоя родина? Разве же мой отец не чувствует себя в Сюнике царем?

— Нет, Парандзем, Аршак должен осилить нас всех, — с одержимостью стоял на своем Гнел. — Забудется, кто он и каков. Останется только легенда. О нем начнут слагать песни. Рассказывать чудеса. Это нужно мне. Моему сыну. Моему внуку. Моему правнуку.

Придет ли время, когда царь предпримет что-то, пусть даже самую безделицу, самую пустяковину, а страна не возьмется тут же судить и рядить об этом, выискивать ошибки, высматривать промахи и всяк, кому не лень, не будет предлагать изменить все на свой лад в полной уверенности, что, улыбнись ему только счастье, привали ему удача, уж он-то правил бы куда лучше? Перестанем ли мы поминать имя царя всею, не восхваляя его и не понося, не защищая и не обвиняя, а ежели ему придет в голову поохотиться, сможем ли мы не ворчать: вот, мол, сколько ни есть дичи, царь истребит

всю, а мне что оставит – рожки да ножки? Научимся ли мы, наконец, становиться в строй и смотреть в затылок впереди идущего, или же все будут себе шагать кто в лес, кто по дрова, куда заблагорассудится, куда глаза глядят? Научимся ли сообща с другими перекачивать камни, таскать сообща с другими бревна, любить сообща с другими, ненавидеть сообща с другими и – отчего бы и нет – иной раз быть сообща с другими счастливыми? Да или нет?

– Останься, Гнел. Ты можешь и не откликнуться на вызов... Это же не Византия и не Персия. Это Армения. И царю не так-то просто расправиться с непокорными. – Она порывисто обняла мужа и принялась целовать его, беспомощно, привстав на цыпочки, целовать как любимая жена, как слабое создание, способное лишь умолять и лить слезы. – Я любила тебя, Гнел... Очень любила... Конечно же любила... Останься, милый! Кому нужна эта жертвенность?

– Мы не вправе сомневаться вплоть до последнего мгновения, – твердо ответил Гнел. – Не вправе думать о нем дурно.

С минуту Парандзем так и простояла на цыпочках, и на лице у нее выразился мучительный вопрос: отчего это прежде, целуя мужа, она никогда не приподымалась на цыпочки? – и ее зазнобило от странной, непонятной боязни. Она тотчас отстранилась, сторонним взглядом окинула этого здорового и крепкого мужчину, столь радостно идущего на заклятие, столь уверенного в своей, им самим придуманной правде, столь легко покидающего близких ему людей во имя безумной, сумасбродной идеи, во имя чего-то совершенно чуждого им, их размеренной и благополучной жизни, их счастливому существованию, когда вчера похоже на сегодня, а сегодня на завтра, ибо счастье заключено по преимуществу в одних и тех же картинах природы, в одних и тех же словах, в одних и тех же занятиях и окружении. И посреди блаженной этой размеренности и повторяемости нужны ли им были идеи? К чему идеи, коль скоро ты сыт и счастлив? Пускай ищут их те, кто голодны и обделены счастьем. Или, быть может, именно сытость и счастье порождают идеи?

Почем было Парандзем знать, что, когда царь повелел им убраться из Айрарата и поселиться в Алиовите, а Гнел тихом-молчком подчинился приказу, ей надлежало усмотреть в этом поступке мужа не страх, но идею – идею, чреватую бедствием. Идею, которая не следует, подобно тени, за человеком, а забегает вперед. Не идея для человека, а человек для идеи. И она обратилась к последнему своему оружию, последнему средству – к ненависти, к презрению.

— Неужели тебе невдомек, что все вокруг тебе завидуют, ибо ты женат на прекраснейшей из армянок, на дочери сюникского князя Андовка?

— Прекрати, Парандзем! Ты никогда так не думала. Никогда этому не верила. — Гнела обуяла тревога, потому что силы мало-помалу оставляли его, потому что вера мешалась с семейными дрязгами и неурядицами и слабела, ослабевала... Он убеждал себя, что слова Парандзем вымученны, что она произнесла их, изнемогая от стыда. И бесстыдное это самовосхваление не что иное, как попытка самозащиты. — Скажи, что ты повторяешь чужие речи. Что хочешь удержать меня ими.

— Нет, Гнел, теперь я и сама знаю. И верю не другим, а себе. — И со зловецим спокойствием промолвила: — Я прекраснейшая из жен Армении. Первая среди прекрасных.

— Парандзем!

Гнел почувствовал: это уже потеря. Потеря самого дорогого. Жены и веры. Отныне у него нет ни того, ни другого.

— В последнюю минуту, поняв, что обманут и предан, ты растеряешься и позабудешь об убеждениях, в тебе останется только ненависть. К одному-единственному человеку — царю. Ты не так силен, чтобы умереть одержимым своей идеей. Ты и в любви был неистов, но быстро остывал...

— Парандзем!

— Если тебя убьют... Клянусь чем хочешь... Нашей любовью... Нашим богом... Всеми святыми... Если тебя убьют, я отдамся тому воину, который поднимет на тебя меч. Я найду его. Понадобится — буду искать всю жизнь. Лягу с ним прямо на придорожной траве... Как последняя потаскуха... Открыто... на глазах у всех... Только так я и отомщу тебе. Но при чем тут воин? Он не виновен. Я отыщу главного виновника. Я стану наложницей царя.

— Парандзем! — Ноги у Гнела подкосились, он упал на колени, обратил к ней жалкий беспомощный взгляд, и все, чем полна была его душа, все это излилось, изошло наружу. — Вспомни нашу свадьбу. Свадьбу, которой позавидовал бы и царь. Нашу первую ночь... Слабый твой стон, сокровенный, как таинство. Единственный, святой. Которому не дано повториться. Охоту в горах. Обилие дичи. Напоенные влагой леса. Истомленные наши ложа. Ночи, словно наполненные колокольным звоном. Грех, навсегда оставшийся для нас неземным... Ту блаженную, ту несказанную усталость... Убеждай меня, убеждай! Попытайся еще раз, и я поклянусь всеми старыми и новыми богами, что забуду и власть, и долг, и отечество. Забуду все свои мечты. Что мне царь,

что император... И что подозрения... Подозрения... Шапирован, город подозрений...

— Поздно, Гнел. Я слишком хорошо тебя узнала. Ты не должен был этого допустить.

Масло в стеклянном сосуде было на исходе, огонь светильника становился все слабее, слабее и наконец угас.

Парандзем присела на разложенные на полу подушки. Гнел видел ее, угадывал во тьме. Различал ее лицо, ее отчужденный взгляд. Ее бессильно повисшую руку.

— Тачат, зажги светильник! — не выдержав молчания, крикнул Гнел.

Мрак вконец перепутал, перемешал его мысли. Ибо теперь он принужден был видеть лучше. Четче все понимать.

— Зажги сам.

Было невмочь. Недоставало сил. Зажги он светильник и обнаружь, что даже пустяк, малейшую малость видел во тьме иначе, воображал не такой, какова та на деле, он бы и вовсе пропал, погиб окончательно и бесповоротно.

Ощупью он нашел среди мрака жену и смиренно положил голову ей на колени.

— Знаешь, чего мне хочется? Расплакаться, как в детстве. И чтобы ты гладила меня по голове. Чтобы утешала, приговаривая, что мужчине нужно привыкать падать с коня. Что я еще дитя и что мне еще много, много раз доведется падать. Чтобы вытерла мне нос, ведь стоит расплакаться, сразу же начинаешь хлюпать носом. Чтобы раздела меня, искупала, уложила в постель, чтобы ласковые твои руки укрыли меня одеялом. Ох, какая жесткая постель, не представляешь, до чего жесткая... Знаешь почему? Потому что я должен приучиться к этому с малолетства. И понять, что знатному, высокородному мужчине не подобает изнеженность. — Слезы текли из его глаз, комом застревали в горле, опустошали, выматывали последние силы. — Теперь для меня не существует женщины, жены. Ее нет и не может быть. Одна лишь тоска по материнской ласке.

— Мне уже безразлично, останешься ты или нет.

Она могла сказать и что-нибудь иное. Может, и хотела сказать. И все бы опять наладилось. Те же картины природы, те же слова, те же занятия и окружение, все по-старому — вчера, как сегодня, а сегодня, как завтра, счастливо, размеренно и благополучно. Но она не сказала. Нет, не сказала. Сказала не то, что было на сердце, а то, что показалось вдруг нужным и удобным, ублажило мимолетную прихоть, облегчило душу. И вот из-за нескольких некстати произнесенных слов, из-за нескольких слов, не вымолвленных во-

время, изменилась, перевернулась вверх дном их жизнь, а заодно и жизнь царя, и всех-всех, и всей страны.

Потрясенный, Гнел вскочил с места, попятился, и мрак, мрак, один только мрак подстрекнул его метнуться к жене, в отчаянном неистовстве стиснуть ее в объятьях и целовать, целовать — наугад, куда придется. Парандзем противилась изо всех сил, сопротивлялась по-настоящему, будто это был чужой, посторонний мужчина. Задыхаясь, они катались по ковру и яростно бросали друг другу в лицо оскорбления; Но настал миг, когда Парандзем изнемогла, изнемогла, ибо пожелала этого, и не пыталась даже пальцем пошевелить, хотя в глубине ее существа еще таились последние, самые последние силы. А силы Гнела возросли, умножились, и ничто на свете не дерзнуло бы сейчас стать ему поперек дороги. Натиск грубости и мощи победил, одолел, смял все. Он стал любимым и желанным. Словно пропела над окутанными мраком горами и лесами труба. На мгновение воцарилась тишина, и со всех четырех сторон отозвалось эхо. И никогда не бывало в их жизни — ни в минувшей и ни в будущей — другой такой ночи, бурной и безумной. А как только неразличимые во тьме очертания предметов разъединились и обособились, а сами предметы обрели свои исконные и единственно точные имена, оба они испытали еще большее, нежели прежде, отчуждение.

Гнел стремительно вышел из шатра, вскочил на своего гнедого и, не оглядываясь, ускакал, растворился во мраке.

Глава восьмая

— Я чувю, Аршак, острый запах смерти. Это заговор, никаких сомнений. Подлый, коварный заговор. Они, армянские венценосцы, привыкли с доверчивостью агнцев поспешать на чужой зов и умирать в разгар пиршества с изумлением на лице. А теперь их донимает засевший в крови подленький инстинкт, они жаждут отомстить за себя, утвердить, разделавшись со мной, свою власть. Им надобно, чтобы и князь Гнел издох с изумлением в глазах...

Прощай, царь армян! Пусть благоденствует и крепнет твоя страна. Пусть твой народ поймет, что значит иметь царя. Пусть он будет достоин этого.

Прощай, Парандзем... Прости за все, что было и чего не было. Я знаю, ты вновь полюбила меня на мгновенье. Полюбила всей душой. По-иному истолковала звериное мое желание. Оценила! Обнаружила во мне истинного мужчину. И это пришлось тебе по сердцу. Дело твое... Да благословит

тебя бог. Будь счастлива без меня. И да будут счастливы все, даже мои враги, которых я прощаю и у которых сам испрашиваю прощения.

А я — я свободен теперь от себя, от великой своей любви, своего долга, своих владений, своего скакуна, своего отечества... Нынче праздник освобождения. Прощай, Гнел!



Конь и всадник, слившись воедино, летели, рассекая поредевшую в лунном свете, клочковатую тьму. Конь не ощущал тяжести всадника. Всадник и сам не ощущал своей тяжести. И, слившись воедино, воодушевляя друг друга, они мчались вперед и безумной этой гонкой славили свое освобождение. Конь — тот словно стремился примкнуть к табуны диких своих сородичей и обрести первообраз, чтобы сызнова стать конем, не прирученным, не вышколенным, не оседланным и не взнузданным. Всадник также устремился на поиски сородичей, чтобы вернуться к первообразу, чтобы сызнова стать человеком, жить с обездоленными, добывать себе пропитание, утверждать свое право на жизнь и впервые собственными руками заложить свой дом...

Поле было привольное, воздух чудесный, вода прозрачная, земля покойная, умиротворенная, мир столь огромен и велик, что невозможен был ни заговор, ни подлость, ни даже несчастье. Таково было его убеждение, его слепая вера, и он пришел к ней... ценою бегства от всего этого.

На дороге, ведущей к Медвежьему источнику, где и помину не было медвежьих следов, как не пахло водой в селе Многоводном и лесами в Прилесном, как сызвеку не бывало львов у Львиной горы, а были разве что горести и надежды, тоска и недовольство судьбой, — на этой дороге Гнела поджидал юноша сходного сложения, со сходными чертами лица.

Привязав коня к дереву, он старательно очищал дорогу от навоза. А то, что звалось дорогой, являло собою необъятное, без конца и края поле. Юноша попросту переносил грязь с места на место. В его действиях сквозила ужасающая бесцельность. Перед тем он так же старательно вычистил площадку вокруг себя, сорвал крапиву, собрал и сложил неподалеку камни.

Гнел остановил коня, спешил и приблизился к слуге — усталому, потному, но довольному сделанным. Они заблаговременно договорились встретиться на дороге к Медвежьему источнику. Хотя Гнел был уверен, что нет на свете силы, способной склонить его к неповиновению царскому приказу,

в глубине души он сознавал, что такая сила все-таки существует. Страх. Только страху дано смешать с грязью любимую идею и убеждение, в мгновение ока разбить их вдребезги и развеять по ветру, посеять вражду между человеком и его верой и стать его единственным наперсником и советчиком. И он не смущался, не стыдился своего страха, ибо страх неведом одним лишь глупцам, людям, лишенным воображения и не умеющим мыслить. Даже храбрости и героизму не помешает малая толика страха; подвиг станет тогда гораздо человечнее, и никому не покажется, будто доблесть — удел избранных. Да сократит бог число тех, кто не задумываясь кидается под ноги вражеским слонам. Это они прибрали доблесть к рукам, сделали ее недоступной, повысили в цене. Теперь он любил, лелеял свой страх, который приневоливал его жить, по-новому воспринимать это усыпанное звездами небо, сводящий с ума топот конских копыт, вековечную тайну ночи, восторг бытия. И если доселе он любил мир таким, каким хотел бы его видеть, то теперь любил его таким, каков тот есть. И это полное примирение было праздником жизни, псалмом во славу жизни, криком и воплем: жить!

— Знаешь, зачем я тебя позвал?

— Да, князь.

— Ну-ка.

— Я должен переодеться и чуть свет явиться вместо тебя в Шаапиван, — удивительно бесстрастно ответил юноша. — Чтобы меня не узнали в потемках. И убили.

Гнел вздрогнул. Он строго-настрого наказал пестуну скрыть от юноши правду. Тачат ни в коем случае не должен был знать, что будет убит уже при въезде в Шаапиван. Вот, значит, и первая измена своего, близкого человека — пестуна. Раз князь уже не хозяин, его можно и послушаться. Должно быть, обивает сейчас пороги, подыскивает себе нового хозяина, нового питомца. Плевать. Я прощаю тебя и сам испрашиваю прощения за то, что поневоле дал тебе повод для предательства.

— Что за глупость! Кто это сказал? — прикинулся Гнел изумленным. — Это шутка. Новогодняя шутка. Я хочу позабавить моих друзей.

— Нет, князь, — почтительно возразил Тачат. — Меня убьют...

— Тогда... почему же ты пришел? — опешил Гнел и повторил вопрос, чтобы и самому взять что-нибудь в толк. — Зачем же ты идешь на смерть?

— Потому что, коли не пойду, убьют тебя, — ответил Та-

чат до того спокойно, что этот довод и Гнелу показался на миг вполне основательным: и впрямь, чему тут удивляться, господину ли не знать, что его жизнь стоит дороже, чем жизнь слуги?

Гнел начал раздеваться. Снял княжеский наряд и остался в нижней рубахе.

— Вот он, твой господин, — горько усмехнулся Гнел.

Не тая любопытства, Тачат пристально взглянул на полюбнаженного князя.

Рубаха доставала до колен; рукава на запястьях перехватывались тесьмой.

Тачат нехотя отвел взгляд, скинул верхнюю одежду и остался в груботканом холщовом исподнем.

Гнел с не меньшим любопытством изучал юношу, словно пытаясь угадать, удастся ли ему заменить своего слугу. Удастся ли достойным образом перенять его бедность, обездоленность, невезучесть, униженность? Да хотя бы и вон ту старательно и опрятно поставленную латку на рубахе? Достанет у него сил или же нет? Выдюжат его плечи или же согнутся? И все это — взамен своего жалкого счастья и благополучия.

Гнела била дрожь. Холод погасил в нем ничемное его рвение. И, стоя в чем мать родила, он вдруг почувствовал себя несчастным. Он любил Парандзем. Боялся царя. Тосковал по прошлому. Ненавидел свою свободу.

Он быстро снял нижнюю рубаху, хотя поначалу и не собирался этого делать. Тачат столь же безотчетно последовал его примеру и стянул через голову свою. Оба они теперь были совершенно голые. Подите разберите, ученые, мудрецы, философы всего мира, подите разберите, кто из нас господин и кто слуга. Вот праведнейший миг нашей жизни. Только теперь мы веруем в бога. Только теперь вправе молиться. И только теперь наша молитва достигнет господня слуха.

Они обменялись исподним, хотя для перемены ролей хватило бы и верхнего платья. Но чтобы освоиться в новой роли, важно не столько верхнее платье, сколько то, что непосредственно касается тела.

Надев рубаху Тачата, он разом ощутил неведомый дух, неведомую жизнь и судьбу; поежился, как от щекотки, и ему почудилось, что это — новое крещение. И он понял: свобода неизбежна.

Он снова усмехнулся, ибо его раздумья шли не на пользу Тачату, а по-своему смягчали предстоящее ему самому, утешали, снимали боль, одурманивали...

— Имей в виду, тебя и правда убьют.

- Знаю, князь.
- Снесут голову.
- Знаю, князь.
- Почему же ты не бежишь?
- Я твой слуга, князь.

Эти слова прозвучали так бесстрастно, что им невозможно было не поверить. И отчего, собственно, не верить? Разве не повторяли они зловещим образом то, на чем Гнел и сам, бывало, настаивал? В чем-то он и его слуга были одинаковы. Оба они подчинили право повиновению. Оба превратили повинование в право. И настаивали на этом праве.

Он смеялся, припоминая мучившие его давеча сомнения, когда все казалось безнадежно запутанным клубком.

Тогда как имелся простой выход, о котором зачастую даже не думаешь, но к которому можно прийти через величайшее страдание: не явиться на вызов, не дать себя обмануть, не умирать... бежать. Но этот не убежит, не найдет простейшего выхода, не узнает, как легко натолкнуться на бесхитростное, немудрящее решение. Потому что Гнел подло затруднил ему путь. Лишил страдания. В самом же начале подсказал решение.

– Бейся, доблестно бейся, не позволяй прирезать себя, как барана. Не опозорь моего имени.

– Не беспокойся, князь.

– Умирать скверно. Это ты тоже знаешь?

Нужно сказать все. И сразу же. Лишь бы не допустить, чтобы эти мысли пришли Тачату в голову. Не допустить, чтобы он дошел до них своим умом.

– Знаю, князь. Я видел смерть отца. И матери. Дозволь мне ехать.

– Теперь князь – ты. Забудь, что ты слуга. И никогда не вспоминай.

– Знаю, князь.

– На тебе лица нет. Ты должен избавиться от страха.

– Не могу, князь.

– Сможешь. Я тебя сам избавлю.

– Дозволь ехать, князь.

– Не говори «князь».

– Не буду, князь.

– Ударь меня, – внезапно приказал Гнел.

– Не могу, князь, – ответил Тачат в смятении.

– Кому сказано, ударь!

– Ради бога, дозволю мне ехать... – Тачат опустил на колени. – Я не опозорю тебя... Не осрамлю...

– Верю. И вполне тебе доверяю. Но ты не выдержишь,

Тачат. Сбежишь в последнюю минуту. — Он схватил его за ворот и грубо тряхнул. — Страх пересилит.

— Не надо, князь... Не заставляй... — На глазах у юноши выступили слезы. — Не могу! Не могу! Не могу!

— Болван! Сказано тебе, ударь!

Подчиняясь, Тачат медленно замахнулся, но рука так и зависла в воздухе.

— Бей! — в бешенстве крикнул Гнел.

Раздался звук оплеухи. Куда более крепкой, чем та, которую способен был отвесить Тачат. Следственно, это не сила, а снова страх. Сила, порожденная страхом и превзошедшая возможности этого человека.

Гнел схватился за щеку и улыбнулся. Щека горела от боли. Улыбнулся и Тачат. Долгой и растерянной улыбкой.

Они стояли лицом к лицу и смотрели друг на друга с нежностью, дружелюбием и глубоким сочувствием. Тачат — одетый по-княжески, Гнел — как слуга...

Они сострадали и сочувствовали один другому, поскольку обоим казалось, что тот, второй, обманут. Гнел посылал Тачата на смерть вместо себя. Как же не счесть его обманутым? А Тачат сбывал Гнелу свое горестное и мрачное прошлое, голод и недоедание, бесчисленные унижения, безотрадные воспоминания, тщетные мечты, всю свою тяжкую жизнь. Так как же не думать, что это именно он провел и одурачил князя?

Не проронив ни слова, Гнел подошел к коню и принялся его отвязывать. Почему Тачат идет вместо него на смерть? — опять задался он вопросом, уже вроде бы исчерпанным. Потому, что жизнь господина дороже жизни слуги. Ясное и вразумительное объяснение. Есть господин, и есть слуга. Разделение самоочевидное, как разделение дня и ночи. Железная логика, неоспоримая, как противоположность холода и жары. Но не перешел ли слуга, ударив господина, неких священных границ, не сделал ли для себя открытия, что господина все-таки можно ударить, хотя бы даже умозрительно, хотя бы даже сугубо отвлеченно. У него мелькнула эта мысль, конечно же мелькнула. Избавляя слугу от страха, принуждая его забыть о своем происхождении и заставляя, пусть на несколько мгновений, почувствовать себя князем, не избавил ли его Гнел тем самым от всякого страха перед господином? Не достиг ли, в сущности, обратного результата? Увидев, что его незыблемые представления о господах и слугах рухнули, Тачат запросто мог воротиться с полдороги да вдобавок еще на славу потешиться над князем.

Гнел обернулся и обнаружил, что Тачат, улучив минуту,

потихоньку ухватил не замеченный им прежде камень и тащит его к собранной уже груди.

Он деловито приблизился к Тачату и закатил ему увесистую пощечину.

— Чтобы впредь неповадно было поднимать руку на господина, — серьезно и спокойно пояснил он.

Вскочил в седло, тронул коня и ускакал, оставив ошарашенного Тачата в одиночестве. Минутой раньше тот по крайней мере знал, для чего взялся за камень. А теперь не знал уже и этого.

Глава девятая

Что это творится в стране смуглолицых, не высоких и не низкорослых, орлиноносых армян? Что это за кутерьма? С чего это они снуют, точно муравьи, что они все вместе затеяли? Во время войн их частенько видели объединившимися, сплоченными, но в мирные дни — никогда. У каждого армянина было свое крохотное царство, своя лачуга и многочисленная семья, своя корова и овца. И ни один армянин не соглашался с мнением другого, не соглашался загодя, еще этого мнения не услышав. Каждый считал, что все прочие живут и рассуждают неверно. Так думал не только любой армянин в отдельности, но и деревня о деревне, область об области, страна в целом о соседних странах... Так или иначе — зачем, во имя чего было им объединяться, ведь нищета и несчастья лишь разъединяют людей. Выходит, что-то изменилось. Но что? Должно быть, на армян пахнуло духом счастья. Где это, однако, слыхано, чтобы счастье шло косяком и одаряло каждого?

В Армении строился новый город.

Ни одного города не строили еще армяне с таким пылом и усердием, никогда прежде не переносили лишений столь безропотно, никогда прежде армянин не верил так и не мечтал, никогда прежде не любил так соотчича, никогда прежде не благословлял так царя. Ибо до сих пор он строил для других, теперь же закладывал свой собственный город. Носящий имя царя, но принадлежащий тому, кто строит.

Тысячи людей, каждый со своим ремеслом, нравом, привычками, жизнью, сбредлись сюда со всех концов страны, и тысячи этих судеб скрестились и переплелись, чтобы стать единой общей судьбой. Десятки свычаев и обычаев, десятки разных выговоров одного звука, десятки разных названий одной вещи, десятки глаз с отпечатленными в них разными картинами природы, десятки разных одежд и песен — все

это перемешалось, чтобы люди мало-помалу начали жить на новый лад, говорить на новом наречии, приспособляться к новой природе, носить одинаковые одежды и петь одни песни.

Возводился город Аршакаван.

Город обнесли оградой, обозначающей его границы. Никогда прежде свобода и счастье не были в Армении так осязаемы и определены и уж во всяком случае — так очевидны и наглядны. Иной раз человека мороз подирал по коже, мурашки бегали по спине: шутка ли, в двух шагах от него пролежала четкая граница между добром и злом. Точно отворялись одни за другими врата потустороннего мира и аршакаванцу внятным, доходчивым языком объясняли загадку бытия; тайны жизни становились вдруг детскими картинками, простейшими, односложными словами, и вот еще одна дверь, еще один миг — и люди поймут, для чего они рождаются и страдают. Они приходили в Аршакаван группами и у самых городских ворот, как ветхое, ни на что не годное тряпье, как осевшую на одежке пыль, оставляли бедственное свое прошлое, свои муки, бесчисленные унижения и голодные ночи. И поскольку имелась ограда, то словно бы въяве виделось, что за ней, этой границей, громоздились друг на друга горести, от которых тянуло тяжелым, густым смрадом, смаживавшим на вонь из отхожего места...

Ограда была низенькая, кое-где сколоченная из кольев, кое-где сложенная из камней; кое-где ее заменяла земляная насыпь, а кое-где — канава. Вдоль ограды растянулась цепочка стражников, охранявших рубежи города.

Что ни день, являлись сотни беглецов. Являлись измученные и истерзанные, миновав множество опасностей, когда их жизнь висела на волоске. Кое-кто, ступив за ограду, замертво падал наземь и засыпал, расцветивая и украшая во сне еще не вкушенные свои восторги.

А многие приносили с собой тела близких. Это были те, кто столкнулся в пути с воинами и вступил в бой. Если беглецы выходили победителями, то брали тело погибшего брата, жены или ребенка, удлиняя тем самым дни своих скитаний и увеличивая число опасностей. Они приносили тела убитых с редкостным достоинством и мужеством, с глубокой уверенностью, что делается важное, чрезвычайно важное дело. И, достигнув города, они хоронили близких в таком безмолвии, с такой выдержкой, с такими строгими, бесслезными лицами, что это наводило на окружающих ужас.

Если же схватка оказывалась неравной, уцелевшие во-

лей-неволей оставляли раненых или погибших и бежали, по минутно оглядываясь назад.

Аршакаван еще не построили, но кладбище в городе уже было.

Многие из пустившихся в бега теряли по дороге друг друга и, добравшись до Аршакавана, принимались за поиски. Но попробуй-ка найти родственника в этой исполинской мешанине, в этой толпе голодных и измаявшихся, где все на одно лицо. Денно и ночью, не зная сна и покоя, люди искали, выспрашивали, бродили по улицам, путались под ногами. Сперва им сочувствовали, от всего сердца пытались помочь, но со временем число ищущих так возросло, что в конце концов к этому бедствию притерпелись и оно стало даже надоедать. Только отдельные счастливики случайно, по прошествии нескольких месяцев, встречали кого-нибудь из родни и, когда иссякали уже слезы радости и прекращались пылкие объятия, с гордостью, как заправские аршакаванцы, задумывались о том, до чего все-таки велик их город.

Беглецов становилось столько, что казалось, будто вся страна мечтает уместиться на этом клочке земли. Превратить Армению в город, а вернее — непрерывно расширяя городские границы, превратить город в страну. Границы Аршакавана и на самом деле постепенно расширялись, окружавшую город ограду чуть ли не ежемесячно отодвигали.

Ежедневно из царского дворца направлялись в Аршакаван десятки телег, груженных бревнами, глиной, песком, камнем и обильными припасами съестного. Для царева города не жалелось ничего. Крестьяне и ремесленники, не осмелившиеся бежать сами, в охотку уплачивали подати, твердо уверенные, что хотя бы часть налога достанется тем смельчакам, которые осуществили мечту остальных.

До самых глухих уголков страны волною докатилось это слово — Аршакаван, — оно проникало в глинобитные лачуги, звучало в напеваемых вполголоса песнях, во внезапных вздохах, виделось в молчаливых, угрюмых взглядах.

По дорогам шныряли воины, с подозрением поглядывая на всех, у кого две ноги и кто умеет ходить. Обычные связи в стране нарушились, люди не ездили в гости к живущим в смежной области родичам, не везли обменивать масло на зерно, излишек масла пропадал зазря, так и не превратившись в хлеб; не брали в жены девушек из соседних деревень, не выгоняли на пажити скотину, опустели большаки и проселки, стерлись следы, лесные звери потеряли страх, буйволы и лошади, волы и мулы ослабли от безделья и разленились.

Страну охватила подозрительность. Подозревали все. Подозревали всех. Воздух наполнился взаимным недоверием, загустел и отяжелел. Господа каждодневно выискивали злоумышленников — и не только на дорогах, не только в минуту бегства, но и у домашнего очага, когда людям хотелось побыть в одиночестве; подозрение вызывали обмен приветствиями двух повстречавшихся на улице селян или новость откуда послышавшаяся песня, которая, не успев зазвучать, умолкала, испугавшись сама себя.

Главным становилось найти не тех, кто уже исхитрился сбежать — это было гораздо легче, — а тех, кто еще только вынашивал мысль о побеге, кто молча его задумывал — безразлично, осуществит он свой замысел или нет.

Махровым цветом зацвело и дало обильный урожай доносительство. Доносили соседи, друзья, свойственники, родня. Ради ломтя хлеба или собственного благополучия, из страха или в надежде свести старые счеты. Имущество тех, кого по доносу забирали, обычно доставалось доносчикам.

И укоренялась, разрасталась, плодоносила клевета.

Темницы были битком набиты крестьянами и слугами, тронутыми заразой преступных мыслей. Карали за сказанное и несказанное слово, за хмурый взгляд исподлобья или дурное расположение духа. И армянские селения наполнялись веселыми улыбками, шутками и праздничными нарядами. Люди стремились перещеголять друг друга, показывая возможном соглядатаю, как они счастливы. Потом, измотанные и издерганные, торопились домой, оставляя свое счастье у дверей, под присмотром собаки, чтобы кто-нибудь, упаси боже, не украл его, не стащил. И на глазах мрачнели — приходили в себя.

А заключенных становилось все больше. За решеткой оказывались родственники, друзья, соседи беглецов. Случалось и такое. Какой-нибудь бедняк жил ничуть не лучше тех, кто уже решился на побег, и мечтал податься в Аршакаван не меньше иных прочих. Мечтать-то мечтал, а духу на рискованный шаг не хватало. И он чах изо дня в день от тяжелых внутренних борений, покамест зависть и досада не толкали его на донос. И, лишь оговорив закадычного приятеля или родича, он вздыхал свободно и возвращался к прежней жизни — убогой и безрадостной, зато спокойной.

Но чем больше народу бросали в узилища, тем быстрее росло население Аршакавана.

И никакая на свете сила не могла приостановить строительство города.

— Возвращайся домой, Хандут... Это я, твой муж... Что ты с нами сделала... Корова меня не подпускает, так и норovit лягнуть... Не иначе, ты ей нужна... Стосковалась по твоим рукам... Сказать, о чем думаешь? С каким, думаешь, лицом я ворочусь? Так ведь? Да скажи я тебе хоть слово, попрекни хоть в чем, последним человеком буду... Иной раз приходит в голову: и чего она нашла, Хандут, в этом. Уж не хочешь ли, чтоб я его еще и по имени назвал? Чем он лучше меня? Я что, слепой, хромой, ни на что не пригодный? Я это не тебе... Я это себе говорю... Авось полегчает малость... Ну подымайся, подымайся, пошли... Ребятишки тебя ждут не дождутся... Прости, говорят, нашу мать... Может, простить, а, Хандут? Может, и впрямь простить? Что скажешь?

Коговит, большую часть которого занимали болота, ограждали со всех сторон естественные преграды — горы. Область славилась крепостью Даронк, стоявшей на перекрестке двух дорог: одна вела из Тевриза в Карин, другая соединяла Айрарат с долиной Арацани. Даронк был царской крепостью-казначейством и важным торговым центром. Область славилась также озером Гайлату и зарослями камыша. Не маловато ли? Чем гордиться бедняге коговитцу и чем украсить скудную свою жизнь? Камышом? Болотами? Одно-го Даронка не хватит на всех, ему не утолить мечтаний бедняка. И вот бог наконец смиловался и шепнул на ухо армянскому царю: жаль коговитцев, они как-никак тоже армяне, возведи на их земле город, пусть одна его оконечность смотрит на Масис, другая — на Тондурек...

Глядя на горы, армянин чувствует себя в безопасности. Чувствует себя защищенным от ветров, от суеты и хлопот, неизбежных при общении с новыми людьми, от врагов. И рубит сук, на котором сидит, ибо забывает о горных перевалах. Забывает потому, что они не мозолят ему глаза.

Когда население Аршакавана перевалило за двадцать тысяч, было решено обнести город каменной стеной, а стену опоясать глубоким рвом: случись, что нападет враг, ров наполнят водой и город будет вдвойне неприступен.

Но враг не показывался. А коли не показывался, то его и вовсе не было, его не существовало. Существой он, этот враг, хоть разок бы да появился, хоть разок бы да напомнил о себе: я, дескать, здесь, вы у меня узнаете, как убегать от

господ и самовольно строить город. Враг, однако, не показывался и не подавал о себе вестей. Дело со стеной и рвом подвигалось медленно. Их с грехом пополам начали, и только...

А дома росли и росли, будто грибы после дождя, строили их как бог на душу положит, кому где и как вздумается. Куда ни глянь, царил хаос. Тут теснились наполовину врытые в землю хижинки, там — налезавшие друг на дружку одноэтажные домишки, бесцветные, неразличимые. Странно, но этот-то хаос и ломал однообразие города, даже, пожалуй, придавал ему некую осмысленность, оживлял его лицо, потому что, будь это однообразие упорядоченно, город превратился бы в наводящее тоску кладбище.

Аршакаван стоял на холмах. И свои лачуги аршакаванцы зачастую рыли прямо в холме. Стены такой лачуги выкладывали груботесаным камнем и обмазывали глиной. Внутри этих домишек было обычно по одному помещению, и единственное это помещение звалось — ни больше ни меньше — главное жилище, иначе говоря, оно было само себе голова, само себе украшение, само себе сердцевиной и средоточие. Само себе главное жилище. Крышу делали куполообразной: стелили бревна, поверх которых насыпали землю. В верхней точке купола проделывали отверстие — ердык, сквозь него падал свет и выходил дым. Ну а если зима выдаться многоснежной и двери завалит, через ердык можно выбраться наружу и посмотреть, что творится на белом свете.

Люди в этих лачугах обитали вместе со скотом, которому выделяли самое теплое и надежное место, дабы животное, не дай бог, не обиделась, не стала бы хуже доиться, давать меньше мяса, не упрябилась бы и исправно несла яйца, дабы шерсть у нее не запаршивела. Люди льстиво называли животных братьями, не сознавая, что и на самом деле любят их больше, чем себе подобных.

Дома стояли впритык друг к другу и часто имели общую стену. Между домами возникали узенькие проходы и тупики. Улочки были глухие, подслеповатые — туда выходили только деревянные ворота, окна же смотрели в сторону маленьких дворишков.

Что еще? Да что ж еще-то? Такое оно и было, жилище аршакаванца. Теперь об утвари: стол с короткими ножками, глиняные, деревянные и медные подойники, которые держали в нишах, кастрюли для кипячения молока, крынки для сливок, кувшин для сыроварения... Людских судеб, страстей, мечтаний, тоски, ожиданий, подозрений, страха было в доме аршакаванца куда больше, чем вещей.

И посреди этого хаоса стоял на самом высоком холме до нелепости в таком окружении прекрасный, украшенный колоннадой двухэтажный дворец из гладкотесаного, напоминающего мрамор камня. Нелепы были его прочность, изысканность, законченность каждой линии, завершенность каждой части. Ибо он не имел ничего общего ни с этим городом, ни со своим обитателем, шестнадцатым царем из рода Аршакуни.

★ ★ ★

— Вернешься — поставлю тебя надзирателем. Станешь приказывать бывшим сотоварищам. Они будут тебя бояться. А ведь всю жизнь боялся ты сам, верно? Нынче же будешь бояться меня одного. Больше никого... Чего тебе еще надо? Ну, подай голос, воды, что ли, в рот набрал? Небось привык день-деньской спину гнуть? Нравится тебе голодать? Ах, ты боишься жить по-человечески?! Тебя тошнит, когда желудок полон. А уж теплая комната — это еще хуже сытого желудка... Что ты за человек! Не хочешь, стало быть, бояться одного господина, подумай-ка, только одного?! Ладно, хоть сбил тебя с панталыку... Не видать тебе теперь ни сна, ни покоя... Попомнишь ты мои слова...

★ ★ ★

Так чего же ради аршакаванцу забивать себе голову строительством стены, чего ради рыть ров да еще наполнять его водой, коль скоро из дворца знай шлют ему припасы на зиму, царь радеет и печется о нем и то и дело внушает подданным, что ни в коем разе не оставит их бездомными, холодными и голодными? Зимние припасы поровну раздаются жителям, и те прячут их в кладовых. А обитатели земляных лачуг держат их прямо в доме, и вот к запаху людей и скота примешивается еще и запах этих припасов.

Доводилось ли кому слышать, чтобы армянский крестьянин ни в чем не испытывал нужды, чтобы у него были деревянные сосуды для хранения сухих продуктов и глиняные — для хранения жидких, чтобы зерно у него хранилось в амбаре, яблоки и сливы — в карасе, ягоды, сушеный инжир и постное масло — в кувшине, свежий инжир — в крынке, гранаты — в горшке, каштаны — в корчаге, а корни, семена и целебные травы — в коробах... Доводилось ли ему иметь все это, а если даже доводилось, было ли чем все это заполнить?

Будь этого добра в кладовых малость, самую малость меньше, судьба страны, возможно, сложилась бы по-иному.

Удивительное, однако, дело: они не дожидались зимы и, чуть что, тянулись к припасам. Сказать, будто они не знали страха перед завтрашним днем, значит ошибиться, ведь вся их жизнь прошла в таком страхе. Но, наверное, тут имелась какая-то связь с тем, что они не заработали этот хлеб потом и кровью, и оттого их воображение несколько притупилось.

И чем лучше они жили, чем обеспеченнее себя чувствовали, тем убежденнее верили, что со стеной и рвом можно повременить.

Вот, скажем, строили маслобойню. Громадный камень, растирающий поджаренные зерна конопли, жом из бревен и заставляющий его отжимать полученное крошево винтообразный рычаг — и как только пара-другая буйволов приводила это сооружение в действие, наступал черед давилни, потом подыскивали подходящие для жерновов камни, потом строили общественную баню, потом принимались за ткачество: сперва пряли нить, а там уж ткали полотно — льняное или шерстяное, но им хотелось чего-нибудь потоньше — хлопчатки или шелка, но и это их не устраивало, им хотелось тюля или кружев и даже златотканой парчи... Хотелось, хотелось...

Тишина. Глухим закоулком, образовавшимся в просвете между домами, проходит аршакаванка. И пусть кругом ни души, она смущена. Смущена одной лишь вероятностью того, что навстречу ей может выйти незнакомый мужчина и проход еще больше сузится, просвет между домами уменьшится. Смущена собственной тенью, которой ведомы тайные ее мысли и которая следует за нею по пятам.

Ее волосы разделены пробором и обрамляют наподобие венка здоровое — кровь с молоком — лицо; на ней простенькое длинное платье, украшенное на бедрах семью правильными дугообразными складками. Поверх платья она носит плащ с длинными и узкими рукавами. Тонкий стан перехвачен изящным пояском.

Она никогда не рассматривала себя так придиричиво, никогда так не жаждала выглядеть красивой и привлекательной. Ведь она знает, что Аршакаван кишит женщинами, бросившими мужей, их любовниками, сказками любви и зазорными страстями. Она не упускает случая дать понять всем и каждому, что сама-то она не из таких, что у нее законный плечистый муж, что она давно свыклась с идущим от него духом, с тяжестью его руки, лежащей на ее голое тело. Нет, она не упускает случая напомнить обо всем этом также и себе, но у нее есть слабенькая, тайная, даже от себя самой скрываемая надежда, что она похожа на других, ведь

они, эти другие, эти зараженные сладостью порока срамницы, непременно красивы.

И в не выдавшей моря женщине, которая, потупив глаза, проходит по улице, бушует море, рождаются туманные и пугающие видения, бьются о берега ее сердца и рассыпаются в брызги, снова бьются и снова рассыпаются, ибо она боится вожделений, будь они трижды от нее далеки, боится загадочных и непостижимых зовов, она пленница тяжкого своего прошлого, пленница нескончаемой вереницы безрадостных дней и только в них видит подлинную и осязаемую отраду, горькую отраду обычного, знакомого, неизменного.

Слыхала о море, да не видала моря.

И вот на этой узенькой и глухой улочке неизбежно появляется бородатый мужчина. На затылке у него ермолка, свидетельствующая о занятиях ремеслом, он одет в короткое, до колен, верхнее платье, штаны заправлены в обувку с высокими голенищами, на поясе неширокий ремень. Поравнявшись, оба они слегка подаются в сторону, чтобы разминуться, их тени на мгновение соприкасаются и тотчас расходятся.

Женщина опустила голову, мужчина мельком взглянул на нее. И все. И ничего больше. Но на улице возник легкий ветерок, не задевший земли и не взметнувший пыли, возник и незаметно унесся вдаль.

По ночам из проделанных в кровле отверстий исходят шепоты любви, витают над городом, заражают, взбудораживают, тревожат всех и вся, заставляя беспокойно ворочаться под одеялом, и людям сдается: дело, мол, в жажде. И опорожняются пузатые кувшины с водой, но эта жажда неутолима.

Слабые ласковые дуновения сливаются над городом воедино и становятся ветром, вскрывают крепкую оболочку тайных вожделений, обнажают их и выставляют напоказ.

Грех простирает широкие свои крыла над безбожным, незаконным городом, в котором еще не построено — да и не будет построено — ни одной церкви, обороняет, берет под покровительство его тайны, вызывая повсюду легкую дрожь и озноб, а затем внезапно изливает на крыши домов зной. И устанавливает между людьми невидимые нерасторжимые связи, восславляет откровенный, беззастенчивый разгул свободной любви, избавление души от пут, возвращение попранных прав, первую в стране победу мужчины и женщины.

А дело со стеной и рвом продвигалось медленно. Их кое-как начали, и только.

— Я отдал тебе последнее. У детей отнял, дал тебе. Сейчас слышу отчаянный твой голос... Так и знай, ежели не вернешь долга сам, все одно — заберу. Беги хоть на край света, эти деньги будут мои. От меня не уйдешь... Царь, потвоему, только о тебе подумал? А обо мне не подумал... Я тоже поселюсь в этом городе. Поставлю дом рядом с твоим. Поглядим, что ты тогда запоешь... Куда еще сбежишь...

Курица закукарекала по-петушиному, и хозяйка, усмотрев в этом дурной знак, зарезала ее и сварила.

Молоденькие девушки забавы ради загадывают свою судьбу. Отрывают от земли здоровенные булыжники, и если найдут под камнем седой волос, девушке предстоит выйти замуж за старика, а если черный — значит, за молодого.

Вокруг тяжелобольного собрались знахарки и беспрестанно зевают, чтобы злые духи изошли из его тела. Бросают в воду огоньки, чтобы избавить хозяина дома от сглаза. Расплавляют свинец, заливают в наполненный водой кувшин и ставят на грудь младенца — как средство от поноса. Тот же свинец кладут и на грудь взрослого — уже как средство от зубной боли.

Есть у старух и амулеты с заклинаниями — их вешают детям на руки и шею, чтобы уберечь от болезней. И все же дети часто болеют, потому как не понимают по-гречески и по сирийски, а заклинания пишутся только на этих языках.

А когда ничего не помогает, знахарки прибегают к своему последнему, самому верному средству — окружив больного, проделывают руками какие-то загадочные движения.

В конце концов их гонят прочь и вызывают врача. Врач, согласно обычаю, не раздевает больного, а, просунув руку под одеяло, ощупывает тело. Затем дает приготовленное из трав и корней снадобье, которое предусмотрительно приносит с собой.

Мальчишки играют на улицах в кости, козы или баньи, катают колесо или же просто колотят друг дружку, потому что отцы одних, ванандцы, недолюбливают сюникцев, отцов других, ширакцы недолюбливают хутцев, таронцы — ванцев...

Отцы тут же узнают, что дети дерутся, бегут на место происшествия, вмешиваются в драку и начинают выяснять отношения между собой. Выходцы из одной местности

строятся по соседству, и каждое землячество враждует со всеми прочими.

Город превратился в маленькую Армению — со всеми ее краями и областями.

Не было аршакаванца. Он еще не родился. Вот когда мальчишки схватятся потому, что они сами кого-то любят или недолюбливают, и перестанут драться потому, что они родом оттуда-то и оттуда, тогда это будет значить: аршакаванец народился, берегись, он есть, и шутки с ним плохи.

Перед одним из домов столпился народ. В доме обнаружили мышь — и не где-нибудь, а в соли. Нескольким мужчинам предстоит решить трудную задачу: на каком именно куске соли околела мышь, на какую глубину проникла в соль мышьяная погань и сильно ли соль зачерствела. Если мышь найдут в сосуде, то деревянный сосуд нужно выскоблить, глиняный — сломать, а металлический — обдать кипятком. Не приведи бог, мышь очутится в давяльне. Оскверненная давяльня подлежит сносу, если же мышь не успела в ней напакостить, давяльню можно использовать, но уже для других надобностей. Когда же мышь оказывается в потухшем очаге, следует пять дней кряду каяться, по сто раз на дню опускаясь на колени.

В другом доме мается беременная аршакаванка. Никто с ней не заговаривает, никто к ней не прикасается, она не стряпает, не накрывает на стол, не прибирает жилье и не занимается детьми, обособила кое-что из утвари и не имеет права дотрагиваться до других вещей, потому что беременная женщина почитается такой же нечистью и скверной, как и мышь. И, забившись в темный закуток, она с тоской следит за домочадцами, с тоской прислушивается к их словам и разговорам и с безропотным терпением дожидается родов, дабы избавиться от скверны и вновь стать в своей семье наравне со всеми.

А возле другого дома двое мужчин с чрезвычайно серьезными лицами рубят дерево, хотя деревьев в городе раз, два и обчелся. Но исстари повелось так, что если человек падает с дерева и умирает, то это дерево надлежит тут же срубить. Должно быть, кому-то не повезло, и, еще не став аршакаванцем, несчастный расшибся и испустил дух в качестве выходца из Арцаха либо Багревана, Басена либо Тоспа...

Стихийно образовавшаяся городская площадь превратилась в рынок. От избытка красок рябило в глазах, а от гула и гомона глохли уши. Посреди площади бил выложенный камнями родник, а перед ним выдолбили углубление, в котором скапливалась вода. Вокруг родника на подстилках и ци-

новках раскладывались для продажи самые различные товары. Стекланные бусы, серьги, ожерелья, пряжки, пояса, перстни, заколки, золоченые монеты, которыми украшали лоб, шею или же рукава... И вдруг — крик, вопль, слезы, объятия: кто-то нашел в толпе родственника. И рассказывают об этом всем подряд и все рассказывают об этом одному. Кто нашел? Кого нашел? Что нашел? Велика важность! Важно, что нашел, нашел, а не потерял... Домотканые порты, башмаки из телячьей шкуры, мягкие туфли с загнутыми носками, костяные и деревянные пуговицы, войлочные шапки, бурки, полотняные платки и одежды, черепаховые гребни... И вдруг — опять шум и гам: поймали вора. Поймали и зашли в тупик. В Аршакаване все, включая и воров, неприкосновенны. Но ведь речь-то о явившихся извне. Ну а ежели он уворовал в Аршакаване, прямо на глазах? Что же тогда? Никто не знал. А коли никто не знал, вора отпустили... Всяческий фарфор, молочники, чаши, блюдца, подставки для цветочных горшков, сработанные из кожи маленькие и легкие косогорлые кувшины, вяленое мясо, птица, рыба, хлеб, фрукты, овощи...

В городе случилось несколько убийств, несколько краж, и, хотя воров и убийц доискались, снова возник все тот же вопрос: как быть? Покарать? Изгнать? Предать суду? Вернуть бывшим господам? Но разве Аршакаван не перестанет после этого быть Аршакаваном? Что-то рушилось. Лишался смысла в высшей степени значительный символ. Трещали опоры и сама основа, на которой зиждился город. И о преступлениях умолчали, преступников укрыли. И решили обождать еще немного, пока злодеяний не станет больше...

Город обернулся гнездом и рассадником язычества. Подавленное полвека назад, оно сызнова поднимало голову, отрясало пыль и ржавчину годов, молодело, хорошело, обряжалось в новые убранства и пускалось на поиски старых своих кумиров: отца всех богов Арамазда, златорожденной великоматери Анаит, прорицателя Тира, златорукой Астхик, драконоборца Ваагна... Люди гадали об ожидающей их судьбе, наблюдая за движением луны, просеивая через сито ячмень, ворожа на бисере... Пробуждались уснувшие было воспоминания, оживали позабытые предания и сказки, внятными и ясными становились пробивающиеся сквозь толщу десятилетий голоса.

И если все еще не воздвигались капища, то единственно из любви к царю, который, должно быть опасаясь патриарха Нерсеса, покамест ходил в церковь.



— Позовите Огана. Отомщу за кровь брата... Да спросите, чего же он удрал, коли такой храбрый? Чего же он испугался мести? Ежели ты мужчина, останься... Кто позовет Огана, того я отблагодарю, клянусь жизнью. Что, в Аршакаване деньги никому не нужны? Верно, мы с братом не ладили, не любил я его. Хоронить и то не пошел. Ни единой слезинки не пролил. Но не отомсти я за него, что скажут люди? Да и он сам, Оган, что он скажет? Что обо мне подумает? Не плюнет разве мне в лицо?



Сопровождаемый свитой и Драстаматом, царь посетил Аршакаван. Когда он увидел свою мечту осуществленной, ожившей, воплощенной в камень и кирпич, глину и песок, когда он вдобавок ко всему увидел еще и аршакаванца, который одушевил хижины и улицы, мастерские и площади и который, собрав здесь, на этом клочке земли, всю боль страны, всю несправедливость, все лишения, все унижения и раны, а также все — отчего бы и нет? — все лучшие свои помыслы, взбунтовался и, как с угрозой сжатый кулак, обратил против всего этого свой новый дом и новую веру, — когда царь въяве увидел Аршакаван и аршакаванца, то впервые в жизни предался безудержной, безоглядной радости, ее разливу, ее могучей, неукротимой волне. Он поверил и доверился этой волне и — в его-то годы! — только-только открыл ее для себя, позволил, чтобы она подавила его, подмяла, взбаламутила ему душу и даже, пожалуй, поставила в тупик. Потому что безграничное это счастье не могло принадлежать одной душе, не могло уместиться в одном теле, оно непременно должно было вырваться, высвободиться и стать надличным, пребывающим в тебе и вне тебя.

И казалось, он сумеет выразить свои чувства, найдет те единственные слова, которые распахнут и облегчат его душу.

— Очень уж они быстро строят, Драстамат, — сказал царь недовольно. — Едва ли эти дома будут прочными.

И хорошенько выругал градоправителя, выругал и пригрозил сменить.

Он зашел в несколько домов, в одном съел ломоть хлеба, в другом выпил мацуна, в третьем отведал вина... Его встречали радушно, хотя и робко, скованно. И стоило ему ступить за порог, люди свободно вздыхали, распрямлялись и отирали со лба пот.

Однако не только, не только они — царь тоже всякий раз вздыхал свободно: благодарение господу, вот и это испытание позади...

Убогость жилищ, сомнительная чистота блюд и чаш, стеклянные глаза скота в глубине помещения, незнакомые прелые запахи... Он бежал прочь и тут же с деланно веселым лицом входил в следующий дом, потом в другой, в третий... Войдет, спросит, как зовут хозяина, откуда тот родом, сколько у него детей, в чем он нуждается, и напоследок дружески хлопает по плечу...

На площади собралась многотысячная толпа. Все, затаив дыхание, ждали царя. Чуть ли не каждый рассказывал, каков он из себя. Являлись на свет десятки и сотни царей — приземистых и высоких, плечистых и щуплых, голубоглазых и черноглазых, старых и молодых...

И когда показался единственный и подлинный царь, по толпе прокатился ропот разочарования, пока люди не свыклись все-таки с его единичностью, пока не примирили свое воображение с грубой и неоспоримой действительностью.

Царь оделся намеренно просто, на нем не было ни тиары, ни пурпурной мантии, ни серег, ни красных сандалий, ни золотой короны, ни скипетра в руке.

Он, однако, ошибся. Народ не простил, что царь лишил его возможности воочию увидеть огромную пропасть, разделяющую чернь и венценосца, не оправдал ожиданий холопа, которому ослепительный царский блеск и драгоценные украшения должны были внушить чувство надежности и защищенности, не потешил, не ублажил самолюбие толпы, помещал простолюдину хоть раз в жизни наяву столкнуться со сказкой.

Так или иначе царь оставался царем. Разочарование вскоре развеялось, и вновь упрямо заработало воображение, придав царю величие, великолепие и блеск, украсив его золотом и жемчугами.

И наступило глубокое и странное безмолвие. Царь смотрел на толпу. Толпа смотрела на царя. Они стояли лицом к лицу. Глаза в глаза.

— Да здравствует царь! — внезапно крикнул царь во весь голос.

— Да здравствует царь! — слаженно, как один человек, откликнулась толпа.

— Да здравствует царь! — на сей раз повелительно крикнул царь.

— Да здравствует царь! — покорно повторила толпа.

— Да здравствует, да здравствует! — потребовал царь.

— Да здравствует, да здравствует! — отозвалась толпа. И царь преклонил колена. Перед царем. Перед собою. Слаженно, как один человек, опустилась на колени толпа. Таков был первый урок, преподанный царем своему народу.

Вслед за тем из толпы выступил измученный и жалкий, навсегда чем-то напуганный человек с новорожденным на руках. Младенец был новым гражданином Аршакавана. Первенцем Аршакавана.

Человек простер вперед руки и, держа новорожденного на ладонях, приоткрыл рот, но так и не издал ни звука.

— Имя, имя, имя! — понеслось отовсюду.

И царь понял, что честь окрестить первого горожанина подданные даруют ему. Он с достоинством принял этот дар и не колеблясь обратил взор к пребывающей в нетерпеливом ожидании толпе.

— Аршак, — произнес он. — Аршак.

★ ★ ★

— Братцы, ну как оно там? Я что ни день прихожу, смотрю на вас издали... Перебирайся? Шутка сказать... А кому же работать у хозяина? Кто-то же должен на него работать? Пускай это буду я. Ведь не обязательно, чтобы все убегали. А вдруг бог возьми да спроси: отчего, дескать, вы созданный мною мир с ног на голову поставили? Нет уж, я буду издали смотреть. Каждый день. Приду, посмотрю... Можно ведь, а?

Глава десятая

Шаапиван. Город подозрений!

Между тем главный стан царских войск Шаапиван был преисполнен в дни Навасарда доброты. В канун праздника повсюду прекратились распри между людьми и семьями, дабы старые счеты не пересекли границ новогодья и обновление жизни было совершенным.

Мужчины, захватив вина и фруктов, навещали соседей и родню, а женихи со своими родственницами — невест. Гости подносили хозяевам яблоки, хозяева также потчевали гостей яблоками. Яблоками же обменивались со своими сужеными женихи. Яблоки означали благопожелание плодородия — и не только в семейной жизни, но и в садоводстве, земледелии и скотоводстве.

Двери домов украшались крестами, алыми лентами и алыми тканями — чтобы год оказался удачным. Садоводы понарошке размахивали топорами, будто бы собирались вырубить не дающие плодов деревья и виноградные лозы, — чтобы в новом году и они начали плодоносить.

Ночью сыпали в воду зерно, дабы умиловить бога дождя. Ставили домашнюю скотину на ячмень, повязав ей на хвост красную тесьму, — чтобы год выдался плодородный. Или же собирали яркие полевые цветы, плели венки и украшали ими рога и головы дойных коров.

Для участия в празднике Навасарда к долине Арацани стекалось из различных областей несметное множество народа, потому что, согласно преданию, рай располагался у истоков этой реки. В ее окрестностях били из скал и расщелин многочисленные родники и горячие источники, целебными водами которых пользовали страждущих. Были здесь источники с водой до того горячей, что местные жители даже варили в ней мясо.

В церкви совершалось возглавляемое католикосом богослужение, а вслед за ним начиналось празднество. Улицы и площади заполнялись шутами, прорицателями судьбы и канатоходцами.

Огромная толпа собиралась на ристалище. Поначалу устраивалась игра: всадники пытались ударами длинных клюшек забросить в яму лежащий на земле шар. Им мешал приставленный к шару страж. Если шар оказывался в яме, страж менялся.

После игры приступали к скачкам. Подавали знак, и канат, разделяющий ристалище надвое, падал. Конники пересекали ристалище из конца в конец и возвращались.

Юноши состязались в беге, в поднятии тяжестей, в борьбе... И перед началом каждого поединка звучали трубы, заглушая ободряющие возгласы зрителей.

Приступая к игре, соревнующиеся обращали взор в сторону устроителя состязаний — чтобы испросить его одобрение или молча сказать: мы боремся в твою честь. По окончании поединка победитель подходил к устроителю или распорядителю за наградой.

Шаапиван был преисполнен доброты.

Вся страна дышала добротой, уверенная, что коль скоро настал Новый год, то худые времена миновали и уже не вернуться. И в этой уверенности была мудрая забывчивость, потому что предыдущий Новый год люди встречали с той же самой надеждой.

Куда бежит эта молодая женщина, отчего она простоволоса, отчего платье на ней разодрано, а грудь обнажена, тогда как кругом идут петушинные бои, а другие женщины разнаряжены в пух и прах, блистают серебряными и золотыми пуговками, украсили лоб и шею нитями жемчугов и янтаря, и отчего на ее лице такая тревога, когда там и сям, мешаясь друг с другом, льются развеселые звуки лютен, бамбиргов, труб, барабанов и рожков, — куда же она поспешает в таком смятении?

Шаапиван... Город подозрений!

Царь услышал, что Парандзем направляется к нему, и, растерявшись, не зная, как быть, метнулся в свои покои, бросился на тахту, укутался собольим покрывалом и... притворился спящим.

Он забыл, ну конечно же он позабыл, ему даже в голову не приходило, что за убийство Гнела придется держать ответ, что у Гнела есть жена и, пуще того, тесть, а не считаться с сюникским князем Андовком, могущественнейшим нахараром страны, не считаться с ним невозможно.

И он, не испытывавший к Гнелу ненависти и полагавший его убийство просто очередной мерой во имя безопасности страны, какой, скажем, было бы строительство новой стены или усиление границ крепостями и войском, — с этой самой минуты он возненавидел Гнела, потому что понял: хлопот теперь не оберешься.

А ведь тот обязан был умереть, умереть тишком-молчком, никому не доставляя неприятностей, не давая почувствовать, что его больше нет, и не напоминая государю о том, что он сын его брата. Гнел ни в коем разе не имел права на собственное имя, жену, семью, тестя, на связанные с ним воспоминания, события, места... Все относящееся к благу страны должно было подчиниться этой сверхлогике. А он тащит за собой жену, потом того гляди потащит тестя, потом еще бог весть кого. И убийство обрастет грязью, начнет отдавать запашком истлевшего, разложившегося тела, утратит первоначальный смысл, станет гнусной и пошлой драчкой из-за трона. А царь прослывет убийцей.

Поди растолкуй, что ты никого не хотел убивать, что тебе курицу и ту не резать, что убить этого человека для тебя, по сути дела, все равно как пронзить стрелой или копьем безымянного и безликого врага на поле брани. Неужели у врага есть жизнь, прошлое, жена, дети, радостные и безотрадные дни? Появись у врага все это, и у тебя уже не под-

нимется на него рука. Будь Гнел сыном царева брата, мужем Парандзем, зятем Андовка, царя, разумеется, следовало бы честь убийцей. Но ведь это — враг, идущий на тебя войной, безликий и безымянный, он посягает на твой трон — и не ради страны, а из тщеславия, посягает, не имея за душой ни цели, ни замыслов, бездумно, слепо, наобум, вдохновляемый и увлекаемый собственным бегом, наплевав на того, кто ценою жизни, не ведая ни сна, ни покоя, насилу сводя концы с концами, едва удерживает страну в узде; она ускользает у него из рук — он хватает ее зубами, вырывается из зубов — он, изловчившись, подпирает ее головой, валится с головы — он в последний миг успевает-таки уцепиться за нее пальцами...

Нет, не может он простить ни Гнела, ни всех прочих, кто низвел это убийство на землю, приравнял к пошловатым дворцовым козням. Придал смерти молодого сепуха¹ сугубо житейский оттенок. Подогнал под обычную логику. Вот почему он не в состоянии теперь держать ответ, у него нет хоть какого ни на есть оправдания, он беспомощен и незащищен перед ползучим этим бытом. Выход лишь один — пасть, опуститься до их уровня, рухнуть на ложе, натянуть на голову соболею покрывало и... прикинуться спящим.

Парандзем ворвалась в царские покои, из горла у нее исторгся и тотчас замер крик, ибо в полутемной комнате никого не было. И этот крик, понапрасну исторгнутый, лишился смысла, повис в воздухе и показался искусственным даже ей самой. И, полная до того мгновения решимости и непоколебимой веры в возможность спасти мужа, Парандзем разом обмякла, прислонилась к стене и, кусая пальцы, потихоньку заплакала. При этом она что-то невнятно бормотала, должно быть объясняя самой себе тяжкое свое положение. Внезапно, когда ее глаза мало-помалу привыкли к полутьме, она заметила на тахте какой-то ком. Умолкла, охваченная ужасом, затаила дыхание и вперила в неказистый этот ком упорный, вопрошающий взгляд. Утерла глаза согнутым указательным пальцем, шмыгнула носом и страшно испугалась эха. Потом, побуждаемая смутным предчувствием, настороженно, едва касаясь ногами пола, медленно, очень медленно, мучительно медленно двинулась к тахте. Приблизилась, подошла вплотную и остановилась.

Он. Никаких сомнений. Он самый. Царь.

Парандзем вконец потеряла себя. Она еще могла кое-как примириться с тем, что, скажем, в решающий, роковой миг,

¹ Сепухи — младшие сыновья владетельных князей.

когда царь нужен ей, точно вода и воздух, нужен в первый и последний раз, единственный раз в ее жизни, она вдруг не найдет его, что царь именно в этот единственный и неповторимый миг очутится, как назло, в таком месте, о котором человек и помыслить бы не мог; что царь, скажем, не пожелает выслушать ее, оскорбит, выгонит прочь и даже бросит за решетку, замучит, сошлет, подвергнет принародному осмеянию; но что он будет спать — нет, этого она никак не ждала. Все, все могла она вообразить — только не это. И поскольку это было худшим из вероятного и невероятного, она тут же ощутила неизбежность смерти и поняла, что обречена на несчастье и одиночество.

Так работало ее сознание. Или, вернее, подсознание. Руки же занимались другим. Руки охорашивали платье, приглаживали волосы, вытирали с лица слезы.

И удивительное дело, она совершенно не испытывала ненависти к этому человеку. Когда царь был для нее сугубой отвлеченностью, ее душа кипела ненавистью, все ее существо словно источало яд, каждая клеточка ее тела порывалась вперед — скорей, скорей добраться до царя и растерзать его. Но едва царь стал живым, из плоти и крови человеком, ненависть произвольно обернулась неизъяснимым почтением и загадочным благоговением.

И царь — тот самый убийца, смертоносный и смертоподобный, лишивший ее счастья и сгубивший ее, прямой виновник нынешнего кошмара — нежданно-негаданно оказался единственным, кто не имеет ко всему этому никакого касательства, единственным, кто способен благородно ее защитить и выволить Гнела из лап палачей.

— Вставай, государь, — шепотом попросила Парандзем, — мой муж в опасности... Гнел... Твой племянник... — Ошеломленно приоткрыв рот, пристально вгляделась в лицо царя. — Господи, до чего же похожи! — И, подавляя рыдания, попыталась убедить царя, а заодно и себя: — Неужели это сходство ничего не стоит? — Тихонько протянула руку, осторожно, очень осторожно дотронулась пальцем до собольего покрывала и тотчас отдернула палец. — Я ведь не знаю, можно ли тебя будить. Есть ли у меня такое право... Трудно, государь, говорить шепотом... Я должна кричать... Ты бы на моем месте что сделал? Я спрашиваю, что бы ты сделал, государь...

Царь лежал неподвижно — веки крепко сомкнуты, дыхания почти не слышно. Он боялся, что ему захочется вдруг чихнуть, или зачесется нос, или дрогнут ресницы, или согнутая нога, невзирая на все его усилия, вот-вот не выдер-

жит напряжения и распрямится... И вдобавок острое, колющее, мучительное любопытство, ради удовлетворения которого он готов был забыть о самой страшной опасности, повелевало, принуждало его хоть на мгновение, хоть краешком глаза взглянуть на лицо этой страдающей, нежной и незнакомой женщины.

— Господи боже, сотвори чудо... Пробуди его... Я должна ему сказать, что люблю Гнела... Я должна ему сказать, что моя сила была в моей слабости... Я должна ему сказать, что дядя и племянник очень друг на друга похожи... Ну а если похожи, какая такая опасность может грозить моему мужу? — Она медленно, чуть подавшись вперед, покружила возле тахты и едва слышно шепнула: — Царь крепко спит... Я вижу царя впервые в жизни... Вижу спящим... Царь, это я, Парандзем... Жена твоего племянника... Жена Гнела... — И вдруг: — Да что ж мне еще сказать, чтобы ты понял меня? — выкрикнула она, почувствовав, что зловещая эта тишина — начало смерти, что эти минуты, все проведенные в царских покоях, и эти усугубляющие ее муку излишние тревожнения, и бессвязные эти слова лишь способствовали тому, чтобы где-то, беспощадно и равнодушно зарезанный, пал Гнел. Она повернулась, бросилась к дверям и выбежала вон, унося с собою шуршание шелковых своих одежд.



В церкви для воинов отправлялась заутреня. Съехавшиеся отовсюду епископы во главе с католиком беседовали от имени народа с богом, восславляли его и предъявляли ему свои требования.

А толпа, не отрывая глаз от своих пастырей, молча и напряженно внимала им, и, поскольку слова, произносимые на чужом языке, были непонятны, каждый старался угадать, передана ли всевышнему также и его мольба, уведомлен ли господь о том, что ему надлежит поставить на ноги прикованного к постели Шалитова сына, подарить молодой Смбатануш мальчика, уберечь от волков и воротить хозяину заплутавшую на выпасе корову Вараздата...

И в этот торжественный миг ожидания, когда вера праздновала очередную свою победу, в этом просвете между окутанных надеждами и безответными вопросами мрачных стен, в таинственной этой полутьме внезапно прозвучал знакомый всем голос страдания:

— Поспеши, владыко, не опоздай, моего мужа, безвинного и безгрешного, убивают!

На людей обрушилась тяжкая, как кулак, тишина, и все до единого ощутили тупую боль. Связь с небесами оборвалась, молитвы с полпути посыпались наземь, попадали под ноги, были растоптаны и раздавлены.

Внезапное вторжение княгини, отчаянный ее вопль и то, как она кинулась перед алтарем на колени, потрясло людей. Себя-то они привыкли видеть в таком положении, чего только с ними не случалось, каких только невзгод и несчастий не выпадало на их долю, но немыслимо было даже вообразить, что в ладонь господина может угодить хотя бы заноза.

И, позабыв о своей боли, отталкивая и топча друг друга, они опрометью ринулись из церкви и припустили к царскому дворцу.

На полпути им повстречалась другая толпа; пораженная горестной вестью, она бежала от дворца к церкви.

Нерсес оторопел и не знал, как ему быть. Схватив за подол ризы, его грубо сволокли с поднебесных высот и швырнули на грешную землю; он еще не успел утвердиться на ногах и, словно ребенок, искал себе опоры.

Вождь беспомощно и затравленно взирал на толпу, будто умоляя, чтобы на сей раз она направляла его. Он недвижно стоял, пригвожденный к месту, положившись на силу толпы. И лишь когда ратники и крестьяне кинулись из храма, Нерсес взял в толк, что ему надо идти к царю.

Оставшись в опустевшей церкви наедине со священниками, он подобрал полы ризы, поспешно направился к дверям и растерянно бросил: «Ждите меня, я скоро вернусь».

Задыхаясь, бежал он к царскому дворцу. Смешавшись с толпой, забыв о своем положении и сане. Бежал, бежал, но вдруг сообразил и недовольно себе признался, что беспокоится не столько за Гнела, сколько за царя. Враг разил царя ножом в спину. Это было предупреждение ему, подлый, гнусный знак. И ведь с кого начали — с кровного родственника, чтобы посильнее уязвить, чтобы царево сердце ныло и болело.

В этом наглom и жалком заговоре не обошлось без Меружана и неверных персов. Нет, в нем не могут быть замешаны приверженцы греков, ведь они уже обращались однажды к Нерсесу как стороннику Византии с предложением свергнуть царя и посадить вместо него на трон Гнела из рода Аршакуни. Нерсес решительно отказался от соучастия и посоветовал отказаться от этого умысла и заговорщикам. Да послужит сие для всех уроком, и пусть всем будет ведомо, что определенное расхождение во взглядах между ним и царем никому не дает оснований надеяться, будто католикоса

всех армян можно сделать знаменем в борьбе против царя и использовать в своекорыстных целях. Ну а вдобавок Гнел и его родственник, внук его дяди со стороны матери. Эх, Нерсес, Нерсес, позабыл ты своих родичей, ты и себя-то позабыл за этими школами да богадельнями! Столько печешься о людях, что, чего доброго, вконец от них отречешься и невзлюбишь...

Нерсес и Аршак либо вместе спасут Гнела и возрадуются, либо вместе оплачат его смерть. Бедный Гнел, стало быть, у тебя на роду написано помирить царя и католикоса — то ли в веселом застолье, то ли у гроба...

Сколь же велико было его удивление — мало сказать, велико, — когда он увидел, что царь, укутавшись с головой в меха, поживает на ложе.

Почивает? Как так? А Гнел? А он, первосвященник, который задыхаясь бежал сюда? А все, о чем он передумал по дороге? А его искреннее и братское сострадание царю? А его стремление помириться с ним? Выходит, за все это воздается такой вот нелепостью?

А то, что он оскользнулся и чуть было не упал? Эта безделица ни с того ни с сего показалась ему куда важнее и оскорбительнее прочего.

— Вставай, царь! Беда... Вставай...

Царь не шелохнулся. Таким спокойствием веяло от этого глубокого и сладкого сна, что у Нерсеса возникла внезапная надежда. Может, и не было никакой беды? Может, и не было человека по имени Гнел? Ни племянника, ни внука дяди. Только и было, что все отрицающий сон да окутывающие все мягким нежным светом сновидения.

На какое-то мгновение Нерсес поддался этому заразительному оцепенению, тихонько присел в кресло, ослабил ворот, вытянул ноги и положил руки на подлокотники.

Мышцы обмякли, голова безвольно склонилась к плечу, водворилась тишина, и на его лице заиграла усталая, бессмысленная улыбка. Царские покои наполнились озорным журчанием ручья. Нерсес поглубже уместился в кресле, уставившись пустыми глазами куда-то в потолок.

Он испытывал злое и мучительное удовольствие от того, что его повсюду теперь разыскивают, возлагая надежды на его всемогущую силу.

Пускай разыскивают, пускай ищут-рыщут — его нет и не будет. Пускай взвалят свои беды на собственные плечи и на весь белый свет кличут святейшего, дабы переложить эту ношу на него. А он не берет ее и не возьмет. Пускай всю, какая только есть, грязь и подлость соберут воедино и бросят

к его ногам. А он не видит и не увидит, не слышит и не услышит.

Именно так: был человек, а теперь его нет. Поймите вы: устал ваш святейший. Обрыдли ему ваши заботы и невзгоды. Опротивели ему ваша грязь и подлость. Он сыт по горло своими школами и богадельнями. Его тошнит от собственной святости. Пускай разыскивают, пускай ищут-рыщут, пускай теряют голову.

— Царь, это я, католикос... Встань же... Измена, заговор... Убивают твоего племянника...

Никто не вызнал его убежища, но он нашел себя сам. Самолично обнаружил святейшего.

Царь так и не шелохнулся. Нерсес принужден был взять его за плечо и встряхнуть. Никаких признаков жизни.

В глазах Нерсеса зародился злоедающий вопрос, и его лицо разом окаменело. Язык на мгновение прилип к гортани, и он в ужасе сглотнул слюну.

— Царь, если ты не проснешься... Что же мне останется думать? Ты-то бы что подумал на моем месте? — Сильно встряхнул его, но не с тем, чтобы разбудить. — Ты на все способен. Я знаю. Но это... — И вдруг принялся гладить царя по голове, будто тот был его единственным сыном, Сааком, — быстро, трясущейся рукой, едва касаясь волос. — Пожалей себя, царь, не его пожалей, а себя... Не проливай родную кровь. Не убивай ни в чем не повинного. — Он помолчал, а потом заговорил негромко, проникновенно: — «Кто слушает вас, тот меня слушает, кто принимает вас, принимает меня, кто отвергает вас, отвергает меня». Внемли Христу, глаголющему с тобою ныне моими устами...

Он поднялся, с ненужной и неуместной тщательностью счистил с колен пыль, сбросил пальцем крохотную соринку, распрямился, взглянул на зарывшегося в меха царя, долго молчал и вдруг злорадно рассмеялся.

— Я же говорил, что отомщу тебе. Я дважды перед тобой унился. Когда меня насильно рукоположили. И когда ты купил меня деньгами и землями. Ловко купил. Теперь ты унижаешься передо мной.

Слава богу, что ему не пришлось поневоле помириться с этим актеришкой, с этим бездарным лицедеем, с этим низкопробным скоморохом, с этим...

И наипаче — слава богу, что отныне руки его свободны. Гнел, разумеется, должен был стать царем, разумеется... Между тем бог свидетель — он вошел сюда с чистым сердцем...

Откуда ни возьмись возник Айр-Мардпет, гнуснейший в глазах католикоса армянин. Единственный человек, перед

которым Нерсес чувствовал себя жалким и беззащитным — до того омерзителен и ненавистен тот ему был. Мардпет молча и бесшумно проскользнул в дверь и заполнил собой всю комнату. Поклонился первосвященнику, мельком глянул на спящего, беспомощно развел руками, пожал плечами, затем шепотом обратился к царю, что показалось Нерсесу издевкой — издевкой слуги над господином.

— Главный палач Еразмак только что известил, что твое повеление исполнено. Он препроводил Гнела к месту охотничьих сборов и обезглавил у холма Лисин.

Царь знал, да и как не знать, что это самое неподходящее время для пробуждения, самый опасный миг, когда он с головой себя выдаст — особенно после Мардпетова шепотка, — однако не выдержал. Как на грех, не выдержал именно в эту минуту. Плевать, будь что будет, человек он в конце-то концов или нет, ведь есть же предел и у подлости, ведь есть же мера и у бесстыдства — не так ли? Он сбросил покрывало, сел, протирая глаза, на тахту и удивленно воззрился на Айр-Мардпета.

— Какой еще Гнел?.. Какие охотничьи сборы?.. Какой холм?.. Что за Еразмак?.. — Он заметил Нерсеса, с недоумением посмотрел на него и не поверил глазам. — Святейший? Отчего ты прервал заутреню? Ты должен был теперь служить молебен для войска. — И раздраженно спросил: — Объясните вы мне наконец, что стряслось?

— Ты ослушался божьих заповедей и стал пожирать людей, — с холодной и спокойной усмешкой сказал Нерсес. — Посему и да сбудется над тобою реченное о хищных зверях: «Бог сокрушит их зубы в устах их, и челюсти львов разобьет господь». И оттого, что ты совершил каинов грех, да падет на тебя каиново проклятие, да лишишься ты во цвете лет своего царства, и да претерпишь муки худшие, нежели твой ослепший отец Тиран, и да завершишь ты свою жизнь горькою смертью и великою мукой. — С усмешкой на губах он легонько ударил царя по плечу и едва слышно добавил: — Моей усмешки не запомнит никто. Но мои слова будут помнить. Тебя проклянут, а меня сопричислят к сонму святых. Слышишь, как поскрипывает перо? Прямо сейчас летописец вносит все это в свой манускрипт...

Повернулся и медленно, невозмутимо удалился из царских покоев. Удалился с величайшим достоинством, победительно.

Царь застыл на месте. На его лице было выражение глуповатое и бессмысленное. Точь-в-точь из него выжали все соки. И отшвырнули прочь. Он поднял руку, провел ла-

донью по лицу, а затем встал и вытянулся в полный рост.

— Блюсти по всей стране пост в знак скорби по моему племяннику. Все войско — стар и млад, все без исключения — пусть явится к могиле Гнела, старшего сепуха дома Аршакуни, и оплачет его смерть.

Он сказал это торжественно, со слезами на глазах, веря каждому своему слову, каждому звуку. Но веря каждому порознь, а не всем вместе.

Вышел в умывальню, остался один, и его вырвало.



Был прахом, стал прахом.

А ведь до чего был красив... Безбожно красив...

Столь величественной стати, столь широких плеч и огненных очей не являла еще доселе на свет эта страна.

И ведь какая поистине голубиная была душа.

Многие и многие сроду не видывали его, но коль скоро умерший был князем, да притом молодым, а смерть ему выпала горестная, значит, все людские достоинства — его, значит, он — само совершенство, значит, он воплощал в себе все представления о прекрасном и наилучшем.

Пускай я уродлив, ничего, зато кто-то красив. Пускай я нищ, не беда, зато кто-то богат, пускай я несчастен, что с того, зато кто-то счастлив.

Пускай хоть кто-то...

И не ведающему зависти честному крестьянину-горемыке вдруг почудилось, что сегодня заснул вечным сном тот самый «кто-то», и мир в его глазах разом померк.

Он стал еще некрасивей, еще бедней, еще несчастней.

Не один только Шаапиван, не одна только область Цахкотн, но весь Айрарат оделся в траур.

На отверстия в кровле набросили черные тряпицы, рога волов увидели черными лоскутами, лошадей покрыли черными попонами, люди с головы до пят обрядились в черное.

Владыки темного царства Тартар торжествовали очередную победу. Как правило, они отнимали жизнь у лучших, честнейших, храбрейших. И хотя сами они были злы, они терпеть не могли злодеев, брали их к себе нехотя, давали подлецам возможность пожить вдосталь и, лишь когда те становились беззубыми старцами, с отвращением призывали их в свои владения.

Увитое парчой обезглавленное тело Гнела положили на устланный коврами помост. В головах, преклонив колена, стоял в черной мантии и в венце царь, плакал и повелевал

всем оплакивать Гнела, старшего сепуха дома Аршакуни.

Нахарары, крестьяне и воины сидели, по стародедовскому обычаю, на земле вокруг могилы и, выражая свою боль, все одновременно хлопали в ладоши.

Когда бедный юноша испускал дух, никто не смог возложить на его тело одежду получше и меч, совершив тем самым доброе дело и хотя бы ускорив отделение души.

Зато они с не меньшей любовью и признательностью готовят его могилу, положат в нее златотканую рубаху, соборный плащ, ушитый самоцветами пояс, меч и браслет, непременно украшающий запястье любого молодого князя. А в самый последний миг, когда тело опустят в могилу и начнут засыпать землей, тайком от священников бросят почившему немного еды.

Сидевшие на земле захлопали сильнее, потому что появились вопленицы в черных нарядах. Они вместе подошли к устланному коврами помосту, постояли немного молча, прислушиваясь, должно быть ради вдохновения, к хлопкам. Затем одна из них, самая старая — «мать скорби», принялась причитать, остальные вторили ей. Старуха славил умершего, восхваляла его красоту, отвагу, рост и стан. Товарки повторяли ее слова, и горестные вопли набирали силу.

Первая плакальщица скорбела по тем детям, сыновьям и дочерям, которые еще могли родиться и непременно бы родились, но никогда уже не явятся на свет. И поименно их окликала. Остальные, повторяя имена неродившихся детей, сызнава рыдали и причитали. Мать скорби горестно перечисляла подвиги, которые еще мог бы совершить покойный, но которые, увы, безвозвратно унес с собою, на радость врагам. Остальные, еще разок проголосив о несвершенных подвигах, пуще прежнего исходили слезами...

— Скверно оплакиваете, старые ведьмы! — внезапно крикнул царь в гневе и во весь рост встал перед толпой. — Да неужто же так оплакивают смерть юноши? Где они, ухищрения вашего ремесла? Куда они запропалились? Плачьте так, чтобы горе потрясло всю страну. — И шепнул на ухо Айр-Мардпету: — Поди узнай, что обо мне толкуют.

Царева ярость, воспринятая как порыв страдания и боли, воодушевила присутствующих и высвободила память об уничтоженных было обычаях. Священники, к вящему своему ужасу, воочию увидели, как в мгновение ока возродилась и расцвела на кладбище языческая скверна.

Потерявшие стыд женщины бились оземь, катались по траве, распускали и рвали на себе волосы, раздирали платья,

колотили себя в грудь; мужчины посыпали пеплом головы, срывали одежды и надевали на голое тело рубища.

Вопли обезумевшей толпы сливались с погребальными песнями, душераздирающими звуками труб, пандиров и лютен, бешеным хлопаньем в ладоши и круговертью плясок, не раздельных для мужчин и женщин, а общих.

В изорванном платье, простоволосая, с обнаженной грудью, Парандзем причитала, голосила, отчаянно скорбела по мужу, вызывая у всех слезы.

— Это я, я виновата! — горестно восклицала она. — Зачем ты дал мне силу, господи? Отчего не позволил помочь ему?..

И поскольку никто не понимал смысла этих слов, они возбуждали в людях душевный трепет, и слезы текли рекой.

Толпа вконец запаматовала, что ее песни и музыка, ее пляски и мольбы обращены, в сущности, к царству темной бездны — с тем чтобы вернуть оттуда душу усопшего.

Плясала, пела, раздевалась догола, била в ладоши, молила без слов, да вот запаматовала, чего ради... Не помнила песен и плясок вокруг жертвенного козла, у алтаря богиня Спандарамет, без которых не мыслили себя их деды и бабки. Не помнила древнего таинства самоотречения, совершаемого в честь аралезов¹.

И оттого, что не помнила ничего определенного, она верила чему-то огромному и непредставимому, соединила разрозненные верования и поверья и создала из них нечто новое и целостное. Обобщенную и всеобъемлющую веру.

Несколько женщин приближались к скорбящим и собирали в маленькие склянки слезы, текущие у тех из глаз. Слезы самых разных людей перемешивали, склянки закупоривали и клали в могилу. Одна из склянок была предназначена особо для царя. Она должна была лежать подле Гнела отдельно от других.

Оголив в горе плечи и рассыпав по лицу волосы, собирала царевы слезы молодая женщина, и чем полнее становилась склянка, тем больше ликования звучало в восклицаниях женщины и тем большую гордость испытывала толпа.

Наконец чаша терпения священнослужителей переполнилась, и те решили перейти в наступление. Они выступили вперед и, одетые в черное, воскурив ладан, окружили могилу.

Все благоговейно умолкли — явление духовенства также было сочтено закономерным. Толпа стала до исступления

¹ Аралезы — мифические песьеголовые существа, воскрешающие умерших, зализывая им раны.

христианской, как минуту назад была до иступления языческой.

С поразительной, мгновенной легкостью совершился этот переход — без чьего-либо противодействия, без споров и ропота, без болезненного недоумения.

Особенное впечатление произвели на толпу церковные стяги — красные или вышитые разноцветными нитями, украшенные самоцветами или образами святых хоругви. Древки увенчивались крестами, ниже которых плескалось по ветру полотнище.

Две здоровенные мужеподобные женщины, схватив Парандзем за руки, оттащили ее от могилы. Парандзем яростно противилась, бранилась и кусалась. Стоило им отойти подальше, туда, где их никто уже не видел, как одна из женщин грубо ударила Парандзем по лицу. На щеке отпечатались пятерня, из носу хлынула кровь. Напугавшись, Парандзем присмирела, соскользнула, прижимаясь спиной к кладбищенской ограде, вниз, съежилась в грязи и молча заплакала, давась слезами.

Заупокойная служба подошла к концу, и обернутое саваном тело почившего опустили в могилу. Мужчины засыпали ее землей. Царь присоединился к ним, оказывая тем самым редкостную почесть своему единокровному подданному.

Образовался большой холм, и на этот холм водрузили камень.

На сей раз память изменила священникам. Они позволили поставить надгробный камень, всегда позволяли и впредь будут позволять его ставить, зная не зная, во имя чего это делается. Они напрочь забыли, что камень издревле почитался новым обиталищем души усопшего.

Глава одиннадцатая

Парандзем решила остаться в Шаапиване до истечения сорокадневного траура, а затем вернуться не в Алиовит, но в Сюник, в отчий дом, и окончательно там поселиться.

Ежедневно в один и тот же час, не отклоняясь ни на минуту, не обращая внимания ни на дождь, ни на палящее солнце, шла она на кладбище — к могиле мужа. В поразительной этой точности заключалось постепенное преодоление горя, осознанный и по-своему рассчитанный отказ от боли и жути, отказ и прощание.

Часами просиживала она у надгробия — молча и, как изваяние, недвижимо — и думала, думала. Думала о том, как ей устроить свою жизнь. Как примириться и свыкнуться с оди-

ночеством. Как исподволь полюбить его и ощутить болезненную его сладость.

Иной раз, намеренно сгущая краски, она воображала себе будущее в самом мрачном свете: ее ожидают однообразные дни, похожие друг на друга, как зернышки пшеницы.

Сыплешь эти зернышки одно на другое, и не понять, после которого образовалась кучка. Так и дни будут прибавляться один к другому, и не углядеть, когда же минула жизнь, когда ты успела ее прожить и что постигла, явившись в мир и покинув его.

Думая об этом, она жалела себя. И, жалея себя, испытывала удовольствие — немилосердное и жестокое удовольствие. Вот так, когда болит рана, ты не можешь до нее не дотронуться; сколько ни борись с этой тягой — не можешь, и все тут; что-то заставляет тебя, понуждает, приказывает, ты прикасаешься к ране, чувствуешь боль и только тогда успокаиваешься и унимаешься.

Парандзем словно мстила кому-то своим горем, убежденная, что, узнав про несчастную ее жизнь, люди ощутят угрызения совести, потеряют сон и покой. Однако она не позволила себе долго обманываться и утешаться этим, а предпочла по-мужски взглянуть в лицо преградившего ей путь рока и хладнокровно искать выход.

Нет, она зубами вырвет причитающуюся ей долю счастья, когтями выцарапает дни отнятого у нее блаженства, ни перед чем не остановится, лишь бы вновь обрести свои попорченные былые права, обрести и упрочить их в будущем.

И как-то ночью, когда одиночество достигло предела бесстыдства и прокралось сквозь полог на ее пуховое и златотканое ложе, Парандзем обняла подушку, свернулась калачиком, стала совсем крохотной и вдруг разом, словно сжатая пружина, распрямилась, вытянулась и вскочила на ноги. С лихорадочной поспешностью ринулась во тьме на поиски светильников, а найдя, зажгла два из них, поставила перед зеркалом и скинула ночную сорочку.

Она рассматривала себя оценивающе, как посторонний, с холодным и бестрепетным удовольствием торгаша. И без восхищения.

Возникшее в зеркале белое, упругое и прекрасное тело, это чудо, которое она, казалось, собиралась купить и присвоить, внушило ей твердость духа, исполнило крепкой, негибимой веры и одарило какой-то грубой силой.

Праздником стала эта ночь для Тирита.

Незаметно как тень Тирит следовал за Парандзем по пятам, поутру шел вместе с ней на кладбище, проводил там

весь день, потом возвращался на улицу, где вдове отвели особняк, и, голодный и холодный как пес, стерег ее.

Он стоя прислонился к дереву и дремал, как вдруг что-то молнией блеснуло в его мозгу, и он в смятении открыл глаза. Окно светилось. Он воровато приблизился, привстал на цыпочки, вжался в стену и заглянул внутрь.

Он увидел то, что денно и ночью рисовал в своем воображении.

Но это было то и не то. Это было безумное трепыхание выброшенной на берег рыбы, бешеное ржание вставшего на дыбы коня, алое пламя крови, единоборство сцепившихся рогами жестоковыйных и потных быков... И целомудренный юноша испугался доподлинности женской плоти. На мгновение он возненавидел Парандзем, его так и подмывало убежать, выбросить ее из памяти, но не тут-то было — он вжался в стену, и стена не позволяла ему отлепиться.

Он обиженно и сердито смотрел на эту нагую женщину и клял в душе ее неведомую, сокровенную ее красоту, заключавшую в себе столько тайн.

Теперь-то Тирит не сомневался, что Парандзем обманула его: сулила не знавшему женщин юноше заоблачные вершины, а показала бездонные пропасти.

Единственное спасение было в том, что женское это тело находилось довольно-таки далеко, и ему, Тириту, опасность не угрожала. Его отделяли от наготы стена, окно, тусклое пламя горящих внутри светильников и непроглядный мрак снаружи. Он положился на эти преграды и почувствовал себя в безопасности.

И стоило ему почувствовать себя в безопасности, как воображение вновь разгулялось; на сей раз он мысленно преодолел преграды и стал лицом к лицу с ослепляющей, но уже обезвреженной, обезоруженной наготой.

Да будут тому свидетелями холод и шероховатость этой стены и праведное пламя этих светильников — Тирит любил Парандзем. Любил больше, чем... чем что?.. чем что же?.. Он попытался подыскать сравнение и объяснить... больше, чем себя.

И он пожалел ее, пожалел, что она лишилась любимого мужа, что у нее теперь великое, безграничное горе, незатянувшаяся рана... И в его с некоторых пор безгрешном, младенчески наивном уме даже мысли не промелькнуло о том, что он, в сущности, имел прямое касательство к ее несчастью.

Он любил горе Парандзем и готов был разделить с нею боль. И Гнела он тоже любил, Гнела — сына своего дяди.

Любил, радуясь, что его больше нет, любил за то, что он неотделим от этой обожествляемой женщины, любил как своего кровного родственника, как брата.

Он соорудит на Гнеловой могиле такое надгробие, а дабы все было честь по чести, пригласит таких мастеров, что она станет для армян местом паломничества. И он сделает это отнюдь не напоказ, отнюдь не ради того, чтобы искупить свою вину или же ублажить Парандзем, а из любви ко всему с нею связанному. К ее нарядам, ее печалям, следам ее стопы, ее мыслям, благоуханию ее волос... И к ее мужу...

Он будет достоин любви Парандзем, чистыми руками зажжет огонь их — ее и его — очага, станет таким честным, каким потребует от него стать Парандзем, таким храбрым, каким прикажет ему стать Парандзем, и если ей будет угодно послать его на смерть во имя какого-нибудь великого и святого дела, он без колебаний принесет себя в жертву. И даже обращаясь к себе самому, он будет говорить «ты», потому что его «я» отныне исчезнет, сгинет, останется только Парандзем, «ты» и «ты»...

Парандзем начала медленно одеваться. Облачилась в лучший свой наряд — не черный, а голубой, завернулась в длинную белую пелерину и выбрала самые дорогие украшения. Слегка тронула лицо румянами, подсурьмила брови, чуть побелила лоб. И с остекленевшим взглядом, в великолепном убранстве, увешанная драгоценностями, но босая, неспешно прошествовала к ложу, откинула полог и, не опуская плеч, присела на краешек постели. Присела под сень исполинской своей тени и подумала, что эта великая ее утрата требует возмещения. И не равного тому, чем она обладала доселе, а несопоставимо большего. Любви ей не хотелось, она знала, что святой и неподдельный стыд, пережитый, когда она впервые взошла с Гнелом на ложе, что этот стыд уже не повторится; будет все, даже, может статься, испепеляющая страсть, но этого стыда не будет — чего нет, того нет. А если любовь умерла, то, значит, взамен нужно нечто грубое и сугубо вещественное, нечто основательное и надежное, а вот что именно — она ломала голову, но так покуда и не отыскала.

Думая о возмещении, она не совестились Гнела, мало того, намеренно размышляла об этом на кладбище, у могилы. То была не измена его памяти, еще не угасшей, а высшая степень доверия. С кем, кроме него, могла она поделиться своими раздумьями, у кого, кроме него, могла испросить совета, кто был ее искренний друг и наперсник, способный вполне ее понять? Так что если существовал для нее на све-

те настоящий оплот и прочная опора, то ими была могила Гнела.

Она просидела на краешке постели до самого восхода — неподвижно, отдавшись мыслям и увлекаемая поисками возмещения, внутренне противясь тому, что эту ночь хотят у нее отнять...

Исполнинская тень на стене пропала, но, хотя комнату озарили солнечные лучи, она не погасила светильники, потому что в них нашла осязаемое прибежище ночь, полная нерешенных вопросов, возможно единственная в жизни ночь, целиком принадлежащая ей. То бишь им, будь милосерд, господи, прости и помилуй, — им, ей и Гнелу.

Она встала с постели и во всеоружии блистательного убранства, однако в безотчетно надетых домашних шлепанцах вышла из дому и отправилась на кладбище.

Почем ей было знать, что эта ночь принадлежит не только им с Гнелом, но еще и некоему третьему человеку. И что Тирит давно, еще до зари, мысленно обладал ею.



Парандзем собралась уже возвращаться домой, когда с удивлением заметила Тирита, и тот понял, что таиться дальше бессмысленно. Он приблизился к Парандзем, молча поклонился, и они пошли бок о бок. По дороге они ни разу не взглянули друг на друга и ни словечком не перемолвились.

Тирита бросало в дрожь от этой близости; ее благоухание, ее по-кошачьи мягкая походка, разлетающиеся при каждом шаге полы ее одежды, неразличимые, но угадываемые прожилки на ее длинной шее и особенно стелющаяся по земле белая пелерина, которая звала, зазывала, влекла за собой всякую живую тварь, — от всего этого у него захватывало дух.

Тирит напрягся, натянулся, как струна; на лбу выступила испарина. Кадык судорожно задвигался вверх-вниз. Он старался идти как можно сдержанней, опасаясь, что ненароком выдаст силу упрямую и едва укрощенную душевную бурю.

Он отдал бы жизнь, ей-богу, отдал, лишь бы узнать, о чем думает шагающая обок женщина, какие мысли одолевают ее и что хоронится под этим стеклянным, холодным взором.

Тирит открыл калитку и вошел вслед за Парандзем в усаженный деревьями двор.

Парандзем направилась к бассейну, на мгновение склонилась к воде, одежная складка на плече беспокойно дернулась, она повернулась и вопросительно посмотрела на Тирита.

— Я знаю, твое горе беспредельно, — сказал Тирит, и его бескровное лицо стало еще некрасивей. — Но и мое горе велико. Тебе Гнел был мужем, а мне родственником. Братом. Мы одни можем утешить друг друга.

— Никчемным, малодушным человеком был твой брат, — спокойно, вполголоса ответила Парандзем, вперив взгляд в какую-то неопределенную точку. — В его жилах текла не кровь, а водица.

— Не бери грех на душу. — У Тирита выпятился кадык — вот-вот отлепится от горла и упадет. — Твой грех тяжек, тяжек вдвойне. Ты клеветешь на умершего.

— Умерший принадлежит мне. Он мой, и только мой, — сухо оборвала его Парандзем и заметила два прыща на лице юноши. — Не примазывайся к нему. И к моему горю тоже.

— Я не обижаюсь, Парандзем, — грустно улыбнулся Тирит и развел не в меру длинными руками. — Если тебе от этого легче, говори что заблагорассудится. Я готов безропотно слушать.

— Благодарю. Но уже поздно, Тирит. Я раньше должна была узнать, сколько добрых людей меня окружает.

Издевательская усмешка Парандзем обожгла и покрыла краской лицо юноши. Тирит прижал руки к щекам, словно пытаясь очистить их. Однако он не то что оскорбился — он явственно почувствовал, как болезненна ее рана. И проникся еще большей уверенностью: он нужен этой женщине, да, да, нужен.

— Я хочу помочь тебе. Хотя помощь такого рода может показаться тебе странной, даже дикой. Особенно теперь.

Он еще не договорил, а Парандзем как-то сразу смягчилась, усмешки на лице и след простыл, растаяла непробиваемая холодность, в глазах появилось что-то откровенно и беззащитно кроткое, и, нимало не тая беспомощности, она с волнением взяла Тирита за руку.

— Именно теперь мне и нужна помощь...

— Я хочу жениться на тебе.

Потрясенная, Парандзем отпрянула и мгновенно замкнулась в себе, скрылась, как черепаха под панцирем, исчезла.

Ни один мускул не дрогнул на ее лице.

Не глядя на Тирита, никак не выказывая отношения к его словам, она медленно двинулась в глубь сада, к изгороди, и принялась задумчиво там прохаживаться.

Поначалу неожиданное предложение Тирита не вызвало у нее отвращения, она деловито его взвесила. Что она выигрывает и что теряет? Пораскинула умом, и стало ясно — она ровным счетом ничего не выигрывает. Нет, Тирит не возмещение. Он пустое место, ничто. Попросту ничтожество. Это-то ее и оскорбило, а вовсе не соображения нравственности.

— Ты еще молода. Красива. Говорят, даже очень красива. Мне трудно судить об этом, ведь ты жена моего родственника. — Тирит шел за ней по пятам и без умолку говорил, словно опасаясь, что, замолчав, упустит ее. — Однако нашим супружеством мы — оба — почтим его память. Посторонний не вправе делить с тобой ложе. Признаться, я пока что не люблю тебя. Но в осознанном этом браке смысла больше, нежели любви. Вот увидишь, с годами мы полюбим друг друга. А если и не полюбим, то привяжемся один к другому, свыкнемся, притремся. И пусть не любовью, но уравновешенностью своей и прочностью наш союз будет лучшей мезтью врагам Гнела.

Парандзем остановилась, и складка на ее плече вновь беспокойно дернулась. Повернувшись, она посмотрела на Тирита в упор.

— Выходит, ты жертвуешь собой... ради Гнела?

— Но ведь такой же точно жертвы я требую и от тебя, — нашелся Тирит. — Выйти за меня без любви.

— Ты влюблен в меня, Тирит, — с ненавистью бросила ему в лицо Парандзем. — Ты с ума из-за меня сходишь. Твои глаза раздевают меня. Твое лицо, твои губы, твои руки источают, излучают страсть...

— Стыдно, Парандзем, — побледнел Тирит, почуяв нелепую погибель. — Возьми их обратно, бесовские эти слова.

— И лоб, и уши, и волосы...

— Очнись, Парандзем!.. Ради бога... Не забывай о нем...

— И весь ты, весь, весь...

— Бедный Гнел... Бедный мой брат...

Тирит выбежал из сада, всей душою поражаясь несправедливости мира, негодуя против нее. Ведь он же нужен Парандзем, нужен, нужен! Что с того, что она не понимает и не принимает этого, он-то ведь понимает, он-то ведь знает это наверняка.

Из-за нее он пошел на преступление, из-за нее потерял любимого брата, из-за любви к ней сделал так, чтобы она овдовела. Вот, значит, как сильно он любил, коль скоро готов был ввергнуть в пучину несчастья обожаемую женщину, го-

тов был принести столь великую жертву. Легко ли ему видеть свою богиню в этом тягчайшем положении, одетую в траур, с раной в сердце, с лицом, искаженным страданием и болью?

Откуда Парандзем знать, до чего неблагодарна она к Тириту?!

Встревоженный, Тирит остановился на полпути. Новая мысль поразила, скрутила и придавила его. Каково придется без него Парандзем? Если ей паче чаяния не удастся устроить свою жизнь... Если у нее не останется сил быть счастливой...

Бедная Парандзем!

Глава двенадцатая

Тирит несколько раз наведывался к Айр-Мардпету домой и всякий раз получал от его телохранителя неизменный ответ: главный советник по внутренним делам принять не может.

Хоть бы уж обманули, что ли, и тем самым уважили. Советника, дескать, нет дома, он занят, он болен, у него гости. Нет, не может принять.

Судя по всему, дела у Тирита плохи. Мардпет ни минуты не сомневался — Парандзем укажет ему от ворот поворот. Да и что за женщина, тем более умная, согласиться взять в мужа этого противного, этого отвратительного молодчика, к тому же не бог весть какого богатого. Титул у него, правда, звучит недурно — князь царского рода, но внутри-то пустота. Разве сравнишь его с Гнелом...

Гнел отнюдь не заслужил смерти. Ибо был в высшей степени честен. Айр-Мардпет полагал, что на этом свете дозволено решительно все, но — только ему, что же касается прочих, то здесь он был весьма щепетилен. Превыше всего он ценил в людях честность, которая, кстати сказать, никогда лично ему не мешала, никогда не воздвигала препятствий на его пути. И вообще, кому до сих пор вредила честность? Честность — она так слаба и незащитна, что, даже не числясь в рядах ее воителей, к ней нельзя не испытывать благорасположения.

Князь Гнел из игры выбыл. У приверженцев Византии не осталось ни одного Аршакуни, на которого можно было бы сделать ставку и кем можно было бы заменить царя. Значит, открывается свободная дорога для ставленника сторонников Персии.

Тирит? Не видать ему армянской короны как своих ушей. Покамест жив Айр-Мардпет, покамест он существует, человеку, позарившемуся на жену родича и пошедшему из-за того на преступление, не сесть на престол.

Да и почему, собственно, Тирит, а не он?

Если уж Тириту охота знать, пускай наматает на ус: посредством этого его преступления старый лис, именуемый Айр-Мардпетом, убрал с дороги не только ставленника тех, кто настроен в пользу греков, но и заступил путь самому Тириту.

Одной стрелой — двух птиц.

Стало быть, он предлагает себя? Айр-Мардпет, с ума сходящий от удовольствия, именуя себя старым лисом, с наслаждением оттягивал, разжевывал и пережевывал ответ. И хитро улыбнулся, играя с собой.

Живя долгие годы в одиночестве, он создал свое второе «я», которое стало для него чем-то вроде надмирного инобытия. Он беседовал с этим вторым «я», шутил, порою обманывал, издевался над ним, ставил его в глупое положение, кормил, купал, одевал и, считая младшим по возрасту, всячески опекал.

Этого еще недоставало — предлагать себя в цари. До такой степени опозлать страшное, неслыханное преступление. Превратиться в заурядного заговорщика, жалкого охотника за престолом.

Раз уж проливать кровь честного и отважного человека, раз уж это кровопролитие было и впрямь неизбежно, то для оправдания надобно постараться придать преступлению неопровержимый смысл. И он сделает это.

Решайся вопрос — Тирит или же Айр-Мардпет? — он бы без фарисейства сказал: царем, разумеется, должен стать Айр-Мардпет.

Но ведь был еще Меружан Арцруни. Мог ли он с чистой совестью не признать, что единственный подходящий царь — это Меружан? Мог ли он быть истинным, любящим родину армянином и не согласиться с тем, что все преимущества, бесспорно, на стороне Меружана? Как бы ни желал того Айр-Мардпет, ему не найти ни одного пункта, по которому он превосходит Меружана.

Меружан моложе его. Красивее. Смешно даже сравнивать. А стране, помимо всего прочего, нужен красивый царь. Смелее его. Храбрее. Что еще? И умнее его. Умен, дьявол, что тут скажешь. Посмотришь ему в глаза, и как дважды два ясно: этот человек способен на великие де-

ла, и жаль держать его простым нахараром, пусть даже сидящим за царским столом на одном из самых почетных мест.

Так что в итоге это преступление совершено ради блага страны. С тем, чтобы взамен царя, зараженного недугом Аршакавана, ею правил здоровый во всех отношениях властитель. И ответственность за гнусное и горестное убийство он берет только на себя, даже не пытаясь сделать Тирита соучастником.

А другие? Слепцы, что ли, эти другие, ежели хотели прогнать в цари недотепу Тирита, запамятавав о таком орле, как Меружан? В том-то и дело, что не слепцы, а обыкновенные завистливые червяки, которым наплевать и на свою родину, и на свой народ.

И все же чего это Тирит настырно добивается встречи с ним? Должно быть, получив отказ Парандзем, хочет обратиться к Айр-Мардпету за помощью. Пусть, мол, Мардпет убедит царя и через посредство того повлияет на Парандзем, вынудит ее дать согласие.

Он мог лишь строить догадки, не более, но все равно с презрением подумал: да кто ты такой, чтобы я не прочел твоих мыслей?..

Поздней ночью без телохранителей и с факелом в руке Айр-Мардпет вышел из дому, миновал узкие и темные закоулки Шаапивана, где шлялись одни только рядовые воины, и приблизился к двухэтажному строению, в котором в дни Навасарда остановилось несколько второразрядных князей.

Без стука, не соблюдая маломальских приличий, он поочередно отворял двери и видел то пьянствующих князьков, то занимающихся любовью с блудницами кривоногих самцов, то храпящих стариков, то беспокойно ворочающихся под одеялом прощелыг, которым сняты собственные грехи, то коленопреклоненно — из страха и пресмыкательства — молящихся безбожников, пока не обнаружил наконец за одной из дверей того, кого искал.

Подошел к лежанке, наклонился и увидел в свете факела невинное лицо спящего Тирита, услышал размеренное его дыхание.

Толкнул, и Тирит в ужасе подскочил. Подскочил и, съжившись, прижался к стене.

— Зачем тебе жениться на Парандзем? Счастье отупляет человека. — Айр-Мардпет не дал Тириту времени опомниться. — Он становится ленив и бесчувствен. Душа заплывает жиром. Счастливый человек не принесет пользы отечеству. Для этого надо быть чуточку несчастным.

— Продаешь меня царю? — Тирит впервые громко произнес то, о чем с содроганием думал все эти дни. — Принять меня и то отказался... Не соизволил...

— Ты же знаешь, юноша, я так богат, что новое богатство не доставит мне ни малейшей радости, — укоризненно сказал Айр-Мардпет и осветил факелом скуластое лицо Тирита. — Чем ты хотел меня ошарашить? Будь у тебя даже земля, ты не расширил бы пределов моих владений. Как потвоему, есть ли у меня время — в мои-то годы! — стремиться к подобным вещам?

— Чего же ради ты помогал мне? — ошеломленно спросил Тирит и сильнее вжался в стену.

— Ради идеи, милейший, ради идеи.

— А из-за чего ты губишь меня теперь? — беззвучно заплакал Тирит.

— Опять же ради идеи.

В длинной и грязной рубахе, которая была ему велика, Тирит спрыгнул с постели и на мгновение застыл перед Айр-Мардпетом — тщедушный, с бледным и некрасивым лицом, — затем опустился на колени, но, как назло, не рассчитал и очутился в двух шагах от советника. Он прополз эти два шага и обнял ноги Мардпета.

— Не губи меня... Я еще так молод... Я тоже хочу дожить до твоих лет... Спаси меня... Может, и в этом найдется своя идея... Ты найдешь ее, князь, тебе ничего не стоит найти идею...

Высоко подняв факел, Айр-Мардпет оттолкнул его ногой, однако оттолкнул без подчеркнутой грубости, полагая, что во время последней их встречи чрезвычайно важно соблюсти благопристойность обхождения. В этом он тоже усматривал способ отомстить, этим он тоже хотел унижить несчастного юнца. Пусть помнит его, выпуская дух.

Он оставил Тирита, рыдающего во тьме, распростертого на полу, и вышел на улицу. Погасил факел.

Давно уже чистый воздух, звездное небо, нежный шелест листвы — давно уже бытие не приносило ему такого глубокого и возбуждающего удовольствия.

Когда Тириту придет срок издохнуть, ему ни в коем разе не должно взбрести на ум, будто он пал жертвой случайности. Пусть знает, что он покидает мир по мановению руки Айр-Мардпета. Ему ни в коем разе не должно мниться, что Айр-Мардпет продажен. Пусть знает, что превыше всего на этой земле идея.

Я отомстил за тебя, Гнел. Я не допустил, чтобы твоя смерть так и осталась достойным сожаления последствием

очередного заговора. Я придал ей смысл. Возвысил до уровня, на котором решаются судьбы страны.

Теперь-то уж Тирит наверняка будет знать, отчего он издыхает. Этим Айр-Мардпет и удовлетворился. Этим, полагал Айр-Мардпет, и завершается печальная сия история.

Не Айр-Мардпет, но старый лис, с усмешкой уточнил он, обращаясь к своему второму «я».

★ ★ ★

— Значит, этот завистливый щенок... Этот прелюбодей, этот молокосос... Одурачить нас с тобой?! Обагрить мои руки родной кровью?! Айр-Мардпет, придумаешь тягчайшую кару, какой еще не видывал свет. Ясно тебе, придумаешь сам! Неслыханную, небывалую. Чтобы он издох не сразу, а медленно, очень медленно... Его мучения опишешь мне. И не вздумай хоронить... Отдашь труп псам на растерзание... — В глазах царя померк свет, из груди вырвался горестный вопль: — Бедный Гнел! И отец и сын стали моими жертвами... Жертвами моей близорукости. Моей доверчивости. Моей подозрительности.

— Виновато время, царь, виновато время, — осторожно вздохнул Айр-Мардпет. — Оно давно уже не сближает, не объединяет людей. Только стравливает.

Царя захлестывала ярость. Он безостановочно вышагивал от стены к стене и чувствовал себя в клетке. Его палаты были клеткой, престол — клеткой, и весь Шаапиван, и вся страна, и весь мир, которому, правда, нет ни конца ни края, да какой от этого прок, ежели прутья клетки торчат в тебе самом, ежели в тебе самом торчат четыре стены.

Побледнев, Айр-Мардпет забился в угол и впервые в жизни испытывал ужас перед царевым горем и гневом.

Как случилось, что царь поверил потоку доказательств, как случилось, что ему не удалось отыскать лазейку в лавине фактов и спасти Гнела от себя, от беспредельной своей власти, от своего могущества, которое издавна вызывало в нем не упоение и не гордость, а лишь отвращение? И если у него был один-единственный способ не потерять окончательно человеческий облик и спастись, только один оазис в пустыне, только один студеный родник для изнывающего от жажды путника, то, честное слово, этим спасением было существование Персии и Византии, тисками сжавших его тело и душу. Грешен пред тобою, господи! Грешен пред тобою, народ армянский, ибо твое несчастье — мой щит, последняя моя на-

дежда и оплот! Не будь и этого, вообрази только, какой оголтелый и кровожадный оказался бы у тебя царь, и ведь не по моей вине, поверь, не по моей. Грешен, безмерно грешен, ибо, прячась за тебя, спасаю свою шкуру.

Лавина фактов... Поток доказательств... Чего все это стоит рядом с простым человеческим словом! А я вот не верю, пускай тычут мне в лицо тысячи фактов, не верю — и кончено. И глянь, глянь, что станется после этого слова с самыми неоспоримыми, самыми очевидными доказательствами, как они заржавеют, истлеют, поблекнут, как пойдут сталкиваться друг с дружкой, порочить друг дружку, винить, отрицать и противоречить...

Одно простое человеческое слово, только и всего.

Ты знал Гнела, так ведь? Знал как свои пять пальцев, был уверен, что он чист и непорочен, от него исходил запах невинного молока, благоухание золотистого сена, дикого и благородного цветка... Нанизывай одно на другое, теперь ты можешь это делать, теперь легко изощряться в красноречии, — того гляди, подашься в гусаны и примешься воспевать погибшего с пандиром в руках.

А когда надо было произнести человеческое это слово, которое куда короче, сдержанней и проще всех речей...

И тут он сызнова ощутил безжалостно давящую, в три погибели сгибающую тяжесть власти. И собственную немощь. И бремя того единственного сана, который столь исполнински велик, что никому не впору и не по плечу, всяк в нем барахтается и утопает: кто ищет рукав, кто полу, кто еще что-нибудь... Пытаешься перекроить его по своей мерке, а он тут же находит кого-то другого и покидает тебя... Пытаешься вымолвить: я, мол, не верю, что Гнел предатель, а он тотчас карает тебя, и вот его уже примеряет другой... Стало быть, из любви к этому сану ты обязан заглушать свой голос, удерживать его в гортани и прислушиваться к доказательствам, только к доказательствам, и опять, опять — только к доказательствам.

Одно-единственное человеческое слово.

Когда он в последний раз произнес его! И произносил ли вообще? Когда его губы сложили это слово — пусть мямля, пусть запинаясь? Когда он в последний раз почувствовал голод? Когда его томила жажда, а воды не было? Когда он слышал свое имя из чьих-либо уст?

Ну и нелепость... И благодаря этой забывчивости, благодаря самоотречению, благодаря измене себе самому, он —

есть, еще влачит покуда свое существование, и, следственно, есть страна, страна еще влачит покуда свое существование.

И надо же, царю все равно завидуют; желая что-нибудь похвалить, непременно добавят словечко «царственный», в бессмысленной и пустопорожней этой жизни страдальцев обманывают запредельным счастьем и опять же именуют его «царствием». Проливают кровь, лишь бы завладеть троном, выставляют друг против друга войска, переворачивают с ног на голову всю страну, прикрываются благочестивыми намерениями и целями, лишь бы утаить свою скотскую страсть к короне, обвиняют венценосца не по мелочам, а в главном, наисущественном, порицают и осуждают его от лица отечества...

И слава богу, что завидуют. Не будь и этого, не различай ты в чужих глазах и мыслях того, чем на деле не обладаешь, можно было бы, отчаявшись, сойти с ума, можно было бы задохнуться.

Гнел — его плоть, его кровь, ветвь его рода.

«Господи, до чего же похожи...» То был голос Парандзем, явственно прозвучавший сейчас у него в ушах.

А он и Тирит? Не то же самое, что он и Гнел? Ведь и Тирит отпрыск того же семени, ведь и он ветвь того же рода.

Смотри, смотри и скорби о том, какие пошли времена, смотри и катайся по земле, рви на себе волосы, ступай в пустыню, в отшельники, забудь себя, отрекись от себя, потому что сын поднимает меч на отца, брат норовит выпотрошить внутренности брата, друг мечтает выколоть глаза другу, родич жаждет упиться кровью родича.

Нет, незачем ему описывать казнь, этого еще недоставало, чтобы ему описывали, он самолично должен увидеть смерть Тирита. Его глаза навсегда должны запечатлеть Тиритовы муки. Его уши навечно должны переполниться воплями Тирита. В Арташате, в торжественном сопровождении труб. Он превратит в празднество священную казнь недостойного своего племянника. На улицах и площадях столицы рекою будет литься вино. И будет объявлено всенародное соревнование, чтобы изыскать наиболее хитроумный, наиболее жестокий и длительный способ казни. Будут назначены крупные, дорогие вознаграждения. И по десять ударов плетью всем мягкосердечным, не вынесшим страданий осужденного.

А не бросить ли все это и удалиться, не наплевать ли на все и убежать куда глаза глядят, жить под чужим именем

в лесу, часами напролет неподвижно сидеть на берегу реки, удить рыбу и так же радоваться каждой пойманной рыбешке, как сменивший его царь будет радоваться победе на поле брани. А изредка, радуясь либо печалься, краешком уха прислушиваться к доходящим издалека вестям о событиях в Армении. В основном, радуется, печалься. Или же нет — вещать из надежной своей дали, указывать, какие ошибки были там допущены и как их можно было избежать. Ну и конечно же преисполняться гордостью от сознания, что, будь царем он, события бы текли по иному руслу. И мысленно сетовать: вот, дескать, не смогли, не смогли удержать вашего царя. И утешаться этими сетованиями.

Но он способен так жить, только утратив свою мужскую силу. Бог весть отчего мысль о мужской силе и мысль об отступлении в какой-то миг тесно переплелись между собой.

Он не знал и боялся даже вообразить, что бы случилось, брось он Аршакаван на произвол судьбы, измени преданным ему аршакаванцам, отрекись от царского слова, не дай стране окончательно вылепить в своей утробе город и явить его в один прекрасный день на свет божий; он не знал, не умел вообразить, что же тогда станется, но с уверенностью мог сказать: если только он совершит подобный грех, то, едва улегшись с первой же попавшейся женщиной, почувствует свою мужскую несостоятельность и немощь.

Он поставит Гнелу исполинский памятник в Арташате, назовет его именем новый город, ежегодно в день его смерти будет объявлять по всей стране траур...

Нет, этого он не сделает. Памятник, город и всенародный траур станут вечным ему упреком, поминутно будут колоть ему глаза и кстати и некстати причинять боль.

А сколько бы я ни любил тебя, племянник, сколько бы ни оплакивал твою смерть, сколько ни был бы перед тобою виновен — прости, прости за мерзкие эти слова, — я не могу тратить на тебя так много времени. Ты должен позволить мне забыть тебя. И чем раньше, тем лучше. Византия, Персия и дражайшие мои нахарары требуют к себе каждодневного внимания, то и дело твердят: займись нами, посвяти нам все свое время, а не то мы разобидимся на тебя, и ты горько об этом пожалеешь. Пожалеешь, да будет поздно. Вдобавок, чем выше поставлю я обелиск, увековечивающий твою память, тем больше возрастет моя вина, и сразу же бросится в глаза, что я оправдываюсь. Возникнут подозрения, пойдут пересуды.

Нет, народ не полюбил меня. Не полюбил, не полюбил. Да и кто вообще любит царей? Хороши они или плохи — все едино, не устаиваются любви. Все свои злоключения люди приписывают царям. В палец угодила заноза — сваливают вину на царя. Не удалась жизнь — виноватят царя. Случись какая напасть — поносят царя. А улыбнись вдруг судьба, царя забывают и благодарят бога.

Бедный Гнел! Как неловок твой дядюшка в выражении скорби. Как хладнокровно взирает на свои горести. Плача, вслушивается в свой голос. Вздыхая, сознает, что это вырывается из горла скопившаяся внутри и смешавшаяся с воздухом боль. Даже пребывая в безутешном трауре, он способен измерять глубину и величину горя. Умеет искренне страдать и в то же время подробно рассказывать об этом своем страдании, разбирать его по косточкам, истолковывать.

Не грусти, Гнел, утешься, племянник, ибо царь и в радости тот же. Смеясь, вслушивается в свой голос. Отплясывая, чувствует свои движения. В минуты счастья способен рассказать о своем счастье, словно глядя на себя со стороны. Зачастую по-настоящему, как подобает мужчине, пьянеет, но сознает при этом каждый свой шаг, каждое свое слово.

— Ты тоже виноват, Айр-Мардпет, — прорычал царь, потому что, неосторожно сделав легкое и неприметное движение, старик напомнил ему о своем существовании. — Отчего ты умываешь руки? Разве не вместе совершили мы это преступление?

— Вместе, — незамедлительно откликнулся Айр-Мардпет.

— Отчего же ты оставляешь меня в одиночестве? Скажи, что и ты виноват.

— Уже сказал, царь, — в недоумении вымолвил старик.

— Стало быть, и ты меня покидаешь? — почти не глядя на него и словно обращаясь в пространство, уязвленно произнес царь. — Ужели так трудно разделить мою вину?

— Твоя вина ненаказуема, царь. — Старик почувствовал, что единственная его защита теперь — дерзость. — А моя вина чревата опасностью. На мою долю выпадет лишь кара. — Он помолчал немного и, смиренно опустив очи долу, улыбнулся. — И покараешь меня ты сам.

— Бедный Гнел!

Таков почему-то был ответ царя.

— Бедный Гнел!

Глава тринадцатая

Тотчас по прошествии сорока дней со времени смерти Гнела царь решил устроить прощальный ужин в честь Парандзем. То был, однако, не только и не просто дипломатический жест. В его ушах по-прежнему звучал ее не сломленный или искаженный страданием, а ставший еще нежнее и женственней, преисполнившийся еще большего очарования голос. Хотя должно было случиться обратное. Голос должен был сорваться, охрипнуть, надломиться. И подтверждают это тысячи женщин — жен и возлюбленных. Тут крылась какая-то загадка, притягательная и пугающая. Очевидно, нежность и очарование были для этой редкостной армянки средством самозащиты, шипами и когтями.

На похоронах он видел Парандзем издали. Распушенные волосы прикрывали лицо, обнаженная грудь не выдавала, а еще глубже упрятывала тайны. Ее скорбь походила не столько на плач и причитания, сколько на сведение счетов с богом, спор равной с равным.

Царю не давало покоя то жгучее любопытство, которым он мучился, когда, укутавшись собольим покрывалом и зажмурив глаза, слушал необычайный голос женщины, слушал рождающиеся из глубин ее существа твердые, жесткие слова, слушал и ел себя поедом, потому что не может ее увидеть. Это неудовлетворенное любопытство душило царя, превращалось в навязчивую идею, вызывало чувство неполноценности. Он непременно должен увидеть Парандзем — для него это вопрос чести и достоинства. Мужского достоинства.

Он хотел во что бы то ни стало понравиться Парандзем, произвести на нее впечатление мудрого государственного мужа, доброго, человеческого, обаятельного и смелого царя; это было желание, никогда отроду не посещавшее его.

Первым долгом он хотел понравиться себе, внушить себе, что он не лишен всех этих добродетелей. Ибо никак не мог избавиться от того, под собольим покрывалом перенесенного добровольного унижения, которое хоть и поослабло после обильной рвоты, но не исчезло вовсе.

В назначенный час Парандзем не явилась. Минуту, полчаса, час, два часа. Она не пришла.

Он чуть было не разгневался, чуть было не рассвирепел: какая-то там княгиня пренебрегает его приглашением и вместо того, чтобы посчитать это приглашение за великую честь, до конца своих дней с гордостью хранить о нем память и ле-

леять как драгоценнейшее свое сокровище, — вместо этого она смеет не подчиниться его приказу. Неважно, что это приглашение. Неужто ей не известно: приглашение царя суть приказ. И когда царь любит кого-то, это тоже приказ. И когда бранит — опять-таки приказ.

Но поди ж ты, дерзость Парандзем не вывела его из себя, а пришлась по вкусу. Уж если она и в страдании не желает оставаться обыкновенной женщиной, простой хранительницей домашнего очага, если превращает свое обаяние в средство самозащиты, чтобы стать невидимой, недосыгаемой для врагов и, меняя, как зверь, окраску, приспособиться к среде, и уж если он принимает и ценит такого рода странности, то подавно должен принять и оценить и этот ее шаг.

И ему пуще прежнего захотелось встретиться с Парандзем.

Слуги сообщили, что она уже готова отбыть в Сюник, а сейчас пошла на кладбище — попрощаться с мужем.

Немедленно, без долгих раздумий и колебаний царь покинул свои покои, миновал устланный коврами коридор, спустился по мраморной лестнице и, заслышав шаги, на миг притаился за колонной. Неторопливо переговариваясь, мимо него прошли и исчезли вдали двое слуг. Царь оставил свое убежище и не через главный вход, а через заднюю дверь, чтобы его не заметили и не увязались следом телохранители, выбрался во двор. Он мог бы, конечно, прогнать телохранителей, но все равно чувствовал бы за спиной их невидимое присутствие. А именно сегодня, когда ему предстоит увидеть Парандзем, которую не он, как ему поначалу мнилось, пригласил, а которая сама притягивала его, увлекая своей дерзостью, — именно сегодня это было ни к чему.

На кладбище он очутился в мрачном и торжественном мире безжизненных камней. Камни разом набросились на него и обступили. Тени словно ошетинились, нахохлились. Он поневоле остановился и огляделся по сторонам. Увидел только-только вырытую яму, куда сорвался и беззвучно упал комок земли. Повсюду стояла гнетущая тишина, казавшаяся из-за стрекота сверчков еще более густой и вязкой.

И, впервые очутившись вне дворца в одиночестве, он ощутил страх и почувствовал себя по-детски беспомощным и беззащитным. Особенно он боялся змей. Вдобавок он убежал от своей свиты — чем не место и время для царубийства? На одном из надгробных камней застыла, повернув головку, зеленая ящерица. Имена, высеченные на камне имена, бесконечные, нескончаемые имена, каждое из которых — незавершенная повесть. А он полагает, что его повесть будет

завершена. Аршакаван будет построен. Страна по-настоящему станет на ноги. Армения будет богатой и могущественной. Обретет свои письма и книги. Возрастет ее значение в международных делах. Вероятно, тот, кому уготована эта яма, также был уверен, что его речь не прервется на полуслове.

Он шел и шел, осторожно переставляя ноги, словно убеждаясь, что нигде нет и не может быть ловушки. Потом принюхался, как охотничья собака, и почуял запах жизни. Полновесной, полнокровной жизни. И коль скоро объявился кто-то второй — а чтобы чувствовать себя царем, необходимо присутствие второго, — он снова стал самоуверен, его поступь окрепла, звук шагов приобрел четкость, и он ощутил за спиной телохранителей.

Парандзем на коленях стояла перед могилой и рыла руками землю. Вырыла ямку, сняла заколотый в волосы гребень слоновой кости, положила его в ямку и принялась засыпать землей. Ей хотелось оставить какую-нибудь память по себе, наладить связь между собою и этим чужим, незнакомым местом, взять на себя обязательства по отношению к этой горсти праха. Быть может, она когда-нибудь вернется сюда, снова разроет землю, найдет гребень, и тогда ей одной станет ясно, какое это утешение, какое успокоение и сколь осязаема и предметна связь душ. Она непременно возьмет гребень, будет по-прежнему им пользоваться, а взамен оставит в ямке какую-нибудь другую свою вещицу. И так все время, до глубокой старости, до...

Она заметила царя. Что-то уловила плечом. Что-то почувствовала затылком. Спиной ощутила тяжесть.

Повернула голову, увидела его и ничуть не удивилась. И не смутилась, что кто-то застал ее врасплох и проник в ее тайну. Умяла руками и разровняла землю, пригладила напоследок ладонью и только затем спокойно поднялась на ноги и стала перед ним.

Молча, в упор смотрели они друг на друга. На лицах у обоих обозначилась едва приметная усмешка.

Внезапная красота Парандзем болью отозвалась в душе царя, опалила щеки. И единственным пристойным выходом из положения была беспомощная эта усмешка, это невольное признание в слабости.

— Я слышал о твоей красоте, но то, что вижу, превосходит воображение. И пусть мои слова не покажутся тебе в минуту тяжелейшего этого горя пустой любезностью. Я говорю искренней, чем когда-либо.

— Благодарствуй, царь, — склонила Парандзем голову.

— Я приказал блюсти по всей стране пост в знак траура по твоему мужу.

— Прими мою признательность, царь. — Помолчала мгновение и вновь взглянула ему в глаза. — Ну а ты? Ты тоже блюдешь пост?

— Мой приказ кажется тебе бессмысленным и запоздалым?

— Кто убил Гнела, царь?

— Убийца жестоко поплатится. Не думай об этом. Я не хочу растревоживать правдой твое хрупкое сердце.

— Не бойся. Скажи мне, я выдержу. Мне ли не знать мое сердце?

— Будь я уверен, что это облегчит твое горе...

— Так ли уж важна, царь, твоя уверенность, когда уверена я сама.

— Мне нравится твоя дерзость. Если ты не собираешься вскружить царю голову, советую быть кроткой и смиренной.

— Возможно, царь уже влюблен?

— А если он предложит тебе стать его женой? В час горя это, наверное, покажется откровенной наглостью?

Предложение было столь неподготовленным, столь неожиданным — первым долгом для него самого, — что он не успел себя остеречь, не нашел времени пораскинуть умом. Получалось, что из-за нескольких неосторожных, непродуманных слов дальнейшая судьба царя зависела уже от ответа Парандзем, от ее «да» или «нет».

— То, что непозволительно простым смертным, позволено царю.

В ответе Парандзем царь уловил и женскую игру, и горечь. Она умела странным образом совмещать противоположные вещи. Примирять взаимоотрицающие чувства, обуздывать их и заставлять выступать заодно. А это больше обычного согласия либо отказа.

— Стало быть, ты разрешишь мне нарушить каноны траура и просить твоей руки?

— Хочу я того или нет, твоя воля — закон для меня. — Парандзем почтительно поклонилась. — И этим мы с тобой обязаны моему супругу.

— В таком случае он не помешает нашему браку. Выходит, он и по смерти остался верным моим подданным.

Царь мог взять свое предложение обратно, обернуть шуткой, не оставаться в плену у неосторожно брошенных, необдуманных слов. И если он этого не сделал, то так ли уж неосторожны были его слова, так ли уж необдуманны и невзвешенны — хотя бы и в краткий миг их произнесения? Ведь

внутреннее время человека — мгновения его наитий, страхов, подозрений, сомнений, мгновения едва ли не на каждом шагу совершаемого выбора — и вовне текущее действительное время измеряются разными мерами и отнюдь не соответствуют друг другу. Одно принадлежит тебе, второе — всем. Твое время удлиняется, устремляется к вечности, а второе, всеобщее, — призрачно и обманчиво.

— Однако при одном условии, царь, — сухо и деловито, без тени стыдливости сказала Парандзем. — Если я буду первой среди твоих жен.

— То есть царицей.

— Если меня будут величать женою из жен.

— Согласен. Царица и жена из жен.

Быть может, как раз тогда, под собольим покрывалом, возникло у царя решение, под покрывалом, когда глаза были зажмурены, а слух отворен? И голос женщины струился и струился, заполняя все до единой поры его тела и не находя себе исхода. И он жил с этим голосом сорок дней, влюбленный в его переливы, в каждый его звук, так и не зная, кому он, этот голос, принадлежит. И все было предрешено. Если бы царь не только услышал, но и увидел Парандзем в первый день, то, пусть даже ее красота ослепила его, изумила и восхитила, едва ли сегодняшнее его предложение оказалось бы неизбежным.

— Приглашаю тебя отужинать со мной, — сказал царь, делая вид, будто такого приглашения не существовало и Парандзем им не пренебрегала.

— Благодарствуй, царь. Я польщена.

— Ты забыла гребень, — словно между прочим обронил царь.

— Но это не единственный мой гребень, — обольстительно улыбнулась Парандзем. — У меня есть и другой.

Они миновали множество надгробий, десятки имен и незавершенных повестей, а когда вышли за кладбищенскую ограду, царь с удивлением увидел, что телохранители ждут его.

Его ждала также двухместная колесница.

Они сели в колесницу и молча двинулись в путь.

Парандзем поняла, что цель достигнута. Ей и в голову не приходило, что можно выйти замуж за царя и стать царицей. Но это-то и было настоящим возмещением. Великой ее любви, иссякшего ее счастья. Ведь говорила же она, что взамен этого ей нужно нечто грубое и сугубо вещественное, осязаемое. Нет, ты погляди только на мудрую игру судьбы. Погляди, из чьих рук получаешь возмещение. Платит тот, кто от-

нял. Воздаст тот, кто насильно вырвал. Парандзем разбирал смех; в горле запершило, и она еле сдержалась. Искося, с признательностью взглянула на своего врага, украдкой рассмотрела его серьезное, угрюмое лицо и прониклась к нему глубокой приязнью. Вновь примирила, вновь совместила противоречивые чувства. Без особых на то усилий, не отягчая подозрениями, не вступая с собой в борьбу. Тихо и спокойно.

В зале стоял длинный стол с двумя приборами. По одну сторону сел царь, по другую — Парандзем.

— Но мне известно, что Гнела убил ты.

Царь вскочил как ужалеженный, побледнел и с ненавистью посмотрел на сидящую напротив женщину, которая с сосредоточенным лицом выбирала закуску и перекладывала ее в тарелку.

— Значит... значит, ты смеешься надо мной?

— Я не дерзну смеяться над моим царем, — невозмутимо ответствовала Парандзем.

— В таком случае... отчего же ты согласилась выйти за меня?

— Я пообещала Гнелу. И не изменю своему обещанию.

— Пообещала? Но что? — изумился царь. — Что ты могла ему обещать?

— Стать женой того, кто его убьет.

— Но... что за чудовищное обещание! Оно ужасает даже меня.

— Это касается только меня, царь. Ты просил моего согласия — я согласна.

— Но ты меня ненавидишь, — придушенным голосом выкрикнул царь через стол. — И будешь ненавидеть всю жизнь.

— Еще одно условие: не пытайся разгадать моих мыслей. Пусть они принадлежат только мне. А все остальное — твое. — Она встала, не спеша подошла к царю и спокойно остановилась подле него. — Ужели царю нужна любовь? Ужели кто-то может занимать его думы полностью? А твоя сила, твое могущество, твои заботы и обремененность делами? Они не позволят тебе заметить кого бы то ни было. Я рожу тебе детей.

— Мне нужен твердый ответ, — царь приблизил лицо к лицу женщины, словно надеясь разглядеть и распознать ее намерения. — Ты не должна оставаться для меня за семью печатями.

— Я не хочу быть одна, царь, — бесстрастно ответила Парандзем. — Мне нужна опора. Опора грубая и сильная. И немедленно. Сию минуту.

— Ты не любила Гнела, — шепнул ей на ухо царь. — Это меня утешает. Как мужчину, а не как царя.

— Ложь! — вспыхнула вдруг Парандзем и отпрянула от него. Глаза ее наполнились слезами и ненавистью. Ненавистью к Гнелу и к царю. — Я любила его. Я отдала ему всю свою любовь. Но он предпочел моей любви тебя. Он нашел в тебе нечто большее, нежели во мне. И должен быть за это наказан.

— Так я попросту становлюсь орудием мести?

Парандзем посмотрела на царя открытым и ясным взглядом — дескать, той, давешней женщины уже нет и никогда не было, — ласково расстегнула и бросила на пол его пояс, сняла и точно так же бросила на пол меч...

— Но ведь его нет, царь, — мягко улыбнулась Парандзем. — Не бойся его.

— Готовься, — сказал царь, устав от неожиданностей и тяготясь ими. — Я женюсь на тебе.

Затем нагнулся, поднял меч и пояс, сунул под мышку и стремительно вышел из залы.



Царские удалыцы преследовали бежавшего Тирита и, как повествует историк, настигли его в области Басен, в лесу, и там же убили. Когда отравленная стрела вонзилась ему в спину и сбросила с коня, Тирит успел-таки прошептать прощальные слова. И это были слова сожаления. Не о смерти, не о предательстве, не о братоубийстве сожалел он — отнюдь нет. Он сожалел, что Парандзем пропадет без него. И как только она не поняла этого!

Из горла вырвался хрип, болезненный, непокорный.

Самый последний звук в его жизни. Ему хотелось сказать: бедная Парандзем. Но смерть не позволила.

Глава четырнадцатая

Со смешанным чувством отчаянья и омерзения Нерсес незамедлительно удалился после похорон из главного стана царских войск и попытался найти прибежище для души. Школы не дали ему утешения. Богадельни не утешили его горя. Больницы не уняли тревоги. Странноприимные дома не успокоили раненого сердца. Напротив, обрекли на смятение. К чему этот самообман, эти потуги человеколюбия, если злом поражены корни? А ты силишься исцелить ствол, ветви, крону.

И он задохнулся бы от отчаянья, благотворительность обернулась бы смертельной самоиздевкой, не вспомни он двоюродного брата, своего любимого, своего ненаглядного, своего единственного Врика, которого с большим основанием мог считать своим порождением, нежели Саака. Он породил только лишь Сааково тело. Породил в одночасье, совершив грех с покойницей женой и все еще лелея срамное наслаждение от этого греха. А Врику он сотворил душу, душу. И не в одночасье. И ценою не наслаждения, но мук и страданий.

Это свое творение он не променяет ни на школы, ни на богадельни, ни на приюты, ибо их плоды отвлечены и он не видит, он не знает и не ведает, кому делает добро, кого обязывает, кого принуждает быть счастливым.

И когда он убедился, что его распоряжение исполнено, что Врик женился, сидит вместе с женой возле дома и, прислонив к стене голову, греется с закрытыми глазами на солнышке, его душа возликовала, он преисполнился великой доброты и снисхождения ко всем нечестивцам, всем заблудшим овцам, испросил для них у бога отпущения грехов, и на глаза ему навернулись слезы.

Жена была дурнушкой. И, господь свидетель, ее немилосердность была праведна и справедлива. Ибо красота — чересчур легкий путь к счастью, беспрепятственный, безвозбренный.

А Врику нельзя было давать все готовеньким, разжевав и положив в рот. Было бы сугубой ошибкой лишать его самостоятельности. Он должен сам созидать свою любовь, созидать в кровавом поту, в муках и сомнениях, шаг за шагом осиливая сопротивление. И теперь, как ваятель, покривший камень и придавший ему очертания и смысл, как на славу потрудившийся землелашец, он выставляет свое счастье на всеобщее обозрение.

Нерсес приблизился к человеку с прикрытыми глазами и шепнул ему на ухо:

— Ты счастлив, Врик?

Врик не открыл глаз и не удивился внезапному появлению Нерсеса, словно ожидал его. Пожалуй, он испытал даже некоторое недоумение: отчего, дескать, этот вопрос не задан ему давным-давно? Как-то заученно кивнул и обрадовался, душевно обрадовался, что у него опять есть повод для ответа.

Нерсес облегченно вздохнул, и с его сердца свалился камень тревоги и забот. Видимо, не только Врик, но и он, Нерсес, обязан быть счастливым.

Он молча сел с ними рядом на узкую деревянную скамью и прислонился, греясь на солнышке, спиной к стене.

* * *

— Прости, царь! — Драстамат вбежал за полночь, едва переводя дух, и бросился на колени; в глазах — животный ужас, будто к его горлу приставили меч и вот-вот заколют. — Знаю, что отныне ты можешь меня возненавидеть... Бог свидетель, я невиновен... Я невиновен, царь. Но мой долг сообщить тебе то, о чем я слышал.

— Говори, в чем дело, — холодно произнес царь; завидев в чужих глазах страх, он безотчетно проникался злостью и жестокостью. — А моей любви страшись так же, как и ненависти.

Он уже возвратился в Арташат и, сидя у себя в спальне на низеньком стуле, мыл ноги в лохани.

— Гнел жив, царь...

Невесть отчего он тотчас вытащил из воды ноги, поставил на сухой ковер и, собрав в кулак полы одежды, на мгновение замер.

Первое, что он почувствовал, — это несчастье, еще не вполне осознанное вселенское бедствие, в сравнении с которым сообщенная сенекапетом ужасная новость была ничтожной капелькой в беспредельном море.

Кто скажет, зачем он родился и зачем живет? И что им сделано? для кого? для чего? И был ли у него когда-нибудь отрадный денек? Кто его любит? Кто в нем нуждается? Кто вообще относится к нему по-человечески?

— Как то есть жив? Жив?! Да ты в своем уме, сенекапет?.. Немедленно опровергни эту гнусную ложь. Не сходя с места. Жив?!

— Я невиновен, царь...

Царь отпихнул ногой лохань и встал. Вспомнил, с превеликим трудом, насилу вспомнил, что все Аршакуни, все неведомые его пращурьы встречали опасность стоя.

— Кто принес весть?

— Пестун Гнела. Он требует у тебя награды.

— Дай! — почему-то выкрикнул царь в лицо Драстамату. — И не скупись, пусть его не мучает совесть из-за предательства.

Царь торопливо начал вытирать ноги: мокрые ноги тоже придавали его положению какую-то ненадежность. Обул мягкие красные башмаки. Подвесил к поясу меч, накинул на плечи пурпурную мантию, поднял стоявший на полу све-

тильник и, одетый как должно, вышел из опочивальни.

Драстамат встал с колен и, не смея дохнуть, последовал за господином. Освещая себе факелом путь, будто привидение шагал царь по темным и пустынным коридорам дворца. Шагал и, как всегда, когда ему приходилось трудно, что-то по-стариковски бурчал под нос. Сокрушался, что стал быстро уставать. Потерял аппетит. Мается бессонницей. И опять ноют суставы, не иначе — к дождю.

Внезапно он повернулся, поднял факел над головой и шепотом спросил Драстамата:

— А... этот обезглавленный... в гробу... Кто он такой?

— Не знаю, царь. Вероятно, кто-нибудь из слуг Гнела.

— Обнажи труп. — Рука царя дрогнула, в голосе появилась хрипотца, он словно только-только осознал смысл страшной новости. — Позови Парандзем. Пусть осмотрит, пусть ощупает нагое тело. Если что его и выдаст, так это нагота.

— Нужно ли, царь, чтобы об этом знал еще кто-то?

— Верно, Драстамат... Нет нужды звать Парандзем. — И умоляюще добавил: — Удерживай меня, не давай мне наделать глупостей...

Царь двинулся дальше; наконец свет факела выхватил из тьмы двух воинов с копьями, стоящих у входа в тронный зал. Царь вошел, поднялся по ступеням, сел на трон, установил факел сбоку и протянул руки к пламени.

Попадая в затруднительное положение, царь неизменно приходил сюда, садился на трон и только тогда принимал решение. И приближенные заметили, что эти решения бывали по большей части безошибочны. Не то что тронный зал внушал ему веру в собственные силы, не то что придавал ему смелости и твердости — просто он привык работать именно здесь. А неожиданное и негаданное возвращение Гнела из небытия требовало работы, работы тяжелой, изнурительной.

— Я бы посоветовал устранить горевестника, — осторожно прервал Драстамат раздумья господина. — Пусть об этом знают лишь двое — ты и я.

— Нет, нет, довольно крови! — ответил царь, и краска кинулась ему в лицо.

— Я никогда и ни о чем не просил тебя, царь. Это первая моя просьба. Позволь устранить горевестника.

— Нет! — крикнул царь. — Никаких убийств!

Вранье все это, убийство ничем не оправдать. Нет идеи, во имя которой позволительно жертвовать человеческой жизнью. Нет такой великой цели, ради которой стоит отнимать у человека право жить. И чем выше идея и цель, тем

невозможное убийство. А если оно все же необходимо и неминуемо, стало быть, идеи и цели сгнили изнутри, стало быть, тут изначально кроется червоточинка, и, пока еще не поздно, выбрось из головы мечту о едином, сплоченном отечестве.

— Гнел все равно не вправе оставаться в живых. Не вправе, Драстамат, не вправе. Неужто он этого не понимает? Мне доложили, что он обезглавлен. Мы погребли его. Мы оплакали его смерть. На что же он надеется? И что ж выходит? Наша вина отягчается. Он принуждает нас пойти на новое преступление. Нет, нет, довольно крови...

Он встал, схватил факел, подул на него, загасил огонь и стремительно вышел из тронного зала.

Драстамат также вышел в коридор, но царя не обнаружил. Тот исчез во тьме. Сенекапет долго его искал, заглядывал во все подряд двери — а их было множество, — повсюду вполголоса окликал царя, однако тот как сквозь землю провалился.

Драстамат растерялся: он непременно должен был увидеть царя этой ночью и еще до зари, до первых петухов уладить недоразумение, сделать так, чтобы господин ни на йоту не изменил своего к нему отношения. А что царь переменялся к Драстамату, что он смертельно на него раздосадован — сомневаться в этом не приходилось. Потому что горевестник для царя — совиновник горя. Хочешь, сообщи ему наиважнейшую, прямо-таки потрясающую вещь: не пей, мол, этого вина, оно, мол, отравлено, спаси ему, иными словами, жизнь, — он все равно, сам того не желая, озлобится на тебя.

Если до зари не удастся предупредить беду — пиши пропало. На заре будет поздно. Кому-кому, а уж Драстамату это доподлинно известно. Плевать ему на Гнела. А коли начистоту, так и на царя плевать. Да, да, на царя. Потому что царь для него не существует сам по себе. Нет царя без сенекапета. Равно как и сенекапет без царя — ничто. Если царь не будет в трудные минуты спрашивать его мнения и нуждаться в его советах, если Драстамат, в свою очередь, не будет чистосердечно и с достоинством говорить царю правду в глаза, если он лишится тем самым своего дела и призвания, которое для него, не имеющего на свете ни единой родной души, заменяет и отца с матерью, и жену, и детей, — если это случится, то к чему тогда жить?

Он сообразил, что искал царя повсюду — кроме опочивальни. Но, согласно принятому во дворце правилу, никто не смел переступать порога царской опочивальни незванным. Драстамату волей-неволей приходилось нарушать канон.

Он долго стоял перед опочивальней, не решаясь войти. Нельзя сказать, что боялся царева неудовольствия или же гнева, — нет, просто, до мозга костей пропитанный уважением к порядку, не мог пренебречь вековым обычаем, тем паче пренебречь ради себя самого, а не ради царя.

Но и ради царя. Вот именно, ради царя!

Дрожащими руками, словно творя святотатство, он тихонько приоткрыл двустворчатую дверь, осторожно отвел в сторону занавесь, увидел государя и успокоился. Тот — прямо в одежде — лежал лицом к стене на широкой деревянной кровати, обиженный и возмущенный целым миром.

— Если не хочешь возненавидеть меня, если ты и вправду, царь, этого не хочешь, — Драстамат говорил чуть ли не шепотом, с трудом выговаривая слова, не спуская глаз с неподвижной, безжизненной спины царя, — прикажи убить этого человека. Только тогда ты смягчишься ко мне. Между нами должен стоять кто-то третий. Я хорошо тебя знаю.

— В самом деле знаешь? — не оборачиваясь спросил царь. — Верю. Убей горевестника. Но сперва вознагради. Пускай не думает, будто царь неблагодарен. — Внезапно он приглушенно засмеялся и так же внезапно оборвал смех. — Наконец-то и ты уподобился мне... Мой честный, мой добрый Драстамат, мухи сроду не обидевший.

Драстамат понял, что спасен. Ценою чужой жизни, но все-таки спасен. Бог свидетель, это убийство праведно. Раз уж пестун предал из-за вознаграждения питомца, завтра он того гляди продаст и родину. Стало быть, виноват в его смерти он сам, а вовсе не Драстамат.

Позабыв о недавних мучительных размышлениях, он разом ощутил себя прежним Драстаматом. Словно снял одно платье и надел другое. Он вновь был полноценным, нужным и незаменимым. И вновь приступил к повседневным обязанностям, испытывая величайшее наслаждение от сознания важности своего дела.

— А Гнел? — озабоченно спросил он. — Как быть с ним? Ведь теперь-то тебе известно, что он оклеветан.

— Отныне его оружие — невиновность. Им он и будет драться со мной. — Оскорбленный в лучших своих чувствах, царь вскочил с места и в бешенстве крикнул сенакапету: — Его невиновность так же мне отвратительна, как и предательство!

— И тем не менее, царь, он невиновен, — с жестокой прямотой, нимало не считаясь с душевной сумятицей господина, упорствовал Драстамат. — И возразить против этого тебе нечем.

— Если Гнел будет жить, он станет героем, а я — убийцей. Кто нужнее отечеству? Я или он? Чье имя дороже? Мое или его? Невинность мертвого Гнела не потрясет никого. Но если он жив, жив и неповинен, мне не избежать вечного проклятья. Он станет знаменем моих врагов, их боевым кличем, их всеразрушающим тараном. Их звонкоголосой трубой. Их барабаном.

— Гнела невозможно убить, царь, — холодно прервал его Драстамат. — Ты перед ним бессилен.

— Я?! Бессилен? Да как у тебя язык повернулся бросить мне в лицо такое?!

— Дело в том, что Гнел нашел прибежище в твоём же городе. В Аршакаване. Стоит его убить, и твоему городу придет конец. Тебе никто не станет верить.

Царь сник. Его словно под корень подкосило. Сжался, съежился. Ушел в дальний угол спальни и вновь по-стариковски забурчал что-то под нос. Сетовал на здоровье. Жаловался на возраст. Ему уже не по силам поднимать утром гири. Не выдерживает сердце. Недостает дыхания. Как быстро прошла молодость... Да и вообще все. Так и не привелось пожить в свое удовольствие.

— Быка заколол? — угрюмо спросил царь. — Что мне сулит расположение его внутренностей?

— Гибель, царь, — бесстрастно и не колеблясь ответил Драстамат. — Падение рода Аршакуни.

Царь смиренно кивнул.

— А куры? Что предвещает их беготня?

— Счастье и могущество, царь.

— Стало быть, языческие боги тоже лгут.

Похоже, пришла пора отправиться в армавирскую рошу или же в багаванский лес. Пойти послушать шелест их листвы, уж он-то безошибочно определит и предскажет судьбу. Пойти и день-деньской упрямо сидеть под деревьями, покуда не выучишься их языку.

— Чего ему от меня надо, моему племяннику? Вели подать коня. Я хочу увидеть Гнела. Узнать, во что обойдется мне его жизнь. Но прежде... мы пойдем в церковь, Драстамат. Замолим грехи. — И, заметив недоумение на лице придворного, не без злорадства подумал: опять он смутил, опять привел в замешательство своего великана, своего верного и любимого приближенного. — Ну что, снова скажешь, будто я противоречу себе. Мечусь и терзаю себя.

— Отчего же ты мечешься, царь, отчего терзаешь себя? — мягко и с сочувствием укорил его Драстамат.

— Ефрем ждет меня? Пусть не уходит. Я непременно сы-

граю с ним в шахматы. Хоть свет перевернись, сыграю.

Ефрем, друг детства, единственная надежда, и опора, и успокоение, его храм, его алтарь...

Пусть ждет где-то. Пусть ждет долго. Пусть остается прозрачным. Пусть является воображению мальчонка, с которым они играли в кости, с которым они играли в мяч; победителя они величали царем, а побежденному придумывали прозвище поунизительней.

Настоящим победителем был ты, Ефрем. И сейчас ты тоже победитель. Не верь слухам, будто я твой царь. Это сплетни, напраслина, злоречие.

Потому что иначе придет конец сказке, осквернится красота, рухнет моя вера. Раскроется единственная тайна моей жизни, единственное мое укрытие.

Нет, дела обстоят скверно, дела, стало быть, плохи, коли вновь одолевает желание повидать друга детства, коли сердце размягчилось, размякло как тесто, свербит и ноет, коли на глаза наворачиваются не мужские, а бабьи слезы.

— Этот сопляк нащупал мое больное место, — прорычал царь. — Бежал в мой город! Сделал мою силу моей же слабостью! Обратил против меня мое же оружие! Нет, я поеду к нему не сейчас... — Решение родилось мгновенно; он неумолимо напряг ум — не пропадать же даром опыту минувших, прожитых им лет, — мысленно призвал на подмогу своих угрюмых, немногословных праотцев, и глаза его блеснули в полумраке. — Сперва я обвенчаюсь с Парандзем, женюсь на ней, а уж потом поеду. Женюсь завтра же. Чтобы иметь преимущество перед Гнелом. Я расскажу ему о нашей свадьбе... О первой нашей ночи... Расскажу во всех подробностях... Опишу ее тело... Расхваляю ее красоту... Она ведь и впрямь красива, Драстамат... Сказочно красива...

Глава пятнадцатая

Мысленно Васак зачастую беседовал с соотечественниками, спорил, порицал, наставлял, убеждал, молил...

Кому не ведомо, что спарапет всю жизнь сражался ради того, чтобы армянин не исчез с лица земли? Другие сражаются, чтобы расширить свои земли, или отвоевать некогда утраченные области, или отомстить за нанесенное их стране оскорбление, или помочь союзникам. А вот если за оружие взялся армянин, значит, нет нужды ломать голову, теряться в догадках, терзать и напрягать ум — и без того ясно, речь идет о самосохранении.

Вот тебе и Армения.

Враг уверенно метит стрелой прямиком ей в сердце, потому что незащищенное, беззащитное сердце явственно различимо издалека всем и каждому и маячит перед соседями, точь-в-точь мишень. Поди-ка удержишься.

Как только тебе удастся веками жить на краю пропасти, мысленно вопрошал Васак, на краю пропасти пировать, праздновать Навасард, отмечать рождение сыновей, пахать, сеять, изводить себя усобицами, тешиться похвальбой и, упершись взглядом в бездну, мечтать о небе?

Бесстыдница, упрямица Армении.

Это, конечно, ни с чем не сообразно, но не в годину войны, а как раз теперь, в дни мирной передышки, прямо на глазах у Васака, число армян стало стремительно убывать. Почувяв надвигающуюся опасность, уловив неизбежность столкновения между персами и византийцами, половина страны одевалась на персидский лад, половина — на византийский. Половина была сторонницей Византии, половина — Персии.

Между двух огней оставались одни только бедолаги крестьяне, возглавляемые немногими нахарарами.

Приверженцы Персии носили остроносые башмаки, на голову водружали что-то вроде тиары, а волосы завивали. Приверженцы Византии остригали волосы кружком и выбривали макушки. Надевали островерхие, шлемообразные шапки и поднимали в знак приветствия правую руку. В княжеских домах говорили или по-гречески, или по-персидски.

Отличить друга от врага стало проще простого.

В городах и на большаках то и дело затевались потасовки — при этом смотрели, кто во что одет. Супругов выбирали по одежде. В гости ходили к тем, кто соответствующим образом причесан. Любили и ненавидели, глядя на обувь.

Война еще не началась, а страна была уже захвачена, располовинена, наводнена персами и византийцами, которые, правда, выглядели как армяне, имели армянские носы и глаза и, когда наступал черед перебранки, хоть и говорили вообще-то по-иноземному, волей-неволей переходили на армянский, потому как чужих слов не доставало и они не остужали разгоряченного сердца. По-армянски переругивались и по-армянски же успокаивались...

Васак избегал встреч с царем, в особенности после злополучной трапезы, когда тот объявил, что Аршакавану даруется право убежища, и нахарары прервали отношения с дворцом. А царь, похоже, не замечал его отсутствия и даже не любопытствовал, куда подевался спарапет. Ибо твердо знал: Васак принадлежит к разряду тех людей, которые, сколько

их ни обижай, сколь несправедливо с ними ни обходишь, все равно остаются преданными до конца. Потому-то царь в жизни не бывал с ним щепетилен и мягок, в жизни не удостоивал особого внимания, без околичностей говорил все, что взбредет в голову, случалось даже, грубил и оскорблял. А между тем с врагами вел себя куда как осторожно и уважительно. Спарпет молча сносил это и никогда не бунтовал. Взбунтуется позже, когда дела пойдут на лад и у них с царем появится время...

Васак думать не думал о том, что он третье, после царя и католикоса, главенствующее лицо в стране. Должно быть, поэтому, невзирая на беспорную любовь к нему народа, в мирные дни он не имел сколько-нибудь ощутимого влияния при дворе и почти не вмешивался в политику. Большую часть своего времени он проводил в отдаленном и обособленном от мира и людей Шаапиване, главном воинском стане страны.

Воинская жизнь представлялась ему прямой и ясной, никакой болтовни, только приказы. Свыше было установлено, кто повелевает, а кто исполняет повеления. Отношения между людьми определялись не личными свойствами и наклонностями, а высотой занимаемого положения. Слово имело лишь один смысл. Если ты говорил: вода холодна, это значило — не лезь в реку купаться. Не более того и не менее. А вот если вчера утром Нерсес Камсаракан возвел царю напраслину на Гарджуйла Хорхоруну, то это значило, что десять лет назад Гарджуйл Хорхоруну оклеветал и очернил Нерсеса Камсаракана в глазах бывшего царя Тирана.

Стоило спарпету войти во дворец, как ему повсюду мерещились ловушки и хитроумные сети, которыми обычно перерезают путь убегающему от погони зверю. А взамен вызывающих переполох труб и лая борзых — людские голоса, словечки, шепоток, плоская шутка венцевозлагателя и аспета Смбата Багратуни: «Ну, господин мой Мамиконян, когда же ты намерен защищать мою жизнь?» (да плевать мне на твою жизнь, болван ты этакий, и как же посмеялся надо мною всевышний, дав тебя в союзники!); прячущиеся за улыбкой убийственные сплетни; откровенная ложь, цена которой известна всем, но которую только неискушенный спарпет немедля называет ложью; благоглупость, высказанная сановником, которую все дружно превозносят до небес, тогда как грубый и неотесанный спарпет артачится и перечит; лесть и лизоблюдство, которые принимаются всеми как должное и от которых дикарь спарпет теряется и, лишь бы не остаться в долгу, достает из кармана дорогую безделушку и протя-

гивает собеседнику... Сколько он их понаделал в часы досуга, деревянных таких фигурок! И в скольких домах красуются они на столах... чтобы тот, кто их вырезал, вырвался из окружения и чуть раньше воротился в Шаапиван.

Но когда он узнал, что в Адамакерт, вотчине князей Арцруни, собралось несколько нахараров, среди которых и его братья, и что они едут в Тибзон — заключить союз с шахом и предложить ему свои услуги, — когда спарапет узнал это, он не выдержал: не говоря никому ни слова, никого не предупреждая и не теряя времени, вскочил на своего белого скакуна и один-одинешенек направился в логово врага.

★ ★ ★

«В сердце моем прежде всего обитает чувство истины, — писал, как повествует историк, Шапук Констанцию. — Обладая им, я никогда не совершал ничего такого, в чем мог бы впоследствии раскаяться. Посему я должен вернуть себе Армению и Междуречье, без всякого на то основания отнятые у моих дедов. Если желаешь внять разумному моему совету, откажись от небольшой своей провинции — предмета постоянной вражды и раздоров — ради возможности спокойно управлять остальными владениями. Знай, что и врачи в известных случаях отсекают и удаляют отдельные части тела, дабы сохранить здоровые члены».

★ ★ ★

Всю дорогу он мысленно убеждал соотечественников, что единственный для них выход — объединиться и подчиниться царю, уговаривал сторонников Византии выбросить из головы решающий их довод: ныне, мол, у нас с византийцами общая вера, а сторонников Персии позабыть про то, что вчера, мол, мы с персами были единоверцы; молил, заклинал тех и других не разжигать междоусобиц и братоубийственной войны, не принуждать его, спарапета, истреблять армян, потому что, выступи он против армян, даже против ничтожной горстки, непременно потерпит поражение, а вот выступи он с немногочисленным своим воинством против несметных полчищ врага и вражеских боевых слонов — непременно одержит победу... Это верно, спарапет не удался ростом... Верно, у него короткие руки и короткие ноги... Ну и что? Мало побед приносил я вам? Мало врагов обращал в бегство, выходя на них с небольшим отрядом? Император и шах приходили в изумление и карали бездарных своих военачальников.

И напрасно. Те были вовсе не бездарны. Да и я не такой уж выдающийся полководец. Разгадка в ином, мысленно разъяснял он соотечественникам. Сила больших народов — в их здравомыслии, сила малых народов — в безрассудстве. Большие народы возлагают надежды на действительное положение вещей, малые — на чудо. И тогда силы уравниваются: большие народы утрачивают свое превосходство, малые — избавляются от своих изъянов. Но стоит малому народу, уподобившись большому, начать тягаться с ним, как его наголову разбивают, громят в пух и прах. Вот и вся разгадка, и другой разгадки нет.

На границе Васпуракана Васак увидел перекрывших дорогу всадников. Он натянул поводья и взялся за меч. Неужто это конец? Неужто он в последний раз мысленно беседовал с соотечественниками? Если и вправду так, то он еще много не досказал, во всяком случае главного он покуда не высказал. Не успел. Но успеет. Успеет! Время пока что есть. Предстоит схватка, кое-кого он сбросит с коней, кое-кого зарубит насмерть, ведь не допустит же он, чтобы его прирезали на месте, как курицу. Ведь он же вправе сделать последний вдох. И коли придется совсем туго, он успеет, делая последний выдох; мысленно высказать все...

В седле подбоченясь восседал Самвел, сын брата, и горделиво поглядывал на Васака. Дескать, попался, зачем пустился в путь тайком от нас?

— Мы не допустим тебя к ним, спарапет. И я говорю это не от своего имени, а от имени отечества.

Кровь бросилась Васаку в голову, и он в ярости заорал:

— Прочь с дороги, не то убью как собаку!

Самвела удивило, что спарапет не оценил его решимости, не разглядел, что перед ним не мальчишка, но сложившийся зрелый муж. Он был разочарован, потому как и спарапет, и все члены совета старейшин не давали дороги молодым и до пятидесяти лет внушали им: вы, мол, еще зелены и неопытны, — лишь бы молодым не перепало даже малой частицы их славы.

— Ты, спарапет, принадлежишь не только себе, но и мне, ему, всем. Ты еще нужен отечеству.

Спарапета передернуло, потому что племянник обращался не столько к нему, сколько к своим дружкам, и сожалел, что слушателей мало, очень и очень мало.

— Немедленно возвращайтесь! — угрюмо приказал Васак всадникам. — И передайте, что я распорядился посадить вас — всех до одного — под замок за самовольную отлучку.

Всадники беспрекословно повиновались.

Самвел остался.

— Я не брошу тебя одного, спарапет! — звонким, срывающимся голосом воскликнул он.

Отчего этот сукин сын болтает об отечестве? Не все ли ему равно, кому служить — царю или персидскому шаху? Какая разница, если цель — достичь славы и положения? Но нет, он загодя и безошибочно все рассчитал. Шах не нуждается в нем, при персидском дворе все для него будет по-прежнему: Меружану и иже с ним снова достанется львиная доля почестей. А в больной, изможденной Армении, день ото дня теряющей людей, куда больше возможностей продвинуться. Редкостное совпадение: то, что выгодно ему, выгодно и отечеству.

Васак повернул коня и молча погнал его своей дорогой. Не тот случай, чтобы дарить собеседнику деревянную фигурку.

Самвел следовал за дядей на почтительном расстоянии. А когда, одолев после круглосуточной, безостановочной скачки труднейшую дорогу, спарапет добрался до местечка Албак и снова услышал неотступно преследующий его конский топот, он сменил гнев на милость и мысленно похвалил племянника за упорство. И, опять-таки мысленно, подарил ему деревянную фигурку.

★ ★ ★

«Ты требуешь и Междуречье, и Армению, как если бы они были твоей собственностью, — так, по свидетельству историка, отвечал император Констанций шаху Шапуху, — и советуешь мне отсечь отдельные части живого тела, дабы наша с тобой дружба в будущем упрочилась. От этого совета лучше без промедления отказаться, нежели в каком бы то ни было виде принять его. Посему внемли истине, которую я излагаю в ее прозрачной простоте и не мудрствуя лукаво, истине, которую не запугать никакими угрозами».

★ ★ ★

Вот так так — князья-то в Адамакертe развлекались. Перед двухэтажным каменным замком сгрудилось множество народу. Людей силком вытащили из домов и согнали на площадь. Землепашцев оторвали от работы и привели к замку. Из различных сел и селений области явились, чтобы сделать сборище внушительнее, многочисленные представители, возглавляемые старостами.

Разодетые как на праздник нахарары восседали в креслах, облокотившись на вышитые разноцветные подушечки, и прямо-таки сияли от ликования, будто дети в ожидании сладостей.

Узкие каменные балконы замка были заполнены нахарарскими женами, возбужденными и разнаряженными почище своих мужей.

— Не было лишь хозяина, Меружана Арцруни.

Посреди площади на низкой деревянной скамье ничком лежал связанный крестьянин; его оголили до пояса, оставив на нем только рваные вылинявшие порты.

Он был аршакаванцем. Первым и единственным аршакаванцем, попавшим в руки господ.

Родом он был из деревни Нварсак в области Гер. Пришел тайком проведать лежавшую при смерти мать. Пришел и попался. Он бы еще перетерпел кое-как бичевание, что ж тут такого — господ, они и есть господа, и высекут, и в темницу бросят, как же иначе-то, ну а ежели ты вдобавок провинился, так тем лучше, не обидно мучиться; но вот что мать уже померла — это превращало бичевание в издевку. И боль казалась непереносимой.

Нахарары и слушать не желали о том, что этот крестьянин — он всего-навсего один, и его провинность, и преступление, и тело — они тоже единичны. Бедняге было невдомек, что он заменяет сейчас тысячи сбежавших от господ холопов, что он многолик, что у него множество имен и родных краев. И уж если на то пошло, то меньше всего касательства он имел к себе самому, к своей деревне Нварсак в области Гер, к умершей своей матери, к собственному своему господину.

Затаив дыхание, не издавая ни звука, смотрела толпа на привязанного к деревянному жертвеннику козла отпущения.

А возбуждение нахараров достигло мало-помалу предела, свист плети и вопли крестьянина разжигали их, глаза у них наливались кровью, руки дрожали от нетерпения, ногам не стоялось на месте, а с губ срывалась брань и мстительные, злорадные возгласы...

Они почуяли кровь.

Толпа поняла, что аршакаванцу суждено умереть. Другого исхода не было. Одна только смерть могла унять разгоревшееся пламя, утолить жажду господ.

Первым не выдержал Нерсес Камсаракан — подбежал к скамье, выхватил из рук воина плеть и самолично принялся наносить удары.

— Свободу любишь, а? — в бешенстве кричал он, не догадываясь, что, вкладывая всю свою мощь и ярость в голос, он бьет жертву слабее, чем бил воин. — Не хочешь служить господину? Без равенства тебе и жизнь не в жизнь? Вот тебе равенство, вот тебе свобода!

Голос Камсаракана прозвучал для нахараров как боевой клич, они повскакали с мест и разъяренными быками ринулись на аршакаванца. Били беспощадно, руками и ногами, куда ни попадя — в голову, в спину, даже тянули за волосы, хотя и понимали, что единственный удар плетью куда ощутимее всего этого безумства. Им было попросту невтерпеж, они уподобились конникам, которые до того торопятся, что готовы спешиться и бежать на своих двоих.

— Вот кто выдумал свободу и равенство! Лодыри и лентяи! — указывая пальцем на аршакаванца, кричал в толпу раскрасневшийся от возбуждения Вардан Мамиконян. — Чтобы поровну бездельничать. Бить баклуши. Чтобы поровну отвечать за все. Чтобы никто ни за что не отвечал, и не с кого было спрашивать.

А его брат Ваан, присев перед скамьей на корточки, нос к носу с наказуемым, злобно шептал ему на ухо посреди шума и суматохи, ощущая свой шепот как величайшую усладу мести:

— Что вы там построили, в Аршакаване? Ну-ка скажи. Где стена? Где ров? Да виси у вас над головой господский кулак, давно бы уже выстроили свой город... Разве же так служат царю?

— Дайте я ему всыплю... Дайте мне! — протягивая руки то к тому, то к другому, упрашивал, умолял престарелый Кенан Амадуни. — Я это дело знаю...

На ведущей в замок лестнице показался статный красивый голубоглазый мужчина; какой-то миг он с отвращением наблюдал за происходящим, затем быстро сбежал вниз и поспешил к озверевшим нахарарам.

— Опомнитесь! Стыдно, князья! Избиение — признак слабости. По вашей милости крестьяне разуверятся в силе господ.

Едва заслышав властный голос Меружана Арцруни, нахарары очнулись, прекратили, преодолевая себя, свалку и, тяжело дыша, отошли в сторону.

Меружан приблизился к аршакаванцу, опустился подле него на колени и принялся развязывать веревки. Затем, осторожно поддерживая несчастного за руки, помог сесть. Снял плащ и накинул на голые его плечи. Сел рядом и с жалостью посмотрел на полуживого крестьянина. Воину,

охаживавшему того плетью, сделал знак сесть по другую сторону, чтобы крестьянин мог о него опереться.

— Стало быть, ты и есть схваченный аршакаванец? — мягко спросил Меружан. — Пришел повидать мать? А она, мне сказали, умерла. — И с упреком покачал головой. — Пусть это будет тебе уроком. Нельзя поступать так опрометчиво и неосмотрительно. Ну а теперь... ступай, сын мой, возвращайся в Аршакаван.

На Меружана Арцруни устремились удивленные взгляды. По толпе прокатился шепот, смахивающий на жужжание пчел, достиг последнего ряда и преобразился в возгласы радости.

— Князя Арцруни!.. — наперебой обратились к Меружану ошарашенные нахарары.

Крестьянин насилу повернул голову к своему избавителю, глянул на него потухшими глазами и кое-как улыбнулся уголками губ. Но, до крайности измученный, не смог уже выровнять губы, и на его лице застыла улыбка.

— Человек волен жить, где ему угодно. — Меружан Арцруни встал и нарочно заговорил негромко, чтобы всем захотелось прислушаться к его словам. — Но помни, прежде всего ты должен искать свободу в себе самом. Иначе опять найдешь повод вернуться. На сей раз навестить друзей. Вот и будешь жить то здесь, то там. Да так и не поймешь, где лучше. — И обратился к воину с плетью: — Сколько раз ты его ударил?

— Пятнадцать, мой господин.

— Вот тебе пятнадцать золотых, крестьянин. И прости нашу жестокость. Как видишь, твои господа тоже еще не вполне свободны внутренне.

— Двадцать... — с усилием выговорил крестьянин, с лица которого так и не сошла улыбка.

— Держи еще пять золотых, — усмехнулся Меружан и приказал воинам: — Увести его. Подлечить раны и отправить в Аршакаван. И зарубите на носу, вы головой отвечаете за его жизнь.

Крестьянина уложили на скамью, и два воина отнесли его в замок. Толпа помаленьку редела, а поскольку зрелище завершилось благополучно, над аршакаванцем, которому выпала великая честь собрать столько народу, стали посмеиваться.

— Что же ты натворил, князь? — недоуменно вопрошали нахарары; все они разом обмякли, ослабили и были не в духе.

— Отмените надзор за крестьянами, — заявил в ответ Меружан Арцруни не терпящим возражений голосом. — Дайте им полную свободу передвижения. Если кто-либо, бежав

в Аршакаван, не успел взять семью, отправьте ее сами. Дайте денег, дайте съестного, и скатертью дорога. Незачем разделять родичей границей. Но если кто-то, неважно почему, бежит из Аршакавана, отправьте обратно. Силой. Расставьте вокруг города воинов. Не с тем, чтобы закрыть доступ в Аршакаван, а чтобы помешать желающим оттуда уйти. Не будет таковых — не беда, пусть стража остается. Ну а неподалеку... неподалеку выстройте постоянный двор. Одинокий постоянный двор... Пусть там всегда звучат песни. И пусть постоянный этот двор станет гнездовьем тоски. — Он замолк на мгновение, терпеливо дожидаясь, пока его слова дойдут до сознания нахараров и старики тугодумы раскумекают их. — Я заронил им в душу червя, князя, червя. самого сильного, самого могучего зверя. — И неожиданно заявил: — Прибыл спарапет. Хочет встретиться с нами. Пойдемте, князя, неприлично заставлять его ждать.

* * *

По дороге Васак заготовил в уме добрую сотню присловий, подобающих началу беседы, припомнил известные ему из придворного опыта многочисленные зачины разговоров и никак не ожидал, что отбросит их в сторону и не обинюясь скажет:

— Чем же все это кончится, князя?

Сказал и оробел — шутка ли, с места в карьер поставить вопрос ребром. Не пойдет ли это во вред его миссии, его добровольному посредничеству? Ведь никому не по душе, когда сразу берут быка за рога, надо бы покружить вокруг да около, выпить кубок-другой, провозгласив предварительно здравицы, польстить каждому из нахараров, малость захмелеть, припомнить былое, внушить доверие — словом, создать подходящую обстановку.

— И мы думаем о том же, спарапет, — сказал Меружан, и Васак спокойно вздохнул, поняв, что молодой и красивый Арцруни оценивал его шаг. — Ты напрасно полагаешь, будто мы всего-навсего предатели. Уверяю тебя, мы озабочены судьбою страны не меньше, чем ты и царь.

— Думать думаете, а идете на переговоры с шахом.

— А почему ты не хочешь счесть это одним из возможных выходов из положения? Я, к примеру, не приемлю идею создания Аршакавана, но уважаю ее. По-моему, уважение должно быть взаимным.

— Нам недосуг, князь, уважать друг друга подобным образом. Так можно вести себя лишь в Византии да в Тизбо-

не. Мы вот-вот испустим дух, и нам нужна одна истина, одна, а не несколько.

— Есть такая истина, спарапет, есть! — решительно произнес Меружан Арцруни, подсел к Васaku и дружески обнял его. — Заключить союз с кем-нибудь из могущественных соседей. Ведь мы же малый народ, чего трепыхаться? Вправе ли мы возлагать надежды на крепость собственных рук? Нужно сделать выбор.

— И ты его сделал. Отчего же не в пользу Византии? — Напекаешь на то, что мои земли сопредельны с Персией, потому я и выбрал персов? — насупившись, встал Меружан. — Не будь наша беседа столь чистосердечна, я бы, разумеется, счел твой намек оскорблением. Ну а как же твои братья? С кем граничат их земли, далекие Тайк и Тарон?

— Отчего же все-таки не в пользу Византии? — хладнокровно повторил Васак.

— Оттого, что христианство случайно связало нас с византийцами. А наша общность с персами гораздо глубже.

Едва волоча ноги, к Меружану подошел Кенан Амауни и что-то шепнул ему на ухо. Меружан вопросительно посмотрел на старика, на лице у него изобразилась гримаса, и он с откровенной грубостью движением головы велел Кенану сесть на место.

— Быть может, я мало что смыслю, — отдельно, с достоинством человека, ценящего весомость собственных слов, заговорил Вардан Мамиконян. — Быть может, я вообще ничего не смыслю, — продолжил он, оскорбленный одним только предположением, что ему способны такое приписать. — Но одно я знаю твердо: родные братья не могут враждовать. Ненавидь меня сколько тебе заблагорассудится, ненавидь и считай своим врагом, — угрожающе добавил он, — все равно я буду тебя любить.

И победительно осмотрелся.

Вардза Апауни растроганно кивнул.

— Даже если братья поклоняются разным богам? Если их разделяет граница?

— Да, даже тогда, — осерчал Вардан. — Я люблю тебя.

— Я ни при чем, — беспомощно пожал плечами Ваан Мамиконян. — Как братья решат, так тому и быть. Они старше меня...

Вардза Апауни кивнул.

Он попал сюда случайно. Такая же точно случайность могла привести его к приверженцам Византии. Или же к царю. Он был непомерно честолюбив и кстати и некстати оскорблялся, что им пренебрегают, не интересуются его мне-

нием, не советуются с ним. И, опасаясь в смутные эти дни вновь оказаться непричастным к столь важным событиям, не захотел отсиживаться дома и присоединился к тому, кто первым встретился на его пути. Однажды Меружан спросил его совета по какому-то пустячному поводу и тотчас превратился для него в зеницу ока.

— Мы собрались здесь не затем, чтобы выяснять отношения между родственниками, — грубо прервал Мамиконянов Камсаракан. — Это ваше семейное дело, и других оно не касается.

Он по сию пору чувствовал на своем запястье тяжесть царевой руки, по сию пору не забывал постыдного своего поражения. Мужчине лучше быть глупым и нищим, но не уступать другому в силе. Поражение из-за слабости мышц — есть ли что-нибудь позорнее этого?! Он непрестанно искал повода схватиться врукопашную, хотя подозревал и понимал: этим он выдает себя с головой, признает перед всеми, что не запомнил обиды; но, зная это, не умел побороть соблазн и невольно выставлял напоказ собственный срам: «Не помериться ли нам силами, князь? Боишься, одолею? И пускай, слабак — не дурак, невелика беда. Ха-ха-ха-ха-ха».

— Твое здоровье, спарапет, — сказал Меружан Арцруни, поднимая полный вина кубок. — Не знаю, окажемся ли мы с тобой в одном стане или в разных, вероятно в разных, но, так или иначе, знай: мы боремся за эту страну. Звучит нелепо, ведь мы готовы перегрызть друг другу глотку ради того, чтобы любить и защищать одно и то же.

Вардза Апауни усердно закивал.

— И ты убьешь меня, уверяя, что это — ради отечества?

— Да, спарапет. Равно как и ты — меня.

— Ты просто оправдываешь свою измену. Пытаешься придать ей значительность, чтобы не пасть в собственных глазах. — Спарапет разгневался и потерял самообладание: ему казалось, будто его принимают за дурака и хотят средь бела дня обвести вокруг пальца.

— Ты воин, и любить родину означает для тебя погибнуть за нее в бою, — спокойно возразил Меружан, стараясь не обращать внимания на нанесенное ему оскорбление. — Для меня же всякая смерть должна быть исполнена смысла. Я против неразумных жертв. Я против сражений, на которые ты нас толкал.

— И даже против моих побед? — уязвил его Васак.

— Да, и твоих побед тоже. Если уж хочешь знать, то именно побед. Утри тебе враг нос с самого начала, это, поверь мне, пошло бы армянам только на пользу.

— Не понимаю, князь. Ей-богу, не понимаю. Если ты намерен меня бесчестить, тогда дело другое. Так и скажи, чтобы я не напрягал ум.

— Господь с тобой, спарапет. И в мыслях такого не было. Если, по-твоему, я тебя бесчещу, я готов просить прощения.

— Нет, ты все-таки скажи, почему ты против моих побед. И неужто гибель в бою всегда бессмысленна?

— По большому счету — да. Ты победил только в этот день. Только в этом сражении. Только единожды наелся досьта, а тебе уже возомнилось, что ты и впредь никогда не испытываешь голода. Но ведь любой полководец дает только одно сражение в жизни, и это его сражение — самое решительное и роковое. Только одно в жизни, спарапет, не более, — поднял Меружан палец. — Ты и сам знаешь, что все прочее — ложь. И знаешь, что в этом-то сражении ты и будешь побежден.

Вардза Апауни восхищенно кивнул.

— Обожди, князь, — отмахнулся от него Васак, потому что Вардза уже раздражал его. — Что же получается? Примем безропотно наше поражение и будем сложа руки смотреть, как гибнет страна?

— Да, спарапет, примем наше поражение. Это решение здравое и полезное. Ибо тогда мы будем принуждены искать более действенные пути.

— И идти на поклон к персидскому шаху?

— Или к императору. Это уже иной вопрос. Будь любезен, обсудим его вместе и, может статься, найдем общий язык. Уверяю тебя, мы готовы обратиться к тому, на кого укажет царь. Что же еще сверх этого? Лишь бы указал, указал! — внезапно выкрикнул он. — А не уповал на свои силы. Или на аршакаванский сброд.

— Я пойду, князь... — поднялся Ваан Мамиконян. — Пойду передохну... Как решат братья, так тому и быть... Они старше меня...

И молча, опустив голову, покинул небольшую залу.

— Мы, князь, уповаем только на себя, на наше единство, на нашу сплоченность, — безнадежно и с горечью проговорил Васак, уже не веря в успех своего предприятия. — Я прошу тебя, князь... я, с седой моей головой, с моим красным стягом, с моим гербом, с моими высочайшими воинскими отличиями... Прошу тебя, не ходи к шаху... Помирись с царем...

— Может, не ходить, раз он так просит? — сказал Вардза Апауни, и Васак вновь отмахнулся от него.

— Я не могу видеть мою землю, попираемую персами и византийцами, не могу видеть, как ее топчут, — ответил

Меружан, подавленный искренней мольбой спарапета. — Во время войны я хочу быть одной из воюющих сторон, а не жертвой.

— Не забывай, что потом твой союзник пожрет тебя.

— Ну конечно, пожрет, конечно же, — засмеялся Меружан. — Разве я утверждаю обратное? Еще как пожрет! А мы примкнем к другой стороне.

— И это жизнь?

— Да, спарапет. Я указываю, как жить — хитря, пресмыкаясь, меняя цвет кожи, но все-таки жить. А каков же твой клич?

— Либо жизнь, либо смерть, — взволнованно произнес Васак.

— Нет, только жизнь. Только жизнь.

— Любой ценой?

— Да, любой ценой!

— Ценой унижения, покорности?

— Да, и унижения, и покорности.

Кенан Аматауни подавал Меружану какие-то знаки и мучился оттого, что молодой князь не замечает его. Он шагнул было вперед, намереваясь шепнуть тому что-то, но раздраженный голос Меружана остановил его на полпути:

— Ладно, уже ясно...

— Лжешь, князь. Все, что ты говоришь, — ложь. Каждое слово, каждый звук. Ты хочешь стать царем, и ничего больше.

Васак высказался и загордился. Приосанился — герой, да и только. Вырос в собственных глазах. Расправил плечи, поудобней устроился в кресле и допил до дна вино. Вот так-то, красавец Меружан, знай наших. Съел?

— Да, хочу, — улыбнулся Меружан. — А разве я когда-нибудь отнекивался?

— Что?! — Васака поразила его беззастенчивость, и он тут же упал в собственных глазах. — И ты смеешь говорить об этом?

— Отчего же нет, спарапет? Если я чувствую себя готовым стать во главе страны, если я не глуп, не хвор, полон сил и решимости, то отчего же мне таиться? Не довольно ли разыгрывать девическую стыдливость, не пора ли назвать вещи своими именами? Отчего кто-то занимает трон по той лишь причине, что он, видите ли, престолонаследник? А если он болван, если он недоумок? Это не беда, зато все честь по чести, чинно и благопристойно. Отчего спарапетом должен стать твой сын? Только оттого, что он твой сын? Это что, на роду написано: войско во веки веков должны воз-

главлять Мамиконяны? А если моего сына бог одарил щедрее? Как быть тогда? Помалкивать, ибо заводить об этом речь зазорно? Нет, спарапет, всякому человеку надобно знать себе цену и не стесняться преподносить себя...

— Но скажи мне на милость, какой армянин не чувствует себя готовым царем? — мягко спросил Васак. — По-твоему, князь Апауни иного о себе мнения?

Вардза Апауни с признательностью взглянул на Васака, кивнул и скромно потупился.

— Не переиначивай моих слов, спарапет. Ты хорошо меня понимаешь. Я готов стать царем. И могу не таясь сказать это. Где и кому угодно. И шаху. И императору. И твоему царю. Плевать мне, кто и что подумает.

— И все-таки нигде больше не говори, — посоветовал Камсаракан, которому слова Меружана придали сил и который сам, от своего имени мысленно произнес их. — Нам сказал, и будет.

— И кроме того, чья это выдумка, будто я берусь за легкое дело? Разве это не самопожертвование? Особенно в этой стране. Хочешь править ею — лезь из кожи вон, живи на износ, позабудь о себе. Так что же, стыдиться этого?

— И все ж таки не стоит, — повторил Камсаракан.

— Я согласен со всем, что ты сказал, — заявил ко всеобщему удивлению Васак. — Подписываюсь под любым словом. Безоговорочно сдаюсь. Ты вправе утверждать, что я потерпел поражение.

Меружан вопросительно посмотрел на Васака, который, сидя в кресле, не доставал ногами до пола.

— Не взыщи, князь, но ты злоупотребляешь своим умом. Твоя рассудочность служит тебе дурную службу. Будь в твоих словах хоть малость, хоть самая малость чувства, мы стали бы друзьями. Но я слушаю тебя, и мне неловко. Потому что ты на каждом шагу обманываешь меня. Заманиваешь в ловушку. Завоевываешь расположение. И завоевываешь несправедливо. Вот я гляжу на тебя, понимаю, что ты меня обманываешь, но, понимая это, обманываюсь, хочу обмануться. Однако достаточно одного истинного и честного движения души, пусть даже наивного, но искреннего и чистого чувства — и твои рассуждения тут же рассыпаются в прах. Все до единого.

— А я боюсь твоих чувств, спарапет. Будь они только твои, бог с тобой, живи как пожелаешь. Но это — изъян и порок всех твоих предшественников и всех твоих преемников. Ты толкуешь о своих победах. А знаешь ли ты настоя-

щее их имя? Нравственные победы, всего-навсего нравственные... Доходит ли до тебя убожество этих слов? Не это ли цена сражений, на которые ты нас подвигаешь? Не это ли порожденный чувством самообман? Хочешь обманываться — вольному воля, но не обманывай других. Не жаль разве тех, кому ты даешь крылья? Ведь им же того гляди вздумается взлететь, воспарить. А в самый последний миг, когда решается — быть или не быть? — вдруг окажется, что крылья-то у них не птичьи. Куриные. Вот их и прирежут, как курицу. Будь здоров, спарапет. Счастливого тебе пути.

— Брат, мы не можем быть врагами, — не терпящим возражения голосом произнес Вардан. — Присоединяйся к нам, вместе поедем в Персию.

— Оставь человека в покое, — в сердцах сказал Меружан и протянул Васаку руку.

Чуть поколебавшись, Васак пожал ее. Потом, не прощаясь с остальными, покинул маленькую, просто убранную залу, мысленно воздав Меружану должное: невзирая на все свое богатство, тот жил со скромностью, присущей военным или священнослужителям.

— Почему не схватили? — едва лишь они остались одни, взорвался Кенан Амауни. — Тысячу раз было сказано. Почему?

— Что верно, то верно. Перегнул спарапет палку, — согласился Вардза Апауни. — Нельзя же так.

— И теперь еще не поздно, — отдельно и весомо проговорил Вардан.

Меружан ошеломленно посмотрел на Вардана; его так и подмывало плюнуть тому в лицо, вклепить пощечину, но он сжал зубы и скрепя сердце пробормотал:

— Люди вы или нет?

А Васак ехал, покачиваясь в седле, на юг и радовался своему полному и совершенному одиночеству, потому что дорога до столицы предстояла дальняя, у него было несколько свободных дней, и он мог без помех побеседовать мысленно с соотечественниками, высказать все, что наболело, отвести душу...

Глава шестнадцатая

— Не убивай.

Лицом к лицу по разные стороны невысокой деревянной ограды стояли они: Гнел — с развеваемыми ветром волосами, открытым челом, ясным взглядом, с громоздким, словно опустившийся на колени верблюд, городом за спиной,

и царь — со страхом и сумятицей в глазах, с бескрайней и пустынной степью за плечами.

— Когда твой труп найдут, его заодно с мусором унесут на свалку. Ты будешь питать растения. По весне, глядя на молодую зеленую поросль и на цветущие кусты, я стану отыскивать тот, который впоен твоими соками.

— Ты не можешь убить меня, царь.

— Отчего же? Оттого что ты невиновен? Невинность и есть сейчас твоя вина. Ты не дал мне изведать угрызений совести. А я... я плакал по тебе. Настоящими, искренними слезами.

— Я виноват, царь. Мне не возместить слез, понапрасну пролитых тобою. Но знай, если ты убьешь кого-нибудь в своем городе, никто уже не поверит твоему слову. Аршакаван погибнет. Погибнет еще не построенный.

— От того, что случилось, не отмахнешься. Видимо, ты в состоянии это понять. Но на меня не надейся. Сам развязывай узел. — Царь вытащил из-за пояса кинжал и бросил к ногам Гнела.

Гнел улыбнулся уголками губ, и это не ускользнуло от внимания царя. Даже, пожалуй, разоружило его. С какой, собственно, стати улыбается этот человек, ведь пробил час на грани ночи и рассвета, когда ему уже не принадлежат ни гаснущие звезды, ни предутренняя стынь, ни глубокая тишина, ни лежащий за ним несуразный загадочный город, ни, наконец, его тяжкая, горестная жизнь? Ничто ему не принадлежит отныне — ни хорошее, ни плохое. Чему ж он улыбается?

— Тому, что могущественнейший в стране человек явился сюда переодетый в чужое платье. Стало быть, ему стыдно. Или же он боится.

И Гнел засмеялся. Несколько наигранно, сдавленно, через силу, одним голосом, одной гортанью, но так или иначе — засмеялся. И был в этом смехе ужас смерти, и трепет жизни, и какая-то на волоске повисшая неопределенность, которая вот-вот озарится светом и развеет сомнения. Либо в пользу сего мира, либо того...

— Почему ты смеешься? — вконец растерялся царь и раздраженно переспросил: — Почему ты смеешься?

— Потому, что ты бессилен передо мной. Хочешь меня убить, да не тут-то было. Ох и насолил он тебе, тобою же созданный город!

Как знать, племянничек, может, ты и прав, может, мне и впрямь не по плечу убить тебя, но дело-то в том, что я и сам этого не хочу; однако ты родился князем, а я — царем,

и впервые в жизни я благословляю это неравенство. Ибо разница между нами не только в положении, не только в богатстве, не только в могуществе, но и в средствах, к которым мы прибегаем, а я и вероломнее тебя, и коварней...

— Поздравь меня, Гнел. Я женился. Теперь у нас в стране есть царица.

— От души поздравляю. Значит, ты смог наконец полюбить.

— Чего ж ты не спрашиваешь, кто моя избранница?

— Кто, царь? Кто та счастливица, которой выпала честь родить престолонаследника?

— Парандзем. Дочь сюникского князя Андовка.

— Парандзем?! Моя жена?!

— У нее гладкий словно мрамор живот! Высокая грудь! Длинная белая шея! — ликующе выпалил царь в темноту: из степи — в город, с незащищенного пространства — в убежище; пусть удар бьет без промаха, сразит на месте, разом перешибет хребет.

Дрогнула под ногами земля, померк свет, медленно и беззвучно рухнули за спиной дома, зашаталась и обвалилась недостроенная стена, в груди словно бы лопнула со слабым звоном туго натянутая струна, и он со звериным ревом опустился наземь, на колени.

— Ты видишь, нам не с чего ненавидеть друг друга. Мы поневоле должны друг друга любить. Ведь мы с тобой влюблены в одну женщину.

— Я рад, что ты дал ей то, чего не мог дать я. — Эти слова произнес не Гнел, не бывший князь, не погубленный аршакаванец, их прошептали его губы.

— Рад? — в бешенстве крикнул царь и произвольно шагнул к ограде. — Нечего прикидываться, будто эта новость не потрясла тебя!

— Не переступай границу, царь! — с внезапной решимостью поднялся на ноги Гнел.

Царь замер, не смея двинуться дальше. Невысокая деревянная ограда навсегда разделила их, и оба они понимали это.

— Да благословит господь ваш союз, — хриплым голосом произнес Гнел, и глаза у него повлажнели.

— В уме ты небось меня проклинаешь, — позлорадствовал царь, уверенный, что после сообщенной им вести Гнел не жилец, а ежели он покамест и жив, так это чистая случайность. — Проклинаешь?

— Выходит... она сдержала свое слово, — прошептал Гнел самому себе и отчего-то грустно улыбнулся.

— Признайся, ты и ее возненавидел, — не унимался царь. — За то, что тебе не осталось ни единого светлого воспоминания. Признайся же — твое поражение безоговорочно.

— Нет, царь, — с великим усилием, впившись, чтобы заглушить боль, ногтями в ладонь, он безжалостно обуздал обуревавшие его страсти. — Стоит мне хоть на мгновение расстрожиться, хоть на мгновение дать волю чувствам, и я пропащий человек, царь. Я не смогу жить скрываясь и таясь. Я должен буду выйти на люди. И уж тогда-то ты наверняка меня убьешь. Я сам предоставлю тебе это право. Вот твой кинжал. — Он оттолкнул кинжал ногой. — Возьми его.

— Не спеши, племянник. Может, пригодится.

— Зачем мне кинжал? Я свободен, царь. Я самый свободный человек на свете. Благодарю, что ты порвал последнюю мою связь с миром. Только ее я и боялся.

— Тебе не удастся принудить меня к убийству! — вышел из себя царь. — Ты не вовлечешь меня во грех. Ты сделаешь все сам. Сам.

— Меня нет, царь, — терпеливо разъяснил Гнел.

— Нет, ты сам развяжешь этот узел. Самолично сведешь с собой счеты.

— Моя свобода — самое суровое для меня наказание, царь.

— Но Парандзем любит тебя. Тебя, а не меня, — мстительно бросил ему в лицо царь. — Ее руки гладят меня, но ищут тебя. Слабый ее голос произносит во тьме мое имя, но мне слышится твое. Что ты на это скажешь?

— Не оговаривай жену, царь. Ее верность ничем не запятнана.

— Мысленно она изменяет мне. Мысленно. С тобой. Это еще подлее. Что ты скажешь на это?

— Меня не проведешь, царь. Мне уже нет возврата. Напрасно ты плетешь свои сети.

— Нет возврата? Есть! — горячно крикнул царь. — У тебя есть воспоминания. Тоска, любовь, стремление отомстить.

— Даю тебе слово, что останусь в неизвестности до конца моих дней, — спокойно и по-деловому, словно рассказывая о чем-то, принялся излагать Гнел свои намерения. — Никто не узнает моей тайны. Я буду жить под чужим именем. Буду строить твой город. Собственноручно. Я исчезну в толпе, смешаюсь с ней. Мы опояшем твой город надежной стеной. Воздвигнем каменный дворец. Ты восхитишься искусностью наших рук. А рядом с дворцом выстроим храм. Большой

и прекрасный, чтобы господь скорее внял твоим молитвам.

— Ты так боишься умереть? — насмешливо спросил царь. — Ты готов даже пресмыкаться у моих ног.

— Не клевети на меня, царь. Не оскверняй память о князе Гнеле. Не смей называть его трусом.

— Отчего же ты с таким усердием строишь город своему врагу?

— Оттого, что теперь у меня достаточно времени и возможность посвятить себя сокровенной своей мечте.

— Какова же твоя мечта, племянник? — усмехнулся царь, раздраженный и удивленный тем, что этот опустившийся человек, это аршакаванское отребье еще и мечтает.

— Ты.

— Я? — опешил царь и рассмеялся.

— Ты должен быть сильным, царь, очень сильным, — с исступленной верой начал убеждать его Гнел; на виске у него вздулась вена, лицо покраснелось, а в голосе зазвучал твердый и благородный металл. И он ковром расстелил перед царем свою мечту, смысл и сверхзадачу своей жизни, много лет подавляемую и отодвигаемую будничными заботами, суетой, счастьем, усадками; мечту, которую он вынашивал и лелеял глубокими ночами, украдкой от спящей Парандзем и сепуха Гнела из рода Аршакуни, когда тот недвижимо лежал на спине, вперив взгляд в потолок. — Ты обязан быть сильным. Другого выхода у тебя нет. Нам нужна единая, объединенная отчизна. И ради высочайшей этой цели ты ничего не должен жалеть. Ни сил, ни настойчивости. Должен поступиться всем. Если на твоём пути встретятся препоны, да не дрогнет твоя рука и не выразится на лице сомнение. Если тебе не подчинятся, если не покорятся, не оставляй камня на камне, истребляй всех. Не делая различия между стариками и детьми. Дорога перед тобою всегда должна быть беспрепятственна, а твои рубежи — неприкосновенны. О тебе должны слагать песни. Тебя должны восхвалять, прославлять. И когда ты достигнешь того, к чему стремишься, позабудутся неизбежные твои преступления. Тебя назовут величайшим армянским царем.

— Но ведь ты меня ненавидишь, Гнел, — притих до глубины души пораженный царь. — Ты же не станешь этого отрицать?

— Тебя? — презрительно процедил Гнел; вздувшаяся было вена уже не проступала на виске, лицо вновь побледнело, звучащий в голосе благородный металл глухо заскрежетал по песку, а глаза преисполнились яда. — Всем сердцем царь! Ни к кому не испытывал такой ненависти. Ты сгубил

мою молодость. Оболгал меня, изгнал из дома деда, заподозрил в мерзейших преступлениях. Приказал обезглавить меня, когда на твоих руках еще не просохла кровь моего отца. Никчемный человечиска! Вся страна считает меня теперь изменником, мое имя звучит как проклятие. Ты обвенчался с моей любимой женой. Ослепил ее короною и богатством. Завладел величайшим моим сокровищем. Превратил меня в ничто. Жалкий скопец! Ненавижу ли я тебя? Мало сказать — ненавижу.

«А живот... — Эта мысль обожгла его, как удар хлыста, разбередила, взбаламутила душу. — И впрямь гладкий как мрамор... Ты не соврал, царь... Высокая грудь. Длинная белая шея. Бог свидетель, ты прав. — На один только коротенький миг позволил он себе отрешиться от этой грубой и холодной земли, на которой стыли его кое-как обутые ноги, и без слез — про себя, для себя — заплакал. — Ты забыл сказать о волосах, царь... Об улыбке. О голосе. Об атласной коже. О теплых янтарных бедрах. Забыл, царь, забыл...»

— Откуда же в твоих речах столько заразной веры? — Царя прямо-таки оторопь взяла, и он проникся чуть ли не благоговением к этому незнакомцу в ветхой, истрепанной одежонке.

— Мои речи не имеют к тебе никакого касательства, — оскорбился Гнел. — Не относи их на свой счет. Ты их недостойн. Я думаю о царе. А царь — это не только ты. Это я. Это крупные и мелкие нахарары. И даже самый последний крестьянин. Это наше будущее. Наша жизнь. Что поделаешь, если все это воплощено в таком ничтожном и никчемном человечиске?

— А ты-то кто? — по-бабьи взвизгнул царь и в ярости пнул деревянную ограду. — Изнеженная барышня... Мамышкин сынок... Красавчик с безволосой девичьей кожей... А может, ты занимался мужеложством, поди знай? Даром, что ли, избалован и привык к холе... Собирал под свое крылышко нахарарских сынков, недорослей, и распутничал. Замарал гадостью все поколение. Если жена и впрямь тебя любила, отчего же в одночасье запаматовала свое горе? Ты не подарил ей счастливых ночей. А ради такой женщины нужно еженощно возводить себя на жертвенник. Всякий раз заново ее завоевывать. Всегда изначала, всегда! А случись тебе вдруг стать царем... Ты перещеголял бы меня в лютости и жестокости. Слава богу, что царствовать в этой стране выпало мне, а не тебе. И спасибо за то, что я по твоей милости вырос в собственных глазах.

— Коли так, уходи. Нам не о чем больше говорить. Ступай, чего стоишь?

— Ты мне любопытен, — раздумчиво сказал царь. — Ты знаешь, чего хочешь. Ты веришь. И твою веру пойму лишь я. Я, и никто другой. Но отчего же ты? Отчего только ты, отчего?

— Мы вместе сделаем эту страну прекрасной, — вдохновенно, захлебываясь решимостью, сказал Гнел. — Сделаем могущественной. Сплоченной и независимой. И достигнем этого, построив Аршакаван. Твой город.

— Что же это такое — Аршакаван? — весь обратившись в слух, царь смотрел на Гнела. — Что это, что?

— Сила, самостоятельность, единство. Начнись завтра война, ты не будешь зависеть от нахараров, не будешь молить их о помощи. У тебя будет собственная сила.

— Но отчего же только ты веришь в это; отчего?

— Не бойся меня. Меня нет. Я не существую. Меня не будет видно.

— И ты обойдешься без славы?

— Мне нужна твоя слава. Лишь твоя.

— Благодарю.

— Жаль только, что к великим этим целям стремится такое ничтожество. Из-за этого наше святое, наше праведное дело могут поднять на смех.

— Попридержи язык, Гнел! — в ярости пригрозил царь. — Не испытывай мое терпение. Твоя участь зависит от моей прихоти.

— Не пугай, царь. Я знаю, ты способен на все. Но какое бы зло ты мне ни причинил, я буду тебе помогать. Я буду помогать тебе всегда.

— А если я отвергну твою помощь? Ведь не станешь же ты навязывать ее силком. И не угрожай мне своими убеждениями.

— Ты в клетке, царь. Перед тобой тупик. Ты бьешься лбом о стену. Я не могу видеть тебя в таком состоянии, — спокойно сказал Гнел. — Хочешь не хочешь — я буду тебя поддерживать. Не тебя, а твой трон, твой престол. Не спросясь твоего согласия, буду давать тебе советы, стоять у тебя за спиной. Ты станешь могущественным и счастливым. Тебе будут завидовать. Кивать на тебя. И неважно, отвечает ли это твоему желанию. Стремись ты к этому или нет. Твое мнение мне в высшей степени безразлично.

— Ты злой, Гнел, злой и твердолобый. Едва ли мы поладим.

— Как знаешь, царь. Невольить не стану. Но как только почувствуешь, что я тебе нужен, — приходи.

— Не приду, Гнел. Больше ты меня не увидишь. Советчиков мне хватает.

— Придешь, царь. Ты и теперь уже понимаешь, что придешь. Твои советчики не свободны. А я свободен. Я даже тебя свободнее. И даже себя самого. — В глазах у него вновь засветилась неодолимая, исступленная вера, прямые жесткие волосы упали на бескровное лицо. — Запомни, страну надо строить — всеми правдами и неправдами, но строить надо.

— Ты убеждаешь меня действовать жестоко. Принуждаешь идти напролом, не выбирая средств. Вещаешь от имени конечной цели. С вершины. Ты — на вершине, а я — у подножья. Но ведь пройти-то этот путь предстоит мне, я, именно я стремлюсь к вершине!

— Не переступай границу, царь... Стань подальше.

— А я против жестокости. — Царь покорно отступил. — Счастье, построенное на жестокости, непрочно. Ему не устоять, не выдержит основа.

— Потому что ты труслив и нерешителен. Ты вовсе не добродетелен, нет, просто ты привык быть жестоким по мелочам. Пересиль сперва свой страх. Избавься от внутренних преград. — Гнел откинул волосы с лица, сел на камень, который, как и сотни других нетесаных камней, должен был со временем лечь в городскую стену, и засмеялся. — Я добавил тебе забот. Заронил в твою душу вопрос: нужен я тебе или нет? Убивать меня или не убивать? Решай же, царь. Решай, не откладывая. Хоть раз будь мужчиной. А если у тебя промелькнет мысль, что я тебе не нужен, — убей. Я умру спокойно. Уверенный в твоей силе, в том, что ты одолеешь свою дорогу. Ибо выучился решительности за мой счет, за счет моей жизни.

— Я безоружен...

— Трус! Размазня! Ничтожество! Вот тебе оружие. — Он вскочил с камня и наискосок подтолкнул ногой кинжал. — Ну признайся же... Признайся себе самому. Скажи, что не хочешь меня убивать.

— Живи, Гнел... Прошу тебя. Будь цел и невредим.

— Хочешь испытать себя, царь?

— Хочу, — признался царь. — Очень хочу.

— Говорят, будто твой отец, то есть мой дед, оплакивает мою смерть и проклиная тебя. Имей в виду, он наш бывший царь. И не забудь также, что он слеп. Его ослепил шах. А знаешь ли ты, каким страшным оружием стало сейчас

в его руках это несчастье? Его слово необычайно влиятельно. Он может здорово тебе навредить. Всегда бойся тех, кто причиняет вред, не располагая ни оружием, ни войском.

— Как же мне быть, Гнел? — нахмурился царь, вспомнив ахиллесову свою пятую, вспомнив ненависть отца, стоящую у него поперек горла. — Я знаю об этом, но что же мне делать?

— Решай сам, — холодно ответил Гнел, и на его лице не дрогнуло ни один мускул.

— Но... Ты ведь любишь своего деда... — ужаснулся царь, его передернуло, по телу пробежала дрожь.

— Жену и деда, — потеплевшим голосом отозвался Гнел. — Только их и любил. Больше всего на свете.

— Почему же ты меня лишаешь права любить? Ведь он мой отец...

— Но он угрожает тебе. А угрожать тебе — все равно что угрожать стране. Это очень опасно.

— Может, я уговорю его? — заметался царь. — Вымолю у него прощение? Паду перед ним на колени?

— Размазня! Тряпка!

— Что ж мне тогда делать? — беспомощно спросил царь, почувствовав, что Гнел стал теперь полным хозяином положения.

— Не знаю. Но тебе должно быть известно, что он намеревался посадить меня на престол. Заменить мною тебя. Чтобы, воспользовавшись моей молодостью и неопытностью, самому править страной.

— Но мы же любим его, Гнел... Из-за тебя он обрушивается на мою голову проклятья. Он поднимает голос за справедливость. За истину. За тебя. — Царь шагнул к оgrade, одним прыжком перемахнул через нее, в бешенстве схватил Гнела за горло и задыхаясь крикнул в лицо: — Скажешь еще хоть слово, издашь еще хоть звук... прибью как собаку!

Гнел сжал что было сил царевы запястья, отвел его руки от своего горла и спокойнехонько развел по сторонам.

— И вот еще что, — невозмутимо сказал он. — Никто не должен знать, что я не был предателем. Не говори, будто я стал жертвой козней.

— А имя? Твое доброе имя?!

— Не беспокойся о нем. Думай только о своей выгоде. Это и моя выгода. — Его лицо смягчилось и подобрело — то была тень слабости, отсвет былой, исчезнувшей жизни, — и

он заговорил, немного смущаясь и даже краснея: — Тебе нужен наследник, слышишь, тебе непременно нужен престолонаследник. Трон должен достаться твоему сыну. Парандзем родит тебе сына. Позволь, я дам ему имя. Я всегда мечтал иметь сына и назвать его Папом. Так пусть же это имя носит теперь твой сын. Царь Пап.

— Царь Пап! — Воодушевление Гнела передалось царю. — А что, звучит.

— Береги себя. Будь настороже. Остерегайся покушений. Храни свою жизнь. Никому не верь. Никому не доверяй. Не дай загубить себя втуне.

— Уже светает, Гнел. Я пойду. Прощай.

— Прощай, царь.

Они стояли лицом к лицу и смотрели друг на друга: Гнел — с развеваемыми ветром волосами, открытым челом, ясным взглядом, с громоздким, словно медленно поднимающийся верблюд, городом за спиной, и царь — с еще не угасшим страхом и сумятицей в глазах, с бескрайней и пустынной степью за плечами.

Солнце еще не взошло, но уже забрезжил рассвет. Небо с минуты на минуту должно было окраситься багрянцем, принося обитателям Аршакавана день, полный новых забот и радостей, нового счастья и печалей, новых смертей и рождений, новых страхов и сомнений. Окрест еще не было ни души, но город уже проснулся, уже пробудился, жил невидимой, потайной жизнью.

Царь и Гнел замолчали, их взгляды непроизвольно обратились к городу, они чутьем улавливали какое-то непонятное, витавшее в воздухе возбуждение. Но шум, как это ни странно, обрел определенность не в городе, а в степи. Издалека мчался всадник, вздымая огромные клубы пыли. Конь несся с такой скоростью, что его ноги, чудилось, не касаются земли.

Отчаянно погонявший коня верховой приближался, и царь узнал в нем Драстамата. Драстамат натянул поводья, взмыленный конь заржал, поднялся на дыбы и стал как вкопанный. Драстамат соскочил с седла и срывающимся от волнения голосом сообщил тягостную весть, всю долгую дорогу обременявшую его плечи:

— Между Византией и Персией началась война!

Первым долгом царь сбросил укрывавшую лицо накидку — таиться было уже незачем. Так он почувствовал себя надежней и уверенней, а чуть подсказывало, что прежде всего ему необходимо сейчас именно ощущение надежности.

В знак верноподданности Гнел тотчас опустился на колени и почтительно склонил перед царем голову.

Слава богу, эта весть застигла его не во дворце, где половина придворных украдкой говорила между собой по-персидски и половина по-гречески, а в Аршакаване, в его городе, в последнем его прибежище.

Царем овладело удивительное, редкостное спокойствие, словно для умиротворения смятенной души требовалась именно тягостная та весть, четко обозначившая границу, по ту сторону которой нет места нерешительности.

Заприметив на городской окраине всадника, аршакаванцы, будто сговорившись, кинулись к ограде и в изумлении замерли. Перед ними стоял царь, странновато одетый, отнюдь не в приличествующей его роду порфире, но все ж таки царь, ну конечно же царь — исчерпывающий ответ на любые их вопросы, единственный их оплот.

Толпа на глазах росла и сгрудилась перед царем.

Это была их вторая встреча, и в глубокой, как и тогда, тишине толпа вновь взирала на царя, а царь на толпу.

— Да здравствует царь! — напоминая давешний урок, крикнул царь.

— Да здравствует царь! — дружно откликнулась толпа, доставив тем самым царю немалое удовольствие: стало быть, преподанный им урок не прошел даром и не забыт.

Нет, способный он мужик, этот аршакаванец, — одетый в рванье, босой, продубленный солнцем, грубый и крепкий что твой камень, но способный.

— Да здравствует царь! — сызнава единодушно гаркнула толпа, точно желая еще лучше выучить преподанный государем урок, еще лучше усвоить завет: чтить царей, любить отечество, жить сплоченно и драться за родную землю до последнего вздоха. И повторять этот завет, пока не затвердит назубок и пока не отпадет надобность его напоминать.

В этой тысячеустой здравнице царь различил вдохновенный, сильный и молодой голос Гнела, а когда увидел, как толпа — точь-в-точь усердный и преуспевающий ученик — преклоняет колена пред своим вождем, его сердце преисполнилось радостью и ликованием.

«Значит, дела обстоят не так уж скверно, — подумал царь. — Не вешай носа».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава семнадцатая

Он отдал бы жизнь, лишь бы распутать клубок и вызнать, как же это получается, что десятки телег, груженных камнем, бревнами, песком и продовольствием, ежедневно отправляются в Аршакаван, а большая их часть туда не попадает; как же это так, лично он, царь, первый в стране человек, венценосец и порфириносец, могущественнейший среди армян, внимательно и пристально следит за строительством города, а дело опять -таки не двигается с места, кого не спроси, ответ один: я не виноват; все изворотливо оправдываются, приводят доказательства своей невиновности — и не какие-нибудь, а сплошь убедительные, неопровержимые. Кого тряхнуть за ворот, с кого требовать, кого карать?

Вдобавок прибыло посольство из Византии. Чего им от него надо? Не отвесить ли ему соотечественникам земной поклон да не сказать ли напрямки, по-мужицки: благодарствуйте, люди добрые, я сыт по горло, милости прошу, поцарствуйте и вы малость, пожелаете — принимайте византийское посольство, пожелаете — китайское, только оставьте меня в покое...

— Выбросьте из головы слово «нет»! — крикнул он собравшимся в тронном зале нахарарам. — Того нет, этого нет... Понадобится — вы у меня разрушите дворец и камень за камнем оттащите на своем горбу в Аршакаван. — Он давно заметил, что каждая его грубость вызывала у изысканно вежливых нахараров, особенно у тех, кто получил греческое воспитание, полнейшее замешательство. Это доставляло ему несказанную радость, и он еще беззастенчивей закусывал удила, что, согласно общепринятому мнению, ни в коем разе не подобало царю. — Поглядите-ка на них! Дороги, видите ли, трудные, горные, видите ли, дороги. Мне-то вы чего жалуетесь? Вы же не мной недовольны, а прародителем Айком, это он надумал обосноваться среди скал да камней. Для дворцовых лестниц мрамор у вас есть, а в Аршакаване стена с палец толщиной. Пнешь — развалится... Знаю, знаю... Пускай обождут, — пуще прежнего взъярился царь, хотя никто не напоминал ему о византийских послых. — Почему продовольствие для Аршакавана не отправляется в срок? Поменьше жрите на дворцовых пирах! Пускай обождут, знаю... Сенекапет, пригласи их.

Стоявший у трона Драстамат собрался было выйти, но

царь, резко повернувшись, схватил его за руку, притянул к себе и что-то зашептал на ухо. Водворилась глубокая тишина. Взгляды присутствующих обратились к ним, и этот шепот вызвал всеобщее неудовольствие и раздражение. Царь того и добивался. Ему не о чем было шептаться с сенекапетом. Он задержал его намеренно, чтобы сбить спесь с надменных своих вельмож.

«Почивать на лаврах, Драстамат, будем потом. Потом, когда страна окрепнет... Ты и не подозреваешь, как благовоспитан и обходителен будет тогда царь. Я тебе это обещаю. А пока что мы работаем, сенекапет, делаем дело...»

— Заметно мое волнение? — спросил он, ни к кому не обращаясь.

— Все в порядке, царь, — успокоил его Айр-Мардпет.

Как он волновался! Сердце колотилось, точно у какого-нибудь школяра. Почем ему было знать, что горящие щеки и уши выдают его с головой. В сущности, он впервые в жизни лицом к лицу сталкивался с врагом. И в глубине души ему было страшно; ему было страшно, и он не признавался себе в этом. Одевание, которое он носил месяцами, теперь казалось ему то чересчур широким, то чересчур узким, во всяком случае чувствовал он себя явно не в своей тарелке. Только бы произвести хорошее впечатление, удачно выдержать это испытание. Жаль, украшений на нем маловато, очень жаль...

Послов было пятеро. Главный из них выступил на шаг вперед и почтительно склонился перед царем. Он и должен был перед ним склониться, куда денешься, порядок есть порядок, но это придало царю сил и уверенности: хозяин здесь он, у него как-никак престол, границы и войска. И теперь его бросило в другую крайность — его, точно малого ребенка, радовала мысль, что, если он очень того пожелает, ему ничего не стоит просто так, беспричинно обезглавить этих византийцев.

— Император шлет привет царю армян и выражает надежду, что может положиться на своего союзника.

И кто ж это говорил? Юнец с едва пробившимися усами, с которым обязан считаться армянский венценосец. Ладно, он и на это пойдет — стерпит, стиснув зубы, и это унижение, только дайте ему спокойно жить: мы — сами по себе, вы — сами по себе. Хочешь, я сам встану и поклонюсь тебе — тебе, годящемуся мне в сыновья; поклонюсь, но с условием: по возвращении ты выскажешь могущественному императору благоприятное обо мне мнение, и он будет милостив к моей стране...

— Заверьте от моего имени императора, что я остаюсь его младшим братом и верным союзником.

Может, этого недостаточно? Может, надо бесстыдно льстить, не таясь лебезить, откровенно показывать императору свое ничтожество? Но очень уж он юн, этот молодчик, очень уж трясется над своими только-только выросшими усами и бородой, к которым еще не успел привыкнуть. И царю не удалось забыть о собственном возрасте; не о престоле, не о короне — о возрасте. Как тут кланяться, как лебезить?

— Император пожелал приятно тебя удивить, царь. Он посылает тебе в жены невесту своего покойного брата Коста-Олимпию, дочь префекта Аблабиоса.

— В жены? — побледнел царь; попытался было повторить вопрос, но язык не повиновался. Была ли нужда добровольно изображать собственное ничтожество, если враг сам о нем напоминает? Говори, царь, говори, теперь не время молчать, а то, чего доброго, подумают, будто драгоценный сей дар не осчастливил тебя. — Чрезвычайно польщен. Это высокая честь для меня. Я признателен императору. Я не дерзну отказаться от предложения старшего моего брата.

Что это за юноша с недоумением взирает на своего царя, изумляясь, отчего тот не гонит взашей незваных гостей, отчего не отвечает им свысока, отчего терпит такую вызывающую наглость? Ах да, это Самвел, сын Ваана Мамиконяна. Только за тебя мне и больно, дитя мое. Твой кумир сотворен не из камня, а из песка, он рухнул со своего подножия и рассыпался, еще не ударившись оземь. Я стыжусь только тебя, и никого больше. Ибо сокрушил твою веру. Сколько бы я ни объяснял тебе, сколько бы ни убеждал: это, дескать, дипломатия, закон, установленный для малых и великих мира сего, — ты все равно не поймешь меня. Вот и молодчина! Не понимай. Если б и ты меня понял и простил, тогда мне не оставалось бы на этой земле ни единого просвета.

Один из послов отворил дверь, и в тронный зал вошла стройная некрасивая женщина. Она смущенно покраснела и низко поклонилась, стараясь ни на кого не смотреть. Царь отчего-то был уверен, что ее уродство доставило нахарарам удовольствие и что мысленно они теперь злорадствуют.

— Император спрашивает, с какой целью армянский царь строит город Аршакаван, — продолжал молодой глава посольства. — Он ждет от меня точного и недвусмысленного ответа.

— Передайте моему старшему брату, что строительство Аршакавана не преследует какой-либо политической цели и никоим образом не ущемляет интересов империи, — чуть

помедлив, сказал царь. — Императору хорошо известно, что каждый армянский царь строил новый город и давал ему свое имя, дабы увековечить память о себе. — Его взгляд упал на Олимпию, и, чтобы избежать неприятного разговора, он незамедлительно присовокупил: — Я почитаю долгом до конца дней любить и уважать свою супругу. Ее обаяние и красота сообщат моему дворцу новый блеск и великолепие.

— Император наказал: пусть твое войско пребывает в полной готовности и ожидает его повелений, — проговорил молодой посол и сразу же поклонился в знак прощания.

Ох и всыпал бы я тебе, щенок, горяченьких, ох и огрел бы тебя пониже спины, не очень, конечно, больно, чтобы ты не возомнил, чего доброго, будто я уж очень серьезно к тебе отношусь.

— Всегда рад служить своему старшему брату, — учтиво ответил царь.

Он почувствовал: нахарары — приверженцы греков, составлявшие в тронном зале большинство, последовали за византийским посольством, с такой убогостью, что впору было подумать, будто от имени императора с царем армян беседовал не тот юнец, не тот свежеиспеченный посол, а они сами.

— Отведешь гостям лучшие покои, сенекапет, — распорядился царь, как неопытный мальчишка волнуясь в ожидании неминуемой минуты, когда ему придется остаться наедине с женой.

★ ★ ★

— Прости меня, царь. Поверь, я не виновата, — сказала Олимпия.

— Простить? — удивился царь. — За что?

— Тебе пришлось солгать из-за меня. Ты сказал, будто я красива и обаятельна.

— Раз ты моя жена, значит, ты красива и обаятельна.

Это моя жена? Но почему? Обойди всю страну, не сыщешь ни одного даже самого захудалого князька, который не женился бы по собственному усмотрению и собственному выбору. А человек, стоящий во главе страны, царь Армении, принужден жениться на той, кого указывают ему другие. И он не смеет перечить, пикнуть и то не смеет, понеже великий повелевает, а малый обязан повиноваться.

Стало быть, тот же захудалый князек счастливее и независимее своего господина. И ради чего она, эта нескончаемая цепь жертвоприношений? Ради того князька, ради любого

подданного? Но отчего же любого — без разбора? Ведь среди них есть достойные и недостойные, друзья и недруги. Да и вообще — кто они такие? Разве не нужно увидеть их, узнать их поименно, хоть разок услышать их голоса? Чтобы насладиться своим самопожертвованием, чтобы в мученической этой муке было некое тайное блаженство. И чтобы, принося себя кому-то в жертву, вырасти в собственных глазах, душе прежнего зауважать и мысленно возвеличить себя. Чтобы иметь хоть грубое, брэнное возмещение — удовлетворенное себялюбие. А на деле? Ведь не исключено, что эти знакомые и незнакомые люди, эта пестрая и многоликая толпа еще и смеется, измывается над ним, видя его унижения, и радуется тому, что царя унизили. Ибо цареву унижение означает твое самоутверждение, ибо это единственная твоя утеха, если принять во внимание занимаемое тобою при дворе место. Для отменного твоего самочувствия нужно, чтобы кто-то стоящий ступенькой выше пусть на мгновение оскользнулся, и тогда ты не позлорадствуешь, нет, а великодушно его пожалеешь.

Он вообразил полный недоумения взгляд юного князя Самвела Мамиконяна и понял, что ему следует считаться только с ним. Князь, вероятно, думает: окажись он на месте царя — а кто не ставит себя на место царя! — он взял бы эту женщину за руку и вывел вон. Того же он требует и от царя. И верно, если ты способен на такое — а я в этом совершенно уверен, — то чем же я хуже тебя? Но ты видишь в этой женщине только женщину, а я — огромную и могущественную державу, ты различаешь в этой женщине лишь стройный стан и некрасивое лицо, а я — брата ее покойного жениха Костаса, императора Византии, с которым я, правда, отродясь не встречался, но который, ежели на то пошло, тоже представляется мне теперь стройным и некрасивым, ты замечаешь за спиной этой женщины лишь стену, а я — надежную гряду чужих пограничных крепостей, отборную греческую конницу и пехоту, тысячи разрушенных жилищ и тысячи погребенных под ними армян. Поручишься ли ты, что среди них не будет и тебя? Стоит ли платить такую цену, чтобы действовать по твоему разумению? Жаль, что ты не знал меня до моего воцарения, — это единственное мое оправдание перед тобой, мое единственное утешение...

— Я не буду тебе обузой, царь, — однозвучно, без всякого выражения и потупившись продолжала Олимпия. — Видимо, вскоре я вновь понадобится императору. Едва он начнет враждовать с тобой, я вернусь обратно. И он отдаст меня в жены другому.

— Выходит... — царь с сочувствием прикоснулся к ее волосам, но все же не погладил. — Выходит, тебе это не впервой?

— Мой отец очень богат и влиятелен, — гордо ответила Олимпия и даже подняла повыше голову. — Лишь дочь такого человека пристало посылать в жены владыке другой страны.

То бишь не думай, что я какой-нибудь там подкидыш. Мною можно гордиться, меня можно показывать, как редкостный алмаз, и почитать украшением дворцовой сокровищницы.

Царь улыбнулся, потому что в голосе Олимпии прозвучал оттенок властности. Богатство отца было единственным оправданием ее приезда в эту чужую, неведомую страну, единственной охранной грамотой, единственной надеждой не прослыть незваной гостьей. Она поступится всем, но только не этим. И царю, очевидно, частенько придется выслушивать намеки Олимпии на ее происхождение, однако он не станет сердиться, потому что вызывать эти намеки будет не властолюбие, а желание успокоить и утешить царя.

— Я постараюсь, чтобы ты чувствовала себя в моем дворце как дома. — Царь был тронут и не хотел оставаться в долгу.

— Благодарствуй, царь, — вновь произнес однозвучный, невыразительный голос. — Я тоже могу утешить тебя. Не опасайся, что наш с тобой союз даст императору возможность ослабить твою страну.

Царь вопрошающе взглянул на Олимпию. Как то есть не опасайся? Он как раз опасался, очень даже опасался. Император с тем ее и прислал, чтобы запугать его.

Олимпия неуверенно подалась вперед, словно пыталась дотянуться губами до его уха, и прошептала издали:

— Я бесплодная, царь... Неродящая...

— Но отчего тебе хочется, чтобы все решилось в мою пользу? — в недоумении спросил царь и, что греха таить, подумал: не иначе эта женщина просто-напросто надела личину и с первого же дня норовит загнать его в западню.

— Я твоя жена, царь. Это мой долг.

Ответ был исчерпывающим. Потому что возник не сию минуту, а скорее всего сложился как вывод из вереницы замужеств. То был свой взгляд на вещи, свой угол зрения, свое убеждение. А вернее — самозащита.

Царь тотчас уловил это и не ошибся. Не имел права ошибиться. Он пустил в ход все свое чутье, то шестое чувство, которое хранил для таких вот решающих мгновений и к ко-

тому не прибегал все, чтобы оно не притупилось и не обмануло, когда в нем возникнет нужда.

— Стало быть, стоит тебе выйти замуж, и ты перестаешь служить императору? Защищаешь интересы нового мужа? — На лице царя мелькнула добрая улыбка, и он слегка поклонился. — Я сражен твоей логикой.

— Позволь мне уйти. Я голодна. Я хочу спать.

В ее голосе не было ни своеволия, ни деланной женской непосредственности. Было только пугающее простодушие.

Царь хлопнул в ладоши.

— Она голодна, — сказал царь Драстамату, изумленный тем, что это не пришло в голову ни ему, ни сенекапету. — И хочет спать.

— Пока я здесь, я буду любить тебя и хранить тебе верность.

Отвесив глубокий поклон, Олимпия в сопровождении Драстамата покинула тронный зал.

Отчего, однако, она произнесла эти слова в присутствии сенекапета? О любви и о верности мужчина с женщиной обыкновенно беседуют наедине. Значит, царю не грозит опасность. Не приведи господь, чтобы этой несчастной, единственная отрада которой — отцовское богатство и ее собственное положение, вздумалось беседовать с царем о любви и верности с глазу на глаз. Тут-то он и пропадет. И ему надлежит сделать все, чтобы Олимпия не полюбила его, чтобы ее основанное на разуме, рассудочное и ровное отношение к нему не переросло в чувство. Царь представил себе пробуждение этой женщины после спячки — какую силу, какую мощь обрела бы тогда ее любовь! Она стала бы бурливой весенней рекой, которая переполняет в половодье русло, выплескивается из берегов и размывает все на своем пути.

Надо ее остерегаться, заключил царь. Да-да, этой скромницы с опущенным долу взором и однозвучным голосом.

★ ★ ★

— Со мной уже считаются, сенекапет, — по-детски возликовал и возгордился царь. — А ты небось думал обо мне бог весть что. Думал ведь, а? Видишь, выходит, и я чего-то стою.

А случилось вот что. На ведущем в Арташат мосту показались персидские всадники. Они заявили охранявшим мост армянским воинам, что прибыли в качестве шахских посланцев. Весть достигла дворца, и перед персами распахнулись Трдатовы ворота цитадели.

— Ну, говори, что ты там обо мне думал. Говори все как есть, мне это все равно доставит удовольствие.

— Ты нынче весел, — холодно и рассудительно объяснил Драстамат душевное состояние царя. — Не прошло и недели, а ты принимаешь второе посольство.

Гнел был прав. Нужно полагаться на собственные силы. Какой смысл становиться на сторону одного из соседей, если приходится выбирать сильнейшего. А кто сильнее, Персия или Византия? Они равны, — следственно, выбор лишен разумного начала, тем паче что и та и другая норовят тебя проглотить.

— Не построй мы Аршакавана, они бы меня ни во что не ставили, — мстительно заявил царь, словно Драстамат олицетворял в этот миг всех его супостатов. — Ишь, как учуяли опасность!

— Зато о твоих нахарарах, царь, этого не скажешь. — Сенекает немедля напомнил о действительности, нимало не считаясь с тем, понравятся ли его слова царю. Каждый из них делал свое дело, и сенекает не собирался уклоняться от исполнения лежащих на нем обязанностей.

— И верно, — удивился царь. — Как же это так получается, Драстамат: врагу видна опасность, а своим выгода и та не видна? Разве эта страна — только моя?

— А все потому, что Аршакаван ты в первую голову строишь против всех. Забываешь, царь. — И с плохо скрытым упреком добавил: — Нельзя забывать, когда они помнят. Кто первым забудет о ненависти, тот потерпит поражение.

— Нынче я и впрямь весел, сенекает, — помрачнел царь и на мгновение замолк. — Приказываю тебе: в дни радости оставляй меня одного.

Царь быстрыми шагами пересек тронный зал, в сердцах хлопнул дверью и разобиженный прошел в спальню.

Персов он намеревался принять в лучшем своем одеянии и при лучших украшениях; он редко надевал и торжественное облачение и украшения, поскольку они подобали только праздным и беззаботным властителям. Нельзя же, вырядившись по-праздничному, возводить стену, рыть землю, пилить бревна. Но сегодня ему хотелось ослепить шахских послов. Пусть видят, как роскошно он живет, какая сила и уверенность заключена в его пурпурной мантии, шелковой тиаре, в ушитой двумя рядами жемчуга налобной повязке, в ожерелье из самоцветов и в покоящейся на груди броши. Пусть они поведают об этом своему господину, и тот поймет, что за великолепным царским убранством стоят войско, спарпет

Васак и — ни мало ни много — Аршакаван. Правда, у него нет силы под стать шахской, но ведь должно же быть и что-то взамен ей. Неужто бог может дать шаху все, а царю армян — ничего? Тот, кто слабее, обычно хитрей, изворотливей, решительней. Как славно, что нет Драстамата, не то сказал бы: больно уж ты возвеличиваешь себя, царь.

А где же, между прочим, Васак? Он почувствовал прилив горячечной тоски по спарпету и желание хоть на миг прижать его к груди. И сразу же померещился раздражающий голос Драстамата: хочешь, чтобы спарпет восполнил скудость твоих украшений, царь? А где же Ефрем, друг детства? Его-то ты не посмеешь счесть украшением. Ефрем, моя вера, моя святость, моя чистота. И снова голос Драстамата: Ефрем, царь, твой противовес, он должен существовать, чтобы тебе вольготнее было подличать и, не брезгуя ничем, творить злодеяния. Да неужто же я совершаю все это ради себя? Неужто я такой выродок? Выходит, вы — добропорядочные люди, а я вам вроде как бельмо на глазу. Ну, так что же случилось, что произошло, что ты уразумел, Драстамат?

— Доблестный царь царей маздеев Шапух шлет привет царю Великой Армении Аршаку.

— Передайте царю царей, что я остаюсь его младшим братом и верным союзником.

Хорошо хоть, что в отличие от византийского посла этот был человеком пожилым, и хозяином положения становился царь. Нет, все-таки Восток — это вам не Запад, это иное дело. Иное, что и толковать, совсем иное. Там умеют уважить даже врага. Как ни ненавистен шаху армянский царь, ему тем не менее не взбрело на ум отправить во главе посольства безусого и безбородого юнца. Он бы себе этого не позволил. Потому что это впрямую ударило бы по его собственному авторитету государя. По идее владыки и господина.

— Царь царей рад слышать нашими ушами уверения своего союзника и по праву старшего брата требует, чтобы ты во исполнение данной тобою клятвы шел со своими полками ему на помощь.

Ошибся царь, допустил-таки промашку. Слишком поспешно их принял. Тогда как надо было заставить основательно подождать — до вечера, а то и до завтрашнего утра. Этой поспешностью он опять невольно признал: что бы ни сказал теперь Драстамат, он будет прав. Но что именно он сказал бы — это царь тщательно от себя утаил.

— Царь царей прав. Если мы перейдем в этой войне на вашу сторону, победа будет за ним.

— Царь царей выражает нашими устами свое удовлетворение, ибо ты сознаешь важность данной тобою клятвы.

Ловко же он проглотил оскорбление. Даже бровью не повел. Прикинулся, будто никто не задел достоинства великой державы. А греков, особенно того щенка, которому он и сейчас бы с радостью всыпал по заднице, давно бы уязвили дерзкие речи царя и они бы гордо удалились. И что с того? Ведь таким образом они бы невольно признали: возможность оскорбить величие их страны отнюдь не исключена. А персы доказали, что они и помыслить об этом не могут.

— Царь царей не только не огорчен, но и обрадован вестью о том, что ты строишь в своей стране новый город, — продолжал пожилой посол, каждым своим движением выказывая понимание того, что он говорит с царем. — Однако он желает, дабы ты собственными устами разъяснил, каков этот город. Буде ты подлинно провозгласил Аршакаван городом свободы, то царь царей не считает это внутренним делом твоей страны. Твой город может послужить дурным примером для соседних народов. Если же ты строишь его, дабы укрепить свою мощь... — Посол на мгновение умолк, почтительно улыбнулся, словно испрашивая прощения за нечаянную заминку, но немедля исправил оплошность (а царь понял, что эти заминка и почтительная улыбка подготовлены заблаговременно) и продолжил: — Если же ты строишь его, дабы иметь оплот в борьбе против тех, кто стоит на стороне греков, то царь царей выражает тем большее удивление, что ты не уповаешь на его поддержку.

Опять Аршакаван. Опять и опять. Вот что вас по-настоящему мучает. Союзнические обязательства армянского царя — лишь повод, вас занимает не это, а мой таинственный, полный загадок город. Мне нечего вам сказать, вы угадали. И ваше беспокойство только добавляет мне уверенности в том, что — бог свидетель, да и они сами, император и шах, они тоже свидетели — мое решение справедливо. Кто, как не враги, должны утвердить меня в этом.

— Передайте царю царей, что на свете не было, нет и не будет государя, заключающего союз с собственным народом, — назидательно произнес царь, стремясь подчеркнуть тем самым свою откровенность. — Я дал простолюдинам кое-какие льготы, чтобы побыстрее завершить строительство города. Временные льготы.

— Царь царей считает твои слова мудрыми, равно как и твое решение. Теперь он совершенно за тебя спокоен.

— Благодарю царя царей за столь заботливое отношение к младшему брату.

Царя тревожило, достаточно ли удачно он лицемерил и не выдал ли свою нечистосердечность. Впрочем, персидского посла занимают лишь слова, а не их искренность. Он все равно ничему не верит. Зачем же он тогда явился? Какова его цель? И царь тут же получил ответ на эти вопросы.

— Дабы еще более упрочить союзнические узы, царь царей решил послать тебе в жены свою сестру Ормиадухт. Полагаю, это будет драгоценнейшим даром моей страны царю Великой Армении.

Царь вздрогнул. В жены? Опять?

Он увидел себя: вот он встает, с пеной у рта набрасывается на персидского посла и начинает его душить. Душить и при этом сыпать ругательствами. Но поносит он почему-то не столько шаха или византийского императора, сколько Армении и царя армян. Увидел также, как выбегает из тронного зала, удирает и прячется в собственном дворце. Не отправиться ли мне в Аршакаван, подумал он в тревоге, я тоже буду там неприкосновенен.

Между тем по знаку посла сестра шаха уже вошла в зал, а царь услышал свой голос:

— Чрезвычайно польщен. Это высокая честь для меня. Я почитаю долгом до конца дней любить и уважать свою супругу. Ее обаяние и красота сообщат моему дворцу новый блеск и великолепии.

Ему почудилось, что на лице персидского посла мелькнула усмешка. Но это была какая-то ленивая, вялая усмешка, не самопроизвольная, а вымученная. По-видимому, она также входила в его обязанности и была предусмотрена загодя. Ну, а если он что-то напутал? Не беда, человек же он в конце концов, мог и напутать. Возможно, усмешка предназначалась для иного случая. Возможно, он уже уяснил свой промах и раскаивается. Ну, разумеется, разумеется, с чего бы это вручать дар одного царя другому с усмешкой?

Глава посольства низко поклонился. Остальные последовали его примеру и, приложив руку к сердцу, попятнулись к дверям.

— Временные льготы, — вдруг засуетился царь и счел нужным повторить: — Не забудьте передать царю царей... Временные...



Царь внимательно посмотрел на Ормиздхут. К сожалению, она была красива, и еще большее сожаление вызывало то, что она это сознавала. С ней придется труднее, она не

станет унижаться, постарается поступать по-своему, делать все наоборот.

Ему ли не известно, что мужчина и женщина созданы, чтобы еженощно унижать друг друга, это в них заложено; каждая сторона молчаливо жаждет победы. Только в одном случае возможен ничейный исход: когда он и она любят друг друга. Надо сделать так, подумал царь, чтобы эта, в отличие от первой, полюбила меня.

— Не будь на то моего согласия, царь, брат не послал бы меня к тебе, — резко оборвала его мысли Ормиздухт.

Пока что царь умышленно не заговаривал. Он поиграет в молчанку, не предложит ей сесть и с ног до головы хорошенько, пристально разглядит, как разглядывают вещь: пусть помнит, что она его собственность. Сражение с ней нельзя откладывать, с первого же мгновения надлежит ринуться в бой. И он вовсе не ожидал, что персиянка с честью примет вызов и смело нанесет ответный удар.

— Ты хочешь сказать, что приехала добровольно, — усмехнулся царь, медленно расхаживая вокруг нее, потом остановился и откровенно задержал взгляд на ее пышной груди.

— Никто и ни к чему не мог меня принудить, царь, — как ни в чем ни бывало продолжила Ормиздухт.

Царь по достоинству оценил эти дерзкие слова, произнесенные голосом нежным и покорным.

— Это предостережение?

— Если бы царь не пришелся мне по душе, я бы непременно вернулась домой.

Значит, я пришелся ей по душе? Я ей нравлюсь? И ведь как спокойно на меня смотрит. А что она, собственно, сделала, в чем провинилась? Ей нравится царь, она к нему благосклонна, только и всего. Ясно, что все прочие слова произнесены ради короткого этого признания. И сколько в ней бесстыдства! Чарующего и влекущего женского бесстыдства.

— Насколько я понял, ты намерена с первого же дня упрочить свое положение в чужой для тебя стране. — Царь заметно повысил голос, словно давая знать, что с этой минуты беседа потечет по иному руслу. Он решил играть в открытую, понимая, что эту женщину можно одолеть, лишь истолковывая каждое ее слово вслух, а не про себя. Утомить ее, всякий раз выводя на чистую воду. Судя по всему, она хорошо себя чувствует только в тихом и темном омуте.

— Напрасно пугаешься, царь, — снисходительно улыбнулась Ормиздухт. — Если муж придется мне по душе, я сумею ему покориться. Отречься от себя, стать его тенью. Неотлуч-

ной от него, но незаметной. Разве это не на руку любому мужчине, царь?

Ему захотелось спросить без обиняков: я тебе и впрямь пришлось по сердцу? — и он с трудом сдержался. Как все-таки просто купить человека медовыми речами. Знаешь и понимаешь — тебя собираются обвести вокруг пальца, но не в силах этому противиться. Видишь ее насквозь и тем не менее развесил уши, потому что чрезмерно, надо полагать, себя любишь.

— А тебе известно, что в этом дворце есть еще одна женщина? — неожиданно спросил царь. — И знаешь кто? Родственница врага твоего брата.

— И кроме того есть еще армянка, — добавила Ормиздухт. — Царица Парандзем.

— Царица ни при чем, — нетерпеливо продолжал царь, торопясь поставить персиянку на колени. — А византийка? Что ты скажешь насчет византийки?

— Я услышала о ней в твоём дворце, царь. От твоих приближенных. Тотчас по приезде. Тебя это не беспокоит?

Царь обескураженно замолк. Намек был донельзя прозрачен. Тут пахло предательством, подлым и гнусным предательством. Измена притаилась прямо у него под носом, изменники — его люди. И он не нашелся с ответом. Эта игра за тобой, подумал царь.

— Отчего же послы твоего брата не изъявили по этому поводу неудовольствия? — полюбопытствовал царь, ведь не приходилось долго ломать голову, чтобы смекнуть: персы должны были расценить присутствие византийки как отступничество армянского царя.

— Я уже сказала. О византийке услышала я, а не они.

— То есть? — почти что крикнул царь, сгорая от нетерпения.

— Я промолчала, царь. Они в неведении.

— Отчего же? — удивился царь. — Ты была обязана поставить их в известность. Памятуя о брате, памятуя о себе самой.

— Это наше семейное дело, царь, — отшутилась Ормиздухт. — И касается оно только нас четверых: меня, тебя, византийки и царицы.

— Неубедительно, — не уловив шутки, рассердился царь, не способный уже разглядеть под ногами ловушек. — Мне нужен обоснованный ответ.

— Ты получил его, царь, — искренне удивилась Ормиздухт. — Если муж придется мне по душе, я сумею ему покориться.

И эта игра за тобой, подумал царь. Ничуть не лукавя. Хотя ты и лжешь, но лжешь так, что не подкопаешься. Сколько нужно тонкости, сколько умения и хитрости, чтобы поставить меня на колени. А после этих слов я на коленях.

Размышляя таким образом, он вновь задался прежним вопросом: а может быть, я ей и вправду нравлюсь? Что здесь такого? Почему бы и нет?

— Одного я не понимаю, — по-деловому продолжил царь. — Обыкновенно твой брат, да и предшественники его тоже для надежности брали у нас заложника. Как по-твоему, не заложница ли ты теперь? И не кажется ли тебе это странным?

— Нет, царь, я не заложница. Я твоя жена.

— Оставь эти глупости! — внутренне возликовал царь, потому что хитрость Ормиздухт впервые выглядела нагой и жалкой. — Ведь я же смогу использовать тебя как орудие против твоего брата. И если меня вынудят... в крайних обстоятельствах... я пожертвую тобой, верно? Точно так же, как твой брат — моими родичами.

— Прости, царь, но мне придется тебя разочаровать.

— Ну-ну?

— Чтобы я считалась заложницей, брат должен очень меня любить. Иными словами, он должен очень дорожить моей жизнью, а мою смерть воспринимать как величайшее бедствие. Верно?

— Верно, — согласился царь.

— А как ты полагаешь, люби он сестру, послал бы он ее на чужбину ради собственной выгоды? Ты бы, к примеру, послал?

— Нет, не послал бы, — признался царь, чувствуя, что опять терпит поражение.

— Брат не любит меня, — весело сказала Ормиздухт и победительно добавила: — Запомни, для него нет на земле ничего святого. Видишь, царь, меня едва ли назовешь заложницей.

— Ладно, — сделал царь последнюю попытку, — допустим, что брату и впрямь безразлична твоя жизнь. А тебе-то, тебе? Я могу тебя убить, чтобы нанести ему оскорбление. Пускай твоя смерть его не опечалит, но она ударит по его самолюбию. Это будет пощечина. На глазах у всего мира. Что скажешь?

Царь почувствовал, что создалось довольно-таки странное положение. В сущности, он не угрожал Ормиздухт, а, волея-неволей считаясь с ее умом и смекалкой, пытался разрешить вместе с ней кое-какие вопросы, до конца в них разобраться.

И получалось, будто все, о чем шла речь, касается отнюдь не их и будто у них есть другая, общая забота.

— Ты не можешь меня убить, царь.

— Садись, — предложил царь.

— И не потому, что ты великодушнее брата, а потому, что он могуществен, а ты слаб.

— Садись же, в ногах правды нет.

— Даже в миг безысходности и отчаяния ты не посмеешь пойти на такой шаг. — Ормиздухт села в кресло, и царь сразу успокоился. — Потому что для тебя, царь, этот шаг неестествен. Представь, нищему дали много денег. Он же все равно не сумеет их истратить.

Что верно, то верно. И эта игра за тобой. Есть народы, рожденные давать заложников, и есть народы, рожденные заложников захватывать. А если они вдруг чудом меняются местами? Неважно, ты опять же ничего не сделаешь. Будто тебе в руки попало грозное, невиданное боевое оружие, а ты не знаешь, как его применить. Ну-ка попробуй, только попробуй тронуть Ормиздухт. Пускай себе брат ее не любит и ее смерть нимало его не огорчит. А оскорбление, а поправное самолюбие?

Не полагаешь ли ты, часом, что в них сокрыта меньшая, чем в любви, сила? Увидишь, как шах разрушит твою страну, как растопчет ее. Разорит, сожжет дотла, и пройдут века, пока ты опомнишься. Ради собственной твоей пользы откажись поскорее от мысли, будто у тебя есть заложница, иначе приманка слишком далеко заведет тебя по ложному пути... Слава богу, что ты не угодил в западню и не искал удачи там, где ее нет и в помине. Благодаря Ормиздухт. Может, и вправду, если муж пришелся ей по душе... А что? Чего тебе недостает? Помимо сложнейших законов бытия имеются еще и простейшие. И, насильно себя остановив, не dokonчил оборванную на половине фразу: она сумеет ему покориться.

Ормиздухт поднялась, поклонилась и медленно направилась к двери.

— Но я не позволял тебе уйти! — От удивления царь даже простер вперед руку.

Ормиздухт с улыбкой обернулась:

— Первый разговор между супругами не должен затягиваться. Это опасно, царь.

Вновь почтительно поклонилась и вышла.

Царь ошарашенно глядел на затворенную дверь; простертая рука застыла в воздухе.

Он хлопнул по ней ладонью, опустил руку и — в полном одиночестве — громко засмеялся.

Глава восемнадцатая

Стало быть, клещи сжимаются. Персидский шах и византийский император взяли его за горло. Тут — огонь, там — полымя. И он еще смеет думать, будто у него две заложницы, тогда как заложник-то он сам, и не где-нибудь, а на собственной земле. Сколько можно хитрить, тянуть время, играть в прятки с теми и другими? Кончится это так. В один прекрасный день его спросят: где твои полки, где твои клятвы? И когда он примкнет к одним, другие разорят страну. Потом примутся делить ее — точь-в-точь яблоко. Согласно писанным на пергаменте и скрепленным печатями договорам.

Дверь отворилась, и в тронный зал вбежал десятилетний Пап. Увидев отца, он на мгновение растерялся — должно быть, не ожидал застать его. Однако вскоре смущения как не бывало. Мальчик с заискивающей улыбкой посмотрел на царя, затем прошел к трону, уселся и принялся болтать ногами, постукивая пятками об основание.

Аршак слышал, что в его отсутствие сын зачастую пробирается в тронный зал и играет там. Именно в тронном зале — ни больше ни меньше. Во дворце щенку уже тесно, подавай ему новые пространства. И в какую же, любопытно, игру играет он один-одинешенек, удрав от сверстников? Не просто же так является сюда, усаживается на трон и постукивает ногами. А если это ему еще и приятно, если мысленно он отдает приятелям приказы, карает их, одного одаряет должностью и званием, другого изгоняет?

Плохи твои дела, Аршак, беззлобно усмехнулся царь, чересчур уж рано твой сын засматривается на трон; коли он начал с такой игры, то чем же займется, когда подрастет? Глянет на тебя в упор и не моргнув глазом скажет: не слишком ли ты одряхлел, отец, по-моему, пора уже передать трон мне; иной раз я, пожалуй, и позволю тебе тряхнуть стариной и короны не пожалею — надевай.

Аршак знал, что мальчик никогда не играет с ровесниками в царя и подданных. Сам не бывает царем и другим не разрешает. Тем хуже! Значит, игры уже не хватает, и тяга к трону — это не игра, а мечта, пока, правда, неопределенная, смутная — и все-таки мечта. А мечта суть тайна, глубокая, никому не поверяемая, не подлежащая огласке, тайна, в которой можно признаться только себе, да и то изредка. И для такого признания мальчишка не нашел места более подходящего, чем тронный зал.

Царь не только не встревожился, не только не приревнов-

вал – напротив, почувствовал себя превосходно, его прямо-таки распирали гордость. Сколько понадобилось бы усердия и радения, сколько сил и настойчивости, чтобы исподволь пробудить в сыне любовь к власти, даже не любовь, а сверх того – потребность, чтобы научить его не мытьем, так катаньем урвать наследственные права. Так ведь нет же, к нему все придет само собой. Будет до поры до времени болтать и постукивать ногами и однажды уловит в своем постукивании некий смысл.

Но, преисполненный радости, царь тем не менее тяжело скрестил на груди руки и взглянул на сына исподлобья. Пап снова улыбнулся прежней заискивающей улыбкой. Хочет обмануть отца. Именно обмануть, никаких сомнений. И это – его малыш, едва доходящий ему до пояса, его смазливенький, нахальный щенок. Царь помрачнел и вперил в сына строгий укоризненный взгляд. С лица мальчика постепенно исчезла улыбка, ноги стали раскачиваться медленнее, а немного погодя и вовсе замерли. Мгновение он был недвижим, как изваяние, потом слез с трона, с обиженным видом присел на ступеньку подножия и понурился.

Царь подошел к нему и, ни слова не говоря, сел рядом.

А если император и шах узнают, что он тишком да молчком принял обеих жен? Пусть даже послы не известят их об этом, нахарары-то уж точно донесут. А может случиться и похуже: узнают, но и виду не подадут, прикинутся, будто ведать ни о чем не ведают. С какой целью? Да чтобы армянский царь корчился в их, императора и шаха, руках, а они затевали бы во дворце свои козни и через посредство царевых жен помаленьку разлагали страну. При этом женам нет нужды что-либо предпринимать, пусть они палец о палец не ударяют, пусть даже хранят верность новому своему господину, все равно – уже само их присутствие ускорит разброд и загнивание. Подумать только, что творится: они послали к нему не войско, а женщин, каждый по одной. Не говорю уж о том, что они проложили себе теперь дорогу во дворец.

А царю-то еще мнилось, что если бог дает большому силу, то малому – взамен – хитрость, изворотливость, сметливость. Как маленьким и беззащитным лесным зверькам, которые, смотря по погоде и обстановке, меняют окраску и скрываются таким образом от недобрых глаз. Да ничего подобного: бог все дает одному, лишь одному, а другого бросает на произвол судьбы.

– Пап...

– Слушаю, царь.

– Дворец захвачен врагом. У себя дома я как в плену.

Пап прикрыл рот ладонью и прыснул. Очень уж забавными показались ему слова отца. Точно тот предлагал условия игры, которые, как и всегда, были плодом воображения.

Аршакаван, Аршакаван, вдруг осенило царя, только и только Аршакаван. Не обижайся, сынок, и да не сочтет это грехом господь, но мой первенец, лучшее мое детище, моя опора, завтрашний мой день — Аршакаван. Я создал этот город из своего ребра. Я люблю его больше всего на свете, верю ему больше, чем тебе, Пап, больше, чем моему войску, спарапету, моим реющим на ветру знаменам и вытканным на них горделивым орлам, чем себе самому, своему упорству, своей преданности этой стране, своей силе и уму. Что вам еще сказать, чтобы вы не унывали?

Эти угрюмые, суровые, кряжистые мужики, в которых ключом кипит ненависть, в которых скопилось столько горечи, которые никогда, даже в первую брачную ночь, не знали нежности к женщине, которым отродясь не приходило на ум погладить по голове сына или дочурку, которые с легкостью перечтут по пальцам дни, когда они наедались досыта, эти неулыбчивые, злобно и настороженно вззирающие на мир мужики — единственный покамест оплот страны, о чем сами они не догадываются и догадаться не должны. Пускай себе живут и плодятся, сажают и поливают деревья, празднуют Навасард и устраивают попойки, день и ночь вкалывают, тянут свою лямку, судачат, любят и ненавидят; ведь стоит им только узнать, что они — надежда страны и царя, они, во-первых, не поверят, а во-вторых, перепугаются. А вот если не узнают, то в последний миг чутье подскажет им, каково будет снова посадить себе на шею господина, платить ему оброк, терпеть удары его плети, жениться с его соизволения и лишь с его согласия наведываться на денек другой в соседнюю деревню...

Он встал и принялся расхаживать по тронному залу взад и вперед.

Пап тоже встал и тоже, как и отец, принялся расхаживать взад и вперед.

Аршакаваном начинаются и Аршакаваном кончаются границы этой страны. Здесь произойдет решительная битва, а уж после нее-то мы и потолкуем, исчезнет или не исчезнет Армения с лица земли. Врагу об этом уже известно, и тот дрожит как осиновый лист в страхе перед его городом, в котором нет великолепия ни Константинополя, ни Тизбона, который Арташату и то не соперник. И пусть себе! Зато он и не изнежен, не бескровен, как те, ему незачем припудри-

вать морщины, это молодой и крепкий город, его обитатели довольствуются ломтем хлеба и стаканом воды, у них здоровые легкие, они неразговорчивы и грубы. Это-то и делает Аршакаван таинственным, непонятым и отталкивающим в глазах врагов.

Царь заложил руки за спину и заметил, как Пап последовал его примеру. Только теперь он взял в толк, что сын во всем стремится подражать ему. Остановился и вопросительно посмотрел на мальчика, не зная, то ли ему смеяться, то ли гордиться.

Сыну десять лет, у него большие черные глаза, курчавые жгуче-черные волосы, он как стрела тонок и упруг и похож на отца как две капли воды. Открытие запоздалое и постыдное, хотя одновременно радостное и окрыляющее. Ему следовало самому воспитать сына — ему, потерявшему голову, бьющемуся как рыба об лед, мечущемуся словно в клетке царю, самолично, самостоятельно, а не передоверить это пестунам да мамкам. Он выучил бы сына загонять на охоте зверя, прыгать ему на хребет и, вцепившись жертве в горло, душить, душить, покуда у той не ослабнут ноги и она не повалится наземь. И алчно наслаждаться собственной жестокостью, чтобы не почуять, упаси боже, запаха крови и не содрогнуться. И свежевать добычу, и поесть ее. Потому как все это враки, на свете не существует добродетели и подлости, смелости и трусости, дозволенного и недозволенного, хорошего и дурного, черного и белого — нет, не существует, мир разделен в своей основе на две простые и ясные половины: на тех, кто ест, и на тех, кого едят.

Твой отец, сынок, самый несчастный человек на земле, он несчастнее любого крестьянина, у которого на роду написана принадлежность к числу поедаемых. И знаешь, отчего твой отец несчастен? Оттого, что он входит и в разряд тех, кто ест, и в разряд тех, кого поедают. Способен ты вообразить положение более гнусное и трагическое? Ну а ты — ты должен быть среди едоков, хищников с острыми клыками и длинными когтями. Но добыешься ты этого за счет моих страданий и мук, не иначе. Чем-то смущенный, он прикоснулся рукой к лицу сына, и тот неожиданно и с улыбкой хлопнул отца по руке. Отец шутя дал мальчику легкую оплеуху, а тот, все так же улыбаясь, вновь ударил отца по руке, но уже посильнее...

Царь схватил Папа в объятия, усадил на трон, долгим взглядом посмотрел в глаза, взял за подбородок и бережно, как ваятель, придал его лицу нужное выражение; приподнял голову, положил руку на подлокотники с резными льва-

ми, затем снял пурпурную мантию и накинул сыну на плечи.

Слышишь, Пап, дальнюю дробь барабанов?

Это глас власти. До чего ж он сладок, верно? Пусть не обманывает тебя эта сладость, не то проиграешь все.

Это глас заговора. Остерегайся его. Он способен заглушить все прочие звуки.

Это лесть. Будь начеку. Бывает, она звучит подкупающе искренне. Бойся ее.

Это глас труда и забот. Люди сбросят со своих плеч ношу и взвалют ее на одного, только одного человека. На тебя. Тебе придется работать, мучиться, отдавать и раздавать, не получая ничего взамен. И все-таки доверяй этому голосу.

Это глас одиночества, Пап. Горчайший, душераздирающий. Как ни затыкай уши, от него не спасешься.

Это глас жестокости. Не избегай ее. В этом шуме сокрыта мелодия, сынок. Ищи ее.

Эти голоса преходящи. Победа... Поражение... Любовь... Ненависть... Возмездие... Тоска... Не старайся сохранить их в памяти, потом ты и сам, без моей помощи, с легкостью будешь улавливать их и различать.

Ну, так какой же среди этих голосов тебе по душе? Какой из них запал тебе, сынок, в память?

Первый, царь, ответствовали лукавые, смеющиеся глаза Папа.

Глас власти? Смотря как ты его расслышал. Во всяком случае, теперь я за тебя спокоен. Спокоен, потому что, невзирая на предостережения, невзирая на увещевания, ты упрямо указуешь на него. Я спокоен, сынок, спокоен.

Привет же тебе, царь Пап!..

Разве не об этом искони мечтал армянин? Не о том, чтоб трон не пустовал? Хороший или плохой, удачный или неудачный, любимый или ненавистный — лишь бы только был царь. Об одном этом он и мечтал, честное слово, и ни о чем больше. Потому что только с исполнением этой мечты мог он мечтать о чем-то своем.

Конечно, царь не произнес приветствия вслух: вместо этого он медленно попятился, отвешивая глубокий и почтительный поклон.

Двустворчатая золоченая дверь широко распахнулась, и, словно сметающее плотину половодье, в тронный зал волна за волной ворвалась предводительствуемая католикосом Нерсесом толпа нахараров. Пап испуганно съезжился на троне, спрятался с головой под пурпурной отцовской мантией и затих.

Нахарары словно сговорились: приверженцы Персии и приверженцы Византии перемешались, и лишь мелочи одежды да еще, пожалуй, прически выдавали принадлежность к той или другой стороне. Это становилось уже опасным, ибо царь и в мыслях не держал, что две враждующие стороны способны хоть на полчаса найти общий язык и объединиться против него.

Кто хорош, так это Айр-Мардпет, вы только гляньте, гляньте на него: просторная, складка на складке рубаха — это по-армянски, поверх нее белая туника — это по-гречески, завитые волосы — это уже по-персидски. С ума сойти, ей-богу!

— Приверженцам Персии стать справа от трона, — со злым смешком приказал царь, — приверженцам Византии — слева!

— Отправь Ормиздухт обратно! — исполненный негодования, потребовал католикос Нерсес.

— Изгони Олимпию, — дружелюбным голосом добавил Меружан Арцруни, и царь так и не взял в толк — просьба это или распоряжение.

— Драстамат! — во все горло крикнул царь, хотя ясно видел, что тот, на голову выше всех, стоит у дверей. — Позови моего друга детства азата Ефрема. Хочу сыграть с ним в шахматы.

В глубине души он обрадовался, что им не найти общего языка. Уже самые первые их слова несуразны и курам на смех. Почему отправить обратно одну только Ормиздухт? Почему изгнать одну только Олимпию? Выходит, кому-то из двоих все-таки остаться?

Он подошел к трону, увидел съездившегося под пурпурной мантией, словно завернутого в нее, напуганного сына, взял его на руки и вынес. Пусть ему и в голову не придет, что подданные царя когда-либо дерзнут предъявлять требования своему государю, попытаются прижать его к стене или вывести из равновесия. Почему-то он отнес сына в спальню, извлек из-под мантии, как из пеленок, стал перед ним на колени, взял за руку и с умилением заглянул в глаза.

В глазах у Папа был страх. Отпечаток того мгновения, когда внезапно распахнулась двустворчатая золоченая дверь и в зал — волна за волной — ворвалась взбешенная свора нахараров. Значит, он уже в состоянии улавливать запах опасности, умеет различать дробный перестук барабанов. Никто его этому не учил, никто не рассказывал о барабанах, да

и какая в том нужда; должно быть, есть нечто, с кровью передающееся из рода в род. Это хорошо, но отчего же он испугался, ведь отец-то был рядом. Когда я рядом с тобой, ты не вправе бояться. Слышишь, не вправе!

— Завтра мы отправимся с тобой на охоту, — мягко сказал царь. — А вечером зайди на конюшню и выбери себе коня по вкусу. Я его тебе подарю.

Поднялся, с виноватым лицом взъерошил черные волосы сына и медленно направился к выходу. Он лебезил перед сыном. Чтобы тот уверовал в мощь отца, во всемогущую отцову силу, чтобы в детскую его душу не закралось сомнение.

— А меч подаришь? — послышался вдруг голос Папа.

Царь обернулся и с удивлением взглянул на него. Сын что-то понял, уловил чутьем. И хотел побольше выгадать, покуда отец угождает ему и потекает. Будь ты обыкновенным мальчишкой, я бы тебя, паршивец этакий, попросту выпорол, но, коль скоро ты наследник престола, твои слова никоим образом не возбраняются, напротив, они достойны всяческого поощрения. Сын затеял с отцом торг. Чтобы забыть яростный и беспомощный голос отца. И ворвавшуюся в двустворчатую золоченую дверь непотребную свору нахараров. Чтобы отец оставался для него воплощением силы и могущества. Нет, он из тех, кто ест, он едок. С отменным аппетитом, до того отменным, что не прочь отведать и отцовского мяса. И, невзирая на охватившую радость, царь пожалел сына, потому что — увы! — заслуживающие порицания свойства похвальны, весьма похвальны у престолонаследника. Сколь же, стало быть, ущербна та разновидность рода человеческого, к коей принадлежат престолонаследники и цари.

— Подарю, — улыбнулся он. — Непременно подарю.

— Настоящий? — уточнил сын.

— Настоящий.

И быстро направился к тронному залу, довольный, что припоздал и заставил ждать виднейших царедворцев. Толкнул ногой дверь, решительно вошел и, ликуя, стал очевидцем свары персолюбов, греколюбов и прочих «любов»; те уже вцепились друг другу в глотки, и сызнава зазвучала набившая оскомину песенка: наша связь с персами теснее, наши цари и те персидского происхождения; нет, мы христиане и крепче связаны с Византией. И никто не говорил, кто же мы сами такие и куда держим путь. И поскольку то был для царя день противоречивых чувств, он не захотел перестраиваться, и его ликование сменилось глубокой грустью.

Не лучше ли, если бы они хоть единожды сплотились против царя? Двинься они против царя объединенными силами, ему было бы совестно не обрадоваться их единству, не испытать гордость.

— Персолюбы — направо! — весело подтрунил он. — Греколюбы — налево!

— Зачем ты над нами издеваешься, царь? — оскорбился Смбат Багратуни, повергнув царя в изумление: с чего бы это тугодум аспет, вместо того чтобы принять услышанное всерьез и стать слева от трона, уловил насмешку?

— Какое уж тут, прости господи, издевательство? — Царь придал лицу невинное выражение. — Просто я хочу говорить с каждой стороной в отдельности.

— Нас не проведешь, царь, — выступил вперед католикос и добавил с благородным своим негодованием: — Я хорошо тебя знаю, ты заверишь обе стороны в своем сочувствии.

— Нерсес! — укоризненно посмотрел на него царь и с сожалением покачал головой.

Царь совершенно не узнавал двоюродного брата. Он еще мог кое-как смириться с тем, что в один прекрасный день Нерсес перейдет в стан врагов, но что Нерсес разучился понимать насмешку — вот это уж непростительно. Наверное, с головой уйдя в благотворительность, католикос отдал просвещению страны столько душевных сил, что превратился мало-помалу в человека попросту неинтересного.

— Нерсес! — повторил царь с былой любовью и теплотой.

— Я благоустроил твою страну, просветил твой народ, ныне у нас нет селения, где не стояли бы школа, больница или приют, — продолжал Нерсес так истово, что каждое его слово, казалось, должно было хлестать царя по лицу, звать к совести, выводить из беспамятства. — И чем же ты мне отвечаешь? Аршакаваном? Городом безбожников? Раздором с нахарарами?

— Поначалу я тоже думал, что ты денно и ночью трудишься на благо страны, и, господь свидетель, гордился тобой, — спокойно возразил царь. — Но вскоре понял: прикрываясь словами «народ, народ», ты служишь только себе, лишь церкви. Ты постарался завоевать доброе имя, чтобы получить право вмешиваться в мои дела.

— Ты клеветешь на меня! — до глубины души возмутился Нерсес и ударил жезлом об пол. И удар жезла стал как бы опорой его возмущению. Значит, Нерсеса оскорбила не напраслина, а правда.

Нахарары, даже кое-кто из сторонников Персии, зароптали: смотрите, мол, до чего мы дожили, если царь громоглас-

но порочит католикоса, человека столь святого и преданного.

— Эх, Нерсес, Нерсес! — грустно улыбнулся царь. — Из тебя так и не получился священнослужитель. Твои цели остались сугубо мирскими. Теперь скажи, чего ты от меня хочешь? Чего добиваешься?

— Уничтожь Аршакаван. Помиришь с нахарарами. Примири их между собой. Мы должны наметить общую цель.

— Ты обыкновенный нахарар, Нерсес, только и всего, — горько усмехнулся царь. — А если нет, отчего же ты тогда облагаешь народ налогами? И если ты воистину заботишься о благе простого люда, если искренне говоришь в проповедях, что крестьянин угнетен, отчего же выступаешь против Аршакавана? Отчего, пользуясь положением главы Великого судилища, собственлично судишь устремившихся в Аршакаван беглецов? Где же здесь логика? Если ты настоящий священнослужитель, то отчего тебя так волнует политика? Какое тебе дело, с кем царь в союзе и с кем враждует?

— Откажись от Аршакавана, и мы пойдем на уступки, — сказал Камсаракан, почему-то пряча руки за спину.

— Армянские цари всегда совершали выбор, государь, — проговорил Меружан Арцруни голосом, исполненным спокойствия и достоинства. — Ты должен принять чью-либо сторону. — И сочувственно добавил: — Зря ты идешь наперекор судьбе.

Сочувствие было искренним, сомневаться не приходилось. И это еще больше взъярило царя. Он вообще принимал близко к сердцу любое слово Меружана. Принимал близко к сердцу и гневался. Ибо не умел скрыть, что этот человек — его слабость. Он не в силах был себя побороть, он любил его, самого опасного своего врага, этого прекрасного как лев молодого мужчину, которого господь должен был бы дать ему в союзники.

— Все только и знают что советовать, — окончательно потерял терпение царь. — Мы стали народом советчиков. Всякий считает своим долгом учить другого уму-разуму. — Он огляделся, увидел сытых, самодовольных нахараров и разъярился пуще прежнего. — Куда ни повернись, всюду советчики. В этой стране и стар и млад все знают. Нет ничего неясного. Всем ведомо, что нужно делать. Но как, как, как?! Вот этого никто не знает. Никто не знает и знать не хочет. — И вдруг ни с того ни с сего заорал во все горло: — Персолюбы — направо, греколюбы — налево! Не слышите, что приказывает вам ваш царь? Отчего же не становитесь налево и направо? Стыдно? А действовать? Действовать

можно, верно ведь? Чьи земли поближе к персидской границе, того тянет переметнуться на сторону Персии, чьи поближе к византийской, стоит за союз с Византией. А мне-то, мне, который посреди страны, в самом ее сердце, как быть мне? — Чуть понизил голос, но не справился с задышкой. — Твое, святейший, предложение наметить общую цель можно принять с одним условием. Если мы будем полагаться лишь на себя. И пойдем, что Аршакаван строится не только для моей, но и для вашей пользы.

— Я с тобой, царь! — воодушевленно воскликнул князь Вачак, тот самый, которого однажды, во время достопамятного обеда, царь усадил на свое место.

— Бога ради, князь Вачак, не путайся под ногами, — снова распалился царь. — Примкни к какой-нибудь из сторон. А ты почему сам по себе, Айр-Мардпет?

— Я очень стар, царь.

— Тоже мне стар! В этот роковой час ты обязан сделать выбор! — настоятельно потребовал католикос.

— Святейший, — насмешливо развел руками царь, — как ты миришься с многоженством? Ты же всем его запретил. Так отчего дозволяешь мне? Разве это не язычество? Что ж получается, царь язычник, а подданные — христиане?

Меружан Арцруни подошел к царю, дружески положил ему на плечо руку, прямо и открыто посмотрел в глаза и сказал:

— Я боюсь, царь.

— Чего ты боишься, Меружан Арцруни? — усмехнулся царь.

— Боюсь изменить родине.

— Однако это не мешает тебе втайне от меня ездить к шаху, — взревел царь и резко отстранился.

— Не думай, что изменить так уж легко, — мягко, невзирая на цареву грубость, заключил Меружан и отошел: я, мол, сказал все, что имел.

— Аршакаван — мой! — зло крикнул царь. — И я никому его не отдам. Я стану драться против вас заодно с вашими рабами и слугами.

— Князь Арцруни прав, — сказал католикос. — Если их назовут изменниками, то знай — вина в этом твоя.

— Может, ты тоже прав, посылая в Кесарию письма и сетуя в них: вот, дескать, армянских первосвященников будут отныне рукополагать на родине, не спросясь Византии. — Царь едва не задохнулся от ненависти. Он давно знал о письмах католикоса, но стоило заговорить о них вслух,

и поведение Нерсеса показалось ему прямо-таки вопиющим. — Может, в этой твоей измене повинен опять же я?

— Как ты смеешь, царь! — покраснел католикос. — Как у тебя только язык поворачивается?

— Отвечай, отвечай, нахарар Нерсес! — грубо потребовал царь. — Пусть все слышат.

— Это вопрос сугубо вероисповедный и не касается никого, помимо меня.

— Слыхали? — А кто, собственно, будет слушать, кому это выгодно? — Выходит, зависимость от Византии — не измена, а сугубо вероисповедный вопрос.

— Не принуждай предавать тебя анафеме, — попросил католикос, и царь почувствовал, что тот искренне, словно оказывая милость, избегает крайней меры. И это опять вывело его из себя.

— Вы боитесь своих рабов и слуг больше, чем персов или византийцев, — взорвался царь. — Пускай я стану царем рабов, пускай в моей стране не будет нахараров!

И презрительным движением руки показал всем: вон! Разгневанные и оскорбленные нахарары — волна за волной — покинули тронный зал.

— Запомни же, я не хотел становиться изменником! — донесся до царя голос Меружана Арцруни.

Ну и что? Здесь, в четырех стенах, не будет никого, один только он. Уже уходят. Вот-вот выйдут последние. Драстамат и тот исчез. И Айр-Мардпета не видать: он ни с кем, он сам по себе. Как же, стар!.. Куда вы? Зачем меня бросаете?

Я ваш. Кровь от крови вашей. Плоть от плоти. Аршакаванский сброд — он чужд мне. Я боюсь этих людей. Они едят руками. Не забывайте, не забывайте, что вы сами толкнули меня на союз с ними. Не позабудь этого, Нерсес! Горе вам!

Гнел!

За решетку их! — голос Гнела. Не дай им уйти из дворца. Не могу. Не надо меня неволить. Не надо правды. За решетку, пока не поздно! Потом пожалеешь.

Знаю. Но не могу. Их... много.

Теперь дорог каждый миг. Знай, упустишь этот повод — и ты проиграл.

Они нужны мне. Пусть они и враги. Все равно нужны. Как правая и левая рука. Как глаза и уши.

Решайся! Прошу тебя. Заклинаю. Молю на коленях. Целую твои стопы. Либо ты победишь теперь, либо теперь проиграешь.

Ну хоть бы нескольких, а? Всех не могу...

Слышишь топот копыт? Горопись! Твои враги уезжают. Прикажи их схватить. Закуй в кандалы. Расправься с ними. Иначе они расправятся потом с тобой. Это закон, на котором стоит мир. Ты что, не знаешь?

Сгинь с глаз моих! Испоганил мне жизнь. Вывернул мне душу. Учти, я отрекусь от своей клятвы. Прибью тебя как собаку.

Ты проиграл, царь. Топота копыт уже не слышать.

Приверженцы Персии — направо! Приверженцы Византии — налево!

Ну, так что же случилось, что я натворил, что ты уразумел, Драстамат!

★ ★ ★

— Ты любишь меня, сенекает? Меня, а не царя? Драстамат никогда еще не видел царя в таком состоянии. Тот загнал сенекаета в угол тронного зала, схватил за ворот и нетерпеливо ждал ответа, будто от одного Драстаматова словечка зависела его судьба и счастье страны. Лицо искажено волнением, в маленьких глазах — великая тревога и смятение, выпуклый лоб покрыт холодной испариной. Ему и в голову не приходило, что подобным вопросом может задаться не только он сам, но и другой, кто бы то ни был. В нем внезапно возникла потребность в любви — возникла, переполнила все его существо и начала душить. И теперь с трудом дышалось не Драстамату, которому царь стиснул горло, а самому царю. Как знать, без зазрения совести полагаясь на преимущества царского сана, не ожидал ли он положительного ответа в надежде, что его сомнения рассеются? И поскольку Драстамат был на голову выше, царь смотрел на него снизу вверх, словно умоляя.

Хотя царь и стоил того, чтобы ему искренне, как человеку, посострадали, Драстамат его не пощадил. Разве это вменялось когда-либо в обязанность сенекаету? Будь ему сказано: ты, мол, должен, помимо всего прочего, жалеть царя, он бы, конечно, постарался. Но ведь сказано-то не было. И теперь, когда молодость давно уже позади, Драстамату нелегко добровольно взваливать на свои плечи еще и это бремя. Удивительно лишь одно: почему царь вкладывает столько страсти в такой немудреный вопрос? Тем паче что ответ будет до крайности прост.

— Зачем тебе моя любовь, царь? — спокойно спросил Драстамат. — Мое призвание, мое дело — искренность и преданность. Ищи любовь у ровни.

— У ровни, говоришь? — рассвирепел царь и сильнее ухватил сенакапета за ворот. — Но у кого же? У кого?

— Ни у кого, царь, — холодно ответил Драстамат. — Если кое-кто из равных и привязан к тебе, причиной тому сугубая корысть. Благо страны тут ни при чем. Любви нужна общность интересов. И не каких-нибудь, а по самому большому счету. На уровне бога или отечества.

И откуда в нем такое самообладание, когда первейший в стране человек, когда сам армянский венценосец грубо загнал его в угол и крепко-накрепко схватил за горло? И как он смеет не говорить слов, которые царю угодно от него услышать? Не понимает он, что ли, этот туполобый дылда, что на вопрос царя надлежит с выражением полнейшей искренности в глазах дать положительный ответ и поставить тем самым точку.

— Выходит, что никто меня не любит?

— Никто, — подтвердил Драстамат.

Царь отпустил его. Отошел в сторону. Сел на трон, расслабил ворот, расстегнул пояс, скинул обувь и вытянул босые ноги. Глаза застыли, упершись в пустоту...

Драстамат не спеша привел одежду в порядок и стал подле трона. Он знал, что ему еще рано покидать зал. И вообще он знал, когда входить без зова и удаляться без приказа.

— Ну а Васак? — не двигаясь, спросил царь хриплым голосом. — Он тоже не любит?

— Нет, царь.

— Да ты что! Васак? Мой верный спарапет? Очнись, Драстамат!

— Он любит государя, а не тебя.

— А Гнел?

— Любит государя, а не тебя.

— А Пап?

— Пап любит свое будущее, царь.

— Чушь! — подхватив полы мантии, вскочил царь. — Я мог бы и не быть царем. И что, мой сын не любил бы меня?

— Тогда бы, конечно, любил. Но в данном случае то, что ты царь, ему мешает.

— А Парандзем?

— Не любит, — коротко ответил Драстамат. — Ни тебя, ни царя.

— Что же получается, Драстамат? — с внезапной мягкостью, словно примирившись с чем-то необоримым, спросил царь. — Получается, я совершенно одинок?

— Все, у кого власть и сила, одиноки, царь.

— И никто меня не любит?

— Царей никто не любит, мой господин.

— Независимо от того, что они за люди — хорошие или дурные?

— Богов тоже не любят, царь. Поклоняются, но не любят. Потому что бог и властитель суть идеи, а не плоть и кровь.

— Начни я завтра грабить страну, обложи крестьян тяжелыми податями, набей темницы людьми, тогда поглядим, стану я или не стану плотью и кровью, — со злостью накинулся на сенекапета царь. — А сократи я поборы, запрети плохо обращаться с простым людом, и тогда, по-твоему, не стану плотью и кровью?

— Когда на небе жаркое солнце, когда мы чувствуем окрест дыхание весны, когда в земле наливаются семена, нам хорошо, верно? Но кого за это любят? Ну а если потоп, землетрясение, засуха? Кого тогда ненавидят? Тот, кто ниспослал это, так далек и непостижим, что недосягаем для любви и ненависти.

— Но я хочу, чтобы во мне перво-наперво видели человека, — не смирился, не согласился царь. — Царя и человека разом. Что здесь неестественного?

— Если ты наделен силой и властью, естественные желания оборачиваются слабостью, — упрямо возразил Драстамат, мешая царю тешиться самообманом. — Третьего не дано, государь. Либо человек, либо царь.

— Врешь! — застонал царь. — А как же Аршакаван? А мой город? — Он выпрямился и высоко поднял голову, словно готовясь к торжественной клятве. — Любовь и благоговение, которые толпа питает к престолу вообще, я превратил в живое и сильное чувство. В любовь к определенному человеку. Ко мне. — И с горячечной веселостью выкрикнул: — Не смей мне перечить! Запрещаю! Я одолею свое одиночество не с ровней, а с чернью, с простонародьем. Вместе с чернью, а не с ровней буду я строить страну. Прекратим эту бабью болтовню. Мне наплевать, кто меня любит, а кто нет. Ступай, сенекапет, ты проиграл. Тебе нечего больше сказать.

Драстамат ушел, но не потому, что так велел царь, а потому, что почувствовал — пора. В противном случае он, несомненно, не двинулся бы с места, и царь не возражал бы.

А оставшемуся в одиночестве царю страшно хотелось, чтобы под рукой у него оказался сейчас хоть кто-нибудь, кого он мог бы спросить: ну, так что же случилось, что произошло, что ты уразумел?

— На днях, Айр-Мардпет, ты отправишься к Нерсесу. В Аштишат. Скажешь, что царь в восторге от его благотворительной деятельности. От того, что он просветил наконец нашу страну. Заронил повсюду семена человеколюбия. Научил власть имущих быть мягкими и незлопамятными. Жалеть тех, кто гнет на них спину. Не обременять их тяжкими поборами. Ибо и у них есть заступник на небе. А простолюдинов научил почитать господ... — Царь умолк и посмотрел на советника беззастенчиво-наглым взглядом. Если правда, что в любом человеке одновременно обитает несколько душ с взаимоотрицающими — от наидобротельнейших до наигнуснейших — свойствами, то при главном советнике по внутренним делам можно было без стеснения дать волю последним, поскольку он сам к тому подбивал. — Ну а дальше что, Айр-Мардпет? Что я затеваю? Остерегайся: если угадаешь мою мысль, я сочту тебя человеком, опасным для престола...

— Уважение и любовь, которые повсеместно снискал себе святейший, тенью ложатся на твою власть, царь, — смакуя каждое слово, ответил Айр-Мардпет.

— Тебе не повезло, Мардпет, ты угадал. Нет, когда-нибудь я все-таки снесу тебе голову.

Айр-Мардпет тихонько рассмеялся и, убаюканный удачей, не заметил мелькнувшего в глазах царя злобного блеска.

Ладно, Нерсес, ладно! Неблагодарный двоюродный брат! Стало быть, так: ты был никто и ничто, я сделал тебя человеком и усадил подле трона, чтобы ты под меня подкапывался? Будь твоя стрела нацелена только в меня — полбеды, я бы скрепя сердце стерпел, проглотил бы это. Но ты опасен тем, что, подобно мне, несвоекорыстен. Добро бы думал о себе, и лишь о себе. Я бы тебя простил и любил, как прежде. Так нет же, твои действия направлены против армянских царей вообще, не только против меня, но и против царей грядущих. Против десятилетнего Папа, против его сына, и внука, и правнука. И как скрытно и хитро, как тонко, с какой выматывающей душу неспешностью и выдержкой ты добиваешься своего! По сравнению с этим меркнет даже моя сатанинская идея — создать Аршакаван. Детский лепет, и только.

Далеко до тебя всем моим нахарарам, они рядом с тобой — наивные пигмеи. Хваленая твоя благотворительность и твое просветительство — зряшное и никчемное дело. Огромный и надежный щит, укрывающий мирянина Нерсеса. Они не радуют тебя, ты вовсе не любишь народ. Школа-

ми, богадельнями, приютами ты изо дня в день укрепляешь свое влияние, чтобы добиться для церкви права вмешиваться в дела государства. Тебя уже именуют Нерсесом Великим, с чем я тебя и поздравляю. А бежавших в Аршакаван ты судишь с такой суровостью, с такой жестокостью, которая не снилась и Меружану. Еще доказательства? Разве тебе не ведомо, что идет война, борьба не на живот, а на смерть? А коли ведомо, так зачем же ты с прежним размахом продолжаешь благотворительную свою деятельность? Кому они нужны, твои школы и богадельни, если не сегодня, так завтра враг растопчет нашу страну? Тебе ли, бывшему воину, объяснять: теперь нам нужно оружие, нужны деньги, нужно твое богатство. А ты, закусив удила, знай открываешь новые школы, строишь новые приюты и больше заботишься о прокаженных, чем о стране и народе.

С ума схожу, едва подумаю, за чей счет ты все это творишь. За мой, за мой! За счет земель, моих денег. Я собственноручно воздвиг перед собой исполинскую гору, перекрыл себе дорогу, лишил обзора и окоема.

— Изыщи любой предлог, Айр-Мардпет, прибегни к любым средствам, — под нос, чуть слышно сказал царь, — но заставь святейшего допустить такую ошибку, в наказание за которую я буду вынужден — слышишь, вынужден! — отобрать земли, дарованные мною церкви. После чего благотворительность будет осуществляться на доходы с этих же земель, но уже от моего имени.

— Это не тщеславие, царь, — успокоил его Мардпет. — Народ должен испытывать признательность к царю, а не к католику. Народ должен славить царя, а не церковь. Это нужно стране, именно стране.

— Нет, Айр-Мардпет, — зловеще улыбнулся царь, — я не намерен оставлять у тебя на плечах такую голову.

— Будь спокоен, царь, — опять тихонько рассмеялся главный советник. — Когда я вернусь, все уже уладится.

Поклонился и вышел из тронного зала.

Если вернешься. Он, видите ли, ни с кем, сам по себе! Он, видите ли, очень стар! И кто сказал, что он не умышленно сообщил об убийстве Гнела при католику, дабы тайна раскрылась и стало ясно как день: убийца — царь.

Если вернешься. Коли скоро Нерсес таков, каким я его знаю, едва ли ты вернешься, Айр-Мардпет. Считай, что католикос уже совершил ошибку. И она стоила тебе жизни.

Нерсес, мой двоюродный брат, моя кровь и плоть, храбрый воин, любимец женщин, а ныне — замечательный

первосвященник. Да, его шаги направлены против царя. И что с того? Да, власть и могущество церкви растут. А как же иначе? Разве сам-то он вел бы себя по-другому?

Глава девятнадцатая

По требованию царя перед ним предстала Олимпия. Однако, к великому своему разочарованию, она увидела, что ее препровождают отнюдь не в спальню, а в тронный зал. Она уже довольно долго жила в этой чужой стране и еще не встречалась с царем. Царь не вызывал ее и не посещал.

Олимпия не покидала отведенных ей во дворце покоев, потому что, даже огражденная стенами, ощущала косые взгляды, которые бросали на нее здешние обитатели. В особенности она боялась двух царевых жен и собственного уродства.

Она не могла роптать: палаты были роскошны, а слуги и горничные внимательны и предупредительны, но ее душа противилась однообразию открывающейся из окна картины. День-деньской, словно узница, простаивала она у окна, и картина... нет, не менялась...

Однажды, когда отчаяние мертвой хваткой вцепилось ей в горло, Олимпия скатала из хлебного мякиша шарики и один за другим побросала на проходивших внизу слуг и воинов. Выглянуть и проверить, достиг ли какой-нибудь из шариков цели и в кого угодил, у нее не достало духу, однако отчаяние чуточку отступило и ослабла стиснувшая горло петля, потому что хоть чей-то взгляд, наверное, устремился-таки кверху, к окну.

А царь все не шел.

Олимпия не знала и не желала знать, красив он или уродлив, благороден или подл, знала только, что он для нее — единственная живая душа в этом дворце, единственное утешение, и ничего другого ей не оставалось — она любила его и страдала. Ибо не будь любви и страдания, не было бы и утешения, а не будь утешения, она выбросилась бы из этого окна. Она пошла бы на такое, чтобы в этой однообразной и постылой картине хоть что-нибудь изменилось. Пусть даже она сама этого не увидит.

А царь все не шел.

Олимпия попыталась было сойтись поближе с горничными и поверить им свое сердце. Однако поняла: обрушья даже небо на землю, она и тогда этого не сделает. Отцовское богатство и положение никоим образом не позволят. А что было у нее в жизни, кроме них? Только это и придавало ей

силы, когда она направлялась в плен из страны в страну, только это скрашивало уродство и помогало высоко — с гордостью и достоинством — держать голову. И она никогда не упускала случая — кстати или некстати, впопад или невпопад — напомнить, кто таков ее отец.

А царь все не шел. Нет, не шел.

По ночам Олимпия раскладывала на постели привезенные с собой украшения и драгоценности, подобных которым не сыщешь и в Византии, не говоря уж об этой небольшой скромной стране. Раскладывала свои великолепные наряды, о каких не могли и мечтать царицы жены. Каждый день облачалась в них, но этот блеск ослеплял разве что ее самое да еще зеркало.

Нет, не шел.

Другие — те приходили. Из страха перед императором. Приходили и обесмысливали отцовское богатство и положение. Обесценивали ее драгоценности и наряды. Давали взамен человеческое дыхание и тепло. И, помышляя об императорской благосклонности, лгали, будто любят ее. А она знала, что лгут, и все же обманывалась. Не было у нее иного выхода. Нет бы пришел и он, как приходили другие, и, точь-в-точь хлебные шарики, вышвырнул бы вон имя и положение ее отца и эти тяжело лежащие на ее плечах жемчуга.

И вот явились сообщить, что он зовет ее.

Сердце зашлось от радости, голова закружилась, перед глазами все поплыло. Она в тот же миг подумала: пусть лицо у нее и некрасиво, зато тело прекрасно. А это немало. Нет, немало. Из-за спешки она пошла в чем была, в простеньком, почти никак не украшенном наряде. Но куда? Не в спальню, а в тронный зал.

— Мне показалось, что в тот день ты чего-то не договорила, — сразу же начал царь; голос у него звучал на удивление мягко и дружелюбно.

Сглотнув слюну, Олимпия отрицательно покачала головой.

— Стало быть, и впрямь показалось, — успокоил ее царь.

Он задумчиво вышагивал перед тронном. Затаив дыхание, Олимпия следила за ним, словно даже неприметное его движение могло осчастливить ее или ввергнуть в несчастье. Первая их встреча была слишком мимолетна, и лицо царя почти стерлось у нее из памяти. Олимпия представляла его себе несколько иным. И получалось, что она была влюблена в другого человека, из-за другого человека терзалась днями напролет у окна.

Теперь она лихорадочно пыталась примирить того, кого она рисовала в воображении, с тем, кого перед собой видела. И безысходность, несопоставимая с любым злом и бедствием, сделала свое дело. Примирение было полным.

Царь резко обернулся и спросил:

— Что наказал тебе император, посылая сюда?

Смешавшись, Олимпия почему-то вновь отрицательно покачала головой.

— Император, ну, император, — мягко повторил царь. — Он ведь велел потребовать, чтобы... Император, ну же, император...

Олимпия была как на иголках. Немо, затравленно взирала на царя. Хотела отвести от него потухший взгляд, но ее словно околдовали.

— Он велел потребовать... Что потребовать? — продолжал царь. — Император... Брат твоего покойного жениха...

Царь наподобие учителя терпеливо дожидался ответа на свой несложный, ясный вопрос. А еще создавалось впечатление, будто Олимпия должна, как младенец, совершить сейчас первый свой шаг и кто-то, раскинув руки, ободрял и ласково уговаривал ее.

— Что он тебе сказал? Сказал, что... Что велел? Велел потребовать, чтобы...

— Он велел потребовать, чтобы ты сделал меня царицей.

В конце концов Олимпия подчинилась колдовству, и слова сами собой сорвались с ее губ. Царь кивнул ей и, сочтя вопрос исчерпанным, сел на трон.

— Прости, что я доставляю тебе столько огорчений, — в слезах кинулась на колени Олимпия. — Я бы никогда не сказала тебе этого. Ты сам меня заставил.

— Что же нам теперь делать? — раздумчиво спросил царь.

— Я напишу императору и буду умолять отказаться от этого намерения.

— Стало быть, не хочешь стать царицей? Ты что же, не от мира сего?

— Я боюсь, царь, — в глазах Олимпии мелькнул ужас. — Твои жены меня отравят.

— Не посмеют, — улыбнулся царь.

— Я знаю, что смерть неминуема, но я не хочу умирать здесь.

— Не все ли равно, где умирать, — усмехнулся царь, даже не попытавшись поднять ее.

— Я хочу умереть там, где не буду временным человеком.

— Я назначаю царицей тебя.

— Не делай этого, царь, — зарыдала Олимпия и обняла его ноги. — Не губи меня...

— Царица моей страны — ты. Раз ты действительно этого не хочешь, стань ею.

— Ты унижаешь сейчас не императора, царь. Ты меня унижаешь... Ради бога, не надо видеть во мне императора... Я — это я, царь. Олимпия. Твоя жена. — И для вящей убедительности она пошла на полное самоуничтожение: — Твоя некрасивая жена...

Царь посочувствовал ей. Олимпия, видимо, была единственным во дворце человеком, достойным подлинного уважения. Но ему доставало царских забот и горя, он хлебнул их с лихвой, и его тошнило от них. Трагедия Олимпии была ему лишней обузой, приводила в ярость, злила. И сострадание мало-помалу сменялось жестокостью, болезненно-слабым желанием раздавить, растоптать слабое, беспомощное существо. Ощущение было приторным и отвратительным, как кровь.

— Нет, ты станешь царицей, — окончательно решил он и грубо оторвал от себя руки Олимпии. — Станешь восседать обок трона. Император будет доволен... Не нам с тобой ослушиваться его повелений.

Они не заметили, как в тронный зал бесшумно вошла Ормиздухт, стала у дверей, вслушалась в их разговор и презрительно скривила губы.

— Император что-то знает, если повелевает сделать именно так, — с налитыми кровью глазами продолжал царь и, растравляя Олимпии душу, вымещал на безответной женщине всю свою злость: подумать только, что творится в мире, какое злосчастное для него, армянского царя, стечение обстоятельств! — Он знает все. А мы с тобой не знаем ничего. — Может, сам император и слабосилен, но под рукой у него — сила. А у царя, преисполненного внутренней мощью, под рукой ничего нет. Как тут не беситься? И не вымещать свою злость. — Ты станешь царицей... Мы должны снискать благоволение императора. Должны задобрить его. Таков наш жребий. И нам его не избежать. Где уж нам!

— Зачем ты губишь меня, царь? — упав ему в ноги, рыдала Олимпия. — Почему не видишь во мне меня? — Она уже тосковала по своему окну, по унылому и однообразному виду, открывавшемуся оттуда, по мучительным своим ожиданиям. — Пощади меня Христа ради! Ведь я твоя жена...

— Царь прав, останавливая выбор на тебе, — внезапно

раздался спокойный, холодный голос Ормиздухт. — Удача в войне пока что сопутствует Византии.

Царь с Олимпией окаменели. Затем Олимпия тяжело поднялась и, смущенная, кивнула Ормиздухт, даже вроде улыбнулась. Она впервые видела персиянку, которая прямо-таки излучала очарование. Нет, Олимпия не ведала зависти. Она оценила красоту соперницы и восхитилась ею.

Царь прорычал что-то, вскочил с трона и широченными шагами подошел к Ормиздухт. Долго стоял перед ней, озирая с головы до пят, потом положил руку на шею и слегка сжал, желая то ли приласкать, то ли причинить боль; немного погодя рука медленно поползла вниз, к груди, но тут царь резко ее отдернул.

— Ночью я приду к тебе, — раздельно сказал он, прикрыв глаза; он хотел сдержать ярость и говорить спокойно, под стать персиянке. — Только если ты и в постели так же искусна, как в речах, я, пожалуй, позволю тебе изредка быть со мной дерзкой.

— Шах повелел, чтобы царицей стала я.

Царь кивнул. Ну разумеется, а как же иначе. Шах, властелин мира! Император, гроза и ужас малых сих! Но я-то здесь сбоку припека, я-то чего путаюсь у них под ногами, кто я такой, зачем трепыхаюсь, кому это нужно? Все вправе повелевать мною. Хорошо еще, что повелевают, а не дают советы, как мои приближенные. И царь снова кивнул.

— Однако я, царь, оставляю это на твое усмотрение. — Ормиздухт вложила в эти слова все свое женское обаяние. — Приказ брата — ничто перед волей супруга.

С каким, черт возьми, восхитительным бесстыдством она прощebetала, чуть ли не пропела эти льстивые слова — она лукавила до того откровенно, что обезоруживала собеседника и выбивала у него из-под ног почву.

— А не угодно ли императору, чтобы первую ночь я провел с тобой? — невесть отчего царь излил ярость на молча забившуюся в угол Олимпию. — Не угодно ли ему, чтобы я еще и считал тебя самой красивой из моих жен? Ну-ка вспомни хорошенько! А если я вовсе к тебе не приду? Если не приду, а? — И, заметив, с какой снисходительной улыбкой поглядывает на Олимпию Ормиздухт, царь вдруг вознамерился защитить слабую, потому что жестоким к ней мог быть только он, но никто другой. — А если и к тебе не приду? Если ты, на мой вкус, холодна? Если не лежит к тебе сердце? Что, может, император и шах лишат меня престола?

И надо же, тут-то и появилась в тронном зале армянская царица, да еще с короной на голове, да еще в убранстве, приличествующем торжественным дням, с обнаженными руками и шеей. Но зачем она набросила на плечи тончайшую шелковую мантию? Кого должны ослепить серьги, жемчужное ожерелье и ушитый драгоценными камнями пояс? И почему все на ней пурпурное или голубое — ведь это родовые цвета царского дома?! Тут явно пахнет угрозой. Окруженный женами, царь уселся на трон, откинулся на спинку и замер, устремив глаза куда-то вдаль, — наподобие смертельно уставшего человека, он отрешился от всего на свете.

Парандзем не вошла, а ворвалась в тронный зал. Между тем ее одяние требовало иной поступи и поведения — ей надлежало быть медлительной, величавой, торжественной. Это противоречие только усиливало впечатление, произведенное ее приходом, и чужеземки, даже Ормиздухт, испуганно притихли.

— Прикажи этим женщинам удалиться, — проговорила Парандзем своим глубоким и властным голосом. — Им никогда не увидеть армянскую царицу униженной. Тебя — да, но не меня.

Затем неспешно сняла с головы корону и швырнула ее к ногам соперниц.

— Берите, она теперь ваша. Но будьте осторожны, вырывая ее друг у друга, не растеряйте камень.

Задыхаясь от стыда и слез, Олимпия выбежала из тронного зала; она торопилась к своему спасению, к унылой и однообразной картине в окне, к одиночеству.

— Не будь армянская царица столь прекрасна, я несомненно затаила бы на нее зло, — с улыбкой сказала Ормиздухт, изящно и легко нагнулась, подняла корону и положила к ногам царя.

— Вот и затаи! — вскинула голову Парандзем. — Та дурнушка не может мне завидовать. Но ты можешь. Не забывай, чужестранка, ты тоже красива.

То бишь красота — несчастье. У той, кто красивее, раньше слетит голова с плеч, потому что красавицу сочтут самой опасной среди соперниц.

— Но ты, Парандзем, красивее меня, — учтиво и язвительно произнесла Ормиздухт, поклонилась сперва царю, затем царице и с подчеркнутой медлительностью покинула тронный зал.

А царь все так же недвижно сидел на троне, уставившись отрешенным взглядом куда-то вдаль.

Едва чужачки ушли, ослабевшая Парандзем присела на ступеньки подножия, спиной к царю. Встреча была недолгой, но до того напряженной, что силы Парандзем почти иссякли. Сил оставалось мало, предельно мало, и эту малость надлежало использовать для последнего столкновения с царем.

Кем ты была, Парандзем, и кем ты стала? Она часто задавалась этим вопросом и никак не находила ответа; не говорила себе, что была беззаботной и жизнерадостной дочерью сюникского князя Андовка, а теперь ее удел — заботы и горечь, была женой не слишком влиятельного, хоть и царского рода, князя, а теперь стала армянской царицей. Она равно не любила ни свое прошлое, когда мир ограничивался для нее замком отца, а окоем — заостренными кверху крепостными башнями, ни настоящее, когда не поймешь, где начинается мир и где он кончается. Видимо, ей не найти самое себя, пока эти границы не обретут вновь четкость и определенность. И единственным подходящим ответом на свой вопрос она считала вот что: нет больше прежней, тоненькой как тростинка девушки, годы прошли небесследно, и она заметно пополнела... Только и всего.

Нет, она не любила царя. Но и не испытывала к нему ненависти. Просто нуждалась в нем. Кто любит или же ненавидит огонь? Огонь нужен, чтобы обогреть продрогшее тело. Кто ненавидит или же любит воду? Вода нужна, чтобы утолить жажду. Вот и этот человек — без него невозможно жить. Дай ему бог здоровья. Точно так же, как не дай нам бог засушливого лета, холодной зимы, стихийных бедствий...

Царь вполне возмещал нанесенный им ущерб. Возмещал в изобилии, щедрой рукой. Она уже не говорила: утраты. Все духовное Парандзем овеществляла. Измеряла жемчугами, золотом, серебром. А также и властью. Ибо ее муки были некогда ужасающи. Обыкновенной смертной, тем более хрупкой, приученной к счастью женщине, было бы невмочь вынести их. Она или лишилась бы рассудка, или покончила бы с собой. Но инстинкт жизни подсказал ей иное. Пожертвовать чем-нибудь и бежать. Точь-в-точь как лесные звери, сбрасывающие в миг опасности кожу, оставляющие преследователю хвост или бог весть что еще, — лишь бы спастись, лишь бы выжить. Она пожертвовала своей любовью, непорочным своим былым и потребовала взамен своей чистоты огромного возмещения, грубого и вещественного. Стала первой среди армянок, женою из жен армянской земли.

Царь медленно, как изможденный старец, поднялся с места и, насилию согнув ноги, подсел к Парандзем. Кряхтя подался вперед, поднял корону и положил ей на колени.

— Ты должна мне помочь, — словно из далекого далека донесся хриплый его голос. — Я нуждаюсь теперь в одной тебе. Поверь мне.

— Верю.

Оба сидели не шелохнувшись. Не глядя друг на друга. Их взгляды были прикованы к дверям, которые, казалось, вот-вот отворятся и окутанный полумраком некто на ясном и вразумительном армянском языке, отчетливо произнося слова, даст им ответ на терзавшие их вопросы. Но какой же вопрос сейчас для них главный? И разве они нашли его? Ведь найти главный этот вопрос значит сделать полдела. Потому что он уже сам по себе — половина ответа.

— Я запутался, — признался царь жене. — Страшно запутался.

— Понимаю, государь.

— Спасибо, — взволнованно приложив руку к груди и склонив голову, сказал царь. — Я благодарен тебе. Кланяюсь тебе до земли.

Он и вправду нуждался в Парандзем. Верил ей больше, чем кому бы то ни было. Особенно теперь, в эту самую минуту. Потому что он причинил ей ущерб. И с угрюмым упрямством, с какой-то странной настырностью он требовал, чтобы именно она была его опорой, именно она понимала его. Он мог бы обратиться к Васаку, к Драстамату, даже к Гнелу, преданные люди еще, слава богу, не вовсе перевелись на земле, но нет, ему хотелось сочувствия Парандзем, в трудные минуты ему необходима была с трудом добытая помощь. И помощь не мужчины, а женщины. Нежной, беспомощной от природы, беззащитной от рождения женщины. Матери его единственного сына. В этом крылось великое утешение, божественное успокоение, вечерняя безмятежность тихих неоглядных нив.

— Сколько уж лет мы живем с тобой. Разве это недостаточный срок, чтобы узнать меня? — холодно сказала Парандзем; на ее лице играла ядовитая улыбка. — Если ты не постиг и одной души, как же ты постигнешь целую страну?

— Парандзем! — с отчаянием вымолвил царь и вопрошающе заглянул жене в глаза. — Так ты смеялась надо мной?

— Если мой сын не станет престолонаследником, тебе несдобровать.

— Пойми, Парандзем, виноват не я, не ты и не эти жен-

щины. Вина вне нас... — Царь растягивал и растягивал слова, чтобы они подольше звучали в воздухе, чтобы не утратили вдруг своей правды и убедительности. — Ну не могу же я вышвырнуть этих женщин. Тут замешаны величины, которым мы с тобой не чета... Времена переменятся, наступит мир, ты вновь станешь царицей. — И ударил себя кулаком в грудь. — Этого-то я и хочу, именно этого! Неужто не ясно, что мне нужна царица-армянка? Мне нужна ты...

— Ты прав, государь. Я вполне тебе верю и вполне тебя понимаю. Нам противостоят силы, которым мы с тобой не чета. — Парандзем говорила легко и без запинки, как затвердивший урок усердный ученик. — Я вхожу в твоё положение. На твоём месте я вела бы себя точно так же. И все-таки я должна остаться царицей. Должна быть ею теперь. Меня и теперь должны величать женою из жен.

То бишь: если, понимая тебя, я требую, если, сознавая твоё положение, настаиваю, то как же, значит, непоколебимое моё слово, как неукоснительно я добиваюсь своего. Так что не старайся зря, не тщись, не лезь из кожи вон, объясняя мне истину. Я знаю эту истину не хуже тебя, сама могу развить твои мысли, но все равно — царицей твоей страны останусь я. Да, я — со слепым моим упрямством, моей твердолобостью. Я, и никто помимо меня.

— Дай мне месяц сроку, — попросил царь. — Если через месяц я не выполню своего обещания, поступай, как вздумаешь.

— Напрасно ты бросаешься обещаниями, царь, — с презрением ответила Парандзем. — Не распутаешь клубок сейчас — через месяц запутаешься ещё сильнее.

Она знала, муж вступил в открытую борьбу. Вступил от безвыходности положения. В борьбу против внутренних и против внешних врагов. В обоих случаях силы неравны. Неравны до такой степени, что не помогут ни дипломатия, ни хитрость. Остается открытая борьба. Борьба бессмысленная, безумная, безнадежная. Все нараспашку, прямо, грубо, в лоб. Когда не моргнув глазом идешь на верную смерть. Видя перед собою пропасть, плюешь на опасность. Это и есть наивернейшее решение, единственный путь к спасению. И вдруг муж ни с того ни с сего отступает, терпит присутствие обеих чужачек, пускается на какие-то уловки, на дипломатическую игру, прячется в кусты.

Однако незачем объяснять ему все это, сейчас он не в состоянии что-либо понять, необходимо его попросту подавить, принудить. И со свойственной ей удивительной способностью она вновь примирила, вновь совместила противоречивые ре-

зоны, чувства и помыслы: собственную власть — единственное ощутимое возмещение некогда бывшего у нее счастья, любовь к родине и бедственное положение страны и, наконец, слепую материнскую любовь, заставляющую оберегать сына, отстаивать его наследственные права.

Она внесла лад, строй и согласие во все это, добилась, чтобы одно вытекало из другого, связала воедино судьбу страны, собственную власть и будущее сына, и все стало на свои места. Без натуги, без сомнений, без душевной сумятицы, тихо и мирно.

— Месяц, всего один месяц, — снова попросил царь. Он был в отчаянии, потому что его расчеты не оправдались. А он знал: насколько выгоден и полезен союз с Парандзем, настолько же опасна ее вражда. Иной раз один-единственный человек причинит больше вреда, чем целое вражеское войско. Особенно если этот человек... слабое создание. Если это — женщина. — Неужто нельзя пожертвовать одним месяцем? Ведь жертва окупится сторицей. Ты получишь то, о чем сейчас и не мечтаешь.

— Например? — полюбопытствовала Парандзем.

— Я построю для тебя дворец — где бы ты ни сказала. — Вопрос воодушевил царя и придал ему сил. — Буду исполнять любое твое желание, любую прихоть. Только потерпи месяцок. Всего лишь месяц.

— Ах вон оно что, — процедила смертельно оскорбленная Парандзем. — Не торгуйся. Не оскверняй наших ночей. Не срамись!

— Парандзем...

— Пора бы понять: я не из тех, кто способен на жертвенность. Если корона не вернется ко мне сегодня же, считай это началом конца дома Аршакуни.

Она встала и, горделиво вскинув голову, победив и унизив мужа, направилась к дверям.

Царь готов был сквозь землю провалиться со стыда. Словно его упросили раскрыть священную и заветную тайну, поклялись не смеяться над ним, а едва вырвав тайну, расхохотались в лицо и вволю поиздевались. Как он поверил, что эту женщину можно умаслить и купить, посулив хоромы, исполнение любых желаний и прихотей? И теперь у него было такое чувство, будто он, опозоренный и обесчещенный, стоит нагишом перед толпой.

— Может, ты намерен убить меня? — внезапно обернувшись в дверях, с презрением спросила Парандзем. — Напрасно.

Что напрасно? Тебе, мол, это не удастся? Или так: убив

меня, ты что-то потеряешь? Но что? Или просто: пожалеешь, совесть замучает? Что напрасно? Что, что, что?! Он лихорадочно перебирал в голове то и это, взвешивал, делал сложнейшие умозаключения.

В конце концов он уяснил лишь одно. Этой женщине нельзя позволить уйти просто так. Иначе это и впрямь будет началом конца дома Аршакуни. Он верил угрозам Парандзем и боялся ее больше, чем всех своих внутренних врагов, вместе взятых.

И только теперь, вконец ошарашенный и сбитый с толку, узиженный и уязвленный, жалкий и подавленный, он осознал, что любит Парандзем. Ибо понял: он не в силах ее убить. Рука не подымется, застынет в воздухе. Он за одну лишь ночь постареет. Судьба страны покажется ему пустяком, не стоящей внимания мелочью. Он погибнет сам и погубит всех остальных. Он не в силах, нет, не в силах прибегнуть к единственному надежному дворцовому «лекарству», не в силах убрать с пути препону.

Бог свидетель, земля, и солнце, и его собственное сердце свидетели, он любит ее. Но Парандзем не знает, слава господу, не знает этого. В противном случае она уже ни перед чем не остановится, закусит удила, и меч пойдет косить направо и налево. Не потому ли она и сказала «напрасно»? Нет, нет, она ничего не знает. Ведь он и сам-то не знал. Понял только-только. Только-только заговорил с собой об этом. Сообщил эту новость, как сообщают горестную, тяжкую весть. Что же теперь? Радоваться или грустить? Боже ты мой, как же ему быть перед лицом своего открытия? Если он не в силах ее убить, то, значит, должен изыскать иной способ, прибегнуть к другому средству. Но скорей, скорей, покамест она еще не вышла.

— Я не боюсь тебя, Парандзем, — спокойно сказал царь.

— Лжешь! — Парандзем уловила в его словах нотку слабости. — Еще как боишься!

— Ты не можешь причинить мне никакого вреда, — невозмутимо продолжал царь.

— Лжешь! Ты боишься моей мести.

— Мне и в голову не приходило убить тебя.

И, как всегда перед бурей, он нагнулся, развязал и снова завязал тесемки на башмаках.

— Опять лжешь. Я для тебя столь же опасна, сколь император и шах.

— Я справлюсь с тобой, Парандзем, — беззлобно и устало улыбнулся царь.

– Никогда. Все равно на этот трон сядет мой сын. Больше никто.

Не будь положение так серьезно, царь бы даже получил удовольствие от этого препирания. Он тосковал по спорам между мужем и женой, которые казались ему знаком семейного счастья и уюта. Но где же его семья, очаг, дом? Этот огромный дворец? Это не дом, а постоянный двор, и он в нем временный жилец. Да и какой армянский царь умер в этом дворце своей естественной смертью? Счастливец вроде Хосрова Коротышки – раз, два и обчелся. Разве он твой, этот дворец, если ты до сих пор не знаешь всех его закоулков? Оказывается, у царя нет на то права. Ему, видите ли, не пристало совать нос в любую дыру. Ну а жена, где она, твоя жена? Что это за жена, если ты так и не отведал приготовленного ее руками обеда, если она обыкновенную яичницу и ту не умеет сделать, если ни разу в жизни не постирала тебе?

– Ты еще пожалеешь об этом. Ты еще вспомнишь день своего заката.

– Гнел жив, Парандзем.

– Какой Гнел?

– Гнел. Твой прежний муж, тот, кого ты любишь больше, чем меня.

– Какой Гнел?

– Тот, кому ты отомстила, став женой его палача.

Парандзем застыла. А все то, что годами было неподвижным и застывшим – тронный зал, высокий этот трон, его подножие, леопардовые шкуры, висящие на стенах рога и кабаньи головы, мечи, кинжалы, колчаны со стрелами и копья, масляные светильники о пяти и о трех фитилях, накидки и покрывала, шелковые и полотняные занавеси, все убранство этого зала, все, все – неудержимо пошло кругом, причем кружилось не в одном направлении, не вместе, нет, каждая вещь кружилась сама по себе, сталкиваясь с другими и мешая другим.

– Какой Гнел? – слабым голосом повторила Парандзем и закрыла глаза. Но кружение не прекратилось. С прежней скоростью оно продолжалось перед мысленным ее взором.

Она уперлась обеими руками о дверной косяк, но, не устояв, бесшумно скользнула вниз.

– Когда ты хочешь повидаться с ним? – с подчеркнутой деловитостью спросил царь.

– Ложь! – полная злобы и ненависти, крикнула Парандзем, безоговорочно для себя решив, что это не может, не

должно быть правдой. — Ты все выдумал... Ты боишься меня...

— Так когда же ты хочешь повидаться с ним? Может, прямо завтра?

— Ты пытаешься отсрочить мою месть...

— Где бы ты хотела с ним встретиться?

— Ты стремишься выиграть время.

— Где тебе удобнее?

— Его нет... Клянусь, его нет... Ты и сам знаешь, что его нет...

— Завтра. Завтра ты встретишься с ним.

— Я ненавижу тебя... Твое появление на свет... Твою мать...

— Завтра, завтра, завтра!

Царь только теперь вспыхнул и поддался расправившей его жестокости, сам того не особенно желая. Как-то произвольно. Словно подхваченный и увлеченный стремниной. У него не было больше сил противиться. Даже главная цель — сломить Парандзем и поставить ее на колени, — даже она стала вдруг второстепенной. Первостепенной целью стало утоление жестокости и самодовлеющая беспощадность, которая подобна скатывающемуся под гору снежному кому: чем дальше, тем лютей. И как ни странно, он смекнул, в чем тут дело. Понял, что жалеет Парандзем. И потому, что жалел, он ее мучил, а потому, что сострадал, терзал ей душу.

— Завтра, — повторил он, тяжело дыша.

Парандзем быстро поднялась и отчаянно, испуганно, уже поверив известию — она поверила ему с первых же слов, — бросилась на мужа.

— Я оставлю тебя в покое. Клянусь чем хочешь... Но скажи, что ты лжешь... Умоляю тебя... Скажи! Ты же видишь, я побеждена. Скажи, скажи!

— Завтра ты увидишься с ним. Гнел посоветует тебе, как быть.

Царь оттолкнул ее. Парандзем безвольно упала и, до крови кусая губы, приглушенно заплакала у его ног.

Она ненавидела сейчас Гнела. Сильнее, чем царя. И мысленно молила бога, чтобы Гнел умер. Жив? Гнел жив? Какой еще Гнел? Кто он такой, Гнел? Давнишний сон, жуткое видение, сладостный обман. Нет, он должен умереть. Царь сам убьет его. И пусть у богомерзкого этого человека не дрогнет рука. Она вдруг ощутила, что, равнодушная к царю, тем не менее сочувствует именно ему, а не своему прежнему, некогда возлюбленному супругу. И ее сердце не сжалось от этого.

— Персы одержали у Амиды решительную победу, — издалека, словно пробиваясь сквозь туман, послышался голос Драстамата. — Византийцы разбиты наголову.

— Ошибся!.. — прохрипел царь и, стиснув пальцы в кулак, что есть мочи ударил по ладони другой руки. — Ошибся я, Драстамат!

— Император пролил слезы на руинах погибшего города, — не устаивая вниманием волнение царя, Драстамат добросовестно исполнил свою обязанность и до конца сообщил полученное им известие.

— Надо было назначить царицей Ормиздухт, — с досадой сказал царь, бросив взгляд на Парандзем. Пусть эта глупая женщина поймет, что дела обстоят гораздо сложнее, чем она думает. — Но не говорить пока о победе персов.

Парандзем молча прислушивалась к разговору мужчин. Она видела: ее поражение — полное. И не оттого, что она слабая, а царь сильный, а оттого, что почувствовала: надвигается огромное, неслыханное бедствие.

Волоча по полу мантию и ни на кого не глядя, медленно, неверными шагами покинула она тронный зал и прикрыла двери. Мантию зажалло в дверях. Парандзем тянула ее, тянула, но без толку. Открыть же дверь сызнова не доставало духу. Она махнула рукой на злополучную мантию и ушла.



Драстамат попал в глупейшее положение. Он неукоснительно исполнил свой долг, сообщил царю все, что узнал, ничуть не считаясь с тем, какую бурю вызвал у того в душе. В этом равнодушии не было умысла, просто сострадание и сопереживание не входили в круг его обязанностей. Если б от него их потребовали, он бы сострадал и сопереживал — и возможно, с немалым успехом, — но ведь никто же не требовал.

Теперь он стоял на месте, как изваяние, и не уходил. Обычно царь не отсылал его, Драстамат сам решал, когда именно ему надлежит удалиться. Он знал даже, когда нужно войти, а это куда сложнее. Потому-то царя и не удивило, что сенекапет по-прежнему стоит у трона.

Минуты мучительно следовали одна за одной, но Драстамат не издавал ни звука. Наконец царь отвлекся от путаницы своих мыслей и вопросительно поднял глаза.

— У меня просьба, царь. — Слова точно клещами вытаскивали из рта, и они беспомощно выстраивались в ряд.

— Говори, сенекапет. Ты же знаешь, я тебе не откажу.

— Отпусти меня...

— Ты свободен. Покойной ночи.

Драстамат не шелохнулся. А вот это было более чем странно. Царь с недоумением взглянул на ничего не выражающее лицо Драстамата и поневоле подумал: кто он такой, чем занимается на досуге, есть ли у него возлюбленная, друзья, родные? И неужели его лицо никогда не менялось и взгляд ничего не выражал? А когда он ложился с блудницами? А когда радовался или печалился? Когда попивал из кубка вино? Когда ему нездоровилось? Царю очень бы хотелось увидеть, как меняется у него взгляд, чтобы получше и поближе узнать сенекапета. Потому что он любил его, своего Драстамата, безгранично ему верил и не представлял без него своей жизни.

— Навсегда? — обеспокоенно спросил царь. — Но почему? Неужто ты не хочешь служить мне?

— Я больше не нужен тебе, царь.

— Как то есть не нужен? — осерчал царь. — Кому об этом лучше знать — мне или тебе?

— Мне, — смело сказал Драстамат.

— Но почему, почему?

— Потому что, царь, меня заменил Гнел.

— Гнел? При чем тут Гнел?

Драстамат решил перейти к обычным своим обязанностям: доложить царю все, что было ему известно. Необычно было лишь одно. На сей раз ему предстояло рассказывать о себе. Он никогда не выпячивал своей особы в присутствии царя, напротив, всячески старался держаться в тени. Никогда не обращался к царю с просьбой, касающейся его лично, хотя был уверен, что тот поможет и поспособствует ему во всем. А сегодня вот пришлось обратиться. Иного выхода он не видел. Непривычно было и то, что теперь ему предстояло рассказывать не о каком-то определенном событии, а о душевном своем состоянии. И он начал рассказывать, точнее — излагать сведения о том, что он пережил и передумал; голос его звучал по обыкновению бесстрастно и ровно, и сокровенные мысли и чувства становились не чем иным, как очередным сообщением.

— Я привык считать себя человеком значительным и незаменимым. Ходил по дворцу скромно, тише воды ниже травы, но в душе был горд и мысленно смеялся над всеми, включая и нахараров, ибо никто не догадывался, что царь доверяет мне одному. В соседстве с тобой мое ничтожество приобретало цену.

— Что это за цена, Драстамат, если никто о ней не знает?
— Но я-то знал. И ты тоже, царь. Разве двоих недостаточно?

— И ты от меня уходишь?

— Да, царь. Я уверен, Гнел тебе нужнее.

Царь понял: у Драстамата нет собственной жизни. Он безраздельно, всем своим существом предан господину. И хорошо, что эта преданность соотносится не с какой-то определенной личностью, а с царем вообще. С государем. Будь на троне кто-нибудь другой, Драстамат служил бы точно так же. Следственно, это не привязанность человека к человеку, а дело, исполнение которого доведено до высокого совершенства.

— Я был могущественнее любого из твоих нахараров, — он добросовестно, без утайки раскрыл свое сердце, чтобы господин, упаси боже, не остался бы в неведении. — Я неизменно был первым при дворе. Ты возразишь мне и будешь прав. Ну и что? Я никогда не променяю своих ощущений на самую очевидную действительность.

— Дальше, Драстамат, дальше?

— Я был даже рад, что это не так. Ибо самую-то суть действительного положения вещей знал только я. И никто другой. И этим я обязан тебе, царь.

— Если такова твоя мечта, я пожалую тебе одно из своих имений и возведу в княжеское достоинство.

— Нет, царь, это не мечта. Это нечто большее. Я глубоко тебе признателен, но я не хочу становиться князем. Пожалуйста, отпусти меня.

— Но при чем тут Гнел? У тебя свое место, у него свое. Чем он тебе мешает?

— Он твоя вера, царь. Твое второе «я». К тому же более совершенное, нежели ты сам.

— Но я не люблю его, Драстамат. Даже боюсь. Ты скажешь, что же вас в таком случае связывает?

— Он не существует как человек, царь. Ты любишь в нем частицу себя. Свои мысли и мечты. Лучшую свою половину. Себя, свободного от слабостей.

Царь понял, что Драстамат не из тех, кого можно уговорить, уломать, заставить. Отныне ему нечего было делать во дворце, потому что то, к чему он стремился, другой исполнил лучше. Ревностью тут и не пахло, просто он считал, что его присутствие утратило смысл.

— Ступай, сенеканет, — с грустью и волнением сказал царь. — Я тебя отпускаю.

— Благодарствуй, царь. Я знал, ты поймешь меня.

— Но я привык к тебе... Без тебя мне будет очень уж одиноко...

Драстамат преклонил колени и поцеловал царю руку. Царь поднял его с колен, прижал к груди и заметил, что глаза сенекапета увлажнились. Впервые за столько лет, да и то в последнюю минуту, в минуту расставания, он видел лицо верного своего сенекапета, своего любимого Драстамата изменившимся.

— Я приду к тебе, когда понадобится.

— Хорошо, — сказал царь. — Я дам тебе знать.

— Не нужно, царь. Я приду сам.

Драстамат не допустил, чтобы царь занимался его особой слишком много. Поклонился и вышел из тронного зала. Царь проводил его.

Стоя в дверях приемной, царь смотрел, как великан Драстамат удаляется по длинному, полутемному, иссеченному тенями коридору. Широкими и неторопливыми шагами, статный, ладный, с холодным и безжизненным взглядом — снова холодным, снова безжизненным. Вот-вот он достигнет мраморной лестницы, свернет за угол и скроется с глаз.

— Сенекапёт! — окликнул царь.

Драстамат остановился в дальнем конце коридора, обернулся и посмотрел на господина.

— Ну, так что же случилось, что произошло, что ты уразумел, Драстамат?

— Ты остался в одиночестве, царь, — по-прежнему бесстрастно и ровно сообщил сенекапёт последнюю свою весть. И чтобы избежать любой недосказанности и неясности, он уточнил: — Твой слуга тоже тебя покинул.

Глава двадцатая

Кто такой Торос? Что он за человек, этот Торос, с чего ему быть предметом всеобщего внимания? Покуда не столкнешься с ним лоб в лоб, его и не заметишь. Окажись рядом с ним хоть кто-нибудь, он исчезнет, сольется с домами и деревьями. Пропадает по ночам? Вот и хорошо, вам-то что? Какой он ни замухрышка, а все ж таки мужик, есть у него, наверно, свои мужские дела. И ведь с какими глубокомысленными лицами обступили его у границы Аршакавана друзья-приятели, с какой страстью, как зло и ревниво спрашивают. Да потратить они малую толику этого напора на строительство города, подумал один из очевидцев, Гнел, Аршакаван давно бы стал на ноги.

Гнела, выделявшегося среди аршакаванцев поистине не-

уемным рвением, назначили одним из десяти помощников градоправителя Вараза Гнуни. Вараз Гнуни ужасно любил свою должность и чванился ею. Всю жизнь он добивался не столько богатства, сколько должности. Родись он от матери-служанки и отца-слуги, непременно бы выбился в начальники над прислугой, иначе он не мыслил самого себя. Но ничуть не меньше Вараз Гнуни любил, когда его обязанности выполняли другие. И с неизменной готовностью препоручал эти свои обязанности помощнику. И помощник брался за них с жадностью и твердым намерением никогда уже не отдавать взятого.

Гнел стал душой Аршакавана. Не знал ни сна, ни роздыха. Раньше всех просыпался и позже всех ложился. Где бы что ни строилось, он тут как тут. Где бы ни вспыхнула ссора, он полюбовно ее уладит и восстановит справедливость. Гнел незамедлительно появлялся везде, где требовалось навести порядок. Поразительным образом чуял, когда и кому нужен. Распределял полученное из дворца продовольствие, следил за соблюдением в городе законов, заботился о его охране. Руководил строительными работами — и не только руководил, но и сам в поте лица ворочал камни. И потому ставшая всеобщей неприязнь к нему немного смягчалась.

Вот он проезжает на белом коне по улице, его жесткие и прямые волосы спадают на лоб, в руке у него плетка, которой он, едва возникает нужда, беспощадно охаживает шалопаев и лодырей, включая даже тех, кто нерадиво работает на строительстве не общественных сооружений, а собственного жилья. Он мог ворваться посреди ночи в чью-нибудь хижину, пинком разбудить хозяина и, угрожая высесть, заставить все семейство — от мала до велика — отправиться в крошечной тьме доканчивать дом: «Для себя ведь строите, лентяи!» Впоследствии он зачастую навевывался, по обыкновению верхом, проверить, как идут дела, иной раз и подсоблял, впрягался в самую тяжелую работу и только на заре позволял коротенькую передышку.

— Где тебя носит по ночам? — знай наседали на Тороса. — Не ровен час что случится. Кто будет отвечать? Кого возьмут за грудки?

— Нас, нас! — задыхались они от переизбытка самоотверженности.

Гнела поразила злость, с какой эти люди выражали свою заботливость. Того гляди в клочки беднягу растерзают — и все от любви.

Когда нападки окружающих мало-помалу ужесточились, Торос внезапно присел на корточки, замер на миг в непо-

движности, затем подобрал с земли два-три камушка и стал перекидывать с ладони на ладонь.

Прятели разом замолчали и с недоумением уставились на него. А немного погодя напустились с еще большим остервенением. Они, мол, в ответе за него и не могут спокойно спать, пока он шатается невесть где, а будь, мол, Торос на их месте, вел бы себя точно так же, потому как он вроде них — честный человек и хороший товарищ.

Торос попытался было отыскать лазейку и улизнуть, но его схватили, сызнова обступили со всех сторон и давай доказывать, какой он добряк и до чего внимателен к товарищам.

— Где тебя носит по ночам? — неожиданно вырвалось у Гнела. — Почему не отвечаешь?

Заметив того из десяти помощников градоправителя, которого все боялись, толпа расступилась, а Торос нехотя поднялся. Посмотрел на Гнела, выпятил нижнюю губу и прищурился, явно заставляя повторить вопрос.

— Где ты таскаешься по ночам? — вместо того чтобы вспылить — видали, дескать, мы таких тугодумов, будет дурака валять! — Гнел и впрямь повторил вопрос, потому что это занимало уже и его.

— Сплю, — не выдержал Торос; нижняя губа вовсе не выпячивалась, прищуренные глаза широко раскрылись, и он с вызовом добавил: — По ту сторону ограды.

Окружавшая Тороса толпа с минуту встревоженно бурлила, потом все смолкли и испуганно уставились на мужичонку. Гнел понял, что они без того все знали, но хотели удостовериться, услышать эти слова от самого Тороса. Торосу же не терпелось раскрыть свою тайну. И хотя вид у него был куда недовольный, он, похоже, изнемогал под тяжестью невысказанного, дожидаясь, что его вынудят признаться, силком вырвут правду. Теперь он поуспокоился и понуро ковырял носком башмака землю, засыпая ногой ямку и утаптывая.

Еле сдерживаясь, Гнел с напряжением, до боли потер рукоятью плетки о ладонь.

— По ту сторону ограды опасно, — слышался наконец робкий голос кого-то из горожан.

— Тебя могут убить, — проронил другой.

— Там у нас уже нет права убежища...

— Мы не дадим тебе делать глупости...

— Не дадим тебе погибнуть...

— Посади его за решетку, господин надзиратель. Молод он еще. Не ведает, что творит.

В ответ Торос загадочно улыбался и молча посматривал на взбаламученных страхом — и не только страхом — приятелей. Но вот, сопровождаемый неотрывными, выжидающими взглядами толпы, он подошел к невысокой деревянной ограде, на мгновение замешкался, потом решительно ее перемахнул и очутился по ту сторону границы...

Это предательство, тут же, нимало не колеблясь, определил Гнел, обыкновенное предательство. Измена царю и отечеству. Но что ж это за убежище, если я у всех на глазах прибию его как собаку? Гнелу и в голову не приходило, что может создаться положение, когда кому-нибудь вздумается уйти из Аршакавана. Оттого он и не знал, как ему поступить. И только поглаживал коня по гриве, ободрял, успокаивал, хотя конь вовсе не проявлял признаков тревоги.

Словно подчиняясь колдовству, толпа разом устремилась к ограде. Кто-то безотчетно опустился на колени, положил на ограду подбородок и оторопело, будто на чудо, воззрился на худосочного Тороса, который казался им теперь богатырем.

Поодаль, в бескрайней степи, стояло одинокое строение, откуда днем и ночью доносились песни и музыка и, медленно расплываясь в воздухе, опоясывали город наподобие зеленого и прохладного леса.

— Ты что, Торос? Мы же здесь свободны...

— Чего тебе еще-то надо? Чего недостает? Воротись, Торос!

Приятели и соседи с мольбой и злостью взывали к нему, а Торос уходил себе все дальше, вышагивая по просторному привольному полю, принадлежавшему теперь ему одному. Уходил от убежища, которое, вроде опекуна, поминутно навязывало Торосу свое покровительство, провозглашая его неприкосновенным. Уходил от надежного крова, от выделенной ему доли счастья. А ведь пришел сюда когда-то, волоча следом бывшее, взвалив на плечи ношу привычных отношений с людьми, стародавних обычаев, нравов и предрасудков, и никак не мог от всего этого избавиться, стряхнуть, сбросить с плеч. Он шел теперь туда, где минувшему суждено было стать настоящим. Шел в твердой уверенности: хорошо там, где нас нет. Там, и только там...

— Посади его за решетку, господин надзиратель... Видишь ведь, пропадает человек.

И тот, кто стоял на коленях, положив подбородок на ограду, неожиданно встал во весь рост и аж взмок от напряжения, будто силясь вспомнить, для чего он поднялся на ноги. Глаза выдавали, что в его душе мучительно рождается

решение, но он все еще колеблется, борется с собой. Казалось, будто он вот-вот нагнется, подберет булыжник и запустит вдогонку беглецу. Но вместо этого он тоже внезапно перемахнул через ограду. Сперва страх пригвоздил его к месту, и он диву дался, что еще жив. Потом заулыбался. Глупой, глупейшей улыбкой. Неповторимый этот миг был откровением всего сущего, праздником жизни, ликованием бытия.

Глуповатая эта улыбка словно подала знак другим, и с десяток аршакаванцев бесшумно перепрыгнули ограду и очутились по ту сторону границы. Никто не сомневался, что они сделали это, намереваясь получше разглядеть беглеца. Побагровевший от негодования Гнел тотчас повернул коня и второпях ускакал, чтобы привести отряд стражников и приструнить смутьянов.

Он повесит всех, а еще лучше — придумает каждому особую казнь, одну ужаснее и невыносимее другой, небывалую, невиданную и неслыханную. Он покарает не только верховодов, не только самих смутьянов, но и свидетелей. Не только свидетелей, но и тех, кто просто-напросто узнает о происшествии, услышит о нем от соседей или знакомых. Он устроит суд на городской площади, и поскольку сам он волей-неволей был очевидцем грязной этой смуты и собственными глазами наблюдал мерзкую эту картину, которая может, подобно чуме, заразить всех подряд, — так вот, поскольку он тронут скверной, то и расправу он начнет с себя. Распорядится, чтобы ему нанесли пять ударов плетью. Пять, не более. Потому как это он предупредил распространение заразы и учредил общегородской суд...

Воцарилось гробовое молчание. Но на лицах у всех играли счастливые улыбки, ведь они снова — в который уже раз! — отведали запретного плода, а тот пришелся им по вкусу.

И случилось неожиданное. Грянул дружный, безудержный мужской хохот. Хохотали вдоволь, всласть, с какой-то ненасытностью, освобождаясь от себя, своего имени, одежды, прошлого и настоящего, чутьем предвкушая тот самый ничейный миг, который не принадлежит ни тому, ни другому — ни прошлому, ни настоящему. И было в этом согласном мужском хохоте что-то безумное и жуткое, что-то не имеющее касательства ни к радости, ни к горю.

А Торос уходил все дальше, причем прямо-таки сводило с ума, что он не бежал, не улепетывал во все лопатки, а шагал вразвалочку, с ленцой, будто показывая каждым движением, до чего он уверен в своей правоте. А когда, остановив-

шись передохнуть, спокойно огляделся по сторонам и через минуту снова продолжил путь, то вконец всех обезоружил.

И смех мало-помалу стих. Смеялся лишь кто-то один, изнеможенно и устало, словно и рад бы замолчать, да все как-то не получается.

Не оборачиваясь, лицо к лицу и один на один с пространством, Торос шел себе и шел, покуда не затерялся на бескрайней и неоглядной равнине, не слился с дикими кустарниками, не скрылся с глаз.

Толпа быстренько повернула вспять и суетливо бросилась к ограде, кое-кто даже поскользнулся и упал в спешке; вскоре по ту сторону границы не осталось ни души. С минуты они опоминались, опять почувствовав себя в безопасности. Будто побывали вне времени и потеряли ощущение ночи и дня, утра и вечера. А теперь, слава богу, в Аршакаване полдень.

Так или иначе, кое-кто тепло и с завистью поглядывал в сторону беспредельной равнины, которая походила на видение — так она была тиха и покойна...

Потом разбрелись кто куда и взялись за брошенные на половине дела: тесали камень, возили песок, таскали сообща бревна...

Они возводили крепостную стену. Взамен невысокой деревянной ограды ставили высокую каменную стену...

Гнел вернулся со стражниками. Но увидел, что все на местах. Точно ничегошеньки не случилось. Не хватало только одного человека.

— Да здравствует царь! — гарцуя на белом коне, крикнул он что было сил.

И, откинув со лба прямую и жесткую прядь, приказал стражникам задержать присутствующих. Он представит Варазу Гнуни жалобу и потребует отрезать им языки. Но и градоправителю не расскажет он правды, выдумает что-нибудь: вдруг тот проговорится, и о случившемся узнают. А он, Гнел, шесть месяцев кряду по сто раз на дню будет бить перед святыми образами земные поклоны и даст обет, что унесет тайну в могилу.

Кроме того, он приказал стражникам незаметно последовать за беглецом, а настигнув, убить его на месте и поздно вечером подбросить тело к городской границе. Пусть думают, что это дело рук нахараров. Завтра он созовет всех аршакаванцев и устроит торжественные похороны. Точно так же поступил в свое время царь с неким князем.

— Да здравствует царь! — послышался чей-то слабый и запоздалый отклик.

Глава двадцать первая

Дворцовая свалка. Огромное кладбище всевозможной рухляди, обнесенное замшелой оградой.

Если бы сюда пустили нищих, те разжились бы одеждой, не идущей ни в какое сравнение с их рваньем. Отпала бы у них и нужда спать на земле: на свалке там и сям виднелись мягкие лежанки и диваны. А найдись среди нищих предприимчивые ловкачи, они бы разбогатели, занявшись распродажей свалочного добра. Здесь, на этом пространстве запросто бы уместилось целое селение обездоленных со своей особой потайной жизнью, покой которой нарушался бы лишь в минуты, когда откуда-то сверху сбрасывают старье и шум падения отдается кругом раскатистым эхом.

Царь впервые очутился в этом таинственном уголке своего обиталища. Ошарашенно озирался, потому что, как в кривом потрескавшемся зеркале, видел здесь отражение дворцового быта. Возможно, тут имелись и вещи, некогда принадлежавшие ему. Встреча хозяина с отслужившими его вещами — это и приятная неожиданность, и мучительное воспоминание. Вот это, к примеру, старая его кровать, он узнает ее. Сколько самых скрытных, а подчас и самых зазорных ночных мыслей, сколько тяжелых дум и мимолетных, случайных радостей похоронено вместе с нею; на ней, этой кровати, нередко рождались важнейшие для судеб страны решения, вместе с нею погребены его ошибки, а также — почему бы и нет? — кое-какие великие свершения... А женщины? Свидетельницей скольких побед была эта отжившая свое кровать, грубых побед не царя, но обыкновенного мужчины, побед, начисто лишенных чувства и любви, иначе какие ж это победы. А теперь кровать колченога — должно быть, низкие ножки поломались, когда ее сбросили с высоты, — по углам скопилась паутина, и вся она теперь — пристанище пыли и грязи.

Таким же, как свалочное барахло, воспоминанием был и этот человек, вполне соответствующий окружению. Казалось, из-за горы хлама перед царем вырос постоянный и единственный обитатель этого кладбища. Гнел — бывший князь, бывший отпрыск царского рода, бывший племянник. И нынешняя их встреча тоже диковинна. Будто встретились в загробном мире господин и старый слуга.

Стоя лицом к лицу, они долго всматривались друг в друга. Гнел изменился до неузнаваемости. Не будь царю заранее известно, с кем именно ему предстоит увидеться, он решил бы, что столкнулся с нищим бродягой. Прежними бы-

ли у Гнела только глаза — острые и колючие — да еще прямые жесткие волосы, поминутно спадающие на бледный лоб.

Положив ладонь на рукоять меча, царь медленно двинулся вперед; Гнел попятился в замешательстве. Не обидно ли, если царь убьет его сейчас? Сейчас, когда благодаря его, Гнела, нечеловеческим усилиям Аршакаван мало-помалу становится на ноги. Гнел подумал об этом, но на его лице не мелькнуло и тени самодовольства или уверенности в том, что он достоин воздаяния за пережитое. Его заботило лишь одно. Как объяснить все это царю, как внушить, что тому на пользу, а что во вред.

— Это не мой город, Гнел. Здесь я не связан никакими обязательствами.

— Не убивай на свалке, царь.

— Странно, что ты все еще считаешь себя живым.

— Ты меня обманул. Знал, что только имя Парандзем заманит меня в ловушку...

— Я же говорил, ты воскреснешь цветком. Устремись из земли к небу. Будешь расти в скалах, в безводной степи, там, где не растет ничто. По злобному упрямству, по слепой одержимости я тебя и распознаю... Но не сорву. Буду поливать тебя и холить, чтобы ты засох от пресыщения и уже не помышлял воскресать...

Царь наслаждался каждым своим словом, наслаждался куда больше, чем если бы эти его слова чудом — прямо на глазах — обратились в действительность. Ни он, ни Гнел по сию пору не отделяли человека от воплощенной в человеке идеи. И бессилие мучило и водило обоих. Ибо жизненные их пути пересеклись так, что они ненавидели один другого, а вот высший жребий крепко-накрепко их связал. И когда оказалось, что действующих лиц уже не двое, а трое: царь, Гнел и Парандзем, — именно тогда это противоречие предстало перед ним во всей остроте.

— Но ведь и я могу тебя убить, царь... Я моложе и ловчее. Гибче и подвижней.

— Ты меня не убьешь. Ведь я твоя мечта. Твой господин.

— А вдруг, царь, во мне пробудится человек? Нахлынут воспоминания. Одолеет тоска. Не буди же во мне человека, царь... Бога ради — не надо!

Царь уже вплотную подошел к Гнелу. Выхватил меч и, беззвучно смеясь, приставил к горлу вжавшегося в стену князя. А различив в глазах Гнела ужас, беззастенчиво расхохотался, опустил меч и вложил в ножны.

— Но ты и вправду испортил мне жизнь. Смешал все мои замыслы. Лишил сна и покоя.

— Ты сам виноват в этом, царь. Потому что не доверился мне сполна. Побоялся подчиниться человеку, которого, в сущности, нет.

— Я ждал от тебя чудес. Но мои дела вконец запутались.

— Ты не задержал нахараров. Не выдворил византийских и персидских послов. Стал игрушкой в женских руках. Признался в своей нерешительности. Громогласно. Прилюдно. Захотел, чтобы и персы подумали, будто ты им друг, и византийцы сочли тебя союзником. Потом пошел на попятную, заметался из стороны в сторону. Но тебе не простят этой игры.

— Страну не построишь на жестокости, Гнел. Рано или поздно все рухнет.

— А на человеколюбии, царь, и подавно ничего не построить.

— Что же ты предлагаешь, племянник? Творить кулаком не только зло, но и добро?

Он задал этот вопрос с таким неподдельным, благородным негодованием, что ему показалось: теперь он неуязвим, сказанного более чем достаточно.

— С той лишь разницей, царь, — усмехнулся Гнел, — что для добра нужен кулак покрепче.

— Ты разглагольствуешь о благе страны, чтобы не выдать свою озлобленность, — заключил царь, уверенный, что эти слова для Гнела — пощечина.

— А ты — свою слабость. — Гнел усмехнулся, исподлбья поглядывая на царя. И, все так же усмехаясь, внезапно добавил: — Прими мои соболезнования, царь. По случаю смерти твоего отца и моего деда.

— Разве я не говорил тебе о его смерти? — Царь оторопел от неожиданного удара.

— Мы с тобой очень его любили, твоего отца и моего деда. Верно, царь?

— Но он умер своей смертью... — Царь засуетился, чувствуя, что еще шаг — и он в западне... — Естественной смертью.

— Ты устроил ему весьма пышные похороны. Как и мне. Показал себя любящим сыном.

— Я не пошел у тебя на поводу! — крикнул царь и тут же сообразил, что крик-то его и уличает. И крикнул еще громче: — Все разрешилось само собой!

— Значит, ты везучий, царь. самого грозного твоего врага уже нет в живых. Слава богу, обошлось без отцеубийства.

— Он повсюду меня порочил. Проклинал родного сына. Настраивал народ против царя.

— Утешься тем, что твой город искренне скорбел о его смерти.

— Не клевети на меня, Гнел. Я здесь ни при чем. Я чист перед богом...

— Отцеубийца, — спокойно, не повышая голоса, бросил Гнел, точно произнес самое обычное слово.

Царь умолк и недоуменно воззрился на Гнела. Кто он, в конце концов, такой, этот человек? Воплощенная его совесть? Но он слишком для этого жесток. Эхо его помыслов? Но ведь он же заклятый враг, где же тогда господня справедливость? Единственный преданный ему князь? Но его нет, он не существует, он не может ни быть преданным, ни предать. Так кто же он, кто этот человек, с которым царь все еще вынужден считаться и поклепы которого все еще вынужден сносить?

— Даже если твои подозрения небеспочвенны, — тихо начал царь, но кровь ударила ему в голову, и он снова вспыхнул: — Ведь на этом настаивал ты! Ты подбивал меня на это!

— Ты поступил правильно, царь. К несчастью, он должен был умереть.

— Что же ты зовешь меня отцеубийцей? — пуше прежнего рассвирепел царь. — Почему возводишь на меня напраслину?

— Он возглавил бы твоих врагов, — невозмутимо продолжал Гнел. — Ты — счастливый царь, а он — несчастный и к тому же слепой. Вообрази, как выгодно было сделать его вождем недовольных. Чернь повалила бы за ним толпами.

— Если его и убили, то убили мы — я и ты, вместе, — прохрипел царь и, что есть мочи толкнув Гнела, свалил его наземь. — В конце концов, он пошел против меня из любви к тебе. И виновник его смерти ты, ты!

— Ты и теперь поступил правильно. — Гнел спокойно поднялся на ноги и отряхнул заношенную одежку. — В высшей степени разумно с твоей стороны устроить нашу с Парандзем встречу. Подло, но разумно. Ты единым махом прибираешь к рукам нас обоих.

— Что ты хочешь этим сказать? — недоверчиво спросил царь, ожидая нового подвоха.

— Теперь ты видишь — если стремишься сплотить отечество и мечтаешь о величественных, благородных целях, жестокость неизбежна? Жестокость, царь, необходима. Не случайная, а загодя предусмотренная, рассчитанная... И если ты не пойдешь на это, потомки тебя проклянут. Твой же сын

тебя проклянет. — Гнел внезапно разволновался, бледное его лицо напряглось и побагровело, и он повелительно поднял руку: ни звука! — Парандзем, царь, — испуганно шепнул он, и, как нарочно, в то же мгновение сверху сбросили какой-то хлам, упавший со страшным грохотом, которому еще долго вторило эхо.

— Где? — насторожился царь. — Ты что, видел ее?

Гнел отрицательно покачал головой.

— Но даже посреди этого зловония меня овеяло нежным и чистым дуновением.

Аршак поспешно удалился. Только в последнюю минуту он нашел ответ на давешний свой вопрос. Кем бы ни был этот человек, одно, во всяком случае, бесспорно: без него Аршакавана нет и не будет. Посему царь обязан перетерпеть все, отвечать на брань земными поклонами и неизменно выказывать ему беспредельную свою признательность...

Царь не ушел со свалки. Схоронился неподалеку, среди рухляди. И вновь кровать, та самая кровать, которая словно преследовала его по пятам, выросла вдруг перед ним...

Парандзем тоже очутилась в совершенно неведомом для нее мире. Она осторожно пробиралась между завалами старых вещей, ежеминутно ожидая опасности. И величайшей опасностью был Гнел, который мог возникнуть в любой миг и в самом неожиданном месте, а возникнув, взбаламутить ей душу. Парандзем очень хотелось его увидеть, она страшно волновалась и чувствовала себя чистой и безгрешной. Словно пробудились давным-давно позабытые воспоминания детства и ей предстояло увидеть свою колыбель, дом, где она родилась, скалу, сидя на которой она смотрелась в речную гладь; словно ей предстояло встретиться с кормилицей и услышать окончание оборванной на полуслове сказки, таинственное окончание, не дававшее ей покоя все эти долгие годы; словно ей предстояло полакомиться сладостями, вкус которых она посейчас ощущала во рту, а вот названия запоминать... Эта встреча несла в себе не напоминания о смерти, или об убийстве, или о скорби, или о лихолетье, а чистый и звонкий голос, ласковую прохладу, божественно прекрасную колыбельную песню...

И, однако, ради того, чтобы это свидание не состоялось, она отдала бы жизнь, ей-богу, не задумываясь отдала бы жизнь. На что ей Гнел, когда она измаралась, живя бессмысленной своей жизнью, когда она уже не та, совсем не та, когда ей не понять Гнела, все того же блестящего юношу, а Гнелу не узнать в ней — пополневшей, озлобленной, хитрой женщине — свою Парандзем... И чего она только выряди-

лась? Кому собирается понравиться? Или, может быть, она хочет дать ему почувствовать, сколь глубока пропасть, пролегшая теперь между ними? Может быть, хочет унижить его роскошным своим одеянием? Ради самозащиты. Чтобы не вырвалась вдруг на волю придушенная тоска по собственной, ей одной принадлежащей жизни, чтобы она по-прежнему, как какая-нибудь служанка, посвящала себя сыну — до того самозабвенно, что взамен благодарности сын поневоле презирает ее. Но ведь это и есть высочайшая услада материнства — выжать себя до капельки, не ожидая возмещения. А чтобы испытать величайшее это наслаждение, ей нужен царь — не его любовь или внимание, а само его существование.

Тем не менее она любит царя и сегодня же скажет ему об этом, впервые объяснится в любви, и с нынешнего дня все в их жизни изменится, нынче ночью она ляжет к нему девственно целомудренная и до утра будет рассказывать, как провела эти годы и какие мысли от него таила, расскажет даже о том, о чем говорить нельзя, невозможно, признается во всех своих прегрешениях, и когда поутру взойдет солнце, они, пробудившиеся, поймут, что для них начинается новая жизнь.

Это — Гнел? Этот смерд? Этот оборванец, чье появление отнюдь не внезапно? Весь какой-то нескладный, он стоял поодаль, словно подготавливая ее к встрече. Парандзем поняла: возникни он откуда-нибудь из-за угла неожиданно, колесо фортуны, вероятно, выскользнуло бы из ее рук и покатило бы к Гнелу. Ее жизнь тотчас перевернулась бы вверх дном, ее замыслы и наметки пошли бы прахом. Хорошо, что он не вырос перед ней как из-под земли. Эта мелочь — ее спасение. Преодолевая разделяющее их расстояние, она успеет, не отрывая от Гнела глаз, быстренько собраться с мыслями, сосредоточиться и все для себя решить. А у Гнела все будет наоборот. Он уже утратил преимущество, которое давало ему положение невинно пострадавшего. Пока Парандзем приблизится, пока протянутся эти мучительные, бесконечные мгновения, его силы наверняка иссякнут, и ей не будет более грозить никакая опасность. И, позабыв о волнении, Парандзем с дотошностью торговца высчитала, что выгадает каждая из сторон и какой понесет ущерб...

Они стояли лицом к лицу. Гнел не сделал ни шага. Тщательные расчеты Парандзем лопнули как мыльный пузырь. Не двигаясь, они глядели друг на друга, словно тшились вспомнить: он — ее, она — его. Между ними кособочилось

сломанное кресло, и обоим казалось, что оно-то и мешает им броситься друг другу в объятия.

Они глядели, глядели и не могли наглядеться, исчерпать воспоминания, любое из которых томило, причиняло боль и бредило старые раны...

— Ты изменился, Гнел... Стал настоящим мужчиной.

— А в тебе нет уже прежней слабости. В твоих глазах сила.

— Сколько лет минуло...

— Ты вспоминала меня хоть изредка?

— Нет, Гнел, не вспоминала. Потому что была или очень несчастна, или очень счастлива. До сих пор не пойму, счастлива или несчастна... А ты?

— И я не вспоминал, Парандзем. Строил дома. Мостил улицы. Прокладывал глиняные трубы водопровода и укрывал их соломой, чтобы не замерзли зимой. Спал с чужими женщинами, которые пахли землей и потом. Где уж там вспоминать...

— Но я рада, что вижу тебя.

— Я тоже.

Они и впрямь были рады. Искренне рады. Как раз она, эта радость, а вовсе не сломанное кресло преградой стояла между ними. Потому что была самым безобидным среди нахлынувших на них чувств. Так встречаются старые знакомые, встречаются невзначай, ненароком, и вновь расстаются на долгие годы.

Им было жаль, невыразимо жаль безвозвратно ушедшей молодости. Некогда присущей им способности любить безумно, минувшего счастья, пепел которого уже остыл. Своей невинности и чистоты, которую сыщешь, разве что перевернув всю эту свалку. И вообще — себя. Но оба — он и она — жалели себя порознь, не сочувствуя и не думая один о другом, точно не они прожили вместе годы и годы.

— Если ты нуждаешься в чем-либо, говори, не стесняйся.

Парандзем, как и всегда, была начеку, инстинкт бдительно, точно верный пес, оберегал хозяйку. Она уловила, что еще немного, и дружеское тепло разговора приведет к заблуждению, растопит на время лед отчужденности, и, от всей души предложив Гнелу помощь, а главное, попросив его не стесняться, расставила все по местам.

— Я хочу видеть твоего сына.

— Осторожно, Гнел, это признание в любви.

— Ты не поняла, Парандзем. Я хочу видеть нашего будущего царя.

— Но он уже не престолонаследник. — Ее губы слегка скривились; то ли от обиды, то ли в насмешку над собой. — Да и я не царица.

— По глазам вижу — в тебе довольно злости и властолюбия, чтобы наверстать упущенное.

— Но это же оскорбление, Гнел, — нежно укорила его Парандзем.

— Мне некогда заниматься суесловием, — нетерпеливо и грубо ответил Гнел. — Я боялся, что едва тебя увижу, во мне снова пробудится любовь. Но она, слава богу, не пробудилась ни в тебе, ни во мне. Оттого я и могу тебе помочь.

— Ты? Но ведь тебя нет, Гнел. Ты не существуешь.

Может статься, это и вправду обман чувств, полуночный сон, может статься, она тревожно ворочается сейчас в постели и стонет, может статься, ее рука подсознательно ищет мужа, чтобы прижаться к нему и успокоиться.

— Все зависит от тебя, Парандзем. — Глаза Гнела заблестели, прямая и жесткая прядь упала на лоб, и лицо стало неприятное и отталкивающее. — Ты сама должна найти и вернуть утраченное. Ты должна отравить этих женщин.

— Я? — с ужасом вскрикнула Парандзем.

— Умоляю! — Гнел отшвырнул хромоногое кресло, упал на колени и схватил краешек длинного черного платья Парандзем. — Не бойся, отрави их. Хороший яд — и они умрут без мучений. Заклинаю тебя!

Парандзем вырвала из его рук платье и отпрянула. А Гнел замер — коленопреклоненный, подняв на нее острый пронизывающий взгляд.

Парандзем ощутила в его взоре что-то властное и притягательное. Прежде бывало не так — глаза не горели, а ласково и грустно светились. Который же из двоих подлинный Гнел — этот или тот, принадлежащий прошлому? И который ей по сердцу? Она с волнением подумала, что у нее нет однозначного ответа. Сознание обожествляло прежнего Гнела, а в глубине души, втайне даже от себя, она отдавала предпочтение этому.

Парандзем рассеянно озиралась по сторонам. Словно только-только заметила, куда попала. Ее взгляд скользнул вверх по замшелой ограде — где-то там, за оградой, садилось солнце. Ей вдруг нестерпимо захотелось увидеть закат, точно завтра она уже лишится такой возможности. И она затоковала по царственному своему супругу, по роскошным покоем, услужливым горничным, подобострастно склоняющимся перед ней придворным.

Вот почему она так разволновалась! Вовсе не предложе-

ние Гнела повергло ее в ужас. А то, что это была тайная ее мечта, мысль, зреющая в глубочайших глубинах души, решение, которое она в один прекрасный день бесповоротно примет и осуществит. И стоило Гнелу прочесть ее мысли, Парандзем оказалась обезоружена; не опору увидела она подле себя, не поддержку ощутила ее рука — нет, ее будто ограбили. Этот замысел принадлежал теперь не ей, а Гнелу. И даже не Гнелу. А царю, царю, этому дьяволу-искусителю, которого она ненавидела всю жизнь. Он принудил Парандзем встретиться с прежним мужем не только затем, чтобы унижить и приструнить их, но и чтобы заронить в них эту мысль. Вот почему он твердил: Гнел посветует тебе, как быть. И теперь, когда побуждение к действию исходило от мужчин — от них обоих, — Парандзем ужаснулась своему намерению.

— Сможешь? — донесся до нее голос коленопреклоненно-го Гнела.

Присев на корточки и затаив дыхание, царь с любопытством наблюдал за ними и внимательно вслушивался в разговор. И вдруг, почувствовав на своем плече руку, испуганно вздрогнул. Резко повернулся и увидел Айр-Мардпета. Тот поднес к губам палец, а затем примостился возле царя и украдкой глянул на князя Гнела и царицу Парандзем.

— Ты-то откуда узнал? — изумился царь.

— Доживи до моих лет, еще не то узнаешь, — шепотом ответил Айр-Мардпет и грустно усмехнулся: — Тебе не понять, до чего тяжела эта ноша.

— Смогу, — неожиданно сказала Парандзем.

Гнел поднялся на ноги и признательно склонил голову. Парандзем почувствовала, каким глубоким уважением, каким почтением проникся он к ней, и это сделало его еще более отталкивающим.

— Но при одном условии, — присовокупила Парандзем. — Если мне все будет ясно.

— Говори, царица, приказывай!

— Я должна знать, почему ты хочешь этого. Ведь я же изменила тебе. Ведь я жена злейшего твоего врага.

— Что было, то прошло. Меня это не касается.

— Но ты обязан мне отомстить, — повысила голос Парандзем. — Не все ли тебе равно, кто унаследует престол?

— Ты, а не чужачка должна быть армянской царицей, — с исступленной убежденностью прохрипел Гнел и, мотнув головой, отбросил упавшие на лицо волосы. — На армянский престол должен взойти твой сын. И если ты не добьешься этого, то, клянусь всеми богами... Слушай меня хо-

рошенько... Клянусь былой нашей любовью — священной клятвы для меня нет, — тебе не остаться в живых. Я убью тебя.

— Я хочу уйти отсюда, — пролепетала Парандзем, побледнев.

— Ты не сделаешь ни шагу, пока не дашь мне слова.

— Я не знала такого человека, — сказала Парандзем слабым голосом. — Я пришла на свидание с другим.

— Даю тебе месяц сроку. Эти женщины должны умереть. Либо они, либо ты.

— Но это сулит царю верную гибель, — робко возразила Парандзем. — Он в западне. Он потерял голову.

— Не смей говорить о нем при мне! — Гнела совершенно некстати захлестнула дикая ревность, он побагровел и сжал кулаки.

— Речь о стране, Гнел, о стране, а не о царе.

— Убив этих женщин, ты только поможешь ему. Вытащишь из ловушки. Ему не спастись в одиночку.

— Но я должна быть уверена, что ты убьешь меня, если я их не отравлю, — потребовала Парандзем ручательства; ей необходимо было знать, вправду ли закрыт путь к отступлению.

— Спроси царя, — с презрением бросил Гнел и снисходительно улыбнулся. — Он даст тебе верный ответ.

— Он непременно тебя убьет, Парандзем, — сдавленно прошептал царь.

Айр-Мардпет подхватил царя под руку и отвел в сторону. Царь безотчетно покорился главному советнику: он готов был идти хоть на край света, только бы уйти отсюда. Но сам он уйти не мог, ноги не повиновались. Между тем Айр-Мардпет отнюдь не собирался избавлять государя от неприятного зрелища. Ему нравилось видеть смятение царя, цареву подавленность и тревогу: ты ведь сам заварил эту кашу, вот и расхлебывай. Айр-Мардпет не жаждал водрузить на голову корону и стать царем, нет, он предпочитал созерцать унижение настоящего царя, которое доставляло ему величайшее, ни с чем не сравнимое наслаждение.

Он усадил царя на полуистлевшую перевернутую скамью и без всякого выражения шепнул:

— Тебе, царь, незачем лезть в грязь. Мне еще куда ни шло, я старик. И потом, мне все любопытно.

С перевернутой скамьи царю ничего не было видно и слышно, однако весь его облик являл воплощенную покорность.

Айр-Мардпет вернулся на прежнее место, снова опустил-

ся на колени и, прищурившись, продолжал свои наблюдения. Тут его осенила важная мысль, он обернулся и, успокаивая царя, сказал:

— Я расскажу тебе обо всем.

Зная Мардпета как облупленного, царь был тем не менее глубоко тронут. В эту минуту тот был для него самым близким и преданным человеком, хотя бы уже потому, что стал свидетелем его унижения. Может, не посылать его к католику? Поздно ночью главный советник по внутренним делам должен был отправиться в Аштишат. Может, повиниться перед ним, признаться, какую подлую игру затеял, объяснить, что это попытка повторить излюбленную охотничью забаву, когда царь убивает одной стрелой двух птиц. Может, отказаться от давних пристрастий и убивать птиц поврозь?

— Деньги у тебя есть? — внезапно спросил Гнел.

— Есть, — опешила Парандзем. — А что?

— Дай мне.

Парандзем достала кошелек, открыла его дрожащими пальцами и протянула Гнелу несколько золотых.

— Мало, — недовольно буркнул Гнел.

Ничего уже не соображая, Парандзем положила ему на ладонь еще несколько монет.

— Не скардничай. Давай все.

Парандзем протянула ему кошелек.

— Но учти, я ничего не верну. Меня ваши обычаи не касаются.

Замолчав, они вновь посмотрели друг на друга, на сей раз с полным отчуждением. Они смешали с грязью и растоптали нечто очень дорогое — и, похоже, делали это намеренно. И препоны, которые чинило им минувшее, были сметены с пути, а тяжесть воспоминаний побеждена. Просто и безболезненно. Теперь Парандзем стояла в совершенно безлюдном месте перед незнакомым мужчиной, и ее глаза выражали страх — обычный и естественный женский страх.

— Он положил руки ей на грудь, царь, — обеспокоенно шепнул Мардпет.

Царь поднял голову и наострил уши. Поначалу до него как-то не дошло, что происходит, хотя он и догадался: Парандзем грозит опасность, огромная опасность, и надо любым способом — даже ценою собственной жизни — спасти ее. Но вот от чего — этого он не понимал.

— Его губы, царь, тянутся к ее губам...

В глазах померк свет, земля ушла из-под ног, и все окрест заволочло густым туманом. Царь сжался, точно пронзенный клинком. Выхватил из ножен меч и с налитыми

кровью глазами метнулся вперед. Медлительный Айр-Мардпет, каждый шаг которого был чем-то вроде торжественного обряда, с удивительным проворством преградил ему путь, и, как ни странно, у царя не достало сил оттолкнуть старика.

— Аршакаван, царь... Аршакаван, — шептал Айр-Мардпет. — Твой город...

— При чем тут мой город? — с ненавистью спросил царь, сиюсь вырваться.

И поскольку царь тоже перешел на шепот, Айр-Мардпет понял, что нападение удалось предотвратить. Царь не станет уже сводить с Гнелом счеты. Шепот выдал его.

— Если ты убьешь Гнела, царь, Аршакавану не бывать, — стоял на своем Айр-Мардпет. — Он душа твоего города. Он единственная твоя надежда. Разумно ли бросать на половине великое твое начинание.

И чтобы царь наверняка уже не вышел из укрытия, Айр-Мардпет отпустил его. Удерживая насильно, рискуешь внушить дух сопротивления, желание устранить помеху. А сейчас, когда царю никто не мешал, он стал по-детски беспомощен.

— Да, царь, тебе трудно, но ты должен проглотить обиду. Должен превозмочь боль. Еще не родилась женщина, ради которой стоило бы губить страну. Ты проникнешься еще большим к себе уважением, ты вырастешь в собственных глазах, если предпочтешь судьбу страны личной чести.

Айр-Мардпет взял присмирившего царя под руку и опять усадил на полуистлевшую скамью. И царю не пришлось даже в голову уйти, чтобы глаза его ничего больше не видели, а уши больше не слышали. Свалка влекла его к себе, как убийцу — место преступления.

— Ты ведь и без меня знаешь: быть царем трудно, очень трудно. — Мардпет заботливо поправил на царе пурпурную мантию и, воспользовавшись тем, что тот его не слушает, добавил: — Не беда. Поиграешь с Ефремом в шахматы. И все утрясется...

Прав старый пес. Надо всем пожертвовать во имя Аршакавана — во имя единственной своей надежды, единственного упования, единственного для страны спасения. И теперь ему мнилось, будто благодаря этой жертве он приблизился к тому вождеденному дню, когда город окончательно станет на ноги. Отныне он самолично раз в неделю будет навещаться туда в сопровождении караванов, груженных продовольствием и всем необходимым для строительства, будет следить за порядком в Аршакаване, сместит Вараза Гнуни,

возможно даже назначит Гнела градоправителем — лишь бы оправдать свое сегодняшнее постыдное отступление.

Да и кто видел, кто слышал? Парандзем и Гнел не догадываются, что он здесь. Старик советник? Но он этой же ночью отправится в Аштишат, откуда ему нет возврата. Обстоятельства складываются в пользу царя. Кто еще? Он сам? Себя он не боится, не стыдится, не совестится. Стало быть, ничего, ровным счетом ничего не случилось.

Убей он Гнела, Аршакавану и впрямь пришел бы конец. Вранье все это — царские указы и приказы, призывы глашатаев на площадях городов и селений, повозки, груженные продовольствием и всем необходимым для строительства, льготы простому люду, — все это вранье, тогда как истина — человек, способный повести за собой чернь и предводительствовать взыскующей пастыря толпой.

И он, основатель и творец Аршакавана, он, породивший дьявольский этот замысел, он только теперь, под тяжестью великой боли и срама, до конца постиг, до глубины души уразумел, как счастлив он был, когда из суеты сует, из хаоса мыслей, из клубка затруднений вдруг, подобно праведному утреннему светилу, блеснуло то единственно верное решение, к которому человек приходит лишь единожды в жизни. А куда чаще — вовсе не приходит. Его отец, царь Тиран, не знал такого светозарного мига. Хосров Коротышка всего-навсего посадил рощу.

Убей он Гнела, и цель, которой служила эта сегодняшняя встреча, обернулась бы против него. Парандзем не только бы не унялась, но и осуществила бы все свои угрозы. Ну что, Гнел, видишь — прав был я, а не ты. Жестокость, с которой мы зачастую вынуждены действовать, — оружие слабых. Какой прок в моей жестокости, то бишь в сегодняшней вашей встрече? Нет, ничего, ровным счетом ничего не случилось.

А Парандзем и Гнел по-прежнему отчужденно смотрели друг на друга.

— Помни, ровно месяц. И ни дня больше.

— Уходи, Гнел. Я закричу, позову на помощь.

— Может, и пояс дашь? Я продам его и буду сыт до лета.

И другим кое-что перепадет.

Не проронив ни звука, Парандзем расстегнула ушитый самоцветами пояс и протянула Гнелу. Едва ли по доброй воле. Скорее из страха. Как если бы она имела дело с разбойником, безжалостно грабившим, обиравшим ее.

— А если еще золотые серьги да яхонтовое ожерелье в придачу, мы с товарищами обеспечим себя и на зиму.

Парандзем безропотно сняла серьги и ожерелье и скрепя сердце отдала.

— Ты красива, Парандзем, — когда брать уже было нечего, нагло вато усмехнулся Гнел, смерив ее взглядом с ног до головы. — В Аршакаване нет красивых женщин.

— Представь, ты тоже мне нравишься, — так же откровенно смерив его взглядом и не смущаясь, ответила Парандзем, и Гнел ощутил в бархатистом ее голосе волнующую дрожь. — Ты груб и опален солнцем...

— Твои шелка шуршат маняще и таинственно...

— Я не знала, что ты так широкоплеч и мускулист...

— Но я давно не мылся, Парандзем...

— Мне надоели чистюли...

Гнел повелительно простер руку и медленно попятился. Очарованная его силой и грубостью, Парандзем шагнула к ждущей ее, к зовущей руке. По завалам хлама, по узеньким, то и дело пропадающим тропкам, окруженные высокими замшелыми стенами, они бок о бок, оскользаясь и поддерживая друг друга, уходили в глубь этого чужого, неведомого мира к дальнему, утопавшему во мраке углу, к старым, мертвым вещам, которым предстояло ожить и еще на день продлить свое бытие.

— Увел, царь...

Царь стиснул руками голову, плечи его содрогнулись, и он беззвучно зарыдал. Он раз в неделю будет самолично ездить в Аршакаван. В сопровождении караванов, груженых продовольствием и всем необходимым для строительства. Самолично будет следить за порядком в городе. Сместит Вараза Гнуни. Возможно даже, назначит Гнела градоправителем.

Рыдания душили его. Он проклинал всех царей, их пращуров и потомков, бранил страну и народ, поносил Аршакаван и его обитателей, своих друзей и врагов. И более всего — мечту о сплоченном, едином отечестве.

— Не горюй, царь, — с искренним сочувствием сказал Айр-Мардпет. — Ведь никто же не видит. Никто не узнает...

Глава двадцать вторая

Историк повествует:

«В это время персидский царь Шапух пригласил к себе армянского царя Аршака и почтил его великими почестями и славой... В часы увеселений они садились на одну тахту, облачались в одинаковые одеяния одного и того же цвета, с одними и теми же знаками и украшениями. И каждодневно

персидский царь готовил одинаковые венцы для себя и для него...

Царь Шапух заставил армянского царя Аршака поклясться на божием евангелии в том, что тот не обманет его и не предаст, а останется верным своему обету и будет блюсти договор с ним.

...А то святое евангелие, на котором поклялся царь Аршак, приказал перевязать железной проволокой и, запечатав перстнем своим, повелел бережно хранить в сокровищнице».

★ ★ ★

Историк повествует:

«Констанций призвал к себе армянского царя Аршака и, приняв с величайшим почетом, всячески увещевал не порывать с ним дружбы... Ибо прослышал, будто персидский царь многожды пытался, прибегая ко лжи, угрозам и вероломству, принудить царя армян отказаться от союза с Римом и накрепко привязать его к себе.

Аршак вновь и вновь заверял, что скорее покончит с жизнью, нежели изменит свои намерения».

★ ★ ★

Однако никто из историков не записал происшедшего в Аршакаване достоверного случая. Не записал, либо не зная о нем, либо сочтя слишком мало важным. Между тем сказание о любви Бакура и Ашхен имело для судеб страны такое же историческое значение, как малые и большие битвы и дипломатическая игра.

★ ★ ★

Когда Ашхен пришла с родителями в Аршакаван, она была уже не девочка, но еще и не девушка. Дети не хотели с ней водиться, потому что она была большая, а взрослые ни в грош ее не ставили, потому что считали маленькой. Оттого-то, когда родители надумали выдать ее замуж, Ашхен искренне обрадовалась и сразу согласилась. Свадьбу сыграли на славу и обвенчали Ашхен с Артаваздом.

Свадьба длилась семь дней и семь ночей, поскольку армянских языческих богов было семеро. Каждому из них посвящалось по одному дню.

Будь они в родной деревне, музыканты взобрались бы на крышу невестиного дома и, наигрывая развеселую мелодию,

зазывали бы сельчан. Но в этом чужом огромном городе ни у той, ни у другой стороны почти не было друзей и близких. А без гостей — что за свадьба? И вот, сопровождаемые одним из родичей новобрачной, музыканты бродили по улицам, подходили к первому попавшемуся дому, играли и приглашали на свадьбу...

Гостями на свадьбе Ашхен оказались сплошь незнакомые люди. Даже подружками невесты, которые должны были искупать ее, одеть, заплести косы, напевая при этом то веселые, то грустные песни, — даже подружками невесты стали посторонние.

Мало того что невинную девушку, выросшую под крылышком у отца и матери, забирали из родительского дома, — вдобавок чужие бессердечные женщины, колдуя над ней, просеивали муку — символ плодородия. Столько напресеивали муки, что Ашхен несколько лет сряду никак не беременела. Сеяльщицы накидывали на голову и на посудину красные покрывала, чтобы будущая сноха была стыдливой и покорной. И делали все это в полном молчании, чтобы она молчала и не трепала попусту языком.

Не буду покорной, не буду молчать, не буду — и кончено, возмутилась девушка, решив, что окружена врагами и что это не обычный обряд, а заговор взрослых против нее. Пускай Артавазд оглохнет от моей болтовни. Что ни скажет, не послушаюсь, не подчинюсь, гори он огнем. Так она с самого начала настропала себя против мужа — своего ровесника, верзилы с рябым лицом.

Артавазд тоже с первого дня невзлюбил ее. Удальцы со стороны невесты, воспользовавшись ротозейством друзей, тайком пробрались к жениху в дом и стащили Артаваздову шапку. А это — величайший позор для всякого мужчины. Родители жениха потеряли голову, перепугавшись, как бы соперники ворожкой не лишили их сына мужской силы.

В первую же брачную ночь Ашхен и Артавазд подрались на супружеском ложе. Причем решающее значение в стычке возымели длинные ногти девушки и ее пылкий, непокорный нрав, который заставил верзилу жениха спасовать.

Так началась и точно так же продолжалась их совместная жизнь. Артавазд сполна расквитался за неудачу. Ежевечерне, словно взамен ужина, избивал жену, а уж потом укладывался с ней в постель.

Ночь была для Ашхен адом. Она мечтала о лете, когда дни удлиняются и солнце, единственный ее друг, долго-долго сияет на голубом небосводе.

Она не могла не полюбить Бакура. Он стал в ее жизни

чем-то вроде солнца. Бакур торговал на рынке стеклянными украшениями: бусами, серьгами, ожерельями, браслетами. Она купила у него столько побрякушек, что не знала потом, куда их девать.

Днем прихорашивалась, а вечером, когда должен был вернуться муж, снимала обновки и прятала подальше от его глаз. Не хотела казаться ему красивой. Не хотела ходить перед ним в купленных у Бакура серьгах и бусах. Впрочем, угрюмый муж и без того не обращал на нее внимания.

Бакур начал изготавливать для нее украшения особо. Забросив прочие свои дела, в ущерб заработку, часами напролет корпел над какой-нибудь брошью, покуда не убеждался, что его руки создали совершенство.

В отличие от Ашхениного мужа Бакур был улыбчив и словоохотлив, в его глазах светилась жизнь и обещание чего-то неведомого; легкий и проворный, не в пример неповоротливому Артавазду, он в противоположность неряхе мужу тщательно и ладно одевался. Ростом он уступал долговязому Артавазду. Даже это казалось ей преимуществом.

Как-то Бакур предложил ей взять несколько побрякушек даром, но Ашхен не согласилась. Бакур попытался настоять, однако Ашхен упрямилась. Наконец она все-таки чуток уступила и заплатила за покупку со скидкой. Следующая покупка обошлась ей и того дешевле. Но платить она платила всегда, пускай мало, лишь бы имелась какая-то символическая цена.

Оба понимали, что это признания в склонности и любви, признания, на которые одна сторона была щедра и которых другая сторона покамест себе не позволяла. Спротивлялась. Правда, сопротивление слабело, шло на убыль, однако же Ашхен еще не сдалась окончательно.

Она боялась, как бы чего не стряслось. Ежели, не приве-ди бог, прознают, ее опозорят и ославят, один из помощников градоправителя, самый среди них отвратительный, при-тащит ее на площадь и, карая за блуд, отрежет перед глазеющей толпой ее длинные косы.

Этого помощника все боялись как огня. Завидев человека с прямыми жесткими волосами, люди разбежались кто куда, от греха подальше. Детей стращали его именем. Ашхен была уверена, что, если их с Бакуром разоблачат, она непременно угодит к нему в руки. Пускай даже ей повезет и ее делом займется какой-нибудь другой помощник, тот, самый ненавистный, костями ляжет и добьется, чтобы преступницу передали ему.

А бросать мужа и разводиться запрещалось законом. Хочешь не хочешь — влачи свой крест до скончания века, с от-

вращением и мукой претерпевай тягостные ночи и, глядя в потолок, считай минуты до восхода солнца.

Нет, в Аршакаване, как и повсюду, никто не имел права на расторжение брака.

А ведь сколько народу убежало из родных мест и пришло в Аршакаван, чтобы избавиться от постылых мужей и жен, сколько народу нашло приют в гостеприимном этом городе, сколько влюбленных соединилось здесь.

Ну, а если ты женился как раз здесь — здесь, в этом свободном городе, и здесь стал несчастным, если здесь полюбил снова, если так близка и осязаема возможность исправить ошибку и обрести счастье?

Нет, в Аршакаване, как и повсюду, никто не имел права на расторжение брака.

Но Ашхен не ведала смирения, чувства бурлили в ней, сметали преграды и вырывались на божий свет. Прилагая отчаянные усилия, она оплетала себя путами, а потом быстрой и ловко высвобождалась из них. Решала не казать больше на рынок носу, выбросить бесчисленные Бакуровы стекляшки, с головой окунуться в домашние дела и в суете постирушек и стряпни позабыть обо всем. И бежала на рынок. Покупала задешево новые украшения. И понимала, что эти украшения не чета прочим, редкостно красивы и необычайно нежны и что предназначены они одной-единственной женщине. Для нее они становились дороже золота и яхонтов. Так ли уж важно, стеклянные это подвески или жемчужные, важно, что ты испытываешь, надевая их, — ведь полно людей, купающихся в золоте, которое не доставляет им ни малейшей радости.

И она взяла его украшения задаром. Задаром!

В тот день в отдаленном и безлюдном предместье города они стали мужем и женой; брачное ложе им заменил стог сена, музыкантов — щебетанье птиц, а кумовьев и свойственников, подруг и друзей заменили они сами, мужчина и женщина.

И Ашхен почудилось, будто она только теперь извела трепет первой ночи, только теперь пережила сладостную телесную боль — священное начало вечной любви... Отныне дни приобрели для нее еще больший смысл, а ночи стали еще кошмарнее. Лето еще любимей, а зима еще холодней и суровой.

Они встречались у того же стога, словно для них созданного богом, вдали от любопытных и недобрых глаз. И Бакур уже не дарил ей стеклянных украшений, хотя по-прежнему изготавливал их на продажу. И господь свидетель, эта нехват-

ка внимания подтверждала, что они теперь супруги — не перед людским, а пред вышним законом...

А когда от случая к случаю, по праздникам, Ашхен получала от Бакура подарок, то прямо-таки с ума сходила от радости, ведь эти подарки, как и раньше, были сделаны особо, в расчете на нее. Но домой она их не приносила — прятала в стожу, чтобы мужнины взгляды не осквернили, не опоганили их.

Они построили себе дом под открытым небом, дом без стен и без кровли. Но город разрастался и грозил обнаружить их приют. То был первый удар, полученный ими. Второй удар был вот каков. Однажды утром Ашхен почувствовала тошноту и легкое головокружение. Сердце радостно встрепенулось и тут же обмерло от страха. Она еще сильнее полюбила Бакура, и еще сильнее возненавидела мужа. Сколько ее мучили, сколько над ней глумились — такая-сякая, бесплодная, — сколько ворожили над ней старухи, сколько снадобий пришлось ей выпить. Еще немного — и, чтобы восстановить женское свое достоинство, она, презрев всякую опасность, пошла бы направо и налево рассказывать о случившемся. Но где же родится ее сын или дочка — в этом доме, под этим давящим потолком? Как она посмотрит в сияющие счастьем глаза Артавазда, как вынесет, что не Бакур, а он наречет имя их дитяти и дитя будет вылитый Бакур? И не узнает об этом. И Бакур его не увидит.

Ашхен бежала по городским улицам, бежала во весь дух, не замечая устремленных на нее укоризненных взглядов, не считаясь с тем, что подумают о ней люди. Запомняв о вездесущем соглядатае с прямыми жесткими волосами.

Этот копошащийся в ее утробе маленький человечек, наверное недовольный безоглядным бегом матери, был единственным ее спасением, потому что создавал безысходное, безвыходное положение, которое понуждало и принуждало искать выход, найти какой-то путь. Либо сюда, либо туда — только бы не застрять посередине, в промежутке.

На рынке она сразу заприметила Бакура, издали поманила его и, схватив за руку, чуть не силком поволокла за собой. Бакур не понимал, что творится, весела Ашхен или огорчена, счастье это или беда. И только повторял: совестно, с ума ты сошла, руку-то хоть пусти... Она не отпускала, плевать ей было на все, теперь они не одни, теперь их трое...

Узнав, в чем дело, Бакур обнял жену и, ликуя, закружил в воздухе. Начал гадать, кто у них будет, мальчик или девочка. Рассуждать про себя, кого бы он предпочел. При-

думывать имя. Но, увидев грустный взгляд Ашхен, замолк и нахмурился.

Они лежали рядышком в стогу сена, глядя на небо и слушая однообразный стрекот сверчков. И размышляли. Размышляли в поисках выхода.

А разрастающийся и безостановочно подминающий под себя все новые пространства город враждебно, с угрозой смотрел на несчастную чету. Ему, этому исполину, ему и всему миру — противостояли три беспомощных и беззащитных существа...

Вдруг Ашхен встрепенулась, с воинственным выражением лица села и, не глядя на Бакура, сообщила ему свое окончательное решение:

— Домой я не вернусь. Пускай остригают волосы. Пускай позорят на площади. Домой не вернусь.

— Ты же знаешь, это бесполезно. — Бакур лег ничком и зарылся головой в сено. — Вас не разведут. И с тобой расправятся, и со мной.

— Пускай их делают что хотят. Я останусь у тебя. Мой муж — ты. Закричать об этом, что ли? Пойду по улицам и буду кричать. Пускай все слышат.

И закричала. Громко, во весь голос.

— А-а-а-а-а...

Бакур вскочил, но, увидев, что Ашхен и сама порядком стухнула, не проронил ни слова.

— Я своей любви не стыжусь. А ты... ты стыдишься...

Ашхен зарыдала. Бакур даже не пытался утешить ее или успокоить. Не оправдывался и не возражал.

Начался тяжелый разговор. Чья любовь сильнее? И кому пришлось труднее — Ашхен, жившей под одной крышей с ненавистным мужем, или Бакуру, лишенному возможности видеть ее каждую минуту и счастья создать семью? А уж если она не любила мужа, так почему же уступила ему, отдалась? Ну ответь, ответь, коли сумеешь. Изменила мне. С мужем. Хоть бы человек-то был настоящий. Однажды, подталкиваемый любопытством, Бакур пошел взглянуть на Артавазда. Пусть муж ее избивал, пусть она умывалась кровью, не должна она была с ним спать. И так, слово за слово, оба они перемазались грязью.

— А ты меня не бросишь? — вырвалось вдруг у Ашхен. — Не струсил? Не сбежишь?

Эта лавина вопросов была до того внезапна и неожиданна, что оба — мужчина и женщина — замолчали и с недоумением переглянулись.

И поняли: они ни в чем не повинны — вина была не

в Ашхен, не в Бакуре, не в их ребенке, а вовне. Где-то рядом. Поблизости. В этом самом городе, называвшемся Аршакаваном.

И, тронутый волнением и тревогой жены, он улыбнулся и со странным спокойствием ответил:

— Мы всегда будем вместе. Всегда вдвоем.

— Неправда! — Ашхен усмотрела в его спокойствии нечто подозрительное. — Я тебе не верю. Тебе что... Ты вольная птица. Страдать буду я, одна я.

Бакур нашел выход — в отличие от Ашхен, у которой выхода не было, да и не могло быть. Ну конечно же Бакур нашел выход. Он бросит все и уйдет. Единственное настоящее решение. Истинно мужское. Решение не мальчика, но мужа. Сколько ни есть на свете женщин, столько же и различных решений, а у всех на свете мужчин — у них одна, всего лишь одна дорога. Так что виноват не Бакур, ее любимый, ее ненаглядный супруг, виноват его пол, его принадлежность к той, а не иной половине человечества.

— Даю слово. Ты не будешь страдать, — с тем же странным спокойствием сказал Бакур, и подозрения Ашхен укрепились. — Тебе не остригут волосы.

— Другие женщины бежали от мужей в Аршакаван, — в отчаянии кляла судьбу Ашхен. — А мне-то куда бежать?

Бакур встал, взял Ашхен за руку и поднял. И повел за собой. Ашхен следовала за Бакуром в недоумении, то и дело шмыгая носом и утирая рукавом слезы.

— Куда ты меня ведешь? Люди увидят...

— Вон там... — Бакур улыбался таинственно и непонятно. — Там воля.

— Какая еще воля? Спятил ты, что ли?

— По ту сторону ограды.

Ашхен в страхе покосилась на Бакура и попыталась высвободиться. Ей мерещилось, что помощник градоправителя, способный, по ее убеждению, разом находиться повсюду, в сотне различных, удаленных друг от друга мест, втихую подсматривает за ними и все слышит. Он вот-вот вырастет как из-под земли с неизменной своей плеткой в руке и жестоко посчитается с беглецами.

А Бакур с прежней загадочной улыбкой на лице обнял ее, подхватил на руки, неспешными шагами двинулся к ограде, и Ашхен прочла в его взгляде беспредельное спокойствие и заразительную безмятежность.

— Осталось всего ничего. Потерпи еще немного. Самую малость. Смотри, как она близка, ограда... Мы оставим здесь

наши невзгоды. Будем свободны. Совершенно свободны. Свободны как ветер. Даю тебе слово.

Бакур перебрался через изгородь и, держа Ашхен на руках, стал спиной к Аршакавану.

— Открой глаза. Не бойся. Открой же глаза, Ашхен... Гляди, вот ты уже и свободна. Сейчас мы побежим. Закричим, и нас никто не услышит. Рухнем в траву и раскинем руки. Бросимся в реку одетые. Свобода, Ашхен, — это когда плывешь прямо в одежде... Заночуем под открытым небом. На земле сколько угодно стогов сена. Я не обманываю тебя. Ну открой же глаза!

Ашхен медленно раскрыла глаза и только теперь услышала вдалеке эхо давешнего своего возгласа:

— А-а-а-а-а...

Глава двадцать третья

Царь посетил Аршакаван и остановился на ночлег в недостроенном дворце. Дворец представлял собой пустынное, необжитое сооружение, далекое пока что от коварства и козней. По случаю приезда государя обставили лишь одну залу, да и то на день.

Царь лежал на широком ложе, вперив взгляд в потолок; ему не спалось. Все без исключения вещи казались ему чужими, точно его приютили в случайном, незнакомом доме или же на подворье.

В изножье ложа, завернувшись в козью шкуру, клубком свернулся на полу князь Гнел и крепко спал, будто отсыпался за сотни и сотни бессонных ночей.

На стенах залы мерцали слабые отсветы горевших на площади костров. Снаружи доносился шум. Невзирая на мрак и дождь, люди все еще работали. Судя по ободряющим голосам, они таскали или грузили тяжести.

Царь скучал по арташатскому дворцу, коврам, креслам, мягким пуховым подушкам, отборным изысканным кушаньям и чувствовал, что больше одного дня ему в Аршакаване не выдержать.

Он пытался пересилить себя, упрямо утешался мыслью: привыкну. Он создаст соответствующие условия и здесь. Новое его обиталище станет средоточием добронравия, преданности и человеколюбия. Во всех его залах будет господствовать дух искренности и чистосердечия. Под его сводами не прозвучит ни единой лукавой двусмысленности. Измена не отыщет здесь для себя благодатной почвы. Подлость и коварство перейдут в разряд горестных стародавних преданий.

И, однако же, все его помыслы были в арташатском дворце.

Он справится в Аршакаване с одиночеством, которое повсюду следует за ним по пятам. Когда он оставался совсем один, с глазу на глаз с самим собой, оно отступало. Он чувствовал себя одиноким только среди людей: беседуя с ними, обсуждая те или иные вопросы, сидя за столом, перекидываясь шутками и особенно — да, особенно! — бражничая, развлекаясь, пируя.

И когда одиночество обострилось до того, что обрело достаточно определенный облик, он решил встретиться наконец с другом детства, с Ефремом. Однажды, лишь однажды позволить себе провести время не с князьями, не с послами, не с военачальником или царедворцами, а с обыкновенным человеком. И забыть с его помощью, что он государь и венценосец, стать простым смертным...

Прождал целый вечер, а Ефрем все не шел.

Он хотел встретиться с ним не в Арташате, этом смрадном болоте горестей и забот, а здесь, в Аршакаване, в недостроенном дворце, отгородившись от мира и людей, от каждодневной обстановки и лиц, с любым из которых связано тяжелое, неприятное воспоминание. В Арташате им с Ефремом было бы неудобно, они не вязались бы с окружением, а здесь, в живущем здоровой и естественной жизнью городе, встреча друзей как нельзя более уместна.

Что до Аршакавана, то он, видимо, сегодня ликует. Все от мала до велика знают, что у них гостит царь, что он спит сейчас неподалеку от них, не возводя преград между собою и горожанами, — не в цитадели, а в двухэтажном дворце, выстроенном на самом высоком из аршакаванских холмов. Они — город и царь — сильны друг другом, оберегают друг друга, служат друг другу опорой и оплотом. Мне очень хочется любить вас, аршакаванцы, мне очень хочется постичь вас. И если это пока что лишь мечта, то вина тут моя, а не ваша. Будьте снисходительны и терпеливы. Вас много, а я один. Все вместе вы гениальны, а я зауряден. Дайте же мне срок. Чтобы полюбить и постичь вас. Уловить мелодию в грубых ваших голосах. Обнаружить изящество в диковатых ваших жестах. Разглядеть широту души в тесных ваших хибарках. Воспринять вашу речь, ваш армянский язык. Будем же вместе ждать и надеяться. Не так уж он бесталанен, ваш царь.

Он повернулся на бок и, свесившись с постели, шепотом окликнул лежащего на полу князя:

— Гнел, эй, Гнел! Вставай! Послушай, что скажу... Гнел! — Он поправил сползшую в сторону козью шкуру

и заботливо укрыл его. — До чего ж ты крепко спишь... Какое у тебя здоровое и ровное дыхание...

Он умолк, и звучавшего в ушах собственного голоса как не бывало — отчетливо услышал тишину. Кто он таков? Наполовину христианин, наполовину язычник. Наполовину силен, наполовину слаб. Наполовину счастлив, наполовину несчастен. Наполовину жесток, наполовину милосерд. Все наполовину. Но ведь прежде он не был таким, он был некогда человеком цельным, все у него было полноценно — и пороки, и добродетели. Что же случилось? Пробудился однажды и узрел, что и трон у него располовинен, и власть, и страна, и время.

Любопытно, о чем мечтает этот лежащий на полу бедолага, единственный среди знакомых ему людей, у кого нет прошлого. Должно быть, прошлое не посещает его и во сне. Он и во сне не сомневается, не задает вопросов, не ломает себе голову, каким путем идти. Со дня мнимой своей смерти он обрел истинное счастье и смысл жизни, отрешился от всех обязательств, отрешился даже от своего имени, получив взамен этого целостность. Царь ревновал его к ней, негодовал, чувствовал себя ограбленным, потому что Гнел добился цельности благодаря располовиненности государя. Воспользовавшись горьким его уделом. Тяжким положением страны. Безвыходностью. Можно ли представить себе такого подданного у шаха или у императора, будь они даже малодушны от природы? Да никогда в жизни. Гнелу нечего было бы делать и при дворе Тиграна Великого¹. Это-то и бесило царя. И вот он, этот бедолага, спит сейчас, как младенец, и славит во сне царя, сочиняет о нем сказку, видит его могущественным и независимым, блаженствует оттого, что отечество сплочено, его рубежи неприкосновенны, нахарары едины и верны государю, легенда о царе достигла грядущих поколений и наивные потомки верят в созданный и воспетый Гнелом божественный образ и передают эту небылицу из уст в уста. Царю между тем по-прежнему не спится. Вот бы заснуть... Заснуть бы... Вперив глаза в потолок, он ищет утраченную половину своего существа, своей души. И дает пищу сновидениям слуги.

Дверь приоткрылась, и в тесный проем вошел с факелом в руке человек. Азат Ефрем, друг детства! Его успокоение. Его алтарь. Его храм. Царь с легкостью юноши спрыгнул с постели, кинулся навстречу гостю, заключил в объятия и долго-долго не отпускал.

¹ Тигран II — царь Армении (95 — 55 гг. до н. э.).

Шум разбудил Гнела, он потер заспанные глаза, лениво зевнул и, не обращая внимания на новопришедшего, покинул залу.

— Ты и не знаешь, как я соскучился по тебе! Как мне тебя недоставало! — крепко обняв друга, без передыху говорил царь. — Мне передавали, что ты почти ежедневно часами дождался меня в приемной. Но что поделаешь, если друг твоего детства, этот затурканный и горемычный царь, не находил времени повидаться с тобой. Прости, что заставил тебя столько ждать! — Взял гостя за плечи, взволнованно и с умилением оглядел. — Ты не изменился. Ей-ей, не изменился. Тот же Ефрем. Чуть печальные глаза. Большие добрые руки. — И с любовью, с нежностью добавил: — Мой нескладный, мой некрасивый Ефрем... А я? Вон как я изменился... Помнишь меня прежнего? Эх, милый ты мой, царствовать — значит не услаждаться, а работать. Это работа, долг. Лишения и одиночество. Нет, так не годится: только я и говорю. Скажи что-нибудь, подай голос!

— Я прямо с дороги, царь, — почтительно и благоговейно сказал Ефрем и даже едва заметно поклонился. — Узнал о твоём наказе и явился в Аршакаван.

— Мы до самого утра будем играть в шахматы, — ликующим голосом продолжал царь, уверенный, что осчастливляет Ефрема. — Играть и молчать. И наше молчание будет красноречивее любых слов.

Перламутровый шахматный столик был подготовлен еще днем. Царь жестом предложил Ефрему сесть в мягкое кресло, а сам устроился напротив. И тут же, явно обеспокоенный, встал, подошел к ложу, нагнулся и стал что-то нашаривать. Потом распрямился и, сияя, вернулся к столику с красными шлепанцами в руке.

— Разуйся, — заботливо сказал он. — Небось устал.

Ефрем воспринял это как приказ, смущенно разулся и надел красные царевы шлепанцы, ради которых нахарары не сочли бы зазорным по-шутовски кувыркатся. Но улыбнись даже кому-нибудь судьба, счастливчик заполучил бы только один шлепанец, потому что носить два красных башмака дозволено, как известно, лишь государю. Царь взял тяжеленные бахилы друга и поставил у дверей. Принес соболью накидку и набросил Ефрему на плечи: в зале было холодно.

— Стало быть, не сообрази я сам, ты бы и не заикнулся? — с упреком сказал он. — Нет, что ни говори, будь я твоим гостем, вел бы себя по-иному.

И коль скоро упрек царя тоже был приказом, Ефрем по-

чувствовал себя глубоко виноватым и залился краской.

— Прежде чем наступит великое молчание, один вопрос — и конец. Как жена, как дети? Живы-здоровы?

— Славу господу.

— Тебя хорошо здесь устроили? Смотри, если чем недоволен, не вздумай скрывать.

— Спасибо, царь.

— Завтра я зайду на подворье, посмотрю сам. Если что не так, я тебе задам перцу. Но никаких особых приготовлений. Слышишь? Зайду на минуту-другую. Ну а теперь, — торжественно провозгласил царь, — теперь начинается великое молчание.

Он склонился над шахматной доской и сделал первый ход, что означало: на одну ночь, хоть на одну ночь отрешиться от действительности, закрыть глаза и заткнуть уши, ничего не видеть и ничего не слышать. Забыть, хоть на день забыть об императоре и шахе, поучиться у друга детства человечности, дабы во всеоружии новых познаний легче и вернее продолжить борьбу с чужеземным врагом, заговорщиком-соотчичем и собственным одиночеством.

Но как позабудешь императора Констанция, который отправился пролить слезы над развалинами Амиды, да так и не поспел вернуться на Запад, чтобы подавить назревавший мятеж двоюродного брата Юлиана, и, тяжело заболев, умер в Киликии? Как позабудешь прозвание Юлиана — Отступник, — полученное им за отказ от христианства и возврат к язычеству? Как позабудешь Юлианово высокомерие и надменность при переправе через Тигр, когда он распорядился сжечь все свои корабли, чтобы армия не помышляла об отступлении, а Шапух взял да и предал огню плодородные равнинные нивы и тем самым обрек византийцев на голод? Забудешь ли чудовищные тучи мошкары, которые днем затмевали солнечный свет, а ночью — звезды? И примиришься ли с мыслью, что на место пораженного вражеской стрелой Юлиана уstraшенные византийские легионы избрали императором одного из своих полководцев — жестокосердного Иовиана? Да и как с этим примиришься, когда не одни только удачи, но даже и промахи чужестранца все-таки больно бьют по тебе? Какое мне дело до гениальных ваших прозрений или бездарных ошибок, почему какой-нибудь другой ваш враг в одном случае пострадает, а в противном — воспользуется ошибкой и единственным пострадавшим в обоих случаях суждено быть мне? Иовиан подписал с Персией постыдный договор, полностью предавая Армению во власть Шапуха. Между тем армянам везло именно

потому, что на них зарились оба могущественных соседа, оба, а не один. Тут еще можно было как-нибудь изловчиться и проскользнуть у них промеж ног. А теперь стоишь лицом к лицу только с одним, и сила у этого одного – несметная, аппетит – отменный, а желудок переварит все что угодно.

Забывать... Поучиться у Ефрема... Стать в эту ночь прилежным учеником...

– Ну, дорогой мой Ефрем, что скажешь? – царь неожиданно-негаданно почувствовал себя на седьмом небе. – Ты, видно, думал, что твой друг давным-давно не играл в шахматы и теперь перед тобой этакий зайчишка. Знал бы ты, как я ждал этой минуты!

– Что ж тут скажешь, царь, – смущенно улыбнулся Ефрем. – Ты победил.

– Не говори мне «царь». В конце концов, должен же быть хоть один человек, который зовет меня по имени. – И он с невероятным блаженством и невероятно осторожно, словно нес в руках драгоценную, тончайшей выделки вазу и страшился сделать неловкое движение, чтобы – упаси боже – не уронить ее и не разбить, проговорил: – Меня зовут Аршак. Аршак.

– Как поживаешь... Аршак? – Это имя его губы произнесли с величайшей натугой. И через мгновение он повторил вопрос, на этот раз искренне: – Как поживаешь, царь? Из своего далека я зорко слежу за тобой.

– Ни слова обо мне! – решительно воскликнул царь. – Сегодня главное – ты. Сегодня речь только о тебе. О твоей семье. О жене, детях. Мне довольно и этой удачи. Кстати, ты играешь совсем неплохо. Ты был достойным соперником. Именно потому так важна для меня моя победа. – Внезапно, оборвав на полуслове свою вдохновенную болтовню, он помрачнел и исподлобья взглянул на Ефрема: – Послушай-ка, а может, ты нарочно проиграл? Может, в душе ты надо мной смеешься?

– Да что ты, царь! – Ефрема даже озноб прошиб со страху. – Я и в мыслях такого не держал.

– Кто поручится, что победа принадлежит мне по праву? Мне, а не тебе?

– Она твоя, царь, – мягко и покорно уговаривал его Ефрем. – Просто на сей раз ты оказался искуснее.

– Все равно не верю, – стоял на своем царь. – По глазам вижу, эту игру ты мне подарил.

– Я же устал, царь, – из кожи вон лез Ефрем, оправдываясь. – Прodelал долгий путь и пришел к тебе, не отдохнув. Где уж тут хорошо сыграешь?..

— Хочешь сказать, что иначе бы ты взял верх? — обиделся царь. — Ладно, коли так, сыграем снова. До рассвета не близко.

Чем дальше, тем скованней становился Ефрем. Получая приглашение во дворец, он всегда отправлялся неохотно. И всякий раз, когда встреча с царем откладывалась, от души радовался: что называется, гора с плеч. Однако царя он любил, дорожил многолетней с ним дружбой, всем сердцем желал ему добра, с пристальным вниманием следил за его взлетами и падениями, гордился им. И все же никому не рассказывал об этой дружбе, старался скрыть ее от посторонних глаз, дома и то избегал произносить царево имя. Царь — это царь, а он — это он. Один на вершине горы, другой даже не у подножия, ниже. Какая нужда выставлять напоказ их близость и пользоваться ею корысти ради? Выходит, если был у царя в детстве дружок, с которым он играл, и мечтал, и купался в речке, то теперь, царь, изволь расплачиваться? Нет уж, пусть каждый живет сам по себе, не обременяя другого. Потому что царево величие будет обременять Ефрема в той же мере, в какой его, Ефрема, ничтожность будет обременять царя.

— Вчерашней ночью, Ефрем, мне приснился сон, — вновь послышался голос царя, теперь несколько отчужденный и обиженный. — Мы были вдвоем, я и ты. Я тонул в море. А ты стоял и смотрел как ни в чем не бывало. Я кричал, звал на помощь. Махал тебе рукой. Но ты не двинулся с места. Не хотел меня спасать. Мне даже показалось, будто ты улыбаешься. Потом ты нагнулся, подобрал камушек и швырнул в воду. Я так и не понял — зачем. Нет, Ефрем, ты меня не любишь.

— Но это же сон, царь, — разволновался Ефрем.

— Все равно. Ты меня не любишь.

— Мы, царь, друзья с детства, — волей-неволей напомнил Ефрем. — Когда тебе приходилось трудно, я грустил вместе с тобой. А когда тебе было весело, я разделял с тобой радость.

— Значит, любишь? — с сомнением посмотрел на него царь и укоризненно покачал головой. — Но все ж таки не сказал этого прямо... Нет, не сказал!

И он вновь сделал первый ход, что означало: хоть на одну ночь отрешиться от действительности, закрыть глаза и заткнуть уши, ничего не видеть и ничего не слышать.

Но как забудешь утрату завоеванных Арташесом¹ и Тиг-

¹ Арташес I — царь Армении (II в. до н. э.).

раном Великим стран и мятежи в окраинных областях, вспыхивающие по указке и наущению Шапуха? Как забудешь уже не подвластные армянской короне земли и отошедшие к Византии царские вотчины? Как забудешь угнанных в рабство армян, а среди них — обессиленных, дряхлых стариков и древних старух? Забудешь ли, что враг отрубал им ступни и лодыжки и бросал изуродованными на дороге? Забудешь ли, что он предал страну огню и мечу, разрушил крепости и опустошил города, сажал на кол женщин и детей, вытягивал людей на молотильной доске и пускал под мельничные жернова, швырял цветущих юношей под ноги слонам? Забудь, если можешь, как была захвачена крепость Ани в области Даранаги, где некогда находилось святилище верховного языческого бога армян Арамазда, а впоследствии — значительная часть царских сокровищ и усыпальницы царей из дома Аршакуни. Забудь же, как оказались в плену сокровища и останки царей! А мыслимо ли забыть спарапета Васака, который, даром что невелик ростом, с безумной, безрассудной отвагой единоборствует, защищая Армению, с исполином? Как не помянуть армянских храбрецов, которые до поры до времени не видят ничего дальше своего носа, перемалывают друг другу косточки, подкапываются друг под друга, а в миг опасности, когда вражий клинок приставлен к горлу, преображаются, и ты только диву даешься: откуда в них эта святость и ратная доблесть?

Какое это было бы блаженство: закрыть глаза и впрямь ничего не видеть, заткнуть уши и впрямь ничего не слышать, а уехав куда-нибудь подальше от своего обычного окружения, и впрямь отрешиться от действительности!

— Я давно не сиживал за шахматами, — едва сдерживая ярость, сказал царь. — А ты, похоже, играл каждый день. Готовился к нашей встрече. Согласись, мы в неравных условиях.

— Не расстраивайся, царь, — в замешательстве ответил Ефрем. — В шахматах не бывает по-иному. То победит один, то другой.

— Так ли, не так ли — поздравляю, — с обидой сказал царь. — Победа за тобой. Я в проигрыше. Что мне еще сказать? Объявить об этом во всеуслышание?

Начали в третий раз. Царь играл с такой сосредоточенностью и напряжением, словно за шахматной этой доской решался роковой для него и страны вопрос. Подолгу обдумывал каждый ход, нервничал, то и дело потирал кулаком лоб и опять, как и всегда в своей жизни, отыскивал верный путь. Он видел перед собой поле битвы, конников и пеших

ратников, знаменосцев и щитоносцев, лучников и пращников; воины размещались на правом крыле, на левом крыле и посередине, в войске были передовые части, тылы и запасные полки. И царь окунулся в свою стихию: он руководил сражением, трубачи дули в медные трубы, знаменосцы разведали укрепленные на древках стяги, воеводы, тысяцкие, сотники и десятники отдавали приказы. В лучах солнца, ослепляя бойцов, поблескивали мечи, поле содрогалось от грохота и топота множества ног и копыт, ржание коней мешалось со стонами раненых и воодушевленными возгласами. И если надо было отступить, щитоносцы выстраивали заслон, с четырех сторон, подобно крепостным стенам, прикрывая отошедшие назад отряды. И уверенный в своих силах царь делал новый ход. А когда ответный выпад Ефрема оказывался точным и чувствительным, царь неистовствовал, пытался одним ударом сокрушить и разгромить соперника и поражался, что его подъема, упорства и неумолимого желания все-таки недостаточно для победы. Снова вступал в схватку, сшибался с врагом, и снова скрещивались мечи, сыпались искры.

А Ефрема клонило ко сну, долгая дорога и многочасовое напряжение вконец его измотали. Глаза у него слипались, он кое-как крепился и с превеликим усилием брал себя в руки. Смотрел на шахматную доску и видел свой дом, жену, которая машет ему вслед, двух сыновей и двух дочек — они стоят под топодем, гордые жребием своего семейства и выпавшим отцу счастьем. Видел свой сад, где был еще непочатый край работы: яблони подмерзли и нуждаются в уходе, каменная ограда местами развалилась, надо бы ее переложить, младший мальчик плохо ест и слушается только отца, излишек фруктов следует продать, а на вырученные деньги купить пшеницы, постного масла и одежды.

Но, донельзя изможденный, Ефрем все же сразу решил играть честно и не поддаваться, хотя и понимал, что царь мечтает о победе. Ну и пусть себе мечтает. Ефрем не из тех, кто кривит душой, он ради собственного сына и то не пойдет на такое. Он готов отдать за царя жизнь. Однако у каждого человека есть граница, переступить которую никому не дозволено. В данном случае это его гордость, и посягать на нее нельзя. И оттого, что царь жаждал выиграть и, пожалуй, закрыл бы глаза на обман, Ефрем решил во что бы то ни стало нанести ему поражение. В качестве наказания. Как переступившему границу другу.

— Ефрем? — внезапно, словно сделав открытие, сказал царь. — Однако же ты устал. И даже очень устал. А я и не

заметил... Представляешь? Прости мне невнимательность. Прости, ради бога. — Глаза царя наполнились любовью и нежностью, потом, что-то сообразив, он засуетился. — Вдобавок ко всему я забыл спросить, не голоден ли ты. Разве так я должен тебя принять? После такой-то разлуки...

— Спасибо, царь. Я сыт, мне ничего не надо.

— Нет, нет, я знаю, ты чувствуешь себя здесь не в своей тарелке. — Он смешал фигуры на шахматной доске. — Это я виноват, я...

— Но я и вправду сыт, царь, — не чинясь сказал Ефрем.

— Сыт, сыт, — мягко попрекнул его царь. — Мы просидели столько времени, а ты не вымолвил ни единого искреннего слова.

Быстро подошел к дверям, открыл их и крикнул в темноту коридора:

— Ужин на двоих!

Вернувшись, озабоченно застыл над головой у Ефрема, прикидывая, чем бы еще выказать отношение к другу.

— Ну-ка встань, Ефрем! Вставай, вставай! Ступай умойся. Вода тебя освежит.

— Не стоит, царь... Спасибо... — Внимание царя сковало Ефрема. — Не думай обо мне.

— Встань, сказано, — насупился царь.

Что было Ефрему делать? Подчинился, встал. Царь полил ему из кувшина. Ефрем ополоснул лицо. Царь подал ему полотенце.

Вошел с большим подносом слуга. Царь шагнул навстречу, взял поднос и кивком велел удалиться. Собственноручно накрыл на стол, расставил посуду, разложил по тарелкам холодные закуски, наполнил кубки вином и подождал гостя.

— Садись, Ефрем. Садись, не смущайся. Мой повар слышет чудодеем, но я-то знаю, твоя жена готовит вкуснее. Как-нибудь пригласишь, ладно?

Царь ни к чему не прикоснулся. Облокотившись о стол и подперев ладонью подбородок, он сосредоточенно и с какой-то печалью наблюдал за Ефремом.словно ветхий беззубый старец, которому отрадно смотреть, как молодежь за милую душу уничтожает яства. Но его постигло разочарование: отведав немного, Ефрем отодвинул тарелку.

— Ешь, Ефрем, ешь. Если тебе не нравится, я выгоню повара. Он столько для меня стряпал, что я уже не отличаю хорошего от плохого. Плут, видно, пользуется этим.

— Все очень вкусно, царь. Но я сыт.

— Опять заладил? Я хочу быть гостеприимным хозяином, а ты лишаешь меня этого удовольствия. Неужели для тебя такой уж труд сделать мне приятное?

Ефрем поневоле продолжил трапезу, хотя кусок не лез ему в горло. Но царь приказывает, деваться некуда. Нельзя же ослушаться. У него даже мелькнула мысль: не улизнуть ли отсюда под благовидным предлогом — избавиться от дворцового мрамора и просторных залов, от тягостного положения и звания царева друга, потому что, даже лаская, рука государя остается страшно тяжелой и причиняет мучительную боль.

— Что говорят о моем городе? — спросил царь, только тут догадавшись: самый правдивый ответ даст ему Ефрем. — Что говорят в народе?

— Прежде о тебе говорили: до чего ж он красиво сидит на коне! — признался Ефрем. — Для простонародья все цари — что Хосров, что Тиран, что Аршак, — все были на одно лицо.

— Ну а теперь, теперь!

— Теперь тебя любят. Именем твоим клянутся. А я иной раз горжусь, что, случалось, поколачивал тебя мальцом, — улыбнулся Ефрем, сам себе поражаясь: неужели он отважился на эту откровенность?! — Иной раз, царь, изредка. И про себя, только про себя...

— А сам-то ты как думаешь — правильно, что я решил построить в сердце страны такой город? — допытывался царь, будто один лишь Ефрем способен был мгновенно придать смысл всей его жизни или же обесмыслить ее.

— Это твое единственное подлинно великое деяние, царь.

— Слушай, Ефрем, а враги у тебя есть? — ни с того ни с сего осведомился царь. — Ну, завистники или там дрянные соседи. Словом, люди, которые тебе не по душе.

— Бог миловал, царь, живем себе тихо-мирно.

— Подумай хорошенько. Их можно было бы проучить. — И засмеялся, дружески хлопнув гостя по плечу. — Покамест воротись, их уже и след простынет.

— Вокруг меня, царь, таких людей нет, — побледнел Ефрем.

— Я мог бы, конечно, пожаловать тебе земли, княжеский титул, высокую должность при дворе. Но я знаю тебя и люблю таким, каков ты есть. Так я больше к тебе привязан, Ефрем. Можешь ты во имя нашей дружбы отказаться от богатства? Что тебе дороже? Богатство или наша дружба? — Царь снова разволновался. — Да ты меня не слушаешь?

И глаза опять слипаются... Бедный мой Ефрем... Измаялся ты этой ночью.

— Нет, царь, нет, — очнулся Ефрем. — Я внимательно тебя слушаю.

— Вставай, — растроганно сказал царь. — И давай-ка спать. Так поздно я не отпущу тебя на подворье. Останешься здесь, у меня.

— Мне не хочется спать, царь. Мы еще сыграем в шахматы.

А мысли у него были другие. Дружить с Аршаком издали, пребывая на безопасном расстоянии. Чтобы, отделенный от него этим расстоянием, друг детства вновь стал любимым и родным.

Царь взял Ефрема за руку, подвел к ложу, снял с плеч sobолью накидку и расстегнул ему пояс.

— А ты, царь? Где ляжешь ты?

— Обо мне не волнуйся. Я привык полуночничать. По ночам, наедине с собою, я лучше познаю себя.

Нагнулся, разул друга, уложил в постель и укрыл одеялом. Через минуту Ефрем уснул.

А царь, стоя у Ефрема в изголовье, пристально вглядывался в умиротворенное лицо друга и думал. Его постиг полный провал. Победа за одиночеством, победа полная и неоспоримая, и он сдается на милость победителя. Он покорится его власти, и, может статься, в этом есть свой резон, в смиренности, в отказе от самообмана. И коли уж на то пошло, главным уроком человечности был тот самый, который он с прилежанием нынче выучил. И затвердил наизусть.

— Прости, Ефрем. — Он осторожно склонился над спящим другом. — Я сделал все, чтобы ты чувствовал себя хорошо. А это, вероятно, был тяжелейший день твоей жизни. Прости же мою заботливость. Мое о тебе радение. Нашу дружбу. Прости, если можешь. — Склонился к самому уху спящего и прошептал: — Мы никогда больше не встретимся. Это лучшее из того, что я могу тебе обещать...

Осторожно поправил одеяло, потом улегся на место Гнела, накрылся козьей шкурой и решил еще до рассвета, до пробуждения друга покинуть дворец и воротиться в Арташат.

Тихонько вошел Гнел и, увидев, что его место занято, сел возле дверей, прислонился к стене и смежил глаза.

Глава двадцать четвертая

Шло время, и царь все сильнее и сильнее привязывался к спарпету Васаку. Особенно их сблизила совместная поездка в Тизбон, куда они отправились по приглашению Шапуха.

Шапух принимал армянского царя крайне обходительно и любезно, что отнюдь того не радовало — напротив, сковывало и даже унижало. Шапух ничем не смущался. Он так скромно себя держал, был так смиренен, покладист и льстив, что царь только тут понял, с каким злокозненным человеком имеет он дело. Казалось, будто Шапух зависит от Аршака, а не наоборот. Констанций в Константинополе каждым своим словом и жестом ежеминутно напоминал, сколь огромна разница между самодержцем великой империи и царем небольшой страны. В подобном напомиании тоже мало приятного, и все же оно предпочтительнее этой бесчестной игры.

Шапух подарил Аршаку свой шлем, украшенный великолепным гербом, на котором красовался простерший крылья орел с венцом на голове, усаживал царя на самые почетные места, ежечасно посылал слуг справиться о его здравии, убеждал остерегаться изменников-нахараров, особенно Вардана и Ваана Мамиконянов и Меружана Арцруни, хотя те верой и правдой служили шаху, и не брезговал изображать положение вещей так, что неосведомленный слушатель счел бы, будто без союза с армянами персам не одолеть византийцев, — словом, изощренно и умно унижая Аршака, Шапух пытался внушить ему страх.

Однажды, после уговоров самого Шапуха, царь со спарпетом пошли осматривать шахские конюшни. Увидев гостей, главный конюший не соизволил даже встать, да еще поиздевался: «Эй, царь козлов-армян, поди-ка сядь на этот сноп сена!» Царь содрогнулся, побагровел, потом мертвенно побледнел. Было яснее ясного, что уговоры Шапуха и эта выходка непосредственно между собой связаны, иначе конюший — конюший! — не посмел бы нагло оскорбить гостя своего господина. Царь, отроду не сталкивавшийся с таким к себе отношением, потерял дар речи; он не знал и не представлял, что обычно делают в подобных случаях. И лишь шестое его чувство, которое всегда бодрствовало, немедленно ему шепнуло: это заговор. Только вот жаль, страшно жаль, что умереть придется в конюшне...

Спарпет Васак не стерпел нанесенного царю тяжкого оскорбления, не долго думая выхватил меч и пронзил наглеца.

Конец, решил царь, теперь ни мне, ни спарпету не сно-

сильные головы, а Папу уже не видеть престола; отняв корону у «парфянского» рода Аршакуни, сасанид Шапух передаст ее «армянскому» роду Арцруни.

Между тем Шапух, самолично все это подстроивший, услышав о происшествии, вновь повел себя с ему одному присущим коварством: выразил Васaku глубокую признательность, воздал хвалу его отваге и преданности, осыпал почестями и дарами...

Вторым событием, после которого сугубо официальные отношения царя и спарапета переросли в сердечную привязанность и близость, стал поход, предпринятый армянами, чтобы вызволить из рук персов останки венценосных предков Аршака.

В крепости Ани, находившейся в области Даранаги, уцелела только усыпальница царя Санатрука, да и то потому, что являла собой внушительное и чрезвычайно прочное сооружение. «Мы затем перевозим останки армянских царей, — говорили язычники-персы, — дабы их слава, жребий и доблесть переселились в нашу страну».

Царь и Васак устроили в Арташате смотр войск. Смотр был редкостно величествен, ибо к сражению подвигала мысль о спасении чести страны.

Царь восседал на белом скакуне, его грудь покрывали серебряные доспехи и тигровая шкура. Перед ним прошли шестьдесят тысяч одушевленных единым порывом армянских бойцов. Полк за полком. Отряд за отрядом. Конники и пешие.

Людская река беспрерывно текла мимо царя и устремлялась к мосту. Люди шли в бой, чтобы вернуть оскверненные останки своих царей, чтобы вызволить их из чужестранной неволи. Не было слышно ни ободряющих возгласов, ни слов напутствия, только грохот шагов, словно поднимающийся из недр земли и волнами разливающийся по городу. Это ледящее кровь безмолвие сходствовало с торжественной клятвой, которую каждый давал жене, отцу с матерью, ребенку, царю и господу богу. И даже когда войско исчезло из виду, никто не тронулся с места, все продолжали внимательно прислушиваться к уже едва различимому отзвуку шагов. Немного погодя царь медленно двинул коня в направлении цитадели. Оба — всадник и конь — понурили головы. По улицам разносился однообразный цокот копыт.

Царь проехал через безмолвную толпу, догадываясь, что одиночество испытывает сейчас не только он, но и эти люди и что одиночество толпы невыносимей одиночества отдельного человека.

Несколько дней спустя пришла радостная весть, и вся страна узнала, что спарапет Васак разгромил персидское войско, освободил множество пленных, отбил дворцовые сокровища и спас от бесчестия память об армянских царях.

Останки царей захоронили в Айрарате, в одном из тесных и труднодоступных ущелий близ горы Арагац.



Навстречу победоносному войску высыпала вся столица. Мостовую устлали коврами и дорожками, забросали цветами. Перед домами ломились от обилия яств празднично убранные столы.

То был редчайший день, когда людей ничто не разъединяло и царило стоящее превыше всего согласие и дружелюбие, изумительная общность мыслей и движений души.

В тот день в городе не случилось никаких беспорядков, не произошло ни одной кражи, не раздалось ни единого бранного слова; враждующие между собой соседи раскрыли друг другу объятия, никто ни на кого не обиделся, никто не помянул старых раздоров, никто не растоптал травинки, не повредил цветка.

В тот день никто и ни от кого не отличался ни именем, ни возрастом, ни судьбой, ни нравом. Все и у всех было одинаково. Все были армяне.

Войско воротилось той же дорогой. Однако не было в нем прежнего блеска и выправки, как не было и порядка в строю. По мостовой шли измученные, обессиленные ратники в изодранных и пропыленных одеждах, ратники, которые проделали длинный путь и которым обрыдло драться. Толпу и войско разделяло взаимное непонимание. Толпа не замечала, что в войске и помину нет воодушевления, а войско в свой черед не ощущало восторга и ликования толпы.

Сколь же, однако, было велико всеобщее недоумение, когда обнаружилось, что не видно главного виновника празднества, героя, коего горожане собирались чествовать особо. Не было спарапета.

— Да здравствует спарапет! — кричал народ, предвкушая миг, когда верхом на исполинском коне покажется невзрачный с виду полководец, чьи короткие руки и короткие ноги эта толпа не променяла бы на всю красоту мира.

Тысячи безымянных героев проходили перед сгрудившимися горожанами, тысячи храбрецов, которые, оставив свой дом и очаг, добровольно отправились спасти честь

страны и которые возвращались, недосчитавшись со товарищей, polegших на поле битвы, — проходили поредевшими рядами, с потускневшим, не лучащимся под солнцем оружием.

А толпа — ей нужно имя, толпе подавай одного-единственного человека, чтобы возлюбить его или чтобы взвалить на него всю вину. Потому что немислимо распространить любовь свою или ненависть на тысячи людей, немислимо чувствовать или винить тысячи. Толпе подавай кого-то одного, в данном случае — человека с короткими ногами и короткими руками, человека, который все не появлялся и не появлялся.

И вот, передаваясь из уст в уста, пошли гулять по столице бесчисленные домыслы и догадки, радостные и печальные слухи, ни один из которых, однако, не соответствовал действительности.

А в действительности было вот что: спарапет незаметно прокрался в город и отправился напрямик в цитадель. И теперь, взволнованный, стоял перед царем.

Он никогда не был таким взбудораженным. Его лицо выражало не радость победы, а только тревогу и душевную смуту. Стихийно возникшие в городе праздничные шествия не трогали его. Возмущенный, разгневанный, он позабыл и об усталости, и о мечте отоспаться всласть. Изрыгал ругательства, сыпал угрозами, выкрикивал стариковские проклятия, но оставалось неясным, кого Васак поносит. Он даже не поклонился царю, как требовал установленный порядок, не ответил на искренние его объятия.

Царь впервые видел спарапета в таком состоянии, к тому же во дворце, где Васак неизменно чувствовал себя скованно, беспомощно и незащищено. Царь понял: шум и ликование толпы — сущие пустяки, для спарапета сражение еще не окончено.

В конце концов он с огромным трудом выделил и связал воедино разрозненные слова из потока брани и проклятий, и до него дошло, какую тяжелую и горестную весть принес спарапет.

Братья спарапета Вардан и Ваан Мамиконяны, равно как и красавчик Меружан Арцруни, отреклись от христианской веры и приняли веру маздейскую. Поругали, осквернили на своих землях божьи храмы и понастроили капищ, чтобы поклоняться в них солнцу и огню.

Царь посерел, взъярился и совершенно потерял самообладание. Присоединился к спарапету, и они стали браниться в один голос. В этом взрыве негодования двух могуще-

ственнейших людей страны было что-то смехотворное и внушающее ужас. Они словно состязались, чья брань злее и метче и чье проклятие страшнее.

Царь грозил разгромить, сровнять с землей владения изменников, истребить, не щадя никого, даже младенцев, род Мамиконянов и род Арцруни. И в порыве ярости повелел, чтобы исполнил его волю сам спарапет — не мешкая, сей же миг. Чего он еще медлит, почему не поспешает, кого дожидается? Пусть он не только прикончит хриstopродавцев, но и отсечет им головы, насадит на кол и, колеса по городам и весям, показывает повсюду, а потом отошлет в Тизбон — в дар Шапуху. Хотя нет, Меружана убивать не надо. Пускай Меружана приведут к нему. Царь собственноручно с ним поквитается. Самолично прольет его кровь. Этого удовольствия он никому не уступит. Не обессудь, спарапет, но этот — мой, бери себе всех, всех до единого, но только не этого. Сперва он побеседует с Меружаном, позволит тому оправдаться, воздаст должное его разумным, его хитроумным доводам, его царственной стати и поступи, его благородной и мужественной наружности, накроет в его честь великолепный стол, за который они сядут вдвоем, а когда вволю поедят и попьют, царь внезапно ударит его кинжалом. Растянет удовольствие. Вновь убедится, что питает к Меружану слабость, по-своему, как-то очень ревниво его любит, высоко ценит его ум, посетует — дескать, преданные мне нахарары по большей части непроходимо глупы и лишь мой враг умен, и это признание необычайно обострит сладость возмездия. Он убьет его в самый неподходящий, самый неожиданный миг, посреди разлюбезнейшей беседы, когда они, скажем, разговаривают о погоде или о достоинствах тех или иных вин. И впервые в жизни он не ужаснется пролитой крови, не умоет замаранных рук.

— Но ведь это мой род, — сдавленным голосом произнес Васак. — Мамиконяны, царь.

Царь осекся. Словно его окатили холодной водой. Чего только не передумал он сейчас, но этого не учел. Опять они его перехитрили, опять одурачили! И еще более усугубили свою вину тем, что они спарапету брата. Родственная эта связь воспринималась царем как очередная уловка, гнусная и коварная уловка Вардана и Ваана. Хотят укрыться за спиной Васака. Ну, а спина спарапета — это, слава богу, высокая гора, за которой и сам царь чувствует себя в безопасности.

Коли так, они тем паче должны издохнуть. За то, что обезоружили спарапета. И в приливе ярости царь не заметил,

как наипервейшей виной братьев стало их родство с Васакком и только потом — вероотступничество.

— Позволь, царь, убить только двоих, — внезапно упав на колени, попросил Васак. — Остальных не трогай.

В глазах воротившегося с победой спарапета царь увидел слезы. Васак плакал по своей матери, по племянникам, по их женам и детям, он плакал по роду Арцруни, который во времена царя Тирана уже подвергался истреблению. Тогда из этого рода спасся только один — отец Меружана, Шавасп. И кто же его спас? Ну не издевка ли судьбы? Ведь спасителем последнего в роду Арцруни ребенка мужского пола, а значит, и спасителем всего рода был не кто иной, как один из Мамиконянов.

— Остальных не трогай! — только теперь постигнув ужас положения, резко поднялся с колен спарапет и с угрозой добавил: — А если кто тронет, будет иметь дело со мной.

— Я не могу отказать в просьбе победоносному спарапету. — Это был единственный ответ, позволивший царю не обратить внимания на угрозу.

— И Арцруни не трогай, — потребовал Васак. — Одного только Меружана, а больше никого.

— Дарю их тебе. — Царь обратил разговор в шутку, чтобы не давать оценки неучтивости спарапета.

— Только троих, — упрямо уточнил Васак.

— Троих, троих, — улыбнулся царь и начал было перечислять: — Меружана...

— Не называй имен, царь, — прервал его Васак.

— Прости, спарапет, — помрачнел царь, подошел к Васаку, молча стал перед ним, и двое немолодых мужчин вдруг крепко-крепко обнялись, поняв: еще минута — и они стали бы врагами и навсегда потеряли бы друг друга, потому что оба принуждены пойти наперекор своим убеждениям и решиться на жестокость, потому что время лишает тебя собственного «я», и вот ты уже игрушка в его руках, потому что одержанная тобою победа в мгновение ока оборачивается поражением и потому, наконец, что все для армянина призрачно и преходяще: победы и поражения, счастье и несчастье, богатство и нищета, почести и власть...

Сколько ни напрягал Васак память, так и не припомнил хоть одного предателя из рода Мамиконянов. Напротив, судьбы страны всегда были связаны с этим именем. Не Мамиконяны ли стяжали своими деяниями славу армянскому оружию и возвеличили непоколебимость армянского духа, не они ли возвели в закон упорное стремление к жизни? А те-

перь — два предателя разом: старейшина рода и видный военачальник. И ведь они не просто предатели, остающиеся при всем том армянами, скверными армянами, но так или иначе — армянами, нет, они отступники, отрекшиеся от своей веры и народа. Поди-ка тут не бесись, не мечись в ярости! И он бесился и метался в ярости. Воображение рисовало ему, как молва идет по стране, проникает в города и селения, в каждую лачугу и хижину, как проклятия сыплются на всех без разбора Мамиконянов. Поди-ка тут не чести своего злосчастного пращура Мамгона! И он честил. А воображение рисовало, с какой легкостью позабудутся и все его победы вообще, и даже эта, самая последняя, по случаю которой столица еще ликует, — победа, которая сделала его имя знаменем, а его род — благословенным кумиром. Поди-ка тут не безумствуй! И он безумствовал. А воображение знай рисовало, как предаются забвению все подвиги Мамиконянов, как народ отступает от спарапета Ваче и его блистательной победы у Бычьеголовой горы над маскутским царем Санесаном, как втоптывают в грязь великие деяния его отцов и праотцев. Поди-ка тут не кляни явившее тебя на свет материнское чрево! И он клял.

— Хочешь, не трону никого, — от всего сердца посочувствовал Васаку царь. — Чего только мы не глотали, проглотим и это.

— Нет, троих, — почему-то вспылит спарапет. — Троих, и точка. — И на сей раз он сам назвал имена: — Вардана, Ваана и Меружана.

И выбежал вон.

Царь подошел к распахнутому окну, долго смотрел на помешавшийся от радости город и подумал, что время и бог отнюдь не с ним. Бог отвратил от армян свой лик. И если армяне питают еще надежду на спасение, пусть и призрачную, она, эта надежда, в том, что они покуда ничего не знают. И что бремя познания несет вместо них царь. Сколь же он будет горек, день узнавания!

★ ★ ★

В области Тайк, под стенами замка, именуемого Эрахани, его владелец Вардан разбил палатку и, нагой до пояса, мыл голову.

Давненько уже не чувствовал он себя таким бодрым и жизнерадостным. Ибо выяснилось, что вероотступничество не такая уж страшная вещь, как он полагал. К тому же он понял, что в этом мире все дозволено, от высочайшей добро-

детели до последней подлости, причем совершаемой не исподтишка, а в открытую, лишь бы имелось объяснение. Христа он не видывал и знать не знает, в кого веровал и от кого отрекся, зато солнце каждый день видит собственными глазами. Это раз. Что лучше, остаться христианином и распрощаться с жизнью или принять огнепоклонство и жить полюдски, как все? Любопытно, сам-то он что бы сказал, Христос? Ежели он благоразумен, то сказал бы, что мешает нам. Другим, к примеру византийцам, может, и помогает, но армянам мешает. А ежели бы потребовал даже ценой жизни хранить верность ему одному, то какой же он после этого божий сын? Это два. И с чего это армянину чтить еврея Христа, по какому такому закону? Что это за божий сын, ежели он принадлежит определенному роду-племени? А вот у огня нет рода-племени. А у солнца нет рода-племени. Это уже три.

Но сколько бессонных ночей провел старейшина дома Мамиконянов Вардан, сколько маялся, ворочаясь под одеялом с боку на бок, сколько молился и призывал Христа на подмогу — ведь тот был пока что его божеством, — сколько напрягал, изводил, изнурял ум, прежде чем с превеликим трудом отыскал свои не приемлющие возражений доводы, да к тому же не один, а целых три.

Он услышал цокот копыт и конское ржание. Не распрямляясь, убрал упавшие на глаза волосы и увидел, что с холма спускается группа всадников. Среди них были Васак, Мушег и Самвел. Вардан намылил голову и подумал: брат, должно быть, едет читать ему душеспасительные нравоучения, но даже не предполагает, что старейшина рода отыскал три довода. Сколько бы Васак ни бранил его, сколько бы ни хаял, он, Вардан, все равно любит среднего брата. Так и знай, Васак: чем больше ты будешь поносить меня и оскорблять, тем больше я буду тебя любить. В пику тебе. Посмотрим, что ты противопоставишь этой любви.

Васак, Мушег и Самвел чуть поотстали, а воины с припрятанным под одеждой оружием пришпорили коней и, обнажив мечи, бросились на Вардана. Вардан ничего не понял, не успел отыскать ни объяснения, ни довода, только с ужасом почувствовал, что ему никогда уже не поднять головы. Вскрикнул и ничком упал в мыльную воду.

Сидевшая в замке женщина — она была на сносях — услышала крик мужа и опрометью кинулась во двор. Тут же, на бегу, у нее начались схватки, и она родила мальчика, которого в память об отце нарекут Варданом.

Всадники к тому времени уже повернули вспять. Воины со смехом рассказывали друг другу что-то забавное. Про красотку Зармануи и про то, как она наставила рога мужу.

Мушег едва сдерживал слезы и каялся, что послушал двоюродного брата и вместе с ним украдкой последовал за отрядом спарапета. Собачий нюх у этого Самвела. Вечно он знает, что и где творится. Всюду сует нос и таскает за собой Мушега.

Мушег мечтал найти укромный уголок и выреветься. Однако Самвел поминутно пихал его в бок и бурчал под нос, что истинный защитник отечества не имеет права по-бабьи нюнить.

Самвел недоумевал, почему их с Мушегом уже не гонят из отряда. Должно быть, спарапет одумался и не хочет ехать к другому брату. Похоже, пролитая кровь остудила его решимость. Старику крупно повезло! Ну да ладно, с отцом он и сам поквитается. Без Вардана тот как без рук и не отважится на открытые действия. Самвел изгонит поганых магов, разрушит понастроенные отцом капища и заставит его коленопреклоненно вымаливать прощение у царя.

Что до Васака, то он чувствовал в душе ужасающую пустоту. И силился чем-то ее заполнить, одолеть убийственное безразличие, которое мало-помалу завладевало им и уравнивало все и вся. Теперь ему ничего не стоит переметнуться на сторону персов. Он может запросто примкнуть к византийцам. И может с таким же успехом сохранить верность царю. Между первым, вторым и третьим нет ни малейшей разницы. И еще он может заделаться краснобаем и трепаться о родине не хуже Самвела. Его так и подмывает попробовать. Вдобавок ко всему в голове промелькнула мысль навестить младшего брата и денек-другой погостить у того.

Наконец выход был найден. Сам собой. Легко и просто, проще некуда. Без всяких усилий, не обдуманной загодя. Васак достал из кармана маленькие деревянные фигурки и одну за другой побросал в ущелье. И с того дня никому больше не подносил памятных подарков.

Историк повествует, что спарапет Васак сражался с персидскими полководцами Вином, Андиканом, Азаравухтом, Дмавундом Всемаканом, Гревшолумом, Гумандом Шапухом, Дехканом, Суреном Пахлавом, с начальником шахской стражи Зиком и многими, многими другими, разбил, разгромил негодаев и вышвырнул за пределы страны.

Но ни слова о деревянных фигурках. Точно их и не было.

Глава двадцать пятая

— Плохо живешь, святейший! — Айр-Мардпет сокрушенно покачал головой и с искренним сочувствием взглянул на Нерсеса. — У моей челяди комнаты лучше твоих.

Он внимательно, изучающе, с неприкрытым любопытством рассматривал скромные одеяния католикоса и окружающих того священнослужителей и непритязательную обстановку патриаршего жилища.

Айр-Мардпет не представлял себе, у него просто в голове не укладывалось, как можно, обладая поистине несметными богатствами и владея обширными поместьями по всей стране, прозябать в такой скудости. Он воспринимал это как вызов, и ему сдавалось, что эти лишённые и тени роскоши патриаршие покои — личное оскорбление ему и любому мало-мальски пристойно живущему человеку.

Он был более чем уверен, что завеса дверей напротив скрывает от постороннего глаза блистающие великолепием палаты, предназначенные лишь для людей близких и преданных. Ну что ж, дай-то бог. В таком случае Айр-Мардпет даже зауважал бы владыку, ибо фарисейству он отдавал явное предпочтение перед нищетой.

— Каким ветром занесло тебя в наши края, Айр-Мардпет? — Нерсес не утаил презрения и, не считаясь с приличиями, даже не предложил главному советнику по внутренним делам сесть. — Отчего ты вдруг вспомнил меня?

— Война, святейший, тяжелая штука, — улыбаясь ответил Айр-Мардпет, и его синие, очень синие и очень добрые глаза застенчиво опустились долу. — Я, как и все, хочу разобраться в происходящем, определить, где я и с кем, остановить на ком-нибудь свой выбор. А делая это, трудно не погрязнуть в грехах. Если б ты знал, святейший, сколько у меня грехов... Одно только мое присутствие оскверняет твои покои.

— Но ты так и не ответил на вопрос. Чему я обязан твоим посещением?

— Тоска, владыко, меня гложет, тоска по святым местам... Я попытался убедить себя, что, побывав здесь, замолю толику своих прегрешений. Однако я слишком стар, и даже мне трудно себя обмануть.

— В таком случае мои слуги проводят тебя до ворот. Течение разговора устраивало Айр-Мардпета. Главному советнику было на руку пренебрежительное к нему отношение католикоса всех армян. Нерсес и не подозревал, что своим обхождением, в сущности, помогает Айр-Мардпету и приближает того к цели. Чем больше будут его, старого

лиса, растравлять и выводить из терпения, тем скорее изыщет он средства для осуществления своих намерений и тем слаще окажется возмездие. Иначе ему, имеющему кое-какие представления о чести и порядочности, пускай довольно-таки своеобразные, было бы весьма сложно ставить под удар совсем уж безвинного.

— Но отчего же ты живешь в такой бедности, святейший? — В ответ на заключительные слова Нерсеса, означавшие, что гостя благопристойно выдворяют, Айр-Мардпет вдруг вернулся к тому, с чего начал. — Это не дает мне покоя. Я приведу завтра своих людей и снесу эту перегородку...

— Я доволен своим положением, — оборвал его Нерсес, — и не прошу у бога большего.

— Я намеренно не известил тебя о своем приезде, чтобы заблаговременно и в подробностях ознакомиться с храмом и патриаршими владениями. Как видишь, мое любопытство не пропало даром.

— Твоя озабоченность, князь, неуместна. Мы привычны к подобной жизни.

— Но здесь непереносимо тесно, святейший, — не отступал Айр-Мардпет, и его беспокойство отнюдь не было наигранным. Он принадлежал к числу тех, кто может и не быть привередой под собственным кровом, но кого хлебом не корми — дай сунуть нос в чужой дом, поменять там что-то, разрушить, перестроить, причем без всякой задней мысли. — Мы соединим две эти комнаты, и у тебя будет просторная приемная. — Айр-Мардпета захватила привычная стихия, и, забыв на мгновение основную цель, он дал волю своему прихотливому воображению. — Я распоряжусь прикрепить к потолку изящный светильник. И на стенах добавим подсвечников. А то ведь здесь темень... Постелем ковры. Статочное ли дело ходить по такому холодному полу?

— Это божья обитель, князь, а не дворец.

— Но ты же богат, святейший. Ты богаче меня. Не лукавишь ли ты? Не обманываешь ли себя невольно? Поразмысли-ка над этим трезво.

— Мое богатство, князь, принадлежит не мне.

— Знаю, знаю... Царь восхищен твоей благотворительной деятельностью. Ты просветил наконец-то нашу темную, невежественную страну. Разве было у нас когда-нибудь столько школ, столько больниц и домов для призрения бедноты? Взамен ты, владыко, разумеется, получил свое. Народ прозвал тебя Нерсесом Великим. Однако не затмевает ли твой авторитет царскую власть? — И его лицо выразило удивле-

ние: как же, дескать, никто до сих пор этого не смекнул? — Я посоветовал бы тебе навести на эту мысль царя. Покамест он сам до нее не додумался. Опередишь его — считай, что разминулся с опасностью.

— Может статься, ты подсказешь царю сам? — усмехнулся Нерсес.

— Нет, нет, святейший, меня уволь, — наотрез отказался Айр-Мардпет. — Сколько ни проси, я между вами не стану. Да и зачем мне отягощать душу новыми грехами, делая добро тебе или ему?

— Может статься, ты уже высказался до конца и желаешь со мной попроситься?

— Не скрою, святейший, мне хочется завоевать твое доверие. Я пораскинул мозгами и нашел единственный к тому путь. Исповедаться. Я достиг возраста, когда нет нужды стыдиться совершенных прегрешений. Быть может, напротив, мудрость в том, чтобы гордиться ими?

— Я готов выслушать тебя, князь. Только не рассказывай о прежних своих грехах. Они мне хорошо известны.

— О недавних, владыко, о самых последних. Будь терпелив, слушая, и ты содрогнешься от омерзения и пожалеешь меня.

Нерсес считал Айр-Мардпета отвратнейшим человеком во дворце. С первого дня испытывал к нему глубокую неприязнь и всю жизнь мечтал как следует его избить. Вот именно — избить, измордовать, драться с ним не на мечях или кинжалах, а на кулаках, потому что это вернейший способ излить ненависть. Удар клинком не доставит того прямого и полного первобытного наслаждения. Но Нерсес был всего-навсего сенекапетом и воином невысокого звания, тогда как Айр-Мардпет главным советником по внутренним делам, стражем и управителем царских имений, смотрителем сокровищниц и крепостей. А нынче, когда Нерсес наконец много выше Мардпета по своему положению и стоит почти вровень с государем, у него опять связаны руки, потому что теперь мешает сан.

— Говори, князь. Я внимательно тебя слушаю.

— Царь недоволен, что ты открыто выказываешь свою приверженность к Византии. Выказываешь не только словом, но и делом. Согласись, что твои попытки подчинить армянскую церковь греческой, мягко выражаясь, противоречат политике царя. Ты бы смирился с этим? — Айр-Мардпет был наверху блаженства, открыто обвиняя второго по могуществу человека в стране, причем делая это не от своего имени, а от имени другого, первого человека и пребывая, та-

ким образом, в безопасности. И да засвидетельствуют Арамзд и Христос — оба, вместе, — что это услаждает душу больше, нежели честь именоваться первым или вторым. — Царя не может не беспокоить, что, используя свое положение главы Великого Судилица, ты, по сути, вмешиваешься во взаимоотношения нахарарских домов, сиречь завладел исключительным правом на судопроизводство в Армении. Мало того, ты имеешь дерзость судить бежавших в Аршакаван простолюдинов, открыто противопоставляя себя царю. Ты бы стерпел это, святейший? — Жаль, что лицо Нерсеса ничего не выражало — ни напряжения, ни тревоги, — должно быть, он изо всех сил скрывает от старого лиса свое смятение. Но ведь даже из этого вполне можно извлечь удовольствие. Как ни веди себя Нерсес, Айр-Мардпет ни за что не откажется от услады выговориться. — Царю мудрено не увидеть, что церковь стремится к мирской власти, жаждет потягаться с дворцом. Страну заполонили одетые по-женски мужчины, чье настоящее место в войске, а не в монастыре. Между тем каждый из них обладает семью наделами земли да еще взимает с крестьян десятину и оброк. А что же остается царю, что же остается войску?.. Словом, церковь не поддерживает царя, стремящегося объединить страну, напротив, она чинит ему препоны. Ты бы проглотил такое, святейший?

— Но все эти земли и права я получил, а не взял силой. — Нерсес прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла, чтобы ответить Мардпету по возможности спокойно.

— Получил, святейший, разумеется, получил! Разве кто-то говорит, что ты присвоил их самовольно? Однако если брать силой — преступление, то, поверь мне, в один прекрасный день не меньшим преступлением станет и брать в дар. Ты не задумывался над этим, владыко?

— Продолжай, Айр-Мардпет, исповедуйся дальше. Посмотрим, удастся ли мне дать тебе отпущение грехов.

— Я хочу поссорить тебя с царем, заставить вас враждовать. Разве столь чистосердечного признания не достаточно, чтобы ты проникся ко мне совершенным доверием? К тому же в вашей вражде, святейший, лично мне нет никакой корысти. Поверь, никакой.

— Я не признаю отвлеченностей, Айр-Мардпет. Скажи, что у тебя на уме.

— Ты забыл мои слова, святейший. И напрасно. Это было в миг, когда на тебе не было ни мирской, ни церковной одежды. Этот миг, Нерсес, нельзя предавать забвению.

— И что же ты сказал мне тогда?

— Человеку должно жить в промежутке. Между верностью и изменой. Подлинностью и добродетелью. Добром и злом. Там-то он и обретет силу отвлеченности. Сознание независимости. Иначе его будут карать за любой шаг — и хороший, и дурной. Я давно так живу, владыко.

— А как ты рассоришь нас с царем? Если ты не скажешь этого, Айр-Мардпет, твоя исповедь будет неполна и я ничем не смогу тебе помочь.

— Вслед за этим своим посещением, во время которого я одно за другим повидал все твои владения, я предложу царю взять обратно подаренные им церкви земли. И пусть благотворительность совершается на доходы с тех же земель, но уже от его имени. Не все ли тебе равно, святейший, от чьего имени осуществляется благотворительная деятельность? Ты властитель душ, а царь — бранных тел. Так что пусть земная выгода занимает его, а не тебя.

— Ради бога, князь, не исповедуйся далее! — Нерсес не смог больше лукавить и занервничал. — Я еще не научился с мудрой безучастностью выслушивать рассказы о чужих грехах.

— А как по-твоему, — наслаждаясь своим бесстыдством, спросил Айр-Мардпет, — понравится ли царю мое предложение? Мне, например, кажется, что да. Ведь для упрочения царской власти нужно завоевать больший чем когда-либо авторитет. Это даже не нужда — неизбежность.

— В стране водворится человеколюбие, — смежив глаза, тихо произнес Нерсес. — Братство. Любовь и уважение к человеку. Науки и просвещение. И водворятся они с твоей помощью, князь. Напрасно ты улыбаешься. С твоей помощью, именно с твоей. Скоро ты сам в этом убедишься.

— К твоим услугам, владыко. Но добрыми своими делами ты бросаешь простонародью вызов, задеваешь его достоинство, напоминаешь о его немощи и ничтожестве.

— Твои слова лишены логики, князь.

— Те же самые люди однажды убьют тебя. Просто так, без причины и повода. И когда их спросят, почему они тебя убили, знаешь, что они ответят? Потому, дескать, что он сделал нам много добра, а мы не могли отплатить ему тем же... Это уже сверхлогика, святейший.

Нерсес повернулся и шепнул что-то на ухо стоящему рядом монаху. Тот кивнул и вышел из приемной.

Айр-Мардпет узнал Хада. Этот помощник и воспитанник архипастыря был родом из селения Мараг в области Карин. Некогда бросалось в глаза его пристрастие к щегольству и лошадям, за что он неоднократно подвергался издевкам и по-

рицианию. Людское осуждение побудило его отказаться от роскошных одежд, и теперь он носил власяницу и ездил верхом на осле.

Должно быть, пошел распорядиться насчет трапезы. Значит, Нерсес сломлен. Хочет проявить любезность, с почетом его принять. Куда девались пренебрежительность, едкие словечки, прозрачные намеки — пора, мол, и честь знать. Уразумел, что угрозы старого лиса не шутка, что царь ухватится за его предложения и непременно претворит их в дело. Сейчас католикос вызовется сопровождать Мардпета по святым местам Аштишата, а там помолится и прилюдно его поприветствует, как заведено при встрече высоких гостей. Затем, пока не пригласят к столу, они погуляют вместе между часовнями, выстроенными близ дворца в честь мучеников.

Однако, опьяненный удачей, Айр-Мардпет решил не останавливаться на полдороге. Он не только отвергнет дружеские жесты католикоса, но прямо сейчас нанесет неотрашимый, окончательный удар.

— Помнишь мое обещание? В тот самый день, когда и ты тоже оказался на миг в промежутке. В счастливом промежутке между мирской жизнью и духовной. — Мардпет достал из внутреннего кармана ларец и бережно уместил в ладонях. — Если тебя когда-нибудь охватит грусть, если ты почувствуешь, что тебя душит отчаяние, если сердце твое сожмется сверх меры и потолок твоей кельи покажется тебе чересчур высоким или чересчур низким, ты придешь ко мне, откроешь самый драгоценный мой ларец, помотришь на прядь своих некогда прекрасных волос, и воспоминания, воспоминания, святейший, увлекут тебя за собой. Далеко-далеко.

Он с медлительной торжественностью открыл ларец.

Католикос потрясенно смотрел на свои волосы. Он отдал бы сейчас все — и жизнь и богатство, лишь бы на единое мгновение, хотя бы на единое только мгновение прикоснуться к ним. Его глаза увлажнились, и в этом ларце он мимолетно, но отчетливо и въяве увидел бездыханное свое былое, забытые и любимые лица, различил тревожащие обоняние вкусы и запахи, услышал родные голоса и терзающие сердце слова...

Айр-Мардпет сполна достиг своей цели и мог бы оставить Нерсеса и удалиться. Сделанного более чем достаточно, а конечный результат совершенно его не занимает, пусть царь поступает как заблагорассудится. Он выйдет сейчас отсюда точь-в-точь самодержец страны и патриарх ее церкви, и он один в целом мире будет знать, что в сей миг в нем вопло-

щены и соединены две власти, светская и духовная. И нет цены, за которую от променяет это ощущение на действительность.

Дверь отворилась, и вошел Хад, ведя за собою почтенного седовласого старца, который пересек приемную и, одиныхонек, сел в дальнем углу у стены. Айр-Мардпет глазам своим не поверил, когда понял, что это Шавасп Арцруни, отец Меружана. В глубинах его существа возникла дрожь, объяла тело и перехватила горло.

Да, то был Шавасп, старый князь, порвавший всякие отношения с сыном, тот самый, кого целую вечность назад спас от резни Артавазд Мамиконян — спас, увез в Тайк, вырастил там и женил на своей сестре Амазаспуи. И с их супружеством возродился дом Арцруни.

Когда бишь это случилось? Много-много лет назад. В правление царя Тирана. А кто подстрекал царя истребить род Арцруни? Да кажется, он сам и подстрекал, незамеченный главный советник.

Он всегда избегал встречаться с Шаваспом, и это ему удавалось. И надо же, такое совпадение — он посещает католикоса в тот самый день, что и Шавасп. Впервые в жизни удача отвернулась от него.

Но отчего же запаздывает приглашение к изысканной трапезе, отчего же не зовут к столу почетного гостя, царского посланца, что это за гнетущая тишина и почему уселся и сидит у стены этот седоголовый старик — наособицу, одиныхонек? Уже темнеет, не поздно ли будет обходить святыя места, молиться и прилюдно приветствовать главного советника по внутренним делам? И отчего владыка сказал, что именно с его, Мардпетовой, помощью в стране водворятся человеколюбие, братство, науки и просвещение? В чем она, его помощь? Не в том ли, что ему не добраться до дворца? Не увидеть царя? Не в смерти ли? Но разве Аштишат не значит по-армянски «город мира»?

— Мне пора, святейший. — Голос Мардпета дрогнул, и при виде недвижимого, как изваяние, и безмолвного, как камень, Нерсеса его с головы до пят пронзило неведомое прежде чувство страха.

Ему мешал ларец. Ума не мог приложить, куда его девать: сунуть ли в карман, отдать ли Нерсесу? Положение было нелепое, и он не знал, как из него выйти.

Айр-Мардпет повернулся и с ларцом в руках медленно двинулся к дверям. Его взгляд произвольно упал на Шаваспа, и он ужаснулся пуще прежнего, потому что тот вовсе на него не смотрел.

И тогда, всем на удивление, он приблизился к старому князю и протянул тому ларец. Шавасп встал, молча взял ларец и положил на стул.

Мардпет выдал то, чего ни в коем разе не хотел показывать этим по-женски одетым людям: он все понимает и смирился. Он резко обернулся в дверях, устремил взгляд на католикоса и, уверенный в своей правоте, не раскаиваясь в прожитой им жизни и не сожалея о своих убеждениях, сказал:

— Не забудь разрушить перегородку, светлейший...

Вышел и не затворил дверь.

Знал, что Шавасп идет следом.

★ ★ ★

Историк повествует:

«После этого Айр-Мардпет покинул святые места и спустился на берег Евфрата, в поросшую густыми лесами долину, в заросли крушины, туда, где сливаются две реки и где встарь царем Санатруком был построен город.

Когда нечестивый Айр достиг этого места, над ним, его делами и речами свершился суд гнева господня. Он был предан в руки человека по имени Шавасп, единственного уцелевшего потомка рода Арцруни. Когда он ехал в колеснице по дороге, к нему приблизился Шавасп и начал морочить его, рассказывая: «Я видел медведя белого как снег». Он до того заговорил Мардпета, что тот вылез из колесницы и сел верхом на коня. И они пустились искать в лесу медведя. Когда они очутились в чаще, Шавасп несколько отстал и поразил Айра стрелой в спину — да так, что стрела пронзила тело навывлет. Он повалился наземь и умер. Так немедля исполнилось реченное божим человеком Нерсесом: «Господь наш наказал не зариться на чужое достояние и не желать его. А тот, кто желает и алчет, тот не достигнет, чего грозит-ся, замыслу его помешает множество грехов, им совершенных». Ибо ни единое слово человека божьего не пропадало вотще».

★ ★ ★

Аршак и Нерсес, сыновья двух сестер, оба с факелами в руках, остановились в разных концах разбитой посреди цитадели, перед колоннадой, аллеи.

Уже явственно, особенно по ночам, чувствовалось дыхание зимы. Деревья обнажились, и все окрест исполнилось

печали. Под ногами шуршали умершие листья, ветер вздымал их с земли и гнал вдаль.

Два факела двигались навстречу друг другу в ночном мраке, словно каждый из двух хотел обогреться огнем второго. Вот они замерли, подались вперед, и те, кто за ними стоял, — мирянин и священнослужитель — увидели один другого.

Оба они, и царь и католикос, постарели, обоих согнуло бремя забот, глаза потускнели, кровь уже не безумствовала в жилах, а их собственную, их личную жизнь составляли теперь одни только воспоминания.

Они, эти два богатыря, еще несколько лет назад способные ходить по льду босиком, были тепло-тепло укутаны, царь вдобавок ко всему обмотал туловище шерстяным платком, потому что и без того немалое число его врагов приумножилось еще одним — ломотой в пояснице.

Царь знал — это прощальная встреча. Это прощание с любимым и близким человеком, вынужденное и неминуемое. И царю не хотелось, чтоб оно состоялось в четырех стенах, во дворце: это только усугубило бы его вину и обострило горечь разлуки. Каждый из них отныне мертв для другого, остаются лишь воспоминания. Был человек, и нет человека. И такого рода смерть куда тяжелее настоящей. Это потеря вдвойне. Потому что с настоящей потерей рано или поздно примиряешься — время берет свое, — с этой же примириться невозможно. И он решил назначить прощальное свидание под открытым небом: ведь на просторе, огромном и беспредельном, прощание облегчается, человеческие страсти мельчают, обращаются в прах и становятся добычей ветра.

Он не осуждал двоюродного брата — напротив, восхищался им. Идею объединения страны, которую царю не удалось осуществить как мирянину, Нерсес претворил в жизнь как духовный вождь. Создал государство в государстве. И достиг этого, к своей чести, без кровопролития, без жестокости. Идя по стезе мира. И более того — сея повсюду человеколюбие. А царь бьется при последнем издыхании, как выброшенная на берег рыба, царь мечется в клетке, но нити, связывающие его с сердцем страны, что ни день истончаются, бразды правления ускользают из рук. Он поневоле прибегает к крайним мерам, и пройденный им путь отмечен кровью и преступлениями. Но господь не слеп, он видит, что если царь не ангел, то и не закоренелый злодей, он простой смертный и его жестокость никогда не корыстна, она возникает из необходимости, которая не в нем, а вовне и дана свыше. Глупо прикидываться травоядным, когда тебя но-

ровят сожрать с потрохами, — ты сам должен проглотить врага, таков жребий, начертанный на скрижалях твоей судьбы. А иначе с тобою вместе погибнет и страна.

И не оттого ли двоюродный брат шествует мирной стезей, что дорога царя пролегает по ухабам и крови?

Факелы замерли друг против друга; отбрасываемые ими снопы света пытались урвать себе местечко во мраке.

— Чем я грешен перед тобою, царь? Какая на мне вина? Бессонные ночи? Затворническая жизнь? Дети, которые, прибавляя буковку к буковке, научаются складывать имя сестры или брата? Богадельни, где в покое доживают свой век старики? Убежища для прокаженных, в которых те ограждены от мира? Приют, где нищим не отказано в куске хлеба? Или же странноприимные дома, где отдыхают путники? Скажи, какая на мне вина?

— Я тоже не щажу себя, святейший. Что ж я тебя-то буду щадить? Говори, в чем дело.

— Я... я велел убить Мардпета.

Царь облегченно вздохнул. Привыкший к неудачам, он не удивился бы, провались его расчеты. Напротив, странно, что все вышло по задуманному. Да простит господь Мардпету грехи. И да не слишком тяжела будет земля на его могиле.

— Но мною пролита кровь безвинного, — с горечью продолжал католикос. — Я поздно это понял. Сам Мардпет не додумался бы до такого. Это твоя мысль, царь. Ты подстроил случившееся. Чтобы обогреть мои руки кровью. Чтобы очернить меня... Чтобы не осталось ни единого имени, кроме твоего, ни единого авторитета. Зачем? Кому это нужно, царь?

— Стране.

— А я? А о чем же денно и ночью пекся я? Разве не о стране?

— Нерсес! За время нашей вражды я полюбил тебя еще больше. — Царь положил голову на могучее плечо двоюродного брата и уткнулся лицом в складки его одежды. — Мы с тобою одной крови. Замешены на одном тесте...

И к чему осуждать Нерсеса, если на его месте я поступил бы точно так же: с головой окунулся бы в дела, отстаивал бы свою выгоду и постарался заполучить настоящую, подлинную власть. Нет, я не возьму грех на душу, не скажу, что Нерсес радел о благе ближнего, побуждаемый своекорыстием. Цели у царя и католикоса общие — независимость и преуспевание этой злосчастной и раздробленной страны, — разве что разнятся пути к их достижению.

Если б они объединились... Если бы объединились!

— Двоих многовато, святейший. Много, слишком много. — Царь распрямился, отошел на шаг и проговорил неожиданно сухо, как противник противнику. — Это дорого обойдется стране. Двоих ей не выдержать.

— Прощай, царь. Наши дороги никогда уже, вероятно, не пересекутся. Обагрив руки кровью, я не вправе быть пастырем. Прощай.

Но почему же у царя кошки на душе скребут, если сбывлось то, о чем он мечтал. На место Нерсеса он возведет слабого и безвольного епископа, покорного исполнителя царской воли. С корнем вырвет ростки опасных для престола поползновений, семена которых заронил в армянскую почву двоюродный брат. Может, потому он и грустит, что Нерсес — его двоюродный брат? Едва ли. Хотя, конечно, это обстоятельство тоже немаловажно. Скорее всего и более всего он грустит потому, что расстается с человеком щедро одаренным, и несущественно — друг то или враг, Меружан Арцруни или католикос Нерсес. Воинов хватает везде, даже воинов доблестных и храбрых, а вот талантливых людей перечесть по пальцам. И еще неизвестно, кто именно стране нужнее.

— Во всяком случае, я оценил твою хитрость, — вдруг улыбнулся Нерсес, повторяя слова, сказанные им много лет назад, по возвращении из Кесарии. — Коварный твой замысел.

— Я тоже полагаю, что человеку с окровавленными руками нельзя быть пастырем, — по-прежнему сухо сказал царь, принимая отставку католикоса.

— А государем? — усмехнулся Нерсес.

— К несчастью, можно, — коротко ответил царь.

Нерсес повернулся и, высоко подняв факел, медленно двинулся по усыпанной мертвыми листьями дорожке.

Может, окликнуть его? Может, не допускать, чтобы потеря становилось изо дня в день все больше? Может, в этих потерях повинен он сам, а не век? Ведь сколько несправедливостей содеяно от имени времени, сколько людей сотворили из времени щит и прячутся за ним.

Он понял, что думает в эту минуту только о себе. Хотя был уверен, что и этот его шаг правилен. Знал это, наверное, уже с той поры, когда решил, что рукоположение армянских католикосов более не будет происходить в Кесарии. Надо по-ребячьи радоваться, плясать и прыгать от восторга, поскольку расчеты оказались точны, поскольку одной стрелой он поразил двух птиц — главного советника и первосвя-

щенника. Но, забыв обо всем этом, он думает только о себе. Страшится одиночества... Каждая потеря раздвигает границы одиночества, углубляет бездну одиночества.

И ему почудилось, будто из этой бездны донесся вдруг его чужой неприятный голос:

— Нерсес!

Крохотная точка огня остановилась вдалеке и выжидающе повисла во тьме.

И тот же чужой неприятный голос бросил во тьму бессмысленный вопрос:

— Зачем тебе это?

И правда — зачем?

Ну хотя бы просто так — зачем?

— Армянская церковь должна быть сильной. Очень сильной, — слышались из непроглядной темноты слова, звучащие, казалось бы, из уст не живого человека, но призрака. — Это тоже нужно стране. Если в один злосчастный день армянское царство падет, на этой земле хоть что-нибудь да останется. Останется церковь, почитаемая и любимая народом.

— Рано, святейший, хоронишь армянское царство, — прорычал царь грустным и одиноким львом. — Рано все вы смирились с этой мыслью. Рано опустили руки. Потому-то, Нерсес, я и смещаю тебя.

Видневшаяся вдалеке яркая точка двинулась вперед и мало-помалу пошла на убыль; чуть погодя ее поглотила тьма.

Царь облегченно вздохнул. Все стало на свои места. Все вопросы обрели ясность и самоочевидность. Теперь-то он уже сполна постиг и оборонил свою правду. Сказал «нет» могильщикам армянского царства. Вырвал лопаты из их рук. Выгнал вон вопленниц. И главных, и подпевал. И остался единственным верующим. Одиноким не только в жизни, но и в вере.

★ ★ ★

Он был замечательным воином и придворным. Так решительно бросался в сечу, что вражеские стрелы робели и огибали его. Поле брани было его отрадой, стихией и страстью. Заметив яростный его взгляд, встретившись с пылающими его очами, перс и византиец тотчас понимали, что на сей раз удача изменила и что у них нет иного выхода, кроме как принять смерть.

После боя он никогда не ведал усталости. Воодушевление

пьянило его и облегчало душу. Наступал черед женщинам и кутежам. И он не брал женщин, а сам отдавался им, отдавался всем своим существом, безраздельно, как отдавался битве.

Где бы он ни появился, все преисполнялось порывом и жизнью. Его тело дышало здоровьем, словно одаривая дряхлых и немощных и утешая их. В споре — любом споре — никто не выдерживал железной последовательности его мыслей и неопровержимых доводов. Его только любили и ненавидели. Всем сердцем любили и всем сердцем ненавидели. Середины не было. Он не бросал слов на ветер: «да» — это «да», «нет» — это «нет». Никогда не склонял головы, не льстил, не лебезил, не стремился к высоким должностям; с малыми был малым, со взрослыми — взрослым, со всеми — и превосходящими его своим положением, и с простыми ратниками, и с крестьянами — обращался, как равный с равным.

Времени ему и не хватало и хватало на все. Он наизусть знал греческих и сирийских мудрецов. Изучал языки, учительствовал в Кесарии, служил у царя сенекапетом, а у спарапета был воином.

Когда он упражнялся в воинском искусстве, многие избегали вступать с ним в поединок. Потому что забаву он превращал в дело и умудрялся повернуть игру так, будто в ней решается — жизнь или смерть. Страстное стремление к победе напоминало невыносимую жажду, которая, не утоли он ее, тут же его придушит. Так же вдохновенно и увлеченно он занимался всем, начиная с вопросов чрезвычайной важности и кончая мелочами. И неизменно побеждал, помногу урывая у судьбы и щедро — десятикратно, сторицей — возвращая добытое окружающим.

Замечательный воин и придворный...

Бог свидетель, свой долг духовного вождя он тоже исполнял на совесть. Недаром его прозвали Нерсесом Великим. Любые титулы либо даруются, либо передаются по наследству — кравчий и главный советник, спарапет и католикос всех армян, — но прозвание Великий не может пожаловать никто, даже царь, оно дается только народом, только всеобщей его волей. Нечеловеческим усилием, единым махом покончил Нерсес со своим прошлым и выкинул его из памяти. Величаво отказался от всего, что любил и боготворил. Повел жизнь, ничем не схожую с прежней. И не господь — на сей раз люди свидетели: он был свят и беспорочен. Целиком отдался новому поприщу. Повсюду оставлял следы своего человеколюбия и подвижничества на ниве добра. Трудился

денно и ночью, не ведая сна и покоя. И стремился лишь к одному — подвинуть людей учиться счастью. Научить их быть счастливыми. Принудить к этому. Люди не знают, что обязаны обрести счастье. Но зато об этом хорошо знал Нерсес, и одного человека было вполне достаточно, потому что свое знание он передавал тысячам. Он напоминал им об их долге не отвлеченными и суесловными проповедями, но добрыми делами. Ниспошли ему бог долгую жизнь, избавь от царевых гонений и травли, он достиг бы цели и показал бы всему миру, что человек рожден для счастья.

Царь не понял его и не мог понять. Он клеветал, будто католикос жаждет власти. Между тем Нерсес предвидел, что рано или поздно, не сегодня, так завтра армянское царство, как это ни прискорбно, будет уничтожено чужестранцами. Что же останется на руинах? Должно же что-то остаться? Да или нет? Останется единая и могущественная армянская церковь. С рассеянными по всей стране монастырями и божьими слугами. С обширными поместьями и неиссякаемыми богатствами. Со своим добрым именем и авторитетом.

Ты, царь, думал только о нынешнем дне, а католикос — о будущем. И, к несчастью, о близком, ближайшем будущем.

Нет, бог свидетель, он на совесть исполнял свой долг духовного вождя. А теперь? Кто он, этот человек, бредущий среди полей, поспешающий к неведомому пристанищу?

Кто я? Не тварь земная и не создание небесное.

Где я? Где мне себя искать?

Он привык водить дружбу с булатом и одушевлять безжизненный металл. Он умел беседовать с ним, ластиться к нему, убеждать его, и, буде тот служил верой и правдой, целовать его в хладное чело; если же тот изменял, он грозился заменить его другим клинком, поновее.

Потом его вынудили стать пастырем. Вынудили забыть то, с чем он превосходно справлялся долгие годы. Он кое-как смирился и взялся за новое дело. С головой в него окунулся, открыл ему, этому делу, всего себя и опять стал незаменимым.

И когда он уже твердо стал на ноги, ему показали от ворот поворот. Едва он привык к делу, едва постиг тайны нового ремесла, как его гонят взашей. И не его одного — многих. И день ото дня растет число людей неприкаянных, людей, которые ни то и ни се.

Кто я? Где я? Где мне себя искать?

Не тварь земная и не создание небесное.

Не воин и не чернец.

Да простит меня мой меч, ныне сиротливо висящий на боку чужака. Верно ли он ему служит? Не изменил ли новому владельцу, не пал ли заодно с ним в бою, не заржавел ли от тоски по Нерсесу?

Да простит меня мой крест, но завтра я позабуду молитву, и ее слова тоже покроются ржавчиной и, как старая краска, осыплются из моей памяти.

Кто я? Где я? Где мне себя искать?

Некогда он дал богу обет, что, пускай даже мир перевернется, пускай обрушатся небеса, но, если останется на земле один-единственный человек, он все равно найдет его, достигнет, последует за ним по пятам, возьмет в оборот и, угваривая, умоляя, угрожая, заставляя, насилуя, научит, научит его быть счастливым.

И если б Нерсес вообще ничего не совершил, то хотя бы про одного человека он вправе со спокойной совестью сказать, что благодаря ему тот счастлив. Это человек — его сокровище, его творение.

Да, Врик — его создание. Он имеет право утверждать, что Врик — такое же его порождение, как и собственный сын, Саак. Вот почему он спешил к Врику, утешаясь тем, что увидит свои мечты воплощенными хотя бы в одном человеке. Шел словно к святыне. Молиться и очищаться.

Бедный Врик... Воистину бедный. И Нерсес сознает это. Врика жаль, потому что отныне ему придется исполнять роль тысяч людей. Всю свою решимость, веру и неосуществленные замыслы Нерсес вложит в двоюродного брата, будет тщательно отделять, совершенствовать это свое произведение, приведет в порядок подножие, обработает землю вокруг, посадит траву и цветы. И Врику не ускользнуть от него, сейчас он — единственная в мире глина, еще покорная Нерсесовым рукам.

Но Нерсес не жалел Врика. Шел выжать его до конца, выдавить до последней капельки. Пусть жалеет его прежний Нерсес, это дело и долг священника, а не бредущего среди полей утомленного и выбившегося из сил путника.

Врик должен быть счастлив вместо тысяч, он должен воплотить в себе всех счастливых людей, чтобы Нерсес получил воздаяние за неосуществленные мечты, брошенные на половине начинания, за неблагодарность многих и многих не понявших его и за бесславный этот конец.

Вот показался глинобитный, вросший в землю дом Врика. Я иду, Врик. Увидишь, чего мы добьемся с тобою вместе, какие чудеса сотворим!

На крыше дома сутулился иссохший и постаревший му-

жчина, не знавший, как ему стать поудобнее и куда девать руки. Ну а главное, у него вроде бы вылетело из головы, чего ради он взобрался на верхотуру.

Во дворе с ужасным шумом резвилось с десяток сорванцов. Топтали и портили грядки. Вынесли наружу чуть не всю домашнюю утварь, а наигравшись ею вдоволь, разбросали там и сям и разломали. Их сгорбленная усталостью и заботами некрасивая мать беспомощно и с отчаянием наблюдала за этой рожденной ею оравой разбойников и бранила мужа, который полез на крышу, чая спастись от жениного языка и рушащего любые преграды жизнелюбия сыновей.

У него дурнушка жена, потому что нельзя было давать ему все готовеньким, разжевав и положив в рот. Он должен сам созидать свою любовь, созидать в кровавом поту, в муках и сомнениях, шаг за шагом одолевая сопротивление. А велика ли сложность любить красивую жену?

Его дом стоит на каменистой равнине. Сколько глыбин выкорчевал он, сколько сил потратил, сколько пота пролил, чтобы по достоинству оценить, какое это чудо – собственная крыша над головой. А велика ли сложность поставить дом в хорошем месте?

И земельный надел у него такой же каменистый. Муж с женой месяцами и годами освобождали его от камней, издали таскали мягкую благодатную землю, чтобы засеять ее и не умереть с голоду. А велика ли сложность выращивать урожай на черноземе?

Врик завидел брата, улыбнулся ему и кивнул. То ли поздоровался, то ли, словно зная все наперед, упредил неизбежный вопрос: «Ты счастлив, Врик?»

Нерсесу показалось, что улыбка Врика радостна. Между тем он был единственным, кто будил в душе Врика давно позабытые воспоминания, оживлял ушедшие из жизни и погребенные в толще лет события, лица, сладкие грехи и сказочные приключения... Они на мгновение вспыхивали в сознании Врика и, тотчас угаснув, становились еще мертвей.

«Наконец-то я дома, – подумал Нерсес, – с моими дорогими, моими любимыми». И если Врику непременно надлежит быть счастливым, то и Нерсесу точно так же необходимо зажить счастливой жизнью.

И он ступил на порог, ясно и решительно это сознавая.

И все-таки... Кто я? Где я? Не тварь земная и не создание небесное. Где мне себя искать?

Глава двадцать шестая

Аршакаванцы Анак и Баби́к были соседями.

Анак знал больное место Бабу́ка и потому избегал с ним встречаться. Незаметно выбирался из дому и быстренько исчезал.

У Бабу́ка не хватало духу пойти к Анаку домой, и он старался подстеречь его на улице, но сосед мгновенно испарялся, следов и тех не углядишь.

Анак поступал так намеренно. Продумал и рассчитал все заранее. Он хотел внушить Бабу́ку, что их встреча до крайности важна и необходима. Что это чуть ли не вопрос жизни и смерти. Хотел довести соседа до отчаяния и только потом, улучив минуту, столкнуться с ним.

Нюх не подвел Анака, он вовремя смекнул, что тянуть больше нельзя, не то Баби́к, потеряв всякую надежду, того гляди махнет рукой на свою затею.

Выйдя на улицу, Анак замешкался и, сделав вид, будто дверь заело, выругался себе под нос и отнесся к своей ругани вполне серьезно. Повернулся и увидел Бабу́ка. Они поздоровались и, стоя друг против друга, помолчали.

— Нынче будет дождь, — протяжно сказал Анак.

Баби́к поднял глаза на безоблачное небо, долго в него вглядывался, хорошенько подумал и ответил:

— Верно.

Анак заметил следы у дороги, и его взгляд стал неподвижным, оледенел.

— Собака пробежала, — безучастно сказал он, хотя было ясно видно, что следы овечьи.

— Точно. Собака, а не овца, — после долгого приглядывания согласился Баби́к.

Анак остался доволен ответами соседа и понял, что легко с ним столкуется.

★ ★ ★

Анак был родом из Сюника, из области Вайоцзор. Этот гористый, обильный водою край славился урожайными землями, студеными ключами, залежами руд и рудниками — оловянными, серебряными и медными.

Всю свою жизнь он провел в деревне Ехегик, приютившейся на высоком правом берегу одного из притоков Арпы. Здесь же с незапамятных времен обитали его предки, и здесь же обитали бы его внуки и правнуки, не собери однажды

в безлунную ночь Анак с семьей свои пожитки и не пустись тайком в путь к далекому и таинственному Аршакавану.

Бабик был родом из села Тил в области Екех, где при его дедах стоял храм богини материнства Нане. Служители Христа разрушили храм и возвели на его месте церковь. Увидев, что в Аршакаване церкви нет и что там царит дух язычества, Бабик очень удивился. И, всю жизнь мечтавший о духовном сане и самоотречении во имя господа, он невольно прислушался к дальнему зову крови и понял, что подлинное его призвание – служение попоранному культу Нане.

Анак платил налог непосредственному господину, равно как и сюникскому нахарару, церкви и дворцу. Чтобы сводить концы с концами, работал от зари до зари. И не в одиночку – семья работала тоже. И все-таки жили впроголодь. С нетерпением ждали праздников – хоть разок лечь спать сытыми. Ради дополнительного заработка пришлось Анаку устроиться на рудник. И опять без толку. Стоило ему не уплатить вовремя налог – а случалось это частенько, – господин сек его.

Бабиков же господин был, напротив, человеком добрым и чувствительным. Любил Бабука, относился к нему, как к сыну, усаживал с собою за стол, ценил его упрямое стремление самоучкой овладеть грамотой, хвалил за желание стать священником. Обещал, что, как только Бабик проработает у него семь лет, он даст ему вольную и посодействует его переходу из крестьянского сословия в сословие азатов, ибо крестьянин не имел права становиться священнослужителем.

Что Анака секли, еще полбеды – так уж устроен мир, – но вот что плетью ему приходилось изготавливать собственными руками, было страшным наказанием, неслыханным и невиданным. Плетью пускали в дело единожды, после чего выбрасывали. Для следующей порки требовалась новая. Причем новая могла господину и не понравиться, тогда он приказывал представить другую. Всякий раз, отвергнув негодную плетью, он заставлял переделать ее, назначал для этого сжатый срок и увеличивал число ударов, что и отмечал для памяти в особом свитке. У страха глаза велики, и Анак приготавливал обычно несколько плетей – может, хоть одна из них господину приглянется. Но поскольку сроки назначались донельзя сжатые, за работу волей-неволей садились все домочадцы и, пригорюнившись, вили плети для главы семейства...

Семь лет превратились в дважды семь, а добрый и чувствительный господин Бабука и не думал давать любимому

питомцу вольную. До того к нему привязался, что не в силах был разлучиться. Даже оброк увеличил, чтобы погрязшему в долгах Бабику не достало решимости напомнить господину про обещания. И не знал с той поры угрызений совести, потому как, утяжелив положение крестьянина, доказал тем самым свою к нему любовь.

Границами мира были для Анака окрестные горы. И для Бабика тоже. Разве что назывались они по-иному. Ни тот, ни другой не представляли, что по ту сторону этих границ опять же есть горы, и реки, и человеческое жилье, и засуха, и зубная боль, и падеж скота, и мор.

Но Анак наизготовлял столько плеток и перенес столько порок, а Бабика столько водил за нос господин, что оба они не только представили, но и уверовали — по ту сторону окрестных гор тоже лежит земля. Собрали пожитки и махнули с семьями на край света, в Аршакаван, и тут выяснилось, что Аршакаван и впрямь край света, свет сошелся на нем клином и дальше Аршакавана ничего нет.

Но вот ведь нелепица: прожив в городе всего несколько дней, Анак и здесь за ничтожную провинность схлопотал удар плетью. Огрел его помощник градоправителя, человек с прямыми жесткими волосами, которые то и дело спадали на лоб.

А Бабику тот же самый помощник ледяным голосом отказал посодействовать переходу в духовное звание. Городу нужны рабочие руки. Поработай семь лет, а там уж и думай о служении господу.

★ ★ ★

— Собака, — лениво повторил Анак и зевнул.

— Точно. Собака, а не овца, — еще внимательнее разглядывая следы, согласился Бабик.

★ ★ ★

— Одолжаться хочешь, так ведь? Здорово я угадал? Я одного только не знаю — когда помру. — Анак самодовольно взглянул на Бабика, будто прямо сию минуту раскумекал, что нужно от него соседу. Бабика аж оторопь взяла, так это было неожиданно. Анак того и добивался. Вконец его смутить. Поставить перед ним новые помехи, не дать очухаться.

Теперь взгляд Анака упал на разбросанные возле его дома камни, невесть почему приведшие его в ужасное раздражение. Не обращая внимания на Бабика, он двинулся к стене

и принялся собирать камни и укладывать их друг на дружку.

О Бабике он вроде как позабыл. Тот бестолково стоял, переминаясь с ноги на ногу. Колебался: то ли пособить Анаку, то ли нет. Ему отчего-то сдавалось, что, как он ни поступи, сосед обидится. И он боялся навязывать свою помощь. Чего доброго, Анак поймет его превратно, подумает, будто Бабик перед ним холуйствует. Но, с другой-то стороны, возражал себе Бабик, сосед на то и сосед, чтобы помочь. Однако его точно пригвоздили к месту, ноги онемели и не повиновались рассудку.

Не тяжелое, безвыходное положение семьи, не вопрошающие и ждущие взгляды детей, а долгое и безрезультатное выслеживание Анака и особенно теперешнее нелепое стояние окончательно убедили его, что взять у соседа в долг — совершенная необходимость. Цена этой необходимости десятикратно возросла, и впрямь став вопросом жизни и смерти. Он понял: попятного пути нет.

И ни с того ни с сего Бабику вдруг страшно захотелось есть. Хотя полчаса назад он заморил-таки червячка. Когда ему досаждал голод, чудилось, что и дети голодны. Когда мерз, чудилось, что и дети мерзнут. Когда уставал, дети тоже вроде бы валились с ног. Внезапный этот голод взволновал и растревожил его. И виноват во всем был Анак, мозоливший ему глаза и терзавший его душу.

Анак покончил со своим занятием, распрямился, с удовлетворенностью рачительного хозяина окинул взглядом собранную им грудку камней, похлопав ладонью о ладонь, отряхнул пыль, потом, случайно покосившись, заметил Бабука, насупил, попытался припомнить, на чем, собственно, они остановились, и неожиданно налетел на соседа:

— Виноват я, что у тебя семья большая? Наплодил ребятшек! Спрашивал ты меня, когда клепал их одного за другим? Нет ведь, не спрашивал. Где это видано: кто-то делает глупости, а ты отвечай! Вот иди и отвечай за мои глупости. Я, по-твоему, не глупил? Сколько угодно! А страдал кто-нибудь из-за этого?

— Клянусь тебе... Я скоро верну.

Лучше сквозь землю провалиться, чем выслушивать эти попреки. Он молил бога, чтобы Анак плюнул и ушел. Больше надеяться было не на что. Сам он уйти не мог, Анак же, как на грех, не уходил. Пускай не одалживает, пускай они живут впроголодь, пускай считают дни до праздников, только бы ушел. А тот не уходил.

— Откуда у меня деньги? — оскорбился Анак. — Я ведь, как и ты, сбежал от господина. Забыл, что ли?

Но ведь Бабик зачастую обращался к нему за помощью, и Анак никогда не отказывал. Теперь-то чтостряслось, подмывало спросить Бабука, но сосед держал себя так, что, напомни он ему об этом, Анак оскорбился бы пуще прежнего.

— Я всегда отдавал долги вовремя, — как-то виновато бормотал Бабик, будто сознаваясь в тяжком преступлении.

— И угораздил же нас бог поселиться рядом, — неожиданно мягко сказал Анак и положил руку Бабуку на плечо. — Легко, по-твоему, смотреть, как у тебя под боком кто-то голодает?

— В последний раз, — набрался духу Бабик, и в глазах у него мелькнула надежда. — Клянусь чем хочешь... Только помоги мне нынче.

— Ну ладно, так и быть, — вздохнул Анак и, недовольный собой, добавил: — Ты ведь знал, что я уступлю.

— Спасибо! — Бабик осип от волнения. — Спасибо! У тебя доброе сердце.

— Куда ж мне деваться, коли ты на меня насел, — рассердился Анак. — Хвать за горло — и ни в какую. Я что же, не человек?

— Никогда не забуду, сколько ты сделал мне добра. Мы всей семьей будем благословлять тебя...

— Долг можешь не возвращать. Все одно — потом опять возьмешь. Еды я тебе тоже дам. Пускай будет про запас. Дети же не виноваты, что у отца короткий ум. — Анак немного помолчал, давешней горячности как не бывало; в речах и жестах сквозила удивительная безучастность ко всему... Он нехотя зевнул и опять начал растягивать слова: — Знаешь, что мне пришло в голову? Ты бы не хотел у меня поработать? Помочь мне, помочь... — После каждого вопроса он подолгу молчал, будто нить его мыслей прерывалась и он кое-как подыскивал, что сказать. — Достроишь дом. Станешь обрабатывать землю. Задавать корм скоту. Поди знай, что еще, мало ли дел в хозяйстве... Вроде бы хорошо придумано, а?

— Но это же запрещается законом, — обеспокоился Бабик и перешел на шепот.

— Тебе виднее, — нарочито громко — громче обыкновенного — проговорил Анак, внушая, что в его предложении нет ничего предосудительного. — Хочешь, подумай. Неволить не буду.

— Но ведь... если прознают, и меня из города выгонят, и тебя.

Бабик побледнел. Сердце заколотилось часто-часто. Будто его поймали на месте преступления, и поймал не кто иной,

как Анак. Анак только что ему удружил, и на нем не могло быть никакой вины. При этом дружеской услугой было не столько согласие одолжить денег, сколько намерение вывести Бабика из унижительного положения. Нет, во всем виноват он сам, он один, Анак тут ни при чем. А если проведает помощник градоправителя, который собачьим своим нюхом неизменно чувствует, где творится беззаконие? Да, благодаря этому помощнику в Аршакаване царит безупречный порядок, но горе тем, кто угодит ему в руки. Бабик боялся его больше всего на свете.

— Я ж не говорю, чтобы ты служил мне на глазах у других, — с ленцой улыбнулся Анак и недовольно, очень недовольно закатил глаза, точно его просили, точно его упрашивали. — Тайком... Тайком...

— А если узнают? — почувствовав в своем вопросе уступку, струхнул Бабик.

— Узнают, скажешь — соседи. Ежели и мы не поможем один другому, кто же тогда поможет?

Анак возлагал надежды на то, что своекорыстное использование чужого труда в Аршакаване не только воспрещалось, но и сурово каралось. Как ни странно, это-то и было спасением. Строгость закона и суровость наказания убаюкивали чиновников, усыпляли их бдительность. Никому и в голову не приходило, что кто-нибудь безрассудно отважится нарушить закон. Даже помощник градоправителя об этом не прониюхает.

— Согласен, — выпалил Бабик, чтобы лишиться себя времени на раздумья.

— Ясное дело, другого выхода у тебя нет, но куда ты опять торопишься? — упрекнул его Анак. — Ступай поразмысли, с женой посоветуйся, послушай, что она скажет.

— Нет, нет, я согласен, — неведомо на кого осерчал Бабик.

— Беда тебе с твоим коротким умом. — Анак обнял Бабика за плечи и, хотя они были сверстниками, с отеческой укоризной покачал головой. — Не наплодил бы столько детей, не пришлось бы тебе опять гнуть спину на другого. Мне ли не знать, до чего это тяжело. Забыл, как мы с тобой мучились? Эх, Бабик, Бабик...

И Бабик почувствовал себя глубоко виноватым и перед Анаком, и перед своей семьей.

Глава двадцать седьмая

Самым тяжелым ударом для Олимпии стало наступление зимы. Окно завесили почти не пропускающей света телячьей шкурой, пропитанной растительным маслом, и все связи царицы с миром оборвались. Одиночество получило определенные очертания и объем — очертания и объем ее покоев с четырьмя стенами и потолком. Даже служанки и горничные, словно натянувшие на себя одинаковые личины, сами того не ведая, зеркально отражали ее одиночество.

Роскошные одеяния и ослепительные украшения больше не тешили Олимпию. День за днем она надевала один и тот же наряд. Предала полному забвению высокое положение и богатство отца, поначалу служившие ей защитой. Не было уже и ожиданий. Прежде она по крайней мере обнадеживала себя, а ночами, свернувшись клубком в постели и затаив дыхание, прислушивалась к изредка доносившимся из коридора шагам. Да, царь не шел. Но поочередная смена далекой надежды и близкого разочарования хоть как-то заполняла ее жизнь. Теперь же не оставалось ничего, кроме совершенного безлюдья и пустоты.

Подчас ей хотелось сделать с досады что-нибудь, из ряда вон выходящее: привести покои в порядок, вытереть пыль, взяться за вышивание или шитье. Однако это до такой степени не подобало царице, что она и сама стыдилась потаенных своих желаний.

Не отдавая себе в том отчета, Олимпия начала грубо обращаться с горничными и служанками. Выговаривала им из-за ничтожнейшей провинности, придиралась к любому пустяку, вмешивалась в дела, в которых ничего не смыслила, скандалила, грозила наказаниями. Эта тихая, кроткая женщина, которая прежде принимала услуги со смущением, стала теперь для горничных сушей напастью. Одна ее тень наводила на них ужас.

Мало-помалу Олимпия свыклась с дурной славой, которая даже пришлась ей по вкусу; жесткость и бессердечие как-то утоляли жажду жизни. В тесных границах своей власти, не распространявшейся дальше ее покоев, она была самоуправным деспотом, а в подданных ходила горстка безответных женщин.

Внезапно, бог весть как и когда, Олимпия возжелала бурной деятельности. Она покинет пределы своих палат и, сполна используя права царицы, займется политикой, будет устраивать приемы, общаться с армянской знатью, пригласит из Византии актеров, смягчит и разрядит обстановку этого

грубого, варварского дворца. И непременно с помощью императора поставит мужа на место. Она напишет Констанцию длинные, исполненные горечи письма, пожалуется на царя армян, попросит уладить их супружеские отношения. Она сблизится с противостоящими царю нахарарами, подробно разузнает их настроения и намерения и сообщит об этом императору. Как истинная византийка, для которой превыше всего — благо отечества. Посмотрим тогда, посмеет ли царь не юлить и не лебезить перед ней, не замечать изумительного ее тела, не объясниться ей в любви? И пусть дерзнет не изгнать двух других жен, не удалить их — одну из дворца, а вторую — и вовсе из страны. В конце концов за спиною царицы — могущественная держава, не считаться с которой может только сумасшедший. Неужели царь полагает, будто венценосная супруга так скоро его простит, так скоро забудет, как он пренебрегал ею? Ему еще предстоит немало помучиться, искупая одну за другой свои провинности, прежде чем царица сжалится и простит его.

Но Олимпии не повезло. Возвращаясь из Антиохии, император Констанций тяжело заболел в пути и умер в киликийском городе Тарсе. Ненадолго пережил своего брата, жениха Олимпии. Положение царицы стало шатким. Преемники Констанция, судя по всему, и думать о ней забыли. Это было заметно уже по тому, что нахарары — приверженцы Византии, которые, случалось, навевывались в царицыны покои, разом прекратили свои посещения. Олимпия поняла, что никому больше нет до нее дела. Нужно было найти выход. Но каким образом, с чьей помощью? Поразмыслив, прикинула все «за» и «против» и пришла к заключению, что единственная ее надежда — опять же царь. Хороший или плохой, он все-таки ее муж. Человек, без сомнения, благородный, царь не допустит, чтобы кто-либо хоть пальцем до нее дотронулся, обидел ее или причинил вред. Но что же доказывало благородство царя? Уж не то ли, что он совсем не обращал на Олимпию внимания? А может, то, что ни разу, пусть для виду, не полюбопытствовал, каково ей живется, или, может, то, что никогда не усаживал ее подле себя на престол, по праву принадлежавший царице? Нет, и в самом деле, что же доказывало его благородство? Главным доказательством, которого не опровергнуть никакими доводами и никакой логикой, была ее любовь. Доказательство чрезвычайно простое и чрезвычайно весомое. Она любила царя, и поэтому — именно поэтому — царь был добродетелен.

Вот так она любила своего почившего жениха, Костаса. Он был для нее образцом человеческого благородства. По

этой части у Олимпии тоже имелось своеобразное доказательство. Она умела наблюдать себя со стороны. И потому никогда не утешалась самообманом. Прекрасно знала, чего она стоит, и не пыталась таить от себя свое уродство. И если Костас полюбил ее такой, какая она есть, оценив ее внутреннюю красоту, которую Олимпия тоже не собиралась таить, значит, он был очень хороший человек. И зачем только он умер? А так просто, так бесхитростно может спрашивать лишь тот, кто пережил глубокое горе и потрясение.

После смерти императора Констанция в покои Олимпии проник страх. Она словно въяве видела — он пролез в узкую щелочку под дверью и пядь за пядью заполнил собою пространство. Она до боли отчетливо ощущала: вот он достиг ее колен, груди, горла — и она задыхается, ей нечем дышать.

Первым делом она перестала докучать служанкам и горничным. Стыдно, совестно! Диву далась, как ей взбрело в голову мстить любимому человеку, якобы затем, чтоб его образумить. Страх вернул ее в естественное состояние, она вновь стала прежней женщиной, тихой и кроткой. И больше не силилась вырваться из тисков одиночества.

Она ничего не ела и ничего не пила до тех пор, пока кто-нибудь из прислуги или горничных не пробовал поданного. Ей казалось, будто найден способ самозащиты. Но через несколько недель она устала, эти предупредительные меры сделали ее жизнь совершенно непереносимой. Она положила этому конец и только тогда вздохнула более или менее легко. Отдала себя во власть провидения, и это как-то успокоило ее, избавило от всегдашней напряженности. Будь что будет. Чему быть, того не миновать. Только поскорее.

Однажды далеко за полночь, когда все живое — и люди и звери — спит глубоким сном, Олимпия, ничком лежа в постели, рыдала и незло, по привычке кляла свою участь. Ей открылась ужасная правда. Она наскучила себе самой. Наскучила — и кончено. Ей опостытели ее горести, страдания, ожидания, страхи и вообще все.

Оттого она и рыдала, что пала в собственных глазах, что ею овладело нелепое это чувство — отчуждение от себя. И вдруг заметила тень. Ее объял ужас, померещилось, что отчуждение от себя усугубляется — вот уже и тень отделилась от нее и разгуливает на свободе. Издав сдавленный крик, она вскочила.

Слава богу, тень пока что была при ней. А у ложа стоял человек. Царь, ее супруг.

Олимпия, которая, ожидая его день и ночь, прислушивалась к любому доносившемуся из коридора шороху, и при-

слушивалась настолько внимательно, что подчас казалось, будто шорох возникал из этого ее внимания, сегодня Олимпия, как нарочно, не расслышала доподлинных шагов, доподлинного скрипа двери.

Появление царя было до того внезапным, что Олимпия не успела обрадоваться. Она смотрела на него опухшими от слез глазами, как смотрел бы на своего спасителя заблудившийся ребенок. Прижалась к стене, потому что, боясь приписать чудесное это появление своим видениям и грезам, хотела прикоснуться к чему-нибудь осязаемому, вещественному.

Царь пришел как нельзя более кстати. Пришел убить ее скуку. Примирить ее с самой собою, вернуть ей ее самое. Покончить с этим нелепым отчуждением. Она спасена. Жаль только, что вот уже несколько часов ей досаждают острая резь в желудке и тошнота. Но она справится с недомоганием, не хватало еще в такой день позволить невезению, как и всегда, сыграть с ней злую шутку.

Царь медленно и бесцельно вышагивал по комнате, рассеянным и туманным взглядом глядел по сторонам, без всякой надобности трогал какие-то вещи, словно проверяя, достаточно ли они прочны. Потом, будто между прочим, покосился на Олимпию, которая, украдкой утирая слезы, старалась привести себя в порядок.

Вот так, позабыв про сон, он задумчиво бродил по всем трем этажам дворца, спускался и подымался по лестницам, расхаживал взад и вперед по пустым коридорам и в опочивальню Олимпии зашел только потому, что заметил под дверью свет. Не думал, не гадал, кого там встретит. Просто его непроизвольно потянуло на свет.

Страна ускользала из рук. Ночами же эта истина, как и всякая иная, становилась еще очевидней и непреложней. Вместо того чтобы выступить перед лицом опасности сплоченно и заодно, влиятельные нахарары отвернулись от него. Не только Меружан Арцруни и Ваан Мамиконян, но и прочие недостойные. Чуть ли не все области отпали от царя, кое-кто из владетельных князей даже отгородился от Армении крепостными стенами. Остались срединные земли.

Царь сел на диван спиной к Олимпии и, словно пытаясь вспомнить, как он здесь очутился, вперил немигающий взгляд в пространство. Первый раз он переступил порог этих покоев, и завлекла его сюда узкая и светлая полоска под дверью, костром горевшая в сплошной темноте.

— Раздевайся, — сказал царь.

Олимпия не поверила своим ушам. Невольно подалась вперед. Нет, она не ослышалась, после стольких мук она

просто не могла слышаться. Его голос еще звучал в комнате, и это эхо уже никогда отсюда не выветрится. Два одиноких человека утешат сейчас друг друга, а может статься, без слов поймут один другого и заключат молчаливый союз. А двое — это не так уж мало. Особенно если один из них — мужчина, а вторая — женщина. И тем паче если эти мужчина и женщина — супруги. Это уже сила, большая, очень большая сила, которой невозможно противостоять.

Растерявшись от радости, Олимпия кивнула: она, мол, немедленно исполнит его повеление, — хотя царь сидел к ней спиной и не мог заметить кивка.

Она умела наблюдать за собой со стороны и сейчас опять словно раздвоилась. Вот она бросается к царю, падает перед ним на колени, целует его руки и без умолку говорит. Слова текут бурной и многоводной рекой, то бессвязно, то сливаясь друг с другом и придавая смысл своему единству, то захлебываясь в гортани и не выбираясь наружу.

Она рассказывает о своей жизни, отчего-то смеясь в самых грустных местах и обрывая смех поцелуями, а говоря о теперешнем своем счастье, грустит. При этом ее поцелуи невинны, она целует не как жена, а как сестра, как товарищ по судьбе, товарищ по несчастью.

Она отчетливо видела эту картину, слышала свой голос — и верила, безгранично верила. Но и удивлялась тоже: отчего она в одиночестве стоит у стены и, вместо того чтобы соединиться с другой, настоящей своей половиной, медленно, словно священнодействуя, раздевается? И жаль, что эта вторая, которая не участвует в идущем рядышком искреннем и откровенном разговоре и совершенно обнаженная стоит на холодном мраморе, жаль, что она не видит себя. Не то узнала бы, как прекрасна сейчас царица. Ее стройный стан излучает внутренний свет и распространяет кругом благоухание счастья.

Она с замиранием сердца ждала, что царь вот-вот встанет и они вверят друг другу свое одиночество. И будут одиноки вдвоем.

Однако приподнятое ее настроение омрачала резкая боль, вновь пронзившая тело. И вновь ее затошнило. Быть может, на сей раз от радости? Быть может, она давно отвыкла от радости и та выражается теперь столь необычным образом?

А углубившийся в раздумья царь неподвижно сидел на диване, начисто забыв о существовании Олимпии. И опять, согласно закону ночи, он стоял перед лицом правды. Взбунтовались царские вотчины в Атрпатакане. Несколько князей перешло к императору. Подняли голову мары. Кое-какие зе-

шли захватила Албания. Отпала также страна каспов с городом Пайтакараном. Остались срединные области. А их владельцы, многих из которых он сам возвысил, сомневались в нем, пытались отсидеться в сторонке и выйти из подчинения. Значит, по сути дела не было и срединных областей. Были только Арташат, откуда персы не сегодня завтра его выбьют, и Аршакаван. Были только спарапет Васак, который с бессмысленной доблестью дрался с врагом, и князь Гнел.

Царь встал, повернулся, туманный и рассеянный его взгляд упал на обнаженную женщину, и он с удивлением посмотрел на нее. Глаза словно вопрошали: кто она, эта женщина, и что здесь делает? Затем неторопливо и задумчиво вышел из спальни, и дверь осталась незатворенной.

Затаив дыхание, Олимпия стояла на холодном мраморе, нагая и босая.

Она так и не поняла, что случилось. Уж не сон ли это? Но что тогда означает ее нагота, столь очевидная и неоспоримая? Что означает эхо его голоса, еще звучащее в комнате, во всех уголках? Что означает приоткрытая дверь? И что означает несуразность ее положения, холод мрамора и пробирающий до костей озноб? А эта боль в желудке — она что, опять-таки от радости — с издевкой спросила себя Олимпия — и от счастья захолонуло сердце?

Она не решалась даже пошевелиться, даже вдохнуть поглубже — лишь бы не признавать, что все кончено. Неподвижность была надеждой, опровержением времени и действительности, нежеланием мириться с ними.

Она всею душой ненавидела себя, ее несчастье стало ей противно, и она снова поняла, что наскучила себе. И заботы и неразрешенные вопросы тоже ей наскучили.

Она была сыта по горло. Дошла до того предела, когда человек отвратителен себе. Олимпия знала, конечно, что чужое несчастье, сколько бы сочувствия оно поначалу ни вызывало, рано или поздно, войдя в привычку, приедается, раздражает, возбуждает неприязнь. Но что собственное несчастье, день ото дня углубляясь, приводит к тому же, об этом она узнала впервые. Узнала и ужаснулась. Ибо тут пахивало смертью.

Отчего, однако, этот запах столь приятен, столь благодетен? И отчего смерть явилась ей божественно прекрасной, стройной, высокой как тополь, с длинными густыми волосами, — отчего она явилась именно в образе Парандзем?

Это и на самом деле была Парандзем. Она вошла неспешным, уверенным шагом, а увидев Олимпию нагой, с пониманием улыбнулась. Взяла с широкого, по-видимому на

двоих рассчитанного, ложа ночную сорочку и протянула Олимпии, которая со страхом, не в силах опомниться, взирала на соперницу.

Она быстро натянула сорочку, но так и осталась в своем углу, точно провела для себя некую границу.

— Он говорил, что ни с одной женщиной не испытывал такого наслаждения, как со мной, — ровным и мягким голосом начала Парандзем. — Потому что не любит меня. А когда не любят, унижают друг друга. Ты, царица, наверное, и не ведаешь, что высочайшее наслаждение ночи — в этом.

То был вызов на поединок, какой способны вести только женщины, — не признающий границ, не разбирающий средств, безжалостный и беспощадный. Олимпия, однако, молчала и не принимала вызова.

Не скрывая любопытства, Парандзем медленно кружила по комнате и внимательно ее изучала. Словно хотела по убранству покоев определить, чем живет царица, какие лелеет тайные мысли и вообще — какова она.

Парандзем догадывалась — только что отсюда вышел царь. И, пусть не вполне ясно, представляла, что здесь произошло. Не было нужды углубляться, выпытывать подробности; своей беспомощной, робкой наготой царица выдала все.

Парандзем резко повернулась и строгим, требовательным голосом, не дав Олимпии опомниться, сказала:

— Я часто видела тебя в коридорах, царица, одетую поночному. Смущенную и виноватую. И особенно часто — у моей опочивальни. Что ты там делала? Говори.

Олимпия молчала.

— Что ты делала возле моей опочивальни? — переспросила Парандзем.

Олимпия отвела глаза. Не выдержала властного и самоуверенного взгляда. Нет, все-таки истинная царица — Парандзем, а не она. И бог весть отчего почувствовала себя десятикратно обманутой. Не только другими, но и собой.

— Что тебе до моей опочивальни? — терпеливо, но настойчиво в третий раз спросила Парандзем.

В этой терпеливости было нечто оскорбительное. Олимпия видела — ее унижают. Но противиться — возмутиться и постоять за свое достоинство — не было больше сил. Так же неспособна была она и на другую крайность — впасть в безразличие, махнуть на себя рукой. И выходило, что спасение — это резь в желудке и тошнота, заставляющие испытывать боль и думать о себе.

Она стояла в углу скованная и притихшая. Доподлинно

знала, была убеждена — тем же однозвучным голосом Парандзем повторит свой вопрос и в четвертый, а понадобится, так и в пятый раз. До тех пор, пока Олимпия не сойдет с ума. И с каждым разом отвечать будет все труднее.

— Подсматривала в дверную щель, — вспыхнула вдруг Олимпия. Слова, копившиеся не только в гортани, но и в глубинах души, все, без остатка выплеснулись наружу, и она ощутила внутри пустоту. — Хотела увидеть, как любит тебя царь. Как он милует тебя и ласкает. Помучить себя хотела... Хотела унизиться... Теперь тебе понятно?

Олимпия кинулась на широкое — для двоих — ложе и расплакалась. Но то был плач не побежденного, а победителя.

Этого Парандзем не ожидала. Не ожидала, что все обернется так. Олимпия ей даже понравилась. Она приблизилась к ложу, села с краю и принялась поглаживать царицу по волосам.

— Царь напрасно не приходил к тебе, — сказала она мягко. — Мужчинам невдомек, кто способен подарить им истинную любовь. Он не разглядел, что в тебе сокрыто.

Олимпия замолчала, однако не двинулась с места. Как принять эту ласку? Нелицемерно это сочувствие или же лицемерно? Не ловушка ли здесь, угодив в которую подвергнешься еще большим оскорблениям? Но, что греха таить, эта ласка ей нравилась. Она давно нуждалась, чтобы ее пригрели и пожалели. И утешалась этой лаской, как ребенок. Сочувствие и тепло были почему-то тем приятнее, что это сочувствие и тепло соперницы.

Но Парандзем знала не все. Узнай она все, и ее отношение к Олимпии изменилось бы еще больше. Потому что есть вещи, не поддающиеся обычной логике, и только женщине дано понять женщину. Олимпию тянуло не просто к искренности, но к сверхискренности. Однако она упустила повод, и было уже поздно: начала говорить — говори до конца, а коли замолчала — пеняй на себя, молчи и дальше.

А случилось вот что: однажды, когда царь долго не выходил из спальни Парандзем, Олимпия, дотоле воровски хоронившаяся по углам коридора и уповавшая на ночную тьму, открыто, не опасаясь, что ее застигнут на месте преступления, стала перед дверьми. Словно решила на сумасбродную выходку и твердо вознамерилась войти. Движимая странным, неизъяснимым порывом, она оторвала от платья пуговицу и положила у дверей. И убежала к себе; задвинула все засовы, погасила все светильники, и лишь тогда ее сердце сильно-сильно заколотилось от страха. Может статься, то

было суеверие предков, подсказанное ей наитием? Может статься, гречанки прибегали к этому средству, стремясь вернуть непутевых мужей? Так или иначе мысль, что пуговица лежит у дверей и ни царь, ни Парандзем ни о чем не догадываются, — эта мысль доставляла ей огромную радость. Она провела их, одурачила! Назавтра Олимпия прошла мимо покоев Парандзем, увидела, что пуговица лежит, как лежала, и сердце зашлось от восторга. Она чувствовала себя победительницей.

— Мне очень хочется подружиться с вами, — простодушно сказала она, сев на громадном своем ложе и обхватив руками колени. — Ведь мы же в одинаковом положении, все трое. Я, ты, Ормиздухт. К чему нам ненавидеть друг друга? Отчего не помогать? Если кто и пострадал больше всех, так это же я... но я сама протягиваю вам руку...

— Твоя доброта не принесет нам ничего хорошего. Скорее наоборот, — усмехнулась Парандзем. — Будь ты капельку лжива, мы бы кое-как ужились.

Олимпия допустила ошибку, грубую и непростительную ошибку: оказалась честнее и чище, нежели Парандзем и Ормиздухт. И это ее превосходство было не поддельным, а совершенно явным и бесспорным. Парандзем уловила этот промах и тотчас им воспользовалась.

— Если ты тревожишься из-за престола и стремишься завладеть короной, — ни о чем не догадываясь, продолжала Олимпия, и Парандзем стало не по себе, — то я отдам их. Ни минуты не колеблясь. Клянусь.

— Но тому должны быть свидетели, царица, — поднялась Парандзем. — Такова сущность власти.

— Мне все равно, — простодушно ответила Олимпия. — Я говорю от чистого сердца.

— Ты лишаешь смысла славу и власть, — гневно, будто ей нанесли личное оскорбление, возразила Парандзем. — Моя власть и моя слава нужны моему сыну, моему народу и самому царю. Ведь это я ежечасно и ежеминутно чувствовала, как играет у меня во чреве дитя, будущий мужчина. Я, а не ты. Это я купаю моего мальчика и с ликованием вижу, как день ото дня крепнут его мышцы, как он изо дня в день растет. На его лице уже проступил пушок, ты понимаешь, чужестранка, пушок! — Она так победительно и гордо произнесла последние слова, точно этому ошеломляющему доводу невозможно было перечить. — Я уже слышу приветственные крики толпы: «Да здравствует царь Пап!» Нет, Олимпия, лучше бы тебе удалиться.

Шли годы, и Парандзем давно распрощалась с честлю-

бивыми своими мечтами. Потеряв Гнела, она обрела достойное возмещение, к тому же двойное. Получила корону и власть. И принес их не кто иной, как человек, разбивший ее счастье. Он уплатил за это сторицей. Так что возмездие свершилось. И возмездие весьма своеобразное. Но годы минули, бывлые страсти, печали и желания обветшали, их место теперь на свалке, а для новых уже недостает душевной шири. Она целиком посвятила себя сыну, сама занялась его воспитанием, не внемля увещаниям: это, дескать, несообразно с высоким ее положением. Заботы о сыне и мечты о его будущем еще теснее связали судьбу Парандзем с судьбой страны, и все ее помыслы сосредоточились на двух этих вещах, самых для нее главных и дополняющих друг друга, — на будущем сына и судьбе родины. У беспечной молодости нет отечества, постигла в эти годы Парандзем, а вот зрелость и особенно старость, когда человек почти не думает о себе, — это открытие отечества.

— А ты бы не хотела, чтоб царь умер? — со зловещей холодностью спросила Парандзем.

— Не приведи бог, — побледнела Олимпия.

— Но ведь тебя спасет лишь его смерть.

— Не нужно мне спасения.

— Лжешь. Ты только о спасении и думаешь.

— Я люблю его.

Она впервые призналась в этом, и признание доставило ей величайшее удовлетворение. Это и был сильнейший ее резон, который она лелеяла и приберегала для самого безнадежного положения, приберегала как мощное оружие, как звонкую пощечину, обескураживающую неприятеля.

— Но ведь взамен своей любви ты ничего не получила. Одни лишь муки и унижения.

— Он мой муж, — яростно сопротивлялась Олимпия. — Перед богом и людьми.

— А отчего ты не кончаешь самоубийством? — мягко улыбнулась Парандзем, произнеся свои слова без особого нажима, точно задала заурядный вопрос, случайно сорвавшийся с языка.

Олимпия сжалась и похолодела. Резь в желудке усилилась. Тошнота подкатила к горлу. Она с недоумением глядела на Парандзем, с губ которой все еще не сошла улыбка. Пожалуй, Парандзем даже ждала ответа. Этот деловой и спокойный тон встревожил Олимпию до крайности; на нее опять явственно повеяло запахом смерти.

— Ты подсказываешь мне выход? — ее голос дрогнул и громовым эхом отозвался в ушах.

- По-моему, мысль об этом тебе не внове.
- Быть может, ты хочешь мне помочь?
- Если ты не против, царица.
- Быть может, ты хочешь меня убить?
- А если и так?

Парандзем почувствовала, что все эти вопросы — от страха и неуверенности. Олимпия непременно будет их задавать, надеясь выведать подробности, порою излишние, а порою и совершенно неуместные. Ну что ж, Парандзем это на руку. Олимпия исподволь придет к верному выводу и в конце концов смирится с неизбежностью. Только об одном Парандзем не догадывалась: Олимпия сама жаждала определить меру неизбежности.

— Ножом или ядом? — с достоинством спросила Олимпия.

— Мы же не мужчины, царица.

— Выходит, ядом, — с непостижимым усердием кивнула Олимпия.

— Верно, царица.

— А яд уже приготовлен?

— Да, царица.

— Он при тебе? Ты его принесла?

— Да, принесла. Принесла.

Она не хотела повторять последнего слова, но, только повторив, поняла, что ей невмочь выдерживать этот допрос, силы постепенно ее оставляют. А Олимпия с опасной настырностью, с мучительной твердолобостью знай задавала вопрос за вопросом. Точно роли переменились.

— А Ормиздухт? — В глазах Олимпии внезапно мелькнула искорка надежды. — Ормиздухт, как Ормиздухт?!

— Предоставь это мне, царица.

— И мне уже никак не вырваться? — побледнев как полотно, неприятным, очень неприятным голосом крикнула Олимпия. — Меня ничто не спасет? Если я подниму шум, если позову на помощь?

— У всех дверей мои люди. — Неуравновешенность Олимпии вернула Парандзем самообладание.

— Если я буду просить тебя, умолять, валяться в ногах?

— Это только придаст мне решимости.

— А яд сильный? — Олимпия неожиданно перешла на шепот. — Я не буду очень страдать?

— Не беспокойся, царица. — И раздраженно добавила: — Думаешь, мне легко смотреть на чужие муки?

— А куда ты его налила?

— В молоко, царица.

— Я очень люблю молоко.

Она встала с постели, словно пытаюсь убежать от смерти. Потому что постель напоминала ей о неминуемом конце. Надлежало стоять — стоять, покуда возможно. Вот первый и самый надежный способ самозащиты.

— Будь по-твоему. Но при одном условии. Если ты исполнишь последнее мое желание.

— Слушаю, царица.

— Надень на меня это платье.

Олимпия достала лучший свой убор, в который должна была облачиться, садясь обок с царем в тронном зале, но который ей так и не довелось надеть.

Парандзем сообразила, что византийка хочет унижить соперницу и умереть с победой. Но это нимало ее не задело, напротив, она любовно и с готовностью выполнила требование Олимпии и, точь-в-точь служанка, облекла доживающую последние свои минуты царицу в торжественный наряд.

— Корону! — приказала Олимпия.

Парандзем молча повиновалась: принесла корону, бережно и осторожно возложила на голову царицы.

— Вон! — вдруг что было мочи крикнула Олимпия и указала рукой на дверь. — Прочь отсюда!

Поглядите-ка на нее: явилась зарезать цыпленка, отправить на тот свет дочь префекта Аблабиоса! И с какой наглой, с какой нахальной самоуверенностью, будто перед ней жалкое ничтожество, а не царица Армении! И сама она тоже хороша — до последнего мгновения верила этой женщине, внушила себе: моя смерть неизбежна, иного выхода нет. Она никогда не простит себе этой доверчивости, непротивления, отказа от борьбы. В ней проснулась жажда жизни. Воскресла мстительная потребность в жестокости, стремление покинуть свои покои, развернуть бурную деятельность.

К удивлению Олимпии, ее надменность отнюдь не повергла Парандзем в замешательство. Просто взгляд соперницы стал чуть строже, глаза посуровели, и она, медленно и размеренно ступая, направилась к дверям. А в дверях обернулась; на лице заиграла усмешка, и она прикусила нижнюю губу.

— Но ты уже пила молоко, царица. Вечером, — невозмутимо сказала Парандзем и уточнила: — Во время ужина.

Олимпия издала отчаянный вопль. Рухнула на пол и забилась на мраморе. «Нет!» — беспрестанно кричала она, вкладывая в это слово всю свою душу, все свое существо. Более чем необратимость свершившегося, потрясло Олимпию позорное ее поражение, несостоятельность и смехотворность надменного ее поведения.

Полностью утратив самообладание, она каталась по полу, кусала руки, захлебывалась рыданиями. Вот отчего ее по-минутно сегодня тошнит. Вот отчего ей досаждают острая резь в желудке. Вот отчего проступает холодная испарина.

А кто же дал ей молока, кто? Из чьих рук она его приняла? Но какое-то шестое чувство запретило ей вспоминать имя и лицо служанки. Ибо если на пороге смерти, когда все должно стать ничтожным и несущественным, пытаешься припомнить подобную мелочь, стало быть, ты признаешься себе, что очень хочешь жить. А такое признание сделает смерть еще мучительнее, еще ужасней.

Едва сдерживая слезы, Парандзем отвернулась. Бог свидетель, Олимпия была хорошим человеком. И богу куда лучше, чем ей, известно, что только хорошие и умирают. Только хорошие становятся на каждом шагу жертвами.

Одно утешало Парандзем: тут не личная месть, а, как ни постыдно это звучит в такую минуту, необходимость, которая превышает ее, Парандзем, воли. Превыше воли любого. Она готова поклясться сыном – величайшим сокровищем всей ее жизни, готова поклясться даже невинной этой жертвой, что престол и власть не представляют для нее отныне никакой ценности. Но она обязана покорно нести свой крест. Так повелевает залитая кровью страна, так повелевают попавший в опасность сын, и престарелый отец, и муж, пусть и нелюбимый, но воплощающий в себе судьбу армянина и его грядущее, и любимый, наполовину мертвый Гнел, и весь ее подобно Христу страдающий народ...

Олимпия смолкла. Ее и Парандзем разделяло ложе.

Обессиленная, поднялась, присела на краешек постели и стала ждать. Глупая Парандзем, глупая, глупая! Страшно глупая. Ей неизвестно, что значит наскучить самой себе. Презирать себя и быть себе чужой. Это последнее потрясение – чудовищное потрясение – окончательно лишило Олимпию возможности одолеть отчуждение. Ею завладело полное, беспредельное равнодушие. Скорей бы это произошло, скорей, скорей! Или сюда, или туда. Но не этот холодный, мрачный промежуток.

Откуда ни возьмись появилась Ормиздухт. Зайдя к Парандзем, она узнала, что та в покоях Олимпии, и решила, воспользовавшись поводом, хоть раз посетить царицу. В конце концов, приличия полагается соблюдать. Извольте, хитрая Парандзем смекнула-таки это, и ей, считавшей себя умной, до сих пор не пришла в голову такая, в сущности, простая вещь.

— И мне тоже не спится, — сказала она и, ничего не подозревая, села на диван.

Боль в желудке усилилась, но Олимпия невероятным напряжением воли не выдала этого. Затаив дыхание, без кровинки в лице, Парандзем следила за ней. Почувяв что-то недоброе, Ормиздух вопросительно переводила взгляд с одной соперницы на другую.

— Повтори свои слова, Парандзем, — едва складывая звуки, произнесла Олимпия. Голос изменил ей, и Парандзем скорее угадала, нежели расслышала последнее ее желание. — Скажи, что царь не понял, кто подарил бы ему истинную любовь...

— Он не разглядел, что в тебе сокрыто, — взволнованно вымолвила Парандзем.

Колени Олимпии на мгновение согнулись и приподнялись, тело неестественно вытянулось, губы искривились, изо рта вырвался хрип, она непроизвольно попыталась встать на ноги, но не смогла, не успела этого сделать. Бездыханно упала на пол.

Ормиздух вскрикнула и вскочила с дивана. Потрясенно смотрела то на мертвую Олимпию, то на застывшую Парандзем. Тотчас обо всем догадалась. Попятилась, прислонилась к стене, с трудом сглотнула слюну и невесть почему принялась отрицательно мотать головой.

— Ты права, Парандзем, ты права, — шептала она, обьятая ужасом. — Ты рождена этой землей. Окажись ты в Персии, я была бы сильнее. Я уеду, царица, сейчас же, сию же минуту. На родину, в Тизбон... Я не буду тебе соперницей. Я уеду, уеду...

Она осторожно, не отводя от Парандзем взгляда, сделала несколько шагов, сторонкой, держась подальше. Но страх заставил ее позабыть и о достоинстве, и о подобающей осанке, и она опрометью выбежала из комнаты.

Парандзем сидела недвижимо, как изваяние. Лицо ничего не выражало: ни боли, ни радости, ни даже безразличия.

Ее взгляд сам собою остановился на короне, упавшей с головы Олимпии и валявшейся на полу. Это встряхнуло Парандзем и вывело из оцепенения.

Она медленно приблизилась к короне, подняла ее, взглянула напоследок на умиротворенное лицо Олимпии, потом погасила один за другим светильники и вышла.

Она медленно проходила по длинным коридорам, казавшимся во тьме и вовсе бесконечными. Миновала добрый десяток дверей, миновала глубокую тишину дворца, увлекая за собою лишь слабый шорох собственных одежд. Вошла

в тронный зал, на миг, покуда глаза не привыкли к темноте, приостановилась у дверей, затем внимательно огляделась, словно очутилась здесь впервые.

Ничуть не волнуясь, с холодком во взгляде, она неспешно водрузила корону на голову и торжественной поступью, уверенная, что в ночной этот час не нужно стыдиться тайных и даже зазорных мыслей, а нужно быть до конца с собою искренней, направилась к трону.

Села и припомнила ощущения, связанные у нее с этим исполинским креслом. Словно припомнила давно забытую мелодию. Опять замерла, застыла, вперив взгляд в пространство. Немного погодя по щекам у нее потекли слезы, обильные и беззвучные, слезы горя и отрады. И она шепнула во мраке:

— Спасибо, Гнел...

Глава двадцать восьмая

Шапух прислал царю грамоту и пригласил его со спарпетом Васаком в Тизбон — мириться. Кое-кто из недалеких нахараров, возлагавших на перемирие большие надежды, обрадовался приглашению.

А царя оно взбесило. Он как с цепи сорвался и готов был выместить злобу даже на самых испытанных своих людях. Все во дворце ходили на цыпочках и старались не попадаться ему на глаза.

Он не желал никого принимать, но и покинуть тронный зал тоже отказывался. Ничего не брал в рот и, как зверь в клетке, день-деньской вышагивал из угла в угол.

Ай да шах, ай да старая акула! Ему, видите ли, хочется, не ударив палец о палец, без хлопот и забот, не утруждая себя, устроить пир и на даровщинку украсить стол двумя армянами — и какими армянами! Нет, это не жизнь! То ли дело прежние времена. Когда обе воюющие стороны выбивались из сил, а исход битвы оставался неясным, враждующие цари сами сходились в единоборстве. Как благородны, честны и наивны были предки! А нынче расставляют друг дружке западни, чтобы заполучить жертву готовенькой, и побеждает тот, кто подлее и коварней. Слепому ясно: царю со спарпетом вовек не вернуться из Тизбона. Их мигом растерзают, подадут на пиршественный стол, и поминай как звали!

Это верно, война обескровила Армению, расчленила ее и расшатала целостность страны, однако и Персии она обходится недешево. Слабая сторона дышит на ладан, но и силь-

ная не убереглась от ран. Подчас, кстати сказать, тяжких и глубоких.

Шапух побаивается решительного сражения, которое придется дать под Аршакаваном, где недавно достроили-таки крепостную стену. Что до царя, то ответ на вопрос — быть или не быть? — он получит только по окончании решительной этой битвы.

Скрепя сердце он отправил Шапуху в покаянных тонах выдержанное послание, а также — в знак примирения — дары. Но приглашение явиться в Тизбон наотрез отклонил. И переехал из стольного города Арташата в Аршакаван, чтобы найти ответ на роковой вопрос.

Итак, на карту поставлено все. Либо страна чудом спасется, либо ее растопчут. Одно из двух, третьего не дано. Третий путь — он для других, армянину же даны только два. Только два! И если другие выживают, двигаясь по третьему пути, то армяне существуют на земле благодаря суровому этому выбору, означающему: выбора нет.

В те дни он крепче полюбил свою страну, привязался к подданным и проникся вдруг набожностью. Когда это он еженощно молился господу и уповал на могущество всевышнего не меньше, чем на Аршакаван? Значит, дела у него плохи. Плохи у него дела, если он, под стать отчаявшемуся безбожнику, в трудную, решающую минуту взывает к небесам. Дела из рук вон плохи, если он мгновенно превратился в благочестивого христианина и позабыл старых богов. Когда это он с нежностью и умилением, словно навеки прощаясь, перебирал в памяти те цветущие области, те деревни и поселения, те глухие леса и бездонные теснины, где хоть раз ступала его нога — а ведь не было в стране уголка, куда он не заглядывал в своих странствиях? Когда это он силился припомнить лица крестьян, с которыми сталкивала его судьба, а заодно — имена собственных слуг? И когда из глаз у него текли слезы? Так давно, что этого, пожалуй, и вовсе не было. А теперь он дает себе послабление и, забившись в укромный закуток, словно таясь и стыдясь самого себя, беззвучно плачет. Тяжелыми мужскими слезами.

Целыми днями он не показывался в своем новом дворце, ни с кем не встречался и, бросив все на произвол судьбы, ничего не предпринимал. Но как-то поутру распорядился устроить званый обед — первый за время пребывания в Аршакаване. Весть облетела город, и народ обрадовался: наконец-то дворец проявляет признаки жизни. Полуголодные аршакаванцы, не получавшие больше из Арташата продовольственной помощи, не только не возмутились, услышав

о предстоящем пире, — наоборот, полностью эту затею одобрили. Сделайте милость, господа и властители, только не унывайте и не грызитесь промеж собой...

Дворец переполошился. Ожила память о славных беспечных деньках. Словно воротились, пусть и ненадолго, блаженные времена, и в стране опять, как и некогда, тишь да гладь да божья благодать: рубежи неприкосновенны, нахарары дружны и единокровны, погреба ломаются, царь, католикос и спарапет возглавляют народ.

Как нарочно, в тот самый день, когда он с превеликим трудом, насилию пробуждаясь от медвежьей своей спячки, пытался взбодрить страну — обед был первым шагом в этом направлении, — пришло ужасное, до глубины души потрясшее его известие. Самвел Мамиконян убил отца — Ваана. Сперва принуждал раскаяться и вернуться в лоно христианства, разрушить капища и выгнать магов, сперва молил и упрасивал, уговаривал и заклинал, а потом, так ничего и не добившись, выхватил меч...

Горе тебе, щенок ты этакий! Попадись ты мне только, и я самолично тебя покараю, не отступлюсь, покамест ты не отдашь богу душу. Ибо нет на этом свете ничего такого, ничего — без единого исключения, — что дает человеку право на отцеубийство. Даже во имя господа и отечества ты не вправе поднимать руку на отца. Никакие доводы, никакие обоснования и причины, сколь бы убедительными, сколь бы неопровержимыми они ни казались, не поколеблют священной этой истины.

Нет, но дальше-то, дальше! Утопающий хватается за соломинку, и Самвел пустился на хитрость. Призвал на помощь царя. Как же, мол, так: ведь и у царя рыльце в пушку, ведь на совести у царя множество преступлений, а народ все равно его прощает. И не только прощает, но и любит, превозносит, почитает.

Этого царь переварить не мог. Это его почему-то уязвило. Бедные цари! Вашими именами козыряет любой прохвост, не делая разницы между вашей надличной судьбой и своей судьбой, сугубо личной.

Величайшее твое счастье, молокосос, в том, что ты принадлежишь только себе. Тогда как я принадлежу всем, кроме себя. Меня можно судить лишь в одном случае — если я руководствовался своекорыстными интересами, если преступление совершено из-за моих собственных дурных свойств. Ну а коль скоро этого требует благо страны, коль скоро поиному не предотвратить нависшую над ней опасность, то, осуждая меня за каждую каплю пролитой крови, меня надо

также и жалеть. И мне жаль тебя, Аршак Аршакуни, мне искренне тебя жаль, и я не стыжусь своей жалости.

Если кто-то в целой стране имеет право — исключительное и единоличное право — временами брать на себя помимо всего прочего еще и обязанности палача, брать из любви к отечеству и ради его блага, сознавая тяжкую ответственность за его грядущее и во имя жизни и благополучия сотен тысяч людей, так это один лишь я. Я, и никто больше. И это — величайшее мое несчастье. И вот из-за него-то на меня и устремлено столько завидующих глаз. Впрочем, не завидуй мне никто, впору было бы свихнуться. Зависть хоть как-то утешает, делает возможным самообман. Где уж им знать, этим завистникам, что, родись завтра человек, который найдет другие, лучшие пути к спасению страны, я добровольно и без колебаний уступлю ему престол, не сокрушаясь об утрате пустой своей власти — какая там власть у государя малого народа! — и своего игрушечного трона. Однако поверят ли мне? Не сочтут ли глупцом? Кто от веку признавался в своей посредственности и признавал одаренность другого? Но если любишь свою землю, если очень, если до чрезвычайности ее любишь, пойдешь и на это. Особенно в роковые мгновения, когда недосуг гоняться за славой и властью. И все же не приведи бог узнать кому-нибудь о моих мыслях, потому что вся страна сразу наполнится безвестными талантами. И уж тем паче не приведи бог кому-нибудь, кроме меня, понять действительную цену моей силы и власти.

Вот она, эта цена, — твой пиршественный стол.

Но полно, что это за стол! Оно конечно, яств на нем — через край, однако кто же за ним сидит? Где знатнейшие из знатных, где влиятельнейшие нахарары, кому принадлежали здесь самые почетные места, где католикос, Меружан, братья Мамиконяны, Айр-Мардпет? Отчего гостей не сто человек, как это было принято, отчего их с легкостью перечтешь по пальцам? Да и трапезная не та — простое строение, ни тебе сводчатых потолков и проемов, ни фресок и лучезарных куполов.

— Нет ли перемен в распределении мест за столом?

Давненько не задавал он этого вопроса. А задавать его надо, надо. Хотя бы затем, чтоб уверить себя: не все еще потеряно. Есть покуда Аршакаван, есть покуда страна, да и сам он, благодарение богу, покуда жив-здоров.

Но кто ж ему ответит? Нынешний сенекапет Драстамату в подметки не годится. Протарабанит сейчас положенные слова, невыразительно, заученно, не вкладывая в них веры, не сознавая важности исполняемого им дела.

— Порядок нахарарских кресел все тот же, царь.

Ну вот. Эх, Драстамат, Драстамат! На чье попечение бросил ты своего царя? На попечение этого ничтожества, которому все трыв-трава? И о чем толковать, когда давно уже нет прежнего распределения мест, этого торжественного перечня сиятельных имен, если он сам, собственноручно составил новый перечень и скрепил печаткой своего перстня...

— Рад слышать. Стало быть, наше согласие не нарушено. И поскольку никто не понес наказания, никто не согрешил против престола — против престола, а не меня, — пускай каждый займет полагающееся ему место.

Царь произнес эти обычные, обрядовые слова едва слышно и, прикрыв глаза, словно шептал молитву. Они и впрямь были для него молитвой, полновзвучным благословением минувшего и боязливой мольбой о будущем.

Малочисленные нахарары безмолвно расселись по местам и молча принялись за еду. Царь ни к чему не притрагивался и раздраженно обводил глазами гостей. Они и есть-то не умеют толком, нет в них веселого, яркого и блистательного размаха предшественников. Предшественники были люди очень земные, шумливые, задиристые, жизнелюбивые, не чета этим куклам. И хотя в годину испытаний и напастей сегодняшние гости остались преданы трону и, следовательно, достойны всяческих поощрений, царь все-таки, что греха таить, их недолюбливает.

А с чего ты, собственно, взял, что они преданны? Ты не ясновидец, и чужая душа — потемки. Царь подозревал всех без разбора. В каждом видел натянувшего личину изменника. Способного, спасая шкуру, на все, способного даже наброситься на своего царя с кинжалом.

Чем-чем, а мнительностью он никогда не страдал. Вел себя великодушно и не таил зла на откровенно колеблющихся или готовых перевернуться к персам либо грекам. Остерегался приверженцев Византии и приверженцев Персии, однако под угрозой их измены еще безогляднее полагался на свои силы. И не считался с опасностью.

А теперь он поминутно терзался вопросами: почему они ему верны? Какая в том корысть? Ведь царь отроду не был так растерян и беспомощен. Что же с ним связывает? Все они давно уже должны бы дать деру и, дабы обеспечить свое благоденствие, трубить на всех перекрестках, что не замешаны в царевы дела — напротив, не за страх, а за совесть с царем боролись.

Он перебрал в уме любые ответы, мыслимые и немыслимые, — кроме одного: а может, эта горстка князей по-на-

стоящему любит родину? Может, он просто не почувствовал, как раз за разом стал относить любовь к родине только на свой счет?..

Царь был точно в жару, его глаза как-то болезненно и неестественно блестели, он окидывал сотрапезников странным, рассеянным взглядом.

Поди поверь венцезолагателю и аспету Смбату Багратуни, когда он только при дворе говорит по-армянски, а вот дома – по-гречески. Или Гарджуйлу Хорхоруни, начальнику отряда телохранителей, который и пальцем не пошевелит, чтобы помочь ближнему, если это не принесет впоследствии выгоды. Князь Вркен из Абужена до того стар, что частенько забывает, на чьей он стороне. Мушка Сааруни распирает тщеславие, стало быть, армянский двор вовсе не для него. А это кто такой? Ужасно знакомое лицо. Вачак, князь Вачак! Подумать только, восседает на одном из почтенных мест. Этот будет предан из благодарности. Впрочем... неблагодарность в подобных случаях не менее закономерна.

Время от времени царь украдкой поглядывал на князя Паргева, трезво и отрешенно сидевшего в своем кресле дородного детину средних лет, владельца Артаза; Паргев был человек замкнутый, не греколюб и не персолюб, никогда не совался в дела страны, ни во внешние, ни во внутренние, ни по какому поводу не стремился вылезть вперед и показать себя, исправно выполнял распоряжения, вовремя платил налоги и представлял по требованию царя свои отряды для войска, но – не более того. Словом, ни рыба ни мясо.

Я, кажется, прав, с замиранием сердца думал царь, с него-то как раз и надо начать. Надо устрашить остальных, взять их в ежовы рукавицы, чтоб они и пикнуть не смели.

Все смешалось, и в этой неразберихе уже не понять, где друг и где враг. Коли нельзя влезть человеку в душу, коли нельзя в роковой час дознаться правды, стало быть, надо смотреть на всех одинаково, мерить всех одной меркой, иначе говоря – никому не верить. Это, во всяком случае, безвреднее и безопаснее, чем оказывать любому встречному-поперечному ничем не заслуженное доверие.

Он усилит дворцовую стражу, увеличит отряд телохранителей, самолично станет их набирать и постоянно менять – новичков труднее подкупить и втянуть в заговор. Спальню он перенесет со второго этажа в подвальный и запретит туда вход всем без исключения. Нахараров разошлет по домам, нечего им околачиваться во дворце. Повару велит пробовать любое кушанье... А не лучше ли взять нахараров под стражу и подержать, покуда не уляжется буря, за решеткой?

После шахской грамоты он никому уже не верил. Слава богу, спарапет Васак далеко от дворца и бьется с врагами как лев; слава богу, тещь, Андовк Сюни, сражается плечом к плечу со спарапетом, иначе царь не поручился бы, что подозрение не пало бы и на них... Ну а более всего сомневался он в себе, в своих силах, в своей последовательности, решимости, непоколебимости...

Однообразное позвякивание ложек, вилок и кубков малопомалу стихло, и царь молниеносно скользнул взглядом по гостям. Те вопросительно смотрели на князя Паргева, который ни жив ни мертв сидел за прибором из золота. До них наконец дошло: на столе непорядок, — и они, перемигиваясь или подталкивая соседа локтем, давали друг другу знать об этом.

Царь глядел то на одного нахарара, то на второго, а то на взмокшего от волнения князя Паргева. Сердце бешено колотилось. Болезненно-неестественный блеск глаз стал ярче. И царь вскочил с места.

— Тебе не ведомо, князь, что за этим столом только я вправе пользоваться золотой ложкой, вилкой и кубком? — загремел под сводами трапезной гневный его голос.

— Я тоже заметил, что мой прибор из золота, — побледнев, сказал князь Паргев. — Глазам своим не верю.

— И ты не знаешь, как это золото очутилось перед тобой? — грозно спросил царь.

— Заговор! — в страхе выкрикнул владетель Артаза. — Кто-то хочет посеять вражду между мной и моим государем.

— Это золото — смертельное оскорбление, брошенное царю! — еще громче крикнул царь, чтобы князь не полагался больше на свой голос. — Наглая, вызывающая непокорность, бунт!

— Опомнись, государь! Что ты такое говоришь? — воскликнул уязвленный Паргев. — Чего ради мне бунтовать? Кто твой оплот в трудный час? Не горстка ли нахараров? И тебе известно, я всегда в их числе.

— Нечего корить меня верностью! Грош ей цена, если ты ею похваляешься. Дожидался повода попрекнуть? Стало быть, верность так уж обременяет тебя? Тогда сбрось его, это бремя!

— Может быть, это слуги? — Князь Паргев едва сдерживал слезы. — Может быть, они подкуплены подлым предателем. Будь благоразумен, царь!

— Ты удалишься, князь, в свои покои, затворишься там и не выйдешь, покуда я не разберусь что к чему. Соблаговоли распрощаться с нами сию же минуту.

Царь хлопнул в ладоши, и телохранители вывели из трапезной бледного как смерть, понурившегося и пристыженного владетеля Артаза. А царь, ко всеобщему удивлению, как ни в чем не бывало принялся за еду. Взял цыпленка, разорвал руками, отхватил здоровенный кус и, с видимым удовольствием разжевав, проглотил.

— Стол сегодня и впрямь царский, — весело сказал он. — Давно я не ел с таким аппетитом.

Ему не ответили. Установилась мертвая тишина.

— Когда-то за этим столом сживала армянская знать, — вскинулся царь. — Меружан Арцруни, Нерсес Камсаракан, Айр-Мардпет, братья Мамиконяны, католикос... Не принуждайте меня скучать по ним. Я, между прочим, уверен, им тоскливо без своего царя. Сейчас мы провозгласим здравицу в их честь... Итак, выпьем за здоровье достойных наших противников!

— Ты обидел одного из преданнейших твоих нахараров, — упрекнул царя князь Вачак, и в его голосе прозвучало самодовольство. — Я не верю, что он виноват. Да ты, царь, и сам в это не веришь.

— Виноват? Владетель Артаза Паргев виноват? — царь неожиданно рассмеялся. — Ведь это же я подменил ему прибор. — Оторопевшие нахарары повскакали с мест и устали на царя. А царь знай себе раскатисто хохотал. Нахарарам даже померещилось, что их государь помутился умом. Они окружили его и принялись успокаивать. А он схватился руками за живот и бесстыдно хохотал им в лицо. — Пробрался по-воровски. В царской своей тиаре. С серьгами в ушах. В этих вот красных башмаках. В пурпурной мантии. И как же я наслаждался своей подлостью! Как последний негодяй.

Он с трудом и далеко не сразу унялся — будто остановил катящийся под гору снежный ком, — утер рукавом слезы, перевел дыхание и почувствовал, что его неудержимо тошнит. Но от чего — то ли от этой его проделки, то ли от воспоминания о шахской грамоте, то ли от мысли о Самвеловом преступлении? Он поглубже устроился в кресле, помрачнел, сжал голову ладонями и отрешился от всего вокруг.

— Но зачем же, царь, зачем? — осторожно спросил князь Вачак. — Разве эта жестокость не бессмысленна? И над кем ты глумишься — над преданнейшим человеком. Да еще в такие времена...

— Ты теперь один из самых влиятельных моих нахараров, князь Вачак, — насмешливо сказал царь. — Тебе ли сетовать на времена!

— Жестокость, государь, уместна в дни мира и спокой-

ствия, — не отлипал Вачак. — Заклинаю тебя, верни Паргева!

— Напротив, князь, — устало ответил царь. — В мирные дни жестокость совершенно неуместна.

— Но зачем ты обрушился на Паргева? — упрямо спрашивал царя князь Вачак. — Что он такого сделал?

— Затем и обрушился, чтобы ничего не сделал, — вдруг мягко, по-доброму улыбнулся царь.

— Но где же здравый смысл?!

— В решении, князь, в приговоре. Именно в приговоре, — по-прежнему улыбался царь. — Здравый смысл — он всегда в приговоре, зря ты ищешь его на стороне.

Встал, хлопнул в ладоши и крикнул:

— Где гусаны? Что это за пир — без песен!

То есть приспела пора переходить к кутежу. Слуги немедленно освободили столы и перенесли их вместе с креслами в разные концы трапезной, чтобы, разместившись вдоль стен, гости слушали гусанов и любовались танцовщицами. Появились одетые в белое виночерпии во главе с кравчим, расставили вина и разложили сласти. Но привычный застольный обряд не состоялся: первый кубок — знак уважения и равенства, — звавшийся чашей веселья, так и не пошел по кругу. Гусаны уселись возле дверей и заиграли на бамбуках, а один из них, слепой старик, сладкозвучно затянул печальную песню о любви.

Нахарары мрачно стояли по углам. Погруженный в себя, со слезами на глазах, царь неподвижно застыл посреди залы. В этой печальной любовной песне, в обескураженных и жалких нахарарах, в плачущем царе — во всей этой картине было что-то кошмарное.

А царь плакал, потому что был в разладе с собой. Так нельзя, сейчас я обязан быть сильнее, чем когда-либо. Я превозмогу свою слабость, не позволю страхам и сомнениям грызть мне душу, ведь это верный признак поражения. Поражения до битвы. Я прилюдно, чтобы показать свою силу — первым долгом показать себе самому, — повинюсь перед оскорбленным мною князем. Я сброшу царские одежды, выйду в город, смешаюсь с толпой и лично приму участие в обороне Аршакавана, лично буду обучать горожан обращению с оружием, буду воодушевлять верных моих подданных и вселять в их сердца отвагу. В эти роковые дни я расстанусь со своим одиночеством, пообещав вновь с ним встретиться в мирную пору — как со старым и близким знакомцем. Отныне я никогда не стану думать, будто любовь к родине дарована лишь мне, а поверю, что она — всеобщее достояние и в равной степени осеняет и меня, и простолюдинов, и даже

этих мрачных, насупившихся нахараров. Я беспощадно буду бороться с собою, пересилю себя и добьюсь победы — тому свидетели святой крест и святое миро.

Поток царевых мыслей прервался, потому что вбежал взволнованный сенекапет и не переводя дыхания крикнул:

— Беда, царь! Персы и предатели нахарары... Город осажден со всех сторон.

— Обожди, сенекапет. — Не меняя позы, царь мягко остановил его движением руки. — Потерпи, дай дослушать песню.



Нападение на город совпало с происшествием, которому бы случиться хотя бы днем раньше или днем позже, но в том и соль злосчастья, что оно, это происшествие, случилось не до нападения и не после него, а как раз одновременно с ним, день в день.

Царь торопился к главным воротам, чтобы лично возглавить оборону Аршакавана. За ним, вздымая громадные клубы пыли, скакали нахарары и телохранители.

Наконец-то час пробил, и слава всевышнему, что пробил он скоро. Враг просчитался, избавив царя от необходимости ждать. Между тем, держи он царя в постоянной неопределенности, мог бы победить, и это была бы бескровная победа. А ведь силы царя еще не вполне иссякли. Он чувствует себя свежим и бодрым, кошмар последних дней напрочь предан забвению. Он возродился, подобно птице феникс, и вновь, как и прежде, решителен и преисполнен веры и энергии. Он еще покажет, на что горазд. Он еще доживет до той божественно прекрасной минуты, когда изменники нахарары предстанут перед ним в оковах. Да и чего же ради строился Аршакаван, в чем тогда смысл моей жизни, если я не возьму верх в решающем сражении, если не вышвырну со своей земли последнего вражеского воина, если в стране не установится длительный мир, если мне не удастся найти себя, своего потерянного, заблудшего двойника, которого я самоотверженно изгнал из души своей и тела, но которого искренне люблю, если не смогу со спокойной совестью, обрядившись во власяницу и посыпав голову пеплом, искупить свои прегрешения, не ощущая уже неизбежности в новых?

Тут-то, погруженный в раздумья, он и заметил молодого горожанина, задержанного двумя стражниками. Стражники были верхом, а горожанин со связанными за спиной руками понурившись шел между ними. Царь поразился: надо

же, в этой суматохе встречается еще и такое! На него пахнуло сладостным запахом мира, и он в недоумении остановил коня, дав свите знак продолжать путь. Что он натворил, этот человек? Разве не покажется перед лицом бедствия совершенно нелепым любое преступление? И как приятно видеть эту троицу — двух верховых и схваченного ими пешего, — остающуюся покамест вне действительности: один потому, что переступил закон, двое других потому, что заняты повседневными своими обязанностями.

Вяснилось, что задержан беглец, причем задержан не по подозрению в дурном умысле, а из тревоги за его же безопасность. Никому и в голову не пришло, что он бежит из Аршакавана насовсем. Ну, идет себе человек проведать родных... Но поскольку нельзя поручиться, что он вернется цел и невредим, его силком привели обратно.

— Стало быть, аршакаванец? — дружелюбно спросил царь.

Впервые в жизни очутившись лицом к лицу с царем, парень счастливо улыбнулся и кивнул.

— Повезло тебе, что попал в руки моих воинов, — весело продолжал царь, глубоко благодарный трем этим ни о чем не ведающим простакам за дарованный ему блаженный миг покоя. — Куда бежал? Повидать жену и детей?

Горожанин, так же, как и царь, благодарный богу за эту встречу, не сумел от переизбытка чувств слукавить и отрицательно помотал головой.

— Родителей повидать? Зазнобу? По друзьям соскучился?

И всякий раз парень отрицательно мотал головой в ответ.

— Тогда зачем же? — удивился царь.

— Стосковался я, государь, — не чуя под собой ног от радости и готовый нараспашку открыть сердце перед своим идолом, искренне признался аршакаванец.

— О чем же ты стосковался, сынок? — нахмурился царь, предчувствуя недоброе. — Чего тебе недостает?

— Простора, — как самому близкому человеку, поведал парень свою тайну. Даже понизил чуток голос. — По простору стосковался. По всему, что там, за городом.

— Выходит, по прошлому? — опешил царь. — По своим страданиям, унижениям? По ним, что ли?

И тут его озарило: этот человек не только не отрешен от действительного времени, но и сам несет время в себе, сам создает время, а подчас и опережает его. Он вроде животного, которое задолго до землетрясения или наводнения чует беду. Жаль только, ах как жаль, что он поздно повстречался

царю, поздно открыл ему глаза, поздно научил уму-разуму, не то царь отпустил бы подобру-поздорову своих полководцев и советников, уселся бы рядом с этим человеком и они вместе — ум хорошо, а два лучше — обмозговали бы положение дел, вместе бы искали выход и постарались бы кое в чем разобраться. Жаль, ах как жаль...

— Стосковался, царь, — по простоте душевной ответил аршакаванец, не вполне уразумев его слова. — По нашему дому, по нашим горам...

— Значит, ты... — Царь был потрясен. — С этим своим ясным и наивным взглядом... Значит, ты и наносишь мне самый жестокий удар? — Внезапно в его глазах блеснула догадка, он спешился, подскочил к горожанину и с ненавистью схватил его за ворот. — А что, если ты не один? Если и другие бегут?

— Бегут, мой господин, бегут! — радостно, будто успокаивая, подтвердил тот.

— Почему?! — в отчаянии, словно обрушилась на него хлябь небесная и разверзлась под ногами земля, простонал царь. — Почему они бегут? Неужто свобода — тяжкая обуза для человека? — И притянул к себе аршакаванца, чтобы выпытать у него всю правду. — Говори, кто бежит!

— Кто должен кому-то, кто кому-то навредил, кто пролил чью-то кровь, или заграбастал чье-то добро, или кого-то боится...

— Воры... Разбойники... Убийцы... — Царь безотчетно дополнял перечень, повторяя слова, которые много лет назад сам произносил в арташатском дворце, когда оглашал указ об основании Аршакавана. Слова, которые звучали потом по всей стране, зазывая народ в свободный город. И каждое слово беспощадно било и разило царя. — Казнокрады. Мошенники. Клеветники. Жены, бросившие мужей. Мужья, бросившие жен...

— И особенно, — с сочувствием и страстным желанием услужить царю добавил аршакаванец, — и особенно слуги, которые недовольны хозяевами и господами...

— Лжешь, собака! — Царь в ярости сбил парня с ног и принялся безжалостно топтать. — В моем городе нет слуг.

— Бывшие слуги, царь, бывшие слуги, — оправдывался аршакаванец, проклиная себя в уме за то, что поневоле обидел свое божество. — А теперь — господа.

Царь насилу совладал с собой, минуту-другую, тяжело переводя дыхание, постоял над расprostертым у его ног горожанином, который смотрел на повелителя и владыку с состраданием, сожалением и прежним восторгом, затем внезап-

но нагнулся, поднял парня, заботливо стряхнул пыль с одежды, положил руку на плечо, пристально поглядел в его ясные голубые глаза и мягко промолвил:

— С богом, сынок. Ступай себе...

Понурился, медленно подошел к коню, вскочил в седло и неспешно двинулся к главным городским воротам. И поразился, увидев их все еще закрытыми. Враг чудом их не взломал и не ворвался в Аршакаван. Сторожевой отряд невесть почему доблестно сопротивлялся; лица воинов выражали непреклонную волю к победе. Присутствие царя воодушевило бойцов и удесятерило их силы. Предводители отрядов поочередно подходили к царю с докладами, а царь ничего не слышал и грустно улыбался. Еще немного — и он оборвет пылкие эти донесения и еле слышным, вялым голосом прикажет открыть ворота и впустить врага. И чтобы не сделать этого, он неожиданно развернул коня и, пришпорив его, ускакал, не дослушав обращенных к нему воинственных речей.



Аршакаван осадили армянские и персидские полки. Армянин не колеблясь встал против армянина, обуреваемый страстным желанием уничтожить соплеменника и жаждая его крови. Приказ сделал одного изменником, другого — защитником царя и отечества.

День и ночь под крепостной стеной работали предназначенные для подкопов колесные машины по прозванию «ослы»; на них крепились топоры, секиры и особые молоты. Врагов было видимо-невидимо, и сдавалось: вот-вот все они возьмут по камню и, точь-в-точь кочевники маскуты, сложат эти камни в груды, чтобы по ее величине определить число воинов.

Бойцы сторожевого отряда швыряли со стен булыжники, стреляли из луков, метали дротики. На осаждавших лили кипяток и обрушивали снопы огня, но проку от этого было мало. Каждую машину приводили в действие три человека, и когда их скашивало, как траву, убитых немедленно сменяли другие, а машины, будто черви, продолжали подтачивать основание стены.

В городе началась паника. Улицы обезлюдели, горожане в страхе попрятались по домам и не казали наружу носа. Единственным надежным укрытием, как и всегда, представлялся дом. Что ни день, возникали новые разноречивые слухи, ползли с улицы на улицу, проникали в хижинки и бу-

дображили и без того взбаламученные людские души. Любую весть, пусть она даже никак не вязалась с другими, безоговорочно принимали на веру, от радости до горчайшего горя был один только шаг, и люди совершали этот шаг по нескольку раз на дню. Супостат то и дело отступал и в тот же самый день взламывал крепостные ворота и вторгался в город. Пронзенный вражеской стрелой, царь то и дело падал за смертью, а немного погодя воскресал.

В числе осаждавших Аршакаван нахараров были Меружан Арцруни, Нерсес Камсаракан, басенский князь Манеч, Кенан Аматыни, владетель Вананда Закарэ, Вардза Апауни, Ваге Вагевуни — каждый со своим знаменем и гербом.

В городе упорно поговаривали о том, что если аршакаванцы сдадутся добровольно, господа простят их и разрешат возвратиться домой. По ночам жители втайне у кого-нибудь собирались, обсуждали выдвинутое нахарарами условие, горячо, до хрипа спорили, перечили один другому, а перед восходом, так и не столковавшись, разбрелись по своим хижинам. И, только проводив гостей, хозяин дома въяве чувствовал, что его жилище наполнено оглушающими голосами. Томительно тянулись часы, а иногда и дни, прежде чем возжеленная тишина вновь осеняла своим крылом тоскующего по ней простолюдина.

Но стоило распространиться слуху, будто нахарары согласны довольствоваться тем, что нанесут каждому аршакаванцу по десять ударов плетью, как сомнения рассеялись. Все этому поверили. Кара придавала убедительность посулам помиловать провинившихся холопов. А вот если бы прощение даровали им за здорово живешь, это было бы не только невероятно, но и по меньшей мере непонятно. И более того — это было бы несправедливо.

Мало-помалу давала себя знать нехватка продовольствия. Стол горожанина изо дня в день оскудевал. Тогда распахнулись двери дворцовых погребов, и аршакаванцы получили еду. Однако через неделю этот родник изобилия иссяк, и настал голод.

Голод не объединил, а разобщил людей. Каждый забился в свою нору и недоверчиво поглядывал на соседа, у которого уж конечно кое-что отложено про черный день и припрятано подальше от чужих глаз. Пришлось пустить в пищу различные травы и корни. Из города постепенно исчезла всякая зелень, повсюду властвовала теперь унылая серость.

Несколько дней кряду в городе обнаруживали по утрам трупы воинов. Было совершенно исключено, что воины умирали с голоду, поскольку остатки продовольственных припа-

сов дворец выделил сторожевому отряду. В конце концов кого-то озарило: по ночам группы аршакаванцев устраивают засады, нападают на идущих в одиночку воинов, а их коней закалывают и съедают.

Наиболее отчаянные смельчаки пробирались аж к самой крепостной стене и уводили коней из-под носа у греющихся возле костра дозорных.

В городе не осталось домашней живности, в пищу пошли уже и собаки с кошками. Но хотя голод был повальным, сплошным и всеобщим, ежедневно ни свет ни заря отовсюду — бог весть что за чудо! — доносилось петушиное кукареку. Петухи весело и деловито перекликались друг с дружкой, возвещая тем самым рождение нового дня. Люди совестились признаваться, что они собственными ушами слышали кукареканье, и каждый считал себя единственным свидетелем этого чуда.

Вскоре на Аршакаван обрушилось еще одно испытание. Враг отрезал воду, и жажда об руку с голодом двинулись на осажденных. В тщетной надежде обнаружить воду истощенные аршакаванцы днями напролет рыли колодцы. А когда однажды ночью пошел дождь, весь город, позабыв об осаде и страхе, высыпал из домов, и началось сущее безумие. Стыда как не бывало. Люди чуть не нагишом стояли под ливнем и приплясывали от переизбытка радости. Детвора с восторгом копошилась в лужах. Иссохшие, изможденные тела упивались животворной влагой и все-таки не могли утолить жажду. Все это смахивало на языческое празднество, на безудержный разгул страстей, доступный одним только пресыщенным людям.

Наутро взошло солнце и высушило округу, а через два-три дня был исчерпан и новый запас воды. Голод и жажда снова продолжили всеразрушительный свой поход. Враг не успел пока уничтожить в городе столько народу, сколько ежедневно губили свирепые эти союзники. Аршакаванцы кляли свалившиеся им на голову бедствия и поносили всех подряд — только не врага. Его совсем упустили из виду. Порою голодным и жаждущим горожанам мерещилось, что под стенами Аршакавана стоят освободители, сражающиеся ради спасения их, аршакаванцев, жизней.

Сторожевой отряд и отряд царских телохранителей — единственная боевая сила на крепостной стене — были крайне малочисленны. Покуда стена крепка и ворота на запоре, их малочисленность не помеха обороне. А откройся, избави боже, хоть малюсенькая лазейка, им не продержаться и часа.

Дворец предпринял перевооружение горожан. Выясни-

лось, что за минувшие годы оружия в Аршакаване скопилось куда больше, чем продовольствия. Но трудовой люд, который и прежде получал от властей оружие, забрасывал его, как ненужный хлам, с глаз долой и напрочь забывал о его существовании. А теперь, когда помощники градоправителя заставляли жителей являться, прихватив с собой луки и стрелы, мечи и дротики, копья и пики, на обучение ратному делу, какой-нибудь ремесленник переворачивал все в доме вверх дном и ничего не находил. А если и находил что, так это было уже не оружие, а ржавая железяка.

Поначалу, пусть и неохотно, аршакаванцы участвовали в учениях, но когда голод и жажда попржижали народ, горожане заартачились.

Гнел поочередно обходил дом за домом, плетью и пинками выгонял мужчин за порог, но стоило ему зайти в следующий дом и, схватив за шиворот упирающуюся жертву, вернуться на улицу, оказывалось, что там никого и в помине нет. Когда же с помощью воинов ему удавалось кое-как собрать несколько человек и он пытался выучить их обращению с луком, проку из этого не получалось. Не действовали ни угрозы, ни даже основательная взбучка. Сколько ни силился аршакаванец, сколько ни тужился, все одно — в цель не попадал. Цели больше не было, была, да сплыла.

А однажды, кружа верхом на белом коне по городу, Гнел увидел, что на площади сгрудилась огромная толпа. Каждый взял самую ценную свою вещь, надеясь выменять ее на ломоть хлеба или кружку воды. Потому как злые языки утверждали: кто-то, выкопав у себя во дворе колодец, наткнулся на воду и продает ее теперь за баснословные деньги.

На площадь вынесли все богатство города, семейные ценности грустно переглядывались, но так и не переходили из рук в руки. Каждый оставался при своем. Хлеба не было, воды не было. Но люди тихонечко стояли на месте бойкого некогда рынка, будто упрямое их ожидание могло что-то изменить. То была площадь, полная изваяний, бездыханных, безжизненных.

Но вот толпа заметила Гнела, и возник странный ропот, взгляды людей, как по уговору, со злобой устремились на помощника градоправителя. Гнел на мгновение придержал коня, угрюмо оглядел сборище, а затем медленно двинулся своим путем. Но толпа с каким-то непостижимым взаимопониманием, с какой-то молчаливой согласованностью всколыхнулась и, сомкнувшись между площадью и улицей, перерезала ему дорогу.

Конь стал. Гнел растерялся. Он мог вообразить что угод-

но, только не это. «Дорогу!» — в бешенстве заорал он. Никто не тронулся с места. Перед ним были живые скелеты: кожа да кости, ничего больше. И впервые в жизни Гнел испугался, по телу пробежала дрожь... Но испугался он не бунта, не возмущения, не ужасающего облика этих людей, а дорогих вещичек в руках у каждого. Он испугался бессмысленной и нелепой ценности этих вещей.

Гнел взмахнул плетью и принялся безжалостно раздавать направо и налево удары. Опять-таки никто не тронулся с места. На тех, кто не в силах разглядеть цель и поразить ее, уже и боль не действует. Он мог бы повернуть коня и выехать с площади другой улицей. Но он и думать об этом не хотел. Надо будет — проложит себе путь через трупы. Он проедет только этой дорогой. Обязан. Не из упрямства, а ради их же пользы. Ради несокрушимости города. Ради последней, решающей битвы. Ради страны и царя.

И тут случилось неожиданное. Кто-то изловчился и, перехватив плеть, вырвал ее у него из рук. Гнел попытался было обнажить меч, но ему не дали. Сволокли с коня, и посыпались удары — в голову, в живот, в спину... Гнел съёжился и закрыл руками лицо. Казалось, они мстят ему за все, чего натерпелись от него за долгие годы, срывают сердце, вымещают свою озлобленность. Гнел презирал тех, кто его бил, и презрение как-то утишало, сводило на нет боль. Жалкие людишки! Трижды обманутые. Заблудшие ничтожества. Они и не подозревают, никому и в голову не приходит, что Гнел был жесток во имя их же счастья и благополучия, потому, что любил их. Каждый удар обедняет и уродует их души, они измываются не над Гнелом, а над своими сыновьями и отдаленными потомками. И прежде всего губят и убивают себя. Они гибнут прямо сейчас, им уже не спастись.

Но вскорости толпа отступилась от Гнела. Это поразило его пуще прежнего. Он с трудом сел, утер рукавом кровь с лица и понял, что не в силах подняться. Ему открылось жуткое зрелище. Оставив его в покое, толпа набросилась на коня. Животное повалили наземь и забивали камнями. Кое-кто занялся уже разведением огня.

Гнел не выдержал и расплакался. Он плакал не потому, что было так уж жаль коня, хотя за эти годы он искренне к нему привязался, — нет, он стыдился давешних своих мыслей. Сколь величава была толпа минуту назад, когда, как ему казалось, вершила возмездие, выплескивала наружу свою вражду. А выходит, все это пустые домыслы, не было ни мести, ни вражды. Люди голодны, вот и вся недолга.

Увидели чем поживиться, и все тут, и ничего кроме этого.

И Гнел стал первым человеком в Аршакаване, кому открылась во всей наготе ужасающая истина: игра проиграна. Враг, сам того не ведая, уже одержал победу. Можно считать, что стена разрушена, ворота распахнуты и город взят.

Коня убили, раскромсали и жарили на костре. Толкаясь, люди выхватывали из огня полусырое мясо и, едва разжевав, жадно глотали. Никто не вспомнил о семье. Никто не подумал о родителях и детях.

Победа врага была полной.

Прямые жесткие волосы Гнела упали на лицо и, вымокнув в крови, прилипли ко лбу и щекам, а сам он горько, как малое дитя, плакал.

Какой-то человек, должно быть из тех, кому перепал кусок-другой, решил, случайно заметив Гнела, что несчастный оплакивает потерю коня, а решив так, сжалился. И, побуждаемый былыми представлениями о справедливости, еще не вконец утратив остатки честности, а может, памятуя об извечных законах рынка, как плату сунул ему в карман принесенную из дому ценную вещицу и со спокойной совестью удалился.

Глава двадцать девятая

Замотанные делами, царь и Гнел забыли друг о друге. С начала осады не улучили минутки для встречи.

Царь руководил обороной города, с утра и допоздна объезжал на коне крепостную стену, раз по десять на дню совершая один и тот же круг. Прося помощи, рассылал тайных гонцов в различные области страны. Обратился также к картлийскому царю Мириану. Гонец отправился и к спарпету Васаку, чтобы тот, буде возможно, пришел на подмогу Аршакавану, хотя царь знал, что и у самого-то Васака положение куда как незавидно. Войско спарпета измучилось в бесконечных сражениях и едва держалось. И виной тому были неизменные победы, которые, как ни странно, не только утомили, но и развратили воинов.

Однажды царь увидел: воспользовавшись безнадзорностью, его конь убежал, но не кинулся на простор, а привычно поскакал вдоль крепостной стены. Царь намеренно не предупредил телохранителей и, забросив срочные свои дела, долго, с душевным трепетом ждал. И предчувствие не обмануло его. Спустя некоторое время конь показался с противоположной стороны. Он проделал каждодневный путь, обо-

гнул опоясанный стеной город и достиг места, откуда, по его разумению, начинается приволье. Царь печалился не только оттого, что решил про себя испытать судьбу: если конь не отклонится от повседневного пути, стало быть, всё — его намерения, замыслы и цели — пойдет прахом; он опечалился оттого, что в этом пустычном происшествии крылась горькая, вечная истина, которая превышает людской воли и превышает времени.

Гнел в основном следил за внутренним порядком в Аршакаване. Махнув рукой на формальности, он по сути отстранил бездеятельного Вараза Гнуни от должности и стал единоличным управителем города. Одно за другим обследовал жилища аршакаванцев и, переворачивая все в них вверх тормашками, отбирал самые незначительные припасы, а потом поровну делил. Полагавшийся ему ничтожный паек он также присовокуплял к общему котлу и ходил полуголодный. И тем не менее работал в поте лица, без передышки, с непостижимым упрямством и остервенением. Простой смертный давно бы уже сдался и почел себя побежденным. А у него, похоже, был некий тайник, откуда он черпал неумную энергию. Он поспевал всюду. Заживо распрощавшиеся с жизнью, отощавшие — кожа да кости — люди из страха перед ним упражнялись в ратном деле. Давно поняв, что в этом городе нет больше цели, была, да сплыла, он все-таки не жалел последних потуг. Может, цель чудом найдется? Может, уойится плети?

Однажды чуть свет, когда царь, едва ли проспав и два часа, проснулся, в опочивальню вошел Гнел и осерчал: надо же, царь нашел время нежиться в постельке. Слава богу, не разделся...

Гнел страшно исхудал. Одежда на нем была обветшавшая, латаная-перелатаная. Башмаки заношены до дыр, ноги обернуты войлоком, кое-как привязанным к лодыжкам. Только глаза блестели по-прежнему, исступленно и зло. Да еще прямые жесткие волосы, поминутно спадавшие на лоб, придавали ему вид человека крепкого и жестокого.

— Я пришел спасти тебя, царь, — озабоченно сказал он с порога.

— Я знал, что ты придешь. — Царь вскочил с постели и, раскрыв объятия, шагнул ему навстречу. — Твоя искренность нужнее мне теперь тысячи советов.

До чего же нуждался царь в искренних людях! Искал их всю жизнь, искал и не находил. Людей, искренне относящихся не к нему лично, а к делу, которому они служили. Единственным, кто самоотверженно отдавался делу, был

этот живой труп, истаивавший день ото дня как свеча, но — по каким таким законам природы? — чем больше истаивавший, тем ярче излучавший окрест себя свет.

Что он дал во исполнение своих посулов? Не красивые ли это были речи? Не медоточивые ли словеса? Чем он помог царю, что замечательного предложил, какой нашел путь к спасению? Только один — убивай, убивай! Только жестокость. Царь полагал, что со временем Гнел укажет ему и настоящий путь, наведет на важную мысль, даст полезный, дельный совет. Но оказалось, Гнел волчьей породы, он не способен глядеть вправо и влево — видит лишь перед собой, прямо перед собой... Он прямолинеен... Он прям — точь-в-точь его волосы... Поле его зрения чересчур узко и ограничено. Он не в состоянии рассматривать те или иные вопросы в сложном их единстве. Он упрощает и облегчает задачу, берет только один вопрос из многих, придает ему исключительное значение и, пытаясь добиться своего нахрапом, прет с бычьим упрямством напролом.

Нет, нет, ты грессишь перед господом! А как же тогда Аршакаван? Кто, собственно говоря, его построил — кто, если не Гнел? Напряжением чьих сил и чьей беспредельной верой создан этот город? Не будь Гнела, у тебя не было бы и этого последнего оплота. Пусть даже твои замыслы гениальны, грош им цена, коли их некому осуществить. Выходит, Гнел — лишь исполнитель, воплощающий чужие мысли. Дай ему чертеж, и он блестяще построит все, что надо. Дай идею, и он тотчас претворит ее в жизнь. А сам он бесплоден, пустоцвет, да и только.

Однако царь бесконечно ему признателен не только за Аршакаван, но и за нечто куда более простое и бесхитрое — за искренность. Это же надо, кто оказался, по злоумышлению судьбы, единственным искренним человеком! И все-таки царь не стал поминать прошлое, потому что для страдающих ныне, к тому же страдающих безмерно, обладать прошлым — великая и непростительная роскошь.

— Я одержу победу, так ведь, Гнел? — Воодушевившись, царь заговорил быстро и без умолку: ему хотелось слышать свой голос, задавать вопросы и получать желанные ответы. — Не понапрасну же мы столько мучились... Я тебя очень люблю, Гнел! — вроде бы невпопад сорвалось у него с языка, и он восторженно продолжил: — Жители моего города будут драться до последнего. У них нет иного выхода. Они умрут, защищая свою свободу. Они не бросят меня в беде. Я крепко-накрепко связан с чернью. Мне не спастись без нее, а ей без меня. Видишь, как верно я все рассчитал. Я не

посадил рошу, как мой дед Хосров. Я построил город, город, подобных которому нет. Из бессильных моих рук судьба страны перешла в руки моего нищего, моего голодного народа.

— Ты потерпишь поражение, царь, — невозмутимо прервал его Гнел.

— Поражение? — изумился царь. — И это говоришь ты?!

— Еще несколько дней, и они будут в этом дворце.

— В моей спальне? — зачем-то уточнил царь.

— В твоей спальне, — подтвердил Гнел. И кивнул.

— Стало быть, это и есть конец? — сразу же присмирел царь. — Эта стена... Этот ручей за окном... Только и всего?

Но разве после встречи с беглецом-аршакаванцем ему не было уже ясно: то, что видят сию минуту глаза, — стена, ручей, яма, спина телохранителя, собственная удлиненная тень — все это и есть конец?

Что он теперь делает, тот молодой простолюдин? Стоило ли ломать голову, когда нужно было просто-напросто проследить за каждым его шагом и по поведению одного — хотя бы одного — человека предугадать судьбу города.

Как он любил царя, как счастлив был повстречать высочайшего своего господина, и вместе с тем как губителен для царя его поступок! В этом бегстве куда больше враждебности и коварства, чем в преступлениях истинных врагов и коварных заговорщиков.

Но отчего тебе каждый день представляют трескучие донесения, в розовом свете изображая оборону и внутреннее состояние города? Какова логика сокрытия правды, действующая не только по отношению к тебе, но и ко всем вообще государям, не только в Армении, но и повсюду? Отчего первое в стране лицо ведать ни о чем не ведает, отчего подлинное положение дел ты узнаешь позже всех?

— Взгляни, царь, какое ясное небо! — внезапно прошептал Гнел, и царь заметил в его глазах горячечный блеск, которого всегда побаивался и в котором усматривал нечто злое. — Какое ослепительное солнце! Возвращаются аисты. Первый день весны, царь. Жаль упускать такой день. Он должен войти в историю.

— Какую еще историю? — насутился царь, с горечью покачал головой и укоризненно добавил: — Нет, вы меня не полюбили. Не полюбили, нет... Вы никогда не желали мне добра.

И осталось непонятным, кого он подразумевает.

— Пора, царь, — проникновенно шепнул ему Гнел, убе-

жденный, что делится величайшей тайной. — Ты должен умереть. Нам нужна сейчас твоя смерть.

— Смерть? — Царь ушам своим не поверил. — Ты, часом, не рехнулся?

— Другого выхода нет. Тебе, царь, не осилить врага. Ты все равно не избежешь смерти, тебя казнят на площади средь бела дня, на виду у всех. Как обычного пленника. Как поверженного владыку. — Такого порыва и страсти царь никогда не видел. В голосе и словах Гнела было столько веры и решимости, что еще немного — и царь заразился бы ими, поддался бы их обману. — Да, ты вправе гордиться своим прошлым, да, ты почитаем и окружен всенародной любовью, но все это забудется, забудется в мгновение ока! Побужденный не вызывает добрых чувств. Он запятнан и опорочен на веки вечные. Спрашивается, не лучше ли умереть по-человечески? Кому нужна бесславная смерть?

— Подыхай сам, если тебе охота! — прорычал царь и окинул его ненавидящим, презрительным взглядом. — Я покамест намерен жить. У меня слишком много незавершенных дел.

— Нет, нет, царь, твое поражение будет красиво, — с юношеской вдохновенностью увещевал его Гнел. — Ты не испортишь сказки, не оборвешь на полуслове песен, которые слагают теперь гусаны. Не убьешь легенду, которой суждено переходить из рода в род. Ты останешься в народной памяти величайшим из наших царей.

— Ненавижу твою слепую одержимость. Твой помутившийся разум, способный разве что на этот бред. Бог свидетель, я тоже не святой, но даже в моих заблуждениях куда больше человечности, чем в иступленной твоей вере.

— Нет, нет, царь, поверить мне, — гнул свое тот, слыша лишь собственный голос. Царь перечит ему? Но ведь царь же мертвец, давно уже мертвец. — Ты должен стать героем. Должен стать великомучеником. Тебя должны сопричислить к сонму святых. День твоей кончины навсегда войдет в святцы. Эта страна воскреснет благодаря легенде о твоей смерти. Она важнее преходящих твоих побед. Клянусь твоим именем — ты слышишь, твоим именем, дороже которого у меня ничего нет, — я обойду дом за домом и поведаю всем, что ты доблестно, до последнего вздоха бился с врагом, что грозный твой меч наводил на него ужас и обращал в бегство. Пойми же, дядя, твоя жизнь никому уже не нужна.

— Изволь звать меня царем. Какой я тебе, к дьяволу, дядя? Царь!

— Сумей уйти вовремя, царь! — Гнел упал на колени и поцеловал край его одежды. — Подай пример наследникам и потомкам, научи их уходить в свой срок. Молю тебя! Во имя завтрашнего дня. Во имя Папа.

— Плевать мне, что будут говорить обо мне завтра. Я хочу царствовать сегодня. А у тебя на языке один только завтрашний день.

— Потому что завтрашний день подлинней нашего сегодня.

— Не забывай, со мной Аршакаван! — крикнул царь, буд-то желая, чтобы его услышал весь мир. — Город, созданный мною. Мое детище. Моя плоть, моя кровь.

— А я-то думал, ты обрадуешься. Ведь я нашел выход, — разочарованно, чуть не плача сказал Гнел. Какая несправедливость! Он денно и ночью ломает голову в поисках наивернейшего решения, наконец находит его — и что же? Награда у него черная неблагодарность.

Царь оторопело смотрел на него. Если этот человек станет у кормила власти, он обратит все окрест в пепел, посетит вокруг себя смерть, нагромоздит повсюду горы трупов, там, куда ступит его нога, не вырастет ни былинки, не зародится ни одной новой мысли, будут осквернены и втоптаны в грязь благороднейшие движения души. И его вера станет отрицанием всякой веры, величайшим безверием.

— Я понимаю, царь, умирать нелегко. — Наконец-то его губы выговорили что-то человеческое, но исступленный блеск глаз, отчетливо написанное на лице упрямое намерение достичь цели опять внушили царю страх. — Если ты этого не можешь, я возьму все на себя. Только соглашайся... — сглотнув слюну, прошептал он, и ему почудилось, что его готовность к самопожертвованию вполне доказала царю: смерть неизбежна. Если уж Гнел, не дрогнув, поднимет руку на свое божество, то кому придется труднее — ему или божеству?

Царь попросту вплепил ему оплеуху. Оплеуха была увесистая и оставила на лице след пятерни. Гнел качнулся и еле устоял на ногах. Из глаз посыпались искры. Он схватился за горящую щеку и, уязвленный неблагодарностью, не сдержал слез.

— Ты мне больше не нужен, Гнел, — ровным голосом сказал царь. — Я освободился от тебя. Слава всевышнему, освободился. Прощай.

И широкими шагами направился к дверям. Гора с плеч, подумал он и почувствовал в себе легкость и бодрость. Точно ушел наконец от постылой жены. Сейчас у него нет дома,

нет крыши над головой, зато взамен он обрел целый мир. Будто избавился от наваждения, вспомнил свое минувшее и отца с матерью, вспомнил, как его зовут и кто он таков, — словом, опять стал собой. Стоило Гнелу взять царя под опеку, и царь лишился самостоятельности, разуверился в собственных силах, глядя на каждый свой шаг его глазами: что, дескать, скажет Гнел? одобрит ли его поступок? Ума не приложу, как ему удалось окрутить и околдовать меня! Виновато окружение. На безрыбье и рак рыба, а Гнел был единственным, кто понимал — отечество необходимо сплотить. Кончено, слава богу, кончено! Я от тебя освободился. Ты никогда уже не понадобишься. Прощай.

А Гнел в царской опочивальне плакал от разочарования и обиды, невнятно бормоча:

— Жаль, царь, жаль, что ты не захотел умереть. Я не могу тебя убить без твоего на то согласия. Я не могу стать царевубийцей.



Перед дворцом собралась огромная толпа. Народ требовал встречи с царем. Где это слыхано, чтобы народ осмеливался выдвигать требования? Это же мятеж, перешептывались нахарары, это бунт. Пошатнулись прочные и незыблемые основы мироздания, покосились два его мощных столпа, один из коих — господа, другой — слуги. И единственный тому виновник — царь. Это он внушил простонародью, будто они — царь и чернь — союзники. А коль скоро они союзники, то и права у них в чем-то уравниваются. А по сути-то никакие они не союзники, они — сообщники, так как вместе подтачивают и рушат устойчивые, неизменные представления о мире. Аршакаван и весь этот ужас тому свидетели.

Царь не заставил подданных долго ждать и в согласии с неписаными законами союзничества незамедлительно вышел на площадь. Нет бы подняться на балкон и вести переговоры оттуда. Где там, стер и эту границу...

В который уже раз толпа и царь сталкивались в Аршакаване лицом к лицу. Поначалу всегда устанавливалась гробовая тишина. То была минута подозрений — ведь стороны разделяла непроходимая пропасть. Сперва они, не таясь и не смущаясь, приглядывались, принюхивались друг к другу и, лишь одолев преграды внутри себя, вступали в общение.

Царя огорчило, что толпа забыла преподанный ей урок. После обычного, мгновение длящегося молчания она должна

была слаженно, как один человек, прокричать ему здравицу. Она этого не сделала. Может, уподобиться терпеливому учителю — повторить, напомнить урок? Но едва он увидел, кто перед ним стоит, его прошиб озноб. Он увидел людей с истощенными лицами, впалыми глазами, иссохшими от жажды губами, бессильно подкашивающимися ногами, но все эти подробности сошлись в одном, общем впечатлении — никому одежда не была впору, на всех она болталась, люди утопали в ней и, казалось, вот-вот утонут.

Царь поразился, заметив в толпе и женщин, и даже детей. И присутствие детей — этих нежных, беспомощных созданий — окончательно его убедило: разговор предстоит не из легких.

Они пришли требовать хлеба и воды. Ну что тут поделаешь? В любом другом случае врагу недостало бы терпения, он снял бы небывало длительную осаду и, отчаявшись, убрался бы восвояси. Такова извечная логика войны. И снабжение города продовольствием соответствовало этой логике. Но что же оказалось на поверку? Оказалось, что это не противостояние города наступающему войску, обычное и знакомое, не просто взаимная ненависть двух сторон и даже не месть. Дело обстоит серьезнее. Царь не понял этого с самого начала и не принял в расчет — тут-то и кроется его ошибка. Он рассматривал вопрос с сугубо военной точки зрения. А раз ошибся — держи ответ перед толпой!

Но какой ответ дашь на вековечное требование: хлеба! воды! Он вправе пообещать лишь одно: он и сам, как и его подданные, пребудет голодным и жаждущим.

— Где войско, царь? — слышался из глубины толпы голос. — Почему запаздывает?

— Какое войско? — изумился царь, ожидавший иного разговора.

— Войско, которое будет сражаться с врагом, — продолжил затерянный в толпе голос. — Будет защищать нас.

— Что-о? — обомлел царь.

Он чуть не потерял дар речи. А хлеб? А вода? Им что, нипочем голод и жажда? Отчего они позабыли про свои лишения? По какому праву? Почему не хватают его за глотку: накорми нас и напои? О каком, собственно, войске речь? И он в гневе ответил:

— Значит, вместо того чтобы самим защитить меня, вместо того чтобы костями лечь за свой город, вы дожидаетесь помощи?

— Но ты обещал нам, царь.

Царь обалдело взирал на безмолвную и неподвижную

толпу, смотревшую на него, как один человек, и слышал все тот же беззлобный, наивный голос. И поскольку царь не видел говорившего, голос казался ему неземным и внушал страх.

— Что я вам обещал? — отчаявшись, крикнул царь. — Ну что, что?!

— Что мы неприкосновенны в твоём городе, — спокойно ответствовал голос. — Что ты покараешь всякого, кто посягнет на нашу свободу.

— Стало быть, вы надеетесь только на меня? — не утерпел царь и чуть ли не со слезами обратил вопрос к каждому в отдельности: — Только на меня?

— Мы же не выдумываем, — вроде бы даже обиделся доносящийся из толпы наивный голос. — Глашатаи заявляли об этом от твоего имени.

— Но разве не вы моя надежда? Вы, и только вы. Об этом и говорили мои глашатаи... И мой указ тоже об этом.

Царь вконец потерял самообладание. Его трясло. Он выкрикивал бессвязные слова и только сам понимал, что они значат. Поверял толпе свои мечты и замыслы. Страна стала бы независимой и единой. Люди жили бы, не зная страха и чужеземного ярма. Он преодолел бы свое одиночество вместе с ними, вместе со своим народом. Благодаря их, царя и народа, союзу Армения окрепла бы. Даром, что ли, он неустанно боролся с собой? Он мечтал смести преграды, отделяющие его от народа, и сделал так, что из бессильных его рук судьба страны перешла в руки его нищего, его голодного народа. Нахарары мнят себя пупом земли, и родина для них — не более чем своя вотчина. Персы и византийцы в конце концов проглотят страну, а потом разделят добычу. Во имя настоящего и будущего отечества он сознательно утратил свое человеческое лицо, совершал поступки, противоречащие его природе и убеждениям. Он тоже хотел бы жить, как и все, по указке сердца, только для себя. Почему это все на свете цари наслаждаются славой и властью, на каждом шагу вкушая их, а его удел — работать не покладая рук, день и ночь, до изнеможения? Почему это другие люди вправе думать лишь о себе, а ему на роду написано взвалить на свои плечи заботы целого народа и тащить, тащить? Он кричал и бушевал, но никто так и не уразумел смысла его излияний, никому и в голову не пришло, что он винит толпу в неблагодарности и предательстве, а себя в самообмане и безоглядной доверчивости. И ответ толпы уложился в четыре словечка.

— У царя нет войска, — послышался все тот же голос.

«У царя нет войска...» «Нету войска, нету...» Весть волною прокатилась по толпе, передаваясь из уст в уста, вызывая страх и смятение.

И началось повальное бегство. Почувствовав себя обманутой и незащищенной, обезумевшая толпа кинулась врассыпную. Подсказанное вековыми инстинктами, бегство представлялось ей единственным спасением. Было нечто удручающее в ужасной его бесполезности: со всех сторон высились крепостные стены, а за стеной стоял жаждущий крови враг.

Город охватило отчаяние. Потеряв голову, люди искали родных, выкрикивали имена, и голоса, едва возникнув, бесследно исчезали в сплошном гаме. Ни у кого и в мыслях не было пойти домой и собраться посемейно, ибо первым долгом бедствие означало, что у человека не остается отныне семейного очага.

Побуждаемые все тем же инстинктом самосохранения, люди стремились разойтись, отдалиться от прочих, потому как одиночество уже само по себе — тайное укрытие, опасности не так-то легко обнаружить сторонящегося других одиночку и расправиться с ним. А какая-нибудь орава или гурьба — это удобная мишень.

Но попробуй-ка оторваться от себе подобных! Толпа растеклась, разбилась на части, люди бежали куда бог на душу положит. Однако на узких подслеповатых улочках города поредевшие группки, стремившиеся еще более раздробиться и обособиться, вновь сталкивались и вновь пускались наутек... на сей раз друг от друга.

Только к вечеру паника, как и любое потрясение, как радость или горе, поулеглась, народ мало-помалу обвыкся с тягостной новостью, и в конце концов все разбрелись по домам, которые, как оказалось, несмотря ни на что, по-прежнему принадлежали старым хозяевам; люди хорошенько заперлись, и наступил черед ожидания, а оно невыносимей паники и любой горестной вести.

А царь, которому боль и разочарование широко раскрыли глаза и который смирился со своим поражением и немощью, неподвижно следил за бегством толпы и беззвучно плакал. Вот он — конец, конец всех мечтаний и мук. Сколь же он бесславен и жалок. За какой-то миг перед глазами царя промелькнули годы тяжких раздумий и бессонных, бесконечных ночей — скопившись и слившись воедино, они в итоге сподобили его этого краха. Кому еще доводилось, подумал он с горькой усмешкой, собственными глазами, отчетливо и со стороны лицезреть свою гибель — точно в театре, восседая на отведенном тебе наипочетнейшем месте?

Что ж ему остается, кроме как вслед за толпой обратиться в бегство самому? Иначе говоря, стать обыкновенным человеком, принадлежать только себе, заботиться лишь о своей особе. Он отправится в Картли к царю Мириану. Тем и отомстит неблагодарным аршакаванцам. Пусть изведают, каково жить без царя. Отомстит и себе — за безоглядную доверчивость и склонность к самообману. Отомстит, отягчив душу новыми страданиями, поскольку ему доподлинно известно, что нельзя таить обиду на родной народ, даже если все до одного предадут царя и отвернутся от него. А еще ему известно, что как раз тогда, когда его предадут, он, царь, будет особенно нужен своему народу. Ибо если народ, а не кто-то в отдельности утрачивает представление о том, что нравственно, а что безнравственно, стало быть, народ в беде. Однако в конце-то концов царь тоже человек — так ведь? — и сотворен не из камня, не из железа. Должен же он однажды узнать, должен же вспомнить о человеческом своем происхождении — да или нет? Должен же понять, что он не господь бог, всевидящий и всепрощающий, а простой смертный — с самыми простыми и обыкновенными слабостями. Теперь, перед лицом величайшей неблагодарности, он узнал это, вспомнил и понял. И он отомстит им — пойдет к Мириану.

Он увидел, что от многотысячной толпы, за несколько минут исчезнувшей и образовавшей на подступах к дворцу безлюдную пустыню, — от огромной этой толпы остался только дряхлый старик. Он стоял в почтительном отдалении и терпеливо ждал, пока царь его заметит.

Царь его заметил и взглянул вопросительно. Старик раздвинул беззвучно открыл и закрыл рот, будто насилиу выталакивая из себя слова.

— Зачем же ты сорвал нас с насиженных мест, царь? — спросил он бесстрастным старческим голосом, не попрекая и не виня. — Зачем поссорил с нашими господами? Как мы посмотрим теперь им в глаза?

Царь почему-то испугался этой нежданной встречи с доживающим последние свои дни стариком; не отвечая на вопрос, он поспешно повернулся и пошел. Однако спиной почувствовал — тот идет следом. Царь прибавил ходу, свернул в садик позади дворца и вновь услышал шаги. Ему хотелось закричать, позвать на помощь, но он побоялся попасть в глупое положение. Сбегутся телохранители и кого же увидят? Дряхлого старика.

— Слава богу, худо ли, бедно ли, а жили, — не отставал старик и все говорил, говорил — ровно, невозмутимо и бес-

страстно. — Зачем ты подучил молодых не слушать господ? Ты ведь тоже господин. Зачем же встал супротив себя?

Царь думал только об одном — как от него избавиться. Старик ничего не делал, ничем не угрожал и не мог царю помешать преспокойно воротиться во дворец. Но царь не находил в себе сил повернуться и на одно только коротенькое мгновение столкнуться с ним.

И он поневоле двинулся дальше, чувствуя, что старик следует за ним по пятам и вовсе не намерен отстать...

— Как нам теперь быть, царь? — напрямую спросил он. — Что с нами станется?

Был лишь один выход — подлый, но единственный. Заставить его замолчать. Ударом кинжала. Только бы отвязаться от него, от бесстрастного его голоса, от его преследования, от простосердечной его тревоги — не за себя даже, а за положение дел вообще, что и смущало царя, что его и бесило. Но коль скоро убить старика было невозможно, царю приходилось не останавливаясь идти вперед, вперед и опять вперед, затылком чувствуя в почтительном от себя отдалении его присутствие и старческое дыхание.

— У тебя, царь, один только способ спасти нас, — еще ровнее и бесстрастнее промолвил старик. — Ежели ты дозволишь связать тебя и отдать им в руки. Тогда, может, господа и простят нас.

Царь резко остановился. Шаги за спиной стихли — значит, остановился и старик. Должно быть, в том же почтительном отдалении. Прямота и недвусмысленность предложения обезоружила и потрясла царя. Он обернулся, и ему показалось, что за эти две-три минуты старик еще больше усох, обессилел и безнадежно одряхлел. Он посмотрел на старика в упор, тот выдержал взгляд, а царь не выдержал. Отвел глаза и понял, что не способен ни гневаться на старика, ни обругать его. Вот он стоит перед ним, этот старик, — босой, в отрепьях, с единственным, как у младенца, зубом во рту и слезящимися глазами. В его возрасте говорят всё как есть, и он счастлив не знать, что можно, а чего нельзя.

Царь сорвал с себя какое-то подвернувшееся под руку украшение, бросил наземь и побежал. Нет, он бросил не милостыню. Старик ни за что не поднимет драгоценную вещицу — царь знал это наверняка. Просто отвлекал внимание. И правда, старик с ребячьим любопытством уставился на блестящий кусочек металла, который искрился, сиял и переливался под солнцем всеми цветами радуги. И, зачарованный этой занятной, невиданной игрушкой, привлеченный не ценностью ее, а блеском, совершенно позабыл о царе.

Несколько дней спустя колесные машины по прозвищу «ослы», которые непрерывно подтачивали основание крепостной стены, пробили-таки в ней брешь — как на грех, вблизи ворот. После непродолжительной схватки воины передового отряда объединенных армяно-персидских сил ворвались в Аршакаван и открыли ворота.

Подобно размывшему плотину потоку, враг заполонил город. Войско, особенно армяцкие его части, не имело с аршакаванцами никаких счетов и, значит, не должно было помышлять о мести. Но месяцы осады его озлобили. Упорство осаждающих столкнулось с упорством осажденных. Оно-то, это упорство, и возбудило у тех и у других взаимную ненависть. И, как водится, ненависть победителей была ожесточеннее, а сами они чувствовали себя более справедливыми и даже более пострадавшими.

В полном неведении о случившемся аршакаванец Абетнак вышел из дому. Он собирался уже перейти улицу и заглянуть к соседу, когда увидел, что прямо на него, словно из-под земли, движется тьма-тьмущая воинов. Целая рать — на одного. Он хотел отогнать кошмарный этот сон, попытался крикнуть и пробудиться, но не успел, потому что сердце разорвалось от страха, и он умер на месте. Абетнак стал первой жертвой победителей.

Враги встретились в Аршакаване с непредвиденным затруднением: им никто не оказывал сопротивления, улицы были пусты и безлюдны, словно войско вступило в мертвый город. Им приходилось заглядывать во все дома поочередно, чтобы поквитаться с их обитателями в четырех стенах. Но это скорее смахивало на душегубство, чем на взятие города.

Ряды победителей охватило смятение. Воины толпились на улицах, не зная, как быть. Если бы горожане отстаивали каждую улицу, каждую пядь земли — тогда дело другое. Тогда, пусть и подвергая жизнь опасности, они нападали бы на защитников города, дрались бы не на живот, а на смерть, иными словами, без помех выполняли бы основной закон войны, основную ее заповедь: убий. Нападай противник или убегай — это не суть важно, в обоих случаях убийство правомерно. А тут какая-то чертовщина. Тебе приходится совершать поступки, не подобающие воину, и приканчивать людей поодиночке. Приканчивать, переходя из дома в дом, с улицы на улицу, из закоулка в закоулок, видя лицо жертвы, ее жилище, ее скарб, чуть ли не знакомясь с ее семьей. Все-таки чудовищно, если перед тем, как зайти в очередную ла-

чугу, ты можешь перевести дух, перекинуться словечком с приятелем, подкрепиться, подивиться на закат, а потом не спеша, без суеты продолжить свое дело. Торопиться незачем, жертва не убегает.

Ликующие возгласы победителей повисли в воздухе и быстро сменились глубоким разочарованием. Какие они победители! Нет ни победителей, ни побежденных. Дворец пуст, царь удрал в Иверию, нахарары разбрелись по своим вотчинам, малочисленные воинские части, стоявшие в городе, полностью истреблены, не осталось ни одного должностного лица.

И если кто в победившем войске не был разочарован, так это мятежники-нахарары и персидские полководцы, которые не только не утратили жажды возмездия, но и мечтали поскорее разрушить город, сровнять его с землей и перебить всех до единого его обитателей. И потому отдали приказ немедля приступить к резне.

Воины нашли выход из положения стихийно, не сговариваясь. Они вваливались в дома целыми ватагами, хотя для уничтожения безоружной, беззащитной семьи достало бы двух-трех человек. Однако такое вторжение создавало, пусть и обманчивую, видимость боя, а главное, грех распределялся поровну. В тесноте и переполохе, когда яблоку негде упасть, не углядишь, кто именно убил невинного.

Молва о погроме распространилась по городу, и тогда исполнилась вожделенная мечта войска. Народ высыпал из логовищ и побежал. И все стало на свои места. Победителям представился естественный повод преследовать и настигать жертву. Невольная ошибка аршакаванцев помогла врагу, и тот, более не колеблясь, приступил к обычному и уже понятному своему делу.

Бойня продолжалась три дня и три ночи. Воинам вменялось в обязанность не только истреблять население, но и ломать дома, вырубать сады, портить дороги, камнями на камне не оставить от двухэтажного дворца, засыпать опоясывающий Аршакаван ров, который, кстати, так и не успели залить водой, — словом, уничтожить город до основания.

Аршакаван был объят пламенем, вопли и стенания словно выплескивались из огня и зависали над пожарищем. В мгновение ока дети сиротели, родители лишались детей, мужчины и женщины вдовели, людские мечты и заботы, радости и печали долгих лет обращались в прах и пепел, будто и не существовало на земле такого-то и такого человека.

Кто-то из аршакаванцев, попав в руки перса и не видя в отчаянии другого выхода, звал на подмогу воина-армя-

нина. Второй, получив смертельный удар мечом, невзирая на страшную боль, с нечеловеческим упрямством старался потушить бушующий в доме пожар. Третий в жуткой уличной неразберихе во все горло выкрикивал имена пропавших родичей. А еще кто-то, чудом вырвавшись из города после того, как на глазах у него зарезали жену и детей, внезапно ощущал никчемность своей жизни и добровольно возвращался...

Вот, поняв, что положение безнадежно, аршакаванское семейство достало свои на две недели рассчитанные припасы, притом рассчитанные с сугубой бережливостью — так, чтобы только не помереть с голоду, — накрыло честь по чести стол и в гробовой тишине досыта, до отвала наелось, подчистив все до последней крохи и ничего не оставив на завтра.

Разные городские околотки поврозь посылали к военачальникам победителей уполномоченных с обещанием сдать ся. Но уполномоченные даже отказа не удостоивались — их обезглавливали на месте. Видя, что посланцы не возвращаются, жители этих околотков объединялись в маленькие дружины и начинали сопротивляться. Однако было уже поздно. Слишком поздно. Сопротивление в кратчайшие сроки подавлялось. Вражеская рать была чересчур многочисленна: на одного безоружного аршакаванца приходилось по пять до зубов вооруженных воинов.

Нет, сдача в плен отпадала. Всякое живое существо и всякий неодушевленный предмет в окрестностях Аршакавана подлежали уничтожению. Без разбора, без исключений. Возбранилось щадить даже стариков. Строго-настрога запрещалось захватывать добычу, все, в том числе и драгоценности, должно было вместе с городом бесследно кануть в небытие. Драгоценности казались семенами воспоминаний, которые, чего доброго, разлетятся по стране и дадут всходы. Пренебрегшего, пусть и в пустычной степи, этим запретом немедленно, без суда и следствия казнили. Были учреждены особые карательные отряды, бдительно следившие за неукоснительным исполнением приказа.

Весьма достопамятным событием бойни стало вот что: в различных частях города, покончив с аршакаванцами, без какой-либо на то причины столкнулись меж собой армяне и персы. Союзники принялись беспощадно рубить друг друга, и не подоспей вовремя кое-кто из высших чинов обеих сторон и не разними забияк, разрозненные стычки переросли бы в настоящее побоище. Страшась дальнейших осложнений, нахарары выбрали наобум около пятидесяти армян — участников беспорядков — и распорядились их обезглавить.

Злые языки, однако, утверждали, что, хотя открытых

столкновений более не отмечалось, армяне и персы все же не упустили случая исподтишка нанести союзнику удар в спину.

Да что проку, ведь Аршакаван-то уже был при смерти, чело пылало, сердце кое-как сжималось, и чем дальше, тем тяжелей и напряженной становилось дыхание. Он умирал, умирал, служа сам себе могилой.



Гнел бесцельно бродил по гибнущему у него на глазах городу и в ужасе озирался по сторонам. Повсюду он видел развалины и трупы. Вдруг ему бросилось в глаза едва зарубцевавшаяся рана на большом пальце одного из убитых. Должно быть, что человек порезался ножом. И потому, с неопровержимым свидетельством недавней своей жизни, он показался Гнелу мертвее всех прочих.

Добрая половина погибших была Гнелу знакома. Одни на собственной шкуре испытали справедливые удары его плети. Другим он бескорыстно помогал строиться. Он решал многочисленные и весьма заковыристые вопросы, то и дело возникавшие у горожан, он успешно справлялся с труднейшей задачей — распределял продовольствие, — словом, жертвуя собой, управлял ими. Во имя чего? Во имя беспросветной этой резни? Во имя этого царства руин? Неужто это и есть возмещение нечеловеческих его мук? И кто даст ответ за это? Только враг? Враг — в последнюю очередь, потому что он поступил верно: он исполнял свой, вражеский долг. В первую же голову должен отвечать царь, а потом и сам Гнел. Стало быть, ты упустил что-то, отступил от обязанностей, которые по собственному почину взвалил на свои плечи, не был жесток в меру необходимости, то есть любил аршакаванцев недостаточно глубоко, не искоренил их слабостей и себялюбия, иначе они с твоей помощью по-настоящему уверовали бы в царя, сложили о нем легенду и увековечили его в песнях — короче говоря, поставили бы ему нерукотворный памятник. Потому что стоит низвести царя с высоты, облечь в плоть, обнаружить — он, подобно тебе, простой смертный, с точным днем рождения, с ломотой в пояснице, с человеческими слабостями, пускай даже самыми безобидными, ну, скажем, с чревоугодием или там женолюбием, — и конечно, царю уже не повести за собой народ, не заставить слепцов верить каждому его слову, в час опасности они не кинутся с его именем на устах навстречу гибели. Стало быть, ты, Гнел, не сумел заразить подданных царя личным примером, из чего следует: виноваты не они, а только ты. Из этого следует также, что личный твой пример был

неполноценен и уязвим. Выходит, ты не истратил себя до крайнего предела — кое-что приберег. И посему достоин суровой кары. Что же до царя, который видел в зеркале лишь отражение своей наружности, не умея разглядеть сути, то Гнел не знал и не хотел знать, какое именно наказание определил тот для себя и определил ли вообще. Знал одно: собственную вину он, Гнел, должен искупить смертью. И он бродил искореженными улицами разрушенного города и с нетерпением ждал, когда вражеская стрела бездыханным повергнет его на землю. Но враг оказался злей и бессердечней, чем он полагал. Бесчисленные, бессчетные стрелы, которым проще простого было угодить в цель, никак его не поражали. Сотни и сотни людей, уповая на укрытие, пали жертвами отравленных стрел, а он, намеренно блуждавший у всех на глазах, по-прежнему оставался в живых. Врагу хотелось, чтобы его истерзали угрызения совести, чтобы они днем и ночью напоминали о полнейшей его несостоятельности, о его постыдном, позорном поражении.

На дальней окраине, куда Гнела невесть как занесли ноги, он заметил нескольких нищих с тощими узелками в руках. Нищие торопились покинуть город.

— Куда это вы улепетьваете? — с презрением, скорее по застарелой привычке, чем из истинного отношения, спросил он. — Вас что, война не касается?

— Нам, господин, от войны никакой выгоды, — ответил нищий в годах и остановился. Остановились и другие. — Нашему ремеслу нужен мир.

— Не хотите, стало быть, защищать царя?

— Кто нам подаст, господин, тот нам и царь.

Прежде такой ответ взбесил бы Гнела, и не миновать бы нищему плети. Но теперь у Гнела не было ни плети, ни веры. Теперь он только и делал, что искал повсюду смерть, искал и не находил.

Мысль, которую Гнел давным-давно вынашивал, подсознательно воплотилась в простые и четкие слова, и он спокойно воспринял их смысл. Они вовсе его не испугали — напротив, он повторил их в уме, чтобы потом уже нельзя было пойти на попятную. Он достал из-под широкого пояса кошелек и, не произнося ни слова, приподнял двумя пальцами наподобие приманки.

— Если я дам вам денег, много денег, исполните вы мою просьбу? — Отчего-то он обратился к ним не мягким, дружеским, а раздраженным голосом и встряхнул кошелек, будто надеясь, что звон монет сообщит его последнему богатству дополнительную ценность.

— Не советую тебе, господин, слишком расщедриваться, — сказал пожилой; хотя он и возглавлял сотоварищей, но одет был беднее, очевидно затем, чтобы не посрамить честь старинного своего промысла. — Большая плата вовсе нам не по душе. Нам приятнее, когда плата не превышает подаяния.

— Вы, я смотрю, не просто нищие, — с горькой улыбкой сказал Гнел. — Вы нищие-философы.

— Говори, господин, времени в обрез.

В потускневших глазах Гнела появился прежний испу-
пленный блеск, взгляд стал злым и упрямым, жесткая пря-
мая прядь упала на лоб, усталая водянистая кровь опять
вскипела, возмутилась, и в нем воскресла жажда добиваться
цели, действовать — он должен разрешить последний и наи-
важнейший вопрос скоротечной своей жизни, повстречаться
со смертью, то есть осуществить высшую меру наказания, ко-
торой он достоин за свой полный провал. Разве не безраз-
лично, какую кару назначат тебе за непростительный твой
грех другие, даже самые беспристрастные судьи, даже гос-
подь бог? Единственный справедливый приговор — это при-
говор, выносимый твоей совестью. И только ты сам способен
покарать себя по справедливости.

— Вы должны всем и всюду рассказывать, что князь
Гнел остался жив, — распорядился Гнел, убежденный в пра-
вильности своего решения, исполненный ненависти и пре-
зрения к себе. — Что он подлейшим образом ввел царя в за-
блуждение. Улизнул от наказания. Царь хотел воздать ему
по заслугам, потому что князь Гнел замыслил свергнуть его
и посягал на престол. И прибавьте, что своими глазами виде-
ли, как царь разыскал изменника и собственноручно лишил
его жизни. И скажите — слышите? — скажите, никому
и никогда не уйти от справедливой царской кары. Ибо он,
царь, — единственный наместник бога в грешной нашей
юдоли.

— Но ты еще жив, господин, — с искренним недоумением
сказал пожилой нищий, догадавшись, что тот, кто стоит
перед ним, и есть князь Гнел.

— Сейчас... — Губы Гнела дрогнули. — Дайте время. Сей-
час, сейчас...

— А кто тебя убьет, господин?

— Царь, — не колеблясь ответил Гнел. Ну конечно, царь,
это же само собой разумеется. Он устремил взгляд в небо,
необычайно синее, огромное и прозрачное, и прошептал: —
Только так, государь, могу я искупить свою вину. Хоть что-
то добавить к твоей славе...

И с какой стати, по какому праву должен он оставаться в живых, если ни убедительными доводами, ни делом не сумел обосновать, что царю без Гнела не обойтись, оказался не в состоянии внушить царю свои мысли, единственно истинные и безошибочные, оказался не в силах утвердить царя на предназначенной и предначертанной тому дороге, которая вывела бы страну из тупика, превратила бы в сплоченную и могущественную, счастливую и непобедимую, оказался не способен повлиять на него, чтобы он не отступал ни от одного Гнелова слова, ибо не тщеславие, но безраздельная преданность царю и отечеству и глубокая убежденность в своей правоте двигали князем Гнелом. Да и о каком тщеславии речь, когда его, Гнела, вообще не было, не существовало, когда он, отрекшись от своего прошлого и всего личного, был просто-напросто живым трупом? Он не сумел и такой малости, как уговорить царя — во имя легенды, во имя песни, иными словами, во имя грядущего согласиться умереть. Ведь если бы царь не нашел в себе для этого сил, Гнел из любви к нему готов был его убить. Страна жива благодаря сказкам и легендам, а не благодаря битвам, недолговечным победам и поражениям. Стране нужны песни — песни, передающиеся из уст в уста, из рода в род. И наконец, достойные поминовения годовщины, которые свято отмечают-ся каждым новым поколением, оживляя, обновляя, увековечивая память народа. Нет, он не достиг этого, не продолжил оборванную на половине легенду о Тигране Великом и не довел ее до следующего армянского венценосца — царя Папа. И потому обязан умереть — именно так, обязан.

Что представлял из себя Самвел? В сущности ничего. А на поверку он мудрее порфироносного царя, потому что нежданно-негаданно стал таким светочем в страдальческой нашей жизни. Всех нас предадут забвению, наши имена запылятся пылью истории, а вот его имя никогда не забудется. Потому что он сотворил сказку. Породил легенду. Сложил песню. Обеспечил себе, а отчасти и всем соплеменникам бессмертие. Жизнеописание народа создают люди, подобные ему, а не мне или Аршаку. Стало быть, решение не изменится. Благодарение богу — нет, не изменится. Смерть — вот ответ на наши преступления.

Ему бросился в глаза чудом уцелевший посреди развалин и пепелища цветок. Всю жизнь он был равнодушен к цветам, не чувствовал их благоухания, не замечал их прелести. Полагал, что мужчине не пристало любоваться цветами. Но тут нагнулся, сорвал цветок и перед лицом величайшей истины — смерти — не устыдился душевной слабости. Однако

так и не поднес цветок к лицу, не вдохнул его аромата — не знал, что цветы затем и срывают. Просто сунул за пазуху. Потом развязал кошелек, достал деньги и поровну раздал нищим.

Как тверд камень, как мягка земля, как жарок огонь, как холодна вода, как лазурен небосвод, как смертоносен меч, как высоки окрестные горы, как близок этот порушенный дом и как далек тот, другой...

Вот та запоздалая сладость жизни, те непререкаемые и священные истины, которые он постиг и ощутил всем своим существом на пороге смерти. И он мысленно попрощался с вещами определенными и совершенно четкими: с твердостью и мягкостью, холодом и жарой, близью и далью. Потому что так же определенно было его расставание со всем этим.

— Я умру у подножия вон тех скал, — деловито и отрывисто сказал Гнел. — Смотрите внимательно. И хорошенько запоминайте. Чтобы не спутать мой труп с другими. И чтобы сразу отыскать его, когда вернетесь. Покажите его маловерам, и они убедятся в правдивости вашего рассказа. Нахарары непременно меня узнают.

Он обнялся с каждым из нищих и быстро направился к скалам.

Нищие воспользовались передышкой. Подчистую обирали умерших, прихватывая все, что могло сгодиться. Набивали котомки башмаками, поясами, шапками, бусами, гребнями, платками... В их движениях не было ни суетливости, ни поспешности, то есть сознания, будто они заняты чем-то предосудительным. Никто и не думал скрывать своих поступков. Ибо у любого человека на земле свое дело и свой, данный ему богом заработок.

— А у этого в кармане хлеб! — обрадовалась одна из нищенок и, присев на камень — от добра добра не ищут, — принялась за еду.

Только пожилой, очевидно по праву старшинства, не участвовал во всем этом. Он смотрел на скалы и терпеливо ждал. Он непременно сюда вернется и выполнит просьбу князя, хотя странновато, что на сей раз милостыню требуется заслужить. Получается, будто это не милостыня, а плата, иными словами, нечто зазорное для свободной от любого рода обязанностей, своевольной нищей братии. Может, он уже слишком стар и эта слабость — первый признак его немощи? Он потерял былую выносливость, быстро устает, насилу одолевает подъемы, тяжело дышит, а все это противопоказано настоящему христараднику. И он уверен: предложи он сото-

варищам воротиться и уважить просьбу князя, они сочтут его нарушителем вековых законов нищенства и сообразят, что давно пора приискать нового вожака.

— Этот человек покончил со своим делом, — сказал он; как ни жаль, а обещание, вероятно, придется нарушить...

Нищие собрали пожитки и заспешили из мертвого города. Они шли туда, где поспокойней, а таких мест день ото дня становилось меньше и меньше.



Аршакаван, которому не минуло и десяти лет, исчез с лица земли. Там, где скрещивались пути Запада и Востока, посреди равнины, именуемой Ког, на дороге, пролегающей от Трапезунда через подножие Масиса к Персии, не было более такого города.

И не было меры и предела ликованием нахараров. Они словно захмелели от радости. Расхаживали по городу, который сровняли с землей, и с величайшим удовлетворением разглядывали плоды достославной своей победы.

Победа победе рознь, а за эту им должны быть признательны подданные всех стран и племен, и господа и слуги. Отныне мир прост и понятен, как и прежде, всем и каждому ведомо, кому что делать, вновь входят в силу установленные богом порядки, в том числе закон равновесия: по одну сторону черты — господа, по другую — слуги. Если кто-то думает, прочим уже нет нужды утруждать себя тем же. Этот человек подумает за всех. Более чем достаточно одного познающего истину, а другие пускай занимаются своими делами. Обязанности надлежит распределять с умом. Что получится, если не будет господ и слуг? Или — по-иному — если человек будет одновременно и господином и слугой? Противостественного этого положения не вынесет никто — не только князья, но и простолюдины. В один прекрасный день они взбунтуются и потребуют от господ: извольте-ка выполнять свой господский долг. Потому что если один защищает право властвовать, другой с равным успехом может настаивать на своем праве — быть подвластным. Важно наличие прав, а не то, господин ты или слуга. Роковая ошибка царя в том и заключалась, что, упразднив извечное это разделение, он, в сущности, отнял у людей главное их достояние — право.

— Стена все еще мозолит глаза! — вознегодовал красавец Меружан, который в отличие от остальных князей — а все они перенесли за время осады немало лишений — сиял чистотой и выглядел щеголем, что свидетельствовало отнюдь

не о слабости или изнеженности — о железной дисциплине. — Почему она целехонька? Я же сказал — камня на камне не оставить!

Он никогда не кривил душой, заявляя, что боится стать изменником. Совсем не просто отпасть от царя и заключить союз с врагом. Но царь вынудил его пойти на это. Царь не захотел прислушаться к голосу разума и взять сторону одного из двух могущественных соседей. Положился на свои силенки. Простолюдин, видите ли, спасет страну! Словом, царь поставил все с ног на голову, создал путаное, противоестественное положение, потому что дело холопа — кормить страну, а отнюдь не спасать ее. И когда виновника путаницы и хаоса изобличили и всесторонне доказали — да, он и есть преступник, — Меружан успокоился и уже не испытывал угрызений совести.

Если кто и в состоянии спасти страну, так это он. К чему понапрасну скромничать, почему не сказать этого открыто? Он достигнет своего с помощью врага. Да, Персия — враг. Но разве использовать врага в своих целях — ход менее смелый и хитрый, чем строительство Аршакавана? Он получит из рук шаха корону и вот тогда-то и покажет по-настоящему, на что горазд. Подумаешь, вероотступничество! Речь идет о вещах куда более существенных — о жизни и смерти. Я буду считаться изменником лишь в том случае, если мои замыслы лопнут, если я потерплю крах. Тут уж никто не пожелает слушать, сколь благородны были мои побуждения. Ну а добейся я своего, никому и в голову не придет меня попрекать. Так устроен мир. Победителей не судят.

— Клянусь, — угрожающе заявил Нерсес Камсаракан, владетель Аршаруника и Ширака, — тому, кто попытается из жалости спасти хоть одного младенца, не миновать моего меча!

— Захваченное продовольствие уничтожить! — приказал Паргев, владетель Артаза, который не стерпел нанесенного ему царем оскорбления и перешел в стан изменников, из самого ярого защитника Аршакавана превратившись в одного из неистовых его врагов. — Любая кроха порождает память. Сжечь, а пепел развеять!

— Обойдемся и без сокровищ этого города, — выслуживался, доказывая свою преданность, бывший градоправитель Аршакавана Вараз Гнуни; он ждал теперь от победителей новой должности. — Всякий, кто позарится даже на самую малость, будет сурово наказан. Не оставлять ничего, что могло бы со временем стать святыней.

— Разрушить водопровод! — подголосками вторили дру-

гие нахарары. — Изменить русла ручьев! Вытоптать посевы! Чтобы нигде не зеленели ростки! Чтобы эта земля на веки веков стала безводной пустыней!

И, не в силах перебороть страх и ненависть, опять и опять добивали и без того уже мертвый город. Губили малейшие проявления жизни, все, способное привлечь взгляд. Если что-то еще сохраняло свою былую форму или валялось, скажем, недоломанным, эту вещь тут же стирали в порошок. День-деньской разносили в щепы и доламывали руины, выдававшие присутствие здесь в прошлом человеческого жилья. Там и тут кипела до ужаса бессмысленная работа. И бессмысленность ее и бесцельность лишь усугублялись рвением и усердием.

О людях и говорить нечего. С ними было dokonчено. В ров, опоясывающий бывшую крепостную стену, скидывали тысячи и тысячи трупов; в братской этой могиле хоронили всех. А тем, кто выдаст чудом скрывшихся и нашедших где-нибудь приют аршакаванцев, нахарары обещали огромное вознаграждение. И мало-помалу вновь подняло голову доносительство. Беглецов, угодивших в руки победителей, заживо закапывали по соседству с согражданами, у которых, как оказалось, было несомненное преимущество — то, что они мертвы.

Но наилучшую возможность упиться сладостью мести, излить годами копившийся яд и желчь нахарары получили, расправившись не с тысячами, а с одним человеком. Несчастливым человеком, не бедняком и не богачом, одетым не хорошо и не плохо, обремененным большой семьей и бесконечными заботами. Он давно уже ничего не понимал в этой заварухе. И когда его связали, оторвали от дома и каждодневных дел и привели в далекий Аршакаван, его душа переполнилась горестным недоумением.

— А-а, наконец-то попался! — возликовал Меружан Арцруни и воодушевленно обратился к споспешникам: — Он и есть главный виновник. Опаснейший преступник! Ближайший друг царя. Это с ним царь мечтал сыграть в шахматы. С ним советовался по любому вопросу. Из-за него и начались наши злоключения. Он зачинщик этой бойни.

И, позабыв о своем положении и титулах, нахарары окружили связанного пленника и давай осыпать площадной бранью, проклинать, как старухи, плевать в лицо и таскать за волосы... А представления азата Ефрема о мире вконец и бесповоротно запутались. Еще немного, и он поведал бы своим мучителям, хотя бы в двух словах, о домашних заботах и хлопотах, потому что других доказательств невиновно-

сти у него не было. Еще чуть-чуть, и он попросил бы позвать сюда своих детей, каждый из которых являл собою воплощение красоты, честности и трудолюбия, ибо если что и свидетельствовало о полной его непричастности к здешним событиям, так это они, его дети. И он рассказывал бы, неумолчно рассказывал, какой тяжелой ношей ложилось ему на плечи желание царя сыграть с ним в шахматы, сколько рассветов встретил он в царской приемной, сколько всего пережил в эти изматывающие, изнурительные часы бесплодного ожидания. И о том, что их с царем дружба была ему и дорога, и непосильна, что она и влекла его, и угнетала. Но поскольку все в этом мире стало с ног на голову, он в испуге прикусил язык: уж не накажут ли его, отзовись он о царе непочтительно...

— Мы придумаем для тебя страшную кару, — пригрозил Меружан Арцруни и с прежней торжественностью заявил: — Царь никогда больше не сыграет в шахматы с азатом Ефремом.

И, так ничего и не поняв, невольно втянутый в круговорот загадочных для него событий, с выражением мучительного вопроса на лице, Ефрем, окруженный стражей, шел сквозь дымящиеся руины, чтобы безропотно принять уготованную ему страшную кару...

И лишь после этого нахарары сочли свою победу полной и окончательной.



Историк повествует:

«Объединившись, армянские нахарары двинулись на царский город Аршакаван и предали там мечу всех мужчин и женщин, пощадив только грудных младенцев, потому что были озлоблены на слуг своих и преступников. Нерсес Великий, хоть и был извещен об этом заранее, не успел предупредить кровопролитие и застал в живых лишь младенцев, отделенных как детей неприятеля для угона в плен. Нерсес Великий приказал снести их в корзинах в хлев, назначить им кормилиц и содержание. Со временем это место разрослось, и образовался небольшой городок, названный посему Уортк¹».

Глава тридцатая

На второе приглашение Шапуха, равно как и на первое, царь вполне мог не откликнуться. Но по возвращении из

¹ Корзина.

Картли он почувствовал глубокий упадок духовных сил и внутреннее опустошение, чему не было вроде бы никаких видимых оснований. Картлийский царь Мириан предоставил ему не только убежище, но и внушительные воинские подразделения, с помощью которых царь сводил счеты с предателями-нахарарами. И потому весьма странным показалось, что окрыленный удачей царь внезапно изъявил желание помириться с противниками, исключая, разумеется, вероотступников. Многие истолковали этот его шаг как дальновидный, потому что, одержи даже царь полную победу, он остался бы в совершенном одиночестве. А тут — плохие ли, хорошие ли, а все ж таки его нахарары. По всей вероятности, царь очень хотел примирения и его желание не терпело отлагательств — чем иным объяснишь, что в посредники он выбрал бывшего католика Нерсеса. Новый первосвященник Чунак — царский ставленник — не пользовался в стране никаким авторитетом, что в высшей степени царя устраивало.

Нерсес сразу же согласился и незамедлительно явился во дворец. Жажда деятельности все еще бурлила в нем, и он готов был простить даже первейшего своего врага, пойти на любые уступки, только бы дать выход скопившейся в душе энергии, которая изводила его и становилась сущим бедствием для селения, где он жил вместе с Вриком. С неотступным рвением он принуждал односельчан к счастью, поскольку человек вообще рожден для счастливой жизни. Он силком навязывал им свои представления о счастье и испытывал невыразимое удовлетворение, видя плоды своих кропотливых и бескорыстных трудов. Он и сам чувствовал себя счастливым и не требовал в награду за претерпеваемые им муки ни признательности, ни почестей... Он и не догадывался, с каким облегчением вздохнуло село, когда он, обретя новые просторы для своей деятельности, отправился в Арташат. Все от мала до велика ликовали, тут же позабыв — с глаз долой, из сердца вон — заветы и назидания наставника.

Если бы искусственно обузданные Нерсесом людские пороки могли хоть как-то проявляться, они, может, и не выразились бы в его отсутствие столь обнаженно и бурно. В селе, где неизменно царили мир и согласие, возникли раздоры, пошли кражи, случилось даже убийство.

Нерсес предстал перед Аршаком до того незлопамятным и доброжелательным, что тот был до крайности удивлен. Он ведь готовился улащать, умягчать Нерсеса, а при надобности и посожалеть о случившихся между ними недоразумениях — словом, в приличествующих царю границах испросить прощения. Однако Нерсес и не думал набивать себе цену. Он

ощущал неукротимую потребность действовать, которую следовало поскорее утолить. Дела было мало, там он задыхался и мечтал о большом, раздольном поприще, великих целях и страстях, сложных задачах и противоборствах. И, едва дослушав предложение царя, тотчас дал свое согласие и приступил к делу. Восхищенный этим, царь искренне посокрушался о том, что завидная, неизбывная душевная сила и порыв такого человека, воистину способного своротить горы, не только не пошли ему на пользу, но еще и мешали. Что за притча, отчего люди деятельные никогда не выступают плечо к плечу, дабы сообща творить чудеса, — напротив, каждый из них, как правило, становится поперек пути и сводит на нет усилия другого, и в итоге все приходится начинать сначала. Вот вам пример — он, Нерсес и Меружан. Три преисполненных энергии и горения человека и три совершенно различные дороги, отрицающие одна другую.

Нерсес засучив рукава взялся за поручение, без усталости ездил из области в область, искал с нахарарами общий язык, прибегал ко всем средствам, даже, бывало, умолял несговорчивых, и в результате его настойчивость увенчалась успехом. Понесшие в междоусобицах крупные потери, нахарары волей-неволей согласились — с тем, однако, условием, что мир будет почетным для обеих сторон.

Царь назначил прием в заброшенном дворце Армавира, древней армянской столицы. В урочный день по старинному большаку потянулись всадники, торжественно съезжавшиеся со всех концов страны к месту примирения.

Дворец стоял на опушке леса. Дожди и ветра сделали свое дело — штукатурка на стенах осыпалась, обнажилась кирпичная кладка. По углам нашли себе пристанище пауки. От дворцовой ограды остались руины, а безнадзорный сад зарос бурьяном и полевыми цветами.

Нахарары с изумлением озирали разваливающийся дворец и недоумевали, по каким соображениям царь остановил свой выбор именно на нем. Было в этой заброшенности что-то тяжелое и угнетающее — приютская тоска и старческий холод. Чего только не повидали в свое время стены этого дворца с сохранившимися кое-где фресками, сколько человеческих жизней угасло под высокими дворцовыми сводами, и вот теперь умершие эти души реют, витают в воздухе. Не осталось и помину от роскоши, от суетных страстей, тщетных хлопот и напрасных треволнений. А о суетности их и тщете свидетельствовали огромное это кладбище, беспрепятственно свищущий в его проулках ветер, прелый запах сырости, нелепые громады залов и мерзость запустения.

Недоумение нахараров усугубил и не поддающийся разрешению вопрос: отчего по столь торжественному случаю дворец не только не подновили, пусть слегка, но даже не создали мало-мальски сносных условий для приема? Где кресла, где столы, где ковры? На худой конец, встретил бы их, что ли, кто-нибудь, дал бы умыться с дороги. Нахарары помрачнели, разбрелись по дворцу и стали в зловещей тишине дожидаться царя.

А царь запаздывал. Округу потихоньку заволокла тьма, и тут выяснилось, что светильников нет как нет. Еды тоже. Колодец во дворе давным-давно высох, илистое его дно кишело лягушками. Нахарары насупились пуще прежнего, потеряли терпение и утратили самоуверенность. А когда, поняв, что ожидание бессмысленно, решили было разъезжаться, во мраке раздался вдруг одинокий возглас: «Заговор!» — и дворец охватило неопишемое смятение. Никто не уразумел, что, собственно, стряслось, от чего спастись и с кем драться. И покамест до нахараров дошло, что на них вероломно напали царские воины и колют и режут всех подряд, было слишком поздно. Дворец окружили, все пути к бегству отрезали. Казалось, будто конское ржание и крики людей, смешавшись, еще более сгущают мрак. И чудилось, этот кошмар — не следствие вполне определенных причин, у которых имеется предыстория и нежданный-негаданный конец, — нет, чудилось, что он замышлен и порожден тьмою. Минет ночь, настанет утро, и сгинут наваждение и бред. И верно: к рассвету все угомонилось, повсюду вновь возобладала нетронутая, девственная тишина, но вот странно — там и сям лежали трупы. И в виду несметных и неисчислимых этих жертв дворец выглядел еще бесприютней и мертвей.

...Царь, с душевным трепетом ждавший известий из Армавира и намеревавшийся отпраздновать победу, пережил невыразимое разочарование. И удостоверился в своем падении в тот самый миг, когда узнал, что его приказ в точности выполнен.

Прежде, обагрив руки чужой кровью, он утешался тем, что преступление неизбежно и совершено во имя всеобщих интересов страны; более того — сам он как бы становился жертвой, лицом трагическим и, следовательно, достойным сострадания. Он вправе был со спокойной совестью сказать, что ничего не делал ради личной корысти. То есть его соучастие в преступлениях скорее условно, нежели подлинно.

Но это... Это — месть. Никаких сомнений. Гнусное и низкое вероломство. Сведение счетов, которому нет оправдания, — вот что это такое. К последним схваткам на поле

брани его также толкнули собственные интересы. Он давал бой не врагам страны, но врагам своей особы. А коль скоро враг становится твоим личным врагом — и только, значит, тебе нечего больше делать на престоле. Собирай манатки, прощайся со всеми (и заодно с собою) и ступай себе подобру-поздорову куда глаза глядят. Целей уже нет. И замыслов тоже. Все исчерпано и растрчено. Противопоставить этому царь и спарапет могут разве что безраздельную преданность, слепую веру и самозабвенную храбрость. Но не рядовые же они ратники, чтобы лишь тем и довольствоваться. Нужно прямо смотреть правде в глаза и во имя славного своего прошлого признать — их час пробил. Нужны свежие силы, способные породить новые идеи, указать путь. Плохо ли, хорошо ли, они — царь и спарапет — прошли свою дорогу до конца, и теперь их несостоятельность не принесет ничего, кроме вреда.

Может, прав был Гнел — человек должен знать, когда ему надлежит уйти, и найти в себе мужество вовремя уступить поприще другим? Уйти и умереть в укромном местечке, подобно старым, больным слонам, потому что смерть исполинов выдает тщету бытия и устрашает всякую живую тварь.

Нам не привелось вкусить сладость славы и власти. Мы трудились денно и нощно, не ведая сна и роздыха, не зная радости и утех, на нашу долю выпали одни только страдания да муки. Так чего ж нам глядеть вспять, что мы, собственно говоря, там, позади, оставили?

Пап, который бежал и укрылся в Византии, теперь уже взрослый юноша. Дай бог, чтобы мой урок не прошел для него даром, пусть он взойдет на престол не с пустыми руками и душой, но поставив перед собой цель. Ну а Мушег человек вполне здравомыслящий, он избавился от безрассудства юности. Дай бог, спарапет, чтобы он унаследовал твою отвагу и дар, и пусть оба они — Пап и Мушег — станут достойными нашими преемниками. Неужели нам не воздастся за наши страдания и муки, хотя бы в лице наших с тобой сыновей? Эти муки так велики, что сами порождают необходимость и неминуемость воздаяния. И наши дети, пусть они даже мало на что способны, просто вынуждены превзойти себя и по логике, как раз и проистекающей из моих и твоих страданий, воздать своим... чуть было не обмолвился, чуть не сказал — несчастным родителям. Но разве мы с тобой несчастны? Если уж начистоту, то мы прожили счастливую жизнь. Повернется у тебя язык утверждать противное?

...Персы захватили Арташат и такие города, как Тигранакерт, Вагаршапат, Ервандашат, Заришат и Ван, разрушили

в них крепостные стены, сожгли деревянные постройки, прочие же строения снесли, камня на камне не оставили, уничтожили подчистую. Увели в плен тысячи армян и евреев, которых поселили в Армении предки Аршака. Пленников собрали на развалинах Зареавана, и Шапух приказал всех взрослых мужчин бросить под ноги слонам, а детей и женщин посадить на кол. Жены бежавших нахараров и азатов были заключены в различные крепости, при этом Шапух выставил условие: если мужья не вернуться, чтобы служить царю царей, их жены примут мученическую смерть. Вслед за тем начались погромы церквей и насильное обращение армян в маздейскую веру. Повсюду как грибы вырастали капища, и огнепоклонство стало обязательным.

Царь и спарапет, непрерывно отступавшие из селения в селение, беженцы в собственной стране, каждодневно выслушивали эти горестные, леденящие кровь известия, молчали и сознавались тем самым в своем бессилии. Но однажды Васак не выдержал, спозаранок вошел без доклада в неприятельное жилище царя и прямо в дверях, как о великом открытии, заявил:

— Шапух прислал тебе соль. И запечатал своим перстнем.

Речь шла о перстне-печатке с вправленным в него самоцветом. Тут значилось имя владельца и герб персидских шахов — вебрь. Запечатанная этим перстнем соль была символом наисвященной, нерушимейшей клятвы.

Но разве они только-только получили запечатанную соль, разве не говорили многожды об этом, не обсуждали положение дел, не ругали ругательски коварный умысел нехристя Шапуха, не видели расставленных им ловушек и не решили отклонить его приглашение.

Царь и спарапет долго и пристально смотрели друг на друга, словно пытаясь прочесть чужие мысли. На миг в их взглядах даже проскользнула враждебность. По всей вероятности, они вполне друг друга поняли и утаить что-либо было уже невозможно. Этой-то очевидности, когда все ясно как божий день, они не сумели один другому простить. Потому что в одиночестве куда проще не смотреть правде в глаза. Вдвоем — труднее. И они мешали друг другу, каждый читал на лице собеседника то, что тщательно скрывал от себя. И наверное, им обоим хотелось расстаться, разойтись, не становиться ззаимной обузой, чтобы кто-нибудь из них не сказал вслух того, о чем думал второй.

Вдруг царь и спарапет, один — высокий, крупный, другой — невзрачный, не вышедший ростом, крепко обнялись. И хотя им вместе предстояло проделать долгий путь до Тиз-

бона и вынести множество испытаний, они отчего-то предпочли попроситься загодя. Как царь и спарапет. И непременно здесь, на родине.



Власть в стране перешла, по сути дела, в руки царицы Парандзем. Она послала спарапета Мушега в Византию — убедить императора помочь Папу войсками, чтобы завладеть армянским престолом. Нерсес, потрясенный армавирской резней и совсем было собравшийся возвратиться в деревню, присоединился по просьбе царицы к посольству спарапета. Он очень и очень надеялся, что по воцарении Папа вновь получит сан католикоса, возглавит разоренную армянскую церковь и до конца осуществит свою человеколюбивую просветительскую миссию. А Парандзем, собрав около одиннадцати тысяч азатов и стараясь избежать столкновения с персами, укрепилась в Артагерсе.

Артагерс находился на левом берегу Аракса, на горном склоне, и был обнесен тройной зубчатой крепостной стеной с островерхими башнями. Эту крепость, одну из наиболее неприступных в Армении, с трех сторон окружали непроходимые отвесные скалы, с четвертой же стороны зияло глубокое ущелье. В крепости имелось два подземных хода, один из которых вел к склону горы, а другой спускался в ущелье.

В слободе за первой стеной жили воины, во второй слободе, где бросалось в глаза обилие мастерских, — простой люд, а за третьей стеной — царица и знать.

Вскоре персы осадили Артагерс, разбили стан вдоль ущелья и застряли там на год. Однако покорить крепость силой оружия не удалось.

Меружан Арцруни, который, подыскав оправдание своим действиям, вконец разнуздан и тем самым лишил это оправдание всякого смысла, — Меружан Арцруни, желая запугать Парандзем, пошел на неслыханное преступление. Он приказал заточенной в городской цитадели Вана княгине Амазаспуи, урожденной княжне Мамиконян и жене бежавшего в Византию нахарара Гарегина Рштуни, под страхом смерти перейти в огнепоклонство. Как и предполагал Меружан, Амазаспуи не пошла на вероотступничество. Ее привели в крепостную башню, стоявшую на гребне высокой скалы и обращенную к Ванскому озеру, раздели донага и повесили вниз головой. Амазаспуи почила, но ее белое как снег тело так и свисало с башни всем напоказ. Старая кормилица Амазаспуи сутки напролет ждала под высокой скалой, покуда тело ее питомицы не начнет разлагаться. Бренные останки му-

ченицы старуха собирала в подол, чтобы не оставить госпожу непогребенной.

Парандзем была непоколебима. Она знала, что судьба страны отныне вручена ей, в прежние времена слабому и беззащитному созданию. Когда же это было? Да и было ли? Она не только не завидовала давнему своему двойнику, но и всею душою презирала жену Гнела за честолюбивые домогательства возмещения. Она знала себя лишь как мать и как жену царя... Прочие годы своей жизни она принимать отказывалась. И чувствовала, что по-своему любит томящегося в крепости Анхуш супруга. Жаль, ах как жаль, что она не стала в свое время опорой царю, не поняла его и даже помешала по-бабьи пустыми, никчемными притязаниями. А ведь когда мужчина и женщина заключают союз, этот союз не одолеть никакой на свете силе. Парандзем искупит свои прегрешения здесь, в Артагерсе, и, пускай с опозданием, большим и непростительным опозданием, докажет, что она достойна зваться супругой Аршака.

Своим возрождением она обязана сыну. Он заставил мать забыть о личном и всецело посвятить себя ему. Вопреки дворцовым обычаям, царица не захотела передоверить сына мамкам и воспитателям и сама занялась своим дитятей. Это она туго пеленала хрупкое его тельце. Это она укладывала его в округлую колыбельку и баюкала. Это она давала ему грудь и кормила с ложечки. Наблюдала за первыми его шагами. Выучила читать и писать по-гречески. Обижалась, когда он, уже подросток, стыдясь, не позволял купать его. Она долго не прощала ему этого стыда, ревновала, видя, что сын поглядывает на девушек. И удивлялась, отчего он избегает ее ласк. Не только на людях — это мать еще готова была взять в толк, но и когда они оставались одни.

Еженедельно от Папа и спарапета Мушега являлись гонцы и ободряли госпожу земли армянской: мужайся, твой сын вскорости вернется и приведет за собой императорские полки, потерпи немного, еще чуть-чуть...

Она терпела — что ж ей было делать?

В черном одеянии, забросив украшения, она неизменно кружила по крепости, воодушевляла воинов, самолично перевязывала раненых и ухаживала за ними. Принимала участие в военных советах и — воплощенное внимание — пыталась хоть что-то понять, хоть в чем-то оказаться полезной.

И только за полночь, когда, не раздеваясь, падала на жесткое ложе, украдкой плакала и с ужасом думала: что же будет, господи, если вдруг, опасаясь нападения готов, импе-

ратор не направит Папа в Армению? Что ж ей тогда делать, как и куда вести страну, с чего начинать? И достанет ли ей для этого ума и сил?

А Пап? Где ручательство, что он способен спасти страну? Как ни люби она сына, все же обязана, не считаясь с чувствами, задаться этим вопросом. Армянским царям недосуг вести праздную жизнь, да у них и нет таких возможностей, они цари-труженики, цари-чернорабочие... Ведомо ли ему все это и готов ли он – готов ли внутренне – принять свой жребий? И сможет ли найти ответы на вопросы, которые, возникая поминутно, не дают царю передышки?

Не забывай отца, Пап. Он великий человек, твой отец, отважный и благородный. Гордись им. Гордись непременно. Клянусь твоим рождением и святыми муками родов, клянусь первым твоим криком – ты имеешь на это право. Это говорю я, Пап, которая никогда не была слепо в него влюблена, напротив, временами, заблуждаясь, ненавидела его. Так верь же мне и, поверив, оцени мои слова. Пусть его жизнь будет тебе заветом. Пусть учит тебя жить. И, страдая и созидая, набираться мудрости. И если тебя не поймут, как не понимали твоего отца, значит, тебе тоже суждено одиночество. Но пусть печаль ни на миг не омрачит твоего чела. Поймут через десять лет, через сто, через тысячу – обязательно поймут. Только будь этого достоин. Прощай, мой мальчик, мой осиротевший царь. Парандзем предчувствовала, что никогда уже не увидит сына. Месяц проходил за месяцем, и отчаяние проникало во все уголки Артагерса. Персы и не думали отступаться от своих намерений и не снимали осады. А ведь это закон, давнишний, испытанный закон – всегда побеждает упорство осаждающих, а не осажденных...

На исходе тринадцатого месяца нашедших в крепости приют беженцев постигла божья кара. В Артагерсе разразилась чума. Смерть безжалостно косила сотни и сотни людей, глумясь над их более года длившимися муками и лишениями. Умерших не поспевали хоронить, а вдобавок ко всему в ограниченном пространстве крепости не было места, чтобы вырыть могилы одиннадцати тысячам воинов и шести тысячам женщин и детей...

Персы не понимали, отчего армяне группами выбираются из тайных ходов, а потом, даже не пытаясь спастись бегством, направляются напрямиком к вражескому стану и, еще не пронзенные стрелой, внезапно падают замертво...

Армяне же хотели напоследок отомстить врагам, распространить среди них – непосредственных виновников всех этих мук – смертоносную заразу. И поскольку зараза, как на-

зло, не приставала к персам, те так и пребывали в изумлении, не умея объяснить происходящее.

Длань господня обороняла Парандзем — она непрерывно общалась с умирающими, но не заболела. Совершенно забыв о себе, она самоотверженно выполняла обязанности и распорядителя, и врача, и священника. Однако неумолимая смерть беспощадно истребила всех, и через месяц в живых остался лишь один человек, госпожа земли армянской. И она постигла, что это отнюдь не милость божья, но величайшая кара. Стало быть, прошлые грехи все-таки перевесили. А как она старалась искупить их!

Парандзем осталась одна-одинехонька в огромной и пустынной крепости, среди непогребенных покойников. Днем запиралась во дворце, а по ночам, как привидение, блуждала с факелом в руке по улицам, слыша в тишине только эхо собственных шагов. Зажигала все светильники, проверяла запоры на воротах, распахивала закрытые двери, меняла изодранный стрелами царский стяг со златотканым орлом. А так как у нее появилось теперь свободное время, она придирчиво следила за собой, облачалась в приличествующие царице одеяния, тщательно укладывала волосы, украшалась драгоценностями, дабы до последнего мгновения жизни, до последнего своего вздоха остаться достойной звания госпожи земли армянской. То был тяжкий долг, который она исполняла добросовестно и с полным сознанием того, что оберегает честь страны.

Враг с недоумением смотрел, как над крепостью зловеще кружили стаи черных грифов, как безбоязненно они снижались и исчезали за тройными стенами. Но в то же время враг слышал доносящиеся из крепости громкие звуки трубы, бой барабанов и видел на башне новое знамя. По ночам крепость и особенно замок заливало светом, и это рассеивало все сомнения. А иной раз звучали горячие речи царицы, ободряющие и воодушевляющие защитников Артагерса.

Вот и теперь, протрубив в горн и рассыпав барабанную дробь, полуночница-царица с факелом в руке стояла у крепостной стены в проходе между грудями трупов и что было сил выкрикивала со слезами на глазах:

— Мои храбрые воины, я принесла вам радостную весть. Через несколько дней царь Пап будет здесь вместе с императорскими полками. Наши страдания возместит величественная победа. Страна очистится от нечестивых персов. Предатели понесут неотвратимую кару. Мы отомстим за нашего любимого Аршака, гибнущего в крепости Анхуш. Славою нашего оружия увековечим память о мученике и страсто-

терпце спарапете Васаке. От имени вашего нового и прежнего царя благодарю вас, отважные мои орлы. И обещаю запомнить всех вас поименно. То будет дань любви, уважения и признательности. Да здравствует царь Пап!

Она осеклась, с ужасом уразумев, что ее и впрямь слушают. Ее слушает отменно живой человек. Слушает с огромным вниманием и столь же огромным изумлением. Парандзем не поверила глазам, и ей померещилось, будто это один из мертвецов, чудом воскресший, чтобы не бросать в одиночестве свою царицу и спасти ее, вывезти из этого ложного, глупейшего положения. Тот, кто ее слушал, не двигался — обалдело застыл, замер. Должно быть, и он в свой черед не верил глазам. И два сверхподлинных человека, возвышающиеся посреди груды мертвых тел, с недоверием взирали друг на друга, страшась пошевелиться. Это было видение, призрак, порожденный мраком бред.

Парандзем узнала и похолодела. Перед ней стоял Меружан — с лицом армянина, с глазами армянина, но в персидском платье. Красавец нахарар из дома Арцруни, которому хорошо известны подземные ходы...

Не сдержав восхищения, Меружан почтительно поклонился царице. То, чему он только что был свидетелем, не укладывалось в голове и превосходило человеческие силы. Тем паче силы слабой, одинокой и беспомощной женщины. Не проронив ни слова, он подошел к воротам, отодвинул громадный засов и, с трудом толкая, открыл тяжеленный железный створ. Затем, понурившись и не оглядываясь, двинулся прочь и пропал во тьме. Он не желал видеть унижение царицы.

А госпожа земли армянской царица Парандзем с факелом в руке мгновение постояла у открытых ворот, словно выполняя свой последний долг защитницы крепости, а потом, высоко и гордо держа голову, пошла навстречу своей судьбе. Могущественная персидская рать с тысячами своих воинов, с несметным оружием и бесчисленными знаменами спустя тринадцать месяцев после начала осады взяла в плен всего лишь одну женщину. Как она сама о себе говорила, чуть располневшую и чуть повзрослевшую.

★ ★ ★

Историк повествует:

«Когда царицу Парандзем привели в Персию и представили взору царя царей, тот выразил глубокую признательность своим полководцам. Шапух пожелал надругаться над домом Аршакуни, над армянской страной и царством, а посе-

му приказал созвать свое войско, своих вельмож и низших чиновников и весь народ подвластной ему державы и выставить перед всей этой толпой царицу Армении Парандзем. И повелел построить на площади помост, возвести на помост царицу и дать желающим насильно совершить над ней гнусное совокупление. Так убили царицу Парандзем.

А остальных пленных увели на поселение частью в Сирию и частью в Хужастан».



Крепость Анхуш, которая звалась также крепостью забвения, находилась в Хужастане, по дороге в Тизбон. Путники, как правило, огибали стороной мрачное это сооружение, чужаясь встречи с ним. От крепости и пустынных ее окрестностей веяло смертью. Наиничтожные проявления жизни навеки отвратили лицо от этого неприглядного, внушающего ужас уголка земли. Даже дикие травы и кустарники, привыкшие завоевывать пространство повсюду, и те словно бы гнушались этих мест. Змеи, ящерицы и скорпионы, которыми кишмя кишат подобные урочища, бог весть отчего никогда здесь не водились. Во всей округе нельзя было сыскать и пригоршни земли, потому что, куда ни глянь, везде простиралось царство опаленных камней и обожженных солнцем утесов. И казалось, будто утесы и камни воздвигли обелиск убедительной безоговорочной своей победе, будто крепость не рукотворна, а изначально создана самой природой. Только люди выносили эту безжизненную и суровую пустыню, только обитатели крепости — узники и тюремщики.

Яростный зной и постоянная жажда обозлили тюремщиков. Им вечно слышалось сводящее с ума журчание речки и шелест листвы. И, напрочь лишённые воображения, тюремщики завидовали не тем, кто живет на прохладных склонах гор или вблизи лесов, не воинам, чья служба проходит вдали от гиблых этих мест, или толстосумам — нет, не этим своим соплеменникам завидовали они, а узникам крепости, которые блаженствуют в сырых подвалах, не видят солнца и вдобавок ко всему удостоены еще и охраны.

Другие обитатели крепости, заточенные в нее до скончания дней, были обречены на полное забвение. Никто не имел права вспоминать о них или напоминать. Дерзнувший нарушить священный этот закон ставил свою жизнь под удар. Вот отчего, хотя крепость Анхуш была по сути чем-то прозрачным и обреталась только в людском сознании, ее имя повергало всех в ужас и трепет. Потому что этой единственной доселе сказке для взрослых слепо верили.

Между тем в подвалах крепости страдали живые люди. И самое страшное — они давно уже не подозревали о своих страданиях. В полу каждой каморки торчал кол с подвижным кольцом. В кольцо продевали цепь, конец которой опутывал узнику ноги и руки. Узники привыкли к тяжести оков и смирились со своей участью. В их глазах застыло пугающее спокойствие и жуткое безразличие. Время от времени по нескольку дней кряду раздавались отчаянные вопли, но узники и ухом не вели: велика важность, в крепости появился новый жилец. Вскоре неприятный шум прекращался, и вновь отовсюду доносилось мирное и благозвучное позвякивание железных цепей.

В крепости, не видя друг друга, соседствовали низложенные государи и всяческое отребье, крупные сановники и знаменитые разбойники, убийцы и мятежные князья. В темницах царило совершенное равенство: одинаковые кандалы, одинаковые вретича, одинаковые водянистые похлебки и одинаковые судьбы.

Армянский царь, который потерял все и обрел взамен свое забытое имя, был одним из старожилов крепости Анхуш. Опыт научил его лукавить с роком. Стоило ему почувствовать, что силы на исходе и отчаяние подступит к горлу, он обращался к простейшему средству — днем спал, а ночами бодрствовал. Становился единственным человеком, живущим наособицу. И этим порывал все связи с принятым в крепости распорядком, отделялся от других и создавал своеобразный мир.

Против него на небольшом каменном возвышении стоял спарапет Васак. Шапук приказал содрать с него кожу, набить соломой и поставить перед Аршаком, дабы тот никогда не забывал минувшего. Потому что рано или поздно все узники лишаются воспоминаний и тем спасают себя. На боку у спарапета, в знак издевки и унижения, болтались пустые ножны. Его восковое лицо, полые глазницы, обвисшие руки и обветшалое одеяние военачальника не давали Аршаку избавиться от кошмара и мук, притерпеться к ним.

Взгляд царя был тусклым и выдавал умопомешательство. Его плоть давно умерла, и только мысль все еще лихорадочно действовала. День ото дня мир становился все меньше, пока наконец не уместился в нем самом. И мир, уместившийся в одном человеке, казался огромнее и понятней. Еще чуть-чуть, и этот человек уяснит смысл жизни, поймет, зачем родился, для чего страдает, и почему, сотворенный из праха, снова обратится в прах. Он погружался у себя, жил сугубо духовной жизнью, и в его мозгу каждодневно возникали

и рушились новые миры. И он был уверен: кроме него, нет в крепости забвения других живых существ, а в нем столько жизненных сил, что он способен жить и за себя, и за любимого своего спарапета...

Между тем крепость Анхуш и сама-то была призрачна. Но хотя она обреталась только в людском сознании, ее имя повергало всех в ужас и трепет.

★ ★ ★

...На воле светло, спарапет. Солнце, зной. Мне рассказал об этом один добрый стражник. У него честные глаза, и едва ли он меня обманул. У людей пересыхает горло. Пот катит с них градом. Они задыхаются, силятся укрыться в собственной тени. А здесь темно, покойно, безопасно. Мы с тобой должны быть благодарны честному и доброму стражнику, который доверил нам такие важные сведения. Лишь после его слов мы оценили свое положение. И бог свидетель, отныне у нас почти нет поводов роптать. Мы достигли той блаженной умиротворенности, которой грезили годами. И которую заслужили. Мы заслужили ее потом на челе, изнурительными своими трудами и бескорыстием.

Мне повезло, Васак: я избавился от одиночества. Ведь жить среди людей — одиноко. Ну а это... Это совершенное, беспредельное одиночество, чистое и первозданное. Это одиночество человека. А то — одиночество царя. Оттого-то я и полюбил свои цепи.

Я многое повидал в жизни. И то, что видел, было или очень хорошим, или очень дурным. Царю не дано середины. Велика была и моя радость, и моя печаль. Глубока была и моя любовь, и моя ненависть. Неужели, по-твоему, эти крайности вообще присущи человеку? Они измотали и состарили меня, обеднили, опустошили мою душу. Я отроду не знал, что это такое — простые, обыкновенные чувства. У меня не было даже имени. Меня именовали «царь» — и только. И друзьями судьба тоже обделила меня... Да и какой безумец согласится стать другом государю? А вот врагов — врагов хоть отбавляй. Я ни разу не попробовал еды, приготовленной руками жены. Не изведал этого удовольствия. А ведь говорят, что нет на свете ничего вкуснее. Никто не пытался увидеть в царе человека. А я бунтовал против этого и зачастую вел себя непотребно. Враги и те не были личными моими врагами. Они тоже враждовали с царем. У меня не было ничего своего. Ведь даже дворец — это не дом, а временное пристанище. Но ужаснее всего, что я когда-либо видел и чувствовал, — это одиночество толпы. Не кого-то одного,

а толпы... Мне казалось, что лишь с толпой смогу я одолеть свое одиночество. А на деле я не только его не одолел, но еще и разделил с толпой ее одиночество. Вот итог нашего с ней союза.

А теперь... Знаешь, о чем я теперь мечтаю? Коснуться той вон стены. Хоть разок до нее дотронуться. Прижаться щекой к сырому камню. Вобрать в себя затхлый запах мха и прели. Гляди, я могу подойти к трем этим стенам. А к четвертой — ни в какую. Слишком коротка цепь. Гляди, ложусь, тяну руку, тяну что есть мочи — и все впустую... Коротка цепь, коротка!

Что это за крик? Чей он, этот отчаянный голос? Ты уловил, это вышел из себя человек, а не царь. Как же мне не любить темницу, воротившую мне собственную душу и личность? Ставшую последним моим приютом, которого никому у меня не отнять... Коротка цепь!

Похлебку еще не принесли. Считают, поди, что царям голод неведом, что цари думают только о других. Но я свободен, спарапет, я невероятно свободен. Свободен безгранично. В жизни не бывал таким свободным. Знаешь, как я это понял? Теперь я не наедаюсь и вечно голоден... Не думай, будто я всегда был так уж обездолен. Не принимай за чистую монету 'каждое слово спятившего узника. Я был великим и счастливым царем. Моя страна была могущественна и едина. Нахарары жили в мире и согласии. Персия и Византия трепетали передо мной. Император и шах и так и эдак подмазывались к армянскому царю, стремясь подружиться с ним. Слали мне в жены своих сестер. Добивались встреч со мной. Уступали мне свои земли и целые страны. Но что поделаешь, если, не успел я родиться, злые люди выкрали меня из люльки. И подменили... Положили в зыбку другого младенца. И с того дня все пошло кувырком.

Твоя оболочка, Васак, совсем прохудилась. Изнутри выглядывает солома. Когда твоя кожа вконец изотрется, я достану солому, расстелю на полу и улягусь... Ох и мягко будет!

Эй, кто там? Я не вижу тебя. Кто каждый день подбивает меня на побег? Не люблю незнакомых голосов. Я должен увидеть тебя, чтобы поверить твоим посулам. Откуда взяться человеческому голосу, коли нет человека? Может, ты — это посвист ветра, скрип дверей, шорох листьев? Если я только вырвусь отсюда, я, разумеется, щедро тебя отблагодарю. Мои подданные воистину станут передо мной преклоняться. Тогда-то и возникнет настоящая легенда обо мне. Гусаны допоют посвященные их царю песни. Народ сочинит сказку

о своем царе. Но меня, спарапет, разбирает смех. Дай мне власть посмеяться. Вот так, до слез... Я выдал его. Выдал, как последний негодяй. Потому что поймал себя на преступлении. Почувствовал, что колеблюсь. Взвешиваю и прикидываю. Этот несчастный ставил меня перед выбором. Понуждал опять править страной. Воображаешь, какая наглость, какое бесстыдство! А если на моем троне преспокойно сидит Пап? Уподобиться царю Тирану? Я не мог поступить так, как поступил мой отец, и стать сыну поперек дороги. Хорошо и сделал, что выдал. Вيني меня сколько заблагодарасудится, все равно я не раскаиваюсь. Пускай зарубит на носу — надо хранить верность царю. И пускай это послужит для иных уроком любви и почитания своего господина.

Поесть так и не принесли... Любопытно, что у них сегодня? То ли похлебка с горохом, то ли пшенка... Хорошо бы похлебка.

Не думай, будто жизнь моя уныла и однообразна. Мне мнится все, что я утратил. Просто действительность разворачивается теперь в другой плоскости. И с какой стати мне сетовать на судьбу, если тут, на новом месте, я счастливей и сильнее? А разве мы с тобой не предавались всю свою жизнь грезам? Как же тогда прикажешь величать вожделенную нашу мечту о едином, сплоченном отечестве? Наши повседневные усилия и потуги. Перенесенные нами лишения. Нашу безраздельную преданность. Самозабвенные наши труды. Разве не мечте, не грезе посвящалось все это? А свыше вмененная нам в долг неумолимость? Необходимость быть жестоким во имя всеобщего блага? Еще вопрос, кто сердобольнее и совестливее — мы или наши судьи. И уж если мы не погнушались пойти наперекор собственной нашей природе, то не ради ли осуществления наших мечтаний? Но ведь эти мечтания — они были не только нашими. Мы мечтали вместо тысяч и тысяч людей. Мы были жестокосерды, чтобы другие могли быть жалостливы и сердобольны. Мы брали на себя ответственность, чтобы другим жилось спокойно и надежно. А теперь наши мечты принадлежат одним нам. Только мне и только тебе.

Вчера ночью шах призвал меня к себе. Он обратился к звездочетам, прорицающим будущее по движению светил, и спросил, как ему обойтись с армянским царем. Поверить ли моим обещаниям покорности? По их совету Шапух отправил в Армению своих людей на скороходных верблюдах и приказал привезти оттуда землю и воду. Засыпал половину шатра армянской землей и окропил армянской водой, а другую половину не тронул, оставил там землю своей страны.

Я не знал этого, Васак. Вернее, знал, но словно бы заснул и позабыл об этом. Точно видел во сне другой сон.

Взяв меня за руку, шах прохаживался со мной по просторному шатру. На персидской земле он спросил: «Царь армянский Аршак, отчего ты стал мне врагом? Я любил тебя, как сына, а чем ты мне ответил? Развязал войну?»

«Согрешил и преступен пред тобою, — говорил я, отчетливо видя себя со стороны и с изумлением и ужасом слушая собственные слова. Я чуть было не пробудился, чтобы отвязаться от наваждения. Мои и Шапуховы сны перемешались. Я угодил в его сон. Чудом видел его сон, а не свой. — Покарай меня, и это будет справедливо».

Мы прохаживались по шатру, и вот, почувствовав под ногами армянскую землю, я вырвал руку, повернулся и бросил ему в лицо: «Прочь от меня, злодей-слуга¹, похитивший трон у истинно великих правителей! Ни тебе, ни сыновьям твоим не прощу я расправы с моими предками». Так продолжалось до утра. Из своего сна я переносился в его сон — и наоборот. Очутившись на персидской земле, падал шаху в ноги, молил прощения, каялся. А став на армянскую землю, возмущался, бранил его и грозил возмездием.

И я снова попал в крепость Анхуш. Не позволил, чтобы меня заковали. Сам опутал себя цепями. Крепче и ловчей тюремщиков, которых это очень удивило...

Не гляди на меня с упреком, спарапет. Мне ли не знать, что ты сколько уже времени не видишь снов? Сколько уже времени не дышишь, не живешь. Но ведь за тебя живу я. За тебя и вместе с тобой. И твои сны тоже вижу я. Ты дал мне на это право...

Так вот, нынче ночью, когда несколько звезд крадучись проберутся в тесную мою клетушку, Шапух вызовет и тебя. Вызовет и спросит: «Значит, это ты, лиса, стоял нам колом в горле, это ты столько лет изводил нас, истребляя наших удалцов? Что же ты скажешь теперь, коли я прибью тебя, как прибил бы лису?» И клянусь всеми святыми, ты дашь ему такой ответ: «Выходит, до сих пор я был для тебя львом, а теперь я лисица? Но куда я был Васакком, я был исполином, правая моя нога попирала одну гору, а левая — другую. Когда я переносил тяжесть своего тела на правую стопу, правая гора уходила в землю, а когда на левую — в землю уходила левая гора». Я заставлю Шапуха спросить: «Ну-ка скажи, что еще за горы попирали ты своей пятой?»

¹ Имеется в виду перс Сасан, предок Шапуха (Шапура) II, свергший с иранского престола парфянскую династию Аршакидов, ветвью которой был армянский род Аршакуни.

И я не лишу тебя удовольствия дать ему такую отповедь: «Одна из них – ты, другая – греческий государь».

Вот бы узнать, спарапет, что творится нынче в Армении. Я стосковался... И смешал свою тоску с твоей... По-прежнему ли глубоки еще теснины и высоки ли, как прежде, горы? Цветут ли по весне абрикосы? Дурманят ли, как прежде, горы? Свежие запахи сенокоса? Безошибочно ли находят армянское небо возвращающиеся с чужбины птицы? Рожают ли еще молодухи мальчиков? Приумножается ли племя армян? Сотрясают ли землю дружные пляски простолюдинов? Достигает ли божия слуха мольба армянина? Суровы ли, как бывало, зимы и знойны ли летние месяцы? Переносит ли меч воина передышку, пусть и недолгую, не рвется ли из ножен? Прочным ли остается чудодейственный союз человека и металла? И где она теперь, Армения, что из себя представляет? Что у нее север и что – юг, где ее восточные рубежи и где западные? Кто ее царь? И есть ли вообще такая страна? Эх, спарапет, я задал тебе вереницу бессмысленных вопросов. Конечно же есть, конечно же по-старому, точь-в-точь как прежде, и нелепость этих вопросов лишь усугубляет мою боль: все как раньше, нет только нас с тобой. Без нашего участия крестят новорожденного и нарекают ему имя. Одерживают новые победы над врагом, недосчитываясь в боевых порядках нас. Ты бы не хотел сейчас стоять в строю самым незаметным ратником? Даже в разгар войны находится просвет для того, чтобы сыграть свадьбу, но нам не повеселиться на ней. Супостат разрушает, армянин же строит сызнова, но ни мне, ни тебе не дано видеть этого. Подчас, должно быть, нас с тобой вспоминают, но нас нет как нет...

Подумать только, никто мне и не предлагал бежать... Просто стражники ходят по застенкам и разносят еду. Их голоса сбили меня с толку. Я никогда не съедаю до конца того, что мне дают, спарапет. Непременно оставлю немного на твою долю. Хочу тебя убедить, что ты все еще жив.

Сегодня я не стану пить причитающейся мне воды. Хорошенько почищу тебя. И меня все время будет подмывать дотронуться до твоего кармана. В надежде найти и взять на память какую-нибудь смастеренную тобой деревянную безделушку. Но знаю, что так и не дотронусь; я боюсь, спарапет, – а вдруг карман пуст...

Ты частенько просишь рассказать о твоём сыне. И всякий раз, слушая мои рассказы, гордишься доблестными его деяниями. Особенно тебя взволновало, что спарапет Мушег захватил в плен Шапухов гарем и не только не отдал шахских жен и наложниц на поругание, но и, разместив на по-

возках, отправил в Тизбон. А Шапух, пораженный благородством спарапета, поднял за него чашу на пиру и воскликнул: «Да выпьет с нами всадник на белом скакуне», — ибо конь под Мушегом белый. Шапух повелел изобразить на своем кубке Мушега верхом на коне, ставил перед собой этот кубок во время пиршеств и поминутно твердил: «Да выпьет с нами всадник на белом скакуне».

Как-то раз молодой спарапет пленил одного из союзников Шапуха — албанского царя Урнаира¹. Но только ударил его по голове древком копья и отпустил восвояси. И знаешь почему? Потому что не счел себя вправе равняться с человеком, который носит корону. Урнаира мог пленить лишь венценосец. А Мамиконяны — ты слышишь, спарапет? — Мамиконяны глубоко чтят венец, даже возложенный на врага.

То есть... То есть Мушег допускает такую же ошибку, как и его предки. Сражается с бесчестьем честью, наивно полагая, что в этом сила армянина. А ведь это наша слабость, спарапет. Свидетели тому и я, и ты, и крепость Анхуш, и эти оковы... Всем нам мешает недостаток мужества. Избыток человечности. Обоожествление нравственных побед.

Моя клетушка, должно быть, в конце коридора. Чем иначе объяснить, что они вечно приносят еду с опозданием? Иной раз до того оголодаешь, что боишься проглотить заодно и твою долю... Какой бишь нынче день? Какой месяц? Какая пора суток? Прошу-прошу — все равно не говорят. Может, из-за того, что я обращаюсь к ним по-армянски, а они не понимают?

Наконец-то у меня появилось время потолковать с самим собой. Давненько я с собою не встречался, не водил дружбы. Ну, привет тебе, Аршак! Как ты? Жив-здоров? Раз ты голоден, голоден так, что рябит в глазах, стало быть — жив. И на том спасибо. Радуйся и пой осанну всевышнему.

А теперь я расскажу тебе о своем городе. Слушай внимательно, это очень важно. Я расскажу не о городе, который погиб, а о новом Аршакаване, что снится мне еженощно.

В моем новом городе новорожденные в первый же день, едва явившись на свет, отправятся на охоту и все до одного подстрелят по дикому барану, изжарят и съедят. Навалят в лесу деревьев и выстроят себе жильё. В моем новом городе будут рождаться богатыри, клянусь тебе этими оковами, Аршакуни Аршак...

Страшно хочется пить, спарапет. В горле першит — очень уж разговорился. Не обижайся, если я выпью воду до дна.

¹ Имеется в виду царь Кавказской Албании.

Завтра я непременно тебя искупаю. Даю слово, завтра — никаких отлагательств и отсрочек. Когда человека мучает жажда, он обязательно проливает воду на себя или же на пол. А вот когда жажда не особенно докучает, не пропадает ни капли. Видишь, сколько пролилось? Понял теперь, как мне хотелось пить?

Цепь коротка... Коротка, коротка!

Это звено слабеет. Надо бы остеречь их... Сделаю где-нибудь заметку, не то забуду...

★ ★ ★

В дальнем углу каморки, подобрав цепи, намертво вцепившись в них обеими руками и уставив немигающий взгляд в потолок, лежал на полу Аршак. Он погрузился, ушел в себя. То была минута, когда в его мозгу возникали и рушились миры. Он жил таинственной, отрешенной от действительности жизнью и, казалось, вновь и вновь приближался к решению великой тайны бытия. Скоро, очень скоро он постигнет смысл своего появления на свет, перенесенных им страданий и надвигающейся смерти. Но вождьеленное откровение всякий раз откладывалось на завтра, не возбуждая ни сожаления, ни разочарования. Он был счастлив, этот закованный в цепи человек, потому что умел воплотить в зримые образы все то, о чем думал. Тело его было здесь, на этом холодном и сыром полу, а мысль витала где-то далеко. Он создал страну, творил сплоченное, сильное отечество, укреплял его рубежи, сокрушал внутренних и внешних врагов, принимал решения одно мудрее другого, с кропотливостью пчелы лепил общество, в котором люди жили бы в единении и согласии, а вечером, утомленный, с сознанием исполненного долга, возвращался в крепость Анхуш, спускался в темницу и заковывал себя в кандалы. При чем тут воображение, если он уставал, напрягал силы, тревожился, подчас даже попадал впросак, а едва тело забирало над ним полную власть, забывал свое таинственное, отрешенное от действительности бытие, мучился от голода и холода, мечтал дотянуться до противоположной стены, на одно мгновение припасть щекой к сырым камням, и Расскажи ему кто-нибудь, где он давеча витал в грезах, не поверил бы и ничего не смог бы припомнить.

Он не услышал, как со скрежетом отворилась тяжелая кованая дверь и в его клетушку вошел высокий, дюжий мужчина. Войдя, неуверенно шагнул, дал глазам свыкнуться с темнотой, затем взглядом отыскал узника и застыл как вкопанный. Тихо, царь спит! Вот так, недвижимо и затаив

дыхание, он простоит до тех пор, пока царь не пробудится. Когда стражники со скрежетом закрыли дверь и задвинули засов, пришедший огорчился, что ему не удастся уже безукоризненно выполнить свой долг и уберечь сон господина. Но господин, должно быть, спал весьма крепко и шум никак ему не мешал. Пришедший внимательно осмотрелся, увидел царевы вретича и оковы, валяющийся на голом и бугристом полу бесформенный глиняный сосуд, недоеденную похлебку в грязной миске и насилу сдержал слезы. Однако он не имел права жалеть царя и оплакивать его судьбу, потому что выказал бы этим свое над ним превосходство. В каком бы положении ни очутился царь, я его подданный и слуга. Даже теперь жалости достоин скорее я, нежели он. В полутьме пришедший углядел рядом с собой какую-то тень и резко обернулся. Увидел на небольшом возвышении призрак спарапета Васака и побелел как полотно. Они стояли лицом к лицу и во все глаза смотрели друг на друга. Сглотнув слюну, пришедший неуверенно протянул вперед руку, будто хотел потрогать видение и проверить, призрак перед ним или же нет. Но не нашел в себе сил и осторожно отступил в сторону. И только тут заметил — глаза у царя открыты. Но царь не хотел видеть пришедшего. Не хотел слышать его шагов. Он оставил в темнице лишь тело, чтобы наивные стражники по-прежнему считали, будто отсюда мухе и той не улететь. Пришедший не дыша приблизился к господину, чуть поклонился и шепнул:

— Царь...

Царь не ответил. Он давал бой Шапуху. Коль скоро это воображение, а не действительность, то отчего же победа склоняется к врагу? Ведь в воображении неизменно берут верх. Армянское войско отступает и попадает в западню. Со всех сторон стоят ряды щитоносцев, подобно крепостным стенам укрывая вражеские полки. Полки перестраиваются, и воины с секирами и бердышами переходят в наступление.

— Это я, царь... Драстамат. Твой сенекпет.

Царь вопросительно поглядел на пришедшего, затем недовольно отвел взгляд, снова уставил глаза в потолок и на сей раз увидел свою смерть. Его обрядили в рубаху и порты. Одежда оказалась непомерно велика и страшно топорщилась. Рубаху перехватили поясом, на котором висела сабля. К бедру привязали короткий меч, однако его накрыло одной из бесчисленных складок. Аршака вытолкнули в бесконечно узкий коридор, где он очутился в окружении воинов со щитами. Воины пихали его и теребили, а он, утопая в одежде, нелепо взмахивал руками и пытался обнажить оружие. Ан не

тут-то было: одежда сковывала его движения, и в ее складках запутывались то меч, то сабля...

— Неужели не узнаешь, царь? Это я. Твой слуга.

— Ты молодец, что пришел, — туманно улыбнулся царь, и его голова бессильно поникла. — Порою мне скучно здесь одному.

— Помнишь, я сказал, что приду? — От волнения в голосе пришедшего появилась хрипотца; Драстамата захлестывала нежность, не вяжущаяся с могучим его телосложением. — Ты пообещал, что дашь знать, если я понадобится. Не нужно, попросил я. Я приду сам.

— Но как ты дерзнул нарушить установленный царями порядок? — Внезапно Аршак сел, бережно уложил на коленях цепи, а взгляд его и голос посуровели. — Узник крепости Анхуш навечно отрезан от мира. Никто не вправе вспоминать о нем. Я не позволю какому-то придворному попирать повеление царя. Любого царя. Даже ради меня.

И поскольку армянского государя разгневало пренебрежение к приказу другого государя, Драстамат почувствовал себя виноватым, потому что невольно нанес оскорбление своему же господину. И, пересиливая собственную скорбь, он почтительно вытянулся в струнку и дал подробное разъяснение.

— Я, царь, попал в плен к персам. Потом вступил в персидское войско и участвовал в походе на кушанов. Однажды я по чистой случайности спас жизнь шаху. Он призвал меня к себе и спросил, какой награды я желаю. И хотя я знаю, что всякий осмелившийся напомнить владыке ариев о крепости Анхуш и ее узниках обречен на смерть...

— Ясно, сенекапет, — с недовольной гримасой оборвал его Аршак. — Я всегда недолюбливал твои сухие доклады. Стало быть, невзирая на опасность, ты попросил у царя царей дозволения посетить меня. Зря. Тебе следовало истребовать вознаграждения.

Драстамат с недоумением смотрел на господина и не мог взять в толк, почему тот совершенно ему не обрадовался. Он был несколько уязвлен: что ни говори, его самопожертвование осталось, в сущности, незамеченным, более того, его еще и попрекнули. Он боялся, что царь выставит его вон и не даст унять тоску. А Драстамат, хотя это и противоречило его убеждениям и шло вразрез с прежними должностными обязанностями, стосковался по царю. Точнее, стосковался по прошлому. И тоску обостряла отрадная мысль: он опять нужен своему господину, — а ведь это всегда было для него главным смыслом жизни. Чего уж греха таить, когда он

знал, что царь в нем не нуждается, то редко вспоминал о прошлом.

Драстамат опустился на колени; в конце концов обыкновенно вовсе не царь, а он решал, когда сенекапету являться и когда уходить; подумав это, он приободрился, вытащил из-за пояса ключ и отомкнул кандалы.

Аршак оторопело рассматривал свои освобожденные от цепей руки. Медленно, очень медленно поднял ладони и с минуту держал их на весу, внимательно изучая сперва одну, потом другую. Вдруг лицо его исказилось болью, и он тревожно вскрикнул:

— Онемели!

Драстамат принялся было заботливо растирать кисти его рук, но Аршак грубо вырвался и встал. И долго, очень долго глядел на ту, четвертую стену, которая все это время оставалась для него недостижимой. Потом с загадочной улыбкой на губах медленно двинулся к ней. На миг в его глазах мелькнул страх, и он замер, потому что это было то самое место, дальше которого его не пускала цепь. Туловище подалось вперед, а руки словно оттянуло назад. Это движение повторялось сотни раз, и теперь укоренившаяся привычка пыталась победить сознание. Царь потерял равновесие и с трудом удержался на ногах. Эта неожиданность и выручила его. Он понял — ничто ему не мешает. Приблизился к стене, потрогал выпиравшие из кладки камни, совсем уже собрался прижаться к ним щекой, но вдруг повернулся и разочарованно пробормотал:

— Стена как стена. Ничего особенного.

Хмурый его взгляд упал на Драстамата, он помрачнел еще прежнего и собрался с мыслями. Что же все-таки творится? Кто он, этот человек? Почему не оскорбляет и не унижает беспомощного узника? Куда подевался царь, утопавший в широченной рубахе и нелепо взмахивавший руками? Отчего еще жив? Что случилось с укрывшимися за рядами щитов полками?

— Драстамат! — внезапно воскликнул он с любовью.

Драстамат, с нетерпением дожидавшийся этого возгласа, пал перед царем на колени и зарыдал. Он рыдал впервые в жизни, и его могучее тело сотряслось. Годами сдерживаемые слезы вырвались наконец наружу. То был единственный, исключительный случай, когда ему было все равно — пристало или не пристало сенекапету такое поведение и ставит или не ставит он себя этими слезами на одну доску с царем. А царь обнял Драстамата за плечи, прижал его голову к своей груди и шептал утешительные слова — то ли Дра-

стамату, то ли себе. В мгновение ока перед его взором возникло множество образов, он увидел знакомые и родные лица, услышал любимые и дальние голоса, встретился с врагами, которых давно уже простил и к которым не питал отныне злобы, очутился в краю своих грез, полюбовался закатом солнца, восхитился дивной его красотой и, застыв посреди поля, широко расставил ноги, сложил ладони и окликнул себя: Арша-а-ак!

— Ну так что же случилось, что произошло, что ты уразумел, Драстамат?

Вновь со скрежетом отворилась тяжелая кованая дверь, и несколько тюремщиков вкатили на низенькой тележке здоровенную бадью, над которой клубился пар. Едва тюремщики вышли, Драстамат поднялся, сочтя, что время, отведенное на изливания чувств, исчерпано. Поднялся и начал раздевать царя. Царь не издал ни звука — пусть сенекапет поступает по собственному усмотрению. Драстамат взял его за руку и повел к бадье. Аршак тотчас понял, что от него требуется. Покорно полез в воду, но тут же вскрикнул:

— Горячо! Ошпарюсь...

Драстамат не обратил на эти слова ни малейшего внимания и деловито принялся мыть царя. Аршак раз за разом порывался выскочить, но сенекапет по-отечески терпеливо удерживал упряма господина.

— Да ты что?! — в голос кричал Аршак. — Мыло в глаз попало! В уши хоть не лей, в уши!

— Потерпи, царь, — утихомиривал его Драстамат. — Сейчас мы с этим покончим. Еще кувшин, и все. Один только кувшин. Ей-богу. Только один.

— Врешь ты все. Не знаю я, что ли? Совестно, Драстамат! Никогда больше не поверю! Пусти, ты что?!

Выбравшись из бадьи, он еще долго ворчал по-стариковски и воротил нос от Драстамата. Обиделся, видеть не хотел. Сенекапет закутал его в широкую простыню, вытер полотенцем голову, а затем одел в новое, чистое платье.

Аршак почувствовал себя наново рожденным. Тело обрело легкость и парило в воздухе. Дыхание стало мерным и глубоким, кровь пробудилась от спячки. Одежда не была уже тяжелой ношей. Мысль работала до боли отчетливо. Истина обнажилась. Эта темница — ад. Эти оковы чужды мне и непонятны. Крепость Анхуш находится в Хужастане, по дороге в Тизбон. Этот бесформенный глиняный сосуд — мой. И эта медная посуда, которая вечно пуста, — тоже. Передо мной спарает Васак, с него содрали кожу и набили соломой. Драстамат — самый родной мне человек на свете. Что же до

подлинной, сверхподлинной жизни, то ее олицетворяет этот длинный стол со множеством яств, внесенный и поставленный посреди темницы тюремщиками. И Аршак только теперь въяве ощутил и вполне осознал свое положение. О котором давным-давно не думал, которого попросту не знал. Он грустно оглядел валяющееся в углу рубище — неотъемлемую часть своего существа — и пожалел себя. Сравнил прошлое и настоящее — узрел порфиноносного государя и закованного в кандалы узника. Отныне он утратит способность переноситься душою и мыслью в иной мир. Станет постоянным обитателем этой крепости. Уразумеет, что в той, четвертой стене нет ничего неизъяснимого и загадочного. Драстамат вскоре уйдет, и царь вновь погрузится в чудовищное свое одиночество. Лучше бы Драстамат не приходил. Не одарял этим пробуждением, счастливым и быстротечным мигом. Лучше бы вовсе не переживать никакого возрождения, не разлучаться со своими цепями и вретисцем. Потому что даже мимолетная с ними разлука равносильна смерти. Сколько еще минет лет, прежде чем удастся снова свыкнуться с ними, смириться с этой преисподней и опять обрести блаженное состояние, которое завоевано ценою тысяч однообразных дней и за несколько минут утрачено.

— Я дарую тебе, сенекапет, высочайшую честь, — торжественно произнес царь, наслаждаясь осязанием чистой одежды и несомненной возможностью поесть досыта. — Я позволяю тебе надевать на одну ногу красный башмак. Я бы с радостью даровал тебе и второй. Но ты же знаешь, право носить пару красных башмаков дано лишь царю.

— Благодарствуй, царь, — взволнованно ответил Драстамат, заражаясь верой, звучавшей в каждом слове господина. — Это поистине великая честь.

Аршак, у которого от голода блестели глаза, бросился к столу; ему и в голову не пришло предложить сенекапету: присядь, раздели со мной трапезу. Потому что сказка тогда тотчас оборвалась бы, игра лишилась бы смысла. Он придвинул поближе блюдо с обедом, доверху наполнил свою тарелку, сунул в рот огромный кус мяса и, толком не разжевав, проглотил. На миг его взгляд застыл на яствах, которые в изобилии стояли на столе и которые пробудили в нем воспоминания, и он спросил:

— Нет ли перемен в распределении мест за столом?

— Порядок нахарарских кресел все тот же, царь!

— Рад слышать. Стало быть, наше согласие не нарушено.

И поскольку никто не понес наказания, никто не согрешил

против престола — против престола, а не меня, — пускай каждый займет полагающееся ему место.

— Будет исполнено, царь!

Царь, как это ни странно, ничего не ел, только отпивал мелкими глотками вино. Видел застланный тончайшими скатертями стол с изящными креслами вокруг. Слышал дружное бряцание множества вилок, ложек и ножей, размеренный хряск жующих челюстей. Входили во главе со стольником слуги с подносами и блюдами в руках. Сновали под началом кравчего одетые в белое виночерпии. Сидящие вдоль стены гусаны затягивали красивые душевные песни, а танцовщицы воздавали своими плясками хвалу плоти и славили радость жизни.

— Кто теперь правит Арменией? — внезапно спросил Аршак.

— Твой сын, царь. Пап.

— Что с царицей Парандзем?

— Живет не тужит вместе с сыном.

— Кто католикос?

— Нерсес, царь.

— А спарапетом по-прежнему Мушег?

— Мушег, царь.

— А Гнел? Остерегайтесь таких людей, Драстамат.

Всякий раз, слыша ответ, он не выказывал никакого к нему отношения и лишь кивал головой. Точно вопросы он задавал просто так, из приличия. Разве что услышав о Парандзем, он бросил на Драстамата беглый взгляд и вновь принялся смаковать вино.

Драстамат воодушевленно рассказывал, как полки копьеносцев, яростно нападая на войско Шапуха и громя супостата, возглашали: «За тебя, храбрый Аршак!» Каждого убитого врага воины посвящали прежнему своему царю, как посвящают жертву богу, и восклицали: «Это тебе, Аршак!»

Царь словно бы и не слушал и только машинально кивал. Между тем мысленно он давал советы сыну. Напоминал преподанные когда-то уроки. Способен ли ты различать дальнюю дробь барабанов? Распознавать голоса власти, заговора, возмездия, труда, одиночества, жестокости? Или мои старания пропали втуне? Он скорбел о смерти жены и с опозданием, непростительным опозданием признавался, что очень ее любил. Просто тяжелые, многохлопотные времена мешали их счастью. Прости меня, Парандзем, прости, ежели и там, в лучшем из миров, ты все еще гневаешься на меня. Молил Нерсеса, чтобы стал Папу опорой, не думал, будто так уж легко похоронить армянское царство, и понял, что

церкви надлежит не противостоять, а споспешествовать единому благу страны. А Мушега упрекал за то, что отпустил на свободу плененных Шапуховых жен и албанского царя Урнайра, и по праву старшинства учил — ненависти нет и быть не может победы.

— А как же Аршакаван, сенекапет? — не без колебаний спросил наконец царь. Затем, набычившись, уставил на Драстамата покрасневшие от вина глаза. — Говори начистоту, нечего меня жалеть! Сегодня ты обязан быть откровеннее, чем когда-либо.

— И следа не осталось, царь, — как в добрые старые времена, ровно и бесстрастно ответил Драстамат. — Там только земля да пепелище. Там бродят бездомные псы. И подолгу воют на луну.

— Дальше, сенекапет? — нетерпеливо спросил царь и внезапно перешел на крик: — Дальше, дальше!

— Но люди, царь, люди туда приходят, — словно воодушевленный окриком господина, сказал Драстамат; он казался себе преступником, оттого что не мог уже быть прежним сенекапетом, сухим и черствым. — Со всех концов страны идет туда простонародье. Пустынная эта степь стала для него святыней. Воины разгоняют странников, наказывают, секут, бросают в темницы... А они все идут и идут.

— Вот видишь, Драстамат, моя идея, идея свободного города, послужит возрождению страны. — Печальные глаза царя увлажнились, и он, не сомневаясь, решил: это и есть счастливейший миг его жизни, единственное достойное возмещение перенесенных им страданий. — Идея любви, равенства и труда. Пусть армянские нахарары рвут и мечут, пусть я сгнию в этом зловонном остроге, но я создал легенду, сенекапет, я создал предание. Сказку, которая будет передаваться из поколения в поколение. — И теперь уже бодро, беспечно и весело повторил давнишний свой вопрос: — Ну, так что же случилось, что я натворил, что ты уразумел, Драстамат?

— Ты дерзнул обогнать время, царь, — прилежно разъяснил Драстамат, снова входя в любимую свою роль. — Тебя никто не понял. Даже народ. Ты остался в одиночестве.

— А я, сенекапет, я-то понял свой народ? — Он помрачнел, снял со стены принесенный стражниками факел, приблизился к спарапету и осветил его лицо. — Одинок. Очень одинок... Одинок, как могут быть одиноки лишь цари. Говори же, говори, не щади меня! Что еще случилось, что еще ты уразумел?

— Но ты, царь, только мыслью обогнал время, только мыслью, — с прямотой, ставшей его призванием и убежде-

нием, продолжал Драстамат. — Душою же и телом ты был накрепко связан с ним. Был его детищем. Грубым и жестоким деспотом. В этом разладе — корень твоей трагедии, царь.

— Спасибо, сенекапет. Спасибо за искренность.

Он опять укрепил факел на стене и вдруг начал в тревоге озираться, будто искал что-то важное. Молча прошелся из угла в угол, упорно глядя под ноги. Затем смущенно подошел к Драстамату, виновато посмотрел на него и пожал плечами:

— Однако что же я тебе подарю, Драстамат? Какую память по себе оставляю? Может, останки спарапета? Но он нужен мне как воздух. Прости, это невозможно. Без него я вконец свихнусь от одиночества. Может, это подобие кружки? Но она ржавая и покореженная. Может, мои рубища? Но они грязные и не пристали царю. Если уж настанет час разлуки, — вдруг обрадовался он, совершив в уме выбор, — я подарю тебе свои цепи. Обещай хорошенько за ними следить. Каждый день смазывай их. А на ночь клади в изголовье. Чтобы помнить меня. Чтобы не забыть царя...

— Благодарствуй, царь. Я знаю, в этих цепях живет частица твоей души.

Царь подошел к столу, взял яблоко и начал нашаривать что-то среди тарелок. Драстамат сообразил: он ищет нож. Нашел, но не отдал господину.

— Я сам! — шепотом попросил он.

Царь заглянул ему в глаза, улыбнулся, отрицательно помотал головой и забрал нож. Потом прошелся по каморке и стал чистить яблоко. Делал он это с великим тщанием.

— Я чищу его для тебя, Драстамат. Люди всегда служили мне. А я всю жизнь мечтал хотя бы единожды послужить кому-нибудь... Спасибо, Драстамат! Спасибо за то, что не отказываешься принять услугу своего царя.

Внезапно он как подкошенный рухнул наземь, скорчился с яблоком в руках, и жуткий вопль огласил темницу. Драстамат схватил факел, в смятении кинулся к царю, опустился на колени и увидел, что в груди Аршака торчит нож. Издав свой последний обращенный к миру крик, царь покоился на бугристом полу, и в открытых его глазах застыл все тот же вопрос: ну, так что же случилось, Драстамат, что произошло, что ты уразумел?

— Хоть бы уж поел вволю, царь, — сокрушенно произнес Драстамат. — Какой славный стол... сколько вина в кувшинах...

СОДЕРЖАНИЕ

САМЫЙ ГРУСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Повесть. *Перевод А. Баяндур*

ЛЕГЕНДА XX ВЕКА. Роман. *Перевод Н. Гончар*

АРШАК II. Роман. *Перевод I—V глав Н. Гончар, VI—XXX глав Г. Кубатьяна*

Перч Арменакович Зейтунцян

ЛЕГЕНДА XX ВЕКА

Москва, „Советский писатель“, 1985, 600 стр.
План выпуска 1985 г. № 260

Редактор *М. Э. Кузанын*
Худож. редактор *А. С. Томилин*
Техн. редактор *Е. Ф. Шареева*
Корректор *С. И. Крыгина*
OCR - Давид Титиевский, май 2017 г., Хайфа
ИБ № 4771

Сдано в набор 25.06.84. Подписано к печати 22.01.85. Формат 84×108/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура плэнтин. Офсетная печать. Усл. печ. л. 31,5. Уч.-изд. л. 36,65. Тираж 100 000 экз. Цена 2 р. 50 коп. Зак. № 589.

Ордена Дружбы народов издательство „Советский писатель“, 121069, Москва, ул. Воровского, 11.

Отпечатано с пленок ордена Октябрьской Революции, Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского производственно-технического объединения „Печатный Двор“ имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

